



ГЮСТАВ ФЛОБЕР
ГОСПОЖА БОВАРИ
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

ГЮСТАВ

ФЛОБЕР







Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

ГОСПОЖА БОВАРИ



ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА • 1971

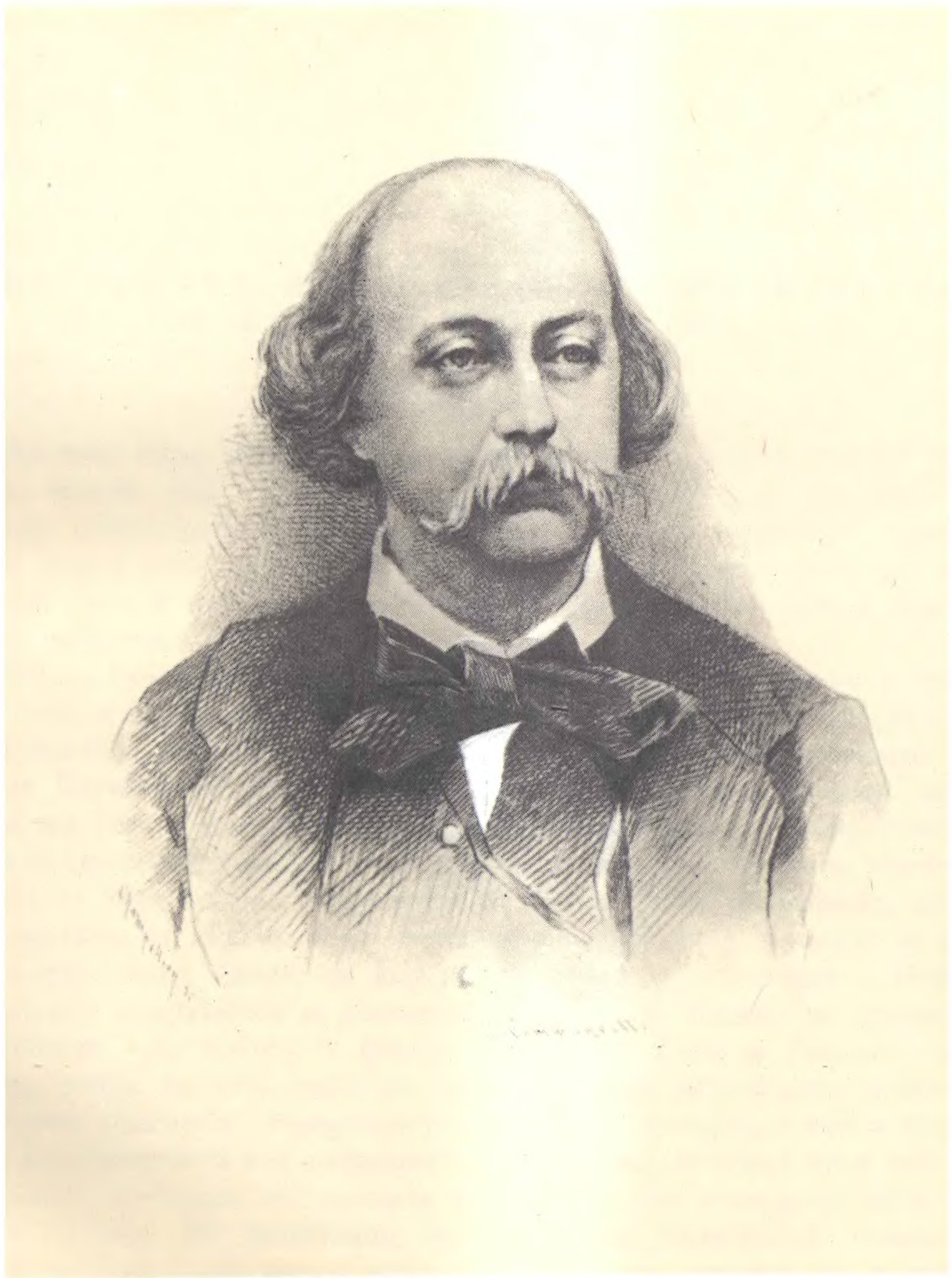
Вступительная статья
Б. Р е и з о в а

И (Фр)
Ф 73

Иллюстрации
М. М а й о ф и с а

7-3-4

Подп. изд.



ДВА РОМАНА ФЛОБЕРА («ГОСПОЖА БОВАРИ» И «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»)

1

Из пяти книг, напечатанных Флобером за его шестидесятилетнюю жизнь, только две — «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств» — посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями: 1830 и 1848 годов. Они-то и сыграли наибольшую роль в истории европейских литератур и остались в памяти нашего читателя.

Жизнь Гюстава Флобера не богата событиями. Родился он в Руане в 1821 году в семье врача и с детских лет страстно увлекся литературой. По настоянию отца он принужден был поступить на юридический факультет Парижского университета, но юридическими науками заниматься не хотел. Вскоре он заболел тяжелой болезнью, сопровождавшейся припадками, ушел из университета и поселился в своем поместье Круассе на берегу Сены, поблизости от Руана. Здесь он работал, почти не отрываясь от письменного стола, в течение дней, месяцев и лет. В последние годы жизни он изредка позволял себе поездку в Париж для встречи с друзьями и посещения библиотек. Иногда он совершал путешествие — на Восток, в Египет, переднюю Азию и Грецию, — и в Африку, чтобы изучить пейзажи, среди которых развивалось действие его романа «Саламбо». Франко-прусская война, повергшая его в отчаяние и возбудившая в нем патриотические чувства, которых он в себе не подозревал, заставила его выехать из Круассе, где стояли постом немецкие войска. По окончании войны, после Парижской коммуны, смысла которой он не понял, началось все то же: отвращение к современности, вызванное, с одной стороны, непониманием тех прогрессивных процессов, которые происходили в стране и во всей Европе, с другой — жестокой реакцией, подавлявшей всякую свежую мысль и обрекавшей Францию на долгий застой. Флобер умер в 1880 году, задохнувшись во время сердечного припадка.

Свою литературную деятельность Флобер начал совсем еще мальчиком. Чуть ли не с двенадцатилетнего возраста он начал писать — сперва на исторические темы, затем на современные.

Это было в тридцатые годы. После реакции, последовавшей за Июльской революцией, и торжества крупной финансовой буржуазии в широких кругах французского общества и особенно среди мелкой буржуазии распространялось глубокое недовольство. Действительность представлялась в самом мрачном свете, многочисленные восстания республиканцев, рабочих, доведенных развитием капитализма до страшной нищеты, подавлялись с необычайной жестокостью, и надеяться на лучшее будущее, казалось, не было оснований. Пессимистические настроения получили свое выражение в так называемой «литературе отчаяния», или «неистойой школе», сказавшейся и на русской литературе этого времени и получившей название «неистойой словесности».

Еще в юношеском возрасте Флобер усвоил республиканские взгляды, ненавидел монархию Луи-Филиппа и жаждал новой, демократической революции. Он также приходил в отчаяние, отдал дань «неистойой школе» и написал ряд произведений совершенно в духе этой школы. Только в начале 1840-х годов он попытался избавиться и от отчаяния, и от мрачных сюжетов, заполнявших его юношеские произведения. В 1845 году он закончил роман под названием «Воспитание чувств», который не имеет ничего общего с романом, напечатанным под тем же названием в 1869 году.

В этом первом «Воспитании чувств» обнаруживается новое отношение к жизни и некоторое освобождение от «неистойой» литературы и «отчаянного» пессимизма. Двадцатидвухлетний Флобер высказывает идеи, которые в то время широко распространялись в демократически настроенных кругах и были оппозиционно направлены по отношению к правительству. Он убежден в том, что материя и дух, а следовательно, психическая и физическая жизнь составляют нерасторжимое единство. Он рассматривает мир как процесс, определяемый «законами природы», с которыми человеку бороться не дано. Он не верит в прогресс, во всяком случае, в прогресс буржуазный, не верит и в возможность создать новое, справедливое общество средствами политической борьбы и социальных реформ. Но он твердо уверен в том, что человек может познать законы мировой жизни, что искусство, так же, как наука и философия, должно быть не пустым развлечением, а прежде всего познанием, тем более полным и глубоким, что оно выражает общие закономерности жизни в чрезвычайно конкретной, зримой, почти осязаемой форме.

Житейское благополучие, счастье чувств, мещанское эгоистическое счастье, по мнению Флобера, обманчиво и недолговечно, как дом, по-

строенный на песке. Подлинное счастье можно найти только в познании, в искусстве, которое избавляет от житейских бед и лжи и, вскрывая до конца законы существования, помогает преобразовывать мир и приводить общественную и личную жизнь в соответствие с незыблемыми законами бытия.

Литература не должна выражать личные чувства автора,— она должна изображать реальный мир и истины более общего плана. Флобер ищет объективного, бесстрастного, даже безличного искусства, потому что субъективные волнения художника, вызванные толчками и случайностями жизни, могут только затемнить познание, замутить чистый источник вдохновения и исказить истину, понятную, обязательную и неизбежную для каждого.

«Объективное», «бесстрастное», «безличное» искусство, как его понимал Флобер, отнюдь не исключает ни страсти, ни личности писателя, ни тем более оценки того, что он изображает. «Безличным», по мнению Флобера, искусство должно быть в том смысле, что художник изображает не свои личные страсти, а страсти своих персонажей, которые должны быть объяснены до конца обстоятельствами их жизни, среды, в которую они заключены, общества, которое их создало, извратило или замучило,— законами их общественного существования. В переживаниях персонажей не должно быть ничего случайного, беспричинного, все должно быть объяснено неизбежными силами объективного, общественного и материального мира. Судьба героя может взволновать читателя только в том случае, если его поступки и бедствия даже в самой их нелепости будут закономерны и неотвратимы. «Бесстрастие», о котором говорит Флобер, не значит, что роман должен быть лишен страсти. Так же, как человек не может жить без страстей, желаний, потребностей души и тела, так не может быть бесстрастным и персонаж художественного произведения. Но читатель должен чувствовать в романе не страсть художника, а страсть персонажа,— только тогда, по мнению Флобера, читатель «поверит» в эту страсть и воспримет ее как непреложную истину.

«Объективное» искусство требует отсутствия автора в его произведении. Автор не должен сообщать своему читателю, что такой-то его персонаж положительный, а другой — отрицательный, что одному нужно подражать, а другого презирать или ненавидеть. Как только читатель обнаружит в произведении некую поучительность, желание навязать ему «точку зрения», он увидит за персонажем и событиями романа произвол сочинителя, действия и переживания персонажа покажутся выдумкой, и произведение искусства перестанет существовать.

Но «объективность» не исключает оценки. Общественная и, следовательно, нравственная ценность искусства, всего поведения героя или мотивов, которые им движут, сама по себе есть нечто объективное,

свойственное изображаемому в произведении людям и обстоятельствам. Автор неизбежно, в меру своего понимания действительности, своего проникновения в изображаемое, определяет его ценность, и читатель воспринимает это как свойство предметов, существующее в реальном мире, независимо от воли автора.

Таковы основные положения новой эстетики Флобера. Свое понимание искусства и творчества он разрабатывал и совершенствовал в течение всей жизни, осуществляя его в каждом своем произведении особыми средствами, в зависимости от поставленной задачи и от особенностей изображаемого материала.

3

Чувствуя отвращение к своей современности, Флобер страстно интересовался экзотикой, древним, доисторическим Востоком, нравами и верованиями варварских народов, далеких от цивилизации, древним Римом, который он тоже рассматривал как варварскую, хотя и героическую эпоху. И тем не менее он не мог оторваться от своей современности. Два самых замечательных его романа посвящены эпохе, которую он знал по собственному опыту. Первым его печатным произведением была «Госпожа Бовари».

В маленьком городке Ионвиле нет ничего экзотического. Затхлое существование мещан, напоминающее, по словам Флобера, существование мокриц, убожество интересов и идей — все вызывало нестерпимую скуку и желание бежать куда глаза глядят. Замысел «Госпожи Бовари» Флобер вывез с Востока, где путешествовал в течение двух лет. Начал он свой роман в 1851 году, еще не остыв от сильнейших впечатлений, пейзажей и нравов Востока, и закончил в 1856 году. Тогда же роман был напечатан в журнале «Ревю де Пари». Некоторые его сцены, — да и все изображение французской действительности, — имели столь мрачный и прямо разоблачительный характер, что государственный прокурор считал нужным привлечь Флобера к суду за оскорбление общественной нравственности. Суд оправдал его, и «Госпожа Бовари» появилась в свет отдельным изданием в 1857 году.

Когда после Июльской революции жанр исторического романа потерял свою прежнюю актуальность и на смену ему пришел роман из современной жизни, стали говорить о чрезвычайных трудностях этого нового жанра. Он труден потому, что современность лишена резких контрастов: все носят одинаковые костюмы, все говорят приблизительно одинаково и одинаково обращаются друг к другу с обычным «сударь» и «сударыня». Затем писатели заметили, что это однообразие представляет особый интерес; конечно, все носят неприменный черный костюм и подчиняются тем же правилам приличия, но оттенков в поведении

и мышлении куда больше, чем в примитивном средневековье. Современность предоставляет художнику неограниченные возможности исследования, угадывания и творчества. Так говорил и Бальзак. Флобер словно поставил себе задачей обнаружить в этой тоскливой действительности тайны души и оттенки нравов, поражающие своими еще не изученными глубинами. Нужно было только принять это мещанство и эту пугающую пошлость как неизбежность и обнаружить в них то, что захватывает читателя в романах из средневековой жизни, в сказках «Тысячи и одной ночи», в приключенческих и «страшных» повестях. Дело в оттенках, а не в кричащей пестроте красок, и чтобы написать действительность, нужен тончайший психологический анализ, опирающийся на знание современного общества.

Флобер выбрал пошлый сюжет, много раз трактовавшийся в литературе,— историю супружеской измены, обычный адюльтер в глухой провинции. Был ли у Флобера какой-нибудь бытовой источник, или он построил свой сюжет из многих житейских и литературных воспоминаний, не поддающихся точному учету,— вопрос несущественный. Важно другое: Флобер вложил в него такое глубокое содержание и придал ему такой общий смысл, что роман оказался словно формулой современной души и общества эпохи Июльской монархии. Трагедия обыкновенной провинциальной дамы, мещанки, не отличающейся ни образованием, ни умом, под его руками стала трагедией каждого человека, взыскующего лучшей жизни, более высокого счастья и другой действительности.

Европейская литература давно уже знала героев, не принимавших мира, в котором они существовали, протестовавших против его законов, его несправедливости и его зла. «Фауст» Гете создал целую школу так называемой «символической» драмы, получившей особое развитие после буржуазной революции конца XVIII века. «Каин» Байрона, «Прометей раскованный» Шелли, «Эмпедокл» Гельдерлина, десятки других произведений в стихах и в прозе разрабатывали ту же проблему и ту же «болезнь», которую называли «болезнью века». Но все эти герои были «сверхчеловеками», взятыми из мифа и легенды. Прометей был титаном, Эмпедокл — великим философом, Фауст — ученым, разочаровавшимся в науке, Каин — сыном первого человека и легендарным братоубийцей.

Затем этот герой стал «очеловечиваться». Он получил общественное положение, биографию, среду, которая его создала и воспитала. Из Каина вырос Жюльен Сорель, герой «Красного и черного», честолюбивый плебей, наследник революционеров 1793 года, и Вотрен из «Отца Горю». Флобер сделал следующий шаг. Он не хотел делить людей на «великих» и «малых», сверхчеловеков и чернь. Задача для него заключалась в том, чтобы обнаружить в каждой живой душе ту же жажду лучшего, неудовлетворенность тем, что есть, условиями существования, противными природе человека. Он продолжал то, что с такой принципиально-

стью делала Жорж Санд, нашедшая в социальных «низах» стремление к общественной справедливости, тоску по идеалу и прометеевскую жажду пожертвовать собою ради спасения человечества. Но герой ее романа «Странствующий подмастерье» (1841) красноречивый Пьер Югенен, влюбленный в графиню, был героем в подлинном смысле слова, готовым на подвиг ради других. Флобер понимал протест как свойство если не всех, то многих, но он не любил идеальных героев. Его героиня была так же эгоистична и так же пошла, как и все ее окружение, а идеал, которого она искала, обретал смешные и тоже пошлые формы, подсказанные модной современной литературой. Он сделал ее жалкой прелюбодейной женой, не разглядевшей за уродством действительности вечно живых нравственных ценностей.

Симпатизировал ли Флобер своей героине? Хотел ли он окружить ее неким ореолом? Или осудить за бессердечие и эгоизм, который привел ее к несчастью, безумию и смерти? Очевидно, Флобер ставил перед собой другую задачу.

Истина, по его мнению, должна заключать в себе все противоречия. Показать человека только с одной его стороны, положительной или отрицательной, значит произвести абстракцию и скрыть правду. Поэтому он не хочет ни оправдывать, ни осуждать, он только показывает и объясняет человека таким, каким его создало общество и его законы. Бунт Эммы Бовари — а это настоящий и несомненный бунт — принимает уродливые, эгоистические и даже отвратительные формы, потому что и самый бунт, и его формы обусловлены обществом, средой, провинцией, нравственным уровнем ее жителей, умственным уровнем современных ей французов, ложью, царящей повсюду, и необходимостью одновременно и принять эту ложь, и бороться с нею, чтобы жить. Такова тайна центрального образа романа и причина того, что Эмма Бовари вызывает у читателя одновременно раздражение и мучительное сострадание. Жажда счастья и отвращение к супу семейного обеда за семейным столом вызывают неосуществимые мечты, приводящие ее к гибели.

Полной противоположностью госпоже Бовари является ее муж, которым роман начинается и заканчивается. Он не блещет ни умом, ни остроумием, ни образованием, не стремится к более высокому положению, не рвется в Париж, не читает романов. Заурядный провинциальный врач, он счастлив тем, что имеет, и, повторяя слова Пушкина, доволен «своим обедом и женой». И все же это герой высоких душевных качеств. У него тоже есть своя мечта, есть и свой долг, которого не ощущала госпожа Бовари, жаждавшая только своего личного счастья. Он нашел свое счастье в Эмме и потерял его вместе с нею. В течение всего романа он переживает это счастье в полном удовлетворении жизнью — и в полном противоречии со своей женой, так и не нашедшей удовлетворения ни в чем. Шарль Бовари трогателен в своей вере и

любви, он готов на любую жертву ради жены,— и вместе с тем смешон своей удовлетворенностью, ограниченностью и убожеством мысли.

Так предстают перед нами два главных героя — убогими, жалкими в своем счастье и беде, в своем эгоизме и в своей жертвенности, в непонимании того, что происходит с ними и вокруг них. И каждый из них вызывает сострадание, которое оправдывает всякого человека, бедствующего в этом плохо организованном обществе.

Другие персонажи, пожалуй, не менее выразительны и не менее типичны. Аптекарь Оме — персонаж почти символический. Это персонифицированная пошлость эпохи, это торжествующий Калибан из шекспировской «Бури», но вполне человекообразный, «прогрессивный», «либеральный» и «просвещенный». Орден Почетного легиона и «победа» над слепым нищим, которого наконец «заперли» в богадельню, придают этому наивному, преуспевающему и гадкому персонажу зловещий и угрожающий смысл: это самовлюбленное мещанство, определяющее характер целой эпохи и ведущее страну к духовной и политической гибели.

И чтобы показать другую сторону буржуазного общества, Флобер ввел в свой роман эпизодический персонаж, страшным призраком прошедший сквозь действие,— Катрину Леру, батрачку, получившую за пятидесятилетнюю службу на одной и той же ферме серебряную медаль ценою в двадцать пять франков. Нищая, измученная, отупевшая от непрерывного труда старуха превращает фарс сельскохозяйственной выставки в жестокую трагедию.

Так торжествует в романе «бесстрастность», полная яростного негодования, и потрясающая правда этого действительно объективного изображения. Флобер, боровшийся с «тенденцией» и проповедовавший независимость литературы от политики, создал необычайно острый в политическом смысле роман, настолько злободневный и разоблачительный, что по глубине сатиры и силе идеологического воздействия во французской литературе XIX века трудно было бы найти что-либо подобное.

4

Едва закончив «Госпожу Бовари», Флобер принялся за новый роман, о котором мечтал задолго до возникновения замысла. Из отвращения к современности, как он уверял, он взял сюжет из дохристианской эры и неклассической цивилизации. «Саламбо», потребовавшая огромного труда, была начата в 1857 году и вышла в свет в конце 1862 года.

Это был отдых от современности. Карфаген III века до нашей эры: множество племен и народов Африки, Азии и Европы, зверские религии, нечто чудовищное в нравах, инстинктах, сознании варваров и наряду с этим колоссальное событие в истории античного мира —

уничтожение Карфагенского государства и утверждение римского владычества на всем Средиземноморье.

Несмотря на замечательные достоинства романа, впервые в художественной литературе «открывшего» психологию варвара отдаленных и малоизученных эпох, «Саламбо» имела очень небольшой успех. Изображенные в пей нравы оказались непонятными и даже смешными читателям и особенно критикам. В журналах печатались пародии, карикатуры и стишки, высмеивавшие героев и их поступки. И все это свидетельствовало о том, что исторический жанр, воскрешающий чуждые цивилизации, был для французской литературы пройденным этапом. Читатели интересовались только своей современностью, более доступной их пониманию и более важной для дальнейшей практической деятельности.

«Современность мне так же противна, как и прежде,— писал Флобер, закончив «Саламбо».— От одной только мысли, что я буду описывать мещан, меня тошнит... Вдохновляться господами и дамами у меня больше нет сил». И все же через несколько дней после выхода в свет «Саламбо» он уже разрабатывал план «современного парижского романа», который был назван «Воспитанием чувств». Работа над новым произведением продолжалась семь лет и закончилась в мае 1869 года.

«Жизнь должна быть непрерывным воспитанием,— писал Флобер за три месяца до окончания романа.— Всему нужно учиться, учиться говорить, так же как учиться умирать».

«Воспитание», очевидно, понимается здесь как утрата иллюзий. Под ударами опыта герой должен понять тщету своих стремлений и невозможность «практического» счастья.

«Я хочу написать нравственную историю людей моего поколения, вернее было бы сказать, историю их чувств»,— пишет Флобер. Лучше, чем кого-либо из своих современников, Флобер знал самого себя. Может быть, эта «нравственная история поколения» является историей самого Флобера? Буржуазные критики твердят это в один голос и, конечно, заблуждаются.

В ранней юности Флобер был «бесконечно влюблен» и рассказал об этой любви в одной из своих юношеских повестей. Госпожа Арну и ее муж напоминают подробностями своей семейной жизни госпожу Шлезенжер, предмет юношеской страсти Флобера, и ее мужа. Но это не делает роман автобиографическим и никак не объясняет его проблематику. Герой романа представляет собою прямую противоположность Флоберу. Создав этот персонаж, Флобер вступал в полемику с неприемлемыми для него эстетическими теориями, политическими тенденциями, с самым характером мышления современного ему мещанства. В образе Фредерика он хотел создать нечто типическое, обобщенное, свободное и от личных чувств, и от случайного портретного

сходства. Он мог пользоваться любым материалом своей современности — эпизодом из жизни своего знакомого, каким-нибудь художественным произведением, газетной статьей, фактом политической истории или скандальной хроники, но весь этот «материал», или «воспоминания», или «заимствования» были включены в роман для того, чтобы доказать нужную Флоберу проблему, осмыслить и изобразить особенности и закономерности эпохи.

Фредерик, несомненно, неудачник. Но дело не в этом. Дело в причинах, которые сделали его неудачником. Эти причины — в нем самом, в характере его сознания, в его взглядах на жизнь, в непонимании действительности.

Но эти взгляды и это непонимание свойственны не только ему одному — так же, как во всех своих произведениях, Флобер не хочет здесь отделить личность от общества, хотя в иных случаях его герой противопоставлен среде.

Иногда говорят, что в образе Фредерика Флобер разоблачил романтизм. Но думать так нет никаких оснований. Флобер вступает в борьбу не с романтизмом, который как литературная школа был и прошел, но с эпохой, длившейся дольше, чем романтическая школа, и включавшей в себя много литературных, философских и политических направлений, — с эпохой, которой сам он был свидетелем. На своем веку Флобер видел несколько революций. Он родился при Реставрации Бурбонов, пережил Июльскую революцию и Июльскую монархию, Февральскую революцию, декабрьский переворот 1851 года и теперь наблюдал Вторую империю, «эпоху безумия и позора», по определению Эмиля Золя, близкую к своему концу.

Он был республиканцем еще тогда, когда писал свои первые детские повести. Он радовался Февральской революции, надеясь, что новая республика сделает что-нибудь доброе для населения страны. И после каждой революции наступала реакция, после взрыва надежд — разочарование и отчаяние.

Основной и самый страшный грех современности, по мнению Флобера, — это субъективизм, отсутствие всякой системы, всякой научности мышления, нежелание считаться с разумом, с логикой, недоверие к знанию. Люди не привыкли и не хотят мыслить. Они больше верят чувству, «сердцу», «первому движению». Они дурманят себя словами, которые вызывают приятное волнение, но не заключают в себе никакого содержания. Все бедствия, обрушившиеся на Францию в течение столетия, позорные предательства и политические мошенничества — все это, по мнению Флобера, свидетельствует о нежелании научно мыслить и о торжестве «личного» начала, то есть произвола и умственной анархии. Предоставив полный простор «чувству», отдаваясь любому порыву, волнению минуты, французы закрыли себе возмож-

ность систематического труда и объективного, научного познания действительности. Этот произвол и «ячество», покорность любой эмоции, вспыхнувшей по тому или иному случаю, получили свое отражение и в теории «личной поэзии», которая раздражала Флобера в творчестве Мюссе и Ламартина.

В общественной деятельности это «ячество» приводит к обожествлению своего личного интереса, который заслоняет более широкие горизонты интереса общего. Это психология собственника.

Не веря в возможность социальной революции, но понимая классовую природу политики буржуазии, идущей к своему господству, Флобер рассматривал личный интерес, страсть к чистогану как недостаток «научности», как личную и классовую ограниченность. От этого порока, по мнению Флобера, можно излечиться при помощи одной только науки, без каких-либо коренных социальных преобразований. Причина всех преступлений, совершенных буржуазией в 1848 году, полагает он, заключается в хаосе неорганизованной мысли, в сутолоке мнений, одинаково нелепых, потому что произвольных и научно необязательных, в непонимании другого человека и в фанатизме личного интереса. Вся Франция больна одной болезнью, индивидуализмом, который равен глупости, а единственно возможное спасение — выход за пределы своего интереса, своего эгоизма в область научного познания, которое создаст право, справедливость и великую новую культуру.

Это отвратительное «ячество» сквозит в разговорах перепуганных буржуа в салоне Дамбрёза и других персонажей романа. Делорье доказывает свои взгляды аргументами логики, он верит в то, что говорит, — и меняет свои убеждения, когда это оказывается выгодно. Художник Пеллерен ненавидит власть не потому, что она плоха, а потому, что его произведения не попадают на выставку. Драматург Юсоннэ ненавидит актеров с тех пор, как его пьеса была отвергнута театральным комитетом. Если она будет принята, он изменит свои симпатии и взгляды. Защита собственности ссылкой на льва, «который, если бы смог заговорить, объявил бы себя собственником», и гнев коммерсанта, который желал задушить Прудона, «и задушил бы, если бы мог», — все это омерзительное и глупое изображено с необычайной правдивостью. Лучше, чем кто-либо другой из современных ему писателей, Флобер обнажил классовую природу политических мнений и заинтересованность идеологий. Он показал, что искажение действительности в классовом сознании буржуазии приводит к абсурду и несчастьям, терзающим Францию. И чем острее классовая борьба, чем очевиднее опасность, угрожающая буржуазным интересам, тем полнее торжествует «чувство» и парализуется «понимание». После страхов, испытанных буржуазией в 1848 году, пишет Флобер, даже «умные люди... на всю жизнь остались идиотами».

Фредерик Моро — представитель и жертва того же индивидуализма. Его поступки и мысли произвольны. Он мыслит штампами, «общепринятыми идеями», и ему не приходит в голову проверить их разумом. И себя он рассматривает сквозь те же распространенные в его время штампы. Чтобы создать великие произведения искусства, нужно любить, думает он,— и пишет романы и картины, уповая на свою любовь к госпоже Арну. Разорившись, он надеется, что нужда сделает его великим человеком, и радуется разорению. Он рассчитывает получить портфель министра по протекции почти неизвестного ему банкира Дамбрёза. Во время революции, сочувствуя восставшим, он, однако, бросается в атаку только потому, что рассердился на солдат, которые, как ему казалось, целили в него. В июньские дни Фредерик гуляет с Розанеттой по парку Фонтенебло, и восстание ему, так же как Розанетте, кажется пустяком в сравнении с их ничтожной любовью. И у Фредерика «познание» определено «чувством»,— желаниями, мечтами, штампованными идеалами мелкобуржуазного интеллигента. И он тоже несвободен, заключен в круг своего эгоизма, он тоже не может выйти за пределы своего интереса. Единственное, чем он отличается от окружающей его толпы персонажей, это его постоянное в приливах и отливах чувство к госпоже Арну.

После появления «Госпожи Бовари» и «Саламбо» критики упрекали Флобера в том, что у него нет ни одного положительного или хотя бы симпатичного героя. В «Воспитании чувств» Флобер создал наконец симпатичный образ, задуманный, как верх женского совершенства. Госпожа Арну живет в обстоятельствах, которые определяют ее жизненную позицию и нравственную задачу. Она пытается спасти свою семью великими жертвами. Она несет свое бремя безропотно, с восторгом принимает крохи счастья, выпавшие на ее долю, противостоит искушениям и не хочет ничего менять, так как не в этом видит свой долг. Она восхищена Фредериком, а он изменяет и лжет ей. Она принимает оскорбления как ежедневную пищу и не смеет никого обвинять в изменах и лжи, прозревая иногда утешающую ее правду — невысказанную любовь Фредерика.

В поведении Фредерика ложь и правда вступают в удивительные сочетания. Будучи честным юношей, он лжет всем своим близким и живет в постоянном самообмане. Он кому-то признается в любви, но это не любовь, а иллюзия. Он любит, но отказывается от любви. Он сам не знает, что он чувствует, и совершает поступки, неожиданные для себя самого. Может ли если не Фредерик, то хотя бы сам автор объяснить причины этой непоследовательности, этих внутренних противоречий, из которых так трудно найти выход?

Конечно, эти противоречия — не оплошность и не ошибка Флобера. Путаница чувств, мучающих его героя, говорит не о том, что в

душе человека ничего нельзя понять и ничему нельзя верить; Флобер не случайно пришел к таким психологическим парадоксам. Его тонкий анализ — новый метод психологического исследования, связанный с современной Флоберу наукой.

Исходя из своего основного положения — единства материи и духа, психиатры, физиологи и философы утверждали, что никакой психический процесс невозможен без движения нервных клеток. Из этого они делали вывод, что любая деятельность нервных клеток всегда сопровождается психическими процессами ощущения и чувства. Сознание только регистрирует результат этих процессов, происходящих во всех органах человеческого тела, а потому подлинная, творческая работа совершается где-то в темноте неосознанного.

Флобер, внимательно следивший за успехами психологии и психиатрии, мог узнать об этом широко распространенном учении из специальных книг, из бесед с знакомыми ему учеными, например, с И. Тэнном, который как раз в 1860-е годы писал свой труд «Об уме и познании», в основном посвященный этой проблеме. С принятой Флобером точки зрения, волевой акт нельзя рассматривать как чистый результат логического рассуждения. Поступки человека могут противоречить его намерениям и желаниям, так как они возникают из глубины подсознательного, из неясных для самого человека побуждений, инстинктов и социальных привычек, ставших «второй природой».

Поведение Фредерика объясняется этой игрой чувств, над которыми он не властен. Логика руководит им меньше, чем другими, меньше даже, чем импульсивными и чувственными натурами вроде Розанетты или господина Арну. Слабость воли и скудость событий в его жизни, несмотря на множество бестолковых поступков, объясняются здесь противоречивостью побуждений и почти равной силой борющихся сторон. Обнаружить борьбу противоположно направленных влечений, подсмотреть возникновение волевого акта, определить различные мотивы, диктующие человеку его поведение, расслышать эти голоса, звучащие где-то на границах физиологии, понять целую жизнь в ее видимой нелепости как результат этой единой борьбы — такова была задача Флобера, наиболее полно разрешенная в образе Фредерика.

Поступки сами по себе не интересуют Флобера. Ведь поступок не означает ничего, если мы не знаем вызвавших его побуждений. Эти-то побуждения и стоят в центре его внимания, и действия героя он показывает только тогда, когда за ними можно угадать причины. Фредерик после аукциона отказывается от брака с госпожой Дамбрёз и тут же удивляется своему решению; страшная душевная усталость, которую он чувствует после того, как захлопнул дверцы кареты, свидетельствует о длительной и трудной борьбе, происходившей где-то в глубине. Этот поступок не требует объяснений, он ясно и четко объяс-

няет то, о чем, может быть, не догадывался и сам герой. В последней сцене романа Фредерик отказывается от любви госпожи Арну, которую любил всю жизнь,— этот жест непонятен сам по себе, и Флобер анализирует его мотивы.

Очевидно, Фредерик ошибался в течение всей своей жизни. Так же, как он не понимал искусство, творчество, политику, людей и свое отношение к ним, он не понимал стоящих перед ним задач, своих потребностей, возможностей и характера. И все это от того же мещанского индивидуализма, от неумения или нежелания самостоятельно и «научно» мыслить. То, что его внутренняя сущность и нравственный инстинкт сопротивляются его намерениям и идейным штампам, которым он следует без критики и без размышлений, свидетельствует о том, что он не дает себе труда познать ни самого себя, ни окружающий мир с его законами и необходимостями.

В этом психологическом романе или, лучше сказать, романе нравов огромную роль играет революция. Это естественный результат Июльской монархии — как протест против нее и как ее продолжение. То же мещанское «ячество», классовые интересы, выражающиеся в форме личной выгоды, действуют и в 1848 году. Социальное благополучие, по мнению Флобера, невозможно, пока люди и общество не излечатся от этого «порока» или «свойства», и потому революция кончается переворотом 2 декабря.

Во время революций будущее приходит быстро, говорил Гюго; за какие-нибудь три-четыре года революция сменилась реакцией, все менялось много раз, но ничто не изменилось, и Вторая империя вернула страну к тому же положению, в котором она находилась до Февраля,— таков был вывод Флобера из трагических событий, которые прошли почти на его глазах. История со всеми ее переменами есть, в сущности, топтание на месте. К этой мысли приводили Флобера неудачи двух революций, но также упорное, страстное нежелание уловить в истории развитие и общественные закономерности, ведущие человечество сквозь все заблуждения и бедствия к твердо осознанным идеалам.

Флобер мог бы прийти к другим взглядам на историю и общество. В картине революции, показанной в романе, можно обнаружить четко осознанные классовые противоречия, к которым он относится далеко не безразлично. Буржуазия, ошавевшая от страха, затем торжествующая свою победу, изображена в самом отвратительном виде. Это глупцы, хитрецы, предатели и убийцы. Рабочие, которых нищета и голод приводят к Июньскому восстанию, более беспомощны, чем господствующие классы, еще раз утвердившие свое господство после кровавого избиения во время Июньских дней. Но на стороне рабочих, на стороне побежденных — справедливость, героизм, подлинно человеческие идеалы, и единственный положительный персонаж в этой массе

беснующихся стяжателей, честолюбцев и проходимцев — это Дюссардье, представитель обездоленного труда, преданный своим идеалам, сквозь заблуждения и сомнения пришедший наконец к правде, за которую отдает свою жизнь.

Флобер хотел «вымазать свою современность навозом», как индусы покрывали коровьим пометом свои храмы. Он сделал это в «Воспитании чувств». Но он избегал «выводов», потому что считал их вмешательством автора в объективную действительность. Внимательный читатель, современник Флобера, так же как читатель нашего времени, не может не сделать своих выводов из того, что предложил ему писатель. Бесстрастный роман превратился в разоблачение, осмысленное и осознанное. Можно было бы сказать, что он оказался в известном смысле пророчеством.

Все бедствия 1870 года, говорил Флобер, произошли потому, что французы не поняли его «Воспитания чувств», — так, насмехаясь над своим великим другом, рассказывал в своих воспоминаниях Максим Дюкан. Он передал нам подлинную мысль Флобера, не уловив ее смысла. Действительно, Флобер хотел показать, к каким бедствиям приводит неумение мыслить, непонимание действительности, корысть личная и классовая, и со свойственной ему наивностью считал, что, если общество поймет этот разъедающий его порок, оно избавится от него, придет к научному познанию и, следовательно, к великой общественной справедливости — без восстаний, насилий и катастроф. Это была утопия человека, паче всего боявшегося утопий.

5

Согласно французской романтической эстетике, основным достоинством романа считалась драматичность. В романах этой поры конфликт был максимально острым, а действие подчинено борьбе противоречий, почти всегда разрешавшейся трагически. Романтики понимали жизнь как борьбу противоречий, как конфликт личности и общества, а потому чем драматичнее был роман, тем глубже он проникал в самую сущность действительности, тем он был правдивее. Роман Бальзака подчинялся тому же закону.

Во второй половине XIX века представления о жизни и, следовательно, о художественной правде сильно изменились. Жизнь человека в обществе рассматривалась не как борьба, а как монотонное, пошлое, лишенное кризисов и катаклизмов существование.

Такой видели свою современность те, кто, чувствуя отвращение к царству чистогана, жаждали более напряженной работы ума и более рациональной общественной жизни. События банальны, страсти ничтожны, интересы ограничены бытом, а потому искать в этом существовании

острых конфликтов и катастроф значит придумывать то, чего нет. В творчестве Флобера, Гонкуров, Золя драма была сведена до минимума.

В «Госпоже Бовари» действия очень мало, два адюльтера растворены в пошлости провинциальной жизни, а самоубийство и смерть Эммы лишены какого-либо героизма. Однако страсть, самоубийство, смерть сами по себе драматичны, и уже после того, как роман был напечатан, Флобер решил, что его произведение недостаточно правдиво, что оно подчинилось старым традициям драматического романа. Принимаясь за новый роман из современной жизни, он попытался совсем лишить его драмы, то есть сделать его еще более правдивым хотя бы даже ценою отказа от искусства. Но пожертвовать искусством ради правды значило создать новое искусство, соответствующее новой действительности и вместе с тем новым требованиям, к ней предъявляемым.

В «Воспитании чувств» нет почти никаких внешних катастроф, ни убийств, ни самоубийств, ничего, что ломало бы уклад частной жизни. Смерть Дюссардье является только фоном, на котором влачат свое существование главные герои. Это движение в неподвижности, толчея обыденной жизни, ничего не меняющая в своем бестолковом движении. Флобер с удивительной последовательностью развивал то, что формулировал в своих юношеских письмах и выразил уже в первом романе.

Развивается и другой эстетический принцип, поразивший читателей уже в «Госпоже Бовари», — принцип безличности. В «Воспитании чувств» герои еще больше освобождаются от автора. Они существуют сами по себе, они проходят перед нами словно в каком-то бесцветном фильме, в едва уловимых оттенках добра и зла, и читателю приходится «работать» над ними, соучаствовать в творчестве автора, чтобы найти ключ, в котором нужно воспринимать эту унылую действительность, показанную с таким мастерством и с таким авторским самоотречением.

В «Госпоже Бовари» Флобер пытался, насколько возможно, избегать повествования, блестящим мастером которого в то время считался Александр Дюма. Описания, столь обильные у Бальзака, также не привлекали Флобера. Лишь в редких случаях он пользовался диалогом, который ввел в роман Вальтер Скотт. Флоберу казалось, что такими средствами трудно передать душевные тайны героя, непонятные ему самому. Он открыл для современной литературы «несобственную прямую речь», то есть внутреннюю речь персонажа, не высказанную в разговоре, не оформленную словом.

Эмма размышляет о своей судьбе, о муже, о любовниках — и автор передает ее думы и переживания так, словно это она сама говорит о них в глубине своей души. Она никогда бы не рассказала об этом никому, не призналась бы и самой себе в том, что переживает такое странное и невыразимое, потому что есть в человеке какая-то стыдливость, которая не позволяет доверить своих чувств слову, даже сказанному наедине.

«В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен,— за таких, наверно, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону». Слова эти, произнесенные самой Эммой, показались бы слишком уж наивными и прямо нелепыми. Но мы знаем, что она не говорит этого. Это ее ощущение, ее тоска, не оформленная в слове, не поддающаяся выражению. Художник выразил ее чувства, едва ею осознанные, в точных, отточенных, волнующих фразеах. Ее подруги живут жизнью, от которой «их сердца радуются, их чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца». Конечно, ей самой таких слов не придумать, но трудно было бы лучше формулировать ощущения, которые приведут ее к адюльтеру и самоубийству. То же происходит и с Шарлем Бовари, который переживает свое счастье, словно человек, только что съевший за обедом трюфели: «Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его... Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадрили, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить?»

При первом чтении можно было бы принять эту страницу за авторскую речь, затем — за внутреннюю речь, которую произносит человек, размышляющий о своем счастье. Но здесь нет ни того, ни другого. Этих слов не произносит никто. Они передают не процесс размышления, не ход мысли, как могло бы показаться, а сумму впечатлений, которую носит с собой Шарль Бовари, след пережитого, лежащего грузом за пределами сознания, состояние духа, которое он не смог бы формулировать и даже четко осознать.

Но прошли годы, и в «Воспитании чувств» Флобер отказывается от этого способа психологического анализа, созданного с таким проникновением и любовью. Вероятно, ему казалось, что в такой передаче душевного состояния персонажей много субъективного, авторского, слишком откровенного и даже навязчивого. И он разрабатывает другой метод, еще более «объективный»: изображение психологии персонажей при помощи окружающего их внешнего мира, мира вещей.

Фредерик видит госпожу Арну — и Флобер описывает ее ногу, платье, свет, который ее озаряет. Фредерик собирается произнести речь в каком-то клубе — и Флобер описывает толпу людей, крики, нелепости, провозглашаемые с трибуны, нелепости, которые говорит сам Фредерик.

Он узнает, что госпожи Арну нет дома, и вслед за этим идут кадры парижского бульвара, группы людей на тротуарах, зеркала кафе, цвет лица проходящих женщин. И только после этого в нескольких кратких

словах — настроение Фредерика, наслаждающегося всем этим зрелищем только потому, что надеется через несколько дней увидеть госпожу Арну.

В других случаях и вообще ничего не говорится о том, что чувствует и думает герой,— читатель должен сам это понять, догадаться, «сделать вывод», от которого воздерживается автор. Вместо «несобственной прямой речи» средством психологической характеристики служит «поток вещей», среда, проходящая перед взором героя.

«Воспитание чувств» вышло в свет накануне франко-прусской войны, падения Второй империи, последовавшей за ним Парижской коммуны и утверждения Третьей республики. В таких обстоятельствах появление нового романа не могло привлечь к себе внимания широких кругов читателей. Десять лет роман не переиздавался, и только к 1880 году, после выхода в свет второго издания, он попал в поле внимания читателей и критиков. Флобер вдруг оказался главой литературной школы, возникшей в 1870-е годы под влиянием Золя и называвшей себя натуралистической.

Пожалуй, лучшую оценку роману дала Жорж Санд, во многом не соглашавшаяся с Флобером в эстетическом и политическом плане. «Что доказывает твоя книга, писатель юмористический, насмешливый, суровый и мудрый? Не отвечай мне. Я знаю, я вижу это. Она доказывает, что наше общественное состояние пришло к своему разложению и что его следует коренным образом изменить. Она доказывает это столь убедительно, что никто не поверит тебе, если ты стапешь утверждать противное».

6

Тяжело пережив поражение Франции в 1870 году, не поняв Парижской коммуны и ожидая военной и политической гибели страны, Флобер чувствовал, что сходит с ума: «Целые водопады, реки, океаны отчаяния проливаются на меня... Вот до чего довело нас нежелание смотреть правде в глаза! Любовь к фальши и обману!» И вновь он повторяет то, что говорил всю жизнь: только наука, трезвое различение понятий и исследование действительности поведет мир по верному пути, только в науке спасение. В последнем и окончательном варианте «Искушения святого Антония», философской драмы, законченной в 1872 году и напечатанной в 1874 году,— настоящее славословие науке и вместе с тем изумительная в своей образности критика сменявших одна другую религий, на развалинах которых вырастает до гигантских размеров фигура Илариона, воплощающего Знание.

Как всегда, перемежая современную тему с исторической, Флобер вдруг взялся за комедию. Из трех им написанных одна, «Кандидат», поставленная на сцене в 1874 году, заслуживает некоторого внимания — она осмеивает выборы в буржуазный парламент.

Жанр этот не удавался Флоберу, и в середине семидесятых годов он начинает работать над повестями. Сборник «Три повести» (1874) включает «Иродиаду» с сюжетом из древнего мира, средневековую «Легенду о святом Юлиане Странноприимце» и повесть «Простая душа». Из них самая замечательная — последняя, которая является одним из лучших, на наш взгляд, созданий Флобера. А. М. Горький вспоминает впечатление, какое произвела на него эта повесть, прочитанная в детстве: «Я... точно оглох, ослеп,— шумный весенний праздник заслонила передо мной фигура обыкновенной бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений».

Последние годы своей жизни Флобер работал над романом, который потребовал огромного труда и остался незаконченным. Он назывался по имени двух героев «Бувар и Пекюше» и был напечатан после смерти Флобера. Смысл книги пояснен в подзаголовке: «О недостатке метода в науках». Еще раз писатель возвращается к идее, беспокоившей его в течение всей жизни: средствами правдивого искусства спасти человечество и, в частности, Францию от заливающей их мещанской глупости.

Бувар и Пекюше — пожилые добродушные, невежественные, материально обеспеченные люди — решили познать все науки. Не понимая ни метода, ни предмета исследования, они делают чудовищные и смехотворные ошибки, многие из которых Флобер нашел в сочинениях, печатавшихся в его время. Это беспощадная критика многих современных ему научных заблуждений, но никак не огульное отрицание всего, что было достигнуто человечеством на пути к знанию.

* * *

Девяносто лет, протекшие после смерти Флобера, не уменьшили значения его творчества. Пожалуй, даже наоборот: теперь мы лучше понимаем его и сочувствуем ему в его ненависти и в его надеждах. Сложный путь, им пройденный, кажется нам естественным и исторически необходимым, а потому простым и понятным.

Мы не можем рассматривать его Круассе, где он создавал свои произведения, как «башню из слоновой кости». Выход из «царства необходимости» в «царство свободы», то есть в мир чистых идей и «высшей правды», был для него не бегством от действительности, а борьбой с нею. Мы понимаем его творческий подвиг как шаг вперед в истории человеческой мысли и как жертву, принесенную ради далекого, для него самого непостижимого будущего.

Б. РЕИЗОВ

ГОСПОЖА БОВАРИ

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ,
*парижскому адвокату,
бывшему президенту Национального собрания
и министру внутренних дел*

Дорогой и знаменитый друг!

Позвольте мне поставить Ваше имя на первой странице этой книги, перед посвящением, ибо Вам главным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестящая защитительная речь указала мне самому на ее значение, какого я не придавал ей раньше. Примите же эту слабую дань глубочайшей моей признательности за Ваше красноречие и за Ваше самопожертвование.

Гюстав Флобер

Париж, 12 апреля 1857 г.

Посвящается
ЛУИ БУЙЛЕ

I

Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему «новичка» и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий.

Директор сделал нам знак сесть по местам, а затем, обратившись к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже! Рекомендую вам нового ученика — он поступает в пятый класс. Если же он будет хорошо учиться и хорошо себя вести, то мы переведем его к «старшим» — там ему надлежит быть по возрасту.

Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика, держался он чинно, несмотря на крайнее смущение. Особой крепостью сложения он не отличался, а все же его зеленая суконная курточка с черными пуговицами, видимо, жала ему в проймах, из обшлагов высовывались красные руки, не привыкшие к перчаткам. Он чересчур высоко подтянул помочи, и из-под его светло-коричневых брючек выглядывали синие чулки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные, подбитые гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив дыхание, как слушают проповедь в церкви, боялся заложить ногу на ногу, боялся облокотиться, а в два часа, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось окликнуть его, иначе он так и не стал бы в пару.

При входе в класс нам всегда хотелось поскорее освободить руки, и мы обыкновенно бросали фуражки на пол; швырять их

полагалось прямо с порога под лавку, но так, чтобы они, ударившись о стену, подняли как можно больше пыли; в этом заключался особый шик.

Быть может, новичок не обратил внимания на нашу поделку, быть может, он не решился принять в ней участие, но только молитва кончилась, а он все еще держал фуражку на коленях. Она представляла собою сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки,—словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков красным околышем, шли попеременно ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, а с этого многоугольника свешивалась на длинном тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее козырек блестел.

— Встаньте, — сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал.

Он нагнулся и поднял фуражку. Сосед сбросил ее локтем — ему опять пришлось за ней нагибаться.

— Да избавьтесь вы от своего фургона! — сказал учитель, не лишенный остроумия.

Дружный смех школьников привел бедного мальчика в замешательство — он не знал, держать ли ему фуражку в руках, бросить ли на пол или надеть на голову. Он сел и положил ее на колени.

— Встаньте — снова обратился к нему учитель, — и скажите, как ваша фамилия.

Новичок пробормотал нечто нечленораздельное.

— Повторите!

В ответ слышалось то же глотание целых слогов, заглушаемое гиканьем класса.

— Громче! — крикнул учитель. — Громче!

Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во всю силу легких, точно звал кого-то, выпалил:

— Шарбовари!

Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти *crescendo*¹, со звонкими выкриками (класс грохотал, гоготал, топотал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), а затем распался на

¹ Нарастая (*итал.*).

отдельные голоса, но долго еще не мог утихнуть и время от времени пробегал по рядам парт, на которых непогасшею шутихой то там, то здесь вспыхивал приглушенный смех.

Под градом окриков порядок мало-помалу восстановился, учитель, заставив новичка продиктовать, произнести по складам, а потом еще раз прочитать свое имя и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бовари» и велел бедняге сесть за парту «лентяев», у самой кафедры. Новичок шагнул, но сейчас же остановился в нерешимости.

— Что вы ищете? — спросил учитель.

— Мою фу... — беспокойно оглядываясь, робко заговорил новичок.

— Пятьсот строк всему классу!

Это грозное восклицание, подобно «Quos ego!»¹, укротило вновь поднявшуюся бурю.

— Перестанете вы или нет? — еще раз прикрикнул разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носовой платок, отер со лба пот. — А вы, новичок, двадцать раз проспрягаете мне в тетради *ridiculus sum*². — Несколько смягчившись, он прибавил: — Да найдется ваша фуражка! Никто ее не украл.

Наконец все успокоились. Головы склонились над тетрадями, и оставшиеся два часа новичок вел себя примерно, хотя время от времени прямо в лицо ему попадали метко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Он вытирал лицо рукой, но позы не менял и даже не поднимал глаз.

Вечером, перед тем как готовить уроки, он разложил свои школьные принадлежности, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, как добросовестно он занимался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо всех сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у него получались неуклюжие, так что в старший класс его, видимо, перевели только за прилежание. Родители, люди расчетливые, не спешили отдавать его в школу, и основы латинского языка ему преподавал сельский священник.

У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, отставного ротного фельдшера, в 1812 году вышла некрасивая история, связанная с рекрутским набором, и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим личным качествам он сумел прихватить мимоходом приданое в шестьдесят тысяч франков, которое владелец шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстившейся наружностью фельдшера. Красавчик, говорун,

¹ Вот я вас! (лат.)

² Я смешон (лат.).

умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с подусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший рядиться во все яркое, он производил впечатление бравого молодца и держался с коммивояжерской бойкостью. Женившись, он года два-три проживал приданое — плотно обедал, поздно вставал, курил фарфоровые чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто заглядывал в кафе. Тесть оставил после себя немного; с досады г-н Бовари завел было фабрику, но, прогорев, удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Однако в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем в ситцах, на лошадях своих катался верхом, вместо того чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, лучшую живность со своего птичьего двора съедал сам, охотничьи сапоги смазывал салом своих свиней — и вскоре пришел к заключению, что всякого рода хозяйственные затеи следует бросить.

За двести франков в год он снял в одном селении, расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и помещичьей усадьбой и, удрученный, преисполненный поздних сожалений, ропща на бога и всем решительно завидуя, разочаровавшись, по его словам, в людях, сорока пяти лет от роду уже решил затвориться и почить от дел.

Когда-то давно жена была от него без ума. Она любила его рабской любовью и этим только отталкивала его от себя. Смолоду жизнерадостная, общительная, привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся вину, которое превращается в уксус, сделалась неуживчивой, сварливой, раздражительной. Первое время она, не показывая виду, жестоко страдала от того, что муж гонялся за всеми деревенскими девками, от того, что, побывав во всех зланных местах, он являлся домой поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою злобу под плитой безмолвного стоицизма — и такою оставалась уже до самой смерти. У нее всегда было столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвокатам, к председателю суда, помнила сроки векселей, добивалась отсрочки, а дома гладила, шила, стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, меж тем как ее беспечный супруг, скованный брюзгливым полусном, от которого он возвращался к действительности только для того, чтобы сказать жене какую-нибудь колкость, покуривал у камина и сплевывал в золу.

Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Потом, взяв мальчугана домой, они принялись портить

его, как портят наследного принца. Мать закармливала его сладким; отец позволял ему бегать босиком и даже, строя из себя философа, утверждал, что мальчик, подобно детенышам животных, вполне мог бы ходить и совсем голым. В противовес материнским устремлениям он создал себе идеал мужественного детства и соответственно этому идеалу старался развивать сына, считая, что только суровым, спартанским воспитанием можно укрепить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленном помещении, учил пить большими глотками ром, учил глумиться над религиозными процессиями. Но смирному от природы мальчику все это не прививалось. Мать таскала его за собой всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, произносила нескончаемые монологи, исполненные горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от душевного одиночества, она сосредоточила на сыне все свое неутоленное, обманувшееся честолюбие. Она мечтала о том, как он займет видное положение, представляла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, поступает на службу в ведомство путей сообщения или же в суд. Она выучила его читать, более того — выучила петь два-три романса под аккомпанемент старенького фортепьяно. Но г-н Бовари не придавал большого значения умственному развитию: «Все это зря!» — говорил он. Разве они в состоянии отдать сына в казенную школу, купить ему должность или торговое дело? «Не в ученье счастье, — кто победо-вей, тот всегда в люди выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а мальчуган между тем носился по деревне.

Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них комья земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворостиной в руке пас индюшек, разгребал сено, бегал по лесу; когда шел дождь, играл на церковной паперти в «классы», а по большим праздникам, вымолив у пономаря разрешение позвонить, повисал всем телом на толстой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе с ней.

Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки у него стали сильные, щеки покрылись живым румянцем.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать решительно заявила, что его пора учить. Заниматься с ним попросили священника. Но польза от этих занятий оказалась невелика, — на уроки отводилось слишком мало времени, к тому же они постоянно срывались. Священник занимался с ним в ризнице, стоя, наспех, урывками, между крестинами и похоронами, или, если только его не звали на требы, посылал за учеником после вечерни. Он уводил его к себе в комнату, там они оба усажива-

лись за стол; вокруг свечки вилась мошкара и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дремал, а немного погодя и старик, сложив руки на животе и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь иной раз со святыми дарами от больного и видя, что Шарль проказничает в поле, он подзывал его, с четверть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их прерывал дождь или знакомый прохожий. Впрочем, священник всегда был доволен своим учеником и даже говорил, что у «юноши» прекрасная память.

Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бовари настояла на своем. Г-н Бовари устыдился, а вернее всего разговоры об этом ему просто-напросто надоели, но только он сдался без боя, и родители решили ждать лишь до той поры, когда мальчуган примет первое причастие, то есть еще один год.

Прошло полгода, а в следующем году Шарля наконец отдали в руанский коллеж, — в конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти святого Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.

Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в положенные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его опытный торговец скобяным товаром с улицы Гантри — раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал Шарля из училища и посылал пройти по набережной, поглядеть на корабли, а в семь часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их тремя облатками, затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том «Анахарсиса», валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем.

Благодаря своей старательности он учился не хуже других, а как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В нашем коллеже он пробыл всего три года, а затем родители его взяли — они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет подготовиться самостоятельно.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она уговорила с красильщиком насчет пансиона, раздобыла мебель — стол и два стула,

выписала из дому старую, вишневого дерева, кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой.

Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще клиники, да еще терапия, сверх того — гигиена и основы медицины, — смысл всех этих слов был ему неясен, все они представлялись вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак.

Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но сути не улавливал. И все же он занимался, завел себе тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои несложные повседневные обязанности, точно лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама не зная — зачем.

Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его неизменный завтрак, который он съедал по возвращении из больницы, топоча ногами от холода. А после завтрака — бегом на лекции, в анатомический театр, в больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру. Вечером, после несытного обеда у хозяина, он шел в свою комнату, снова садился заниматься — поближе к раскаленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды шел пар.

В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в волан, он открывал окно и облокачивался на подоконник. Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами набережных, текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, над крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за городом! Как прохладно в буковой роще! И Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни, но запах не долетал.

Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился оттенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным.

Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не

явился в клинику, на другой день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить на занятия.

Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино. Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику костяшками с черными очками — это казалось ему высшим проявлением самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многие из того, что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал назубок, восхищался Беранже, научился готовить пунш и познал наконец любовь.

Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился на экзаменах и звания лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни!

Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного повеселел. Г-н Бовари узнал правду только через пять лет. К этому времени она уже устарела, и г-н Бовари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не допускал мысли, что его отпрыск — болван.

Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену и все, что требовалось по программе, затвердил наизусть. Отметку он получил довольно приличную. Какой счастливый день для матери! Дома по этому случаю был устроен пир.

Да, но где бы ему применить свои познания? В Тосте. Там был только один врач, и притом уже старый. Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника поселился напротив его дома.

Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него место в Тосте — это еще не все, его надо женить. И г-жа Бовари нашла ему невесту — вдову дьеппского судебного исполнителя, женщину сорока пяти лет, но зато имевшую тысячу двести ливров годового дохода.

Госпожа Дюбюк была некрасива, суха, как жердь, прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у нее не переводились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари пришлось их устранить, и действовала она

так ловко, что ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, за которого стояло местное духовенство.

Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и своими средствами. Но супруга забрала над ним силу: она наказывала ему говорить при посторонних то-то и не говорить того-то, он должен был поститься по пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили. Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью.

По утрам она не могла обойтись без шоколаду; она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стоило от нее уйти — и она изнывала в одиночестве; стоило к ней вернуться — ну конечно, вернулся посмотреть, как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил домой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку: он ее забыл, он любит другую! Недаром ей предсказывали, что она будет несчастна. А кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для поправления здоровья и немножко больше любви.

II

Как-то ночью, часов около одиннадцати, их разбудил топот коня, остановившегося у самого крыльца. Служанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала переговариваться с человеком, который находился внизу, на улице. Он приехал за доктором, — он привез ему письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице, повернула ключ, один за другим отодвинула засовы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вручил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, начал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. Барыня от смущения повернулась лицом к стене.

Письмо, запечатанное маленькой, синего сургуча, печатью, содержало мольбу к г-ну Бовари как можно скорее прибыть на ферму Берто и оказать помощь человеку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор,

добрых шесть лье. Ночь была темная. Г-жа Бовари-младшая высказала опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. Поэтому условились, что конюх, доставивший письмо, поедет сейчас же, а Шарль — через три часа, как только взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, покажет дорогу на ферму и отперет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, поплотней закутавшись в плащ, выехал в Берто. Он все еще был разнежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаюкивала его. Когда лошадь неожиданно останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и начинал перебирать в памяти все известные ему случаи переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет, на голых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, и перышки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, куда ни посмотришь, расстилались ровные поля, и на этом огромном сером пространстве, сливавшемся вдаль с пасмурным небом, редкими темно-лиловыми пятнами выделялись лишь купы деревьев, что росли вокруг ферм. Шарль по временам открывал глаза; потом сознание его уставало, на него снова напала дремота, он быстро погружался в какое-то странное забытие, в котором недавние впечатления мешались с воспоминаниями, и сам он двоился: был в одно и то же время и студентом, и женатым человеком, лежал в постели, как только что перед этим, и проходил по хирургическому отделению, как когда-то давно. Он не отличал горячего запаха припарок от сильного запаха росы; ему слышались одновременно скрип железных колечек полога, скользящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание спящей жены... Проезжая через Васонвиль, Шарль увидел, что на траве у канавы сидит мальчик.

— Вы доктор? — спросил он.

Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля.

Завязав дорогой беседу со своим провожатым, лекарь узнал, что г-н Руо — один из самых богатых местных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, возвращаясь от соседа, к которому был приглашен на Крещение. Его жена умерла два года тому назад. С ним теперь только его единственная дочь, «барышня», — она-то и помогает ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже. Вот и Берто. Мальчуган, шмыгнув в лазейку, сделанную в изгороди, на минуту исчез; но очень скоро, отперев ворота, показался снова на самом краю двора.

Лошадь скользила по мокрой траве, Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь в испуге шарахнулась.

Ферма дышала довольством. В растворенные ворота конюшен были видны крупные рабочие лошади — они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из новеньких кормушек. Вдоль надворных построек тянулась огромная навозная куча, от нее валил пар, по ней, среди индюшек и кур, ходили и что-то клевали пять или шесть павлинов — краса и гордость кошских птичников. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга, висели кнуты, хомуты, полный набор сбруи; сине шерстяные потники были все в трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор шел покато, на берегу пруда весело гоготали гуси.

На пороге дома появилась вышедшая навстречу к г-ну Бовари молодая женщина в синем шерстяном платье с тремя оборками и повела его в кухню, где жарко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни побольше, другие поменьше, — в них варился завтрак для работников. В камине сушилась мокрая одежда. Совок, каминные щипцы и горло поддувального меха — все это было громадных размеров, и все это сверкало, как полированная сталь; вдоль стен тянулась целая батарея кухонной посуды, в которой отражались языки яркого пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солнца, заглядывавшие в окно.

Шарль поднялся к больному на второй этаж. Тот лежал в постели и потел под одеялами; ночной колпак он с себя сбросил. Это был маленький толстенький человек лет пятидесяти, бледный, голубоглазый, лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати стоял большой графин с водкой, из которого он время от времени пропускал для бодрости. При виде врача он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться, — а чертыхался он перед этим двенадцать часов подряд, — и начал слабо стонать.

Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. Вспомнив, как держали себя в подобных случаях его учителя, он стал подбадривать больного разными шуточками, теми ласками хирурга, которые действуют, как масло на рану. Из каретника принесли дранок на лубки. Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее осколком стекла; служанка тем временем рвала простыню на бинты, а мадемуазель Эмма старательно шила по-

душечки. Она долго не могла найти игольник, и отец на нее рассердился; она ничего ему не сказала — она только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти блестящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некрасивая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суставах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная волнистой линии изгибов. По-настоящему красивы у нее были глаза; карие, они казались черными из-за ресниц и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной смелостью.

После перевязки г-н Руо предложил доктору «закусить на дорожку».

Шарль спустился в залу. Здесь к изножию большой кровати под ситцевым балдахином с вытканными на нем турками был придвинут столик с двумя приборами и двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, висевшегося как раз напротив окна, пахло ирисом и только что выстиранными простынями. По углам стояли рядом на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не поместились в соседней кладовой, куда вели три каменные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоздике украшение всей комнаты — рисованная углем голова Минервы, а под ней готическими буквами было написано: «Дорогому папочке».

Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадемуазель Руо несладко жилось в деревне, особенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы легли на нее. В зале было прохладно, девушку пробирала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пухлые губы, которые она, как только умолкала, сейчас же начинала покусывать.

Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным — до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон, — такой прическе сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между двумя пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к се отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для бобов.

— Вы что-нибудь забыли? — обернувшись, спросила она.

— Да, извините, забыл хлыстик, — ответил Шарль.

Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями. Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой стены. Увидела его мадемуазель Эмма. Она наклонилась над мешками. Шарль, по долгу вежливости решив опередить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, нагнувшись, впереди него. Она выпрямилась и, вся вспыхнув, глядя на него вполоборота, протянула ему плетъ.

Назавтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обещал приехать через три дня, потом стал ездить аккуратно два раза в неделю, а кроме того, наезжал иногда неожиданно, якобы по рассеянности.

Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление шло по всем правилам лекарского искусства, через сорок шесть дней папаша Руо попробовал без посторонней помощи походить по своей «лачужке», и после этого о г-не Бовари стали отзываться как об очень способном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не только Ивето, но и Руана так скоро бы его не вылечили.

А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто. Если б он над этим задумался, он, конечно, объяснил бы свою внимательность серьезностью случая, а быть может, надеждой на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой причине поездки на ферму составляли для него счастливое исключение из всех прочих обязанностей, заполнявших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а неподалеку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и натягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на заборе петух, нравилось, что работники выбегают навстречу. Ему нравились конюшни и рига; нравилось, что папаша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и называет своим спасителем; нравилось, как стучат по чистому кухонному полу деревянные подошвы, которые мадемуазель Эмма подвизывала к своим кожаным туфлям. На каблуках она казалась выше; когда она шла впереди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от пола, с глухим стуком хлопали по подметкам.

Всякий раз она провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, трепал непослушные завитки на затылке, играл завязками передника, развевавшимися у нее на бедрах, точно флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на деревьях была вся мокрая и капало с крыш. Эмма постояла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскрыла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее белому лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась из-под зонта этой теплой ласке. Было слышно, как на натянутый муар падают капли.

Первое время, когда Шарль только-только еще зачастил в Берто, г-жа Бовари-младшая всякий раз осведомлялась о здоровье больного и даже отвела ему в приходе-расходной книге большую чистую страницу. Узнав же, что у него есть дочь, она поспешила навести справки. Оказалось, что мадемуазель Руо училась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, «прекрасное воспитание», то есть она танцует, знает географию, рисует, вышивает и бренчит на фортепьяно. Нет, это уже слишком!

«Так вот почему,— решила г-жа Бовари,— он весь сияет, когда отправляется к ней, вот почему он надевает новый жилет, не боясь попасть под дождь! Ах, эта женщина! Ах, эта женщина!..»

И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она тешила душу намеками — Шарль не понимал их; потом, будто ненароком, делала какое-нибудь замечание,— из боязни скандала Шарль пропускал его мимо ушей,— а в конце концов стала учинять вылазки, которые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжает ездить в Берто, раз г-н Руо выздоровел, а денег ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там есть «одна особа»,— она рукодельница, востра на язык, сходит за умную. Он этаких любит, ему городские барышни нравятся!

— Но какая же дочка Руо — барышня? — возмущалась г-жа Бовари.— Хороша барышня, нечего сказать! Дед ее был пастух, а какой-то их родственник чуть не угодил под суд, за то, что повздорил с кем-то и полез в драку. Зря она уж так важничает, по воскресеньям к обедне ходит в шелковом платье, подумаешь — графиня! Для бедного старика это чистое разоренье; ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки!

Шарлю эти разговоры опостытели, и он перестал ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элоиза в порыве страсти вынудила его поклясться на молитвеннике, что он больше

туда не поедет. Итак, он покорился, но смелое влечение бунтовало в нем против его раболепного поведения, и, наивно обманывая самого себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму дает ему право любить ее. К тому же вдова была костлява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную шаль, кончики которой висели у нее между лопатками; свой скелет она, как в чехол, упрятывала в платья, до того короткие, что из-под них торчали лодыжки в серых чулках, поверх которых крест-накрест были повязаны тесемки от ее огромных туфель.

К Шарлю изредка приезжала мать, спустя несколько дней она уже начинала плясать под дудку снохи, и они вдвоем, как две пилы, принимались пилить его и приставать к нему с советами и замечаниями. Напрасно он так много ест! Зачем подносить стаканчик всем, кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не надевает фланелевого белья.

Но вот в начале весны энгувильский нотариус, которому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тягу, захватив с собой всю наличность, хранившуюся у него в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо шести тысяч франков, которые она вложила в корабль, дом на улице Святого Франциска, но, собственно, на хозяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором было столько разговоров, никак не отразилось, если не считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось внести в это дело полную ясность. Дьепский дом был заложен и перезаложен; какую сумму она хранила у нотариуса — одному богу было известно, а доля ее участия в прибылях от корабля не превышала тысячи экю. Стало быть, эта милая дама все наврала!.. Г-н Бовари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и сказал жене, что она погубила сына, связав его с этой клячей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали в Тост. Произошло объяснение. Протекало оно бурно. Элоиза, вся в слезах, бросилась к мужу на шею с мольбой заступиться за нее. Шарль начал было ее защищать. Родители обиделись и уехали.

Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «О боже!» — вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!

С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пусто; он поднялся на второй этаж, вошел в спальню и, увидев платье жены, висевшее у изножья кровати, облокотился на письменный стол и, погруженный в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь она его все-таки любила.

Как-то утром папаша Руо привез Шарлю плату за свою сросшуюся ногу — семьдесят пять франков монетами по сорока су и вдобавок еще индейку. Он знал, что у Шарля горе, и постарался, как мог, утешить его:

— Я ведь это знаю по себе! — говорил он, хлопая его по плечу. — Я это тоже испытал! Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поле — хотелось побыть одному; упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, плачешь, молишь бога, говоришь ему всякие глупости; увидишь на ветке крота, — в животе у него черви кишат, — одним словом,дохлого крота, и завидуешь ему. А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих милых женушек, — и давай что есть мочи колотить палкой по земле; до того я ошалел, что даже есть перестал; поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воротило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой — весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно, по капельке, по чуточке, оно и утекло. Ушло, улетело, вернее, отпустило, потому в глубине души всегда что-то остается, как бы вам сказать?.. Тяжесть вот тут, в груди! Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и не к чему нам так убиваться, не к чему искать себе смерти только оттого, что кто-то другой умер... Встряхнитесь, господин Бовари, и все пройдет! Приезжайте к нам; дочь моя, знаете ли, нет-нет да и вспомнит про вас, говорит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся на кроликов в заповеднике — это вас немножко отвлечет.

Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто; там все оказалось по-прежнему, то есть как пять месяцев назад. Только груши уже цвели, а папаша Руо был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее жизнь некоторое оживление.

Считая, что с лекарем нужно быть особенно обходительным, раз у него такое несчастье, он просил его не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полегче — что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рассказывал разные истории. Шарль в одном месте невольно расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахмурился. За кофе он уже о ней не думал.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал к одиночеству. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться им благодаря новому для него радостному ощущению свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обедать, уходять и возвращать-

ся, никому не отдавая отчета, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уставал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на пользу и в делах; целый месяц все кругом говорили: «Бедный молодой человек! Какое горе!» Его имя приобрело известность, пациентов у него прибавилось, и, наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он питал какую-то неопределенную надежду, он был беспричинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел.

Однажды он приехал на ферму часов около трех; все были в поле; он вошел в кухню, но ставни там были закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Пробиваясь сквозь щели в стенах, солнечные лучи длинными тонкими полосками растягивались на полу, ломались об углы кухонной утвари, дрожали на потолке. На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана мухи, а затем, жужжа, тонули на дне, в остатках сидра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голубоватой. Эмма что-то шила, примостившись между печью и окном; голова у нее была непокрыта, на голых плечах блестели капельки пота.

По деревенскому обычаю, Эмма предложила Шарлю чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаивала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки, одну из них налила доверху, в другой только закрыла донышко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка была почти пустая, и, чтобы выпить, Эмме пришлось откатнуться назад; запрокидывая голову, вытягивая губы и напрягая шею, она смеялась, оттого что ничего не ощущала во рту, и кончиком языка, пропущенным между двумя рядами мелких зубов, едва касалась дна. Потом она села и опять взялась за работу — она штопала белый бумажный чулок; она опустила голову и примолкла; Шарль тоже не говорил ни слова. От двери дуло, по полу двигались маленькие кучки сора; Шарль следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал лишь, как стучит у него в висках и как где-то далеко во дворе кудахчет курица, которая только что снесла яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к щекам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало холоднее рукам, дотрагивалась до железной ручки больших каминных шипцов.

Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее начались головокружения, спросила, не помогут ли ей морские купанья, рассказала о монастыре, Шарль, в свою очередь, расска-

зал о своем коллеже, и так у них завязалась оживленная беседа. Они прошли к ней в комнату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, которые она получила в награду, венки из дубовых листьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом говорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только садовник у них никуда не годный; вообще бог знает что за прислуга! Эмма мечтает жить в городе — хотя бы зимой, впрочем, летней порою день все прибавляется, и в деревне тогда, наверно, еще скучнее. В зависимости от того, о чем именно она говорила, голос ее делался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал и, когда она рассказывала о себе, постепенно снижался почти до шепота, меж тем как лицо ее то озарялось радостью, и она широко раскрывала свои наивные глаза, а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смотрела скучающим взглядом из-под полуопущенных век.

Вечером, по дороге домой, Шарль вызывал в памяти все ее фразы, одну за другой, пытался припомнить их в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязаемости ясно представить себе, как она жила, когда он с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор видел ее такою, какой она предстала перед ним впервые, или же такою, какой он оставил ее только что. Потом он задал себе вопрос: что с ней станет, когда она выйдет замуж? И за кого? Увы! Папаша Руо богат, а она... она такая красивая! Но тут воображению его вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жужжанье волчка неотвязно зазвучало у него в ушах: «Вот бы тебе на ней жениться! Тебе бы на ней жениться!» Ночью он никак не мог уснуть, в горле у него все пересохло, хотелось пить; он встал, выпил воды и растворил окно; небо было звездное, дул теплый ветерок, где-то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом удобном случае сделать Эмме предложение, но язык у него всякий раз прилипал к гортани.

Папаша Руо был не прочь сбыть дочку с рук, — помогала она ему плохо. В глубине души он ее оправдывал — он считал, что она слишком умна для сельского хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором миллионов не наживешь. В самом деле, старик не только не богател, но из году в год терпел убытки, ибо хотя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел показать товар лицом, зато собственно к земледелию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни малейшей склонности. Ничем особенно он себя не утруждал, де-

нег на свои нужды не жалел — еда, тепло и сон были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньячком. Он ел всегда в кухне, один, за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, точно в театре.

Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы краснеет, — а это означало, что на днях он попросит ее руки, — папаша все обдумал заранее. Шарля он считал «мозгляком», не о таком зяте мечтал он прежде, но, с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел себя безукоризненно, все говорили, что он бережлив, очень сведущ, — такой человек вряд ли станет особенно торговаться из-за приданого. А тут еще папаше Руо пришлось продать двадцать два акра своей земли, да к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом надо было поправить вал в давильне:

«Посватается — отдам», — сказал он себе.

Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток приехал в Берто. Третий день, как и два предыдущих, прошел в том, что его отъезд все откладывался да откладывался. Папаша Руо пошел проводить Шарля; они шагали по проселочной дороге и уже собирались проститься: пора было заговорить. Шарль дал себе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди, и, как только изгородь осталась позади, он пробормотал:

— Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь.

Оба остановились. Шарль молчал.

— Ну, выкладывайте! Я и так все знаю! — сказал Руо, тихонько посмеиваясь.

— Папаша!.. Папаша!.. — лепетал Шарль.

— Я очень доволен, — продолжал фермер. — Девочка, наверно, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, прощайте, — я пойду домой. Но только если она скажет «да», не возвращайтесь — слышите? — во избежание сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А чтобы вы не томились, я вам подам знак: настежь распахну окно с той стороны, — вы влезете на забор и увидите.

Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тропинку и стал ждать. Прошло тридцать минут, потом он отметил по часам еще девятнадцать. Вдруг что-то стукнуло об стену — окно распахнулось, задвижка еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. При виде его Эмма вспыхнула, но, чтобы не выдать волнения, попыталась усмехнуться. Папаша Руо обнял будущего зятя. Заговорили о материальной стороне дела; впрочем, для

этого было еще достаточно времени — приличия требовали, чтобы бракосочетание состоялось после того, как у Шарля кончится траур, то есть не раньше весны. Зима прошла в ожидании. Мадемуазель Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она шила сама по картинкам в журнале мод, который ей дали на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуждали приготовления к свадьбе, совещались, в какой комнате устроить обед, уславливались о количестве блюд и относительно закусок.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при свете факелов, но папаше Руо эта затея не пришлась по душе. И вот наконец сыграли свадьбу: гостей съехалось сорок три человека, пир продолжался шестнадцать часов, а утром — опять за то же, и потом еще несколько дней доедали остатки.

IV

Приглашенные начали съезжаться с раннего утра в колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках с кожаными занавесками, а молодежь из соседних деревень, стоя, выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, чтобы не упасть, держалась за грядки, — так сильно трясло. Понаехали и те, что жили в десяти милях отсюда, — из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Шарль и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми друзьями, с которыми были до этого в ссоре, разослали письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли из виду.

Время от времени за изгородью щелкал бич, вслед за тем ворота растворялись, во двор въезжала повозка. Коня лихо подкатывали к самому крыльцу, тут их на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась, — из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе колени, потягивались. Дамы были в чепцах, в сшитых по-городски платьях с блестящими на них золотыми цепочками от часов, в накидках, концы которых крест-накрест завязывались у пояса, или же в цветных косыночках, сколотых на спине булавками и открывавших сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их папаша, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых костюмах (многие из них сегодня первый раз в жизни надели сапоги), молча стояла какая-нибудь рослая девочка лет четырнадцати — шестнадцати, наверно, их кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ради такого случая удлиненном, с волосами, жир-

ными от розовой помады, вся красная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лошадей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. Их одежда находилась в строгом соответствии с занимаемым ими положением в обществе — одни приехали во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, четвертые в куртках, и все это у них было добротное, вызывавшее к себе почтительное отношение всех членов семьи, извлекавшееся из шкафов только по торжественным дням: сюртуки — с длинными разлетающимися лапами, с цилиндрическими воротничками, с широкими, как мешки, карманами; куртки — толстого сукна, к которым обыкновенно полагалась фуражка с медным ободком на козырьке; пиджачки — кургузые, с двумя пуговицами на спине, посаженными так близко, что они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленными плотником из цельного дерева. Некоторые (эти, разумеется, сидели за столом на самых непочетных местах) явились даже в парадных блузах, то есть в таких, отложные воротнички которых лежали на плечах, спинку же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко подпоясанный вышитый кушак.

А на груди панцирями выгибались крахмальные сорочки! Мужчины только что подстриглись, — поэтому уши у них торчали, — и тщательно побрились; у тех, что встали нынче еще до рассвета и брились впотьмах, под носом были видны поперечные царапины, а на скулах — порезы величиною с трехфранковую монету; дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широкие, одутловатые лица кто-то отделал под розовый мрамор.

Так как от фермы до мэрии считалось не больше полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвращались из церкви, после венчанья, на ферму. Шествие, двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхавшейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдельные группы, увлекшиеся разговором. Впереди всех выступал музыкант со скрипкой, затейливо разукрашенной лентами; за ним шли новобрачные, потом сбившиеся в одну кучу родные и знакомые, а позади обрывала овсинки и под шумок затевала возню детвора. Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли; время от времени она останавливалась, подбирала его и осторожно снимала колючки затянутыми в перчатки пальцами, а Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша Руо, в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами чуть не до ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, который в глубине души презирал все это общество и явился на свадь-

бу в простом однобортном, военного покроя сюртуке, расточал трактирные комплименты белокурой крестьянской девушке. Девушка приседала, краснела, не знала, что отвечать. Гости толковали о своих делах, а иные подтрунивали друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. Музыкант все играл, все играл; прислушавшись, можно было различить его пикиканье. Как только скрипач замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же останавливался перевести дух, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигался дальше, то поднимая, то опуская гриф, — это помогало ему держать такт. Заслышав издали его игру, птички разлетались в разные стороны.

Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить — на десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, а вокруг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженный невысокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсинных долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах — кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз.

Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно — поиграть в «пробку», а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживилось, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу — упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели

влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева — кто бранился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи.

Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь в кухне. Дети уснули под лавками.

Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее один из их родственников, торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы), начал было прыскать водой в замочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе гостей; этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не посоветовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался — он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси.

Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно.

Зато наутро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже самые злые насмешники — и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издали было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали — Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены; он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю, — ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу.

Старая служанка поздоровалась со своей новой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за другую белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке, между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами, поблескивали часы

с головой Гиппократ. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля — каморку шагов в шесть шириной, — там стоял стол, три стула и рабочее кресло. Тома «Медицинской энциклопедии», хотя и неразрезанные, но после многочисленных перепродаж успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком шесть полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом, проникавшим сквозь стену, зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую, — там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся.

Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый священник.

Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комодѣ привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна на секретере стоял в графине букет флёрдоранжа, перевязанный белой атласною лентою. То был букет новобрачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если вдруг умрет и она.

С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже стала расспрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти и за тильбюри.

Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых была ему прежде незнакома, представляли для него неиссякаемый источник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах,— Шарль видел там уменьшенного самого себя, только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облакачивалась на подоконник, между двумя горшками с геранью, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь. Шарль садился верхом, посылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечною пыльною лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и, весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей.

Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные? Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него

было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадрили, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить? Потом он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестною, боготворимою им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности, он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом; он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец — это было выше его сил; он то взасос целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас.

До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова: «блаженство», «страсть», «упоение» — слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

VI

В детстве она прочла «Поля и Виргинию» и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичьим гнездом в руках.

Когда ей исполнилось тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Остановились они в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; ужин подали им на тарелках, на которых были нарисованы сцены из жизни мадемуазель де Лавальер. Апокрифического характера надписи, исцарапанные ножами, прославляли религию, чувствительность, а также роскошь королевского двора.

Первое время она совсем не скучала в монастыре; ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доставить ей развлечение, водили ее в часовню, соединенную с трапезной длинным коридором. На переменах она особой резвости не

проявляла, катехизис ей давался легко, и на трудные вопросы викария всякий раз отвечала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, окруженную бледнолицыми женщинами, носившими четки с медными крестиками, ее постепенно заворачивала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Стоя за обедней, она, вместо того чтобы молиться, рассматривала в своей книжке обведенные голубой каймой заставки духовно-нравственного содержания; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она долго ломала себе голову, какой бы ей дать обет.

Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в полутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, вечного бракосочетания как-то особенно умиляли ее.

Вечерами, перед молитвой, им обыкновенно читали что-нибудь душеспасительное: по будням — отрывки из священной истории в кратком изложении или «Беседы» аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия, — отдельные места из «Духа христианства». Как она слушала вначале эти полновзвучные пени романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности! Если бы детство ее протекло в торговом квартале какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее мог бы охватить пламенный восторг перед природой, которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она хорошо знала деревню; мычанье стад, молочные продукты, плуги — все это было ей так знакомо! Она привыкла к мирным картинам, именно поэтому ее влекло к себе все необычное. Если уж море, то чтобы непременно бурное, если трава, то чтобы непременно среди развалин. Это была натура не столько художественная, сколько сентиментальная, ее волновали не описания природы, но излияния чувств, в каждом явлении она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, и отметала как ненужное все, что не удовлетворяло ее душевных потребностей.

Каждый месяц в монастырь на целую неделю приходила старая дева — белошвейка. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, разорившемуся во время революции, поэтому ей покровительствовал сам архиепископ и ела она за одним

столом с монахинями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убегали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она рассказывала разные истории, сообщала новости, выполняла в городе любые поручения и потихоньку давала читать старшим ученицам романы, которые она всюду носила с собой в кармане передника и которые сама глотала во время перерывов целыми главами. Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороньем коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, Прекрасная Ферроньера и Клеманс Изор — все они, точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие во мраке, никак между собою не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, зверства Людовика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людовика XIV.

На уроках музыки она пела только романсы об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный напев этих безвредных вещей проступала для нее пленительная фантасмагория жизни сердца. Пэдруги Эммы приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили на Новый год. Их приходилось прятать, и это было не так-то просто; читали их только в дортуарах. Чуть дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов,

Эмма останавливала восхищенный взор на указанных под стихами именах неизвестных ей авторов — по большей части графов и виконтов.

От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, загнувшись, приподнималась кверху, а потом снова медленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводило Эмму в трепет. Бумага прикрывала то юношу в коротком плаще, за балюстрадой балкона обнимавшего девушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портреты неизвестных английских леди с белокурыми локонами, глядевших большими ясными глазами из-под круглых соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в коляске, скользившей по парку, а впереди бежавших рысью лошадей, которыми правили два маленьких грума в белых рейтузах, вприпрыжку неслась борзая. Другая леди, в мечтательной позе раскинувшись на софе и положив рядом с собой распечатанное письмо, глядела на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, целовались с горлинками между прутьев готических клеток или, улыбаясь, склонив головку набок, обрывали лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, острыми, как носки у туфельек. Там были и вы, султаны с длинными чубуками, под навесами беседок млеющие в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, фески, но особенно обильно там были представлены вы, в блеклых тонах написанные картины, изображающие некие райские уголки, картины, на которых мы видим пальмы и тут же рядом — ели, направо — тигра, налево — льва, вдали — татарский минарет, на переднем плане — руины древнего Рима, поодаль — разлегшихся на земле верблюдов, причем все это дано в обрамлении девственного, однако тщательно подметенного леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, дробящимся в воде серо-стального цвета, а на фоне воды белыми пятнами вырезаются плавающие лебеди.

И все эти виды земного шара, непрерывной чередой мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине спальни под стук запоздалой пролетки, доносившийся издалека, с какого-нибудь бульвара, озарял свет лампы под абажуром, висевшей прямо над головою девушки.

Когда у нее умерла мать, она первое время плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, и поехал к ней. Эмма

в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до трудно достижимого идеала отрешения от всех радостей жизни — идеала, непосильного для людей заурядных. Словом, она попала в сети к Ламартину, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шорох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос предвечного, звучащий в долине. Все это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом признаться и продолжала грустить — сперва по привычке, потом из самолюбия, но в конце концов, к немалому своему изумлению, почувствовала, что успокоилась, что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу.

Добрые инокини, с самого начала столь проницательно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, теперь были крайне поражены, что мадемуазель Руо, видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили за тем, чтобы она выстаивала службы, часто заводили с ней разговор об отречении от мира, были щедры на молитвы и увещания, внушали ей, как надо чтить мучеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, как должно укрощать плоть и спасти душу, и в конце концов довели ее до того, что она, точно лошадь, которую тянут за узду, вдруг остановилась как вкопанная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура, при всей своей восторженности, рассудочная: в церкви ей больше всего нравились цветы, в музыке — слова романсов, в книгах — волнения страстей, таинства же она отвергала, но еще больше ее возмущало послушание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. Настоятельница даже заметила, что последнее время Эмма была недостаточно почтительна с монахинями.

Дома она сперва охотно командовала слугами, но деревня ей скоро опротивела, и она пожалела о монастыре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она окончательно разочаровалась в жизни, что она все познала, все испытала.

Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала.

Порой ей приходило в голову, что ведь это же лучшие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. Но, чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, удалиться в края, носящие звучные названия, в края, где первые послесвадебные дни бывают полны такой чарующей неги! Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим звукам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звезды и мечтать о будущем! Эмма думала, что есть такие места на земле, где счастье хорошо рождается, — так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах!

Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь рассказать о своем душевном состоянии. Но как выразить необъяснимую тревогу, изменчивую, точно облако, быстrolетную, точно ветер? У нее не было слов, не было повода, ей не хватало смелости.

И все же ей казалось, что если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем созревало: так отрываются спелые плоды от фруктового дерева — стоит только его потряхнуть. Но отрыв этот, хотя их жизни сближались все тесней и тесней, происходил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука вовне, и это разобщало ее с Шарлем.

Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря воображению. Он сам признавался, что в Руане так и не удосужился сходить в театр, ему неинтересно было посмотреть парижских актеров. Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл

попавшегося ей в одном романе выражения из области верховой езды.

А между тем разве мужчина не должен знать все, быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщине силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность жизни, посвящать ее во все тайны бытия? Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он думал, что Эмме хорошо. А ее раздражало его безмятежное спокойствие, его несокрушимая самоуверенность, даже то, что он с нею счастлив.

Эмма иногда рисовала, и Шарль находил громадное удовольствие в том, чтобы стоять подле нее и смотреть, как она наклоняется над бумагой и, щурясь, вглядывается в свой рисунок или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. А когда она играла на фортепьяно, то чем быстрее мелькали ее пальцы, тем больше восхищался Шарль. Она уверенно барабанила по клавишам, пробегая всю клавиатуру без остановки. При открытом окне терзаемый ею старый инструмент с дребезжащими струнами бывало слышно на краю села, и часто писарь, без шапки, в шлепанцах, с листом бумаги в руке шедший из суда по мостовой, останавливался послушать.

Помимо всего прочего, Эмма была хорошая хозяйка. Больным она посылала счета за визиты в форме изящно составленных писем без единого канцелярского оборота. По воскресеньям, когда к ним приходил обедать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала изысканное блюдо, укладывала ренклоды пирамидками на виноградных листьях, следила за тем, чтобы варенье было подано на тарелочках, и даже поговаривала о покупке мисочек со стаканами для полосканья рта после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще больше веса в округе.

В конце концов он и сам проникся к себе уважением за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям висевшие на длинных зеленых шнурах два ее карандашных наброска, которые он велел вставить в широкие рамы. Идя от обедни, все могли видеть, как он в красиво вышитых туфлях посиживает у порога своего дома.

От больных он возвращался поздно вечером — обычно в десять, иногда в двенадцать. Он просил покормить его, а так как служанка уже спала, то подавала ему Эмма. Чтобы чувствовать себя свободнее, он снимал сюртук. Он рассказывал, кого он сегодня видел, в каких селах побывал, какие лекарства прописал, и, довольный собой, доедал остатки говядины,

ковырял сыр, грыз яблоко, опорожнял графинчик, затем шел в спальню, ложился на спину и начинал храпеть.

Он всегда раньше надевал на ночь колпак, а потому фуляровый платок не держался у него на голове; утром его всклокоченные волосы, белые от пуха, вылезшего из подушки с развязавшимися ночью тесемками наволочки, свисали ему на лоб. И зимой и летом он ходил в высоких сапогах с глубокими косыми складками на подъеме и с прямыми, негнуущимися, словно обутыми на деревяшку, головками. Он говорил, что «в деревне и так сойдет».

Матери Шарля нравилось, что он такой расчетливый; она по-прежнему приезжала к нему после очередного более или менее крупного разговора с супругом, но против своей снохи г-жа Бовари-мать, видимо, все еще была предубеждена. Она считала, что Эмма «живет не по средствам», что «дров, сахару и свечей уходит у нее не меньше, чем в богатых домах», а что угля жгут каждый день на кухне столько, что его хватило бы и на двадцать пять блюд. Она раскладывала белье в шкафах, учила Эмму разбираться в мясе, которое мясники приносили на дом. Эмма выслушивала ее наставления, г-жа Бовари на них не скупилась; слова «дочка», «маменька», по целым дням не сходявшие с уст свекрови и невестки, произносились с поджатыми губами: обе говорили друг другу приятные вещи дрожащими от злобы голосами.

Во времена г-жи Дюбюк старуха чувствовала, что Шарль привязан к ней сильнее, чем к жене, но его чувство к Эмме она расценивала как спад его сыновней нежности, как посягательство на ее собственность. И она смотрела на счастье сына с безмолвной печалью,— так разорившийся богач заглядывает в окно того дома, который когда-то принадлежал ему, и видит, что за столом сидят чужие люди. Она рассказывала Шарлю о прошлом единственно для того, чтобы напомнить, сколько она из-за него выстрадала, чем для него пожертвовала, и чтобы после этого резче выступило невнимательное отношение к нему жены, а потом делала вывод, что у него нет никаких оснований так уж с нею носить.

Шарль не знал, что отвечать; он почитал свою мать и бесконечно любил жену; мнение матери было для него законом, но ему не в чем было упрекнуть и Эмму. После отъезда матери он робко пытался повторить в тех же выражениях какое-нибудь самое безобидное ее замечание, но Эмма, не тратя лишних слов, доказывала ему, как дважды два, что он не прав, и отсылала к больным.

И все же, следуя мудрым, с ее точки зрения, правилам, она старалась уверить себя, что любит мужа. В саду при лунном свете она читала ему все стихи о любви, какие только знала на память, и со вздохами пела унылые адажио, но это и ее самое ничуть не волновало, и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потрясало его.

Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры огня из своего сердца, да к тому же она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить в то, что не укладывалось в установленную форму, и ей легко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ничего необыкновенного. Проявления этого чувства он определенным образом упорядочил — он ласкал ее в известные часы. Это стало как бы одной из его привычек, чем-то вроде десерта, который заранее предвкушают, сидя за однообразным обедом.

Лесник, которого доктор вылечил от воспаления легких, подарил г-же Бовари борзого щенка; Эмма брала его с собой на прогулку, — она иногда уходила из дому, чтобы хоть немного побыть одной и не видеть перед собою все тот же сад и пыльную дорогу.

Она доходила до банвильской буковой рощи; здесь, углом к полю, стоял заброшенный домик, в заросшем травой овраге тянулся кверху остролистый тростник.

Эмма прежде всего смотрела, не изменилось ли тут что-нибудь с прошлого раза. Но все оставалось по-старому: и наперстянка, и левкой, и заросли крапивы вокруг больших камней, и пятна лишая на наличниках трех окон, закрытые ставни которых со ржавыми железными болтами гнили и крошились. Мысли Эммы, сперва неясные, перескакивали с предмета на предмет, подобно ее щенку, который то делал круги по полю, то таял на желтых бабочек, то гонялся за землеройками, а то покусывал маки на краю полосы, засеянной пшеницею. Но мало-помалу думы ее останавливались на одном, и, сидя на лужайке, водя зонтиком по траве, она твердила:

— Боже мой! Зачем я вышла замуж?

Эмма задавала себе вопрос: не могла ли она при ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь другого? Она пыталась представить себе, как бы происходили эти несовершившиеся события, как бы сложилась эта совсем иная жизнь, каков был бы этот неведомый ее супруг. В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен, — за таких, наверно, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону. Как-то они поживают?

От шума городских улиц, от гуденья в зрительных залах, от блеска балов их сердца радуются, их чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца. Эмма вспоминала, как в дни раздачи наград она поднималась на эстраду за веночком. С длинной косой, в белом платье и открытых прюнелевых туфельках, она была очень мила, и когда она возвращалась на свое место, мужчины наклонялись к ней и говорили комплименты. Двор был заставлен экипажами, подруги прощались с ней, выглядывая в дверцы карет, учитель музыки со скрипкой в футляре, проходя мимо, кланялся ей. Куда все это девалось? Куда?

Она подзывала Джали, ставила ее между колен, гладила ее длинную острую мордочку и говорила:

— Ну, поцелуй свою хозяйку! Ведь тебе не о чем горевать.

Глядя в печальные глаза стройной, сладко зевавшей собачки, Эмма умилялась и, воображая, будто это она сама, говорила с ней, утешала ее, как утешают человека в беде.

Порой поднимался вихрь; ветер с моря облетал все Кошское плато, донося свою соленую свежесть до самых отдаленных полей. Шуршал, пригибаясь к земле, тростник; шелестели, дрожа частою дрожью, листья буков, а верхушки их все качались и качались с гулким и ровным шумом. Эмма накидывала шаль на плечи и поднималась с земли.

В аллее похрустывал под ногами гладкий мох, на который ложился дневной свет, зеленый от скрадывавшей его листвы. Солнце садилось; меж ветвей сквозило багровое небо; одинаковые стволы деревьев, рассаженные по прямой линии, вырисовывались на золотом фоне коричневой колоннадой; на Эмму нападал страх, она подзывала Джали, быстрым шагом возвращалась по большой дороге в Тост, опускалась в кресло и потом весь вечер молчала.

Но в конце сентября нечто необычное вторглось в ее жизнь: она получила приглашение в Вобьесар, к маркизу д'Андервилье.

В эпоху Реставрации маркиз отправлял должность статс-секретаря, и теперь он, надумав вернуться к государственной деятельности, собирался исподволь обеспечить себе успех на выборах в палату депутатов. Зимой он направо и налево раздавал хворост, в генеральном совете произносил зажигательные речи, требуя проведения в своем округе новых дорог. В летнюю жару у него образовался нарыв в горле, и Шарлю

каким-то чудом удалось, вовремя прибегнув к ланцету, быстро его вылечить. Управляющий имением, посланный в тот же вечер в Тост уплатить за операцию, доложил, что видел в докторском саду чудные вишни. Так как в Вобьесаре вишни росли плохо, то маркиз попросил несколько отростков у Бовари, а затем счел своим долгом поблагодарить его лично, познакомился с Эммой и нашел, что она хорошо сложена и здороваается не по-деревенски; одним словом, в замке пришли к заключению, что если пригласить молодых супругов, то это не уронит достоинства владельцев замка и не будет бестактностью по отношению к другим приглашенным.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бовари сели в свой шарабанчик и поехали в Вобьесар; сзади к шарабану был привязан большой чемодан, у самого кожаного верха помещалась коробка для шляпы, а в ногах у Шарля стояла картонка.

Приехали они под вечер, когда в парке уже зажигали фонарики, чтобы осветить дорогу прибывающим гостям.

VIII

Замок — современная постройка в итальянском стиле, с двумя выдвинувшимися вперед крыльями и тремя подъездами — ширился в низине, куда спускалось бескрайнее поле; по полю между купами высоких деревьев бродили коровы; вдоль извилистой, усыпанной песком дороги раскидывалась, неодинаковой величины шатрами, листва разросшихся буйно кустов рододендрона, жасмина, калины. Через реку был перекинут мост. Сквозь туман проступали очертания крытых соломой строений, разбросанных среди луга, справа и слева упиравшегося в пологие лесистые холмы, а сзади тянулись, утопая в зелени, два ряда сараев и конюшен, уцелевших при сносе старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда; появились слуги; вышел маркиз и, предложив руку жене доктора, ввел ее в вестибюль.

Пол в вестибюле был мраморный, потолок очень высокий, шаги и голоса раздавались тут, как в церкви. Прямо шла вверх, не делая ни одного поворота, лестница, налево галерея, выходявшая окнами в сад, вела в бильярдную, — едва переступив порог вестибюля, вы уже слышали долетавший оттуда стук костяных шаров. В бильярдной, через которую Эмме надо

было пройти, чтобы попасть в гостиную, ей бросились в глаза осанистые мужчины, все в орденах, их высокие воротнички и то, как они, молча улыбаясь, размахивали киями. На темном дереве панели под широкими золотыми рамами были написаны черными буквами имена. Эмма прочла: «Жан-Антуан д'Андервилье д'Ивербонвиль, граф де ла Вобьесар, барон де ла Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года». А под другим портретом: «Жан-Антуан-Анри-Ги д'Андервилье де ла Вобьесар, адмирал Франции, кавалер ордена Михаила Архангела, ранен в бою при Уг-Сен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался в Вобьесаре 23 января 1693 года». Дальше уже трудно было что-нибудь разобрать, так как свет от лампы падал прямо на зеленое сукно бильярда, а в комнате реял сумрак. Наводя темный глянец на полотна, развешанные во всю ширину стен, этот свет острыми гранями сверкал в трещинах лака, и на больших черных, окаймленных золотом прямоугольниках кое-где выступало лишь то, что было ярче освещено: бледный лоб, глаза, смотревшие прямо на вас, букли парика, завивающиеся в кольца на обсыпанных пудрой плечах красного камзола, пряжка подвязки на упругой икре.

Маркиз распахнул дверь в гостиную. Одна из дам (это была его жена) встала, пошла Эмме навстречу, а затем усадила ее рядом с собой на диванчик и повела с ней дружескую беседу, как со своей старой знакомой. Это была женщина лет сорока, с красивыми плечами, с орлиным носом, с певучим выговором; в тот вечер на ее темно-русые волосы была накинута простая гипюровая косынка, образовавшая сзади треугольник. Рядом, на стуле с высокой спинкой, сидела молодая блондинка; у камина какие-то господа с цветками в петлицах фраков занимали дам разговором.

В семь часов подали обед. Мужчины, составлявшие большинство, сели за один стол в вестибюле, дамы — за другой, в столовой, с хозяевами.

Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее окутывает тепло, овеивает смешанный запах цветов, тонкого белья, жаркого и трюфелей. На серебряных крышках растягивались огни канделябров; тускло отсвечивал запотевший граненый хрусталь; через весь стол тянулись строем вазы с цветами; на тарелках с широким бордюром, в раструбах салфеток, сложенных в виде епископских митр, лежали продолговатые булочки. С краев блюд свешивались красные клешни омаров; в ажурных корзиночках высились обложенные мхом крупные плоды; перепелки были поданы в перьях; над столом подни-



Госпожа Бовари

мался пар; метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо, важный, как судья, продвигал между плечами гостей блюда с уже нарезанными кушаньями и одним взмахом ложки сбрасывал на тарелку выбранный кем-либо кусок. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижным взглядом смотрела на многолюдное сборище статуэтка женщины, задрапированной до самого подбородка.

Госпожа Бовари заметила, что некоторые дамы не положили перчаток в стаканы.

На почетном месте, один среди женщин, сидел и ел, наклонившись над полной тарелкой, старик, — ему, как ребенку, повязали салфетку, и с губ у него капал соус. Глаза у старика были в красных жилках, сзади свисала косица со вплетенной в нее черной лентой. Это был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер, которого граф д'Артуа приблизил к себе в ту пору, когда он ездил охотиться в Водрейль к маркизу де Конфлан, и который, как говорят, был любовником королевы Марии-Антуанетты после г-на де Куаньи и перед г-ном де Лозеном. Когда-то он вел бурный образ жизни, кутил, сражался на дуэлях, заключал пари, увозил женщин, сорил деньгами, держал в страхе семью. Сейчас за его стулом стоял лакей и, наклоняясь к самому его уху, выкрикивал названия блюд, а тот показывал на них пальцем и мычал. Этот вислогубый старик невольно притягивал к себе взгляд Эммы, как будто перед ней было что-то величественное, необыкновенное. Подумать только: он жил при дворе, он лежал в постели королевы!

В бокалы налили замороженного шампанского. Как только Эмма ощутила во рту его холод, по всему ее телу пробежали мурашки. Она никогда не видела гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалось ей какой-то особенно белой и мелкой, не такой, как везде.

После обеда дамы разошлись по комнатам переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе.

— Штрипки будут мне мешать танцевать, — сказал он.

— Танцевать? — переспросила Эмма.

— Ну да!

— Ты с ума сошел! Не смей людей, сиди смирно. Врachu это больше пристало, — добавила она.

Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол.

Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зеленью.

Шарль хотел поцеловать ее в плечо.

— Оставь! — сказала она. — Изомнешь мне платье.

Внизу скрипка заиграла ритурнель, слышались звуки рога. Эмма, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, спустилась с лестницы.

Кадриль уже началась. Гости все подходили. Стало тесно. Эмма села на скамейку у самой двери.

По окончании контрданса танцующих сменили посреди залы группы мужчин, беседовавших стоя, и ливрейные лакеи с большими подносами. В ряду сидевших девиц колыхались разрисованные вееры, прикрывались букетами улыбки, руки в белых перчатках, очерчивавших форму ногтей и стягивавших кожу у запястья, вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, брильянтовые броши, браслеты с подвесками — все это трепетало на корсажах, поблескивало на груди, позванивало на обнаженных руках. Волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки. Матери в красных тюрбанах чинно сидели с надутыми лицами на своих местах.

Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачиваясь в такт музыке, чуть заметно поводя шеей, она заскользила по залу. Порою на ее лице появлялась улыбка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрипки; их можно было уловить, лишь когда другие инструменты смолкали; тогда же слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты; потом все вдруг начиналось сызнова: точно удар грома, раскатывался корнет-а-пистон, опять все так же мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор.

Несколько мужчин от двадцати пяти до сорока лет (их было всего человек пятнадцать), присоединившихся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях залы, выделялись из толпы своим как бы фамильным сходством, выступавшим, не-

смотря на разницу в возрасте, на различие в наружности и в одежде.

Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем у других, сукна, как-то особенно хорошо на них сидели, волосы со взбитыми на висках локонами были намажены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, которая поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни и которую усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестящий атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоятельные. Они свободно могли поворачивать шею, оттого что галстуки у них были повязаны низко; их длинные бакенбарды покоились на отложных воротничках; они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими нежный запах платками, на которых бросались в глаза крупные метки. Те, что уже начали стареть, выглядели молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток некоторой зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие, которое достигается ежедневным утолением страстей, а сквозь мягкость их движений проступала та особая жестокость, которую пробуждает в человеке господство над существами, покорными ему не вполне, развивающими его силу и тешащими его самолюбие, будь то езда на породистых лошадях или связь с падшими женщинами.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем говорили об Италии. Оба восхищались колоннами собора св. Петра, Тиволи, Везувием, Кастелламаре, Кассино, генуэзскими розами, Коллизеем при лунном свете. Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, который рассказывал, как он на прошлой неделе обскакал в Англии Мисс Арабеллу и Ромула, как он, рискнув, выиграл две тысячи луидоров. Кто-то другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий сетовал на опечатки, искажившие кличку его лошади.

В бальной зале становилось душно, свет ламп тускнел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей влез на стул и разбил окно; услышав звон стекла, г-жа Бовари обернулась и увидела, что из сада в окно смотрят крестьяне. И тут она вспомнила Берто. Воображению ее представились ферма, тинистый пруд, ее отец в блузе под яблоней и она сама, снимающая пальчиком устой с крынок молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь.

Она, Эмма, сейчас на балу, а на все, что осталось за пределами бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удовольствия, она посасывала мороженое с мараскином, — она брала его ложечкой с позолоченного блюда, которое было у нее в левой руке.

Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это время мимо проходил танцор.

— Будьте любезны, сударь, — обратилась к нему дама, — поднимите, пожалуйста, мой веер, он упал за канапе!

Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что, как только он протянул руку, дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно вручил его даме; она поблагодарила его кивком головы и поднесла к лицу букет цветов.

За ужином пили много испанских и рейнских вин, был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, травальгарский пудинг и множество холодных мясных блюд с дрожащим галантиром, а после ужина кареты одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув уголок муслиновой занавески, можно было видеть, как скользил в темноте свет от их фонарей. На скамейках стало просторно; за карточными столами кое-кто еще продолжал игру; музыканты облизывали одеревеневшие кончики пальцев; Шарль прислонился к двери и задремал.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела вальсировать. А между тем все танцевали вальс, даже мадемуазель д'Андервилье и маркиза; на котильон остались лишь те, кто гостил в замке, — всего человек десять.

И вот один из танцующих в обтягивавшем грудь очень открытом жилете, — этого господина все звали просто «виконтом», — уже второй раз подошел приглашать г-жу Бовари и дал слово, что он ее поведет и что все будет хорошо.

Начали они медленно, потом стали двигаться быстрее. Они сами вертелись, и все вертелось вокруг них, словно диск на оси: лампы, мебель, панель, паркет. У дверей край платья Эммы порхнул по его панталонам; они касались друг друга коленями; он смотрел на нее сверху вниз, она поднимала на него глаза; на нее вдруг нашел столбняк, она остановилась. Потом они начали снова; все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгновение склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кружа ее, но уже не так быстро, он доставил ее на место: она запрокинула голову, прислонилась к стене и прикрыла рукой глаза.

Когда же она открыла их опять, то увидела, что посреди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта, и тогда опять заиграла скрипка.

Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то удалялись, то приближались; у нее корпус был неподвижен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохранял одно и то же положение: держался прямо, линия рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта его дама умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех.

Гости потом еще несколько минут поболтали и, пожелав друг другу спокойной ночи или, вернее, доброго утра, пошли спать.

Шарль еле двигался; он говорил, что «ноги у него не идут». Он пять часов подряд простоял возле карточных столов — все смотрел, как играют в вист, в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь, сняв ботинки, он облегченно вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и облокотилась на подоконник.

Ночь была темная. Накрапывал дождь. Влажный ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от себя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой роскошью, от которой ей скоро предстояло уехать.

Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна замка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате ночует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять ее, войти в нее.

В конце концов Эмма продрогла. Она разделась и, юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спящего Шарля.

К завтраку собралось много народа. Сидели за столом минут десять; к удивлению лекаря, никаких напитков подано не было. Мадемуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и отнесла на пруд лебедям, а потом все пошли в зимний сад, где диковинные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, подвешанным к потолку, а из этих ваз, словно из змеиных гнезд, свисали, уже не помещаясь в них, длинные сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался оранжереей, представлявшей собою крытый ход в людскую. Желая доставить г-же Бовари удовольствие, маркиз повел ее в конюшню. Над кормушками, сделанными в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на которых черными буквами были написаны клички лошадей. Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, лошади начинали волноваться. В

сарая пол блестел, как паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вращающихся столбиках; на стенах висели в ряд удила, хлысты, стремяна, уздечки.

Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запрягать. Шарабанчик подали к самому подъезду, и, когда все вещи были уложены, супруги Бовари, простившись с хозяевами, поехали к себе в Тост.

Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль сидел на самом краю и, расставив руки, правил; оглобли были слишком широки для лошадки, и она бежала иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеною вожжи болтались у нее на спине; сзади все время чувствовались сильные и мерные толчки, — это бился о кузов привязанный к спинке чемодан.

Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один из них был виконт; она обернулась, но увидела лишь не в лад опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так как одни ехали рысью, другие — галопом.

Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил лошадь и подвязал веревкой шлею.

Когда же он, перед тем как пуститься в путь, еще раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами у лошади что-то валяется; он нагнулся и поднял зеленый шелковый портсигар, на котором, как на дверце кареты, красовался герб.

— Э, да тут еще две сигары остались! — сказал он. — Это мне будет на вечер, после ужина.

— Разве ты куришь? — спросила Эмма.

— Иногда, при случае, — ответил Шарль.

И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку.

К их приезду обед еще не был готов. Г-жа Бовари рассердилась. Настази нагрубила ей.

— Убирайтесь вон! — крикнула Эмма. — Я не позволю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не служите.

На обед у них был луковый суп и телятина со щавелем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом потирая руки, сказал:

— В гостях хорошо, а дома лучше!

Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он коротал с нею длинные, ничем не заполненные вечера. Она была его первой пациенткой, самой старинной его знакомой во всем оклодке.

— Ты правда хочешь ей отказать? — спросил он.

— Да, — ответила Эмма. — А что, разве я в том не вольна?

После обеда, пока Настази стелила постели, они грелись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы, ежеминутно сплевывал и при каждой затяжке откидывался.

— У тебя голова закружится, — презрительно сказала Эмма.

Он отложил сигару и побежал на колодец выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и засунула его поглубже в шкаф.

На другой день время тянулось бесконечно долго! Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорожкам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосовыми деревьями, перед гипсовым священником, — все это ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумлением. Каким далеким уже казался ей бал! Кто же это разделил таким огромным пространством позавчерашнее утро и нынешний вечер? Поездка в Вобьесар расколола ее жизнь — так гроза в одну ночь пробивает иногда в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась; она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых пожелтели от скользкого наощенного паркета. С ее сердцем случилось то же, что с туфельками: от соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое.

Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь: «Неделю... две недели... три недели назад я была в замке!» Но мало-помалу все лица в ее воображении слились в одно, она забыла музыку танцев, она уже не так отчетливо представляла себе ливреи и комнаты; подробности выпали из памяти, но сожаление осталось.

IX

Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шкафа засунутый ею в белье зеленый шелковый портсигар.

Она рассматривала его, открывала и даже обнюхивала подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто его обронил?.. Виконт. Может быть, это подарок любовницы. Его вышивали в палисандровых пальцах; эту маленькую вещицу приходилось укрывать от постороннего взора, над нею склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью,

каждый стежок закреплял надежду или воспоминание, сплетенные шелковые нити составляли продолжение все той же безмолвной страсти. Потом, однажды утром, виконт унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой каминной полочке между вазой с цветами и часами в стиле Помпадур; о чем велись разговоры в той комнате?.. Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее в ушах, как звон соборного колокола, оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок.

По ночам ее будили рыбаки, с пением «Майорана» проезжавшие под окнами, и, прислушиваясь к стуку окованных железом колес, мгновенно стихавшему, как только тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе:

«Завтра они будут в Париже!»

Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с пригорков, проезжала деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали.

Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке, перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов глаза у нее уставали, она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет.

Она выписала дамский журнал «Свадебные подарки» и «Сильф салонов». Читала она там все подряд: заметки о премьерах, о скачках, о вечерах, ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами, знала адреса лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким — в Оперу. У Эжена Сю она изучала описания обстановки, у Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого утоления своих страстей. Она и за стол не садилась без книги; пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался, — удаляясь от его головы, он расходился все шире и озарял уже иные мечты.

Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в его сутолоке, все же делилась на составные части, распадалась на

ряд отдельных картин. Из них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изображением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми бархатом с золотой бахромой, поощенному паркету двигались дипломаты. То был мир длинных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там лица у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше четырех часов дня, женщины — ну просто ангелочки! — носили юбки, отделанные английскими кружевами, мужчины — непризнанные таланты с наружностью вертопрахов — загоняли лошадей на прогулках, летний сезон проводили в Бадене, а к сорока годам женились на богатых последницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, полны высоких дум и бредовых видений. Они возвышались над всеми, витали между небом и землею, в грозовых облаках; было в них что-то не от мира сего. Все прочее расплывалось, не имело определенного места, как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отворачивалась от него ее мысль. Все, что ее окружало, — деревенская скука, тупость мещан, убожество жизни, — казалось ей исключением, чистой случайностью, себя она считала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоряченном воображении с духовными радостями, изящество манер — с тонкостью переживаний. Быть может, любовь, подобно индийской флоре, тоже нуждается в разрыхленной почве, в особой температуре? Вот почему вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на руки в миг расставания, порывы страсти и тихая нежность — все это было для нее неотделимо от балконов больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с шелковыми занавесками и плотными коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от игры драгоценных камней и от ливрей со шнурами.

Каждое утро по коридору топал ногами в грубых башмаках почтовый кучер, приходивший к Бовари чистить кобылу; на нем была рваная блуза, башмаки свои он надевал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах! Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже не показывался; Шарль, вернувшись от больных, сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее оброть, а тем временем служанка приносила охапку соломы и как попало валила ее в кормушку.

На место Настази, которая, обливаясь слезами, уехала наконец из Тоста, Эмма взяла четырнадцатилетнюю девочку-сиротку с кротким выражением лица. Она запретила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, без стука не входить, гладить и крахмалить белье, приучила одевать себя, — словом, хотела сделать из нее настоящую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее не прогнали, всему подчинялась безропотно, но так как барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер таскала оттуда понемножку сахар и, помолившись богу, съедала его тайком в постели.

В сумерки она иногда выходила за ворота и переговаривалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у себя наверху.

Эмма носила открытый капот; между шалевыми отворотами корсажа выглядывала гофрированная кофточка на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром с большими кистями, ее туфельки гранатового цвета были украшены пышными бантами, которые закрывали весь подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвертов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем погружалась в раздумье, и книга падала к ней на колени. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в монастырь. Ей хотелось умереть и в то же время хотелось жить в Париже.

А Шарль и в метель и в дождь разъезжал верхом по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, которой его угощали на фермах, прикасался к влажным от пота простыням, делал кровопускания, и теплая кровь брызгала ему в лицо, выслушивал хрипы, рассматривал содержимое ночной посуды, задирали сорочки на груди у больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяло свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось белье.

Она приводила его в восторг своей изобретательностью: то как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье волан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка, и Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом — слоновой кости коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но

от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу.

Чувствовал он себя отлично, выглядел превосходно, его репутация установилась прочно. Крестьяне любили его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, в питейные заведения не заглядывал, нравственность его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь уморить больного, он прописывал преимущественно успокоительные средства, да еще в иных случаях рвотное, ножные ванны, пиявки. В то же время он не испытывал страха и перед хирургией: кровь отворял, не жалея, точно это были не люди, а лошади, зубы рвал «железной рукой».

«Чтобы не отстать», он выписал, ознакомившись предварительно с проспектом, новый журнал «Вестник медицины». После обеда он почитывал его, но духота в комнате и пищеварение так на него действовали, что через пять минут, уронив голову на руки и свесив гриву на подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. Но Шарль самолюбием не отличался! Врач из Ивето, с которым он встретился на консилиуме, несколько пренебрежительно с ним обошелся у постели больного, в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодование. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поцеловал жену в лоб. А она сгорала со стыда, ей хотелось побить его; чтобы успокоиться, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала дышать свежим воздухом.

— Какое ничтожество! Какое ничтожество! — кусая губы, шептала она.

Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С возрастом у него появились некраевые манеры: за десертом он резал ножом пробки от пустых бутылок, после еды прищелкивал языком, чавкал, когда ел суп; он начинал толстеть, и при взгляде на него казалось, что из-за полноты щек и без того маленькие его глаза оттягиваются к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каемку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала попошенные

перчатки, заметив, что он собирается их надеть. Но он ошибался, воображая, будто все это делается для него,— все это она делала для себя, из эгоизма, в сердцах. Иногда она даже пересказывала ему прочитанное: какой-нибудь отрывок из романа, из новой пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газетном фельетоне: какой ни на есть, а все-таки это был человек, и притом человек, внимательно ее слушавший, всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала душу и своей собаке! Она рада была бы излить ее маятнику, дровам в камине.

Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому, а когда солнце садилось, она всегда грустила и желала, чтобы поскорей приходило завтра.

Потом опять наступила весна. Как только началась жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились приступы удушья.

С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, сколько недель остается до октября,— она думала, что маркиз д'Андервилье опять устроит бал в Вобьесаре. Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита.

Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь опустело, и опять потянулись дни, похожие один на другой.

Значит, так они и будут идти чередой, эти однообразные, неисчислимы, ничего с собой не несущие дни? Другие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечет за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться — так, видно, судил ей бог! Будущее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь.

Музыку она забросила. Зачем играть? Кто станет ее слушать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном платье с короткими рукавами за эраровским роялем, ее легким пальцам уже не бегать по клавишам, коль скоро ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ветерок восторженного шепота сидя-

щих в концертной зале, то не к чему тогда и стараться, разучивать. Рисунки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? К чему? Шитье только раздражало ее.

— Книги я прочитала все до одной, — говорила она.

И, чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла докрасна каминные щипцы или смотрела в окно на дождь.

Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупой сосредоточенностью прислушивалась она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выгибая спину под нагревающими лучами солнца, медленно ступала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где-то выла собака. А колокол все гудел, и его заунывный и мерный звон замирал вдали.

Потом служба кончалась. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, на одной ножке прыгавшие впереди, — все возвращались из церкви домой. А у ворот постоянного двора человек пять-шесть, всегда одни и те же, допоздна играли в «пробку».

Зима в том году была холодная. В комнатах иногда до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стекло. В четыре часа уже надо было зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми нитями провисал между кочанами. Птиц было не слышать, все словно уснуло, абрикосовые деревья прикрывала солома, виноградник громадною больною змеей извивался вдоль стены, на которой вблизи можно было разглядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мокриц. У священника в треугольной шляпе, читавшего молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл белый лишай.

Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жары, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливается тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, но удерживало чувство неловкости.

Каждый день в один и тот же час открывал ставни на своих окнах учитель в черной шелковой шапочке; с саблею на боку шествовал полевой сторож. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади — их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску. Витрина его состояла из старой модной картинки,

прилепленной к оконному стеклу, и восковой женской головки с желтыми волосами. Парикмахер тоже сетовал на вынужденное безделье, на свою загубленную жизнь и, мечтая о том, как он откроет заведение в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набережной или недалеко от театра, целыми днями в ожидании клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви и обратно. Когда бы г-жа Бовари ни подняла взор, парикмахер в феске набекрень, в куртке на ластике всегда был на своем сторожевом посту.

Иногда после полудня в окне гостиной показывалось загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медленно расплывалось в широкой, мягкой белозубой улыбке. Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарманку в крошечной зальце, между креслами, диванами и консолями, кружились, кружились танцоры ростом с пальчик — женщины в розовых тюбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких брючках, и все это отражалось в осколках зеркала, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, а сам все посматривал то направо, то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тумбу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал коленом шарманку, — ее грубый ремень резал ему плечо, — и из-под розовой тафтяной занавески, прикрепленной к узорчатой медной планке, с гудением вырывались то грустные, тягучие, то веселые, плясовые мотивы. Те же самые мелодии где-то там, далеко, играли в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вечерах, в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы доходили отголоски жизни высшего общества. В голове у нее без конца вертелась сарабанда, мысль ее, точно баядерка на цветах ковра, подпрыгивала вместе со звуками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку мелочь, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотрела ему вслед.

Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел медленно; Эмма грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенку.

Хозяйство она теперь запустила, и г-жа Бовари-мать, при-

ехав в Тост Великим постом, очень удивилась такой перемене. И точно: прежде Эмма тщательно следила за собой, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все твердила, что, раз они небогаты, значит надо экономить, и прибавляла, что она очень довольна, очень счастлива, что ей отлично живется в Тосте; все эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом она, видимо, была отнюдь не расположена следовать ее советам; так, однажды, когда г-жа Бовари-мать позволила себе заметить, что господа должны требовать от слуг исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой, что почтенная дама сразу прикусила язык.

Эмма сделалась привередлива, капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда и не притрагивалась к ним; сегодня пила только одно молоко, а завтра без конца пила чай. То заперлась в четырех стенах, то вдруг ей становилось душно, она отворяла окна, надевала легкие платья. То нещадно придиралась к служанке, то делала ей подарки, посылала в гости к соседям; точно так же она иногда высыпала нищим все серебро из своего кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадательностью не отличалась, как, впрочем, и большинство людей, выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук до некоторой степени передается их душам.

В конце февраля папаша Руо в память своего выздоровления привез зятю отменную индейку и прогостил три дня в Тосте. Шарль разъезжал по больным, и с отцом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о муниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила за ним дверь с таким облегчением, что даже сама была удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего презрения ни к кому и ни к чему; порой она даже высказывала смелые мысли — порицала то, что всеми одобрялось, одобряла то, что считалось безнравственным, порочным. Муж только хлопал глазами от изумления.

Что же, значит, это прозябание будет длиться вечно? Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех этих счастливиц? В Вобьесаре она нагладелась на герцогинь — фигуры у многих были грузнее, манеры вульгарнее, чем у нее, и ее возмущала несправедливость провидения; она прижималась головой к стене и плакала; она тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по предосудительным наслаждениям, по тому еще не испытанному ею исступлению, в которое они, наконец, приводят.

Она побледнела, у нее начались сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все это как будто еще больше ее раздражало.

Бывали дни, когда на нее нападала неестественная говорливость; потом вдруг эта взвинченность сменялась отупением — она могла часами молчать и не двигаться с места. Она выливала себе на руки целый флакон одеколона — только это несколько оживляло ее.

Так как она постоянно бранила Тост, Шарль предположил, что все дело в здешнем климате, и, утвердившись в этой мысли, стал серьезно подумывать, нельзя ли перебраться в другие края.

Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, у нее появился сухой кашель, аппетит она потеряла окончательно.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом, — ведь он прожил здесь несколько лет и только-только начал «оперяться». Но ничего не поделаешь! Он повез жену в Руан и показал своему бывшему профессору. Оказалось, что у нее не в порядке нервы, — требовалось переменить обстановку.

Толкнувшись туда-сюда, Шарль наконец узнал, что в Невшательском округе есть неплохой городок Ионвиль-л'Аббей, откуда как раз на прошлой неделе выехал врач, польский эмигрант. Тогда Шарль написал ионвильскому аптекарю и попросил сообщить, сколько там всего жителей, далеко ли до ближайшего коллеги, много ли зарабатывал его предшественник и т. д. Получив благоприятный ответ, Шарль решил, что если Эмма не поправится, то они переедут туда весной.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комоде и уколола обо что-то палец. Это была проволока от ее свадебного букета. Флёрдоранж пожелтел от пыли, атласная лента с серебряной бахромой обтрепалась по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они загорелись мгновенно, точно сухая солома. Немного погодя на пепле осталось что-то вроде красного кустика, и кустик этот медленно дотлевал. Эмма не сводила с него глаз. Лопались картонные ягодки, скручивалась латунная проволока, плавились позументы, а свернувшиеся на огне бумажные венчики долго порхали черными мотыльками в камине и, наконец, улетели в трубу.

В марте, уезжая с мужем из Тоста, г-жа Бовари была беременна.

I

Городок Ионвиль-л'Аббей (названный так в честь давно разрушенного аббатства капуцинов) стоит в восьми лье от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами, в долине реки Риэль, которая впадает в Андель, близ своего устья приводит в движение три мельницы и в которой есть немного форели, представляющей соблазн для мальчишек, — по воскресеньям, выстроившись в ряд на берегу, они удят в ней рыбу.

В Буасьере вы сворачиваете с большой дороги и поднимаетесь проселком на отлогий холм Ле, — оттуда открывается широкий вид на долину. Речка делит ее как бы на две совершенно разные области: налево — луга, направо — пашни. Луга раскинулись под кромкой бугров и сливаются сзади с пастбищами Брэ, а к востоку равнина, поднимаясь незаметно для взора, ширится и, насколько хватает глаз, расстилает золотистые полосы пшеницы. Цвет травы и цвет посевов не переходят один в другой — их разделяет светлая лента проточной воды, и поле здесь похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряным позументом.

Когда вы подъезжаете к городу, на горизонте видны дубы Аргейльского леса и обрывы Сен-Жана, сверху донизу исцарапанные длинными и неровными красными черточками, — это следы дождей, а кирпичный оттенок придают жилкам, прорезавшим серую гору, многочисленные железистые источники, текущие в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, это край помеси, край, где говор лишен характерности, а пейзаж — своеобразие. Здесь выделяется самый плохой во всем округе невшательский сыр, а хлебопашеством здесь заниматься невы-

годно, — сыпучая, песчаная, каменистая почва требует слишком много удобрения.

До 1835 года в Ионвиле проезжих дорог не было, но как раз в этом году провели «большой проселочный путь», соединивший Аббевильскую и Амьенскую дороги, и по нему теперь идут редкие обозы из Руана во Фландрию. Но, несмотря на «новые рынки сбыта», в Ионвиль-л'Аббей все осталось по-прежнему. Вместо того, чтобы повышать культуру земледелия, здесь упорно продолжают заниматься убыточным травосеянием. Удаляясь от равнины, ленивый городишко тянется к реке. Он виден издалека: разлегся на берегу, словно пастух в час полдневного зноя.

За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженная молодыми осинками дорога, по которой вы, не забирая ни вправо, ни влево, доберетесь как раз до самого пригорода. Обнесенные изгородью домики стоят в глубине дворов, а вокруг, под ветвистыми деревьями, к которым прислонены лестницы, косы, шесты, раскиданы всякого рода постройки: даильни, каретники, винокурни. Соломенные крыши, словно нахлобученные шапки, почти на целую треть закрывают маленькие оконца с толстыми выпуклыми стеклами, посредине которых, как на донышке бутылки, выдавлен конус. Возле стен, сквозь штукатурку которых выглядывает расположенная по диагонали черная дранка, растут чахлые груши, у входных дверей устроены маленькие вертушки от цыплят, клюющих на пороге вымоченные в сидре крошки пеклеванного хлеба. Но постепенно дворы становятся уже, домишки лепятся один к другому, заборы исчезают; под окнами качаются палки от метел с пучками папоротника на конце. Вот кузница, потом — тележная мастерская, и возле нее — две-три новенькие телеги, занявшие часть мостовой. Дальше сквозь решетку виден белый дом, а перед ним круглая лужайка, которую украшает амур, приставивший палец к губам; по обеим сторонам подъезда — лепные вазы; на двери блестит металлическая дощечка; это лучший дом в городе — здесь живет нотариус.

В двадцати шагах от него, на противоположной стороне, у самой площади стоит церковь. Ее окружает маленькое кладбище, обнесенное низкой каменной стеной и до того тесное, что старые, вросшие в землю плиты образуют сплошной пол, на котором трава вычерчивает правильные зеленые четырехугольники. В последние годы царствования Карла X церковь была перестроена заново. Но деревянный свод вверху уже подгнивает, местами на его голубом фоне появляются темные впади-

ны. Над дверью, где должен стоять орган, устроены хоры для мужчин, и ведет туда звенящая под каблуками винтовая лестница.

Яркий свет дня, проникая сквозь одноцветные стекла окон, косыми лучами освещает ряды стоящих перпендикулярно к стене скамеек; на некоторых из них прибиты к спинкам коврики, и над каждым таким ковриком крупными буквами выведена надпись: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в том месте, где корабль суживается, находится исповедальня, а как раз напротив нее — густо наруганная, точно божок с Сандвичевых островов, статуэтка девы Марии в атласном платье и в тюлевой вуали, усыпанной серебряными звездочками; наконец, в глубине завершает перспективу висящая между четырьмя светильниками над алтарем главного придела копия «Святого семейства» — «дар министра внутренних дел». Еловые откидные сиденья на хорах так и остались невыкрашенными.

Добрую половину главной ионвильской площади занимает крытый рынок, то есть черепичный навес, держащийся приблизительно на двадцати столбах. На углу, рядом с аптекой, стоит мэрия, «построенная по проекту парижского архитектора» и представляющая собой некое подобие греческого храма. Внизу — три ионические колонны, во втором этаже — галерея с круглой аркой, а на фронте галльский петух одной лапой опирается на Хартию, в другой держит весы правосудия.

Но особенно бросается в глаза аптека г-на Оме напротив трактира «Золотой лев». Главным образом — вечером, когда зажигается кенкет, когда красные и зеленые шары витрины стеют по земле длинные цветные полосы, и на этих шарах, словно при вспышке бенгальского огня, вырисовывается тень аптекаря, склоненного над конторкой. Его дом сверху донизу заклеен объявлениями, на которых то разными почерками, где — круглым, где — с наклоном вправо, то печатными буквами написано: «Виши, сельтерская, барежская, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, лепешки Дарсе, паста Реньо, бинты, составы для ванн, лечебный шоколад и прочее». Во всю ширину здания — вывеска, и на ней золотыми буквами: «*Аптека Оме*». В глубине, за огромными, вделанными в прилавок весами, над застекленной дверью выведено длинное слово: «*Лаборатория*», а на середине двери золотыми буквами по черному полю еще раз написано *Оме*.

Больше в Ионвиле смотреть не на что. На его единственной улице, длиною не дальше полета пули, есть еще несколько торговых заведений, потом дорога делает поворот, и улица

обрывается. Если пойти мимо холма Сен-Жан, так, чтобы дорога осталась справа, то скоро дойдешь до кладбища.

Когда здесь свирепствовала холера, его расширили — купили смежный участок в три акра и сломали разделявшую их стену, но в этой новой части кладбища почти нет могил — они по-прежнему лепятся поближе к воротам. Кладбищенский сторож, он же могильщик и причетник в церкви (благодаря этому он имеет от покойников двойной доход), посадил на пустыре картофель. Однако его полоска с каждым годом все уменьшается, и теперь, во время эпидемий, он уже не знает, радоваться ли смертям или же унывать при виде новых могил.

— Вы кормитесь мертвецами, Лестибудуа! — как-то, не выдержав, сказал ему священник.

Эта мрачная мысль заставила сторожа призадуматься, и на некоторое время он прекратил сельскохозяйственную деятельность. Но потом опять принялся за свое, по-прежнему сажает картофель, да еще имеет смелость утверждать, что он растет сам по себе.

Со времени событий, о которых пойдет рассказ, в Ионвиле никаких существенных изменений не произошло. На колокольне все так же вертится трехцветный жестяной флюгер; над модной лавкой по-прежнему плещутся на ветру два ситцевых флажка; в аптеке все больше разлагаются в мутном спирту зародыши, напоминающие семьи белого трутника, а над дверью трактира старый, вылинявший от дождей золотой лев все еще выставляет напоказ свою мохнатую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, трактирная хозяйка, вдова Лефрансуа, совсем захлопоталась со своими кастрюлями, и пот лился с нее градом. Завтра в городе базарный день. Нужно заранее разделать туши, выпотрошить цыплят, сварить суп и кофе. Да еще надо приготовить обед не только для тех, кто у нее на пансионе, но еще и для лекаря с женой и служанкой. Из бильярдной доносились взрывы хохота. В маленькой комнате три мельника требовали водки. Горели дрова, потрескивали угли, на длинном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, высились стопки тарелок, дрожавшие при сотрясении чурбана, на котором рубили шпинат. На птичьем дворе стоял отчаянный крик — это кричала какая-то жертва, за которой гонялась служанка, чтобы отрубить ей голову.

У камина грелся рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях, в бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его не

выражало ничего, кроме самовлюбленности, держал он себя так же невозмутимо, как щегол в клетке из ивовых прутьев, висевшей как раз над его головой. Это был аптекарь.

— Артемиза! — кричала трактирщица. — Наломай хворосту, налей графины, принеси водки, пошевеливайся! Понятия не имею, что приготовить на десерт тем вот, которых вы ждете! Господи Иисусе! Опять грузчики загалдели в бильярдной! А повозка-то ихняя у самых ворот! «Ласточка» подъедет — разобьет в щепы. Поди скажи Ипполиту, чтобы он ее отодвинул!.. Подумайте, господин Оме: с утра они уж, наверно, пятнадцать партий сыграли и выпили восемь кувшинов сидра!.. Да они мне все сукно изорвут! — держа в руке уполовник и глядя издали на игроков, воскликнула она.

— Не беда, — заметил г-н Оме, — купите новый.

— Новый бильярд! — ужаснулась вдова.

— Да ведь этот уже еле держится, госпожа Лефрансуа! Я вам давно говорю: вы себе этим очень вредите, вы себе этим очень вредите! Да и потом игроки теперь предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Вообще все изменилось! Надо идти в ногу с веком! Берите-ка пример с Телье...

Хозяйка покраснела от злости.

— Что ни говорите, а его бильярд изящнее вашего, — продолжал фармацевт, — и если б кому-нибудь пришло в голову устроить, например, состязание с патриотическими целями — в пользу поляков или же в пользу пострадавших от наводнения в Лионе...

— Не очень-то я боюсь этого проходимца! — поведя своими мощными плечами, прервала его хозяйка. — Ничего, ничего, господин Оме! Пока «Золотой лев» существует, в нем всегда будет полно. У нас еще денежки водятся! А вот в одно прекрасное утро вы увидите, что кофейня «Франция» заперта, а на ставне висит объявление! Сменить бильярд! — заговорила она уже сама с собой. — На нем так удобно раскладывать белье, а когда начинается охота, на нем спят человек шесть!.. Да что же эта размазня Ивер не едет!

— А вы до его приезда кормить своих завсегдатаев не будете?

— Не буду? А господин Бине? Вот увидите: он придет ровно в шесть часов, — такого аккуратного человека поискать! И непременно освободи ему место в маленькой комнате! Убей его, он не сядет за другой стол! А уж привередлив! А уж как трудно угодить ему сидром! Это не то что господин Леон. Тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Кушает

все подряд, не разбирая. Такой милый молодой человек! Голоса никогда не повысит.

— Воспитанный человек и податной инспектор из бывших карабинеров — это, я вам скажу, далеко не одно и то же.

Пробило шесть часов. Вошел Бине.

Синий сюртук висел на его костлявом туловище, как на вешалке; под кожаной фуражкой с завязанными наверху на-ушниками и заломленным козырьком был виден облысевший лоб со вмятиной, образовавшейся от долгого ношения каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые штаны и во всякое время года ходил в старательно начищенных сапогах с одинаковыми утолщениями над выпиравшими большими пальцами. Ни один волосок не выбивался у него из-под светлого воротничка, очерчивавшего его нижнюю челюсть и окаймлявшего, точно зеленый бордюр клумбу, его вытянутое бескровное лицо с маленькими глазками и крючковатым носом. Мастак в любой карточной игре, хороший охотник, он славился своим красивым почерком и от нечего делать любил вытачивать на собственном токарном станке кольца для салфеток, которыми он с увлечением художника и эгоизмом мещанина завалил весь дом.

Он направился в маленькую комнату, но оттуда надо было прежде выпроводить трех мельников. И пока ему накрывали на стол он все время молча стоял у печки; потом, как обычно, затворил дверь и снял фуражку.

— Однако особой любезностью он не отличается! — оставшись наедине с хозяйкой, заметил фармацевт.

— Он всегда такой, — подтвердила хозяйка. — На прошлой неделе заехали ко мне два коммивояжера по суконной части, ну до того веселые ребята — весь вечер балагурили, и я хохотала до слез, а он молчал, как рыба.

— Да, — сказал фармацевт, — он лишен воображения, лишен остроумия, всего того, чем отличается человек из общества!

— Говорят, однако, он со средствами, — заметила хозяйка.

— Со средствами? — переспросил г-н Оме. — Кто, он? Со средствами? Он знает средство выколачивать подати, только и всего, — уже более хладнокровно добавил аптекарь и продолжал: — Ну, если негоциант, который делает большие дела, юрист, врач, фармацевт так всегда заняты своими мыслями, что в конце концов становятся чужаками и даже нелюдимами, это я еще могу понять, это мы знаем и из истории! Но зато они все время о чем-то думают. Со мной, например, сколько раз случа-

лось: надо написать этикетку, ищу перо на столе, а оно у меня за ухом!

Между тем г-жа Лефрансуа пошла поглядеть, не едет ли «Ласточка», и, подойдя к порогу, невольно вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в черном. При последних лучах заката было видно, что у него красное лицо и атлетическое телосложение.

— Чем могу служить, ваше преподобие? — спросила хозяйка, беря с камина один из медных подсвечников, которые стояли там целой колоннадой. — Не угодно ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородиновой, стаканчик вина?

Священник весьма вежливо отказался. Он забыл в Эрнемонском монастыре зонт и, попросив г-жу Лефрансуа доставить его вечером к нему на дом, пошел служить вечерню.

Когда стук его башмаков затих, фармацевт заметил, что священник ведет себя отвратительно. Отказаться пропустить стаканчик — это гнусное лицемерие, и больше ничего; все попы пьянствуют, только тайком, и все мечтают восстановить десятину.

Хозяйка вступилась за священника:

— Да он с четырьмя такими, как вы, управится. В прошлом году он помогал нашим ионвильским солону убирать, так по шесть охапок сразу поднимал — вот какой здоровяк!

— Браво! — воскликнул фармацевт. — Вот и посылайте своих дочерей на исповедь к молодцам с таким темпераментом! Я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем попам раз в месяц отворяли кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц — изрядную флеботомию в интересах нравственности и общественного порядка!

— Будет вам, господин Оме! Вы безбожник! У вас и религии-то никакой нет!

— Нет, у меня есть религия, своя особая религия, — возразил фармацевт, — я даже религиознее, чем они со всем их комедиантством и фиглярством. Как раз наоборот, я чту бога! Верю в высшее существо, в творца, в кого-то — все равно, как его ни назвать, — кто послал нас сюда, дабы мы исполнили свой гражданский и семейный долг. Но я не считаю нужным ходить в церковь, целовать серебряные блюда и прикармливать ораву шутов, которые и так лучше нас с вами питаются! Молиться богу можно и в лесу и в поле, даже просто, по примеру древних, созерцая небесный свод. Мой бог — это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! Я за *Символ веры савойского викария* и за бессмертные принципы восемьдесят девятого года!

Вот почему я отрицаю боженьку, который прогуливается с палочкой у себя в саду, размещает своих друзей во чреве китовом, умирает, испустив крик, и на третий день воскресает. Все эти нелепости в корне противоречат законам физики, а из этих законов, между прочим, явствует, что попы сами погрязли в позорном невежестве и хотят погрузить в его пучину народ.

Тут фармацевт, поискав глазами публику, смолк, — увлекшись, он вообразил, что произносит речь в муниципальном совете. А хозяйка не обращала на него никакого внимания — ей слышался отдаленный стук катящегося экипажа. Немного погодя можно было уже различить скрип кареты, цоканье ослабевших подков, и, наконец, у ворот остановилась «Ласточка».

Она представляла собою желтый ящик, помещавшийся между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, мешали пассажирам смотреть по сторонам и забрызгивали им спину. Когда дверца кареты захлопывалась, то дрожали все стеклышки ее окон с налипшими на них комьями грязи и с вековой пылью, которую не смывали даже проливные дожди. Впрягали в нее тройку лошадей, из которых первая была выносная; если дорога шла под гору, то карета, вся сотрясаясь, доставала дном до земли.

На площадь высыпали горожане. Все заговорили разом, спрашивали, что нового, обращались за разъяснениями, расхватывали свои корзины. Ивер не знал, кому отвечать. В Руане он выполнял все поручения местных жителей. Ходил по лавкам, сапожнику привозил кожу, кузнецу — железо, своей хозяйке — бочонок сельдей, привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. По дороге из Руана он только и делал, что раздавал покупки, — стоя на козлах, орал диким голосом и швырял свертки через забор, а лошади шли сами.

Сегодня он запоздал из-за одного происшествия: сбежала собака г-жи Бовари. Ее звали битых четверть часа. Ивер даже проехал с пол-лье назад, — он был уверен, что собака с минуты на минуту объявится, — но в конце концов надо было все-таки ехать дальше. Эмма плакала, злилась, во всем обвиняла Шарля. Их попутчик, торговец тканями г-н Лере, стараясь утешить г-жу Бовари, рассказывал ей всякие истории про собак, которые пропадали, но много лет спустя все-таки узнавали хозяев. Он даже утверждал, что чья-то собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала по прямой линии пятьдесят лье и переплыла четыре реки. У отца г-на Лере был пудель, который пропал двенадцать лет и вдруг как-то вечером, когда отец шел в город поужинать, прыгнул ему на спину.

Эмма вышла первая, за ней Фелисите, г-н Лере и кормилица; Шарля пришлось разбудить, ибо он, едва смерклось, придулился в уголке и заснул крепким сном.

Оме счел своим долгом представиться; он засвидетельствовал свое почтение г-же Бовари, рассыпался в любезностях перед ее мужем, сказал, что он рад был им служить, и с самым дружелюбным видом добавил, что его жена уехала и поэтому он берет на себя смелость напроситься на совместную трапезу.

Войдя в кухню, г-жа Бовари подошла к камину. Она приподняла двумя пальцами платье до щиколоток и стала греть ногу в черном ботинке прямо над куском мяса, который поджаривался на вертеле. Пламя озаряло ее всю: и ее платье, и ее гладкую белую кожу, а когда она жмурилась, то в его резком свете веки ее казались прозрачными. В приотворяемую дверь временами дуло, и тогда по Эмме пробежал яркий багровый отблеск.

Сидевший по другую сторону камина белокурый молодой человек устремил на нее безмолвный взгляд.

В Ионвиле он служил помощником у нотариуса, г-на Гильомена, очень скучал (это и был Леон Дюпюи, второй завсегда-тай «Золотого льва») и в надежде, что на постоянный двор завернет путник, с которым можно будет поболтать вечером, сплошь да рядом являлся к обеду с запозданием. В те же дни, когда занятия кончались у него рано, он не знал, куда себя девать, поневоле приходил вовремя и весь обед, от первого до последнего блюда, просиживал с глазу на глаз с Бине. Вот почему он очень охотно принял предложение хозяйки пообедать в обществе новоприбывших, и так как г-жа Лефрансуа для большей торжественности велела накрыть стол на четыре прибора в большой комнате, то все перешли туда.

Оме попросил разрешения не снимать феску, — он боялся схватить насморк.

Затем он обратился к своей соседке:

— Вы, наверно, устали, сударыня? Наша «Ласточка» трясет немилосердно!

— Это правда, — молвила Эмма, — но всякое передвижение доставляет мне удовольствие. Я люблю менять обстановку.

— Какая скука — вечно быть прикованным к одному месту! — воскликнул помощник нотариуса.

— Попробовали бы вы, как я, по целым дням не слезать с лошади... — заговорил Шарль.

— А по-моему, это чудесно,— возразил Леон, обращаясь к г-же Бовари, и добавил: — Лишь бы иметь возможность.

— Да у нас тут условия для врача не такие уж тяжелые,— вмешался аптекарь,— дороги в исправности, всюду можно проехать в кабриолете, а платят прилично,— местные крестьяне живут богато. Если же говорить с чисто медицинской точки зрения, то, помимо обычных явлений энтерита, бронхита, желтухи и тому подобного, в пору жатвы здесь иногда встречается перемежающаяся лихорадка, но тяжелые случаи редки, одним словом — ничего достопримечательного, вот только золотуха у нас свирепствует, и тут все дело, конечно, в антисанитарном состоянии крестьянских домов. Да, господин Бовари, вам придется вести борьбу со множеством предрассудков, косность будет оказывать постоянное и упорное сопротивление вашей науке,— ведь есть еще такие люди, которые пойдут не к врачу, не к фармацевту, а к попу, которые вместо лечения молятся да прикладываются к мощам. А между тем климат здесь, в сущности говоря, не плохой, в нашей округе можно найти даже девяностолетних стариков. Температура, по моим собственным наблюдениям, зимою падает до четырех градусов, а в жару поднимается до двадцати пяти, самое большее — до тридцати, что составляет по Реомюру максимум двадцать четыре, а по Фаренгейту (по английскому градуснику) — пятьдесят четыре, не выше. В самом деле, с одной стороны мы защищены Аргейльским лесом от северного ветра, а с другой — холмом Сен-Жан от западного, и благодаря этому жара, которая усиливается от водяных паров, поднимающихся над рекой, и от скопления на лугах изрядного количества скота, выделяющего, как вам известно, много аммиака, то есть азота, водорода и кислорода,— нет, виноват, только азота и водорода,— жара, которая поглощает влагу, содержащуюся в почве, смешивает все эти различные испарения, связывает их, если можно так выразиться, в один сноп, вступает в соединение с электричеством, когда оно бывает разлито в воздухе, и которая, как в тропических странах, могла бы с течением времени образовать вредные для здоровья миазмы,— эта жара, говорю я, именно там, откуда она приходит, или, вернее, откуда она должна была бы к нам приходить, то есть на юге, умеряется юго-восточным ветром,— ветер же этот, охлаждаясь над Сеной, порой налетает на нас внезапно, вроде русского бурана.

— По крайней мере, тут есть где погулять? — спросила молодого человека г-жа Бовари.

— Почти что нигде, — ответил тот. — Есть одно место, на взгорье, у опушки леса, на так называемом выгоне. Иногда в воскресенье я ухожу туда с книгой и люблюсь закатом.

— По-моему, нет ничего красивей заката, — молвила Эмма, — особенно над морем.

— О, море я обожаю! — сказал Леон.

— И не кажется ли вам, — продолжала г-жа Бовари, — что над этим безграничным пространством наш дух парит вольнее, что его созерцание возвышает душу и наводит на размышления о бесконечности, об идеале?

— Так же действуют на человека и горы, — молвил Леон. — Мой двоюродный брат в прошлом году путешествовал по Швейцарии, и он потом говорил мне, что невозможно себе представить, как поэтичны озера, как прекрасны водопады, как величественны ледники. Через потоки переброшены сосны сказочной величины, над провалами повисли хижины, а когда облака расходятся, вы видите под собой, на дне тысячефутовой пропасти, бескрайнюю долину. Такое зрелище должно настраивать человеческую душу на высокий лад, располагать к молитве, доводить до экстаза! И меня нисколько не удивляет, что один знаменитый музыкант для вдохновения уезжал играть на фортепьяно в какие-нибудь красивые места.

— А вы сами играете, поете? — спросила Эмма.

— Нет, но я очень люблю музыку, — ответил Леон.

— Ах, не верьте ему, госпожа Бовари! — наклонившись над тарелкой, прервал Леона Оме. — Это он из скромности. Что же это вы, батенька? Ведь вы на днях чудесно пели у себя в комнате «Ангела-хранителя». Мне в лаборатории хорошо было слышно. Вы передавали все оттенки, как настоящий певец.

Надо заметить, что Леон снимал у фармацевта в третьем этаже комнату окнами на площадь. Похвала домохозяйина заставила его покраснеть, но тот уже повернулся лицом к лекарю и стал называть самых видных лиц в городе. Попутно он рассказывал про них всякие истории, давал разного рода сведения. Какой цифры достигает состояние нотариуса — в точности неизвестно; с «семейкой Тювашей» лучше не связываться.

— Какая же музыка вам больше всего нравится? — продолжала расспрашивать Эмма.

— Разумеется, немецкая, — под нее так хорошо мечтать!

— А итальянцев вы знаете?

— Нет еще, но я их услышу на будущий год, — мне придется ехать в Париж кончать юридический факультет.

— Я уже имел честь докладывать вашему супругу о несчастном беглеце Яноде, — обратился к Эмме фармацевт. — Благодаря тому, что он сглупил, вы будете жить в одном из самых комфортабельных ионвильских домов. Для врача он особенно удобен тем, что одна из его дверей выходит прямо на бульвар, так что можно незаметно и войти и выйти. Кроме того, в доме есть все, что нужно семейному человеку: прачечная, кухня, буфетная, уютная гостиная, фруктовый сад и прочее. Этот чудак тратил деньги без счета! В самом конце сада, над рекой, он выстроил себе беседку, для того чтобы летом пить в ней пиво. Если же вы, сударыня, любите садоводство, то вы сможете...

— Мою жену это не интересует, — ответил за нее Шарль, — хотя ей и рекомендуется моцион, однако она предпочитает сидеть в комнате и читать.

— Это вроде меня, — подхватил Леон. — В самом деле, что может быть лучше — сидеть вечером с книжкой у камина? Горит лампа, в окна стучится ветер...

— Ведь правда? — пристально глядя на него широко раскрытыми черными глазами, спросила Эмма.

— Ни о чем не думаешь, часы идут, — продолжал Леон. — Сидя на месте, путешествуешь по разным странам и так и видишь их перед собой; мысль, подогреваемая воображением, восхищается отдельными подробностями или же следит за тем, как разматывается клубок приключений. Ты перевоплощаешься в действующих лиц, у тебя такое чувство, точно это твое сердце бьется под их одеждой.

— Верно! Верно! — повторяла Эмма.

— Вам случалось находить в книге вашу собственную мысль, но только прежде не додуманную вами, какой-нибудь неясный образ, теперь как бы возвращающийся к вам издалека и удивительно полно выражающий тончайшие ваши ощущения?

— Мне это знакомо, — подтвердила Эмма.

— Вот почему я особенно люблю поэтов, — сказал Леон. — По-моему, стихи нежнее прозы — они трогают до слез.

— А в конце концов утомляют, — возразила Эмма. — Я, наоборот, пристрастилась за последнее время к романам, к страшным романам, к таким, от которых не оторвешься. Я ненавижу пошлых героев и сдержанность в проявлении чувств, — этого и в жизни довольно.

— Я с вами согласен, — признался Леон. — На мой взгляд, если художественное произведение вас не волнует, значит, оно не достигает истинной цели искусства. Так отрадно бывает уйти от горестей жизни в мир благородных натур, возвышенных

чувств, полюбоваться картинами счастья! Здесь, в глуши, это мое единственное развлечение. Да вот беда: в Ионвиле трудно доставать книги.

— В Тосте, конечно, тоже,— заметила Эмма,— я брала книги в читальне.

— Сделайте одолжение, сударыня, берите книги у меня,— расслышав ее последние слова, обратился к ней фармацевт,— моя библиотека в вашем распоряжении, а в ней собраны лучшие авторы: Вольтер, Руссо, Делиль, Вальтер Скотт, «Отголо-ски фельетонов» и прочие. Потом я получаю периодические издания, в том числе ежедневную газету «Руанский светоч»,— я имею честь быть ее корреспондентом и сообщаю, что делается в Бюши, Форже, Невшателе, Ионвиле и его окрестностях.

Общество сидело за столом уже два с половиной часа, так как служанка Артемиза, лениво шаркая по полу веревочными туфлями, приносила по одной тарелке, все забывала, путала, оставляла открытой дверь в бильярдную, и та беспрестанно ударялась щеколдой об стену.

Продолжая беседу, Леон машинально поставил ногу на перекладину стула г-жи Бовари. На Эмме был синий шелковый галстучек, который до того туго стягивал гофрированный батистовый воротничок, что он стоял прямо, как брыжи; когда Эмма поворачивала голову, подбородок ее то весь уходил в батист, то снова появлялся. Так, пока Шарль и фармацевт толковали друг с другом, у Эммы и Леона завязалась беседа на общие темы, одна из тех бесед, в которых любая случайная фраза тяготеет, однако, к строго определенному центру, и этим центром является взаимопонимание. Парижские спектакли, названия романов, новые кадрили, высший свет, о котором они не имели понятия, Тост, где раньше жила она, Ионвиль, где они находились теперь,— все это они уже обсудили, обо всем успели поговорить до конца обеда.

Когда подали кофе, служанка ушла в новый дом стелить постели, а немного погодя обедавшие встали из-за стола. Г-жа Лефрансуа спала у истопленной печи, конюх с фонарем в руке ждал г-на и г-жу Бовари, чтобы проводить их домой. Он припадал на левую ногу, в его рыжих волосах торчала солома. Он захватил с собой зонт священника, и вся компания вышла на улицу.

Городок спал. От столбов крытого рынка ложились длинные тени. Земля была совершенно серая, как в летние ночи.

Дом врача стоял всего в полусотне шагов от трактира, поэтому очень скоро пришлось проститься, и спутники расстались.

В передней Эмма тотчас же почувствовала, как холод известки влажною простыней окутывает ей плечи. Стены были только что побелены, деревянные ступеньки скрипели. Голые окна спальни, расположенной во втором этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядывали верхушки деревьев, а там дальше при лунном свете над рекой клубился туман, и в нем тонули луга. Посреди комнаты были свалены в кучу ящики от комода, бутылки, пруты для занавесок, позолоченные карнизы, на стульях лежали перины, на полу стояли тазы, — два носильщика, таскавшие вещи, сложили их как попало.

Четвертый раз в жизни предстояло Эмме спать на новом месте. Первый раз это было, когда ее отдали в монастырскую школу, второй — когда она приехала в Тост, третий — в Вобьесаре, четвертый — сегодня. И каждый раз это было как бы началом новой эпохи в ее жизни. Эмма не допускала мысли, что и в новой обстановке все останется как было, а так как на старом месте ей жилось плохо, то она твердо верила, что с наступлением какой-то иной полосы все у нее изменится к лучшему.

III

Наутро Эмма, проснувшись, выглянула в окно — по площади шел помощник нотариуса. Эмма была в пеньюаре. Леон поднял голову и поклонился. Эмма ответила ему быстрым кивком и затворила окно.

Леон целый день ждал шести часов вечера; когда же он вошел в трактир, то, кроме сидевшего за столом Бине, там никого не оказалось.

Вчерашний обед явился для Леона крупным событием; до этого ему еще не доводилось беседовать два часа подряд с *дамой*. Как же это он сумел сказать ей столько, да еще в таких выражениях? Прежде ведь он никогда так хорошо не говорил. Он был всегда робок, он отличался той сдержанностью, которую питали в нем застенчивость и скрытность. Весь Ионвиль находил, что Леон «прекрасно себя держит». Он терпеливо выслушивал разглагольствования людей в летах и, видимо, был равнодушен к политике, что у молодых людей встречается не часто. Он был способный юноша: рисовал акварелью, играл одним пальцем на фортепьяно, после обеда любил почитать, если только не представлялась возможность поиграть в карты. Г-н Оме ценил в нем его познания, г-же Оме нравилось, что он такой обязательный, и точно: он часто гулял в саду с детьми

Оме, вечно грязными, весьма дурно воспитанными и отчасти лимфатическими, как их мать, малышами. Помимо няньки, за ними присматривал Жюстен, двоюродный племянник г-на Оме, взятый в дом из милости,— он был у него и аптекарским учеником, и слугою.

Фармацевт оказался на редкость приятным соседом. Он дал г-же Бовари все необходимые сведения о поставщиках, нарочно для нее вызвал торговца, у которого постоянно покупал сидр, сначала попробовал сам и даже не поленился слазить к соседям в погреб, посмотрел, так ли поставлена бочка; еще он сообщил, где можно доставать дешевое масло, и нанял им в садовники пономаря Лестибудуа, который, помимо своих священнослужительских и погребальных обязанностей, ухаживал за лучшими ионвильскими садами и получал за это плату или почасно, или за целый год сразу,— это всецело зависело от садовладельцев.

Необыкновенная услужливость фармацевта объяснялась не только его любовью к ближним — тут был и особый расчет.

Господин Оме нарушал статью 1-ю закона от 19 вентоза XI года Республики, воспрещавшую лечить больных всем, кто не имеет лекарского звания. В связи с этим его даже как-то раз по необоснованному доносу вызвали в Руан, в кабинет королевского прокурора. Сановник принял его стоя, в горностаевой мантии и в берете. Это было утром, перед судебным заседанием. Из коридора доносился топот жандармских сапог, где-то вдалеке словно бы поворачивались со скрежетом в замочных скважинах огромные ключи. У г-на Оме звенело в ушах, как перед ударом: ему чудились каменные мешки, рыдающее семейство, распродажа аптеки, разбросанные склянки. Чтобы успокоиться, он прямо от прокурора зашел в кафе и выпил стакан рома с сельтерской.

С течением времени воспоминание о полученном внушении утратило свою живость, и г-н Оме опять начал принимать пациентов в комнатке рядом с аптекой и давать им невинные советы. Но мэр его недолюбливал, коллеги завидовали, надо было держать ухо востро. Обязать г-на Бовари своими любезностями значило заслужить его благодарность и замазать ему рот на тот случай, если он что-нибудь заметит. Вот почему г-н Оме каждое утро приносил лекарю «газетку», а днем часто забежал к нему «на минутку» потолковать.

Шарль приуныл: пациенты все не шли. По целым часам молча сидел он в ожидании, потом отправлялся спать к себе в кабинет или же наблюдал за тем, как шьет его жена. От скуки

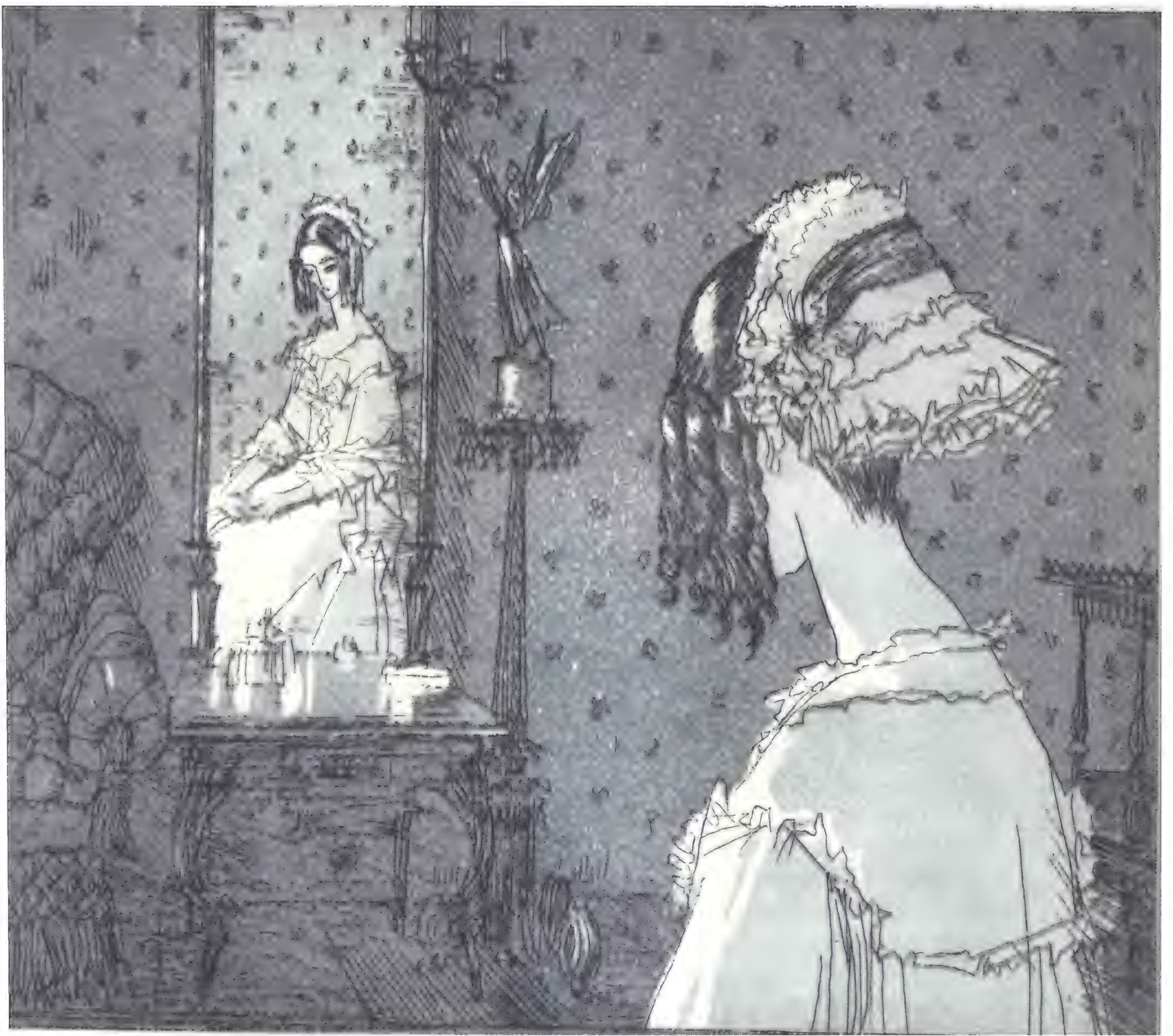
он сам к себе нанялся в работники и, обнаружив, что маляры оставили немного краски, попытался выкрасить чердак. Но денежные дела продолжали его беспокоить. Он массу истратил на ремонт в Тосте, на туалеты жены, на переезд, — словом, за два года он просадил все приданое, то есть больше трех тысяч экю. А сколько вещей сломалось и потерялось при переезде из Тоста в Ионвиль, не считая гипсового священника, который от сильного толчка на мостовой в Кенкампуа упал с повозки и разбился на мелкие куски!

Шарля отвлекала более приятная забота — беременность жены. Чем ближе подходило время родов, тем нежнее он ее любил. Его связывали с ней теперь еще одни узы физической близости, связывало гораздо более сложное и непреходящее чувство. Когда он видел издали ее медлительную походку, ее лениво колышущийся стан, не затянутый в корсет, когда они сидели друг против друга и он впивался в нее глазами, а она принимала в кресле изнеженные позы, он вдруг вскакивал, обнимал ее, гладил ее лицо, называл мамочкой, тащил танцевать и, смеясь сквозь слезы, придумывал множество милых шуток. Мысль о том, что он зачал ребенка, приводила его в восторг. Это был предел его желаний. Он познал жизнь во всей ее полноте и теперь блаженствовал.

Эмма сначала была изумлена, потом ей захотелось как можно скорей разрешиться от бремени, чтобы наконец почувствовать, что же такое материнство. Но ей не хватало денег ни на колыбельку в виде лодочки с розовым шелковым пологом, ни на кружевные чепчики, и с досады она, ничего не выбрав, ни с кем не посоветовавшись, заказала все детское приданое здешней швее. Таким образом, она себя не порадовала теми приготовлениями, которые подогревают материнскую нежность, и ее любовь к ребенку в самом начале была этим, вероятно, ущемлена.

А Шарль постоянно говорил за столом о малютке, и немного погодя она тоже привыкла все время думать о нем.

Ей хотелось сына. Это будет черноволосый крепыш, она назовет его Жоржем. И мысль о мальчике давала ей надежду, что судьба вознаградит ее за несбывшиеся мечты. Мужчина, по крайней мере, свободен: ему доступны все страсти, все чужие края, он волен преодолевать препятствия, вкушать от наиболее трудно достижимых наслаждений. А женщине всюду помехи. Косная и вместе с тем гибкая по натуре, женщина находится между двух огней: между слабостью своей плоти и бременем закона. Ее воля, точно вуаль ее шляпки, держащаяся на шнурке,



Госпожа Бовари

трепещет при малейшем дуновении ветра; ее вечно увлекает какая-нибудь прихоть, вечно сдерживает какая-нибудь условность.

Эмма родила в воскресенье, около шести часов, на утренней заре.

— Девочка! — сказал Шарль.

Роженица отвернулась и потеряла сознание.

Почти тотчас же прибежала и расцеловала ее г-жа Оме, вслед за ней — тетушка Лефрансуа, хозяйка «Золотого льва». Фармацевт из деликатности ограничился тем, что, приотворив дверь, поздравил ее пока наскоро. Затем попросил показать ребенка и нашел, что девочка хорошо сложена.

Когда Эмма начала поправляться, она усиленно занялась выбором имени для дочки. Сначала она перебрала все женские имена с итальянскими окончаниями: Клара, Луиза, Аманда, Атала; ей нравилась Гальсуинда, но особенно — Изольда и Леокадия. Шарлю хотелось назвать дочку в честь матери, но Эмма не соглашалась. Перечли календарь с первой до последней страницы, советовались с посторонними.

— Недавно я беседовал с Леоном, — сообщил фармацевт, — он удивляется, почему вы не дадите своей девочке имя Магдалины, — оно теперь в большой моде.

Но старуха Бовари, услышав имя грешницы, решительно воспротивилась. Сам г-н Оме предпочитал имена, напоминавшие о каком-нибудь великом человеке, славном подвиге или же благородной идее. Так, Наполеон представлял в его семействе славу, Франклин — свободу; Ирма знаменовала, должно быть, уступку романтизму, Аталия же являла собою дань непревзойденному шедевр французской сцены. Заметим кстати, что философские взгляды г-на Оме мирно уживались с его художественными вкусами, мыслитель не подавлял в нем человека с тонкими чувствами; он умел разграничивать, умел отличить пламенное воображение от фанатизма. В «Аталии», например, он осуждал идеи, но упивался слогом, порицал замысел, но рукоплескал частностям, возмущался поведением действующих лиц, но их речи зажигали его. Перечитывая знаменитые места, он приходил в восторг, но при мысли о том, что это вода на мельницу мракобесов, впадал в отчаяние и, раздираемый противоположными чувствами, готов был собственноручно увенчать Расина лаврами и тут же с пеной у рта начать с ним спорить.

Наконец Эмма вспомнила, что в Вобьесарском замке маркиза назвала при ней одну молодую женщину Бертой; на этом

она и остановилась, а так как папаша Руо не мог приехать, то в крестные отцы пригласили г-на Оме. Крестница получила на зубок от всех его товаров понемножку, а именно: шесть паке-тиков ююбы, целую склянку ракаута, три коробочки алтейной пасты и сверх того шесть трубочек леденцов, завалявшихся у него в шкафу. После совершения обряда был устроен торжественный обед; на нем присутствовал и священник; языки у всех развязались. За ликером г-н Оме затянул «Бога честных людей». Леон спел баркаролу, старуха Бовари, крестная мать, спела романс времен Империи. В конце концов старик Бовари велел принести ребенка и принялся крестить его, поливая ему на головку шампанское из стакана. Аббат Бурнизьен выразил свое возмущение этим издевательством над первым из таинств. Старик Бовари ответил ему цитатой из «Войны богов». Священник собрался уходить, дамы начали просить его остаться, Оме взял на себя роль миротворца, и священник, сев на свое место, как ни в чем не бывало поднес ко рту недопитую чашку кофе.

Старик Бовари прогостил в Ионвиле с месяц, и обыватели не могли надивиться его великолепною, военного образца, обшитой серебряным галуном фуражке, в которой он выходил по утрам на площадь выкурить трубку. Он был не дурак выпить и теперь часто посылал служанку в «Золотой лев» за бутылкой, которую там записывали на счет сына; на свои носовые платки он извел весь невесткин одеколон.

Но невестку его общество не раздражало. Он много видел на своем веку, рассказывал ей о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о своей службе в армии, о своих любовницах, о пирушках, которые он устраивал, а кроме того, он за ней ухаживал и даже иногда, на лестнице или в саду, обнимал за талию и кричал:

— Берегись, Шарль!

В конце концов старуха Бовари, испугавшись за счастье сына, боясь, как бы ее супруг не оказал вредного влияния на нравственность молодой женщины, поспешила увезти его домой. Возможно, что ею руководили и более серьезные опасения. Для г-на Бовари не было ничего святого.

Однажды у Эммы явилась острая потребность повидать свою девочку, которую отдали кормить жене столяра, и она, не заглянув в календарь, прошли или не прошли положенные шесть недель, отправилась на дом к Роле, жившим на окраине, под горой, между лугами и большаком.

Был полдень; ставни всюду были закрыты, аспидные крыши блестели в резком свете синего неба, их гребни точно искри-

лись. Дул жаркий ветер. Эмма шла с трудом; ей больно было наступать на камни; она подумала, не вернуться ли ей, не зайти ли куда-нибудь посидеть.

В эту минуту из соседнего дома вышел Леон с кипой бумаг под мышкой. Он поклонился ей и стал в тени возле лавки Лере, под ее серым навесом.

Госпожа Бовари сказала, что вышла навестить ребенка, но уже утомилась.

— Если... — начал было Леон, но тут же осекся.

— Вы куда-нибудь по делу? — спросила она.

И, узнав, что нет, попросила проводить ее. К вечеру это стало известно всему Ионвилю, и жена мэра, г-жа Тюваш, сказала в присутствии своей служанки, что «госпожа Бовари себя компрометирует».

Чтобы попасть к кормилице, надо было, пройдя улицу до самого конца, свернуть налево, по направлению к кладбищу, и идти между двумя рядами домишек и двориков, по тропинке, обсаженной кустами бирючины. Бирючина цвела; цвели и вероника, и шиповник, и крапива, и гибкая ежевика, тянувшаяся вверх. Сквозь лазейки в изгородях видно было, как возле «хибарок» роятся в навозе свиньи, а привязанные коровы трутся рогами о деревья. Эмма и Леон медленно шли рядом, она опиралась на его руку, а он принаравливался к ее шагу. Перед ними в знойном воздухе кружилась, жужжа, мошкара.

Лачугу кормилицы затенял старый орешник — по этой примете они и узнали ее. Лачужка была низенькая, крытая коричневой черепицей; под слуховым окном висела связка лука. Вязанки хвороста, прислоненные стоймя к терновой изгороди, тянулись вокруг грядки латука и маленьких клумбочек лаванды и душистого горошка, обвинявшего подпорки. По траве растекалась грязная вода, на изгороди было развешано разное старье, чулки, красная ситцевая кофта, большая, грубого полотна простыня. На стук калитки вышла кормилица с грудным ребенком на руке. Другой рукой она вела жалкого, хилого золотушного малыша, сына руанского шапочника, которого родители, люди занятые, отправили подышать деревенским воздухом.

— Пожалуйте, — сказала она, — ваша малютка спит.

В единственной комнате у задней стены стояла широкая кровать без полога, а под разбитым окном, заклеенным синей бумагой, — квашня. В углу за дверью, под умывальником, были выстроены в ряд башмаки, подбитые блестящими гвоздями, и тут же стояла бутылка с маслом, из которой торчало перышко; на пыльном камине среди ружейных кремней, огарков и обрыв-

ков трута валялся «Матвей Лансберг». Наконец, последнее украшение этого жилища составляла прибитая к стене шестью сапожными гвоздями трубящая Слава, вырезанная, вероятно, из какой-нибудь парфюмерной рекламы.

Девочка Эммы спала в стоявшей прямо на полу люльке, сплетенной из ракитовых прутьев. Эмма взяла ее на руки вместе с одеялом и, баюкая, стала напевать.

Леон прохаживался по комнате; ему как-то дико было видеть эту красивую женщину в нарядном платье среди такой нищеты. Г-жа Бовари покраснела; решив, что смотреть на нее сейчас неделикатно, он отвернулся. Девочка срыгнула ей на воротничок, и она положила ее опять в колыбельку. Кормилица поспешила успокоить мать, что пятна не останутся, и бросилась вытирать воротничок.

— Меня она еще и не так отделявает, — говорила кормилица, — только успевай обмывать ее! Будьте настолько любезны, скажите лавочнику Камюсу, чтоб он мне мыльца отпускал, когда понадобится! Так и вам будет удобней — я уж вас не беспокою.

— Хорошо, хорошо! — сказала Эмма. — До свидания, тетушка Роле!

И, вытерев об порог ноги, вышла во двор.

Жена столяра пошла ее проводить и до самой калитки все охала, как трудно ей вставать по ночам.

— Иной раз до того умаюсь — сижу на стуле и клюю носом. Дали бы вы мне хоть фунтик молотого кофе — мне бы на месяц хватило, я бы его утром с молоком пила.

Госпоже Бовари пришлось долго слушать, как та рассыпается в благодарностях; наконец она с ней распростилась, но не успела пройти немного вперед по тропинке, как стук деревянных башмаков заставил ее оглянуться: это была кормилица!

— Что еще?

Жена столяра отвела Эмму в сторону, под сень вяза, и заговорила о своем муже, о том, что его заработка и тех шести франков в год, которые капитан...

— Говорите короче, — сказала Эмма.

— Так вот, — продолжала кормилица, выпуская вздох после каждого слова, — что, если ему станет завидно смотреть, как я пью кофе? Сами знаете, эти мужчины...

— Да ведь у вас будет кофе, — подтвердила Эмма, — я же вам обещала!.. Вы мне надоели!

— Ах, милая барыня, у него от ран такие сильные спазмы бывают в груди! Он говорит, что даже от сидра слабеет.

— Тетушка Роле, не тяните!

— Ну да уж что там,— с поклоном продолжала кормилица,— вы уж меня извините за мою назойливость...— Она еще раз поклонилась.— Будьте такая добренькая,— она умоляющим взглядом смотрела на Эмму,— графинчик бы водочки,— наконец выговорила она,— я бы вашей доченьке ножки растирала, а они у нее нежные-пренежные, как все равно атлас!

Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла под руку Леона. Некоторое время она шла быстро, потом замедлила шаг, и взгляд ее уперся в плечо молодого человека и в черный бархатный воротник его сюртука. На воротник падали гладкие, тщательно расчесанные темно-русые волосы. Эмма заметила, что таких длинных ногтей, как у Леона, нет ни у кого во всем Ионвиле. Уход за ними составлял для помощника нотариуса предмет неустанных забот; с этой целью он держал в своем письменном столе особый ножичек.

В Ионвиль они возвращались вдоль реки. В жаркую погоду побережье расширялось, стены, которыми были обнесены сады, обнажались до самого основания, от садов к воде вели небольшие лесенки. Река, быстрая и на вид холодная, текла бесшумно. В ясных ее водах по воле течения склонялись одновременно высокие тонкие травы, напоминая взъерошенные зеленые кудри. На верхушках камышей и листьях кувшинок кое-где сидели или ползали на крошечных лапках насекомые. Солнечный луч пронизывал синие брызги набегавших одна на другую и разбивавшихся волн. В воде отражалась серая кора старых ив с подрезанными ветвями; на том берегу, куда ни кинь взор, стлались пустынные луга. На фермах в эту пору обедали; молодая женщина и ее спутник слышали только свои мерные шаги по тропинке, слова, которыми они обменивались, да шелест платья, струившийся вокруг Эммы.

Садовые стены, утыканые сверху осколками бутылок, были горячи, как стекла теплицы. Между кирпичами пробивался желтофиоль. Г-жа Бовари мимоходом задевала цветы краем своего раскрытого зонтика, и от этого прикосновения увядшие лепестки рассыпались желтой пылью, а то вдруг веточка жимолости или ломоноса, свесившаяся через стену и печаянно сбитая зонтом, цеплялась за бахрому, а потом скользила по его шелку.

Спутники говорили об испанской балетной труппе, которая должна была скоро приехать в Руан.

— Вы пойдете? — спросила Эмма.

— Если удастся,— ответил Леон.

Неужели им больше нечего было сказать друг другу? Нет, глаза их говорили о чем-то гораздо более важном. Подыскивая банальные фразы, оба чувствовали, как все их существо охватывает томление. Это был как бы шепот души — сокровенный, немолчный, заглушающий голоса. Потрясенные этим новым для них наслаждением, они не пытались поведать о нем друг другу, уяснить себе, где его источник. Грядущее счастье, словно река в тропиках, еще издали наполняет неоглядные просторы тою негой, какой оно дышит всегда, еще издали повеваает благоуханным ветром, и человек, упоенный, погружается в забытие, не заглядывая в даль и даже не помышляя о ней.

В одном месте стадо так растолкло землю, что пришлось перебираться по большим зеленым камням, кое-где торчавшим из грязи. Эмма поминутно останавливалась, смотрела, куда бы ей поставить ногу, и, покачиваясь на шатающемся булыжнике, расставив локти, подавшись всем корпусом вперед, растерянно оглядываясь, как бы не упасть в лужу, заливалась смехом.

Дойдя до своего сада, г-жа Бовари толкнула калитку, взбежала на крыльцо и скрылась за дверью.

Леон вернулся в контору. Патрона не было. Леон окинул взглядом папки с делами, очинил перо, взял шляпу и ушел.

Он взобрался на вершину Аргейльского холма и, очутившись на выгоне, у опушки леса, лег в тени елей и стал смотреть из-под руки на небо.

— Какая тоска! — говорил он себе. — Какая тоска!

Ему опостылела жизнь в этом захолустье, где единственным его приятелем, за неимением других, был Оме, а наставником — г-н Гильомен. Нотариус, вечно занятый делами, носил очки с золотыми дужками и белый галстук, оттенявший его рыжие бакенбарды, и ничего не понимал в сложных душевных переживаниях, однако вначале произвел на помощника сильное впечатление своею чопорною английскою складкой. Что же касается аптекарши, то это была лучшая жена во всей Нормандии; кроткая, как овечка, она обожала своих детей, отца, мать, всю свою родню, близко принимала к сердцу чужие беды, хозяйство вела спустя рукава и ненавидела корсеты. Но она была до того неповоротлива, до того скучна, до того бесцветна, такая это была неинтересная собеседница, что хотя ей минуло всего лишь тридцать лет, а Леону — двадцать, хотя их спальни были дверь в дверь и разговаривали они друг с другом ежедневно, он никогда не думал о ней как о женщине, все признаки ее пола заключались для него только в одежде.

Кто же еще? Бине, лавочники, кабатчики, священник и, наконец, мэр, г-н Тюваш, и два его сына; все это были скопидомы, нелюдимы, тугодумы, землю они обрабатывали своими руками, пьянствовали только у себя дома, а на людях эти отвратительные ханжи прикидывались святыми.

И на фоне всех этих пошлых лиц отчетливо вырисовывался облик Эммы, такой своеобразный и все же такой далекий; он чувствовал, что между ним и ею лежит пропасть.

На первых порах он часто навещался к ней вместе с фармацевтом. Шарль особого радушия не проявлял, и Леон не знал, как себя держать: он боялся показаться навязчивым и вместе с тем стремился к близости, которая ему же самому представлялась чем-то почти несбыточным.

IV

Как только настали холода, Эмма перебралась из своей спальни в длинную, с низким потолком залу, где на камине подле зеркала раскинул свои ветви коралловый полип. Из окна, у которого она обычно сидела в кресле, ей были видны шедшие по тротуару обыватели.

Два раза в день из конторы в «Золотой лев» проходил Леон. Шаги его она узнавала задолго до того, как он появлялся; она подавалась вперед и слушала; молодой человек, одетый всегда одинаково, не оборачиваясь, мелькал за занавеской. Но когда она здесь сумерничала, оперевшись подбородком на левую ладонь и уронив на колени начатое вышиванье, ее часто заставляла вздрагивать эта вдруг промелькнувшая тень. Она вставала и приказывала накрывать на стол.

Во время обеда приходил г-н Оме. Держа феску в руке, он ступал неслышно, чтобы никого не побеспокоить, и всегда говорил одно и то же: «Мир дому сему!» Потом садился за стол на свое обычное место, между супругами, и спрашивал лекаря, как его больные, а тот советовался с ним относительно гонораров. Говорили о том, «что пишут в газетах». К этому времени Оме успевал выучить газету почти наизусть и пересказывал ее теперь слово в слово, вместе с комментариями журналистов, не опуская ни одной скандальной истории, где бы она ни случилась: во Франции или за границей. Исчерпав и эту тему, он всякий раз делал свои замечания по поводу приносимых блюд. Иногда он даже привставал и деликатно указывал хозяйке наиболее лакомый кусочек или же, обращаясь к служанке, давал

ей советы, как надо готовить рагу и какая приправа к какому блюду идет. Об ароматических веществах, о мясных вытяжках, соусах и желатине он говорил так, что его можно было заслушаться. Надо заметить, что г-н Оме держал в голове больше рецептов, чем в его аптеке умещалось склянок; он сам великоленно варил варенье, делал уксус, сладкие ликеры, знал все нововведения в области экономных переносных плит, знал секрет хранения сыра и выхаживания больных вин.

В восемь часов за ним приходил Жюстен — пора было закрывать аптеку. Г-н Оме лукаво поглядывал на него, особенно если тут была Фелисите, — он заметил, что его ученик повадился в докторский дом.

— Мой молодец что-то начал задумываться, — говорил аптекарь. — Черт возьми, уж не влюбился ли он в вашу служанку?

Но у Жюстена был более серьезный недостаток: он вечно подслушивал разговоры взрослых, и аптекарь его за это журил. Так, например, по воскресеньям, когда дети засыпали в креслах, сбивая спинами чересчур широкие коленкоровые чехлы, и г-жа Оме вызывала Жюстена в гостиную, чтобы он унес их в детскую, его потом невозможно было выпроводить.

На этих воскресных вечеринках у фармацевта народу бывало немного, — злой язык хозяина и его политические взгляды мало-помалу оттолкнули от него людей почтенных. Зато помощник нотариуса не пропускал ни одной вечеринки. Заслышав звонок, он бросался встречать г-жу Бовари, принимал ее шаль, а грубые веревочные туфли, которые она надевала на ботинки для защиты от снега, отставлял в сторону, под аптекарскую конторку.

Сначала играли в тридцать одно, потом г-н Оме играл с Эммой в экарте, а Леон, стоя сзади, давал ей советы. Опираясь на спинку ее стула, он смотрел на гребень, впившийся зубьями в ее прическу. Когда Эмма сбрасывала карты, на груди у нее всякий раз приподнималось с правой стороны платье. От зачесанных кверху волос ложился на спину коричневый отблеск и, постепенно бледнея, в конце концов сливался с полумраком. Внизу платье Эммы, пузырясь, морщась бесчисленными складками, свешивалось по обеим сторонам стула и ниспадало до полу. Нечаянно дотронувшись до него ботинком, Леон с таким испуганным видом отшатывался, словно наступил кому-нибудь на ногу.

После карт аптекарь с врачом сражались в домино, Эмма пересаживалась и, облокотившись на стол, перелистывала «Ил-

люстрацию». Она приносила с собою журнал мод. Леон подсаживался к ней; они вместе смотрели картинки и ждали друг друга, чтобы перевернуть страницу. Она часто просила его почитать стихи; Леон декламировал нараспев и нарочно делал паузы после строк, в которых говорилось о любви. Но его раздражал стук костяшек. Г-н Оме был сильный игрок и всегда обыгрывал Шарля на дубль-шесть. Дойдя до трехсот, оба разваливались в креслах у камина и очень скоро засыпали. Под пеплом дотлевал огонь; в чайнике было пусто; Леон все читал, Эмма, слушая его, машинально вертела газовый абажур, на котором были нарисованы Пьеро в колясках и канатные плясуньи с балансирами в руках. Леон указывал на заснувшую публику и переставал читать; тогда они начинали говорить шепотом, и эта беседа казалась им еще приятнее, оттого что их никто не слышал.

Они заключили между собой нечто вроде соглашения, предусматривавшего постоянный обмен книгами и романсами. Г-н Бовари не был ревнив, и это его не задевало.

На свои именины он получил в подарок прекрасную френологическую голову, выкрашенную в синий цвет и испещренную цифрами до самой шеи. Это был знак внимания со стороны Леона. Он вообще был внимателен к лекарю и даже исполнял его поручения в Руане. А когда один нашумевший роман ввел в моду кактусы, Леон стал покупать их для г-жи Бовари и привозил в «Ласточке», всю дорогу держа их на коленях и накалывая пальцы колючками.

Эмма велела приделать у себя под окошком полочку с решеткой, чтобы было куда ставить горшки с цветами. Леон тоже устроил у себя подвесной садик. Ухаживая за цветами, они видели друг друга в окно.

Во всем городе было только одно окошко, в котором еще дольше маячила фигура человека: каждый день после обеда, а по воскресеньям с утра до ночи, если только погода была ясная, в слуховом окне вырисовывался худощавый профиль г-на Бине, склонившегося над токарным станком, однообразное жужжанье которого долетало даже до «Золотого льва».

Как-то вечером, вернувшись домой, Леон увидел у себя в комнате коврик из бархата и шерсти, расшитый листьями по палевому полю. Он позвал г-жу Оме, г-на Оме, Жюстена, детей, кухарку, рассказал об этом патрону. Всем хотелось поглядеть на коврик. С чего это жена лекаря «расточает дары»? Это показалось подозрительным, и все сошлись на том, что она его возлюбленная.

Сам Леон давал пищу толкам — он так много говорил об ее очаровании, об ее уме, что как-то раз Бине грубо его оборвал:

— А мне-то что? Я с нею не знаком!

Леон ломал себе голову, как объясниться Эмме в любви. Он боялся оттолкнуть ее от себя; с другой стороны, ему было стыдно за свою трусость, и от полноты чувств и от сознания своей беспомощности на глазах у него выступали слезы. Он принимал твердые решения, писал письма и тут же их рвал, назначал себе сроки, а потом отодвигал их. Он часто шел к ней, готовый как будто бы на все, но в ее присутствии мужество покидало его, и когда Шарль, войдя, предлагал ему прокатиться в шарабанчике в одну из окрестных деревень, где надо было навестить больного, он немедленно соглашался, прощался с хозяйкой и уходил. Он утешал себя тем, что в муже есть что-то от нее самой.

А Эмма даже не задавала себе вопроса, любит ли она Леона. Любовь, казалось ей, приходит внезапно, с молниеносным блеском и ударами грома; это вихрь, который налетает откуда-то с неба на жизнь, переворачивает ее вверх дном, обрывает желания, точно листья, и ввергает сердце в пучину. Она не подозревала, что когда водосточные трубы засорены, то от дождя на плоских крышах образуются целые озера, и жила спокойно до тех пор, пока в стене своего дома случайно не обнаружила трещины.

V

Это было в одно из февральских воскресений, снежным днем.

Вся компания — г-н и г-жа Бовари, Оме и Леон — пошла посмотреть строящуюся в полумиле от города, в низине, льнопрядильную фабрику. Аптекарь взял с собой прогулки ради Наполеона и Аталию; замыкал шествие Жюстен с зонтами на плече.

Ничего, однако, достопримечательного не было в этой достопримечательности. На обширном пустыре, на котором, среди куч песка и камней, там и сям валялись уже успевшие проржаветь зубчатые колеса, стояло длинное четырехугольное здание со множеством пробитых в нем окошек. Здание было недостроено, и между балками сквозило небо. Привязанный к шесту на коньке пучок соломы с колосьями хлопал по ветру своею трехцветною лентой.

Оме разглагольствовал. Он объяснял спутникам, какое значение будет иметь это предприятие, определял на глаз толщину пола и стен и очень жалел, что у него нет измерительной линейки вроде той, какая есть у г-на Бине для его личных нужд.

Эмма шла под руку с аптекарем и, слегка прижимаясь к его плечу, смотрела на солнечный диск, излучавший в туманной дали свою слепящую матовость. Потом вдруг повернула голову — взгляд ее невольно остановился на Шарле. Фуражка сползла у него чуть не на брови, толстые губы шевелились, и это придавало его лицу какое-то глупое выражение; даже его спина, его невозмутимая спина, раздражала ее; ей казалось, что заурядность этого человека сказывается во всем, вплоть до сюртука.

Эмма все еще рассматривала Шарля, находя в своем раздражении какую-то злобную радость, но в это время Леон очутился на один шаг впереди нее. Он побелел от холода, и от этого во всех чертах его разлилась еще более нежная томность. Воротник рубашки был ему широковат, и между подбородком и галстуком чуть-чуть видна была шея; из-под пряди волос выглядывала мочка уха; его большие голубые глаза, смотревшие на облака, казались Эмме прозрачнее и красивее горных озер, в которых отражается небо.

— Куда тебя несет! — вдруг закричал аптекарь и бросился к сыну. Мальчик залез в известку — ему хотелось выбелить свои башмачки. Отец его как следует пробрал; Наполеон заревел от обиды, а Жюстен принялся отчищать башмаки жгутом соломы. Но, чтобы отскрести известку, нужен был нож. Шарль предложил свой.

«Ах, — подумала Эмма, — он, как мужик, всюду ходит с ножом в кармане!»

Сыпалась изморозь. Все повернули обратно.

Вечером г-жа Бовари не пошла к соседям, и когда после ухода Шарля она осталась одна, перед ней с отчетливостью почти непосредственного ощущения и с той удаленностью перспективы, какую сообщает предметам воспоминание, вновь возникла все та же параллель. Лежа на кровати, она не отводила глаз от жарко пылавшего огня и как сейчас видела Леона — он стоял, одной рукой помахивая тросточкой, а другой держа Аталию, которая с невозмутимым видом посасывала льдинку. Он казался Эмме очаровательным; она приковала к нему мысленный взор; она припоминала те положения, какие он принимал в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, весь его облик и, протягивая губы словно для поцелуя, твердила:

— Да, он обворожителен! Обворожителен!.. Уж не влюблен ли он? — спрашивала она себя. — Но в кого же?.. Да в меня!

Вся цепь доказательств в одно мгновение развернулась перед Эммой, сердце у нее запрыгало. От огня в камине на полке весело бегали отблески. Эмма легла на спину, похлюпнулась.

И вслед за тем начались непрерывные вздохи:

«Ах, если б это сбылось! А почему бы нет? Кто может этому помешать?..»

Шарль вернулся в полночь, и Эмма сделала вид, что только сейчас проснулась; когда же он, раздеваясь, чем-то стукнул, она пожаловалась на головную боль, а затем безучастным тоном спросила, как прошел вечер.

— Леон сидел недолго, — ответил Шарль.

Она не могла сдержать улыбку и, отдавшись во власть нового для нее очарования, уснула.

На другой день, когда уже смерклось, к ней пришел торговец модными товарами г-н Лере. Ловкий человек был этот купец.

Уроженец Гаскони, он впоследствии стал нормандцем и сумел сочетать в себе южное краснобайство с кошской хитрецой. Его обрюзгшее, дряблое безбородое лицо было точно окрашено отваром светлой лакрицы, а недобрый блеск маленьких черных глаз казался еще живее от седины. Кем он был раньше — никто не знал: одни говорили — разносчиком, другие — менялой в Руто. Но вот что, однако, не подлежало сомнению: он обладал способностью делать в уме такие сложные вычисления, что даже сам Бине приходил в ужас. Угодливый до лести, он вечно изгибался, точно кому-то кланялся или кого-то приглашал.

Оставив при входе свою шляпу с крепом, он поставил на стол зеленую картонку и, рассыпаясь в любезностях, стал пенять на то, что до сих пор не заслужил доверия «сударыни». И то сказать: чем же его жалкая лавчонка может привлечь такую *элегантную даму*? Он подчеркнул эти два слова. А между тем ей стоит только приказать, и он достанет для нее все, что угодно: и белье, и чулки, и галантерейные, и модные товары — ведь он непременно каждую неделю ездит в город. У него дела с лучшими торговыми домами. Можете спросить про него в «Трех братьях», в «Золотой бороде», в «Длинноногом дикаре» — хозяева знают его как свои пять пальцев! Так вот, нынче он хотел показать, между прочим, сударыне некоторые вещицы, которые попали к нему по счастливой случайности. С этими

словами он достал из картонки полдюжины вышитых воротничков.

Госпожа Бовари рассмотрела их.

— Мне это не нужно, — сказала она.

Тогда г-н Лере бережно вынул три алжирских шарфа, несколько коробок английских булавок, соломенные туфли и, наконец, четыре рюмки для яиц, выточенные каторжниками из скорлупы кокосового ореха. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, подавшись всем корпусом вперед, он жадно следил за выражением лица Эммы, растерянно перебегавшей глазами с предмета на предмет. Время от времени г-н Лере, будто бы снимая пылинку, проводил ногтем по разостланному во всю длину шелковому шарфу, и шелк, чуть слышно шурша, трепетал, а золотые блески ткани мерцали звездочками в зеленоватом свете сумерек.

— Что это стоит?

— Пустяки, — ответил торговец, — да и дело-то не к спеху. Когда вам будет угодно. Мы ведь с вами не жиды!

Подумав немного, она поблагодарила г-на Лере и отказалась, а он, несколько не удивившись, проговорил:

— Ну, хорошо, после столкнемся. Я со всеми дамами лажу, кроме собственной жены!

Эмма улыбнулась.

— Это я вот к чему, — с добродушным, но уже серьезным видом продолжал г-н Лере, — я о деньгах не беспокоюсь... Денег я и сам мог бы вам дать, когда нужно.

Эмма выразила изумление.

— Да, да! — понизив голос, быстро заговорил он. — Я бы вам их мигом раздобыл. Можете на меня рассчитывать!

И потом вдруг начал расспрашивать, как здоровье папаши Телье, владельца кафе «Франция», которого в это время лечил г-н Бовари.

— Что это с папашей Телье?.. Он кашляет так, что весь дом трясется. Боюсь, как бы вместо фланелевой фуфайки ему не понадобилось еловое пальто. В молодости он любил кутнуть! Такие люди, как он, сударыня, ни в чем меры не знают! Он сгорел от водки. А все-таки грустно, когда старый знакомый отправляется на тот свет.

Застегивая картонку, он продолжал перебирать пациентов Шарля.

— Все эти заболевания от погоды! — хмуро поглядывая на окна, говорил он. — Мне тоже что-то не по себе. Надо будет зайти на днях посоветоваться с доктором — спина очень болит.

Ну, до свидания, госпожа Бовари! Всегда к вашим услугам! Низжайшее почтение.

С этими словами он тихонько затворил за собою дверь.

Эмма велела подать обед к ней в комнату и села поближе к огню; ела она медленно; все казалось ей вкусным.

«Как я умно поступила!» — подумала она, вспомнив о шарфах.

На лестнице слышались шаги: это был Леон. Эмма встала и взяла с комода из стопки первое попавшееся неподрубленное полотенце. Когда Леон вошел, у нее был в высшей степени деловой вид.

Разговор не клеился. Г-жа Бовари поминутно прерывала его, Леон тоже как будто чувствовал себя крайне неловко. Он сидел на низеньком стуле у камина и вертел в руке футлярчик из слоновой кости; Эмма шила и время от времени расправляла ногтем рубцы. Она не говорила ни слова; Леон, замороженный ее молчанием, как прежде ее разговором, также был нем.

«Бедный мальчик!» — думала она.

«Чем я ей не угодил?» — спрашивал себя он.

Наконец, сделав над собой усилие, он сказал, что на днях ему придется по делам нотариальной конторы съездить в Руан.

— Ваш нотный абонемент кончился. Возобновить его?

— Нет, — ответила Эмма.

— Почему?

— Потому что...

Поджав губы, она медленно вытянула длинную серую нитку.

Занятие Эммы раздражало Леона. Ему казалось, что она все время колет себе пальцы.

Он придумал галантную фразу, но не посмел произнести ее.

— Так вы больше не будете?.. — спросил он.

— Что? — живо отозвалась Эмма. — Играть? Ах, боже мой, когда же мне? Надо хозяйство вести, о муже заботиться, — словом, у меня много всяких обязанностей, масса куда более важных дел!

Она посмотрела на часы. Шарль запаздывал. Она сделала вид, что беспокоится.

— Он такой добрый! — несколько раз повторила она.

Помощник нотариуса был расположен к г-ну Бовари. Но это проявление нежности к нему со стороны Эммы неприятно поразило Леона. Однако он тоже рассыпался в похвалах Шарлю и добавил, что все от него в восторге, особенно фармацевт.

— Да, он очень хороший человек! — молвила Эмма.

— Бесспорно, — подтвердил Леон.

И тут же заговорил о г-же Оме, над неряшливостью которой они оба часто посмеивались.

— Ну и что ж такого? — прервала его Эмма. — Настоящая мать семейства о своих туалетах не заботится.

И снова умолкла.

С этого дня так и пошло. Ее слова, поведение — все изменилось. Она вся ушла в хозяйство, постоянно бывала в церкви, приструнила служанку.

Берту она взяла домой. Когда приходили гости, Фелисите приносила ее, и г-жа Бовари раздевала девочку и показывала, какое у нее тельце. Она всех уверяла, что обожает детей. Это ее утешение, ее радость, ее помешательство. Ласки сопровождались у нее изъявлениями восторга, которые всем, кроме ионвильцев, могли бы напомнить вретишницу из «Собора Парижской богородицы».

Когда Шарль приходил домой, ему всегда теперь грелись подле истопленного камина туфли. У всех его жилетов была теперь подкладка, на сорочках все до одной пуговицы были пришиты, ночные колпаки, ровными стопками разложенные в белье шкафу, радовали глаз. Когда супруги гуляли по саду, Эмма уже не хмурилась, как прежде; что бы Шарль ни предложил, она со всем соглашалась, всему подчинялась безропотно, не рассуждая. И когда Шарль, покрасневший после сытного обеда, сидел у камелька, сложив руки на животе, поставив ноги на решетку, и глаза у него были масляные от испытываемого им блаженного состояния, когда девочка ползала по ковру, а эта женщина с гибким станом перевешивалась через спинку кресла и целовала мужа в лоб, Леон невольно думал:

«Что за нелепость! Ну как тут затронешь ее сердце?»

Эмма казалась Леону столь добродетельной, столь неприступной, что у него уже не оставалось и проблеска надежды.

Но, подавив в себе желания, он вознес ее на небывалую высоту. Чисто женские свойства отсутствовали в том образе, который он себе создал, — они уже не имели для него никакой цены. В его представлении она все больше и больше отрывалась от земли и, точно в апофеозе, с божественной легкостью уносились ввысь. Он любил ее чистой любовью, — такая любовь не мешает заниматься делом, ее лелеют, потому что она не часто встречается в жизни, но радости этой любви перевешивает горе, которое она причиняет в конце.

Эмма похудела, румянец на ее щеках поблек, лицо вытянулось. Казалось, эта всегда теперь молчаливая женщина, с летя-

щей походкой, с черными волосами, большими глазами и прямым носом, идет по жизни, едва касаясь ее, и несет на своем челе неясную печать какого-то высокого жребия. Она была очень печальна и очень тиха, очень нежна и в то же время очень сдержанна, в ее обаянии было что-то леденящее, бросающее в дрожь, — так вздрагивают в церкви от благоухания цветов, смешанного с холодом мрамора. Никто не мог устоять против ее чар. Фармацевт говорил про нее:

— Удивительно способная женщина, — ей бы в субпрефектуре служить.

Хозяйки восхищались ее расчетливостью, пациенты — учтивостью, беднота — сердечностью.

А между тем она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти. Под ее платьем с прямыми складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее стыдливые уста не выдавали ее мук. Эмма была влюблена в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе его образ, насладиться им без помех. С его появлением кончалось блаженство созерцания. Заслышав его шаги, Эмма вздрагивала, при встрече с ним ее волнение утихало и оставалось лишь состояние полнейшей ошеломленности, которую постепенно вытесняла грусть.

Когда Леон, в безнадежном отчаянии, уходил от нее, он не подозревал, что она сейчас же вставала и смотрела в окно, как он идет по улице. Ее волновала его походка, она следила за сменой выражений на его лице; она придумывала целые истории только для того, чтобы под благовидным предлогом зайти к нему в комнату. Она завидовала счастьем аптекарши, спавшей под одной кровлей с ним. Мысли ее вечно кружились над этим домом, точно голуби из «Золотого льва», которые слетались туда купать в сточной трубе свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее становилось Эмме, что она любит, тем настойчивее пыталась она загнать свое чувство внутрь, чтобы оно ничем себя не обнаружило, чтобы уменьшить его силу. Она была бы рада, если б Леон догадался сам. Ей приходили в голову разные стечения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, душевная вялость, страх, а кроме того, стыд. Ей казалось, что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже поздно, что все кончено. Но потом горделивая радость от сознания: «Я — честная женщина», радость — придав своему лицу выражение покорности, посмотреть на себя в зеркало, отчасти вознаграждала ее за принесенную, как ей казалось, жертву.

Веления плоти, жажда денег, томление страсти — все слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не могла не думать о нем — мысль ее беспрестанно к нему возвращалась; она бредила свою рану, всюду находила для этого повод. Ее раздражали неаккуратно поданное блюдо, неплотно запертая дверь, она страдала, оттого что у нее нет бархата, оттого что она несчастна, от несбыточности своих мечтаний, оттого что дома у нее тесно.

Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пытке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта его уверенность казалась обидной нелепостью, она распенивала ее как проявление черствости. Ради кого она была так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на пути к счастью, ее злой долей, острым шпильком на пряжке туго стягивавшего ее ремня?

В конце концов она на него одного перенесла ту ненависть, которая накапливалась у нее в душе от многообразных огорчений, и малейшая попытка смягчить это чувство только обостряла его, оттого что бесплодное усилие становилось лишней причиной для отчаяния и еще больше способствовало отчужденности. Собственная кротость возмущала ее. Серость быта вызывала мечты о роскоши, ласки супруга — жажду измены. Ей хотелось, чтобы Шарль побил ее, — тогда бы у нее было еще больше оснований ненавидеть его и мстить. Порой ее самое пугали те страшные мысли, что приходили ей на ум. А между тем надо было продолжать улыбаться, выслушивать рассуждения о том, как она счастлива, делать вид, что так оно и есть на самом деле, оставлять в этом заблуждении других!

Лицемерие это ей претило. Ее одолевал соблазн бежать с Леоном — все равно куда, только как можно дальше, и там начать новую жизнь, но в душе у нее тотчас разверзалась мрачная бездна.

«Да он меня уже и не любит, — думалось ей. — Как же мне быть? От кого ждать помощи, участия, утешения?»

Из глаз ее катились слезы; обессиленная, разбитая, она ловила ртом воздух и тихо всхлипывала.

— Почему ж вы барину не скажете? — видя, что с ней припадок, спрашивала служанка.

— Это нервы, — отвечала Эмма. — Не говори ему, он только расстроится.

— Ну да, — отзывалась Фелисите, — у вас то же самое, что у Герины, дочки дядюшки Герена, рыбака из Боле. Я с ней познакомилась в Дьеппе, еще до того, как поступила к вам. Она

всегда была такая грустная, такая грустная! Станет на пороге — ну прямо черное сукно, что вешают у входа в день похорон. Это у нее, знать, такая болезнь была — что-то вроде тумана в голове, и никто ничего не мог поделать, ни доктора, ни священник. Когда уж очень лихо ей приходилось, она убегала к морю, и там ее часто видел при обходе таможенный досмотрщик: лежит ничком на гальке и плачет. Говорят, после свадьбы это у нее прошло.

— А у меня это началось после свадьбы, — говорила Эмма.

VI

Однажды вечером она сидела у открытого окна и смотрела, как причетник Лестибудуа подрезает кусты букса, но потом он вдруг исчез, и тотчас же зазвонил к вечерне колокол.

Это было в начале апреля, когда расцветают примулы, когда по разделанным грядкам кружится теплый ветер, а сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки и далеко кругом было видно, какие затейливые излучины выписывает в лугах река. Вечерний туман поднимался меж безлистных тополей, скрадывая их очертания лиловою дымкой, еще более нежной и прозрачной, чем тонкий флер, повисший на ветвях. Вдали брело стадо, но не слышно было ни топота, ни мычанья, а колокол все звонил, в воздухе по-прежнему реяла его тихая жалоба.

Под этот мерный звон Эмма унеслась мыслью в давние воспоминания юности и пансиона. Ей припомнились высокие светильники на престоле, возвышавшиеся над цветочными вазами и дарохранительницей с колонками. Ей хотелось замешаться, как прежде, в длинный ряд белых косынок, кое-где оттенявшихся черными, стоявшими колом капюшонами инокинь, которые преклоняли колена на скамеечки. За воскресной литургией она поднимала глаза от молитвенника и меж сизых клубов ладана, возносившихся к куполу, видела кроткий лик девы Марии. На душу Эммы снизошло умиление. Она вдруг почувствовала, что она слаба и беспомощна, как пушинка, которую кружит вихрь. И, не рассуждая, направилась к церкви, — она готова была дать любой обет, лишь бы на его исполнение ушли все ее душевные силы, лишь бы он поглотил ее всю без остатка.

На площади ей встретился Лестибудуа, только что спустившийся с колокольни. Он звонил к вечерне между делом, когда ему было удобнее: оторвется от своих занятий, позвонит, потом

опять за дела. Кроме того, преждевременным благовестом он созывал мальчиков на урок катехизиса.

Некоторые из них уже играли на могильных плитах в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали ногами, сбивая верхушки высокой крапивы, разросшейся между крайними могилами и низенькой каменной стенкой. Это был единственный зеленый уголок на всем кладбище; дальше шел сплошной камень, несмотря на метлу сторожа вечно покрытый мелкою пылью.

Мальчишки в матерчатых туфлях бегали по кладбищу, как будто это был настланный для них паркет, их крики покрывали гудение колокола. Звон ослабевал вместе с качаньем толстой веревки, конец которой, спускаясь с колокольни, волочился по земле. Рассекая воздух своим режущим лётom, с визгом пронеслись ласточки и мгновенно исчезали в гнездах, желтевших под черепицей карниза. В глубине церкви горела лампада, попросту говоря — фитиль от ночника в подвешенной плошке. Издали свет ее можно было принять за мутное пятно, мерцающее поверх масла. Длинный луч солнца тянулся через весь корабль, и от этого все углы и боковые приделы казались еще сумрачнее.

— Где священник? — обратилась г-жа Бовари к мальчугану, который от нечего делать вертел расхлябанный турникет.

— Сейчас придет, — ответил мальчуган.

В самом деле, дверь в доме священника скрипнула, и на пороге появился аббат Бурнизьен; мальчишки гурьбой кинулись в церковь.

— Вот безобразники! — пробормотал священник. — Одно баловство на уме!

Наступив на растрепанный катехизис, он нагнулся и поднял его.

— Ничего для них нет святого!

Но тут он увидел г-жу Бовари.

— Извините, — сказал он, — я вас не узнал.

Он сунул катехизис в карман и, все еще раскачивая двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы, остановился.

Заходящее солнце било ему прямо в глаза, и в его свете лоснившаяся на локтях ластиковая сутана с обтрепанным подолом казалась менее темной. Широкую грудь вдоль ряда пуговиц усеяли следы жира и табака; особенно много их было внизу, где от них не защищал нагрудник, на который свисали складки красной кожи, испещренной желтыми пятнами, прятавшимися в щетине седеющей бороды. Священник громко сопел — он только что пообедал.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Плохо, — ответила Эмма. — Я страдаю.

— Вот и я тоже! — подхватил священнослужитель. — Первые дни жары невероятно расслабляют, правда? Ну да ничего не поделаешь! Мы рождены для того, чтобы страдать, — так нас учит апостол Павел. А как смотрит на ваше самочувствие господин Бовари?

— Никак! — презрительно поведя плечами, ответила Эмма.

— Да неужели? — в полном изумлении воскликнул простодушный священник. — Он вам ничего не прописывает?

— Ах, я в его лекарствах не нуждаюсь! — молвила Эмма.

Священник между тем все поглядывал, что делают в церкви мальчишки, а мальчишки, стоя на коленях, толкали друг друга плечом и потом вдруг падали, как карточные домики.

— Мне важно знать... — снова заговорила Эмма.

— погоди, погоди, Наблюдэ! Я тебе уши нарву, сорвонец! — сердито крикнул священник и обратился к Эмме: — Это сын плотника Будэ. Родители у него зажиточные, вот они его и балуют. А так малый способный, был бы хорошим учеником, если б не лень. Я иногда в шутку называю его Наблюдэ. Ха-ха-ха! Вечно он что-нибудь наблудит, напроказит... Недавно я рассказал про это владыке, так он посмеялся... изволил смеяться... Ну, а как господин Бовари поживает?

Эмма, видимо, не слушала его.

— Наверно, как всегда, в трудах! — продолжал священник. — Мы ведь с ним самые занятые люди во всем приходе. Но только он врачует тело, а я — душу! — с раскатистым смехом добавил он.

Эмма подняла на него умоляющий взор.

— Да... — сказала она. — Вы утешаете во всех скорбях.

— Ах, и не говорите, госпожа Бовари! Не далее как сегодня утром мне пришлось идти в Ба-Дьовиль из-за коровы: ее раздуло, а они думают, что это от порчи. Нынче с этими коровами прямо беда... Виноват! Одну минутку! Лонгмар и Будэ! Да перестанете вы или нет, балбесы вы этакие?

Священник устремился в церковь.

Ребята в это время толклись вокруг высокого анаоя, влезали на скамеечку псаломщика, открывали служебник; другие крадучись уже подбирались к исповедальне. Неожиданно на них посыпался град оплеух. Священнослужитель хватал их за шиворот, отрывал от пола, а потом с такой силой ставил на колени, точно хотел вбить в камень амвона.

— Да, так вот,— вернувшись к Эмме, сказал он и, зажав в зубах уголок большого ситцевого носового платка, принялся разворачивать его.— Крестьянам тяжело живется.

— Не только одним крестьянам,— возразила Эмма.

— Совершенно справедливо! Взять хотя бы рабочих в городах.

— Да нет...

— Простите, мне эта среда знакома! И я знаю случаи, когда у несчастных матерей, добродетельных, ну просто святых женщин, не было подчас куска хлеба.

— Но те, ваше преподобие,— возразила Эмма, и углы губ у нее дрогнули,— те, у кого есть хлеб, но нет...

— Дров на зиму? — подсказал священник.

— Это не беда!

— То есть как не беда? По-моему, если человек живет в тепле, в сытости... ведь в конце-то концов...

— Боже мой! Боже мой! — вздыхала Эмма.

— Вы неважно себя чувствуете? — подойдя к ней вплотную, с обеспокоенным видом спросил священник.— Наверно, желудок не в порядке? Идите-ка домой, госпожа Бовари, выпейте чайку для бодрости или же холодной воды с сахаром.

— Зачем?

Эмма словно только сейчас проснулась.

— Вы держитесь за голову. Я и подумал, что вам нехорошо. Ах да,— спохватился священник,— вы хотели меня о чем-то спросить. Что такое? Я понятия не имею.

— Спросить? Нет, ничего... ничего...— повторяла Эмма.

И ее блуждающий взгляд задержался на старике в сутане. Оба молча смотрели друг на друга в упор.

— В таком случае, госпожа Бовари, извините,— сказал наконец священник,— долг, знаете ли, прежде всего. Мне пора заняться с моими шалопаями. Скоро день их первого причастия. Боюсь, как бы они меня не подвели! Поэтому с самого Вознесения я регулярно каждую среду задерживаю их на час. Ох, уж эти дети, дети! Надо как можно скорее направить их на путь спасения, как то заповедал нам сам господь устами божественного своего сына... Будьте здоровы, сударыня! Кланяйтесь, пожалуйста, вашему супругу!

И, преклонив у входа колена, он вошел в церковь.

Эмма смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду: растопырив руки, склонив голову чуть-чуть набок, он тяжело ступал между двумя рядами скамеек.

Затем она повернулась, точно статуя на оси, и пошла домой. Но еще долго преследовал ее зычный голос священника и звонкие голоса мальчишек:

— Ты христианин?

— Да, я христианин.

— Кто есть христианин?

— Христианин есть тот, кто принял таинство крещения... крещения... крещения...

Держась за перила, Эмма поднялась на крыльцо и, как только вошла к себе в комнату, опустилась в кресло.

В окна струился мягкий белесоватый свет. Все предметы стояли на своих местах и казались неподвижной обычной, — они словно тонули в океане сумерек. Камин погас, маятник стучал себе и стучал, и Эмма бессознательно подивилась, как это вещи могут быть спокойны, когда в душе у нее так смутно. Между окном и рабочим столиком ковыляла в вязаных башмачках маленькая Берта; она пыталась подойти к матери и уцепиться за завязки ее передника.

— Отстань! — отведя ее руки, сказала Эмма.

Немного погодя девочка еще ближе подошла к ее коленям. Упершись в них ручонками, она подняла на мать большие голубые глаза; изо рта у нее на шелковый передник Эммы стекала прозрачная струйка слюны.

— Отстань! — в сердцах повторила мать.

Выражение ее лица испугало девочку, и она расплакалась.

— Да отстанешь ты от меня наконец? — толкнув ее локтем, крикнула Эмма.

Берта упала около самого комода и ударилась о медное украшение; она разрезала себе щеку, показалась кровь. Г-жа Бовари бросилась поднимать ее, позвонила так, что чуть не оборвала шнурок, истошным голосом стала звать служанку, проклинала себя, но тут вдруг появился Шарль. Он пришел домой обедать.

— Посмотри, дружок, — спокойно заговорила Эмма, — девочка упала и поранила себе щечку.

Шарль уверил жену, что ничего опасного нет, и побежал за пластырем.

Госпожа Бовари не вышла в столовую, — ей хотелось остаться здесь и поухаживать за ребенком. Она смотрела на уснувшую Бертю, последние остатки ее тревоги мало-помалу рассеивались, и в конце концов Эмма решила, что она очень глупа и очень добра, иначе она бы не стала расстраиваться по

пустякам. В самом деле, Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце чуть заметно шевелилось теперь от ее дыхания. В углах полузакрытых ввалившихся глаз стояли крупные слезы; меж ресниц видны были матовые белки; липкий пластырь натягивал кожу поперек щеки.

«На редкость некрасивый ребенок!» — думала Эмма.

Вернувшись из аптеки в одиннадцать часов вечера (он пошел туда после обеда отдать остаток пластыря), Шарль застал жену подле детской кровати.

— Уверяю тебя, что все пройдет! — сказал он, целуя ее в лоб. — Не мучь ты себя, бедняжка, а то сама заболеешь!

В тот вечер он засиделся у аптекаря. Хотя он и не имел особенно расстроенного вида, все же г-н Оме старался ободрить его, «поднять его дух». Разговор зашел о различных опасностях, грозящих детям, о легкомыслии прислуги. Г-жа Оме знала это по опыту — на груди у нее так и остались следы от горящих углей, давным-давно упавших ей за фартук с совка, который держала кухарка. Вот почему нежные родители г-н и г-жа Оме были особенно осторожны. Ножи у них в доме никогда не точились, полы не натирались. Окна были забраны железной решеткой, каминны ограждены решеточками из толстых прутьев. Дети Оме пользовались самостоятельностью, и тем не менее за каждым их шагом зорко следили; при малейшей простуде отец поил их микстурами от кашля, лет до пяти их заставляли носить стеганные шапочки. Правда, это была уже мания г-жи Оме; супруг ее в глубине души был недоволен, — он боялся, как бы давление шапочек на мозг не повлияло на умственные способности; иной раз он даже не выдерживал и говорил:

— Ты что же это, хочешь сделать из них карайбов или ботокудов?

Шарль между тем неоднократно пытался прервать беседу.

— Мне надо с вами поговорить, — шепнул он при выходе Леону, который стал было подниматься к себе.

«Неужели он что-то заподозрил?» — подумал тот. Сердце у него сильно билось, он терялся в догадках.

Затворив за собой дверь, Шарль обратился к нему с просьбой разузнать в Руане, сколько может стоить хороший дагерротип; он хочет сделать жене трогательный сюрприз в знак особого внимания — сняться в черном фраке и преподнести ей свой портрет. Но только прежде надо бы «прицениться». Шарль, однако, надеется, что это поручение не затруднит г-на Леона, — все равно он почти каждую неделю ездит в город.

Зачем? Оме подозревал тут «проказы ветреной молодости», какую-нибудь интрижку. Но он ошибался: никаких любовных походов у Леона не было. Никогда еще он так не грустил. Г-жа Лефрансуа судила об этом по тому, как много еды оставалось у него теперь на тарелках. Чтобы дознаться, в чем тут дело, она обратилась за разъяснениями к податному инспектору; Бине сухо ответил ей, что он «в полиции не служит».

Впрочем, и на Бине его сотрапезник производил весьма странное впечатление,— Леон часто откидывался на спинку стула и, разводя руками, в туманных выражениях жаловался на жизнь.

— Вам надо развлекаться,— говорил податной инспектор.

— Как развлекаться?

— Я бы на вашем месте завел токарный станок!

— Я же не умею точить!

— Да, это правда!— презрительно и самодовольно поглаживая подбородок, соглашался Бине.

Безответная любовь истомила Леона; к душевной усталости примешалось еще уныние, порожденное однообразием бесцельного, беспросветного существования. Ему до того опостытели Ионвиль и его обитатели, что он уже видеть не мог некоторых знакомых, некоторые дома. Фармацевта, несмотря на все его добродушие, он буквально не выносил. А между тем перемена обстановки не только прельщала, но и пугала его.

Впрочем, боязнь скоро уступила место нетерпению; Париж издалека манил его к себе музыкой на балах-маскарадах и смехом гризеток. Ведь ему все равно необходимо закончить юридическое образование,— так что же он не едет? Кто ему мешает? И он стал мысленно готовиться к отъезду. Он заблаговременно обдумал план занятий. Решил, как именно обставить свою комнату. Он будет вести артистический образ жизни! Будет учиться играть на гитаре! Заведет халат, баскский берет, голубые бархатные туфли! Он представлял себе, как он повесит над камином две скрещенные рапиры, а над рапирами — гитару и череп.

Главная трудность заключалась в том, чтобы получить согласие матери; в сущности же, это был в высшей степени благоразумный шаг. Даже сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы найти себе более широкое поле деятельности. Леон принял сначала компромиссное решение, стал искать место младшего помощника нотариуса в Руане, но не нашел и только после этого написал матери длинное

письмо, подробно изложив причины, по которым ему необходимо было немедленно переехать в Париж. Мать согласилась.

Леон не спешил. В течение месяца Ивер каждый день возил ему из Ионвиля в Руан, из Руана в Ионвиль сундуки, чемоданы, тюки, но, пополнив свой гардероб, перебив свои три кресла, накупив уйму кашне, словом, приготовившись так, как не готовятся и к кругосветному путешествию, он потом стал откладывать отъезд с недели на неделю — до тех пор, пока не пришло второе письмо от матери, в котором она торопила его, ссылаясь на то, что сам же он хотел сдать экзамены до каникул.

Когда настал час разлуки, г-жа Оме заплакала, Жюстен зарыдал; один лишь г-н Оме, будучи человеком мужественным, сдержался, — он только изъявил желание донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который вызвался отвезти Леона в Руан в своем экипаже. Времени у Леона оставалось в обрез, только чтобы успеть проститься с г-ном Бовари.

Взбежав по лестнице, он так запыхался, что принужден был остановиться. Как только он вошел, г-жа Бовари встала.

— Это опять я! — сказал Леон.

— Я так и знала!

Эмма кусала себе губы; кровь прилила у нее к лицу, и она вся порозовела — от корней волос до самого воротничка. Она продолжала стоять, прислонившись плечом к стене.

— Вашего супруга нет дома? — спросил Леон.

— Нет. — И еще раз повторила: — Нет.

Наступило молчание. Они смотрели друг на друга, и мысли их, проникнутые одним и тем же тоскливым чувством, сближались, как два трепещущих сердца.

— Мне хочется поцеловать Бертю, — сказал Леон.

Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала Фелисите.

Леон пробежал глазами по стенам, по этажеркам, по камину, точно хотел проникнуть всюду, все унести с собой.

Но Эмма вернулась, а служанка привела Бертю, — девочка дергала веревку, к которой была вверх ногами привязана игрушечная ветряная мельница.

Леон несколько раз поцеловал Бертю в шейку.

— Прощай, милое дитя! Прощай, дорогая крошка, прощай! И отдал ее матери.

— Уведите ее, — сказала Эмма.

Они остались одни.

Госпожа Бовари повернулась к Леону спиной и прижалась лицом к оконному стеклу; Леон тихонько похлопывал фуражкой по ноге.

— Будет дождь,— молвила Эмма.

— У меня плащ,— сказал Леон.

— А!

Она снова повернулась к нему; голова у нее была опущена, свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до самых надбровных дуг, и никто бы не мог сейчас догадаться, что высматривает она на горизонте, что творится у нее в душе.

— Ну, прощайте!— вздохнул Леон.

Она резким движением подняла голову:

— Да, прощайте... Пора!

Они двинулись друг к другу; он протянул руку, она заколебалась.

— Давайте по-английски,— сказала она и, сиюсь улыбнуться, подняла руку.

Пальцы Леона коснулись ее, и в эту минуту у него было такое чувство, точно все его существо проникает сквозь ее влажную кожу.

Потом он разжал ладонь; их взгляды встретились снова, и он удалился.

Дойдя до крытого рынка, он спрятался за столб, чтобы в последний раз поглядеть на белый дом с четырьмя зелеными жалюзи. Ему показалось, что за окном, в комнате, мелькнула тень. Но тут вдруг занавеска как бы сама отцепилась и, медленно шевельнув своими длинными косыми складками, отчего они сразу разгладились, распрямилась и осталась неподвижной, точно каменная стена. Леон бросился бежать.

Он издали увидел на дороге кабриолет патрона; какой-то человек в холщовом фартуке держал лошадь под уздцы. Г-н Гильомен разговаривал с Оме. Леона ждали.

— Давайте обнимемся,— со слезами на глазах сказал аптекарь.— Вот ваше пальто, дорогой друг. Смотрите не простудитесь! Следите за собой! Берегите себя!

— Ну, Леон, садитесь!— сказал нотариус.

Оме перегнулся через крыло экипажа и сдавленным от рыданий голосом проронил печальные слова:

— Счастливый путь!

— Будьте здоровы!— сказал г-н Гильомен.— Пошел!

Они уехали. Оме повернул обратно.

Госпожа Бовари открыла окно в сад и стала смотреть на тучи.

Скоплясь на западе, в стороне Руана, они быстро развер-

тывали свои черные свитки, длинные лучи солнца пронзали их, точно золотые стрелы висящего трофея, а чистая часть неба отливала фарфоровой белизной. Внезапно налетевший ветер пригнул тополя, и полил дождь; капли его зашуршали по зеленой листве. Потом опять выглянуло солнце, запели петухи, хлопнули крылышками в мокрых кустах воробьи, по песку побежали ручейки, унося с собой розовые лепестки акации.

«Он уж теперь, наверно, далёко!» — подумала Эмма.

В половине седьмого, во время обеда, пришел, как всегда, г-н Оме.

— Что ж, проводили мы нашего юношу? — заговорил он, присаживаясь.

— Как будто бы так! — отозвался лекарь и, обернувшись к г-ну Оме, спросил: — А у вас что новенького?

... — Ничего особенного. Вот только жена моя сегодня расстроилась. Ох, уж эти женщины: любой пустяк может их взволновать. А про мою жену и говорить нечего! Тут уж ничего не поделаешь — нервная система у женщин гораздо чувствительнее нашей.

— Бедный Леон! — заговорил Шарль. — Каково-то ему будет в Париже?.. Приживется ли он там?

Госпожа Бовари вздохнула.

— Полноте! — сказал фармацевт и прищелкнул языком. — Пирушки у рестораторов! Маскарады! Шампанское! Все пойдет как по маслу, можете мне поверить!

— Я не думаю, что он собьется с пути, — возразил Шарль.

— Я тоже! — живо отозвался г-н Оме. — Но ему нельзя будет отставать от других, иначе он прослышет ханжой. А вы не представляете себе, что вытворяют эти повесы в Латинском квартале со своими актрисами! Впрочем, к студентам в Париже относятся превосходно. Те из них, кто умеет хоть чем-нибудь развлечь общество, приняты в лучших домах. В них даже влюбляются дамы из Сен-Жерменского предместья, и они потом очень удачно женятся.

— Но я боюсь... — сказал лекарь, — боюсь, что там...

— Вы правы, — перебил его фармацевт, — это обратная сторона медали. Там надо ох как беречь карманы! Вот вы, предположим, гуляете в увеселительном саду. Появляется некто, хорошо одетый, даже с орденом, по виду — дипломат, подходит к вам, заговаривает, подлаживается, предлагает свою табакерку, поднимает вам шляпу. Вы уже подружились, он ведет вас в кафе, приглашает к себе в имение, за стаканом вина знакомит с разными людьми, и в семидесяти пяти случаях из ста все

это только для того, чтобы стянуть у вас кошелек или вовлечь в какое-нибудь разорительное предприятие.

— Это верно, — согласился Шарль. — Но я-то имел в виду главным образом болезни — брюшной тиф, например, — им часто болеют студенты, приехавшие из провинции.

Эмма вздрогнула.

— Вследствие перемены режима, — подхватил фармацевт, — и вследствие потрясения, которое из-за этого переживает весь организм. А потом, знаете ли, парижская вода! Ресторанный стол! Вся эта острая пища в конце концов только горячит кровь. Что ни говорите, а хороший бульон куда полезнее! Я лично всегда предпочитал домашнюю кухню — это здоровее! Поэтому, когда я изучал в Руане фармацевтику, я был на полном пансионе, я столовался вместе с профессорами.

Аптекарь продолжал высказывать суждения общего характера и толковать о своих личных вкусах, пока за ним не пришел Жюстен и не сказал, что пора делать гоголь-моголь.

— Ни минуты покоя! — воскликнул аптекарь. — Вечно на привязи! На один миг нельзя отлучиться! Трудись до кровавого пота, как рабочая лошадь! Хомут нищеты!

Уже на пороге фармацевт спросил:

— Да, знаете новость?

— Какую?

— Весьма возможно, — поднимая брови и придавая своему лицу многозначительное выражение, сказал Оме, — что в этом году сельскохозяйственная выставка Нижней Сены будет в Ионвиль-д'Аббей. Такие, по крайней мере, ходят слухи. На это намекает и сегодняшняя газета. Для нашего округа это будет иметь огромное значение! Мы еще об этом поговорим. Благодарю вас, мне хорошо видно — у Жюстена фонарь.

VII

Следующий день был для Эммы тягостным днем. Ей казалось, будто все вокруг нее повито какой-то черной мглой, чуть заметно колышущейся на поверхности предметов, и, жалобно воя, точно зимний ветер в пустом замке, все глубже оседала в ее душе тоска. То были думы о невозвратном, усталость, охватывающая человека после какого-нибудь сделанного дела, и, наконец, боль, которую испытываешь, чуть только прекратится уже ставший привычным душевный подъем, едва лишь внезапно ослабнет длительное душевное напряжение.

Как и по возвращении из Вобьесара, когда в голове у нее кружился вихрь кадрилей, она впала в черную меланхолию, в мрачное отчаяние. Леон представлялся ей стройнее, красивее, обаятельнее, загадочнее, чем когда бы то ни было. Разлучившись с нею, он ее не покинул, он был здесь, — стены дома, казалось, сторожили его тень. Она не могла отвести глаза от ковра, по которому он ступал, от стульев, на которых он сидел. Река струилась по-прежнему, неторопливо пронося свою легкую зыбь мимо скользкого берега. Они часто гуляли здесь вдвоем по замшелым камням, под неумолкающий плеск волн. Как ярко светило им солнце! Как любили они укрыться от полдневного зноя в тенистом уголке сада! Он сидел с непокрытой головой на скамейке с ветхими столбиками и читал вслух. Свежий луговой ветер шевелил страницы книги и настурции возле беседки... И вот он уехал, единственная радость ее жизни, единственная надежда на счастье! Как могла она упустить это блаженство, когда оно само шло ей навстречу? Почему она не упала на колени и не ухватила за него обеими руками, когда оно собиралось улететь? Она проклинала себя за то, что не полюбила тогда Леона, — теперь она жаждала его поцелуев. Ей хотелось бежать за ним, упасть в его объятия, сказать ему: «Это я, я — твоя!» Но ее заранее отпугивали препятствия, и чувство горечи, примешиваясь к желаниям, лишь усиливало их.

С той поры память о Леоне стала как бы средоточием ее тоски. Она горела в ее душе ярче, нежели костер, разведенный на снегу путешественниками в русской степи. Эмма бросалась к огню, грелась около него, осторожно помещивала в этом догоравшем очаге, всюду искала, что бы еще в него подбросить. Самые далекие воспоминания и совсем недавние происшествя, то, что она испытала, и то, что она воображала, разлетевшиеся сладострастные мечты, думы о счастье, ломавшиеся на ветру, как сухие ветки, ее никому не нужная нравственность, ее неутоленные чаяния, домашние дразги — все это она подбирала, все это она ловила, все это годилось, чтобы разжечь ее кручину.

И все же пламя погасло, — быть может, оттого, что не хватило топлива, а быть может, наоборот, оттого, что Эмма слишком много сразу его положила. Разлука мало-помалу притушила любовь, привычка приглушила тоску, зарево пожара, заливавшее багрянцем пасмурное небо Эммы, с каждым днем все бледнело, а потом и совсем померкло. Усыпленное сознание Эммы принимало отвращение к мужу за влечение к любимому человеку, ожоги злобы — за вспышки нежности. Но буря не утихала, а страсть сгорела дотла, помощь ниоткуда не приходила,

луч солнца ниоткуда не пробивался, со всех сторон ее обступала темная ночь, и она вся заоченела от дикого, до костей пробирающего холода.

Мрачная полоса жизни в Тосте повторялась для нее сызнова. Но только теперь она считала себя еще несчастнее, ибо уже познала горе и прониклась уверенностью, что оно неизменно.

Женщина, принеся такая огромные жертвы, может позволить себе некоторые прихоти. Эмма купила готическую скамеечку, за один месяц истратила четырнадцать франков на лимоны для полировки ногтей, выписала из Руана голубое кашемировое платье, выбрала у Лере самый красивый шарф, стала подпоясывать им капот и в этом наряде при закрытых ставнях лежала с книгой в руках на диване.

Теперь она часто меняла прическу: то причесывалась по-китайски, то распускала волнистые локоны, то заплетала косы; потом сделала себе сбоку пробор, сзади подвернула волосы, и у нее вышло подобие мужской прически.

Ей захотелось выучиться итальянскому языку: она обзавелась словарями, купила грамматику, купила бумаги. Попробовала читать серьезные книги по истории и философии. Шарль иногда просыпался ночью и вскакивал — ему казалось, что его зовут к больному.

— Сейчас приду, — бормотал он.

Но это Эмма, зажигая лампу, чиркала спичкой. Между тем с книгами повторилась та же история, что с вышиваньем: весь шкаф у нее был завален неоконченными работами, и точно так же Эмма брала одну книгу, бросала и принималась за другую.

Временами Эмму охватывало лихорадочное возбуждение, и тогда ее легко можно было подбить на любую дикую выходку: как-то раз она поспорила с мужем, что выпьет залпом полстакана водки, и так как Шарль имел глупость раззадорить ее, то она и выпила все до дна.

Несмотря на свои чудачества, как выражались ионвильские дамы, Эмма все же не производила впечатления жизнерадостной женщины, углы ее рта были вечно опущены, как у старой девы или у незадачливого честолюбца. Она всегда была бледна, бела, как полотно, морщила нос, смотрела на всех невидящим взглядом. Обнаружив у себя на висках три седых волоса, она заговорила о том, что начинает стареть.

Она заметно слабела. Как-то раз у нее даже открылось кровохарканье. Шарль встревожился, забегал.

— А, да не все ли равно! — сказала она.

Шарль забился в свой кабинет, сел в кресло и, облокотив-

шись на письменный стол, на котором возвышалась френологическая голова, заплакал.

Он выписал мать, и они вели долгие разговоры об Эмме.

Как быть? Что с ней делать, раз она отказывается от всякого лечения?

— Знаешь, как бы надо поступить с такой женой? — твердила г-жа Бовари-мать. — Приучить ее заниматься делом, ручным трудом! Пришлось бы ей, как другим, работать ради куска хлеба, так небось сразу бы поздоровела, — это у нее все оттого, что голова не тем забита, да от безделья.

— Она все-таки занимается, — возражал Шарль.

— Занимается! А чем? Романы читает, вредные книги, в которых против религии пишут, да, подражая Вольтеру, высмеивают духовенство. Проку от этого не жди, бедный мой мальчик! Кто не верит в бога, тот добром не кончит.

Словом, было решено не давать Эмме читать романы. Задача была не из легких. Тем не менее г-жа Бовари-мать взяла это на себя: она обещала проездом через Руан зайти к библиотекарю и сказать, что Эмма отказывается от абонементов. Если же библиотекарь, этот змей-искуситель, станет упорствовать, то ведь недолго и в полицию заявить.

Свекровь и невестка простились холодно. Если не считать обычных вопросов во время еды и пожеланий спокойной ночи, то за три недели, что они прожили вместе, они и двух слов не сказали друг другу.

Госпожа Бовари-мать уехала в среду — в Ионвиле это был базарный день.

С утра на площади вдоль домов, от церкви и до трактира, выстроился ряд телег, поставленных на задок, вверх оглоблями. На противоположной стороне в брезентовых палатках торговали бумажными тканями, одеялами, шерстяными чулками, недоузками, синими лентами в связках, и концы этих лент плескались на ветру. Между пирамидами яиц и плетушками с сыром, из которых торчала склеившаяся солома, прямо на землю был свален грузный скобяной товар; рядом с сельскохозяйственными орудиями, высовывая головы между прутьями низких клеток, кудахтали куры. Толпа сгрудилась на одном месте и по временам так напирала, что витрина аптеки грозила треснуть. По средам здесь всегда была толкотня — люди протискивались в аптеку не столько за лекарствами, сколько для того, чтобы посоветоваться с Оме, — так он был популярен в окрестных селениях. Его несокрушимая самоуверенность пленяла сельчан. Лучшего лекаря, чем он, они не могли себе представить.

Эмма сидела, облокотившись на подоконник (это было ее излюбленное место — в провинции окно заменяет театр и прогулки), и от скуки смотрела на толпившееся мужичье, как вдруг внимание ее остановил господин в зеленом бархатном сюртуке. На нем были щегольские желтые перчатки и вместе с тем грубые краги. Направлялся он к докторскому дому, а за ним, понунив голову, задумчиво брел крестьянин.

— Барин дома? — спросил незнакомец Жюстена, который болтал на пороге с Фелисите.

Все еще принимая Жюстена за слугу доктора, он добавил:

— Скажите, что его спрашивает господин Родольф Буланже де Ла Юшет.

Новоприбывший присоединил к своему имени название географического пункта не из местного патриотизма, а для того, чтобы сразу дать понять, кто он такой. Под Ионвилем действительно было поместье Ла Юшет, и он его купил вместе с барской усадьбой и двумя фермами; управлял он имением сам, но жил на довольно широкую ногу. Говорили, что у этого холостяка «по меньшей мере пятнадцать тысяч ренты».

Шарль вошел в залу. Г-н Буланже сказал, что вот этот его работник желает, чтобы ему отворили кровь, а то-де у него «мурашки по всему телу бегают».

— Мне от этого полегчает, — на все доводы отвечал работник.

Бовари велел принести бинт и попросил Жюстена подержать таз. Видя, что малый побледнел, он его подбодрил:

— Не бойся, милейший, не бойся!

— Ничего, ничего, — ответил тот, — действуйте!

И, расхрабрившись, протянул свою ручищу. Из-под ланцета выбилась струя крови и забрызгала оконное стекло.

— Ближе таз! — крикнул Шарль.

— Вот на! — сказал крестьянин. — Прямо целый фонтан! А кровь-то какая красная! Ведь это хорошо?

— Некоторые сперва ничего не чувствуют, а потом вдруг теряют сознание, — заметил лекарь. — Особенно часто это бывает с людьми крепкого телосложения, как вот он.

При этих словах сельчанин выронил футляр от ланцета, который он все время вертел в руке. У него так свело плечи, что затрещала спинка стула. Шапка упала на пол.

— Так я и знал, — зажимая пальцем вену, сказал Бовари.

В руках у Жюстена заплясал таз, колени у него подгибались, он побледнел.



Госпожа Бовари

— Жена! Жена! — позвал Шарль.

Эмма сбежала с лестницы.

— Уксусу! — крикнул он. — Ах, боже мой, сразу двое!

От волнения Шарль с трудом наложил повязку.

— Пустяки! — подхватив Жюстена, совершенно спокойно сказал г-н Буланже.

Он усадил его на стол и прислонил спиной к стене.

Госпожа Бовари стала снимать с Жюстена галстук. Шнурки его рубашки были завязаны на шее узлом. Тонкие пальцы Эммы долго распутывали его. Потом, смочив свой батистовый платок уксусом, она начала осторожно тереть ему виски и тихонько дуть на них.

Конюх очнулся, а Жюстен все никак не мог прийти в себя, зрачки его, тонувшие в мутных белках, напоминали голубые цветы в молоке.

— Это надо убрать от него подальше, — сказал Шарль.

Госпожа Бовари взяла таз. Чтобы задвинуть его под стол, она присела, и ее платье, летнее желтое платье (длинный лиф и широкая юбка с четырьмя воланами), прикрыло плиты пола. Нагнувшись и расставив локти, она слегка покачивалась, и при колебаниях ее стана колокол платья местами опадал. Потом она взяла графин с водой и бросила туда несколько кусков сахара, но в это время подоспел фармацевт. Пока все тут суетились, служанка за ним сбегала. Увидев, что глаза у племянника открыты, он облегченно вздохнул. Потом обошел его со всех сторон и смерил взглядом.

— Дурак! — говорил он. — Право, дурачина! Набитый дурак! Велика важность — флеботомия! А ведь такой храбрец! Вы не поверите, это сущая белка, за орехами лазает на головокружительную высоту. Ну-ка, похвастайся! А как же твои благие намерения? Ты ведь хочешь быть фармацевтом. Тебя могут вызвать в суд, дабы ты пролил свет на какое-нибудь чрезвычайно запутанное дело, и тебе надо будет сохранять спокойствие, рассуждать, вести себя, как подобает мужчине, а иначе тебя примут за идиота!

Ученик в ответ не произнес ни слова.

— Кто тебя сюда звал? — продолжал аптекарь. — Вечно надоедаешь доктору и его супруге! Как раз по средам мне твоя помощь особенно необходима. Сейчас в аптеке человек двадцать. А я вот пожалел тебя и все бросил. Ну иди! Живо! Жди меня и поглядывай за склянками!

Жюстен, приведя себя в порядок, удалился, и тут речь зашла о дурноте. Г-жа Бовари никогда ею не страдала.

— Для женщины это редкость! — заметил г-н Буланже. — А ведь есть на свете очень слабые люди. При мне на поединке секундант потерял сознание, как только стали заряжать пистолеты.

— А меня вид чужой крови ничуть не пугает, — заговорил аптекарь. — Но если я только представлю себе, что кровь течет у меня самого, и буду развивать эту мысль, вот тогда мне ничего не стоит лишиться чувств.

Между тем г-н Буланже отпустил своего работника и велел ему успокоиться, коль скоро прихоть его удовлетворена.

— Впрочем, благодаря этой прихоти я имел удовольствие познакомиться с вами, — добавил он, глядя на Эмму.

Затем положил на угол стола три франка, небрежно кивнул головой и вышел.

Немного погодя он был уже за рекой (дорога в Ла Юшет тянулась вдоль того берега). Эмма видела, как он шел по лугу под тополями, порой как бы в раздумье замедляя шаг.

— Очень мила! — говорил он сам с собой. — Очень мила эта докторша! Хорошенькие зубки, черные глаза, кокетливая ножка, а манеры, как у парижанки. Откуда она, черт побери, взялась? Где ее подцепил этот увалень?

Родольфу Буланже исполнилось тридцать четыре года; у этого грубого по натуре и проницательного человека в прошлом было много романов, и женщин он знал хорошо. Г-жа Бовари ему приглянулась, и теперь он все думал о ней и о ее муже.

«По-моему, он очень глуп... Она, наверно, тяготится им. Ногти у него грязные, он по три дня не бреется. Пока он разъезжает по больным, она штопает ему носки. И как же ей скучно! Хочется жить в городе, каждый вечер танцевать польку! Бедная девочка! Она задыхается без любви, как рыба без воды на кухонном столе. Два-три комплимента, и она будет вас обожать, ручаюсь! Она будет с вами нежна! Обворожительна!.. Да, а как потом от нее отделаться?»

В предвидении тьмы наслаждений, которые может доставить Эмма, он по контрасту вспомнил о своей любовнице. Он содержал руанскую актрису. И вот, когда ее образ возник перед ним, он при одной мысли о ней почувствовал пресыщение.

«Нет, госпожа Бовари гораздо красивее! — подумал он. — А главное, свежее. Виржини уж очень расплылась. Ее восторженность мне опротивела. А потом, эта ее страсть к креветкам!»

Кругом не было ни души, и Родольф слышал только мерный шорох травы, бившей его по башмакам, да стрекотанье кузнечиков в овсах. Ему представлялась Эмма, какая она была

у себя в зале, точь-в-точь так же одетая, и мысленно он раздевал ее.

— Она будет моя! — разбивая палкой сухой ком земли, воскликнул он.

И сейчас же стал думать о том, как за это дело взяться.

«Где мы с ней будем видеться? — задавал он себе вопрос. — Каким образом? Свою девчонку она, верно, с рук не спускает, а тут еще служанка, соседи, муж, — возни не оберешься».

— Только время зря потратишь! — проговорил он вслух.

А потом опять начал вспоминать.

«Глаза ее, как два буравчика, впиваются тебе прямо в сердце. А какая она бледная!.. Обожаю бледных женщин!»

На вершине Аргейльского холма решение его созрело.

«Надо ждать удобного случая, вот и все. Что ж, буду к ним заходить, пришлю им дичи, живности. Попрошу себе даже кровь пустить, если нужен будет предлог. Мы подружмся, я приглашу их к себе...»

— Дьявольщина! — воскликнул он. — Ведь скоро выставка. Я ее там и увижу. С этого мы начнем. Главное, не робеть — и успех обеспечен.

VIII

Наконец пресловутая выставка открылась! Утром жители, стоя у своих домов, толковали о приготовлениях к торжеству. Фронтон мэрии был увит гирляндами плюща. На лугу раскинули для званого пира шатер, а посреди площади, перед церковью поставили нечто вроде бомбарды для салютов при въезде в город г-на префекта и при оглашении имен земледельцев-лауреатов. Из Бюши прибыл отряд национальной гвардии (своей гвардии в Ионвиле не было) и присоединился к пожарной дружине под командой Бине. Ради праздника Бине надел какой-то особенно высокий воротничок. Корпус его, затянутый в мундир, был прям и неподвижен; казалось, будто вся жизненная сила, заключавшаяся в его теле, притекла к ногам, шагавшим мерно, отчетисто, не сгибаясь. Податной инспектор и гвардейский полковник вечно друг с другом соперничали, и поэтому сейчас, желая показать товар лицом, они, каждый со вверенным ему отрядом, проводили строевые занятия. По площади проходили то красные погоны, то черные нагрудники. Конца этому не было, все опять начиналось сначала! Ионвиль никогда не видел такого церемониального марша! Кое-кто из горожан еще накануне вымыл стены своих домов; из приоткрытых окон

свисали трехцветные флаги; во всех кабачках было полно народу. День выдался ясный, и накрахмаленные чепчики казались белее снега, золотые крестики блестели на солнце, а на однообразном темном фоне сюртуков и синих блуз там и сям пестрели разноцветные косынки. Вылезая из повозок, фермеры откалывали огромные булавки, которыми они скрепляли платья вокруг талии, чтобы их не забрызгало грязью. Мужья берегли свои шляпы и дорогой накрывали их носовыми платками, уголки которых они держали в зубах.

Народ прибывал на главную улицу с обоих концов города. Он вливался в нее из переулков, из проездов, из домов; то и дело раздавался стук дверного молотка за какой-нибудь горожанкой в нитяных перчатках, вышедшей поглядеть на праздник. Особое внимание привлекали установленные по бокам эстрады, где должно было находиться начальство, два высоких треугольных станка с иллюминационными шкаликами. А напротив четырех колонн мэрии торчали четыре шеста, к которым были прикреплены светло-зеленые полотняные флажки с золотыми надписями. На одном флажке надпись гласила — «Торговля», на другом — «Земледелие», на третьем — «Промышленность», на четвертом — «Изящные искусства».

Но от этого ликования, светившегося на всех лицах, явно мрачнела трактирщица, г-жа Лефрансуа. Стоя на кухонном крыльце, она бурчала себе под нос:

— Экая дурацкая затея, экая дурацкая затея — этот их брезентовый балаган! Что ж им префект — ярмарочный петрушка? Неужто ему приятно будет обедать в балагане? Толкуют о пользе края, а сами невесть что творят! Тогда незачем было вызывать невшательского кухаря! Для кого? Для пастухов? Для голодранцев?..

Мимо проходил аптекарь. На нем был черный фрак, нанковые панталоны, башмаки с касторовым верхом и — ради такого торжественного случая — шляпа, шляпа с низкой тульей.

— Мое почтение! — сказал он. — Извините, я тороплюсь. Пышнотелая вдова спросила, куда он идет.

— А вы что, удивлены? Я и впрямь сижу у себя в лаборатории, точно крыса в сыре.

— В каком сыре? — спросила трактирщица.

— Да нет, да нет! — поспешил ее разуверить Оме. — Я хотел сказать, госпожа Лефрансуа, что я — домосед. Однако нынче уж такой день, приходится...

— А, вы идете туда? — с презрительным видом спросила трактирщица.

— Конечно,— в недоумении проговорил аптекарь.— Разве вы не знаете, что я член консультативной комиссии?

Тетушка Лефрансуа посмотрела на него и усмехнулась.

— Тогда другое дело! — сказала она.— Но только какое отношение вы имеете к земледелию? Что вы в нем смыслите?

— Еще как смыслю! Ведь я же фармацевт, следовательно — химик, а так как химия, госпожа Лефрансуа, изучает молекулярное взаимодействие всех физических тел, то, само собою разумеется, к ее области относится и сельское хозяйство! В самом деле, состав удобрений, ферментация жидкостей, анализ газов и влияние миазмов — что же это такое, позвольте вас спросить, как не самая настоящая химия?

Трактирщица ничего ему на это не ответила. Оме продолжал:

— Вы думаете, агроном — это тот, кто сам пашет землю и откармливает живность? Нет, этого недостаточно,— агроному прежде всего должны быть известны состав веществ, с которыми ему приходится иметь дело, геологические сдвиги, атмосферические явления, свойства почвы, свойства минералов, качество воды, удельный вес различных тел, их капиллярность, да мало ли еще что! Дабы руководить другими, он должен основательно изучить основы гигиены, должен что-то понимать в строительном деле, в уходе за животными, в питании рабочей силы! И это еще не все, госпожа Лефрансуа: он должен, знаете ли, изучить ботанику, уметь определять растения, отличать целебные от ядовитых, непитательные от кормовых, должен сообразить, что такие-то травы нужно сеять не здесь, а там, размножать одни, уничтожать другие. Словом, чтобы вводить улучшения, он должен читать брошюры, журналы, следить за всеми открытиями, знать последнее слово науки...

Трактирщица не спускала глаз с дверей кафе «Франция», а фармацевт все рассуждал:

— Дай бог, чтобы наши земледельцы сделались химиками! По крайней мере, пусть они почаще прислушиваются к советам ученых! Вот я, например, недавно окончил капитальный труд, научную работу на семидесяти двух с половиной страницах под заглавием: «Сидр, его производство и его действие в свете некоторых новых фактов». Я послал ее в Руанское агрономическое общество и удостоился чести быть принятым в его члены по секции земледелия, по разряду помологии. И вот, если бы мой труд опубликовать...

Между тем лицо г-жи Лефрансуа приняло столь озабоченное выражение, что аптекарь невольно смолк.

— Гляньте-ка! — сказала она. — Ничего не понимаю! В этой-то харчевне!

И, пожав плечами так, что петли вязаной кофты растянулись у нее на груди, она обеими руками показала на трактир своего соперника, откуда сейчас доносилось пение.

— Ну да это ненадолго, — прибавила она, — через неделю конец всему.

Оме попятился от изумления. Г-жа Лефрансуа сошла с крыльца и зашептала ему на ухо:

— Как? Разве вы не знаете? Его на днях опишут. Это Лере пустил его по миру. Допек векселями.

— Какая страшная катастрофа! — воскликнул аптекарь, у которого для любого случая были припасены готовые фразы.

Тут хозяйка начала рассказывать ему историю, которую она знала от работника г-на Гильомена, Теодора. Ненависть к Телье не мешала ей порицать Лере. Подлипала, палец в рот не клади!

— Э, да он вон он, под навесом! — сказала она. — Кланяется госпоже Бовари. А на ней зеленая шляпка, и она идет под руку с господином Буланже.

— Госпожа Бовари! — воскликнул Оме. — Сейчас я ее догоню, предложу ей место за оградой, у самых колонн, — может быть, там ей будет удобнее.

Тетушка Лефрансуа тщетно пыталась его остановить, чтобы досказать ему про Телье, — сложив губы в улыбку, раскланиваясь направо и налево и задевая встречных развевающимися фалдами черного фрака, фармацевт бодро понесся вперед.

Завидев его издали, Родольф прибавил шагу, но г-жа Бовари запыхалась; тогда он пошел медленнее и, улыбаясь, грубовато сказал:

— Я хотел убежать от этого толстяка, от небезызвестного вам аптекаря.

Она толкнула его локтем.

«Что бы это значило?» — спросил он себя и на ходу искоса взглянул на нее.

По ее спокойному профилю ничего нельзя было понять. Он отчетливо вырисовывался на свету, в овале шляпки с бледно-желтыми завязками, похожими на сухие стебли камыша. Ее глаза с длинными загнутыми ресницами смотрели прямо перед собой, и хотя они были широко раскрыты, все же казалось, будто она их слегка прищуривает, оттого что к нежной коже щек прилиwała и чуть заметно билась под нею кровь. Носовая пере-

городка отсвечивала розовым. Голову Эмма склонила набок, между губами был виден перламутровый край белых зубов.

«Может быть, она просто дразнит меня?» — подумал Родольф.

Между тем она своим жестом хотела только предостеречь его — дело в том, что сзади шел г-н Лере.

— Какая чудесная погода! — попытался он с ними заговорить. — Весь город высыпал на улицы! Ни один листок не шелхнется!

Госпожа Бовари и Родольф ему не отвечали, но стоило им сделать едва уловимое движение, как он нагонял их и, поднося руку к шляпе, спрашивал: «Чем могу служить?»

Поравнявшись с кузницей, Родольф, вместо того чтобы идти прямо по дороге до самой заставы, круто повернул на тропинку, увлекая за собою г-жу Бовари.

— Будьте здоровы, господин Лере! — сказал он. — Всего наилучшего!

— Ловко же вы от него отделались! — смеясь, сказала Эмма.

— А для чего нам посторонние? — сказал он. — Раз уж мне сегодня выпало на долю счастье быть с вами...

Эмма покраснела. Не закончив своей мысли, Родольф заговорил о том, какая сегодня хорошая погода и как приятно идти по траве. Ромашки уже цвели.

— Прелестные цветочки! — сказал он. — Их тут так много, что всем здешним влюбленным хватит на гаданье. Не нарвать ли? Как вы думаете? — спросил он.

— А вы разве влюблены? — слегка покашливая, спросила Эмма.

— Гм! Гм! Как знать! — ответил Родольф.

На лугу становилось людно, хозяйки задевали встречных своими большими зонтами, корзинками, малышами. То и дело приходилось сторониться и пропускать длинную шеренгу батрачек с серебряными колечками на пальцах, в синих чулках, в туфлях без каблуков; на близком расстоянии от них пахло молоком. Держась за руки, они прошли всю луговину — от шпалеры осин до пиршественного шатра. Скоро должен был начаться осмотр выставки, и земледельцы один за другим входили в круг, огороженный кольями, между которыми была натянута длинная веревка, и напоминавший ипподром.

На кругу, мордами к бечеве, вычерчивая ломаную линию своими неодинаковыми спинами, стоял скот. Уткнув рыла в землю, дремали свиньи, мычали телята, блеяли овцы, коровы

с поджатыми ногами лежали брюхом на траве и, мигая тяжелыми веками, медленно пережевывали жвачку, а над ними вился жужжащий рой мух. Жеребцы взвивались на дыбы и, косясь на кобыл, заливисто ржали; конюхи, засучив рукава, держали их под уздцы. Кобылы стояли смирно, вытянув гривастые шеи, а жеребята то лежали в тени, которая падала от маток, то подходили пососать. А над длинной волнистой линией всех этих сгрудившихся тел то здесь, то там вспененным валом вздымалась развевавшаяся на ветру белая грива, выступали острые рога или головы бегущих людей. Поодаль, шагах в ста от барьера, не шевелясь, точно отлитый из бронзы, стоял огромный черный бык в наморднике, с железным кольцом в ноздре. Мальчик в обносках держал его за веревку.

Между двумя рядами экспонатов тяжелым шагом шли какие-то господа, осматривали каждое животное, потом тихо совещались. Один из них, по-видимому — самый главный, на ходу что-то заносил в книжку. Это был председатель жюри, г-н Дерозере из Панвиля. Увидев Родольфа, он бросился к нему и с любезной улыбкой спросил:

— Что же вы нас покинули, господин Буланже?

Родольф ответил, что сейчас придет. Но как только председатель скрылся из виду, он сказал Эмме:

— Нет уж, я останусь с вами! Ваше общество куда приятнее!

Продолжая посмеиваться над выставкой, Родольф для большей свободы передвижения показал полицейскому синий пригласительный билет. Время от времени он даже останавливался перед примечательными «экземплярами», но г-жа Бовари не проявляла к ним ни малейшего интереса. Заметив это, он проехался насчет туалетов ионвильских дам, потом извинился за небрежность своей одежды. Его туалет представлял собою то сочетание банальности и изысканности, в котором мещане обыкновенно видят признак непостоянной натуры, душевного разлада, непреодолимого желания порисоваться, во всяком случае признак несколько пренебрежительного отношения к правилам приличия, и это пленяет обывателей или, наоборот, возмущает. Так, у Родольфа в вырезе серого тикового жилета надувалась от ветра батистовая рубашка с гофрированными рукавами, панталоны в широкую полоску доходили до лодыжек, а под ними виднелись лаковые ботинки с нанковым верхом. Отлакированы они были до зеркального блеска, и в них отражалась трава. Держа руку в кармане пиджака, сдвинув набок соломенную шляпу, Родольф расшвыривал носками ботинок конский навоз.

— Впрочем,— прибавил он,— в деревне...

— И так сойдет,— сказала Эмма.

— Вот именно,— подхватил Родольф.— Разве кто-нибудь из местных уважаемых граждан способен оценить хотя бы покрой фрака?

И тут они заговорили о провинциальной пошлости, о том, как она засасывает, как она разрушает все иллюзии.

— Вот и я начинаю впадать в уныние...— сказал Родольф.

— Вы? — с удивлением спросила Эмма.— А я думала, вы такой веселый!

— Да, с виду, потому что на людях я умею носить маску шутника. А между тем сколько раз, глядя на озаренное луною кладбище, я спрашивал себя, не лучше ли соединиться с теми, кто спит вечным сном...

— А ваши друзья? — спросила Эмма.— О них вы не подумали?

— Друзья? Какие друзья? Где они? Кому я нужен?

При этом он издал легкий свист.

Но тут им пришлось расступиться и дать дорогу громоздкому сооружению из стульев, которое кто-то нес сзади них. Из-за этого многоярусного сооружения выглядывали только носки башмаков да пальцы широко расставленных рук. Это могильщик Лестибудуа в самой гуще народа тащил церковные стулья. Отличаясь необыкновенной изобретательностью во всем, что касалось его личной выгоды, он живо смекнул, что из выставки тоже можно извлечь доход, и его затея имела огромный успех — могильщика рвали на части. Духота разморила собравшихся, и они расхватывали эти стулья с пропахшими ладаном соломенными сиденьями и почти благоговейно прислонялись к закапанным воском крепким спинкам.

Госпожа Бовари опять взяла Родольфа под руку, а он снова заговорил как бы сам с собой:

— Да, мне недостает многого! Я так одинок! Ах, если б у меня была цель в жизни, если б я полюбил кого-нибудь, когө-нибудь встретил... О, я бы этой привязанности отдал все свои силы, я бы все преодолел, все сокрушил!

— Мне кажется, однако,— заметила Эмма,— что вам совсем не так плохо живется.

— Вы находите? — спросил Родольф.

— В конце концов,— продолжала она,— вы свободны...— Она запнулась.— Богаты.

— Не смейтесь надо мной,— сказал Родольф.

Она поклялась, что говорит серьезно, но тут вдруг выстрелила пушка, и вся толпа ринулась в город.

Это была фальшивая тревога. Г-н префект запаздывал, и члены жюри не знали, что делать: то ли открывать заседание, то ли еще подождать.

Наконец в глубине площади показалось большое наемное ландо, запряженное двумя одрами, которых изо всех сил нахлестывал кучер в белой шляпе. Бине, а за ним полковник только успели скомандовать: «В ружье!» Гвардейцы и пожарные бросились к козлам. Все засуетились. Некоторые забыли даже надеть воротнички. Но выезд префекта как будто бы предвидел, что пойдет кутерьма, — по крайней мере, пара кляч, беспокойно грызя удила, подъехала к колоннаде мэрии как раз в тот момент, когда гвардейцы и пожарные, под барабанную дробь печатая шаг, развертывались по фронту.

— На месте!.. — скомандовал Бине.

— Стой! — скомандовал полковник. — Равнение налево!

Взяли на караул, лязг колец на стволах винтовок прокатился, точно скачущий по ступенькам лестницы медный котел, и вслед за тем ружья снова опустились.

Из экипажа вышел господин в шитом серебром коротком фраке, лысый, с пучком волос на затылке, с землистым цветом лица, по виду — весьма добродушный. Вглядываясь в толпу, он щурил свои выкаченные глаза под тяжелыми веками, поднимал кверху свой птичий нос, а впалый рот складывал в улыбку. Узнав мэра по перевязи, он сказал ему, что г-н префект приехать не может. Потом сообщил, что он является советником префектуры, и проговорил несколько извинений. Тюваш рассыпался в любезностях — советник сказал, что он его конфузит. Так они и стояли друг против друга, почти касаясь лбами, в плотном окружении членов жюри, муниципального совета, именитых граждан, национальных гвардейцев и толпы. Прижимая к груди маленькую черную треуголку, г-н советник опять начал произносить слова приветствия, а в это время Тюваш, изогнувшись дугой, тоже улыбался, мямлил, подыскивал выражения, изъявлял свою преданность монархии, лепетал что-то о чести, оказанной Ионвиллю.

Трактирный слуга Ипполит взял лошадей под уздцы и, припадая на свою кривую ногу, отвел их под навес во двор «Золотого льва», где уже собрались крестьяне поглядеть на коляску. Забил барабан, выстрелила пушка, господа один за другим взошли на эстраду и сели в обитые красным трипом кресла, предоставленные для этой цели г-жою Тюваш.

Все эти господа были похожи друг на друга. Цвет их желтых, дряблых, чуть тронутых загаром лиц напоминал сидр, бакенбарды выбивались у них из высоких тугих воротничков, подпираемых белыми галстуками, которые были завязаны тщательно расправленными бантами. Жилеты у всех были бархатные, шалевые; часы у всех были на ленте с овальной сердоликовой печаткой; все упирались руками в колени и широко раздвигали ноги, на которых не декатированное сукно панталон блестело ярче, нежели на ботфортах кожа.

Позади эстрады, у входа в мэрию, между колонн расположились дамы из общества, а простонародье сидело на стульях или стояло напротив эстрады. Лестибудуа перетаскивал сюда с луга все стулья, поминутно бегал в церковь за пополнением, и эта его коммерческая деятельность производила такой беспорядок, что пробраться к ступенькам эстрады было почти невозможно.

— По-моему, — сказал г-н Лере аптекарю, проходившему на свое место, — здесь надо бы поставить две венецианские мачты и украсить их какими-нибудь строгими, но в то же время дорогими модными материями — это было бы очень красиво.

— Конечно, — согласился Оме. — Но ничего не поделаешь, — все взял в свои руки мэр. А бедняга Тюваш тонкостью вкуса не отличается, так называемого художественного чутья у него ни на волос нет.

Тем временем Родольф и г-жа Бовари поднялись на второй этаж мэрии, в «зал заседаний»; здесь никого не было, и Родольф нашел, что отсюда им будет очень удобно смотреть на зрелище. Он взял три табурета, стоявших вокруг овального стола, под бюстом монарха, и они сели рядом.

Господа на эстраде взволнованно шептались, переговаривались. Наконец советник встал. Теперь всем уже было известно, что это г-н Льевен, — его фамилия облетела собравшихся. Разложив свои листки и не отводя от них взгляда, он начал:

— «Господа!

Позвольте мне с самого начала (прежде чем перейти к предмету нашего сегодняшнего собрания, и я убежден, что все вы разделяете мои чувства), позвольте мне, говорю я, принести дань восхищения нашей высшей власти, правительству, монарху, господа, королю, нашему обожаемому государю, ибо он неусыпно печется как о благе всего общества, так равно и о благе отдельных лиц, ибо он твердой и вместе с тем мудрой рукою ведет государственную колесницу среди неисчислимых

опасностей, коими грозит бурное море, и не забывает ни о мире, ни о войне, ни о промышленности, ни о торговле, ни о земледелии, ни об изящных искусствах».

— Мне бы надо отсечь, — сказал Родольф.

— Зачем? — спросила Эмма.

Но как раз в эту минуту голос советника достиг необычайной силы.

— «Прошли те времена, господа, — разглагольствовал он, — когда междоусобица обагряла кровью наши стогны; когда собственник, негоциант и даже рабочий, мирным сном засыпая ввечеру, невольно вздрагивали при мысли о том, что их может пробудить звон мятежного набата; когда злокозненные учения дерзко подрывали основы...»

— Меня могут увидеть снизу, — пояснил Родольф, — и тогда надо будет целых две недели извиняться, а при моей скверной репутации...

— О, вы клевете на себя! — сказала Эмма.

— Нет, нет, у меня гнусная репутация, уверяю вас.

— «Но, господа, — продолжал советник, — отвращая умственный взор свой от этих мрачных картин, я перевожу глаза на теперешнее состояние нашего прекрасного отечества, и что же я вижу? Всюду процветают торговля и ремесла; всюду новые пути сообщения, подобно новым кровеносным сосудам в государственном организме, связывают между собой различные его части; наши крупные промышленные центры возобновили свою деятельность; религия, воспрянув, всем простирает свои объятия; в наших гаванях снова тесно от кораблей, доверие возрождается, и наконец-то Франция вздохнула свободно!...»

— Впрочем, — прибавил Родольф, — со своей точки зрения, свет, пожалуй, прав.

— То есть? — спросила Эмма.

— Ну да! — сказал Родольф. — Разве вы не знаете о существовании мятущихся душ? Они то грезят, то действуют, предаются то самому чистому чувству, то неистовству наслаждений, — им ведомы все прихоти, все безумства.

При этих словах Эмма посмотрела на Родольфа как на путешественника, побывавшего в дальних странах.

— Мы, бедные женщины, лишены и этого развлечения! — заметила Эмма.

— Грустное развлечение, — счастья оно не приносит.
— А счастье есть на земле? — спросила Эмма.
— Да, в один прекрасный день оно приходит, — ответил Родольф.

— «И вы это поняли, — говорил советник, — вы, земледельцы и батраки, вы, скромные пионеры великого дела цивилизации, вы, поборники нравственности и прогресса! Вы поняли, говорю я, что политические бури, безусловно, более разрушительны, нежели потрясения атмосферы...»

— В один прекрасный день оно приходит, — повторил Родольф, — приходит внезапно, когда его уже перестаешь ждать. Вдруг открывается бесконечная даль, и чей-то голос говорит: «Вот оно!» Вы испытываете потребность довериться этому человеку всю свою жизнь, отдать ему все, пожертвовать для него всем! Объяснений не надо — все понятно без слов. Именно таким вы видели его в мечтах. (Он смотрел на Эмму.) Наконец сокровище, которое вы так долго искали, здесь, перед вами, и оно сверкает, блестит! Но вы еще сомневаетесь, вы еще не смее-те верить, вы ослеплены, как будто из темноты сразу вышли на свет.

Последнюю фразу Родольф подкрепил пантомимой. Он схватился за голову, точно она у него закружилась, затем уронил руку на руку Эммы. Она ее отдернула. А советник между тем все читал:

— «Но кого это может удивить, господа? Только слепых, только опутанных (я не боюсь сказать об этом прямо), только опутанных вековыми предрассудками людей, которые до сих пор понятия не имеют о том, каков образ мыслей сельского населения. В самом деле, где мы еще найдем такой патриотизм, такую преданность общему делу, одним словом — такое благоразумие, как не в деревне? Это не поверхностный ум, господа, не мишурный блеск празднословов, но ум глубокий, трезвый, прежде всего ставящий перед собой практические цели, тем самым повышая благосостояние отдельных лиц, соблюдая общественную пользу и служа опорой государству, — цели, которые проистекают из законопослушания и верности долгу...»

— Опять! — сказал Родольф. — Все долг и долг — меня тошнит от этого слова. Тьма-тьмущая остолопов во фланелевых жилетах и святош с грелками и четками прожужжали нам

все уши: «Долг! Долг!» Черт подери, долг заключается в том, чтобы понимать великое, поклоняться прекрасному, а вовсе не в том, чтобы придерживаться разных постыдных условностей.

— Да, но... да, но... — пыталась вставить Эмма.

— Ну к чему ополчаться на страсти? Ведь это же лучшее, что есть на земле, это источник героизма, восторга, поэзии, музыки, искусства, решительно всего.

— Но надо же хоть немного считаться с мнением света, уважать его мораль, — возразила Эмма.

— В том-то и дело, что есть две морали, — отрезал Родольф. — Есть мелкая, условная, человеческая, — она вечно меняется, она криклива, она копается в грязи, у нас под ногами, как вот это сборище дураков, которое вы видите перед собой. Но есть другая мораль, вечная — она вокруг нас, как вот эта природа, и она над нами, как голубое небо, откуда нам светит солнце.

Господин Льевен вытер губы платком и продолжал:

— «Нужно ли доказывать вам, господа, пользу земледелия? Кто же удовлетворяет наши потребности? Кто доставляет нам пропитание? Кто же, как не земледелец? Да, господа, земледелец! Это он, засевая своей трудолюбивой рукой плодородные борозды полей, выращивает зерно, которое, после того как его размельчат и смелют с помощью хитроумных приспособлений, уже в виде муки доставляется в города и тотчас же поступает к булочнику, а тот превращает ее в продукт питания как для богачей, так и для бедняков. Не тот же ли самый земледелец, чтобы одеть нас, выкармливает на пастбищах тучные стада? Во что бы мы одевались, чем бы мы кормились, если бы не земледелец? За примерами ходить недалеко! Все мы часто задумывались над тем, какую важную роль играет в нашей жизни скромное создание, украшение наших птичников, которое одновременно снабжает нас мягкими подушками для нашего ложа, сочным мясом и яйцами для нашего стола. Впрочем, если бы я стал перечислять многообразные дары, которые, словно добрая мать, балующая детей своих, расточает нам заботливо возделанная земля, я бы никогда не кончил. Здесь — виноград, а в другом месте — яблоки, а следовательно — сидр, там — рапс, еще дальше — сыр. А лен? Запомните, господа: лен! За последние годы посевная площадь льна значительно увеличилась, вот почему я хочу остановить на нем ваше внимание».

Останавливать внимание слушателей не было никакой необходимости,— все и без того разинули рты, ловили каждое его слово. Сидевший около него Тюваш слушал, вытаращив глаза, Дерозере время от времени слегка жмурился, а поодаль, приставив к уху ладонь, чтобы не пропустить ни единого звука, сидел со своим сыном Наполеоном на руках фармацевт. Прочие члены жюри в знак одобрения медленно покачивали головами. У эстрады, опершись на штыки, отдыхали пожарные. Бине стоял навтыжку и, держа локоть на отлете, делал саблей на караул. Может быть, он и слушал, но видеть ничего не мог, оттого что козырек его каски сползал ему на нос. У его поручика, младшего сына г-на Тюваша, каска была совсем не по мерке; огромная, она болталась у него на голове, и из-под нее торчал кончик ситцевого платка. Это обстоятельство вызывало у него по-детски кроткую улыбку, его бледное потное личико выражало блаженство, изнеможение и сонную одурь.

Площадь и даже дома на ней были полны народом. Люди смотрели из всех окон, со всех порогов, а Жюстен, захваченный зрелищем, стоял как вкопанный перед аптечной витриной. В толпе никто не разговаривал, и все же г-на Льевена было плохо слышно. Долетали только обрывки фраз, поминутно заглушаемых скрипом стульев. А сзади раздавался то протяжный рев быка, то блеянье ягнят, перекликавшихся с разных концов площади. Дело в том, что пастухи подогнали скотину поближе, и коровы и овцы, слизывая языком приставшие к мордам травинки, время от времени подавали голос.

Родольф придвинулся к Эмме и быстро зашептал:

— Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? Есть ли хоть одно чувство, которое бы он не осудил? Благороднейшие инстинкты, самые чистые отношения подвергаются преследованию, обливаются грязью, и если двум страдающим душам посчастливится в конце концов найти друг друга, то все подстраивается таким образом, чтобы им нельзя было сойтись. И все же они напрягут усилия, станут бить крылами, станут звать друг друга. Ничего! Рано или поздно, через полгода, через десять лет, но они соединятся, оттого что так велит рок, оттого что они рождены друг для друга.

Сложив руки на коленях и подняв голову, он пристально, в упор смотрел на Эмму. Она различала в его глазах золотые лучики вокруг черных зрачков, ощущала запах помады от его волос. И ее охватывало томление; она вспомнила виконта, с которым танцевала в Вобьесаре,— от его бороды пахло так же: ванилью и лимоном,— и машинально опустила веки; ей каза-

лось, что так легче вдыхать этот запах. Но, выгибая стан, Эмма увидела вдали, на горизонте, старый дилижанс «Ласточку», — он медленно спускался с холма Ле, волоча за собой длинный шлейф пыли. В этой желтой карете так часто возвращался к ней Леон, и по этой самой дороге он уехал от нее навсегда! Вдруг ей почудилось, что напротив, в окне, мелькнуло его лицо; потом все смешалось, наплы облака; ей мнилось теперь, что она все еще кружится при блеске люстр, в объятиях виконта, а что Леон где-то недалеко, что он сейчас придет... и в то же время она чувствовала, что голова Родольфа совсем близко. Сладостью этого ощущения были пропитаны давнишние ее желания, и, подобно песчинкам, которые крутит вихрь, они роились в тонком дыму благоухания, окутывавшем ее душу. Она широко раздувала ноздри, дыша свежестью увивавшего карнизы плюща. Она сняла перчатки, вытерла руки, затем стала обмахивать лицо платком; глухой гул толпы и монотонный голос советника она улавливала сквозь стук крови в висках.

Советник говорил:

— «Добивайтесь! Не сдавайтесь! Не слушайте ни нашептываний рутинеров, ни скороспелых советов самонадеянных экспериментаторов! Обратите особое внимание на плодородность почвы, на качество удобрений, на улучшение пород лошадей, коров, овец, свиней! Пусть эта выставка будет для вас как бы мирной ареной, пусть победитель, перед тем как уйти с нее, протянет руку побежденному, братски обнимется с ним, и пусть у побежденного вспыхнет при этом надежда, что он добьется бóльших успехов в дальнейшем! А вы, преданные слуги, скромные работники, вы, чей тяжелый труд до сих пор не привлекал к себе внимания ни одного правительства! Ваши непоказные достоинства будут ныне вознаграждены, и вы можете быть уверены, что государство наконец обратило на вас свои взоры, что оно вас ободряет, что оно вам покровительствует, что оно удовлетворит ваши справедливые требования и по мере сил постарается облегчить бремя ваших огромных жертв!»

Господин Льевен сел на место; затем произнес речь г-н Дерозере. Слог ее был, пожалуй, менее цветист, но зато это была более деловая речь; он обнаружил в ней больше специальных познаний, высказал более высокие соображения. Правительство он восхвалял недолго, зато уделил больше внимания религии и сельскому хозяйству. Он указал на связь между ними

и на те совместные усилия, которые они с давних пор прилагают во имя цивилизации. Родольф и г-жа Бовари говорили в это время о снах, о предчувствиях, о магнетизме. Оратор, обратив мысленный взор к колыбели человечества, описывал те мрачные времена, когда люди жили в лесах и питались желудями. Потом они сбросили звериные шкуры, оделись в сукно, вспахали землю, насадили виноград. Пошло ли это на пользу, чего больше принесло с собой это открытие: бед или благ? Такой вопрос поставил перед собой г-н председатель. А Родольф от магнетизма постепенно перешел к сродству душ, и пока г-н Дерозере толковал о Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, сажающем капусту, и о китайских императорах, встречающих новый год торжественным посевом, Родольф доказывал Эмме, что всякое неодолимое влечение уходит корнями в прошлое.

— Взять хотя бы нас с вами, — говорил он, — почему мы познакомились? Какая случайность свела нас? Разумеется, наши личные склонности толкали нас друг к другу, преодолевая пространство, — так в конце концов сливаются две реки.

Он взял ее руку; она не отняла.

— «За разведение ценных культур...» — выкрикнул председатель.

— Вот, например, когда я к вам заходил...

— «...господину Бизе из Кенкампуа...»

— ...думал ли я, что сегодня буду с вами?

— «...семьдесят франков!»

— Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за вами, остался.

— «За удобрение навозом...»

— И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время, на всю жизнь!

— «...господину Карону из Аргейля — золотая медаль!»

— Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым очарованием...

— «Господину Бену из Живри-Сен-Мартен...»

— ...и память о вас я сохраню навеки.

— «...за барана-мериноса...»

— А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно тень.

— «Господину Бело из Нотр-Дам...»

— Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей жизни?

— «За породу свиней приз делится *ex aequo*¹ между господами Леэрисе и Кюлембуром: шестьдесят франков!»

Родольф сжимал ее горячую дрожащую руку, и ему казалось, будто он держит голубку, которой хочется выпорхнуть. И вдруг то ли Эмма попыталась высвободить руку, то ли это был ответ на его пожатие, но она шевельнула пальцами.

— Благодарю вас! — воскликнул Родольф. — Вы меня не отталкиваете! Вы — добрая! Вы поняли, что я — ваш! Позвольте мне смотреть на вас, любоваться вами!

В раскрытые окна подул ветер, и сукно на столе собралось складками, а внизу, на площади, у всех крестьянок поднялись и крылышками белых мотыльков затрепетали оборки высоких чепцов.

— «За применение жмыхов маслянистых семян...» — продолжал председатель.

И зачастил:

— «За применение фламандских удобрений... за разведение льна... за осушение почвы при долгосрочной аренде... за услуги по хозяйству...»

Родольф примолк. Оба смотрели друг на друга. Желание было так сильно, что и у него и у нее дрожали пересохшие губы. Их пальцы непроизвольно, покорно сплелись.

— «Катрине-Никезе-Элизабете Леру из Сасето-Лагерьер за пятидесятичетырехлетнюю службу на одной и той же ферме серебряную медаль ценой в двадцать пять франков!»

¹ Поровну (*лат.*).

— Где же Катрина Леру? — спросил советник.

Катрина Леру не показывалась. В толпе слышался шепот:

— Да иди же!

— Не туда!

— Налево!

— Не бойся!

— Вот дура!

— Да где же она? — крикнул Тюваш.

— Вон... вон она!

— Так пусть подойдет!

На эстраду робко поднялась вся точно ссохшаяся старушонка в тряпье. На ногах у нее были огромные деревянные башмаки, бедра прикрывал длинный голубой передник. Ее худое, сморщенное, как печеное яблоко, лицо выглядывало из простого, без отделки, чепца, длинные узловатые руки путались в рукавах красной кофты. От сенной трухи, от щелока, от овечьего жирового выпота руки у нее так разъело, так они заскорузли и загубели, что казалось, будто они грязные, хотя она долго мыла их в чистой воде; натруженные пальцы всегда у нее слегка раздвигались, как бы скромно свидетельствуя о том, сколько ей пришлось претерпеть. В выражении ее лица было что-то монашески суровое. Ее безжизненный взгляд не смягчали оттенки грусти и умиления. Постоянно имея дело с животными, она переняла у них немоту и спокойствие. Сегодня она впервые очутилась в таком многолюдном обществе. Флаги, барабаны, господа в черных фраках, орден советника — все это навело на нее страх, и она стояла как вкопанная, не зная, что ей делать: подойти ближе или убежать, не понимая, зачем вытолкнули ее из толпы, почему ей улыбаются члены жюри. Прямо перед благоденствующими буржуа стояло олицетворение полувекового рабского труда.

— Подойдите, уважаемая Катрина-Никеза-Элизабета Леру! — взяв у председателя список награжденных, сказал г-н советник.

Глядя то на бумагу, то на старуху, он несколько раз повторил отеческим тоном:

— Подойдите, подойдите!

— Вы что, глухая? — подскочив в своем кресле, спросил Тюваш и стал кричать ей в ухо: — За пятидесятичетырехлетнюю службу! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Это вам, вам!

Получив медаль, старуха начала ее рассматривать. Лицо

ее расплылось при этом в блаженную улыбку, и, уходя, она пробормотала:

— Я ее священнику отдам, чтоб он за меня молился!

— Вот фанатизм! — наклонившись к нотариусу, воскликнул фармацевт.

Заседание кончилось, толпа разошлась, речи были произнесены, и теперь каждый вновь занял свое прежнее положение, все вошло в свою колею: хозяева стали ругать работников, а те стали бить животных — этих бесстрастных триумфаторов, возвращавшихся с зелеными венками на рогах к себе в стойла.

Между тем национальные гвардейцы, насадив на штыки булки, поднялись на второй этаж мэрии; батальонный барабанщик нес впереди корзину с вином. Г-жа Бовари взяла Родольфа под руку, он довел ее до дому, они расстались у крыльца, и Родольф пошел прогуляться перед парадным обедом по лугу.

Плохо приготовленный обед был продолжителен и шумен. За столом было так тесно, что люди с трудом двигали локтями; узкие доски, служившие скамьями, казалось, вот-вот рухнут. Ели до отвала. Каждый старался наесть на весь свой взнос. По лбам катился пот. Над столом, среди висячих кенкетов, точно осенний утренний туман над рекой, курился белесый пар. Родольф, прислонившись к коленкоровой изнанке шатра, думал только об Эмме и ничего не слышал. Позади него слуги на траве составляли в стопки грязные тарелки; соседи заговаривали с ним — он не отвечал; ему подливали вина, и в то время как шум вокруг все усиливался, в сознании его ширилась тишина. Он вызывал в своем воображении ее слова, очертания ее губ; лицо ее, точно в волшебном зеркале, сверкало на шишках киверов, складки на стенах шатра превращались в складки ее платья, вереница грядущих дней любви уходила в бесконечную даль.

Вечером, во время фейерверка, он увидел ее еще раз, но она была с мужем, г-жой Оме и фармацевтом. Аптекарь, боясь, как бы ракеты не наделали бед, ежеминутно бросал своих спутников, подбегал к Бине и давал ему советы.

Так как пиротехнические приборы были присланы на имя г-на Тюваша, а тот из предосторожности сложил их до времени в погреб, то отсыревший порох не загорался, главный же эффект — дракон, кусающий свой собственный хвост, — не удался вовсе. Порою вспыхивала жалкая римская свеча, и глазающая толпа поднимала крик, прорезаемый визгом девок, которых в темноте щупали парни. Эмма прижалась к плечу Шарля и, подняв голову, молча следила за тем, как в черном небе огни-

стыми брызгами рассыпаются ракеты. При свете плашек Родольфу хорошо было видно ее лицо.

Но плашки одна за другой погасали. Зажглись звезды. Упало несколько капель дождя. Эмма повязала голову косынкой.

В эту минуту из ворот трактира выехала коляска советника. Кучер был пьян и сейчас же заснул; над верхом экипажа, между двумя фонарями, виднелась бесформенная груда его тела, качавшаяся из стороны в сторону вместе с подпрыгивавшим на ремнях кузовом.

— Нет, как хотите, а с пьянством надо вести самую решительную борьбу! — заметил аптекарь. — Я бы каждую неделю вывешивал на дверях мэрии доску *ad hoc*¹, на которую были бы занесены фамилии тех, кто за истекший период времени отравлял себя алкоголем. С точки зрения статистической это были бы показательные таблицы, которые в случае надобности... Извините!

С этими словами он побежал к податному инспектору.

Бине спешил домой. Он соскучился по своему станку.

— Не худо было бы кого-нибудь послать, — заговорил Оме, — а то сходили бы вы сами...

— Да отстаньте вы от меня, — сказал податной инспектор, — ну чего вы боитесь?

— Успокойтесь! — вернувшись к своим друзьям, молвил аптекарь. — Бине уверил меня, что меры приняты. Ни одна искра не упадет. В насосах полно воды. Идемте спать.

— А меня и правда давно уже клонит ко сну, — сказала сладко зевавшая г-жа Оме. — Ну да это не беда, зато день мы провели чудесно.

Родольф, нежно глядя на Эмму, тихо повторил:

— О да, чудесно!

Все простились и разошлись по домам.

Два дня спустя в «Руанском светоче» появилась большая статья о выставке. В приливе вдохновения ее на другой же день после праздника написал Оме:

«Откуда все эти фестоны, гирлянды, цветы? Куда, подобно волнам бушующего моря, течет толпа, которую заливают потоками света жгучее солнце, иссушающее наши нивы?»

Затем он обрисовал положение крестьян.

Правительство, конечно, делает для них много, но все еще недостаточно! «Смелее! — взывал к нему фармацевт. — Необхо-

¹ Для этой цели (*лат.*).

дим целый ряд реформ — осуществим же их!» Дойдя до появления советника, он не забыл упомянуть «нашу воинственную милицию», «наших деревенских резвушек» и лысых стариков, с видом патриархов стоявших в толпе, — «этих обломков наших бессмертных фаланг, почувствовавших, как сильно забились у них сердца при мужественных звуках барабана». Перечисляя членов жюри, он одним из первых назвал себя, а в особом примечании напомнил, что это тот самый г-н Оме, фармацевт, который прислал в Агрономическое общество статью о сидре. Перейдя к раздаче наград, он в дифирамбических тонах описал радость лауреатов:

«Отец обнимал сына, брат — брата, супруг — супругу. Все с гордостью показывали свои скромные медали, и, разумеется, каждый, вернувшись домой к своей дорогой хозяйке, со слезами повесит медаль на стене своей смиренной хижины.

Около шести часов главные участники праздника встретились за пиршественным столом, накрытым на пастбище г-на Льежара. Обед прошел в исключительно дружественной атмосфере. Г-н Льевен провозгласил здравицу за монарха! Г-н Тюваш — за префекта! Г-н Дерозере — за земледелие! Г-н Оме — за брата и сестру: за искусство и промышленность! Г-н Леплише — за мелиорацию! Вечером блестящий фейерверк внезапно озарил воздушное пространство. То был настоящий калейдоскоп, оперная декорация; на одно мгновение наш тихий городок был как бы перенесен в сказочную обстановку «Тысячи и одной ночи».

Считаем своим долгом засвидетельствовать, что семейное торжество не было омрачено ни одним неприятным происшествием».

К этому г-н Оме прибавлял:

«Бросалось лишь в глаза блистательное отсутствие духовенства. По-видимому, в ризницах понимают прогресс по-своему. Вольному воля, господа Лойолы!»

IX

Прошло полтора месяца. Родольф не появлялся. Наконец однажды вечером он пришел.

На другой день после выставки он сказал себе:

«Устроим перерыв — иначе можно все испортить».

И в конце недели уехал на охоту. Вернувшись с охоты, он подумал, что уже поздно, а затем рассудил так:

«Ведь если она полюбила меня с первого дня, то разлука, наверное, усилила это чувство. Подождем еще немного».

И когда он вошел к ней в залу и увидел, что она побледнела, он убедился, что рассчитал правильно.

Эмма была одна. Вечерело. Муслиновые занавески на окнах сгущали сумрак; в зеркале, между зубчатых ветвей кораллового полипа, отражался блеск позолоты барометра, на который падал солнечный луч.

Родольф не сажился. Видно было, что Эмме стоит большого труда отвечать на его первые учтивые фразы.

— Я был занят,— сказал он.— Потом болел.

— Опасно? — воскликнула она.

— Да нет! — садясь рядом с ней, ответил Родольф.— Просто я решил больше к вам не приходить.

— Почему?

— Вы не догадываетесь?

Родольф опять посмотрел на нее, и таким страстным взором, что она вспыхнула и опустила голову.

— Эмма...— снова заговорил он.

— Милостивый государь! — слегка подавшись назад, сказала Эмма.

— Ах, теперь вы сами видите, как я был прав, что не хотел больше к вам приходить! — печально сказал Родольф.— Ваше имя беспрерывно звучит у меня в душе, оно невольно срывается с моих уст, а вы мне запрещаете произносить его! Госпожа Бовари!.. Так вас называют все!.. Да это и не ваше имя — это имя другого человека! Другого! — повторил он и закрыл лицо руками.— Да, я все время о вас вспоминаю!.. Думы о вас не дают мне покою! О, простите!.. Мы больше не увидимся... Прощайте!.. Я уезжаю далёко... так далёко, что больше вы обо мне не услышите!.. И тем не менее... сегодня что-то меня потянуло к вам! С небом не поборешься, против улыбки ангела не устоишь! Все прекрасное, чарующее, пленительное увлекает невольно!

Эмма впервые слышала такие слова, и ее самолюбие нежилось в них, словно в теплой ванне.

— Да, я не приходил,— продолжал он,— я не мог вас видеть, но зато я любовался всем, что вас окружает. Ночами... каждую ночь я вставал, шел сюда, смотрел на ваш дом, на крышу, блестящую при луне, на деревья, колыхавшиеся под вашим окном, на огонек вашего ночника, мерцавший во

мраке сквозь оконные стекла. А вы и не знали, что вон там, так близко и в то же время так далёко, несчастный страдалец...

Эмма повернулась к нему.

— Какой вы добрый! — дрогнувшим голосом проговорила она.

— Нет, я просто люблю вас — только и всего! А вы этого и не подозревали! Скажите же мне... одно слово! Одно лишь слово!

Родольф незаметно соскользнул с табурета на пол, но в это время в кухне слышались шаги, и он обратил внимание, что дверь не заперта.

— Умоляю вас, — сказал он, вставая, — исполните одно мое желание!

Ему хотелось осмотреть ее дом, знать, как она живет.

Госпожа Бовари решила, что ничего неудобного в этом нет, но, когда они оба встали, вошел Шарль.

— Здравствуйте, доктор, — сказал Родольф.

Лекарь, польщенный этим неожиданным для него титулом, наговорил кучу любезностей, а Родольф тем временем оправился от смущения.

— Ваша супруга жаловалась на здоровье... — начал было он.

Шарль перебил его: он в самом деле очень беспокоится за жену — у нее опять начались приступы удушья. Родольф спросил, не будет ли ей полезна верховая езда.

— Разумеется! Отлично, великолепно!.. Блестящая мысль! Непременно начни кататься.

Эмма на это возразила, что у нее нет лошади, Родольф предложил свою; она отказалась, он не настаивал. Потом в объяснение своего визита он сказал, что у его конюха, которому пускали кровь, головокружения еще не прошли.

— Я к вам заеду, — вызвался Бовари.

— Нет, нет, я пришлю его к вам. Мы приедем с ним вместе, зачем же вам беспокоиться?

— Прекрасно. Благодарю вас.

Когда супруги остались вдвоем, Шарль спросил Эмму:

— Почему ты отвергла предложение Буланже? Это так мило с его стороны!

Лицо Эммы приняло недовольное выражение; она придумала тысячу отговорок и в конце концов заявила, что «это может показаться странным».

— А, наплевать! — сказал Шарль и сделал пируэт. — Здоровье — прежде всего! Ты не права!

— Как же это я буду ездить верхом, когда у меня даже амазонки нет?

— Ну так закажи! — ответил Шарль.

Это ее убедило.

Когда костюм был сшит, Шарль написал Буланже, что жена согласна и что они рассчитывают на его любезность.

Ровно в двенадцать часов следующего дня у крыльца появился Родольф с двумя верховыми лошадьми. На одной из них было дамское седло оленьей кожи; розовые помпончики прикрывали ей уши.

Родольф надел мягкие сапоги, — он был уверен, что Эмма никогда таких не видала. В самом деле, когда он в бархатном фраке и белых триковых рейтузах взбежал на площадку лестницы, Эмма пришла в восторг от его вида. Она была уже готова и ждала.

Жюстен удрал из аптеки, чтобы поглядеть на Эмму; сам фармацевт — и тот соизволил выйти. Он обратился к Буланже с наставлениями:

— Будьте осторожны! Долго ли до беды? Лошади у вас не горячи?

Эмма услышала над головой стук: это, развлекая маленькую БERTУ, барабанила по стеклу Фелисите. Девочка послала матери воздушный поцелуй — та сделала ответный знак рукояткой хлыстика.

— Приятной прогулки! — крикнул г-н Оме. — Но только осторожней, осторожней!

И замахал им вслед газетой.

Вырвавшись на простор, лошадь Эммы тотчас понеслась галопом. Родольф скакал рядом. По временам Эмма и Родольф переговаривались. Слегка наклонив голову, высоко держа повод, а правую руку опустив, Эмма вся отдалась ритму галопа, подбрасывавшего ее в седле.

У подножья горы Родольф ослабил поводья; они пустили лошадей одновременно; на вершине лошади вдруг остановились, длинная голубая вуаль закрыла Эмме лицо.

Было самое начало октября. Над полями стоял туман. На горизонте, между очертаниями холмов, вился клочковатый пар — поднимался и таял. В прорывах облаков далеко-далеко виднелись освещенные солнцем крыши Ионвиля, сады, сбегавшие к реке, стены, дворы, колокольня. Эмма, щурясь, старалась отыскать свой дом, и никогда еще этот захудалый городишко не казался ей таким маленьким. С той высоты, на которой они находились, вся долина представлялась огромным молочно-

белым озером, испаряющимся в воздухе. Леса, уходившие ввысь, были похожи на черные скалы, а линия встававших из тумана высоких тополей образовывала как бы береговую полосу, колыхавшуюся от ветра.

Поодаль, на лужайке, среди елей, в теплом воздухе струился тусклый свет. Рыжеватая, как табачная пыль, земля приглушала шаги. Лошади, ступая, разбрасывали подковами упавшие шишки. Родольф и Эмма ехали по краю леса. Временами она отворачивалась, чтобы не встретиться с ним взглядом, и видела лишь бесконечные ряды еловых стволов, от которых у нее скоро стало рябить в глазах. Храпели лошади. Поскрипывали кожаные седла.

В ту самую минуту, когда они въезжали в лес, показалось солнце.

— Бог благословляет нас! — воскликнул Родольф.

— Вы так думаете? — спросила Эмма.

— Вперед! Вперед!

Он щелкнул языком. Лошади побежали.

За стремяна Эммы цеплялись высокие придорожные папоротники. Родольф, не останавливаясь, наклонялся и выдергивал их. Время от времени он, чтобы раздвинуть ветви, обгонял Эмму, и тогда она чувствовала, как его колено касается ее ноги. Небо разъяснилось. Листья деревьев были неподвижны. Родольф и Эмма проезжали просторные поляны, заросшие цветущим вереском. Эти лиловые ковры сменялись лесными дебрями, то серыми, то бурыми, то золотистыми, в зависимости от цвета листвы. Где-то под кустами слышался шорох крыльев, хрипло и нежно каркали вороны, взлетавшие на дубы.

Родольф и Эмма спешили. Он привязал лошадей. Она пошла вперед, между колеями, по замшелой дороге.

Длинное платье мешало ей, она подняла шлейф, и Родольф, идя сзади, видел между черным сукном платья и черным ботинком полоску тонкого белого чулка, которая, как ему казалось, заключала в себе частицу ее наготы.

Эмма остановилась.

— Я устала, — промолвила она.

— Ну еще немножко! — сказал Родольф. — Соберитесь с силами!

Пройдя шагов сто, она опять остановилась. Лицо ее, проглядывавшее сквозь прозрачную голубизну вуали, падавшей с ее мужской шляпы то на правое, то на левое бедро, точно плавало в лазури волн.

— Куда же мы идем?

Он не ответил. Она дышала прерывисто. Родольф посматривал вокруг и кусал себе усы.

Они вышли на широкую просеку, где была вырублена молодая поросль, сели на поваленное дерево, и Родольф заговорил о своей любви.

Для начала он не стал отпугивать ее комплиментами. Он был спокоен, серьезен, печален.

Эмма слушала его, опустив голову, и носком ботинка шевелила валявшиеся на земле щепки.

И все же, когда он спросил:

— Разве пути наши теперь не сошлись?

Она ответила:

— О нет! Вы сами знаете. Это невозможно.

Она встала и пошла вперед. Он взял ее за руку. Она остановилась, посмотрела на него долгим влюбленным взглядом увлажнившихся глаз и неожиданно быстро произнесла:

— Ах, не будем об этом говорить!.. Где наши лошади? По-едем обратно.

У него вырвался жест досады и гнева. Она повторила:

— Где наши лошади? Где наши лошади?

Родольф как-то странно усмехнулся, стиснул зубы, расставил руки и, глядя на Эмму в упор, двинулся к ней. Эмма вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, мне страшно! Мне неприятно! Едем! — лепетала она.

— Как хотите, — изменившись в лице, сказал Родольф.

Он опять стал почтительным, ласковым, робким. Она пода-ла ему руку. Они пошли назад.

— Что это с вами было? — заговорил он. — Из-за чего? Ума не приложу. Вы, очевидно, не так меня поняли? В моей душе вы как мадонна на пьедестале, вы занимаете в ней высокое, прочное и ничем не загрязненное место! Я не могу без вас жить! Не могу жить без ваших глаз, без вашего голоса, без ваших мыслей. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом!

Он протянул руку и обхватил ее стан. Она сделала слабую попытку высвободиться. Но он не отпускал ее и продолжал идти.

Вдруг они услышали, как лошади щиплют листья.

— Подождите! — сказал Родольф. — Побудем здесь еще! Останьтесь!

И, увлекая ее за собой, пошел берегом маленького, покры-того зеленою ряскою пруда. Увядавшие кувшинки, росшие среди

камышей, были неподвижны. Лягушки, слышав шаги людей, ступавших по траве, прыгали в воду.

— Что я, безумная, делаю? Что я делаю? — твердила Эмма. — Я не должна вас слушать.

— Почему?.. Эмма! Эмма!

— О Родольф! — медленно проговорила она и склонилась на его плечо.

Сукно ее платья зацепилось за бархат его фрака. Она запрокинула голову, от глубокого вздоха напряглась ее белая шея, по всему ее телу пробежала дрожь, и, пряча лицо, вся в слезах, она безвольно отдалась Родольфу.

Ложились вечерние тени. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь ветви, слепили ей глаза. Вокруг нее там и сям, на листьях и на земле, перебегали пятна света, — казалось, будто это колибри роняют на лету перья. Кругом было тихо. От деревьев веяло покоем. Эмма чувствовала, как опять у нее забилося сердце, как теплая волна крови прошла по ее телу. Вдруг где-то далеко за лесом, на другом холме, раздался невнятный протяжный крик, чей-то певучий голос, и она молча слушала, как он, словно музыка, сливался с замирающим трепетом ее возбужденных нервов. Родольф с сигарой во рту, орудуя перочинным ножом, чинил оборванный повод.

В Ионвиль они вернулись тою же дорогой. Они видели на грязи тянувшиеся рядом следы копыт своих лошадей, видели те же кусты, те же камни в траве. Ничто вокруг не изменилось. А между тем в самой Эмме произошла перемена, более для нее важная, чем если бы сдвинулись с места окрестные горы. Родольф время от времени наклонялся и целовал ей руку.

Верхом на лошади Эмма была сейчас обворожительна. В седле она держалась прямо, стан ее был гибок, согнутое колено лежало на гриве, лицо слегка покраснелось от воздуха и от закатного багрянца.

В Ионвиле она загарцевала по мостовой. На нее смотрели из окон.

За обедом муж нашел, что она хорошо выглядит. Когда же он спросил, довольна ли она прогулкой, Эмма как будто не слышала вопроса; она все так же сидела над тарелкой, облокотившись на стол, освещенный двумя свечами.

— Эмма! — сказал Шарль.

— Что?

— Знаешь, сегодня я заезжал к Александру. У него есть старая кобыла, очень неплохая, только вот колени облысели, — я уверен, что он отдаст ее за сто экю... Я решил сделать тебе

удовольствие и оставил ее за собой... я ее купил... — прибавил он. — Хорошо я сделал? Ну? Что же ты молчишь?

Она утвердительно качнула головой. Четверть часа спустя она спросила:

— Вечером ты куда-нибудь идешь?

— Да. А что?

— Просто так, милый, ничего!

Отделавшись от Шарля, она сейчас же заперлась у себя в комнате.

Сначала это было какое-то наваждение: она видела перед собой деревья, дороги, канавы, Родольфа, все еще чувствовала его объятия, слышала шелест листьев и шуршание камней.

Но, посмотрев в зеркало, она сама подивилась выражению своего лица. Прежде не было у нее таких больших, таких черных, таких глубоких глаз. Что-то неуловимое, разлитое во всем облике, преображало ее.

«У меня есть любовник! Любовник!» — повторяла она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зрелости. Значит, у нее будет теперь трепет счастья, радость любви, которую она уже перестала ждать. Перед ней открывалась область чудесного, где властвуют страсть, восторг, исступление. Лазоревая бесконечность окружала ее; мысль ее прозревала искрящиеся вершины чувства, а жизнь обыденная виднелась лишь где-то глубоко внизу, между высотами.

Ей припомнились героини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жен запел в ее памяти родными, завораживающими голосами. Теперь она сама вступала в круг этих вымыслов как его единственно живая часть и убеждалась, что отныне она тоже являет собою образ влюбленной женщины, который прежде возбуждал в ней такую зависть, убеждалась, что заветная мечта ее молодости сбывается. И еще она испытывала блаженство утоленной мести. Она так истомилась! Зато сейчас она торжествовала, и долго сдерживаемая страсть хлынула радостно бурлящим потоком. Эмма наслаждалась ею безудержно, безмятежно, бездумно.

Следующий день прошел в новых ласках. Родольф и Эмма дали друг другу клятву. Она поведала ему свои прежние горести. Он прерывал ее поцелуями, а она, глядя на него сквозь полуопущенные ресницы, просила еще раз назвать ее по имени и повторить, что он ее любит. Это было, как и накануне, в лесу, в пустом шалаше башмачника. Стены шалаша были соломенные, а крыша такая низкая, что приходилось все время

нагибаться. Они сидели друг против друга на ложе из сухих листьев.

С этого дня они стали писать друг другу каждый вечер. Эмма шла в самый конец сада, к реке, и засовывала свои письма в одну из трещин обрыва, Родольф приходил сюда за письмом и клал на его место свое, но оно всегда казалось Эмме слишком коротким.

Однажды Шарль уехал еще до рассвета, и Эмме захотелось повидаться с Родольфом сию же минуту. Можно было сбегать в Ла Юшет, пробыть там час и вернуться в Ионвиль, пока все еще спали. При одной этой мысли у нее захватило дух от страстного желания, и немного погодя она быстрыми шагами, не оглядываясь, уже шла лугом.

Занималась заря. Эмма, издали увидев два стрельчатых флюгера, черневших на фоне белеющего неба, догадалась, что это дом ее возлюбленного.

За фермой виднелся флигель, — по всей вероятности, помещик жил именно там. Эмма вошла туда так, словно стены сами раздвинулись при ее приближении. Длинная, без поворотов, лестница вела в коридор. Эмма отворила дверь и вдруг увидела в глубине комнаты спящего человека. Это был Родольф. Она вскрикнула.

— Это ты? Это ты? — повторял он. — Как тебе удалось?.. Смотри, у тебя мокрое платье!

— Я люблю тебя! — закидывая ему на шею руки, сказала она.

Эта смелая затея окончилась благополучно, и теперь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма второпях одевалась и на цыпочках спускалась по каменной лестнице к реке.

Если досок, по которым переходили коровы, на месте не оказывалось, то надо было идти вдоль реки, у самой садовой ограды. Берег был скользкий. Чтобы не упасть, Эмма цеплялась за увядшие левкой. Затем она шла напрямик по вспаханному полю, увязая, спотыкаясь, пачкая свою изящную обувь. Она боялась быков и через выгон бежала опрометью; косынку ее трепал ветер. К Родольфу она входила тяжело дыша, покрасневшая, и от нее веяло свежим ароматом молодости, зелени и вольного воздуха. Родольф обыкновенно еще спал. Вместе с ней в его комнату словно врывалось весеннее утро.

Желтые занавески на окнах смягчали густой золотистый свет, проникавший снаружи. Эмма шла ощупью, жмурясь, и

капли росы сверкали у нее в волосах венцом из топазов. Родольф, смеясь, привлекал ее и прижимал к груди.

Потом она обводила глазами его комнату, выдвигала ящики, причесывалась его гребенкой, смотрелась в его зеркальце для бритья. Часто она даже брала в рот длинный чубук трубки, лежавшей на ночном столике, среди кусочков лимона и сахара, возле графина с водой.

Не менее четверти часа уходило у них на прощание. Эмма, расставаясь, плакала; ей хотелось всегда быть с Родольфом. Какая-то неодолимая сила влекла ее к нему. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожиданно, он досадливо поморщился.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты нездоров? Скажи!

В конце концов он внушительным тоном заметил, что она забыла всякую осторожность и что эти посещения бросают на нее тень.

Х

С течением времени опасения Родольфа передались и ей. На первых порах она была упоена любовью и ни о чем другом не помышляла. Но теперь, когда эта любовь стала для нее жизненной необходимостью, она боялась утратить хотя бы частицу ее, хоть чем-нибудь ее потревожить. Возвращаясь от Родольфа, она пугливо озиралась, высматривая, нет ли какой-нибудь фигуры на горизонте, из какого окна ее могут увидеть. Она прислушивалась к шагам, к голосам, к стуку повозок и внезапно останавливалась, бледная, трепещущая, как листва тополей, колыхавшихся у нее над головой.

Однажды утром, идя домой, она неожиданно увидела длинное дуло карабина, наставленное как будто бы прямо на нее. Оно торчало из бочки, прятанной в траве на краю канавы. У Эммы подкашивались ноги от ужаса, но она все же продолжала идти вперед, как вдруг из бочки, точно чертик из коробочки, выскочил человек. Гетры на нем были застегнуты до самых колен, фуражку он надвинул на глаза. Губы у него дрожали, нос покраснел. Это капитан Бине охотился на дичь.

— Вам надо было меня окликнуть! — громко заговорил он. — Когда видишь ружье, непременно надо предупредить.

Так податной инспектор пытался объяснить напавший на него страх. Но дело было в том, что приказ префекта разрешал охоту на уток только с лодки, и, таким образом, блюсти-

тель законов г-н Бине сам же их и нарушал. Вот почему податному инспектору все время казалось, что идет полевой сторож. Но сознание опасности лишь усиливало удовольствие охоты, и, сидя в бочке, Бине блаженствовал и восхищался собственной изобретательностью.

Узнав Эмму, он почувствовал, что гора у него свалилась с плеч, и тотчас попытался завязать с ней разговор:

— А ведь нынче не жарко! Пощипывает!

Эмма ничего ему не ответила.

— Что это вы нынче спозаранку? — не унимался Бине.

— Так пришлось, — пролепетала она, — моя дочь у кормилицы — я ее навещала.

— Ах, вот как? Хорошее дело! Хорошее дело! А я в таком виде торчу здесь с самой зари. Но только погода до того скверная, что если дичь не пролетит у вас под самым...

— Всего доброго, господин Бине! — повертываясь к нему спиной, прервала его Эмма.

— Будьте здоровы, сударыня! — сухо отозвался он.

И опять полез в бочку.

Эмма пожалела, что так резко оборвала податного инспектора. Теперь он непременно начнет строить самые невыгодные для нее предположения. История с кормилицей была придумана неудачно: весь город знает, что уже год, как родители взяли Берту к себе. Да и потом, здесь поблизости нет никакого жилья. Эта дорога ведет только в Ла Юшет. Значит, Бине догадался, откуда она идет, и, уж конечно, молчать не станет — всем раззвонит! До самого вечера она ломала себе голову, придумывая, как бы ей получше вывернуться, и перед глазами у нее все стоял этот болван с ягдташем.

После обеда Шарль, видя, что жена чем-то расстроена, предложил ей пойти развлечься к фармацевту, и первый, кого она увидела в аптеке, был все тот же инспектор! Он стоял перед прилавком так, что на него падал свет от красного шара, и говорил:

— Дайте мне, пожалуйста, пол-унции купороса.

— Жюстен, принеси-ка нам сюда серной кислоты! — крикнул аптекарь и обратился к Эмме, которая хотела подняться к г-же Оме: — Нет, нет, побудьте здесь, не беспокойтесь, она сейчас сама к вам сойдет. Погрейтесь пока у печки... Вы уж меня извините... Здравствуйте, доктор!.. (Фармацевту очень нравилось называть Шарля доктором, точно это слово, обращенное к другому, бросало на него самого отблеск тор-



Госпожа Бовари

жественности, какую он, Оме, в него вкладывал.) Смотри, не опрокинь ступки! Принеси стулья из зальцы — ты же знаешь, что кресла в гостиной трогать нельзя.

С этими словами Оме выскочил из-за прилавка, чтобы поставить кресло на место, но тут Бине спросил у него полунции сахарной кислоты.

— Сахарной кислоты? — презрительно переспросил аптекарь. — Я такой не знаю, понятия не имею! Может быть, вы хотите щавелевой кислоты? Щавелевой, да?

Бине пояснил, что ему нужно едкое вещество, чтобы свеести ржавчину с охотничьего снаряжения. Эмма вздрогнула.

— Да, в самом деле, погода вам не благоприятствует, — поспешил поддержать разговор фармацевт, — уж очень сыро.

— А вот некоторые сырости не боятся, — с лукавым видом заметил инспектор.

Эмме стало нечем дышать.

— Дайте мне еще...

«Он никогда отсюда не уйдет!» — подумала она.

— ...пол-унции канифоли и скипидару, четыре унции желтого воску и еще, пожалуйста, полторы унции жженой кости — я этим чищу лаковые ремни.

Аптекарь начал резать воск. В это время вошла г-жа Оме с Ирмой на руках, рядом с ней шел Наполеон, а сзади — Аталия. Г-жа Оме села на обитую бархатом скамейку у окна, мальчуган вскарабкался на табурет, а его старшая сестра подбежала к папочке и стала вертеться вокруг коробочки с ююбой. Аптекарь наливал жидкости через воронки, закупоривал склянки, наклеивал этикетки, завязывал свертки. Все кругом него молчали. Время от времени слышалось только звяканье разновесок да шепот фармацевта, который наставлял своего ученика.

— Ну как ваша малышка? — вдруг спросила г-жа Оме.

— Тише! — прикрикнул на нее г-н Оме, заноса в черновую тетрадь какие-то цифры.

— Почему вы ее не взяли с собой? — снова, но уже вполголоса, обратилась к Эмме с вопросом г-жа Оме.

— Тсс! Тсс! — показывая пальцем на аптекаря, прошептала Эмма.

Но Бине углубился в чтение счета и, по-видимому, ничего не слышал. Наконец он ушел. Почувствовав облегчение, Эмма испустила глубокий вздох.

— Как вы тяжело дышите! — заметила г-жа Оме.

— Здесь у вас немного душно, — ответила Эмма.

На другой же день Родольф и Эмма решили, что их свидания должны быть обставлены по-иному. Эмма предложила подкупить каким-нибудь подарком свою служанку. Родольф, однако, считал, что самое благое дело — найти в Ионвиле укромный домик. И он обещал что-нибудь в этом роде подыскать.

Всю зиму он раза три-четыре в неделю глухою ночью приходил к ней в сад. Шарль думал, что ключ от калитки потерян; на самом же деле Эмма передала его Родольфу.

В виде условного знака Родольф бросал в окно горсть песка. Эмма мгновенно вскакивала с постели. Но иногда приходилось ждать, так как у Шарля была страсть подсесть к камельку и болтать без конца. Эмма сгорала от нетерпения; она готова была уничтожить своим взглядом Шарля. Наконец она принималась за свой ночной туалет; потом брала книгу и преспокойно усаживалась читать, делая вид, что увлечена чтением. Но в это время слышался голос Шарля, уже успевшего лечь в постель, — он звал ее спать:

— Иди, иди, Эмма, пора!

— Сейчас иду! — отзывалась она.

Свет мешал ему, он поворачивался к стене и засыпал. Тогда Эмма, полуодетая, дрожащая, улыбающаяся, убегала.

У Родольфа был широкий плащ. Он закутывал ее и, обхватив за талию, молча уводил в глубину сада.

Это происходило в беседке, на той же самой скамейке с трухлявыми столбиками, на которой летними вечерами сидел Леон и таким влюбленным взглядом смотрел на Эмму. Теперь она уже совсем забыла его!

Сквозь безлистые ветви жасмина сверкали звезды. Сзади шумела река, по временам слышался треск сухих стеблей камыша. Тьма кое-где сгущалась; порою по этим скоплениям мрака пробегал мгновенный трепет, они выпрямлялись, потом склонялись, и тогда Эмме и Родольфу чудилось, будто на них накатывают огромные черные волны и вот сейчас захлестнут их. От ночного холода они еще тесней прижимались друг к другу; дыхание у них становилось как будто бы учащенное; глаза, которых почти не было видно, в темноте казались больше, а каждое слово, шепотом произнесенное в тиши, падало в душу, хрустально звеня и будя бесконечные отголоски.

В ненастные ночи они укрывались между каретником и конюшней, во флигельке, где Шарль принимал больных. В кухонный подсвечник Эмма вставляла свечу, которая у нее была

припрятана за книгами, и зажигала ее. Родольф располагался как у себя дома. Его смешил книжный шкаф, письменный стол, общий вид комнаты, и он то и дело подшучивал над Шарлем, чем приводил Эмму в смущение. Ей хотелось, чтобы он был серьезнее, даже трагичнее, особенно в тот раз, когда ей вдруг почудилось, что кто-то идет по дорожке к флигелю.

— Сюда идут! — сказала она.

Он потушил свет.

— У тебя есть пистолеты?

— Зачем?

— Ну, чтобы... чтобы защищаться, — пояснила Эмма.

— От твоего мужа? Ах он бедняга!

И Родольф сделал движение, означавшее: «Да я из него одним щелчком вышибу дух!»

В этой его храбрости, поразившей Эмму, было, однако, что-то неделикатное, наивно-грубое, такое, отчего ее невольно покорило.

Родольф потом долго думал над этим разговором о пистолетах. Если она говорила серьезно, рассуждал он, то это смешно и даже противно. Ведь он не испытывал так называемых мук ревности и не имел оснований ненавидеть добродушного лекаря, — вот почему, когда Эмма, заговорив о своих отношениях с Шарлем, дала Родольфу торжественную клятву, он расценил это как бестактность.

К тому же Эмма становилась чересчур сентиментальной. С ней непременно надо было обмениваться миниатюрами, срезать пряди волос, а теперь она еще требовала, чтобы он подарил ей кольцо, настоящее обручальное кольцо, в знак любви до гроба. Ей доставляло удовольствие говорить о вечернем звоне, о «голосах природы», потом она заводила разговор о своей и о его матери. Родольф потерял ее двадцать лет тому назад. Это не мешало Эмме сюсюкать с ним по этому поводу так, точно Родольф был мальчик-сиротка. Иногда она даже изрекала, глядя на луну:

— Я убеждена, что они обе благословляют оттуда нашу любовь.

Но она была так хороша собой! Так редко попадалось на его пути столь простодушное существо! Ему, ветренику, ее чистая любовь была внове; непривычная для него, она льстила его самолюбию и будила в нем чувственность. Его мещанский здравый смысл презирал восторженность Эммы, однако в глубине души эта восторженность казалась ему очаровательной именно потому, что относилась к нему. Уверившись в любви

Эммы, он перестал стесняться, его обращение с ней неприметным образом изменилось.

Он уже не говорил ей, как прежде, тех нежных слов, что трогали ее до слез, не расточал ей тех бурных ласк, что доводили ее до безумия. Великая любовь, в которую она была погружена, высыхала, точно река, и уже видна была тина. Эмма не хотела этому верить, она стала еще нежнее с Родольфом, а он все менее тщательно скрывал свое равнодушие.

Она сама не знала, жалеет ли она, что уступила тогда его домогательствам, или же, напротив, ее все сильнее тянет к нему. Унизительное сознание своей слабыхарактерности вызывало в ней злобу, которую умеряло только сладострастие. Это была не привязанность, это был как бы непрерывный соблазн. Родольф поработал ее. Эмма теперь уже почти боялась его.

На поверхности все, однако, было спокойнее, чем когда-либо; Родольфу удалось ввести этот роман в желаемое русло, и полгода спустя, когда пришла весна, они уже представляли собой что-то вроде супругов, которые поддерживают в домашнем очаге ровное пламя.

Весной обыкновенно папаша Руо в память о своей сросшейся ноге посылал Шарлю и Эмме индейку. К подарку неизменно прилагалось письмо. На сей раз Эмма, перерезав веревочку, которой оно было привязано к корзине, прочла следующее:

«Дорогие мои дети!

Надеюсь, вы оба здоровы, и еще я надеюсь, что эта моя индейка окажется не хуже прежних; осмеливаюсь утверждать, что она будет даже понежнее, да и пожирнее. А на будущий год я для разнообразия пришлю вам индюка или, если хотите, каплуна, а вы мне верните, пожалуйста, мою корзину вместе с теми двумя. У меня случилась беда: ночью поднялся сильный ветер, сорвал с сарая крышу и забросил на деревья. Урожай тоже не так чтобы уж очень знатный. Одним словом, я не могу сказать, когда сумею вас проведать. Трудно мне стало выбираться из дому, — ведь я теперь совсем один, милая моя Эмма!»

В этом месте между строчками был оставлен пробел — бедный старик словно выронил перо и погрузился в раздумье.

«О себе скажу, что я здоров, вот только схватил на днях насморк, когда ездил на ярмарку в Ивето нанимать пастуха, а который был у меня раньше, того я прогнал: уж больно стал привередлив. Мученье с этими разбойниками! Вдобавок он еще нечист на руку.

От одного разносчика, который зимой побывал в ваших краях и вырвал там себе зуб, я слышал, что Бовари по-прежнему трудится не покладая рук. Это меня не удивило. Разносчик показал мне свою десну. Мы с ним выпили кофе. Я спросил, видел ли он тебя, Эмма: он сказал, что нет, зато он видел двух лошадей в вашей конюшне,— стало быть, дела у вас идут. Ну и отлично, милые детки, давай вам бог!

Мне очень грустно, что я еще не познакомился с моей любимой внучкой Бертой Бовари. Я посадил для нее в саду, как раз напротив твоей комнаты, Эмма, сливу и никому не позволяю ее трогать. Потом я наварю сливового варенья и спрячу в шкаф, а когда внучка ко мне приедет, то будет его кушать, сколько захочет.

Прощайте, славные мои детки! Целую тебя, дочурка, и Вас, дорогой зять, а малышку — в обе щечки.

Всего, всего вам хорошего!

Ваш любящий отец
Теодор Руо».

Эмма долго держала в руках этот листок грубой бумаги. В письме отца орфографические ошибки цеплялись одна за другую, но сквозь них до внутреннего слуха Эммы долетало невнятное биенье размягченного сердца, как сквозь ветви кустарника до нас доходит квохтанье прячущейся наседки. Старик Руо присыпал чернила каминной золой, и когда Эмма заметила, что на ее платье село немного серой пыли, она до осязаемости ясно представила себе, как отец тянется за щипцами. Давно-давно не сидела она с ним на скамеечке у камина и не помещивала потрескивающий дрок палкой, конец которой загорался от жаркого огня! Вспомнились ей светлые летние вечера. Идешь, бывало, мимо жеребят, а они ржут и резвятся, резвятся!.. Под ее окном стоял улей, и пчелы, кружась в лучах солнца, золотыми шариками ударялись об оконное стекло, а потом тут же отскакивали. Какое это было счастливое время! Беззаботное! Полное надежд! Как много было тогда иллюзий! А теперь не осталось ни одной. Эмма растратила их во время своих душевных бурь, растрачивала постепенно: в девичестве, в браке, в любви, на протяжении

всей своей жизни, точно путешественник, оставляющий частицу своего состояния в каждой гостинице.

Но кто повинен в ее несчастье? Откуда налетел этот страшный, все вырвавший с корнем ураган? Эмма подняла голову и, словно высматривая источник своих страданий, обвела глазами комнату.

На фарфоровых вещах, которыми была заставлена этажерка, переливчато блестел солнечный луч; в камине горели дрова; под туфлями прощупывался мягкий ковер; день был солнечный, воздух — теплый, слышался звонкий смех ее ребенка.

Девочка каталась по лужайке, по свежескошенной траве. Сейчас она лежала плашмя на копне. Няня придерживала ее за платице. Тут же рядом сгребал сено граблями Лестибудуа, и всякий раз, как он приближался, Берта наклонялась и всплескивала ручонками.

— Приведите ее ко мне! — крикнула мать и, раскрыв объятия, бросилась ей навстречу. — Как я люблю тебя, ненаглядная моя девочка! Как я тебя люблю!

Заметив, что у нее не совсем чистые уши, Эмма позволила, велела принести горячей воды, вымыла Берту, переменила ей белье, чулочки, башмачки, забросала няню вопросами о ее здоровье, как будто она сама только что вернулась из далекого путешествия, наконец со слезами на глазах еще раз поцеловала дочку и с рук на руки передала няне, оторопевшей от подобного прилива нежности.

Вечером Родольф нашел, что Эмма как-то особенно серьезна.

«Пройдет, — решил он. — Так просто, каприз».

И пропустил три свидания подряд. Когда же наконец пришел, она встретила его холодно, почти враждебно.

«Меня этим не возьмешь, моя деточка...» — сказал себе Родольф.

Он делал вид, что не замечает ни ее тяжелых вздохов, ни того, как она комкает в руке платок.

Вот когда Эмма раскаялась!

Она даже призадумалась: за что она так ненавидит Шарля, и не лучше ли все-таки попытаться полюбить его? Но Шарль не оценил этого возврата бывшего чувства, ее жертвенный порыв разбился, это повергло ее в полное смятение, а тут еще подвернулся аптекарь и нечаянно подлил масла в огонь.

Он как раз недавно прочитал хвалебную статью о новом методе лечения искривления стопы, а так как он был поборником прогресса, то у него сейчас же родилась патриотическая мысль: дабы «поддержать честь города», необходимо начать производить в Ионвиле операции стрёфоподии.

— Ну чем мы рискуем? — говорил он Эмме. — Подумайте (тут он принимался перебирать по пальцам выгоды этого предприятия): успех почти обеспечен, больной получает облегчение и избавляется от уродства, популярность хирурга быстро растёт. Почему бы, например, вашему супругу не оказать помощь бедняге Ипполиту из «Золотого льва»? Примите во внимание, что он непременно станет рассказывать о том, как его вылечили, всем приезжающим, а кроме того, — понизив голос и оглядевшись по сторонам, добавлял Оме, — кто мне помешает послать об этом заметочку в газету? Господи боже мой! Статья нарасхват... всюду разговоры... все это растёт, как снежный ком! И как знать? Как знать?..

Что же, может быть, Шарля и впрямь ждёт удача? У Эммы нет ни малейших оснований сомневаться в его способностях. А какое удовлетворение получит она, если под ее влиянием он решится на такой шаг, который даст ему славу и деньги! Она ведь как раз ищет для себя опору, более прочную, чем любовь.

Шарль сдался на уговоры аптекаря и собственной супруги. Он выписал из Руана книгу доктора Дюваля и теперь каждый вечер, сжав голову руками, углублялся в чтение.

Пока он изучал эквинусы, варусы и вальгусы, то есть стрёфокатоподию, стрёфендоподию и стрёфэкзоподию (проще говоря, различные случаи искривления стопы: книзу, внутрь и наружу), а также стрёфиподию и стрёфаноподию (иными словами, выверт книзу и загиб кверху), г-н Оме всячески старался убедить трактирного слугу сделать себе операцию:

— Ну, может, будет больновато, только и всего. Просто-напросто укол, вроде легонького кровопускания. Удалить мозоль, и то иногда бывает больнее.

Ипполит тарашил свои глупые глаза и все раздумывал.

— Мне-то ведь безразлично! — продолжал фармацевт. — Для тебя стараемся! Только из человеколюбия! Я, друг мой, хочу, чтобы ты избавился от уродующего тебя прихрамывания, сопровождающегося колебанием поясничной области, а

ведь, что ты там ни говори, это очень тебе мешает исполнять твои непосредственные обязанности.

Оме расписывал ему, насколько он станет живее, подвижнее, даже намекал, что он будет пользоваться большим успехом у женского пола, и тогда на лице у конюха появлялась сонная улыбка. Затем аптекарь пытался подействовать на его самолюбие:

— Какой же ты после этого мужчина, черт бы тебя побрал! А что, если б тебя призвали на военную службу, что, если б тебе пришлось сражаться под знаменами?.. Эх, Ипполит!

И, заявив, что ему не понятно такое упрямство, такое безрассудное нежелание воспользоваться благодеяниями науки, удалялся.

В конце концов несчастный Ипполит уступил, ибо против него образовался целый заговор. Бине, который никогда прежде не вмешивался в чужие дела, г-жа Лефрансуа, Артемиза, соседи, даже сам мэр, г-н Тюваш,— все к нему приставали, все его убеждали, стыдили, однако сломил его упорство довод, что «это ничего ему не будет стоить». Бовари взял на свой счет даже покупку прибора для операции. Идея этого широкого жеста принадлежала Эмме, а Шарль согласился, подумав при этом, что жена его ангел.

По заказу лекаря, слушавшегося советов фармацевта, столяр с помощью слесаря в конце концов смастерил нечто вроде ящика фунтов на восемь весом, причем они троекратно переделывали этот прибор и не пожалели на него ни железа, ни дерева, ни жести, ни кожи, ни шурупов, ни гаек.

Но чтобы решить, какую связку перерезать, надо было сначала выяснить, каким именно видом искривления стопы страдает Ипполит.

На одной ноге у него стопа составляла почти прямую линию с голенью; в то же время она была вывернута и внутрь — следовательно, это был эквинус, осложненный небольшим варусом, или же слабый варус в сочетании с ярко выраженным эквинусом. Но на этом своем эквинусе, шириной, в самом деле, с лошадиное копыто, загрубелом, сухожилом, длиннопалом, с черными ногтями, похожими на гвозди от подковы, наш стрефопод день-деньской бегал быстрее лани. Вечно он, выбрасывая свою кривую подпорку, прыгал на площади вокруг повозок. Создавалось впечатление, что больная нога у него даже сильнее здоровой. От постоянного упражнения у нее точно появились душевные качества — терпение и настойчивость, и,

исполняя какую-нибудь особенно тяжелую работу, Ипполит преимущественно ступал на нее.

Лекарь отказался делать две операции одновременно, — он и так уж дрожал от страха, что нечаянно заденет какую-нибудь ему не известную важную область, — он решил сначала разрезать ахиллесово сухожилие, то есть покончить с эквинусом, и только потом, чтобы устранить и варус, взяться за переднюю берцовую мышцу.

Ни у Амбруаза Паре, который впервые после Цельса, по прошествии пятнадцати столетий, осуществил непосредственную перевязку артерии; ни у Дюпюитрена, которому предстояло вскрыть нарыв внутри головного мозга; ни у Жансуля перед первой операцией верхней челюсти так не билось сердце, так не дрожала рука, так не было напряжено внимание, как у г-на Бовари, когда он с тенотомом в руке приблизился к Ипполиту. Как в настоящей больнице, рядом, на столе, лежала куча корпии, вощенных ниток и великое множество бинтов, целая пирамида бинтов, все бинты, какие только нашлись у аптекаря. Все это еще с утра приготовил г-н Оме, — ему хотелось не только потрясти публику, но и пустить пыль в глаза самому себе. Шарль проткнул кожу; послышался сухой треск. Связка была перерезана, операция кончилась. Ипполит не мог прийти в себя от изумления; он наклонился и стал целовать руку г-ну Бовари.

— Ну полно, полно! — сказал аптекарь. — У тебя еще будет время выразить признательность своему благодетелю!

Он вышел рассказать об исходе операции пяти-шести любопытным, которые, вообразив, что вот-вот появится Ипполит и пройдет перед ними, уже не хромая, стояли во дворе. Шарль пристегнул больного к механическому приспособлению и пошел домой. На пороге его встретила взволнованная Эмма. Она бросилась ему на шею. Оба сели обедать. Шарль ел много, а за десертом даже попросил налить ему кофе, тогда как обыкновенно он позволял себе эту роскошь только по воскресеньям, если приходили гости.

Вечер прошел чудесно; супруги оживленно беседовали, сообщая строили планы. Разговор шел об их будущем благосостоянии, о том, что нового заведут они в своем хозяйстве. Шарль рисовал себе такую картину: больные к нему все идут, доходы его все растут, по-прежнему любящая жена создает ему уют. Эмма между тем испытывала блаженство от нового, освежающего чувства, которое было и здоровее и чище прежнего оттого, что в ней наконец шевельнулось нечто похожее

на нежность к этому бедному малому, так горячо любившему ее. Она вспомнила о Родольфе, но взгляд ее тотчас же обратился к Шарлю, и она с удивлением заметила, что у него довольно красивые зубы.

Шарль и Эмма были уже в постели, когда, не слушая кухарку, к ним в спальню влетел с только что исписанным листком бумаги в руках г-н Оме. Это была рекламная статья, предназначенная фармацевтом для «Руанского светоча». Он принес ее показать.

— Прочтите сами,— сказал Бовари.

Аптекарь начал читать:

— «Несмотря на сеть предрассудков, которая все еще опутывает часть Европы, свет начал проникать и в нашу глухую провинцию. Так, например, в прошедший вторник наш маленький городок Ионвиль оказался ареною хирургического опыта, который в то же время является актом высшего человеколюбия. Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих врачей...»

— Ну, это уж чересчур! Это уж чересчур! — задыхаясь от волнения, проговорил Шарль.

— Да нет, что вы, нисколько!.. «...оперировал искривление стопы...» Я нарочно не употребил научного термина,— сами понимаете: газета... Пожалуй, не все поймут, а надо, чтобы массы...

— Вы правы,— сказал Шарль.— Продолжайте.

— Я перечту всю фразу,— сказал фармацевт: — «Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих врачей, оперировал искривление стопы некоему Ипполиту Тотену, который вот уже двадцать пять лет исполняет обязанности конюха в трактире «Золотой лев», что на Оружейной площади, содержательницей коего является вдова г-жа Лефрансуа. Новизна опыта и участие к больному вызвали такое скопление народа, что у входа в заведение образовалась форменная давка. Сама операция совершилась словно по волшебству — выступило лишь несколько капель крови, как бы для того, чтобы возвестить, что усилия врачебного искусства восторжествовали над непокорной связкой. Удивительно, что больной (мы это утверждаем *de visu*¹) нисколько не жаловался на боль. Его состояние пока что не внушает ни малейших опасений. Все говорит о том, что выздоровление пойдет быстро, и, кто знает, быть может, на ближайшем же деревенском празднике мы увидим,

¹ В качестве очевидца (*лат.*).

как славный наш Ипполит вместе с другими добрыми молодцами принимает участие в вакхических плясках, доказывая своим воодушевлением и своими прыжками, что он вполне здоров? Итак, слава нашим великодушным ученым! Слава неутомимым труженикам, которые не спят ночей для того, чтобы род человеческий стал прекраснее и здоровее! Слава! Трижды слава! Теперь уже можно сказать с уверенностью, что прозреют слепые и бодро зашагают хромые! Что фанатизм некогда сулил только избранным, то наука ныне дарует всем! Мы будем держать наших читателей в курсе последующих стадий этого замечательного лечения».

Однако пять дней спустя к Бовари прибежала перепуганная тетушка Лефрансуа.

— Помогите! Он умирает!..— кричала она.— Прямо не знаю, что делать!

Шарль кинулся в «Золотой лев»; вслед за ним фармацевт, видя, что он без шляпы бежит через площадь, бросил аптеку. Весь красный от волнения, с трудом переводя дух, г-н Оме расспрашивал всех, кто попадался ему на трактирной лестнице:

— Что такое с нашим любопытным стрефоподом?

А стрефопод тем временем извивался в страшных судорогах, и механический прибор, в который была зажата его нога, казалось, мог проломить стену — с такой силой он об нее ударялся.

Лекарь с величайшей осторожностью, чтобы не изменить положения конечности, снял с нее ящик — и ему представилось ужасающее зрелище. Стопа вся заплывла опухолью, кожа натянулась до того, что могла, того и гляди, лопнуть, все кругом было в кровоподтеках от знаменитого прибора. Ипполит давно жаловался, что ему больно, но этому не придавали значения. Теперь уже невозможно было отрицать, что Ипполит имел для этого некоторые основания, и на несколько часов его ногу оставили в покое. Но едва лишь отек немного опал, оба ученых мужа нашли, что пора вновь поместить ногу в аппарат и, чтобы дело пошло скорее, как можно крепче его завинтить. Наконец через три дня Ипполит не выдержал, прибор снова пришлось снять, и результат получился сверхнеожиданный. Синеватая опухоль распространилась и на голень, а на опухоли местами образовались нарывчики, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало нешуточный оборот. Ипполит затосковал, и, чтобы у него было хоть какое-нибудь развлечение, тетушка Лефрансуа поместила его в зальцу около кухни.

Но податной инспектор, который там ежедневно обедал, взбунтовался против такого соседства. Тогда Ипполита перевели в бильярдную.

Бледный, обросший, с глубоко запавшими глазами, он лежал под толстыми одеялами, беспрерывно стонал и лишь изредка поворачивал потную голову на грязной, засиженной мухами подушке. Г-жа Бовари приходила его проводить. Она приносила ему чистые тряпки для припарок, утешала его, ободряла. Впрочем, у него не было недостатка в обществе, особенно в базарные дни, когда крестьяне толпились тут же, гоняли бильярдные шары, орудовали киями, курили, пили, пели, галдели.

— Как дела? — хлопая больного по плечу, говорили они. — Вид-то у тебя неважный! Ну да сам виноват. Тебе нужно было вот то-то и то-то.

Они рассказывали ему целые истории, как люди излечивались другими средствами, и в утешение прибавляли:

— Больно ты мнительный! А ну, вставай! Развалился тут, как барин! У, притворщик! А уж запашок от тебя!

В самом деле, гангрена поднималась все выше и выше. Бовари чуть сам от этого не заболел. Он прибегал к больному каждый час, каждую минуту. Ипполит смотрел на него глазами, полными ужаса, и, всхлипывая, бормотал:

— Когда же я выздоровлю?.. Ах, спасите меня!.. Что я за несчастный! Что я за несчастный!

Но лекарь, всякий раз рекомендуя ему диету, уходил.

— Не слушай ты его, сынок, — говорила тетушка Лефрансуа. — Довольно ты от них натерпелся! Ведь так ты и ног не потянешь. На, покушай.

И она предлагала ему то тарелочку крепкого бульона, то кусочек жареного мяса, то кусочек сала, а иной раз даже рюмку водки, однако больной не решался поднести ее ко рту.

Весть о том, что Ипполиту стало хуже, дошла до аббата Бурнизьена, и он пришел навестить больного. Прежде всего он посочувствовал ему, но тут же прибавил, что свои страдания Ипполит должен переносить с радостью, ибо такова воля божья, и что надо теперь же, не откладывая, примириться с небом.

— А то ведь ты иногда ленился исполнять свой долг, — отеческим тоном говорил священник. — Ты редко посещал храм божий. Сколько лет ты не причащался святых таин? Я понимаю, что от мыслей о спасении души тебя отвлекали дела, суета мирская. А теперь настала пора и о душе подумать. Только ты не отчаивайся: я знал великих грешников, и

все же они, готовясь предстать перед господом (тебе-то еще до этого далеко, я знаю, знаю), взывали к его милосердию и, без сомнения, умирали просветленными. Будем надеяться, что и ты подашь благой пример! Отчего бы тебе на всякий случай не читать утром и вечером «Богородице, дево, радуйся» и «Отче наш, иже еси на небесех»? Начни-ка! Ради меня! Сделай мне такое одолжение! Что тебе стоит?.. Обещаешь?

Бедный малый обещал. Священник стал ходить к нему каждый день. Он болтал с трактирщицей, рассказывал ей разные истории, подъезжал к ней с шуточками и прибауточками, смысла которых Ипполит не понимал. Но при первом удобном случае аббат, придав своему лицу надлежащее выражение, заводил разговор с Ипполитом на религиозные темы.

Его рвение имело успех: вскоре стрефопод дал обет, если только выздоровеет, сходить на богомолье в Бон-Секур. Аббат Бурнизьен сказал, что это не помешает, — кашу маслом, дескать, не испортишь. «А риска никакого».

Аптекаря возмущали эти, как он выражался, «поповские штучки». Он считал, что Ипполиту они вредны.

— Оставьте его в покое! Оставьте его в покое! — твердил он г-же Лефрансуа. — Вы ему только настроение портите своим мистицизмом!

Но добрая женщина не слушала его, — ведь он же тут был «главным зачинщиком»! Из духа противоречия она даже повесила над изголовьем больного чашу со святой водой и ветку букса.

Тем не менее религия оказалась такой же бессильной, как и хирургия, — неумолимый процесс заражения крови поднимался к животу. Какими только снадобьями ни пичкали Ипполита, сколько ни ставили ему припарок, разложение тканей шло полным ходом, и когда, наконец, тетушка Лефрансуа, видя, что никакие средства не помогают, спросила Шарля, не послать ли в Невшатель за местной знаменитостью, г-ном Каниве, то ему уже ничего иного не оставалось, как утвердительно кивнуть головой.

Пятидесятилетний доктор медицины, преуспевающий, самоуверенный, не счел нужным стесняться и при виде ноги, тронутой разложением до самого колена, презрительно рассмеялся. Потом он безапелляционным тоном заявил, что ногу необходимо отрезать, пошел к фармацевту и там начал ругательски ругать тех ослов, которые довели бедного малого до такого состояния. Дергая г-на Оме за пуговицу сюртука, он орал на всю аптеку:

— Вот они, парижские-то новшества! Вот они, выдумки столичных господ! Это вроде лечения косоглазия, или хлороформа, или удаления камней из мочевого пузыря. Правительству давно бы надо запретить эти безобразия! А они все мудрят, они пичкают больных лекарствами, совершенно не думая о последствиях. Нам, конечно, с ними не тягаться. Мы — не ученые, не франты, не краснобаи; мы — практики, лечащие врачи, нам в голову не придет оперировать человека, когда он здоровехонек! Выпрямлять искривление стопы! Да разве можно выпрямить искривление стопы? Это все равно что исправить горбатого!

Аптекарю такие речи не доставляли удовольствия, но свое замешательство он маскировал льстивой улыбкой: дело в том, что рецепты г-на Каниве доходили и до Ионвиля, и с ним надо было быть полюбезнее. Вот почему он не выступил на защиту Бовари и ни разу даже не возразил доктору, — он пожертвовал своим достоинством ради более важных деловых интересов.

Ампутация, которую должен был сделать доктор Каниве, в жизни города явилась событием значительным. В этот день обыватели, все как один, встали рано, и на Большой улице, хотя она была полна народа, царила зловещая тишина, как перед смертной казнью. У бакалейщика только и разговору было что о болезни Ипполита; во всех лавках торговля прекратилась; жена мэра г-жа Тюваш не отходила от окошка, — ей безумно хотелось посмотреть, как проедет мимо хирург.

Он ехал в собственном кабриолете и сам правил лошадыю. На правую рессору так долго давил груз его мощного тела, что она в конце концов ослабла, и оттого экипаж всегда немного кренился набок. На подушке, рядом с доктором, стоял обтянутый красным сафьяном поместительный ящик с тремя внушительно блестевшими медными замками.

Доктор налетел на «Золотой лев», как ураган, еще в сенях зычным голосом велел распрячь его лошадь, а затем пошел в конюшню поглядеть, не мало ли задали ей овса. Надо заметить, что, приезжая к больным, он прежде всего проявлял заботу о своей лошади и о своем кабриолете. По этому поводу даже говорили: «Господин Каниве — оригинал!» Но за это несокрушимое спокойствие его только еще больше уважали. Если бы вымерла вселенная, вся до последнего человека, и тогда не изменил бы он самой пустячной своей привычке.

Явился Оме.

— Я рассчитываю на вас,— сказал доктор.— Вы готовы? Ну так за дело!

Но аптекарь, краснея, признался, что он человек чересчур впечатлительный и потому присутствовать при такой операции не может.

— Когда, понимаете ли, являешься простым зрителем, то это слишком сильно действует на воображение,— пояснил он.— Да и нервная система у меня в таком...

— А, будет вам! — прервал его Каниве.— По-моему, вы, наоборот, склонны к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет. Вы, господа фармацевты, вечно копошитесь в своей кухне, и с течением времени у вас даже темперамент меняется. Посмотрите-ка на меня: я встаю в четыре часа утра, для бритья употребляю холодную воду (мне никогда не бывает холодно), фуфаяк не ношу, ни при каких обстоятельствах не простужаюсь, желудок у меня в исправности! Живу я сегодня так, завтра этак, смотрю на вещи философски, питаюсь чем бог пошлет. Оттого-то я и не такой неженка, как вы. Мне решительно все равно, кого ни резать,— крещеного человека или жареную дичь. Привычка — это великое дело!..

Ипполит, завернувшись в одеяло, потел от страха, а эти господа, не обращая на него ни малейшего внимания, завели длинный разговор, во время которого аптекарь сравнил хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца. Такого рода сопоставление польстило доктору Каниве, и он стал развивать мысль, что медицина — это высокое призвание. Он считал, что, сколько бы разные коновалы ни оскверняли искусство врачевания, на него нельзя иначе смотреть, как на священнодействие. Вспомнив наконец о больном, он осмотрел принесенные аптекарем бинты,— те самые, что были заготовлены еще для первой операции, и попросил дать ему в помощь человека, который подержал бы ногу пациента. Послали за Лестибудуа, г-н Каниве, засучив рукава, проследовал в бильярдную, а фармацевт остался с Артемизой и трактирщицей — обе они были белее своих передников и все прикладывали ухо к двери.

А Бовари между тем затворился у себя дома. Он сидел внизу, в зале, у нетопленного камина, и, свесив голову на грудь, сложив руки, смотрел в одну точку. «Какая неудача! — думал он.— Какое разочарование!» А ведь он принял все меры предосторожности. Тут что-то прямо роковое. Так или иначе, если Ипполит умрет, убийца его — Шарль. А что ему отвечать больным, если они станут расспрашивать его во время визитов? Ну, а если тут было все-таки с его стороны какое-нибудь упущение?

Он искал и не находил. Но ведь ошибались самые знаменитые хирурги. Этого-то как раз никто и не примет во внимание! Наоборот, все станут тыкать пальцем, судачить! Дойдет до Форжа! До Невшателя! До Руана! Куда угодно! Как бы еще коллеги не прохватили его в газетах! Начнется полемика, придется отвечать. Ипполит может подать на него в суд. Ему грозит позор, разорение, гибель. Его фантазию, преследуемую роем домыслов, швыряло то туда, то сюда, как пустую бочку с волны на волну.

Эмма сидела напротив Шарля и смотрела ему в лицо. Его унижение не находило в ней сочувствия — она тоже была унижена: откуда она взяла, будто этот человек на что-то способен? Ведь она столько раз убеждалась в его никчемности!

Шарль стал ходить из угла в угол. Сапоги его скрипели.

— Сядь! — сказала Эмма. — Ты мне действуешь на нервы.

Он сел.

Как могла она (она, с ее умом!) еще раз в нем ошибиться! И вообще, какая это непростительная глупость — портить себе жизнь беспрестанными жертвами! Она подумала о своей любви к роскоши, о своей душевной пустоте, о своем неудачном замужестве, о неприглядности своей семейной жизни, о своих мечтах, что, как раненые ласточки, упали в грязь, обо всем, к чему она стремилась, чем могла бы обладать и в чем себе отказала. И ради чего? Ради чего?

Внезапно напряженную тишину городка прорезал душераздирающий крик. Бовари стал бледен как смерть. Эмма нервно сдвинула брови и снова ушла в свои мысли. Все ради него, ради этого существа, ради этого человека, который ничего не понимает, ничего не чувствует! Ведь он совершенно спокоен, ему и в голову не приходит, что, опорочив свое доброе имя, он осрамил и ее. А она еще старалась полюбить его, со слезами каялась, что отдалась другому!

— А может, это был вальгус? — вдруг выйдя из задумчивости, воскликнул Бовари.

Вопрос Шарля свалился на мысли Эммы, как свинцовый шар на серебряное блюдо; Эмма вздрогнула от этого неожиданного толчка и, силясь понять, что хотел этим сказать Шарль, подняла голову. Они обменялись безмолвным взглядом, как бы дивясь, что видят перед собой друг друга, — так они были сейчас внутренне далеки. Шарль смотрел на нее мутными глазами пьяницы и в то же время чутко прислушивался к последним воплям оперируемого — к этим тягучим переливам, которые вдруг переходили в тонкий визг, и тогда казалось, что где-то далеко режут животное. Эмма кусала свои побелевшие губы и,

вертя в руке отломанный ею кусочек кораллового полипа, не сводила с Шарля острия горящих зрачков, похожих на огненные стрелы, которые вот-вот будут пущены из лука. Все в нем раздражало ее сейчас — раздражало его лицо, костюм, то, что он отмалчивался, весь его облик, наконец, самый факт его существования. Она раскаивалась в том, что прежде была такой добродетельной, — теперь это казалось ей преступлением, и последние остатки ее целомудрия падали под сокрушительными ударами, которые наносило ему самолюбие. Упиваясь местью, она предвкушала торжество измены над верностью. Образ возлюбленного с такой неудержимой силой притягивал ее к себе, что у нее кружилась голова. Душа ее, вновь исполнившись обожания, рвалась к нему. А в Шарле она видела теперь нечто совершенно ей чуждое, нечто такое, с чем раз навсегда покончено, что уже перестало для нее существовать и кануло в вечность, как будто он умирал, как будто он отходил у нее на глазах.

На улице раздались шаги. Шарль посмотрел в окно. Сквозь щели в ставне был виден доктор Каниве — он шел мимо рынка, по солнечной стороне, и вытирал платком лоб. Следом за ним Оме тащил большой красный ящик. Оба направлялись в аптеку.

В порыве нежности и отчаяния Шарль повернулся к жене.

— Обними меня, моя хорошая! — сказал он.

— Оставь меня! — вся вспыхнув, проговорила Эмма.

— Что с тобой? Что с тобой? — растерянно забормотал он. — Не волнуйся! Успокойся!.. Ты же знаешь, как я тебя люблю!.. Поди ко мне!

— Довольно! — страшно закричала Эмма и, выбежав из комнаты, так хлопнула дверью, что барометр упал со стены и разбился.

Шарль рухнул в кресло; недоумевающий, потрясенный, он искал причину в каком-нибудь нервном заболевании, плакал, и тяжелое, необъяснимое предчувствие томило его.

Когда Родольф пришел вечером в сад, возлюбленная ждала его на нижней ступеньке террасы. Они обнялись, и от жаркого поцелуя вся их досада растаяла, как снежный ком.

XII

Они опять полюбили друг друга. Эмма часто писала ему днем записки, потом делала знак в окно Жюстену, и тот, мигом сбросив фартук, мчался в Ла Юшет. Родольф приходил; ей

нужно было только высказать ему, как она без него соскучилась, какой у нее отвратительный муж и как ужасна ее жизнь.

— Что же я-то здесь могу поделать? — однажды запальчиво воскликнул Родольф.

— Ах, тебе стоит только захотеть!..

Эмма с распущенными волосами сидела у его ног и смотрела перед собой отсутствующим взглядом.

— Что захотеть? — спросил Родольф.

Она вздохнула.

— Мы бы отсюда уехали... куда-нибудь...

— Да ты с ума сошла! — смеясь, проговорил он. — Это невозможно!

Потом она снова вернулась к этой теме; он сделал вид, что не понимает, и переменял разговор.

Он не признавал осложнений в таком простом деле, как любовь. А у нее на все были свои мотивы, свои соображения, ее привязанность непременно должна была чем-то подогреваться.

Так, отвращение к мужу усиливало ее страсть к Родольфу. Чем беззаветнее отдавалась она любовнику, тем острее ненавидела мужа. Никогда еще Шарль, этот тяжелодум с толстыми пальцами и вульгарными манерами, не был ей так противен, как после свидания с Родольфом, после встречи с ним наедине. Разыгрывая добродетельную супругу, она пылала страстью при одной мысли о черных кудрях Родольфа, падавших на его загорелый лоб, об его мощном и в то же время стройном стане, об этом столь многоопытном и все же таком увлекающемся человеке! Для него она обтачивала свои ногти с тщательностью гранильщика, для него не щадила ни кольдкрема для своей кожи, ни пачулей для носовых платков. Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями. Перед его приходом она ставила розы в две большие вазы синего стекла, убирала комнату и убиралась сама, точно придворная дама в ожидании принца. Она заставляла прислугу то и дело стирать белье. Фелисите по целым дням не вылезала из кухни, а Жюстен, который вообще часто проводил с нею время, смотрел, как она работает.

Облокотившись на длинную гладильную доску, он с жадным любопытством рассматривал разложенные перед ним принадлежности дамского туалета: канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны на тесемках, широкие в бедрах и суживавшиеся книзу.

— А это для чего? — указывая на кринолин или на застежку, спрашивал юнец.

— А ты что, первый раз видишь? — со смехом говорила Фелисите. — Небось у твоей хозяйки, госпожи Оме, точь-в-точь такие же.

— Ну да, такие же! — отзывался Жюстен и задумчиво прибавлял: — Моя барыня разве что стояла рядом с вашей.

Но служанку раздражало, что он все вертится около нее. Она была на шесть лет старше его, за нею уже начинал ухаживать работник г-на Гильомена Теодор.

— Отстань ты от меня! — переставляя горшочек с крахмалом, говорила она. — Поди-ка лучше натолки миндалю. Вечно трешься около женщин. Еще бороденка-то у паршивца не выросла, а туда же!

— Ну, ну, не сердитесь, я вам сейчас ботиночки ее в лучшем виде разделаю.

Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые грязью свиданий, под его руками грязь превращалась в пыль, и он смотрел, как она медленно поднимается в луче солнца.

— Уж очень ты бережно с ними обращаешься! — говорила кухарка. Сама она с ними не церемонилась, когда чистила, так как барыня, заметив, что ботинки уже не имеют вида новых, сейчас же отдавала их ей.

У Эммы в шкафу было когда-то много обуви, но постепенно она вся почти перешла к служанке, и Шарль никогда не выговаривал за это жене.

Без возражений уплатил он и триста франков за искусственную ногу, которую Эмма сочла необходимым подарить Ипполиту. Протез был пробковый, с пружинными сочленениями, — это был сложный механизм, заправленный в черную штанину, с лакированным ботинком на конце. Однако Ипполит не мог себе позволить роскошь ходить каждый день на такой красивой ноге и выпросил у г-жи Бовари другую ногу, попроще. Лекарь, разумеется, оплатил и эту покупку.

Мало-помалу конюх опять начал заниматься своим делом. Снова он стал появляться то тут, то там на улицах городка, и Шарль, издали заслышав сухой стук костыля по камням мостовой, быстро переходил на другую сторону.

Все заказы брался выполнять торговец г-н Лере, — это давало ему возможность часто встречаться с Эммой. Он рассказывал ей о парижских новинках, обо всех диковинных женских вещицах, был чрезвычайно услужлив и никогда не требовал денег. Эмму соблазнил такой легкий способ удовлетворять свои прихоти. Так, например, ей захотелось подарить Родольфу очень красивый хлыст, который она видела в одном

из руанских магазинов. Через неделю г-н Лере положил ей этот хлыст на стол.

Но на другой день он предъявил ей счет на двести семьдесят франков и сколько-то сантимов. Эмма растерялась: в письменном столе было пусто, Лестибудуа задолжали больше чем за полмесяца, служанке — за полгода, помимо этого было еще много долгов, и Шарль с нетерпением ждал Петрова дня, когда г-н Дерозере обыкновенно расплачивался с ним сразу за целый год.

Эмме несколько раз удавалось спровадить торговца, но в конце концов он потерял терпение: его самого преследуют-де кредиторы, деньги у него все в обороте, и, если он не получит хоть сколько-нибудь, ему придется забрать у нее вещи.

— Ну и берите! — отрезала Эмма.

— Что вы? Я пошутил! — сказал он. — Вот только хлыстика жаль. Ничего не поделаешь, я попрошу вашего супруга мне его вернуть.

— Нет, нет! — воскликнула Эмма.

«Ага! Ты у меня в руках!» — подумал Лере.

Вышел он от Эммы вполне проникнутый этой уверенностью, по своему обыкновению насвистывая и повторяя вполголоса:

— Отлично! Посмотрим! Посмотрим!

Эмма все еще напрягала мысль в поисках выхода из тупика, когда появилась кухарка и положила на камин сверток в синей бумаге «от г-на Дерозере». Эмма подскочила, развернула сверток. В нем оказалось пятнадцать наполеондоров. Значит, счет можно будет оплатить! На лестнице слышались шаги мужа — Эмма бросила золото в ящик письменного стола и вынула ключ.

Через три дня Лере пришел опять.

— Я хочу предложить вам одну сделку, — сказал он. — Если вам трудно уплатить требуемую сумму, вы можете...

— Возьмите, — прервала его Эмма и вложила ему в руку четырнадцать наполеондоров.

Торговец был изумлен. Чтобы скрыть разочарование, он рассыпался в извинениях и в предложениях услуг, но Эмма ответила на все решительным отказом. После его ухода она несколько секунд ощупывала в карманах две монеты по сто су, которые он дал ей сдачи. Она поклялась, что будет теперь экономить и потом все вернет.

«Э! Да Шарль про них и не вспомнит!» — поразмыслив, решила она.

Кроме хлыста с золоченой ручкой, Родольф получил в подарок печатку с девизом: *Amor nel cor*¹, шарф и, наконец, портсигар, точно такой же, какой был у виконта,— виконт когда-то обронил портсигар на дороге, Шарль поднял, а Эмма спрятала на память. Родольф считал для себя унижительным получать от Эммы подарки. От некоторых он отказывался, но Эмма настаивала, и в конце концов, придя к заключению, что Эмма деспотична и напориста, он покорился.

Потом у нее появились какие-то странные фантазии.

— Когда будет бить полночь, подумай обо мне! — просила она.

Если он признавался, что не думал, на него сыпался град упреков; кончалось же это всегда одинаково:

— Ты меня любишь?

— Конечно, люблю! — отвечал он.

— Очень?

— Ну еще бы!

— А других ты не любил?

— Ты что же думаешь, до тебя я был девственником? — со смехом говорил Родольф.

Эмма плакала, а он, мешая уверения с шуточками, пытался ее утешить.

— Да ведь я тебя люблю! — опять начинала она. — Так люблю, что жить без тебя не могу, понимаешь? Иной раз так хочется тебя увидеть — кажется, сердце разорвется от муки. Думаешь: «Где-то он? Может, он сейчас говорит с другими? Они ему улыбаются, он к ним подходит...» Нет, нет, тебе никто больше не нравится, ведь правда? Есть женщины красивее меня, но любить, как я, никто не умеет! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой повелитель, мой кумир! Ты добрый! Ты прекрасный! Ты умный! Ты сильный!

Во всем том, что она говорила, для Родольфа не было уже ничего нового,— он столько раз это слышал! Эмма ничем не отличалась от других любовниц. Прелесть новизны постепенно спадала, точно одежда, обнажая вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы и один и тот же язык. Сходство в оборотах речи заслоняло от этого слишком трезвого человека различие в оттенках чувства. Он слышал подобные фразы из продажных и развратных уст и потому с трудом верил в искренность Эммы: «Высокопарными словами обычно прикрывается весьма неглубокая привязанность»,—

¹ Любовь в сердце (*итал.*).

рассуждал он. Как будто полнота души не изливается подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто же до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс.

Однако даже при том критическом отношении, которое составляет преимущество всякого, кто не теряет головы даже в самой упоительной битве, Родольф находил для себя в этом романе нечто заманчивое. Теперь он уже ничуть не стеснялся Эммы. Он был с нею бесцеремонен. Он сделал из нее существо испорченное и податливое. Ее сумасшедшая страсть была проникнута восторгом перед ним, представляла для нее самой источник наслаждений, источник блаженного хмеля, душа ее все глубже погружалась в это опьянение и, точно герцог Кларенс в бочке с мальвазией, свертывалась комочком на самом дне.

Она уже приобрела опыт в сердечных делах, и это ее преобразило. Взгляд у нее стал смелее, речи — свободнее. Ей теперь уже было не стыдно гулять с Родольфом и курить папиросу, словно нарочно «дразня гусей». Когда же она в один прекрасный день вышла из «Ласточки» в жилете мужского покроя, у тех, кто еще сомневался, рассеялись всякие сомнения, и в такой же мере, как местных жительниц, возмутило это и г-жу Бовари-мать, сбегавшую к сыну после дикого скандала с мужем. Впрочем, ей не понравилось и многое другое: во-первых, Шарль не внял ее советам запретить чтение романов; потом ей не нравился самый *дух* этого дома. Она позволяла себе делать замечания, но это вызывало неудовольствие, а как-то раз из-за Фелисите у невестки со свекровью вышла крупная ссора.

Накануне вечером г-жа Бовари-мать, проходя по коридору, застала Фелисите с мужчиной — мужчиной лет сорока, в темных бакенбардах; слышав шаги, он опрометью выскочил из кухни. Эмму это насмешило, но почтенная дама, вспыхнув, заявила, что только безнравственные люди не следят за нравственностью слуг.

— Где вы воспитывались? — спросила невестка.

Взгляд у нее был при этом до того вызывающий, что г-жа Бовари-мать сочла нужным спросить, уж не за себя ли вступилась Эмма.

— Вон отсюда! — крикнула невестка и вскочила с места.

— Эмма!.. Мама!..— стараясь помирить их, воскликнул Шарль.

Но обе женщины в бешенстве вылетели из комнаты. Эмма топала ногами и все повторяла:

— Как она себя держит! Мужичка!

Шарль бросился к матери. Та была вне себя.

— Нахалка! Вертушка! А может, еще и хуже! — шипела свекровь.

Она прямо сказала, что, если невестка не придет к ней и не извинится, она сейчас же уедет. Шарль побежал к жене — он на коленях умолял ее уступить. В конце концов Эмма согласилась:

— Хорошо! Я пойду!

В самом деле, она с достоинством маркизы протянула свекрови руку и сказала:

— Извините, сударыня.

Но, вернувшись к себе, бросилась ничком на кровать и по-детски расплакалась, уткнувшись в подушку.

У нее с Родольфом был уговор, что в каком-нибудь исключительном случае она прикрепит к оконной занавеске клочок белой бумаги: если Родольф будет в это время в Ионвиле, то по этому знаку сейчас же пройдет на задворки. Эмма подала сигнал. Прождав три четверти часа, она вдруг увидела Родольфа на углу крытого рынка. Она чуть было не отворила окно и не окликнула его, но он уже исчез. Эмма снова впала в отчаяние.

Вскоре ей, однако, послышались шаги на тротуаре. Конечно, это был он. Она спустилась с лестницы, перебежала двор. Он стоял там, в проулке. Она кинулась к нему в объятия.

— Ты неосторожна,— заметил он.

— Ах, если б ты знал! — воскликнула Эмма.

И тут она рассказала ему все — рассказала торопливо, бессвязно, сгущая краски, выдумывая, со множеством отступлений, которые окончательно сбили его с толку.

— Полно, мой ангел! Возьми себя в руки! Успокойся! Потерпи!

— Но я уже четыре года терплю и мучаюсь!.. Наша с тобой любовь такая, что я, не стыдясь, призналась бы в ней перед лицом Божиим! Они меня истерзали. Я больше не могу! Спаси меня!

Она прижималась к Родольфу. Ее мокрые от слез глаза блестели, точно огоньки, отраженные в воде; от частого дыха-

ния вздымалась грудь. Никогда еще Родольф не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он спросил:

— Что же делать? Чего ты хочешь?

— Возьми меня отсюда! — воскликнула она. — Увези меня!.. Я тебя умоляю!

И она потянулась к его губам как бы для того, чтобы вместе с поцелуем вырвать невольное согласие.

— Но... — начал Родольф.

— Что такое?

— А твоя дочь?

Эмма помедлила.

— Придется взять ее с собой! — решила она.

«Что за женщина!» — подумал Родольф, глядя ей вслед. Она убежала в сад. Ее звали.

Все последующие дни Бовари-мать не могла надивиться перемене, происшедшей в невестке. И точно: Эмма стала покладистее, почтительнее, снизошла даже до того, что спросила свекровь, как надо мариновать огурцы.

Делалось ли это с целью отвести глаза свекрови и мужу? Или же это был своего рода сладострастный стоицизм, желание глубже почувствовать убожество всего того, что она покидала? Нет, она была далека от этой мысли, как раз наоборот: она вся ушла в предвкушение близкого счастья. С Родольфом она только об этом и говорила. Положив голову ему на плечо, она шептала:

— Ах, когда же мы будем с тобой в почтовой карете!.. Ты можешь себе это представить? Неужели это все-таки совершится? Когда лошади понесут нас стрелой, у меня, наверно, будет такое чувство, словно мы поднимаемся на воздушном шаре, словно мы возносимся к облакам. Знаешь, я уже считаю дни... А ты?

За последнее время г-жа Бовари как-то особенно похорошела. Она была красива той не поддающейся определению красотой, которую питают радость, воодушевление, успех и которая, в сущности, есть не что иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Вождедения, горести, опыт в наслаждениях, вечно юные мечты — все это было так же необходимо для ее постепенного душевного роста, как цветам необходимы удобрение, дождь, ветер и солнце, и теперь она вдруг раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее глаз был словно создан для влюбленных взглядов, во время которых ее зрачки пропадали, тонкие ноздри раздувались от глубокого дыхания, а уголки полных губ, затенен-

ных черным пушком, хорошо видным при свете, оттягивались кверху. Казалось, опытный в искушениях художник укладывал завитки волос на ее затылке. А когда прихоть тайной любви распускала ее волосы, они падали небрежно, тяжелой волной. Голос и движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее ноги. Шарлю она представлялась столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы.

Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее будить. От фарфорового ночника на потолке дрожал световой круг, а в тени, у изножья кровати, белой палаткой вздувался полог над колыбелью. Шарль смотрел на жену и на дочку. Ему казалось, что он улавливает легкое дыхание девочки. Теперь она будет расти не по дням, а по часам; каждое время года означит в ней какую-нибудь перемену. Шарль представлял себе, как она с веселым личиком возвращается под вечер из школы, платьице на ней выпачкано чернилами, на руке она несет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион — это обойдется недешево. Как быть? Шарль впадал в задумчивость. Он рассчитывал арендовать где-нибудь поблизости небольшую ферму, с тем чтобы каждое утро по дороге к больным присматривать за ней самому. Доход от нее он будет копить, деньги положит в сберегательную кассу, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем временем и пациентов у него прибавится. На это он особенно надеялся: ему хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана, чтобы у нее появились способности, чтобы она выучилась играть на фортепьяно. К пятнадцати годам это уже будет писаная красавица, похожая на мать, и летом, когда обе наденут соломенные шляпки с широкими полями, издали их станут принимать за сестер. Воображению Шарля рисовалось, как Берта, сидя подле родителей, рукодельничает при лампе. Она вышьет ему туфли, займется хозяйством, наполнит весь дом своей жизнерадостностью и своим обаянием. Наконец, надо будет подумать об устройстве ее судьбы. Они подыщут ей какого-нибудь славного малого, вполне обеспеченного, она будет с ним счастлива — и уже навек.

Эмма не спала, она только притворялась спящей, и в то время, как Шарль, лежа рядом с ней, засыпал, она бодрствовала в мечтах об ином.

Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неведомую страну, откуда ни она, ни Родольф никогда не вернутся.

Они едут, едут, молча, обнявшись. С высоты их взору внезапно открывается чудный город с куполами, мостами, кораблями, лимонными рощами и беломраморными соборами, увенчанными островерхими колокольнями, где аисты вьют себе гнезда. Они едут шагом по неровной мостовой, и женщины в красных корсажах предлагают им цветы. Гудят колокола, кричат мулы, звенят гитары, лепечут фонтаны, и водяная пыль, разлетаясь от них во все стороны, освежает груды плодов, сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, улыбающихся сквозь водометы. А вечером они с Родольфом приезжают в рыбацкий поселок, где вдоль прибрежных скал, под окнами лачуг, сушатся на ветру бурые сети. Здесь они и будут жить; они поселятся у моря, на самом краю залива, в низеньком домике с плоскою кровлей, возле которого растет пальма. Будут кататься на лодке, качаться в гамаке, и для них начнется жизнь легкая и свободная, как их шелковые одежды, теплая и светлая, как тихие звездные ночи, что зачаруют их взор. В том безбрежном будущем, которое она вызывала в своем воображении, ничто рельефно не выделялось; все дни, одинаково упоительные, были похожи один на другой, как волны, и этот бескрайний голубой, залитый солнцем, согласно звучащий простор мерно колыхался на горизонте. Но в это время кашляла в колыбельке девочка или же Бовари особенно громко всхрапывал — и Эмма засыпала лишь под утро, когда стекла окон белели от света зари и Жюстен открывал в аптеке ставни.

Однажды она вызвала г-на Лере и сказала:

— Мне нужен плащ, длинный плащ на подкладке, с большим воротником.

— Вы отправляетесь в путешествие? — осведомился он.

— Нет, но... В общем, я рассчитываю на вас. Хорошо? Но только поскорее!

Он поклонился.

— Еще мне нужен чемодан... — продолжала она. — Не очень тяжелый... удобный.

— Так, так, понимаю. Приблизительно девяносто два на пятьдесят, — сейчас делают такие.

— И спальный мешок.

«Должно быть, рассорились», — подумал Лере.

— Вот, — вынимая из-за пояса часики, сказала г-жа Бовари, — возьмите в уплату.

Но купец заявил, что это напрасно: они же знают друг друга, неужели он ей не поверит? Какая чепуха! Эмма, одна-

ко, настояла на том, чтобы он взял хотя бы цепочку. Когда же Лере, сунув ее в карман, направился к выходу, она окликнула его:

— Все это вы оставьте у себя. А плащ,— она призадумалась,— плащ тоже не приносите. Вы только дайте мне адрес портного и предупредите его, что плащ мне скоро может понадобиться.

Бежать они должны были в следующем месяце. Она поедет в Руан будто бы за покупками. Родольф возьмет билеты, выправит паспорта и напишет в Париж, чтобы ему заказали карету до Марселя, а в Марселе они купят коляску и уже без пересадок поедут по Генуэзской дороге. Она заранее отошлет свой багаж к Лере, оттуда его доставят прямо в «Ласточку», и таким образом ни у кого не возникнет подозрений. Во всех этих планах отсутствовала Берта. Родольф не решался заговорить о ней; Эмма, может быть, даже о ней и не думала.

Родольфу нужно было еще две недели, чтобы покончить с делами. Через восемь дней он попросил отсрочки еще на две недели, потом сказался больным, потом куда-то уехал. Так прошел август, и наконец, после всех этих оттяжек, был назначен окончательный срок — понедельник четвертого сентября.

Наступила суббота, канун кануна.

Вечером Родольф пришел раньше, чем обычно.

— Все готово? — спросила она.

— Да.

Они обошли клумбу и сели на закраину стены, над обрывом.

— Тебе грустно,— сказала Эмма.

— Нет, почему же?

А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно нежно.

— Это оттого, что ты уезжаешь, расстаешься со всем, к чему привык, со всей своей прежней жизнью? — допытывалась Эмма.— Да, да, я тебя понимаю... А вот у меня нет никаких привязанностей! Ты для меня все. И я тоже буду для тебя всем — я заменю тебе семью, родину, буду заботиться, буду любить тебя.

— Какая же ты прелесть! — сжимая ее в объятиях, воскликнул он.

— Правда? — смеясь расслабленным смехом, спросила она.— Ты меня любишь? Поклянись!

— Люблю ли я тебя! Люблю ли я тебя! Я тебя обожаю, любовь моя!

На горизонте, за лугами, показалась круглая багровая луна. Она всходила быстро; кое-где, точно рваный черный занавес, ее прикрывали ветви тополей. Затем она, уже ослепительно-белая, озарила пустынный небосвод и, замедлив свое течение, обронила в реку огромный блик, тотчас же засиявший в воде мириадами звезд. Этот серебристый отблеск, точно безголовая змея, вся в сверкающих чешуйках, извивался в зыбях вплоть до самого дна. Еще это было похоже на гигантский канделябр, по которому стекали капли расплавленного алмаза. Кругом простиралась тихая ночь. Листья деревьев были окутаны покрывалами тени. Дул ветер, и Эмма, полузакрыв глаза, жадно вбирала в себя его свежесть. Они были так поглощены своими думами, что не могли говорить. К сердцу подступала былая нежность, многоводная и безмолвная, как река, что струилась там, за оградой, томящая, как благоухание росшего в саду жасмина, и отбрасывала в их памяти еще более длинные и еще более печальные тени, нежели те, что ложились от неподвижных ив на траву. Порой шуршал листьями, выходя на охоту, какой-нибудь ночной зверек: еж или ласка, а то вдруг в полной тишине падал созревший персик.

— Какая дивная ночь! — проговорил Родольф.

— У нас еще много будет таких! — подхватила Эмма и заговорила как бы сама с собой: — Да, ехать нам будет хорошо... Но отчего же все-таки у меня щемит сердце? Что это, боязнь неизвестности? Или оттого, что я покидаю привычный уклад?.. Или... Нет, это от избытка счастья! Какая я малодушная, правда? Прости меня!

— У тебя еще есть время! — воскликнул Родольф. — Обдумай! А то как бы потом не раскаяться.

— Никогда! — горячо отозвалась Эмма и прильнула к нему. — Ничего дурного со мной не может случиться. Раз я с тобой, то ни пустыни, ни пропасти, ни океаны мне уже не страшны. Я так рисую себе нашу совместную жизнь: это — объятие, которое день ото дня будет все теснее и крепче! Нас ничто не смутит — ни препятствия, ни заботы! Мы будем одни, совершенно одни, навсегда... Ну скажи мне что-нибудь, говори же!

Он отвечал ей время от времени: «Да... да...» Она тербила его волосы, по щекам у нее катились крупные слезы, и она все повторяла с какой-то детской интонацией:

— Родольф! Родольф!.. Ах, Родольф, милый, дорогой Родольф!

Пробило полночь.

— Полночь! — сказала Эмма. — Наступило завтра! Значит, еще один день!

Он встал, и, словно это его движение было сигналом к их бегству, Эмма вдруг повеселела:

— Паспорта у тебя?

— Да.

— Ты ничего не забыл?

— Ничего.

— Наверное?

— Ну конечно!

— Итак, ты меня ждешь в отеле «Прованс»?.. В полдень?

Он кивнул головой.

— Ну, до завтра! — в последний раз поцеловав его, сказала Эмма и потом еще долго смотрела ему вслед.

Родольф не оборачивался. Эмма побежала за ним и, раздвинув кусты, наклонилась над водой.

— До завтра! — крикнула она.

Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу.

Через несколько минут Родольф остановился. И когда он увидел, как она, в белом платье, медленно, словно призрак, скрывается во мраке, у него сильно забилося сердце, и, чтобы не упасть, он прислонился к дереву.

— Какой же я дурак! — сказал он и скверно выругался. — Ну ничего, любовница она была очаровательная!

И тут он представил себе всю красоту Эммы, все радости этой любви. Сперва это его смягчило, но потом он взбунтовался.

— Чтобы я совсем уехал за границу! — размахивая руками, громко заговорил он. — Да еще с младенцем, с такой обузой!

Так он хотел окончательно укрепиться в своем решении.

— И потом возня, расходы... Нет, нет, ни за что на свете! Это было бы глупее глупого!

XIII

Как только Родольф пришел домой, он, не теряя ни секунды, сел за свой письменный стол, под оленьей головой, висевшей на стене в виде трофея. Но стоило ему взять в руку перо, как все слова вылетели у него из головы, и, облокотившись на стол, он задумался. Эмма уже была для него как бы далеким прошлым; принятое им решение мгновенно образовало между ними громадное расстояние.

Чтобы не совсем утратить память о ней, Родольф, подойдя к шкафу, стоявшему у изголовья кровати, вынул старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он имел обыкновение прятать женские письма, — от нее пахло влажною пылью и увядшими розами. Первое, что он увидел, — это носовой платок, весь в выцветших пятнышках. То был платок Эммы, которым она вытиралась, когда у нее как-то раз на прогулке пошла носом кровь. Родольф этого уже не помнил. Рядом лежал миниатюрный портрет Эммы; все четыре уголка его обтрепались. Ее туалет показался Родольфу претенциозным, в ее взгляде — она делала глазки — было, по его мнению, что-то в высшей степени жалкое. Глядя на портрет, Родольф пытался вызвать в памяти оригинал, и черты Эммы постепенно расплывались, точно живое и нарисованное ее лицо терлись одно о другое и смазывались. Потом он стал читать ее письма. Они целиком относились к отъезду и были кратки, деловиты и настойчивы, как служебные записки. Ему захотелось почитать длинные ее письма — более ранней поры. Они хранились на самом дне коробки, и, чтобы извлечь их, он вывалил все остальные и машинально начал рыться в грудe бумаг и вещей, обнаруживая то букетик, то подвязку, то черную маску, то булавки, то волосы — темные, светлые... Иные волоски цеплялись за металлическую отделку коробки и рвались, когда она открывалась.

Скитаясь в воспоминаниях, он изучал почерк и слог писем, разнообразных, как их орфография. Были среди них нежные и веселые, шутливые и грустные: в одних просили любви, в других просили денег. Какое-нибудь одно слово воскрешало в его памяти лицо, движения, звук голоса; в иных случаях, однако, он ничего не в силах был припомнить.

Заполонив его мысль, женщины мешали друг другу, мельчали, общий уровень любви обезличивал их. Захватив в горсть перепутанные письма, Родольф некоторое время с увлечением пересыпал их из руки в руку. Потом это ему надоело, навело на него дремоту, он убрал коробку в шкаф и сказал себе:

— Все это ерунда!..

Он и правда так думал; чувственные наслаждения вытоптали его сердце, точно ученики — школьный двор: зелени там не было вовсе, а то, что в нем происходило, отличалось еще большим легкомыслием, чем детвора, и в противоположность ей не оставляло даже вырезанных на стене имен.

— Ну-с, приступим! — сказал он себе и начал писать:

«Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни...»

«В сущности это так и есть,— подумал Родольф,— я действую в ее же интересах, я поступаю честно».

«Тщательно ли Вы обдумали свое решение? Представляете ли Вы себе, мой ангел, в какую пропасть я увлек бы Вас за собой? О нет! Вы шли вперед доверчиво и безрассудно, в чаянии близкого счастья... О, как же мы все несчастны! Какие мы все безумцы!»

Родольф остановился,— надо было найти какую-нибудь важную причину.

«Не написать ли ей, что я потерял состояние?... Нет, нет! Да ведь это ничего не изменит. Немного погодя все начнет сызнова. Разве таких женщин, как она, можно в чем-нибудь убедить?»

Подумав, он снова взялся за перо:

«Я никогда Вас не забуду, поверьте, моя преданность Вам останется неизменной, но рано или поздно наш пыл (такова участь всех человеческих чувств) все равно бы охладел! На смену пришла бы душевная усталость, и кто знает? Быть может, мне бы еще пришлось терзаться при виде того, как Вы раскаиваетесь, и меня бы тоже охватило раскаяние от сознания, что страдаете Вы из-за меня! Одна мысль о том, как Вам будет тяжело, приводит меня в отчаяние, Эмма! Забудьте обо мне! Зачем я Вас встретил? Зачем Вы так прекрасны? В чем же мое преступление? О, боже мой! Нет, нет, всему виною рок!»

«Это слово всегда производит соответствующее впечатление»,— подумал Родольф.

«О, будь Вы одною из тех легкомысленных женщин, что встречаются на каждом шагу, я, конечно, мог бы на это пойти из чистого эгоизма, и тогда моя попытка была бы для Вас безопасна. Но Ваша очаровательная восторженность, составляющая тайну Вашего обаяния и вместе с тем служащая источником Ваших мучений, она-то и помешала Вам, о волшебница, понять всю ложность нашего будущего положения! Я тоже сперва ни о чем не думал и, не предвидя последствий, отдыхал, словно под сенью манцениллы, под сенью безоблачного счастья».

«Еще, чего доброго, подумает, что я отказываюсь от нее из скупости... А, все равно! Пора кончать!»

«Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас неотступно. Вам пришлось бы терпеть все: и нескромные вопросы, и клевету, и презрение, а может быть, даже и оскорбления. Оскорбление, нанесенное Вам! О!.. А ведь я уже мысленно возвел Вас на недосягаемый пьедестал! Память о Вас я буду носить с собой, как некий талисман! И вот, за все зло, которое я Вам причинил, я обрекаю себя на изгнание. Я уезжаю. Куда? Не знаю. Я схожу с ума. Прощайте! Не поминайте лихом. Не забывайте несчастного, утратившего Вас. Научите Вашу дочь молиться за меня».

Пламя свечей колебалось. Родольф встал, затворил окно и опять сел за стол.

«Как будто все. Да, вот что еще надо прибавить, а то как бы она за мной не увязалась...»

«Когда Вы станете читать эти печальные строки, я буду уже далеко. Чтобы не поддаваться искушению снова увидеть Вас, я решил бежать немедленно. Прочь, слабость! Я еще вернусь, и тогда — кто знает? — быть может, мы с Вами уже совершенно спокойно вспомним наше бывшее увлечение. Прощайте!»

После слова «прощайте» он поставил восклицательный знак и многоточие — в этом он видел признак высшего шика.

«А как подписаться? — спросил он себя. — «Преданный Вам»? Нет. «Ваш друг»?.. Да, вот это хорошо».

«Ваш друг».

Он перечитал письмо и остался доволен.

«Бедняжка! — расчувствовавшись, подумал он. — Она решит, что я — твердокаменный. Надо бы тут слезу пролить, да вот беда: не умею я плакать. Чем же я виноват?»

Родольф налил в стакан воды и, обмакнув палец, капнул на бумагу — на ней тотчас же образовалось большое бледное чернильное пятно. Он поискал, чем запечатать письмо, и ему попалась печатка с «Amor nel cor».

«Не очень это сюда подходит... А, ничего, сойдет!..»

Затем он выкурил три трубки и лег спать.

На другой день Родольф, как только встал (это было уже около двух часов — он заспался), велел набрать корзинку абрикосов. На самое дно он положил письмо, прикрыл его ви-



Госпожа Бовари

ноградными листьями и тут же отдал распоряжение своему работнику Жирану бережно отнести корзинку г-же Бовари. Родольф часто переписывался с ней таким образом — посылал ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь.

— Если она спросит обо мне, то скажи, что я уехал, — предупредил он. — Корзинку отдай прямо ей в руки... Понял? Ну, смотри!

Жиран надел новую блузу, завязал корзинку с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых, с подковками, сапогах, преспокойно зашагал в Ионвиль.

Когда он вошел в кухню к Бовари, Эмма и Фелисите раскладывали на столе белье.

— Вот, — сказал посыльный, — это вам от моего хозяина.

У Эммы дрогнуло сердце. Ища в карманах мелочь, она растерянно смотрела на крестьянина, а тот с недоумением глядел на нее — он никак не мог понять, чем может взволновать человека такой подарок. Наконец он ушел. Фелисите оставалась на кухне. Эмма не выдержала — она бросилась в залу якобы затем, чтобы унести абрикосы, опрокинула корзинку, разворошила листья, нашла письмо, вскрыла его и, точно за спиной у нее полыхал страшнейший пожар, не помня себя, побежала в свою комнату.

Там был Шарль — Эмма увидела его сразу. Он заговорил с ней, но она его не слышала — ошеломленная, обезумевшая, тяжело дыша, она уже взбегала по ступенькам лестницы, а в руке у нее все еще гремел, точно лист жести, этот ужасный листок бумаги. На третьем этаже она остановилась перед затворенной дверью на чердак.

Тут она перевела дух и вспомнила про письмо; надо было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть.

«Ах нет, вот сюда! — подумала Эмма. — Здесь меня не найдут».

Она толкнула дверь и вошла.

Шиферная кровля накалилась, и на чердаке было до того душно, что у Эммы сразу застучало в висках, она задышалась. Она еле дошла до запертой мансарды, отодвинула засов, и в глаза ей хлынул ослепительно яркий свет.

Прямо перед ней, за крышами, куда ни посмотришь, растилались поля. Внизу была видна безлюдная площадь: сверкал на солнце булыжник, флюгера не вертелись, из углового дома, из нижнего этажа доносился скрежет. Это Бине что-то вытачивал на токарном станке.

Эмма прислонилась к стене в амбразуре мансарды и, усмехаясь недоброй усмешкой, стала перечитывать письмо. Но чем внимательнее она в него вчитывалась, тем больше путались у нее мысли. Она видела Родольфа, слышала его, обнимала. Сердце билось у нее в груди, как таран, билось неровно и учащенно. Она смотрела вокруг, и ей хотелось, чтобы под ней разверзлась земля. Почему она не покончит с жизнью все счеты? Что ее удерживает? Ведь она свободна! Эмма шагнула и, бросив взгляд на мостовую, сказала себе:

— Ну! Ну!

Свет, исходивший снизу, тянул в пропасть ее тело, ставшее вдруг невесомым. Ей казалось, что мостовая ходит ходуном, взбирается по стенам домов, что пол накреняется, будто палуба корабля во время качки. Эмма стояла на самом краю, почти перевесившись, лицом к лицу с бесконечным пространством. Синева неба обволакивала ее, в опустевшей голове шумел ветер, — Эмме надо было только уступить, сдаться. А токарный станок все скрежетал, — казалось, будто кто-то звал ее злобным голосом.

— Жена! Жена! — крикнул Шарль.

Эмма подалась назад.

— Где же ты? Иди сюда!

При мысли о том, что она была на волосок от смерти, Эмма едва не лишилась чувств. Она закрыла глаза и невольно вздрогнула: кто-то тронул ее за рукав. Это была Фелисите.

— Сударыня, вас барин ждет. Суп на столе.

И пришлось ей сойти вниз! Пришлось сесть за стол!

Она пыталась есть, но кусок застревал у нее в горле. Наконец она развернула салфетку будто бы для того, чтобы посмотреть штопку, и в самом деле начала пересчитывать нитки. Вдруг она вспомнила про письмо. Неужели она его потеряла? Надо найти! Но душевная усталость взяла верх, и Эмма так и не придумала, под каким бы предлогом ей встать из-за стола. Потом на нее напал страх — она боялась Шарля: он знает все, это несомненно! В самом деле, он как-то особенно многозначительно произнес:

— Должно быть, мы теперь не скоро увидим Родольфа.

— Кто тебе сказал? — встрепенувшись, спросила Эмма.

— Кто мне сказал? — переспросил Шарль, слегка озадаченный ее резким тоном. — Жирар — я его сейчас встретил около кафе «Франция». Родольф то ли уже уехал, то ли собирается уехать.

Эмма всхлипнула.

— А почему это тебя удивляет? Он часто уезжает развлекаться, и я его понимаю. Человек состоятельный, холостой, что ему!.. А повеселиться наш друг умеет — он ведь у нас проказник!.. Мне рассказывал Ланглуа...

Тут вошла служанка, и Шарль из приличия замолчал.

Фелисите собрала в корзинку разбросанные на этажерке абрикосы. Шарль, не заметив, как покраснела жена, велел подать их на стол, взял один абрикос и надкусил.

— Хороши! — воскликнул он. — Возьми, попробуй!

Он протянул ей корзинку — Эмма слабым движением оттолкнула ее.

— Ты только понюхай! Какой аромат! — говорил Шарль, подставляя корзинку к самому ее лицу.

— Мне душно! — вскочив, крикнула Эмма. Все же ей удалось превозмочь себя. — Ничего, ничего! Это нервы! Сиди и ешь!

Она боялась, что Шарль примется расспрашивать ее, ухаживать за ней, не оставит ее в покое.

Шарль послушно сел. Косточки от абрикосов он сначала выплевывал себе на ладонь, а потом клал на тарелку.

Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.

После долгих размышлений Родольф решил съездить в Руан. Но из Ла Юшет в Бюши можно попасть только через Ионвиль — другой дороги нет, и Эмма мгновенно узнала экипаж Родольфа по свету фонарей, точно две молнии прорезавших сумрак.

На шум в доме Бовари прибежал фармацевт. Стол со всей посудой был опрокинут: соусник, жаркое, ножи, солонка, судок с прованским маслом — все это валялось на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная Берта кричала, Фелисите дрожащими руками расшнуровывала барыню. У Эммы по всему телу пробегала судорога.

— Я сейчас принесу из моей лаборатории ароматического уксусу, — сказал аптекарь.

Когда же Эмме дали понюхать уксуса и она открыла глаза, г-н Оме воскликнул:

— Я был уверен! От этого и мертвый воскреснет.

— Скажи что-нибудь! Скажи что-нибудь! — молил Шарль. — Пересиль себя! Это я, твой Шарль, я так тебя люблю! Ты меня узнаешь? А вот твоя дочка! Ну поцелуй ее!

Девочка тянулась к матери, пыталась обвить ручонками ее шею. Но Эмма отвернулась, прерывающимся голосом произнесла:

— Нет, нет... Никого!

И снова впала в беспамятство. Ее перенесли на кровать.

Она лежала вытянувшись, приоткрыв рот, смежив веки, раскинув руки, безжизненная, желтая, как восковая кукла. Из глаз у нее струились слезы и медленно стекали на подушку.

У ее кровати стояли Шарль и аптекарь; г-н Оме, как полагается в таких печальных обстоятельствах, с глубокомысленным видом молчал.

— Успокойтесь! — взяв Шарля под локоть, сказал он наконец. — По-моему, пароксизм кончился.

— Да, пусть она теперь отдохнет! — глядя, как Эмма спит, молвил Шарль. — Бедняжка!.. Бедняжка!.. Опять захворала!..

Оме спросил, как это с ней случилось. Шарль ответил, что припадок начался внезапно, когда она ела абрикосы.

— Странно!.. — заметил фармацевт. — Но, может быть, именно абрикосы и вызвали обморок! Есть такие натуры, на которые очень сильно действуют определенные запахи. Интересно было бы рассмотреть это явление и с точки зрения патологической, и с точки зрения физиологической. Попы давно уже обратили на него внимание — не даром при совершении обрядов они пользуются ароматическими веществами. Так они одурманивают молящихся и вызывают экстаз, причем особенно легко этому поддаются представительницы прекрасного пола — ведь они же слабее мужчин. Нам известно, что некоторые женщины теряют сознание от запаха жженого рога, от запаха свежее испеченного хлеба...

— Не разбудите ее! — прошептал Бовари.

— И эта аномалия наблюдается не только у людей, но и у животных, — продолжал аптекарь. — Вы, конечно, знаете, что у породы кошачьих возбуждает похоть *pereta cataria*, в просторечии именуемая котовиком. А вот вам другой пример, — ручаюсь, что это суцая правда: у моего старого товарища Бриду (он сейчас живет в Руане на улице Мальпалю) есть собака, — так вот, поднесите вы ей к носу табакерку, и она сейчас же забьется в судорогах. Бриду частенько показывает этот опыт друзьям в своей беседке, в Буа-Гильом. Ну кто бы мог подумать, что простое чихательное средство способно производить такие потрясения в организме четвероногого? Чрезвычайно любопытно, не правда ли?

— Да, — не слушая, отозвался Шарль.

— Это доказывает, — с добродушно-самодовольной улыбкой снова заговорил фармацевт, — что нервные явления многообразны. А что касается вашей супруги, то, признаюсь, я всегда

считал, что у нее повышенная чувствительность. И я бы на вашем месте, дорогой друг, не стал применять к ней ни одного из новых хваленых средств,— болезнь они не убивают, а на темпераменте сказываются губительно. Нет, нет, долой бесполезные медикаменты! Режим — это все! Побольше болеутоляющих, смягчительных, успокоительных! А вы не находите, что, может быть, следует поразить ее воображение?

— Чем? Как? — спросил Бовари.

— Вот в этом-то и весь вопрос! Вопрос действительно сложный! *That is the question*¹, как было написано в последнем номере газеты.

Но тут Эмма очнулась.

— Письмо! Письмо! — закричала она.

Шарль и Оме решили, что это бред. В полночь Эмма и правда начала бредить. Стало ясно, что у нее воспаление мозга.

Сорок три дня Шарль не отходил от Эммы. Он забросил своих пациентов, не ложился спать, он только и делал, что щупал ей пульс, ставил горчичники и холодные компрессы. Он гонял Жюстена за льдом в Невшатель; лед по дороге таял; Шарль посылал Жюстена обратно. Он пригласил на консультацию г-на Каниве, вызвал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он был в полном отчаянии. В состоянии Эммы его особенно пугал упадок сил. Она не произносила ни слова, она ничего не слышала. Казалось, она совсем не страдает; она словно отдыхала и душой и телом после всех треволнений.

И вот в середине октября она уже могла сидеть в постели, опершись на подушки. Когда она съела первый ломтик хлеба с вареньем, Шарль разрыдался. Силы возвращались к ней. Днем она на несколько часов вставала, а как-то раз, когда дело явно пошло на поправку, Шарль попробовал погулять с ней по саду. Песок на дорожках был сплошь усыпан палым листом. Эмма шла медленно, шаркая туфлями, всей тяжестью опираясь на Шарля, шла и улыбалась.

Так они добрались до конца сада — дальше начинался обрыв. Эмма с трудом подняла голову и из-под ладони посмотрела вокруг. Ей было видно далеко-далеко, но на всем этом пустынном просторе глаз различал лишь дымившиеся костры — это жгли траву на холмах.

— Ты устанешь, моя родная, — сказал Шарль.

Он осторожно подвел ее к беседке.

— Сядь на скамейку — здесь тебе будет хорошо.

¹ Вот в чем вопрос (англ.) — слова шекспировского Гамлета.

— Нет, нет! Не хочу туда, не хочу! — упавшим голосом проговорила Эмма.

У нее закружилась голова. А вечером Эмма снова слегла в постель. Но только теперь болезнь ее с трудом поддавалась определению — слишком разнообразны были симптомы. У Эммы болело то сердце, то грудь, то голова, то руки и ноги. Появилась рвота, и Шарль счел это первым признаком рака.

В довершение всего у бедного Шарля стало туго с деньгами.

XIV

Во-первых, Шарль не знал, чем он будет расплачиваться с г-ном Оме за лекарства. Как врач, он имел право не платить вовсе, и, однако, он краснел при одной мысли об этом долге. Кроме того, бразды правления у них в доме перешли к кухарке, и хозяйственные расходы достигли ужасающих размеров; счета так и сыпались; поставщики ворчали; особенно донимал Шарля г-н Лере. В самый разгар болезни Эммы он, воспользовавшись этим обстоятельством, чтобы увеличить счет, поспешил принести плащ, спальный мешок, два чемодана вместо одного и еще много разных вещей. Как ни убеждал его Шарль, что все это ему не нужно, купец нагло отвечал, что вещи были ему заказаны и что обратно он их не возьмет. Г-жу Бовари беспокоить нельзя — ей это вредно. Как г-н Бовари хочет, а только он, Лере, товар не унесет и в случае чего докажет свои права в суде. Шарль распорядился немедленно отослать ему вещи в магазин. Фелисите позабыла. Шарля одолевали другие заботы. Словом, вещи так тут и остались. Тогда г-н Лере предпринял еще одну попытку и мольбами и угрозами в конце концов вырвал у Бовари вексель сроком на полгода. Но едва Шарль поставил свою подпись, как у него явилась смелая мысль — занять у г-на Лере тысячу франков. С нерешительным видом он задал торгашу вопрос, где бы ему раздобыть такую сумму сроком на один год и под любые проценты. Лере сбегал к себе в лавку, принес деньги и продиктовал еще один вексель, согласно которому Бовари брал на себя обязательство уплатить к 1 сентября будущего года тысячу семьдесят франков, что составляло вместе с проставленными в первом векселе ста восьмьюдесятью тысячу двести пятьдесят франков. Таким образом, дав деньги в рост из шести процентов, взяв четвертую часть всей суммы за комиссию и не менее трети всей суммы заработав на самих товарах, г-н Лере рассчитывал получить

за год сто тридцать франков чистой прибыли. И он еще надеялся, что этим дело не кончится: Бовари не сможет уплатить деньги в срок, он вынужден будет переписать векселя, и денежки г-на Лере, подкормившись у доктора, как на курорте, в один прекрасный день вернутся к хозяину такой солидной, такой кругленькой суммой, что их некуда будет девать.

Господин Лере вообще последнее время шел в гору. Он получил с торгов поставку сидра для невшательской больницы, г-н Гильомен обещал ему акции грюменильских торфяных разработок, а сам он мечтал пустить между Аргейлем и Руаном дилижанс, который, конечно, очень скоро вытеснит колымагу «Золотого льва»: он будет ходить быстрее, стоять дешевле, багажа брать больше, и немного погодя все нити ионвильской торговли окажутся в руках у г-на Лере.

Шарль долго ломал себе голову, где ему на будущий год достать столько денег. Он перебирал в уме всевозможные способы — обратиться к отцу, продать что-нибудь. Но отец ни за что не даст, а продать нечего. Положение было безвыходное, и он стал гнать от себя мрачные мысли. Он упрекал себя, что материальные заботы отвлекают его от Эммы, а между тем всеми помыслами он должен быть с ней; подумать о чем-нибудь постороннем — значит что-то отнять у нее.

Зима стояла суровая. Г-жа Бовари поправлялась медленно. В ясные дни ее подвозили в кресле к окну, выходившему на площадь, — окно в сад было теперь всегда завешено, г-жа Бовари не могла вспомнить о саде. Лошадь она велела продать, — все, что она прежде любила, разонравилось ей теперь. Мысли ее вращались вокруг нее самой. Лежа в постели, она принимала легкую пищу, звонила прислуге, спрашивала, не готов ли декокт, болтала с ней. От снега, лежавшего на рыночном навесе, в комнате с утра до вечера стоял матовый свет. Потом зарядили дожди. Каждый день Эмма не без волнения следила за ходом городских событий, хотя события происходили всё неважные, притом всегда одни и те же и не имели отношения к Эмме. Самым большим событием было возвращение «Ласточки», приехавшей в Ионвиль вечером. Кричала трактирщица, ей отвечали другие голоса, а фонарь Ипполита, достававшего с брезентового верха баулы, мерцал звездой во мраке. В полдень приходил домой Шарль, затем уходил, потом Эмма ела бульон, а под вечер, часов около пяти, возвращавшиеся из школы мальчишки топали деревянными башмаками и один за другим ударяли своими линейками по задвижкам ставен.

В этот час Эмму обычно навещал аббат Бурнизьен. Он спрашивал, как ее здоровье, сообщал новости, заводил непри-
нужденный, неволнующий и вместе с тем довольно интересный
для нее разговор и незаметно обращал ее мысли к религии.
Один вид его сутаны действовал на нее успокаивающе.

В тот день, когда ей было особенно плохо, она подумала,
что умирает, и захотела причаститься. Во время приготовлений
к таинству, пока ее заставленный лекарствами комод превра-
щали в престол, пока Фелисите разбрасывала по полу геор-
гины, у Эммы было такое ощущение, будто на нее нисходит
непостижимая сила и избавляет от всех скорбей, будто она уже
ничего не воспринимает и ничего не чувствует. Освобожденная
плоть ни о чем больше не помышляла — для Эммы как бы на-
чиналась иная жизнь. И мнилось Эмме, что душа ее, возно-
сясь к небу, растворяется в божественной любви, подобно тому
как дым от ладана расходуется в воздухе. Постель окропили
святой водой, священник вынул из дароносицы белую облат-
ку, и, изнемогая от неземного блаженства, Эмма протянула
губы, чтобы принять тело Христово. Вокруг нее, словно обла-
ка, мягко круглились занавески алькова, две горевшие на ко-
моде свечи показались ей сияющими венцами нетления. Эмма
уронила голову на подушки, и ей почудилось, будто где-то
вдали зазвучали арфы серафимов, будто над нею раскинулось
голубое небо, а в небе, на золотом престоле, окруженный свя-
тыми с зелеными пальмовыми ветвями в руках, ей привиделся
бог-отец во всей его славе, и будто по его мановению огнекры-
лые ангелы спускаются на землю и вот сейчас унесут в сво-
их объятиях ее душу.

Это чудное видение запечатлелось в ее памяти как нечто
неизъяснимо прекрасное. Она старалась вызвать в себе чув-
ство, которое она испытала тогда и которое с тех пор не пере-
ставало жить в ней, — чувство, лишенное прежней силы, но
зато сохранившее всю свою пленительную глубину. Душа ее,
сломленная гордыней, находила успокоение в христианской
кротости. Наслаждаясь собственной слабостью, Эмма смотрела
на свое безволие, как на широкие врата, через которые в нее
войдет благодать. Значит, есть же на земле неизреченные бла-
женства, и перед ними земное счастье — прах, есть любовь
превыше всякой другой, любовь непрерывная, бесконечная, не-
уклонно растущая! Лелея обманчивые надежды, Эмма пред-
ставляла себе, что душа человеческая, достигнув совершенства,
способна воспарить над землею и слиться с небесами. И она
мечтала об этом. Ей хотелось стать святой. Она купила себе

четки, стала носить ладанки; она думала о том, как хорошо было бы повесить у себя в комнате над изголовьем усыпанный изумрудами ковчежец и каждый вечер прикладываться к нему.

Священника радовало такое ее умонастроение, но он опасался, что Эмма из-за своей чрезмерной набожности может впасть в ересь и даже свихнуться. Богобоязненность Эммы не укладывалась в известные рамки, и это было уже вне его компетенции, поэтому он счел за благо написать торговцу книгами духовно-нравственного содержания г-ну Булару и попросить его прислать «что-нибудь достойное внимания для одной очень умной особы женского пола». Книгопродавец отнесся к его просьбе столь же равнодушно, как если бы ему дали заказ на поставку скобяного товара неграм, и упаковал подряд все душеспасительные книги, которые были тогда в ходу. Он прислал и учебники в вопросах и ответах, и злобные памфлеты в духе г-на де Местра, и нечто приторное, романообразное в розовых переплетах, состряпанное сладкопевцами-семинаристами или же раскаявшимися синими чулками. Чего-чего тут только не было: и «Предмет для неустанных размышлений», и «Светский человек у ног девицы Марии, сочинение г-на де ***», разных орденов кавалера», и «Книга для юношества о заблуждениях Вольтера», и т. п.

Госпожа Бовари была еще не в силах на чем-либо сосредоточиться — для этого у нее была недостаточно ясная голова, а на присланные книги она набросилась с излишней жадностью. К церковной догматике она сразу же почувствовала отвращение; в сочинениях полемических ожесточенные нападки на лиц, о которых она не имела понятия, прискучили ей; наконец, в светских повестушках религиозного направления она обнаружила полнейшее незнание жизни; она надеялась, что душеполезные книги докажут ей непреложность некоторых истин, но они произвели как раз обратное действие: самые истины мало-помалу утратили для Эммы свое обаяние. Впрочем, она пока еще упорствовала, и когда книга выпадала у нее из рук, ей казалось, что такую красивую печаль способна чувствовать лишь настроенная на самый высокий лад католичка.

Между тем память о Родольфе ушла на самое дно ее души, и там она и покоилась, еще более величественная и неподвижная, нежели мумия земного владыки в какой-нибудь усыпальнице. Ее набальзамированная любовь источала некое благоухание и, пропитывая собою решительно все, насыщала нежностью ту безгрешную атмосферу, в которой стремилась жить Эмма. Преклонив колени на своей готической скамеечке, Эмма

обращала к богу те же ласковые слова, которые она когда-то со всем пылом неверной жены шептала своему любовнику. Ей казалось, что так она укрепляет в себе веру, и все же она не находила отрады в молитве — вся разбитая, она вставала со скамейки, и внутренний голос шептал ей, что она — жертва какого-то грандиозного обмана. Но она утешала себя тем, что господь посылает ей испытание. В своей богомольной гордыне Эмма сравнивала себя с теми знатными дамами былых времен, славе которых она завидовала, глядя на изображение де Лава-льер: необыкновенно величественно выглядевшие в длинных платьях с расшитым шлейфом, они уединялись для того, чтобы у ног Христа выплакать слезы своей наболевшей души.

Эмма увлеклась благотворительностью. Шила платья для бедных, посылала дров роженицам. Однажды Шарль, придя домой, застал на кухне трех проходимцев — они сидели за столом и ели суп. На время болезни Эммы Шарль отправил дочку к кормилице — теперь Эмма взяла ее домой. Она начала учить ее читать, и слезы Берты уже не выводили Эмму из терпения. Это была внушенная самой себе кротость, это было полное все-прощение. О чем бы она ни говорила, речь ее становилась выпренной. Она спрашивала Берту:

— У тебя больше не болит животик, мой ангел?

Госпоже Бовари-старшей теперь уже не к чему было придраться; ей только не нравилось, что невестка помешалась на вязании фуфаяк для сирот — лучше бы свое тряпье чинила. Но нелады с мужем извели почтенную даму, и она блаженствовала в тихом доме у сына; чтобы не видеть, как ее супруг, ярый безбожник, ест в Великую пятницу колбасу, она прожила здесь и Страстную и Пасху.

Свекровь, ободряюще действовавшая на Эмму своей прямолинейностью и всей своей горделивой осанкой, была далеко не единственной ее собеседницей — почти каждый день она с кем-нибудь да встречалась. Ее навещали г-жа Ланглуа, г-жа Карон, г-жа Дюбрейль, г-жа Тюваш и, ежедневно с двух до пяти, милейшая г-жа Оме, единственная из всех не верившая ни одной сплетне про свою соседку. Бывали у Эммы и дети Оме; их сопровождал Жюстен. Он поднимался с ними на второй этаж и до самого ухода молча, не шевелясь, стоял у порога. Иной раз г-жа Бовари, не смущаясь его присутствием, принималась за свой туалет. Первым делом она вытаскивала из волос гребень и встряхивала головой. Когда бедный мальчик увидел впервые, как кольца ее волос раскрутились и вся копна спустилась ниже колен, то это было для него нечаянным

вступлением в особый, неведомый мир, пугающий своим великолепием.

Эмма, конечно, не замечала его душевных движений, его робких взглядов. Она и не подозревала, что вот тут, около нее, под рубашкой из домотканого полотна, в юном сердце, открытом для лучей ее красоты, трепещет исчезнувшая из ее жизни любовь. Впрочем, Эмма была теперь до такой степени равнодушна ко всему на свете, так ласково со всеми говорила, а взгляд ее в это же самое время выражал такое презрение, такие резкие бывали у нее переходы, что вряд ли кто-нибудь мог понять, где кончается ее эгоизм и начинается отзывчивость, где кончается порок и начинается добродетель. Так, однажды вечером, служанка тщетно пыталась найти благовидный предлог, чтобы уйти со двора, и Эмма на нее рассердилась, а потом вдруг спросила в упор:

— Ты что, любишь его?

И, не дожидаясь ответа от зардевшейся Фелисите, с грустным видом сказала:

— Ну поди погуляй!

В начале весны Эмма, не посчитавшись с мужем, велела перекопать весь сад. Муж, впрочем, был счастлив, что она хоть в чем-то проявляет настойчивость. А она заметно окрепла, и проявления настойчивости наблюдались у нее все чаще. Прежде всего ей удалось отделаться от кормилицы, тетюшки Роле, которая, пока Эмма выздоравливала, с двумя своими питомцами и прожорливым, точно акула, пенсионером, зачастила к ней на кухню. Потом она сократила визиты семейства Оме, постепенно отвадила других гостей и стала реже ходить в церковь, заслужив этим полное одобрение аптекаря, который на правах друга однажды заметил ей:

— Вы уж было совсем замолились!

Аббат Бурнизьен по-прежнему приходил каждый день после урока катехизиса. Он любил посидеть на воздухе, в беседке, «в рощице», как называл он сад. К этому времени возвращался Шарль. Оба страдали от жары; им приносили сладкого сидру, и они пили за окончательное выздоровление г-жи Бовари.

Тут же, то есть внизу, как раз напротив беседки, ловил раков Бине. Бовари звал его выпить холодненького — тот уж очень ловко откупоривал бутылки.

— Бутылку не нужно наклонять, — самодовольным взглядом озирая окрестности, говорил Бине. — Сначала мы перережем проволочку, а потом осторожно, потихоньку-полегоньку,

вытолкнем пробку — так открывают в ресторанах бутылки с сельтерской.

Но во время опыта сидр нередко обдавал всю компанию, и в таких случаях священник, смеясь утробным смехом, всегда одинаково острил:

— Его доброкачественность бросается в глаза!

Аббат Бурнизьен был в самом деле человек незлобивый: когда однажды фармацевт посоветовал Шарлю развлечь супругу — повезти ее в руанский театр, где гастролировал знаменитый тенор Лагарди, он ничем не обнаружил своего неудовольствия. Озадаченный его невозмутимостью, г-н Оме прямо обратился к нему и спросил, как он на это смотрит; священник же ему ответил, что музыка не так вредна, как литература.

Фармацевт вступился за словесность. Он считал, что театр в увлекательной форме преподносит зрителям нравоучение и этим способствует искоренению предрассудков.

— *Castigat ridendo mores*¹, господин Бурнизьен! Возьмите, например, почти все трагедии Вольтера: они полны философских мыслей — для народа это настоящая школа морали и дипломатии.

— Я когда-то видел пьесу под названием «Парижский мальчишка», — вмешался Бине. — Там выведен интересный тип старого генерала — ну прямо выхвачен из жизни! Какого звону задает этот генерал одному барчуку! Барчук соблазнил работницу, а та в конце концов...

— Бесспорно, есть плохая литература, как есть плохая фармацевтика, — продолжал Оме. — Но отвергать огулом все лучшее, что есть в искусстве, — это, по-моему, нелепость; в этом есть что-то средневековое, достойное тех ужасных времен, когда Галилей томился в заточении.

— Я не отрицаю, что есть хорошие произведения, хорошие писатели, — возразил священник. — Но уже одно то, что особы обоего пола собираются в дивном здании, обставленном по последнему слову светского искусства... И потом этот чисто языческий маскарад, румяна, яркий свет, томные голоса — все это в конце концов ведет к ослаблению нравов, вызывает нескромные мысли, нечистые желания. Так, по крайней мере, смотрели на это отцы церкви. А уж раз, — добавил священник, внезапно приняв таинственный вид, что не мешало ему разминать на большом пальце понюшку табаку, — церковь осуди-

¹ Он смехом бичует нравы (лат.).

ла зрелища, значит, у нее были для этого причины. Наше дело — исполнять ее веления.

— А знаете, почему церковь отлучает актеров? — спросил аптекарь. — Потому что в давнопрошедшие времена их представления конкурировали с церковными. Да, да! Прежде играли, прежде разыгрывали на хорах так называемые мистерии; в сущности же, это были не мистерии, а что-то вроде фарсов, да еще фарсов-то в большинстве случаев непристойных.

Священник вместо ответа шумно вздохнул, а фармацевт все не унимался.

— Это как в Библии. Там есть такие... я бы сказал... пикантные подробности, уверяю вас!.. Там все вещи называются своими именами!

Тут Бурнизьена всего передернуло, но аптекарь не дал ему рта раскрыть:

— Вы же не станете отрицать, что эта книга не для молодых девушек. Я бы, например, был не в восторге, если б моя Аталия...

— Да ведь Библию рекомендуют протестанты, а не мы! — выйдя из терпения, воскликнул аббат.

— Не все ли равно? — возразил Оме. — Я не могу примириться с мыслью, что в наш просвещенный век находятся люди, которые все еще восстают против такого вида умственного отдыха, хотя это отдых безвредный, более того — здоровый и в нравственном и даже в физическом смысле. Не правда ли, доктор?

— Да, конечно, — как-то неопределенно ответил лекарь; то ли он, думая так же, как и Оме, не хотел обижать Бурнизьена, то ли он вообще никогда об этом не думал.

Разговор, собственно, был кончен, но фармацевт не удержался и нанес противнику последний удар:

— Я знал священников, которые переодевались в светское платье и ходили смотреть, как дрыгают ногами танцовщицы.

— А, будет вам! — возмутился аббат.

— Нет, я знал! — повторил Оме и еще раз произнес с расстановкой: — Нет — я — знал!

— Что ж, это с их стороны нехорошо, — заключил Бурнизьен: по-видимому, он твердо решил снести все.

— Да за ними, черт их побери, еще и не такие грешки водятся! — воскликнул аптекарь.

— Милостивый государь!..

Священник метнул при этом на фармацевта такой злобный взгляд, что тот струсил.

— Я хотел сказать,— совсем другим тоном заговорил Оме,— что нет более надежного средства привлечь сердца к религии, чем терпимость.

— А, вот это верно, вот это верно! — согласился добродушный аббат и опять сел на свое место.

Но он не просидел и трех минут. Когда он ушел, г-н Оме сказал лекарю:

— Это называется — жаркая схватка! Что, здорово я его поддел?.. Одним словом, послушайтесь вы моего совета, повезите госпожу Бовари на спектакль, хоть раз в жизни позлите вы этих ворон, черт бы их подрал! Если б меня кто-нибудь заменил, я бы поехал с вами. Но торопитесь! Лагарди дает только одно представление. У него ангажемент в Англию — ему там будут платить большие деньги. Говорят, это такой хапуга! Золото лопатой загребает! Всюду возит с собой трех любовниц и повара! Все великие артисты жгут свечу с обоих концов. Они должны вести беспутный образ жизни — это подхлестывает их фантазию. А умирают они в богадельне — в молодости им не приходит на ум, что надо копить про черный день. Ну-с, приятного аппетита! До завтра!

Мысль о спектакле засела в голове у Шарля. Он сейчас же заговорил об этом с женой, но она сперва отказалась, сославшись на то, что это утомительно, хлопотно, дорого. Шарль, против обыкновения, уперся,— он был уверен, что театр принесет ей пользу. Он полагал, что у нее нет серьезных причин для того, чтобы не ехать: мать недавно прислала им триста франков, на что он никак не рассчитывал, текущие долги составляли не очень значительную сумму, а до уплаты по векселям г-ну Лере было еще так далеко, что не стоило об этом и думать. Решив, что Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль донял ее своими приставаниями, и в конце концов она согласилась. На другой день в восемь утра они отбыли в «Ласточке».

Аптекаря ничто не удерживало в Ионвиле, но он считал своим долгом не покидать поста; выйдя проводить супругов Бовари, он тяжело вздохнул.

— Ну, добрый путь, счастливые смертные! — воскликнул Оме и, обратив внимание на платье Эммы — голубое, шелковое, с четырьмя воланами,— заметил: — Вы сегодня обворожительны. Вы будете иметь бешеный успех в Руане!

Дилижанс остановился на площади Бовуазин, у заезжего двора «Красный крест». На окраине любого провинциального города вы можете видеть такую же точно гостиницу: конюшни

в таком добром старом трактире бывают просторные, номера — тесные, на дворе под забрызганными грязью колясками коммивояжеров подбирают овес куры, в деревянной подгнившей галерее зимними ночами потрескивают от мороза бревна; здесь всегда людно, шумно, стены ломаются от снеди, черные столы залиты кофе с коньяком, влажные скатерти — все в пятнах от дешевого красного вина, толстые оконные стекла засижены мухами; здесь со стороны улицы — кофейная, а на задворках — огород, и здесь всегда пахнет деревней, как от вырядившихся по-городски батраков. Шарль сейчас же помчался за билетами. Он долго путал литерные ложи с галеркой, кресла партера с креслами ложи, подробно расспрашивал, ничего не понимал, когда ему объясняли, обегал всех, начиная с контролера и кончая директором, вернулся на постоянный двор, опять пошел в кассу — и так несколько раз он измерил расстояние от театра до гостиницы.

Госпожа Бовари купила себе шляпу, перчатки, бутоньерку. Г-н Бовари очень боялся опоздать к началу, и, не доев бульона, они подошли к театру, когда двери были еще закрыты.

XV

Толпа, разделенная балюстрадами на равные части, жались к стене. На громадных афишах, развешанных по углам ближайших улиц, затейливо выведенные буквы слагались в одни и те же слова: «Лючия де Ламермур»... Лагарди... Опера...» День стоял погожий; было жарко; волосы слипались от пота; в воздухе мелькали носовые платки и вытирали красные лбы. Порою теплый ветер с реки чуть колыхал края тиковых навесов над дверями кабачков. А немного дальше было уже легче дышать — освежала ледяная струя воздуха, насыщенная запахом сала, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы Шарет, застроенной большими темными складами, из которых выкатывали бочки.

Эмма, боясь оказаться в смешном положении, решила пройти по набережной: всё лучше, чем стоять перед закрытыми дверями театра. Шарль из предосторожности зажал билеты в кулак, а руку опустил в карман брюк и потом все время держал ее на животе.

Уже в вестибюле у Эммы сильно забилося сердце. Толпа устремила по другому фойе направо, а Эмма поднималась по лестнице в ложу первого яруса, и это невольно вызвало на

ее лице тщеславную улыбку. Ей, как ребенку, доставляло удовольствие дотрагиваться до широких, обитых материей дверей, она жадно дышала театральной пылью. Наконец она села на свое место в ложе и выпрямилась с непринужденностью герцогини.

Зал постепенно наполнялся. Зрители вынимали из футляров бинокли. Завзятые театралы еще издали узнавали друг друга и раскланивались. Эти люди смотрели на искусство как на отдых от тревог коммерции, но и здесь они не забывали про свои «дела» и вели разговор о хлопке, спирте, индиго. Виднелись невыразительные, малоподвижные головы стариков; бледность и седины придавали старикам сходство с серебряными медалями, которые покрылись тусклым свинцовым налетом. Г-жа Бовари любовалась сверху молодыми хлыщами, красовавшимися в первых рядах партера, — они выставляли напоказ в низком вырезе жилета розовые или же бледно-зеленые галстуки и затянутыми в желтые перчатки руками опирались на позолоченный набалдашник трости.

Между тем в оркестре зажглись свечи. С потолка спустилась люстра, засверкали ее граненые подвески, и в зале сразу стало веселее. Потом один за другим появились музыканты, и началась дикая какофония: гудели контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раздались три удара, загрели литавры, зазвучали трубы, занавес взвился, а за ним открылся ландшафт.

Сцена представляла опушку леса; слева протекал осененный ветвями дуба ручей. Поселяне и помещики с пледом через плечо спели хором песню охотников. Затем появился ловчий и, воздев руки к небу, стал вызывать духа зла. К нему присоединился другой, потом они ушли, и тогда снова запели охотники.

Эмма перенеслась в круг чтения своей юности, в царство Вальтера Скотта. Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шотландской волынки, многократно повторяемый эхом. Она хорошо помнила роман, это облегчало ей понимание оперы, и она пыталась следить за развитием действия, но буря звуков рассеивала обрывки ее мыслей. Эмма была захвачена музыкой, все ее существо звучало в лад волнующим мелодиям, у нее было такое чувство, точно смычки ударяют по нервам. Глаза разбегались, и она не могла налюбоваться костюмами, декорациями, действующими лицами, нарисованными деревьями, дрожавшими всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо, бархатными беретами,

плащами, шпагами, — всеми созданиями фантазии, колыхавшимися на волнах гармонии, словно на воздушных волнах горного мира. Но вот на авансцену вышла молодая женщина и бросила кошелек одетому в зеленое конюшему. Затем она осталась одна, и тут, подобно журчанью ручья или птичьему щебету, зазвучала флейта. Глядя перед собой сосредоточенным взглядом, Лючия начала каватину соль-мажор. Она пела о том, как жестока любовь, молила бога даровать ей крылья. Эмма ведь тоже стремилась покинуть земную юдоль, унести в объятиях ангела. И вдруг на сцену вышел Эдгар — Лагарди.

Он был бледен той очаровательной бледностью, которая придает лицам пылких южан строгость, чем-то напоминающую строгость мрамора. Его мощный стан облежала коричневая куртка. На левом боку у него болтался маленький кинжал с насечкой. Лагарди томно закатывал глаза и скалил белые зубы. Про него говорили, что когда-то давно он занимался починкой лодок на биаррицком пляже и что однажды вечером, послушав, как он поет песни, в него влюбилась польская панна. Она потратила на него все свое состояние. А он бросил ее ради других женщин, и слава сердцеда упрочила его артистическую репутацию. Хитрый комедиант непременно вставлял в рекламы какую-нибудь красивую фразу о своем обаянии и о своем чувствительном сердце. Дивный голос, несокрушимая самоуверенность, темперамент при отсутствии тонкого ума, напыщенность, прикрывавшая отсутствие истинного чувства, — вот чем брал этот незаурядный шарлатан, в котором было одновременно что-то от парикмахера и что-то от тореадора.

С первой же сцены он обворожил зрителей. Он душил в объятиях Лючию, уходил от нее, возвращался, разыгрывал отчаяние, вспышки гнева сменялись у него жалобными стонами, исполненными глубокой нежности, из его обнаженного горла излетали ноты, в которых слышались рыдания и звуки поцелуя. Эмма, перегнувшись через барьер и впившись ногтями в бархатную обивку ложи, глядела на него не отрываясь. Сердце ее наполнилось этими благозвучными жалобами, а они все лились и лились под аккомпанемент контрабасов, подобно стонам утопающих, которые не может заглушить вой урагана. Ей было знакомо это упоение, эта душевная мука — она сама чуть было не умерла от них. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственных дум, во всем этом пленительном вымысле отражалась какая-то сторона ее жизни. Но в действительности никто ее так не любил. Родольф не плакал, как Эдгар, когда они в последний вечер при лунном свете говорили друг другу: «До зав-

тра! До завтра!..» Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить всю стретту: влюбленные пели о цветах на своей могиле, о клятвах, о разлуке, о воле судеб, о надеждах. Когда же раздалось финальное «Прощай!», у Эммы вырвался пронзительный крик, и этот ее вопль слился с дрожью последних аккордов.

— За что вон тот синьор преследует ее? — спросил Бовари.

— Да нет же, это ее возлюбленный, — ответила Эмма.

— Но ведь он клянется отомстить ее семье, а тот, который только что пришел, сказал: «Лючию я люблю, и, кажется, взаимно». Да он и ушел под руку с ее отцом. Ведь уродец в шляпе с петушиным пером — это же ее отец?

Объяснения Эммы не помогли — во время речитативного дуэта, когда Гильберт сообщает своему господину, Эштону, какие адские козни он замышляет, Шарль увидел обручальное кольцо, которое должно было ввести в заблуждение Лючию, и решил, что это подарок Эдгара. Впрочем, он откровенно сознался: ему непонятно, что, собственно, происходит на сцене, из-за музыки он не улавливает слов.

— Не все ли тебе равно? — сказала Эмма. — Молчи!

— Ты же знаешь, я люблю, чтобы мне все было ясно, — наклонившись к ней, начал было Шарль.

— Молчи! Молчи! — сердито прошептала Эмма.

Лючию вели под руки служанки; в волосах у нее была ветка флёрдоранжа; она казалась бледнее своего белого атласного платья. Эмма вызвала в памяти день своей свадьбы. Она перенеслась воображением туда, в море хлебов, на тропинку, по которой все шли в церковь. Зачем она не сопротивлялась, не умоляла, как Лючия? Напротив, она ликовала, она не знала, что впереди — пропасть... О, если б в ту пору, когда ее красота еще не утратила своей первоначальной свежести, когда к ней еще не пристала грязь супружеской жизни, когда она еще не разочаровалась в любви запретной, кто-нибудь отдал ей свое большое, верное сердце, то добродетель, нежность, желания и чувство долга слились бы в ней воедино, и с высоты такого счастья она бы уже не пала! Но нет, это блаженство — обман, придуманный для того, чтобы разбитому сердцу было потом еще тяжелее. Искусство приукрашает страсти, но она-то извела все их убожество! Эмма старалась об этом не думать; в воссоздании ее собственных горестей ей хотелось видеть лишь ласкающую взор фантазию, разыгрываемую в лицах, и когда в глубине сцены из-за бархатного занавеса появился мужчина

в черном плаще, она внутренне даже улыбнулась снисходительной улыбкой.

От резкого движения его широкополая испанская шляпа упала на пол. Оркестр и певцы сейчас же начали секстет. Звонкий голос пылавшего гневом Эдгара покрывал все остальные. Баритон Эштона грозил Эдгару смертью, Лючия изливала свои жалобы на самых высоких нотах, Артур вел свою партию, модулируя в среднем регистре, первый бас священника гудел, точно орган, и слова его подхватывал чудесный хор женских голосов. Выстроившись в ряд, актеры повышенно жестикулировали. Из их уст излетали одновременно гнев, жажда мести, ревность, страх, сострадание и изумление. Оскорбленный любовник размахивал шпагой. От прерывистого дыхания вздымался кружевной воротник на его груди; звеня золочеными шпорами на мягких сапожках с раструбами у щиколоток, он большими шагами ходил по сцене. Глядя на певца, Эмма думала, что в душе у него, наверно, неиссякаемый источник любви, иначе она не была бы из него такой широкой струей. Все ее усилия принизить его были сломлены — ее покорила поэтический образ. Черты героя она переносила на самого актера; она старалась представить себе его жизнь, жизнь шумную, необыкновенную, блистательную, и невольно думала о том, что таков был бы и ее удел, когда бы случай свел ее с ним. Они бы познакомились — и полюбили друг друга! Она путешествовала бы по всем европейским государствам, переезжая из столицы в столицу, деля с ним его тяготы и его славу, подбирая цветы, которые бросают ему, своими руками вышивая ему костюмы. Каждый вечер она пряталась бы в ложе, отделенной от зала позолоченною решеткою, и, замерев, слушала излияния его души, а душа его пела бы для нее одной; со сцены, играя, он смотрел бы на нее. Но Лагарди действительно на нее смотрел — это было какое-то наваждение! Она готова была броситься к нему, ей хотелось укрыться в объятиях этого сильного человека, этой воплощенной любви, хотелось сказать ему, крикнуть: «Увези меня! Умчи меня! Скорей! Весь жар души моей — тебе, все мечты мои — о тебе!»

Занавес опустился.

Запах газа смешивался с человеческим дыханием, вееры только усиливали духоту. Эмма вышла в фойе, но там негде было яблоку упасть, и она с мучительным сердцебиением, ловя ртом воздух, вернулась в ложу и тяжело опустилась в кресло. Боясь, как бы у нее не было обморока, Шарль побежал в буфет за оршадом.

Немного погодя он с великим трудом протиснулся на свое место. Он держал обеими руками стакан, и его все время толкали под локти; кончилось тем, что он вылил почти весь оршад на плечи какой-то декольтированной руанки, а та, почувствовав, что по спине у нее течет жидкость, завопила так, словно ее резали. Ее супруг, владелец прядильной фабрики, напустился на косолапого медведя. Жена вытирала платком свое нарядное вишневого цвета платье из тафты, а он долго еще бурчал что-то насчет вознаграждения и возмещения убытков. Наконец Шарль снова очутился около своей жены.

— Честное слово, я уж думал, что не протолкаюсь! Народу!.. Народу!.. — отдуваясь, еле выговорил он и обратился к Эмме с вопросом: — Угадай, кого я там встретил? Леона!

— Леона?

— Ну да! Он сейчас придет с тобой повидаться.

Не успел Шарль договорить, как в ложу вошел бывший помощник ионвильского нотариуса.

Он протянул Эмме руку с бесцеремонностью светского человека. Г-жа Бовари, как бы подчинившись более сильной воле, машинально подала ему свою. Она не касалась его руки с того весеннего вечера, когда они, стоя у окна, прощались под шум дождя в зеленой листве. Однако, подумав о приличиях, она мгновенно стряхнула с себя столбняк воспоминаний и заговорила отрывистыми фразами:

— А, здравствуйте!.. Вот неожиданно! Какими судьбами?

— Тише! — крикнул кто-то из партера: третье действие уже началось.

— Так вы в Руане?

— Да.

— И давно?

— Вон! Вон!

На них оглядывались. Они замолчали.

Но Эмма уже не слушала музыку. Хор гостей, сцена Эштона со слугой, большой ре-мажорный дуэт — все это доносилось до нее откуда-то издалека, точно инструменты утратили звучность, а певцы ушли за кулисы. Она вспоминала игру в карты у фармацевта, поход к кормилице, чтение вслух в беседке, сидения у камелька, всю эту бедную событиями любовь, такую тихую и такую продолжительную, такую скромную, такую нежную и, однако, изгладившуюся из ее памяти. Зачем же он вернулся? Благодаря какому стечению обстоятельств он снова вошел в ее жизнь? Он сидел сзади, прижавшись пле-

чом к перегородке. По временам его теплое дыхание шевелило ее волосы, и она вздрагивала.

— Вам это интересно? — спросил он, наклонившись к ней так близко, что кончик его уса коснулся ее щеки.

— О нет! Не очень! — небрежным тоном ответила она.

Леон предложил уйти из театра и поесть где-нибудь мороженого.

— Подождем немножко! — сказал Бовари. — Волосы у нее распущены — сейчас, наверно, начнется самая драма.

Но сцена безумия не потрясла Эмму, игра певицы казалась ей неестественной.

Шарль слушал внимательно.

— Уж очень она кричит, — обращаясь к нему, сказала Эмма.

— Да... пожалуй... слегка переигрывает... — согласился Шарль; ему явно нравилась игра певицы, но он привык считаться с мнениями жены.

— Ну и душно же здесь!.. — со вздохом сказал Леон.

— Да, правда, невыносимо душно!

— Тебе нехорошо? — спросил Шарль.

— Я задыхаюсь. Пойдем!

Леон бережно набросил ей на плечи длинную кружевную шаль; все трое вышли на набережную и сели на вольном воздухе, перед кафе.

Сперва заговорили о болезни Эммы, причем она поминутно прерывала Шарля, — она уверяла, что г-ну Леону это скучно слушать. А Леон сказал, что в Нормандии через нотариуса проходят дела совсем иного характера, чем в Париже, и что он приехал на два года в Руан послужить в большой нотариальной конторе и набить себе руку. Затем спросил про Бертю, про семейство Оме, про тетюшку Лефрансуа. Больше в присутствии мужа говорить им было не о чем, и разговор скоро иссяк.

Мимо них шли по тротуару возвращавшиеся из театра зрители; некоторые из них мурлыкали себе под нос, а другие орали во все горло: «Ангел мой, Лючия!» Леон, желая блеснуть, заговорил о музыке. Он слышал Тамбурины, Рубини, Персиани, Гризи; рядом с ними захваленный Лагарди ничего не стоил.

— А все-таки говорят, что в последнем действии он совершенно изумителен, — посасывая шербет с ромом, прервал его Шарль. — Я жалею, что ушел, не дождавшись конца. Мне он все больше и больше нравился.

— Так ведь скоро будет еще одно представление, — заметил Леон.

На это Шарль возразил, что они завтра же уезжают.

— А может быть, ты побудешь тут без меня, моя кошечка? — обратился он к Эмме.

Эта неожиданно открывшаяся возможность заставила молодого человека изменить тактику, и он стал восторгаться игрой Лагарди в последней сцене: это что-то волшебное, неземное! Тогда Шарль начал настаивать:

— Ты вернешься в воскресенье. Да ну, не упрямясь! Раз это тебе хоть сколько-нибудь на пользу, значит нечего отказываться.

Столики между тем пустели; неподалеку от них стоял официант — Шарль понял намек и полез за кошельком; Леон схватил его за руку, расплатился и оставил официанту на чай две серебряные монетки, нарочно громко звякнув ими о мраморную доску стола.

— Мне, право, неловко, что вы за нас... — пробормотал Шарль.

Леон остановил его радушно-пренебрежительным жестом и взялся за шляпу.

— Итак, решено: завтра в шесть?

Шарль снова начал уверять, что ему-то никак нельзя, а вот Эмма вполне может...

— Дело в том, что... — запинаясь, проговорила она с какой-то странной усмешкой, — я сама еще не знаю...

— Ну, ладно, у тебя есть время подумать, там посмотрим, утро вечера мудренее, — рассудил Шарль и обратился к Леону, который пошел их провожать: — Ну, вы теперь опять в наших краях, — надеюсь, будете приезжать к нам обедать.

Молодой человек охотно согласился, тем более что ему все равно надо было съездить в Ионвиль по делам конторы. Распрощался он с г-ном и г-жой Бовари у пассажа «Сент-Эрблан», как раз когда на соборных часах пробило половину двенадцатого.

I

Леон, изучая право, довольно часто заглядывал в «Хижину» и даже пользовался большим успехом у гризеток, находивших, что он «очень мило себя держит». Самый приличный из всех студентов, он стриг волосы не слишком длинно и не слишком коротко, не проедал первого числа деньги, присланные на три месяца, и был в хороших отношениях с профессорами. Излишеств он себе не позволял по своему малодушию и из осторожности.

Когда Леон занимался днем у себя в комнате или вечером под липами Люксембургского сада, на память ему приходила Эмма, он задумывался и ронял Свод законов. Но мало-помалу его чувство к ней ослабело, на него наслоились иные желания, хотя и не совсем заглушили его. Леон еще не утратил надежду; неясное предчувствие манило его из далей будущего, точно золотой плод, качающийся на ветке сказочного дерева.

Когда же он встретился с Эммой после трехлетней разлуки, страсть его проснулась. Он решил, что пора сойтись с этой женщиной. К тому же веселые компании, в которых ему приходилось бывать, придали ему развязности, и теперь, вернувшись в провинцию, он уже смотрел свысока на всех, кто не ступал в лакированных ботинках по асфальту столичных улиц. Разумеется, перед парижанкой в кружевах или же войдя в салон знаменитого ученого, украшенного орденами и с собственным выездом, бедный помощник нотариуса трусил бы, как школьник. Но здесь, на руанской набережной, с женой лекаришки он не стеснялся, он знал заранее, что обольстит ее. Самонадеянность человека зависит от той среды, которая его окружает: на антресолях говорят иначе, нежели на пятом этаже,

добродетель богатой женщины ограждена всеми ее кредитными билетами, подобно тому как ее корсет поддерживают косточки, вставленные в подкладку.

Простившись вечером с супругами Бовари, Леон пошел за ними следом. Обнаружив, что они остановились в «Красном кресте», он вернулся домой и всю ночь потом обдумывал план.

На другой день, часов около пяти, чувствуя, как что-то давит ему горло, с помертвевшим лицом, исполненный решимости труса, той решимости, которая уже ни перед чем не останавливается, он вошел на кухню постоялого двора.

— Барина нет,— объявил слуга.

Леон решил, что это хороший знак. Он поднялся по лестнице. Его появление ничуть не смутило Эмму; напротив, она извинилась, что забыла сказать, где они сняли номер.

— А я догадался! — воскликнул Леон.

— То есть как?

Он ответил, что пошел наугад, что сюда его привело чутье. Эмма заулыбалась — тогда Леон, поняв, что сказал глупость, тут же сочинил другую версию: целое утро он искал ее по всем гостиницам.

— Итак, вы решили остаться? — спросил он.

— Да,— ответила она,— и напрасно. Нехорошо привыкать к недоступным удовольствиям, когда голова пухнет от забот...

— О, я вас понимаю!..

— Нет, вы этого понять не можете — вы не женщина!

Но ведь и у мужчин есть свои горести. Так, философствуя, втянулись они в беседу. Эмма долго говорила о том, как мелки земные страсти, и о том, что сердце человека обречено на вечное одиночество.

Чтобы порисоваться, а быть может, наивно подражая своим любимым меланхолическим героям, молодой человек сказал, что его занятия ему опротивели. Юриспруденцию он ненавидит, его влечет к себе другое поприще, а мать в каждом письме докучает ему своими наставлениями. Они все яснее говорили о том, почему им так тяжело, и это растущее взаимодоверие действовало на них возбуждающе. Но все же быть откровенными до конца они не решались — они старались найти такие слова, которые могли бы только навести на определенную мысль. Эмма так и не сказала, что любила другого; Леон не признался, что позабыл ее.

Быть может, Леон теперь и не помнил об ужинах с масками после бала, а Эмма, конечно, не думала о том, как она

утром бежала по траве на свидание в усадьбу своего любовника. Уличный шум почти не долетал до них; в этом номерке, именно потому, что он был такой тесный, они чувствовали себя как-то особенно уединенно. Эмма, в канифасовом пеньюаре, откинулась на спинку старого кресла, желтые обои сзади нее казались золотым фоном, в зеркале отражались ее волосы с белой полоской прямого пробора, из-под прядей выглядывали мочки ушей.

— Ах, простите! — сказала она. — Вам, верно, наскучили мои вечные жалобы!

— Да нет, что вы, что вы!

— Если б вы знали, о чем я всегда мечтала! — воскликнула Эмма, глядя в потолок своими прекрасными глазами, в которых вдруг заблестели слезинки.

— А я? О, я столько выстрадал! Я часто убегал из дому, ходил, бродил по набережной, старался оглушить себя шумом толпы и все никак не мог отделаться от наваждения. На бульваре я видел у одного торговца эстампами итальянскую гравюру с изображением Музы. Муза в тунике, с незабудками в распущенных волосах, глядит на луну. Какая-то сила неудержимо влекла меня к ней. Я часами простаивал перед этой гравюрой. Муза была чуть-чуть похожа на вас, — дрогнувшим голосом добавил Леон.

Эмма, чувствуя, как губы у нее невольно складываются в улыбку, отвернулась.

— Я часто писал вам письма и тут же их рвал, — снова заговорил Леон.

Она молчала.

— Я мечтал: а вдруг вы приедете в Париж! На улицах мне часто казалось, что я вижу вас. Я бегал за всеми фиакрами, в которых мелькал кончик шали, кончик вуалетки, похожей на вашу...

Эмма, видимо, решила не прерывать его. Скрестив руки и опустив голову, она рассматривала банты своих атласных туфель, и пальцы ее ног по временам шевелились.

Наконец она вздохнула.

— А все же нет ничего печальнее моей участи: моя жизнь никому не нужна. Если бы от наших страданий кому-нибудь было легче, то мы бы, по крайней мере, утешались мыслью о том, что мы жертвуем собой ради других.

Леон стал превозносить добродетель, долг и безмолвное самоотречение; оказывается, он тоже ощущал неодолимую потребность в самопожертвовании, но не мог удовлетворить ее.

— Мне очень хочется быть сестрой милосердия,— сказала она.

— Увы! — воскликнул Леон.— У мужчин такого святого призвания нет. Я не вижу для себя занятия... пожалуй, кроме медицины...

Едва заметно пожав плечами, Эмма стала рассказывать о своей болезни: ведь она чуть не умерла! Как жаль! Смерть прекратила бы ее страдания. Леон поспешил признаться, что он тоже мечтает только о *покое могилы*. Однажды вечером ему будто бы даже вздумалось составить завещание, и в этом завещании он просил, чтобы к нему в гроб положили тот прелестный коврик с бархатной каемкой, который ему когда-то подарила Эмма. Обоим в самом деле хотелось быть такими, какими они себя изображали: оба создали себе идеал и к этому идеалу подтягивали свое прошлое. Слова — это волшебный стан, на котором можно растянуть любое чувство.

Однако выдумка с ковриком показалась ей неправдоподобной.

— Зачем же? — спросила она.

— Зачем? — Леон замялся.— Затем, что я вас так любил!

Порадовавшись, что самый трудный барьер взят, Леон искоса взглянул на нее.

С ним произошло то же, что происходит на небе, когда ветер вдруг разгонит облака. Грустные думы, находившие одна на другую и омрачавшие голубые глаза Леона, как будто бы рассеялись; его лицо сияло счастьем.

Он ждал.

— Я и раньше об этом догадывалась...— наконец произнесла Эмма.

И тут они начали пересказывать друг другу мелкие события того невозвратного времени, все радости и горести которого сводились для них теперь к одному-единственному слову. Он вспомнил беседку, увитую ломоносом, платья Эммы, обстановку ее комнаты, весь ее дом.

— А наши милые кактусы целы?

— Померзли зимой.

— Как часто я о них думал, если б вы только знали! Я представлял их себе точно такими, как в те летние утра, когда занавески на окнах были пронизаны солнечным светом... и когда ваши обнаженные руки мелькали в цветах.

— Милый друг! — сказала Эмма и протянула ему руку.

Леон прильнул к ней губами. Потом глубоко вздохнул.

— Внутри вас была тогда какая-то неведомая сила, и она действовала на меня неотразимо... — продолжал Леон. — Однажды я пришел к вам... Но вы, конечно, этого не помните.

— Нет, помню, — возразила Эмма. — Ну, дальше?

— Вы стояли внизу, в передней, на ступеньке, собирались уходить. На вас была шляпка с голубенькими цветочками. Вы мне не предложили проводить вас, а я все-таки, наперекор самому себе, пошел за вами. С каждой минутой мне все яснее становилось, что я допустил бестактность. Я плелся сзади, навязываться в провожатые мне было неловко, а уйти совсем я не мог. Когда вы заходили в лавки, я оставался на улице и смотрел в окно, как вы снимаете перчатки и отсчитываете деньги. Но вот вы позвонили к госпоже Тюваш, вам открыли, за вами захлопнулась большая тяжелая дверь, а я стою перед ней как дурак.

Госпожа Бовари слушала его и дивилась тому, какая она старая; ей казалось, что все эти восстанавливаемые в памяти подробности удлиняют прожитую жизнь; чувства, которые она сейчас вызывала в себе, росли до бесконечности.

— Да, правда!.. Правда!.. Правда!.. — полузакрыв глаза, время от времени роняла Эмма.

На всех часах квартала Бовуазин, где что ни шаг, то пансион, церковь или заброшенный особняк, пробило восемь. Леон и Эмма молчали, но когда они обменивались взглядами, в ушах у них начинало шуметь, точно из их неподвижных зрачков исходил какой-то звук. Они взялись за руки, и прошлое, будущее, воспоминания и мечты — все для них слилось в одно ощущение тихого восторга. Стены в номере потемнели, но еще сверкали выплывавшие из мрака яркие краски четырех гравюр: на них были изображены сцены из «Нельской башни», а под гравюрами давались пояснения на испанском и французском языках. В окно был виден клочок темного неба между островерхими кровлями.

Эмма встала, зажгла на комодке две свечи и опять села на свое место.

— Итак?.. — спросил Леон.

— Итак? — в тон ему проговорила Эмма.

Он все еще думал, как вновь начать прерванный разговор, но вдруг она сама обратилась к нему с вопросом:

— Отчего никто до сих пор не выражал мне таких чувств?

Молодой человек на это заметил, что возвышенную натуру не так-то легко понять. Он, однако, полюбил ее с первого взгляда

и потом не раз приходил в отчаяние при мысли о том, как бы они могли быть счастливы, если б волею судеб встретились раньше и связали себя неразрывными узами.

— Я тоже иногда об этом думала, — призналась Эмма.

— Какая отрадная мечта! — прошептал Леон и, осторожно перебирая синюю бахромку ее длинного белого пояса, добавил: — Кто же нам мешает все начать сызнова?..

— Нет, мой друг, — сказала Эмма. — Я уже стара... а вы еще молоды... Забудьте обо мне! Вас еще полюбят... полюбите и вы.

— Но не так, как вас! — вырвалось у Леона.

— Какое вы еще дитя! Ну будем же благоразумны! Я так хочу!

Она стала ему доказывать, что любить друг друга им нельзя, что они по-прежнему не должны выходить за пределы дружбы.

Искренне ли говорила Эмма? Этого она, конечно, и сама не знала — радость обольщения и необходимость обороны владели всем ее существом. Нежно глядя на молодого человека, она мягким движением отстраняла его дрожащие руки, робко пытавшиеся приласкать ее.

— Простите! — сказал он, отодвигаясь.

И в душу к Эмме закралась смутная тревога, внушенная этой его робостью, более опасной, нежели смелость Родольфа, который тогда, раскинув руки, двигался прямо к ней. Леон казался ей красивее всех на свете. От него веяло необыкновенной душевной чистотой. Его длинные тонкие загнутые ресницы поминутно опускались. Нежные щеки горели — Эмме казалось: желанием, и ее неудержимо тянуло дотронуться до них губами. Наконец Эмма посмотрела на часы.

— Боже, как поздно! — воскликнула она. — Заболтались мы с вами!

Он понял намек и стал искать шляпу.

— Я даже забыла о спектакле! А бедный Бовари нарочно меня здесь оставил! Я должна была пойти с Лормо и с его женой — они живут на улице Большого моста.

Возможность упущена: завтра она уезжает.

— В самом деле? — спросил Леон.

— Да.

— Мне необходимо увидеться с вами еще раз, — заявил он. — Мне надо вам сказать...

— Что сказать?

— Одну... серьезную, важную вещь. Да нет, вы не уедете, это невозможно! Если б вы знали... Выслушайте меня.. Неужели вы меня не поняли? Неужели вы не догадались?..

— Вы же так прекрасно говорите! — сказала Эмма.

— А, вы шутите! Довольно, довольно! Сжальтесь, позвольте мне снова увидеться с вами... только один раз... один-единственный!

— Ну что ж!.. — Эмма запнулась и, словно спохватившись, воскликнула: — Но только не здесь!

— Где вам угодно.

— Хотите...

Подумав, она произнесла скороговоркой:

— Завтра, в одиннадцать утра, в соборе.

— Приду! — воскликнул он и схватил ее руки, но она отняла.

Оба теперь стояли, он — сзади нее; вдруг Эмма опустила голову, — Леон сейчас же нагнулся и надолго припал губами к ее затылку.

— Да вы с ума сошли! Вы с ума сошли! — прерывисто и звонко смеясь, повторяла она, меж тем как Леон осыпал ее поцелуями.

Наконец Леон взглянул на нее через плечо — он словно искал в ее глазах одобрения. Но глаза ее выражали неприступное величие.

Леон сделал три шага назад, к выходу. Остановился на пороге. Дрожащим голосом прошептал:

— До завтра!

Она кивнула и, как птица, выпорхнула в соседнюю комнату.

Вечером Эмма написала Леону бесконечно длинное письмо, в котором отменяла свидание: между ними все кончено, для их же благополучия они не должны больше встречаться. Но, запечатав письмо, Эмма вспомнила, что не знает его адреса, и это поставило ее в тупик.

«Он придет на свидание, и я передам ему лично», — решила она.

Наутро Леон отворил окно, вышел на балкон и, напевая, до блеска начистил свои туфли. Он надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фрак, вылил на носовой платок все свои духи, потом завился у парикмахера, но, чтобы придать своей прическе естественную элегантность, тут же взбил волосы.

«Еще очень рано», — подумал он, посмотрев на висевшие в парикмахерской часы с кукушкой: они показывали девять.

Он прочел старый модный журнал, вышел, закурил сигару, прошел три улицы и, решив, что уже пора, быстрыми шагами направился к собору.

Было чудесное летнее утро. В витринах ювелиров отсвечивало серебро; лучи солнца, косо падавшие на собор, скользили по изломам серых камней; в голубом небе вокруг стрельчатых башен летали стрижи; на шумной площади пахло цветами, окаймлявшими мостовую: розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами и туберозами, росшими в беспорядке среди влажной зелени котовика и воробьиного проса; в центре площади журчал фонтан; под широкими зонтами, окруженные пирамидами дынь, простоволосые торговки завертывали в бумагу букеты фиалок.

Молодой человек взял букет. Первый раз в жизни покупал он цветы для женщины; он понюхал фиалки и невольно приосанился, словно это не ей собирался он поднести цветы, а себе самому.

Подумав, однако, что его могут увидеть, он решительным шагом двинулся к собору.

У левых дверей на середине притвора под «Пляшущей Мариам» стоял в шляпе с султаном, при шпаге и с булавой, величественный, словно кардинал, и весь сверкающий, как дароносица, привратник.

Он шагнул навстречу Леону и с той приторно-ласковой улыбкой, какая появляется у церковнослужителей, когда они обращаются к детям, спросил:

— Вы, сударь, наверно, приезжий? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет,— ответил Леон.

Он обошел боковые приделы. Потом вышел на паперть. Эммы не было видно. Тогда он поднялся на хоры.

В чашах со святой водой отражался неф вместе с нижней частью стрельчатых сводов и кусочками цветных стекол. Отражение росписи разбивалось о мраморные края чаш, а дальше пестрым ковром ложилось на плиты пола. От трех раскрытых дверей тянулись три огромные полосы света. Время от времени в глубине храма проходил ризничий и, как это делают богомольные люди, когда торопятся, как-то боком опускался на колени напротив престола. Хрустальные люстры висели неподвижно. На хорах горела серебряная лампада. Порой из боковых приделов, откуда-то из темных углов доносилось как бы дуновение вдоха, и вслед за тем стук опускающейся решетки гулко отдавался под высокими сводами.

Леон чинно прохаживался у самых стен. Никогда еще жизнь так не улыбалась ему, как сейчас. Вот-вот, украдкой ловя провожающие ее взгляды, взволнованная, очаровательная, вой-

дет она, и он увидит ее золотую лорнетку, платье с воланами, прелестные ботинки, она предстанет перед ним во всем своем многообразном, чисто женском изяществе, которое ему еще внове, со всем невыразимым обаянием уступающей добродетели. Вся церковь расположится вокруг нее громадным будуаром; своды наклонятся, чтобы под их сенью она могла исповедаться в своей любви; цветные стекла засверкают еще ярче и осветят ее лицо; кадиланицы будут гореть для того, чтобы она появилась, как ангел, в благовонном дыму.

Но она все не шла. Он сел на стул, и взгляд его уперся в синий витраж, на котором были изображены рыбаки с корзинами. Он долго, пристально разглядывал его, считал чешуйки на рыбах, пуговицы на одежде, а мысль его блуждала в поисках Эммы.

Привратник стоял поодаль и в глубине души злобствовал на этого субъекта за то, что тот смеет без него осматривать собор. Он считал, что Леон ведет себя непозволительно, что это в своем роде воровство, почти святотатство.

Но вот по плитам зашуршал шелк, мелькнули поля шляпки и черная накидка... Она! Леон вскочил и побежал навстречу.

Эмма была бледна. Она шла быстро.

— Прочтите!.. — сказала Эмма, протягивая ему листок бумаги. — Ах нет, не надо!

Она отдернула руку, пошла в придел во имя божьей матери и, опустившись на колени подле стула, начала молиться.

Сначала эта ханжеская причуда возмутила молодого человека, затем он нашел своеобразную прелесть в том, что Эмма, точно андалузская маркиза, явившись на свидание, вся ушла в молитву, но это, видимо, затягивалось, и Леон скоро соскучился.

Эмма молилась, или, вернее, старалась молиться; она надеялась, что вот сейчас ее осенит, и она примет решение. Упоная на помощь свыше, она точно впитывала глазами блеск дарохранительницы, вбирала в себя аромат белых ночных красавиц, распустившихся в больших вазах, и прислушивалась к тишине храма, но эта тишина лишь усиливала ее сердечную тревогу.

Наконец она встала с колен, и оба двинулись к выходу, как вдруг к ним подскочил привратник и спросил:

— Вы, сударыня, наверно, приезжая? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет! Нет! — крикнул Леон.

— Отчего же? — возразила Эмма.

Всей своей шаткой добродетелью она цеплялась за деву Марию, за скульптуры, за могильные плиты, за малейший предлог.

Вознамерившись показать «все по порядку», привратник вывел их на паперть и показал булавой на выложенный из черных каменных плит большой круг, лишенный каких бы то ни было надписей и украшений.

— Вот это окружность замечательного амбуазского колокола,— торжественно начал привратник.— Он весил тысячу пудов. Равного ему не было во всей Европе. Мастер, который его отлил, умер от радости...

— Идемте! — прервал его Леон.

Привратник пошел дальше. Вступив в придел божьей матери, он сделал широкий, всеохватывающий, приглашающий любоваться жест и с гордостью сельского хозяина, показывающего фруктовый сад, опять начал объяснять:

— Под этой грубой плитой покоятся останки Пьера де Брезе, сеньора де ла Варен и де Брисак, великого маршала Пуату и нормандского губернатора, павшего в бою при Монлери шестнадцатого июля тысяча четыреста шестьдесят пятого года.

Леон кусал губы и переступал с ноги на ногу.

— Направо вы видите закованного в латы рыцаря на вздыбленном коне — это его внук, Луи де Брезе, сеньор де Бреваль и де Моншове, граф де Молеврие, барон де Монн, камергер двора, ордена кавалер и тоже нормандский губернатор, скончавшийся, как удостоверяет надпись, в воскресенье двадцать третьего июля тысяча пятьсот тридцать первого года. Выше человек, готовый сойти в могилу,— это тоже он. Невозможно лучше изобразить небытие,— как ваше мнение?

Госпожа Бовари приставила к глазам лорнет. Леон смотрел на нее неподвижным взглядом; он даже не пытался что-нибудь сказать, сделать какое-нибудь движение — до того он был огорошен этой неудержимой и, в сущности, равнодушной болтовней.

— Рядом с ним,— продолжал, как заведенная машина, гид,— плачущая женщина на коленях: это его супруга, Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа, родилась в тысяча четыреста девяносто девятом, умерла в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году. Налево пресвятая дева с младенцем. Теперь посмотрите сюда — вот могилы Амбуазов. Оба они были руанскими архиепископами и кардиналами. Вот этот был министром при Людовике Двенадцатом. Он много сделал для собора. Завещал на бедных тридцать тысяч экю золотом.



Госпожа Бовари

Не умолкая ни на минуту, привратник втолкнул Леона и Эмму в ризницу и, раздвинув балюстрады, которыми она была заставлена, показал каменную глыбу, когда-то давно, по всей вероятности, представлявшую собой скверную статую.

— В былые времена,— с глубоким вздохом сказал привратник,— она украшала могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Английского и герцога Нормандского. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе закопали ее в землю, под епископским креслом. Поглядите: через эту дверь его высокопреосвященство проходит в свои покои. Теперь посмотрите витражи с изображением дракона, сраженного Георгием Победоносцем.

Но тут Леон вынул второпях из кармана серебряную монету и схватил Эмму за руку.

Привратник остолбенел — такая преждевременная щедрость была ему непонятна: ведь этому приезжему столько еще надо было осмотреть! И он крикнул ему вслед:

— Сударь! А шпиль! Шпиль!

— Нет, благодарю вас,— ответил Леон.

— Напрасно, сударь! Высота его равняется четыремстам сорока футам, он всего на девять футов ниже самой большой египетской пирамиды. Он весь литой, он...

Леон бежал. Ему казалось, что его любовь, за два часа успевшая окаменеть в соборе, теперь, словно дым, улетучивалась в усеченную трубу этой вытянутой в длину клетки, этого ажурного камина — трубу, причудливо высившуюся над собором, как нелепая затея сумасброда-медника.

— Куда же мы? — спросила Эмма.

Вместо ответа Леон прибавил шагу, и г-жа Бовари уже окунула пальцы в святую воду, как вдруг сзади них послышалось громкое пыхтенье, прерываемое мерным постукиваньем палки. Леон обернулся.

— Сударь!

— Что еще?

Привратник нес около двадцати толстых томов, поддерживая их животом, чтобы они не упали. Это были «труды о соборе».

— Болван! — буркнул Леон и выбежал из церкви.

На паперти шалил уличный мальчишка.

— Позови мне извозчика!

Мальчик полетел стрелой по улице Катр-Ван. На несколько минут Леон и Эмма остались вдвоем, с глазу на глаз, и оба были слегка смущены.

— Ах, Леон!.. Я, право, не знаю... Мне нельзя...

Она кокетничала. Потом сказала уже серьезно:

— Понимаете, это очень неприлично!

— Почему? — возразил Леон. — В Париже все так делают!

Это был для нее самый веский довод.

А извозчик все не показывался. Леон боялся, как бы она опять не пошла в церковь. Наконец подъехал извозчик.

— Выйдите хотя бы через северные двери! — крикнул им с порога привратник. — Увидите «Воскресение из мертвых», «Страшный суд», «Рай», «Царя Давида» и «Грешников в геенне огненной».

— Куда ехать? — осведомился кучер.

— Куда хотите! — подсаживая Эмму в карету, ответил Леон.

И громоздкая колымага пустилась в путь.

Она двинулась по улице Большого моста, миновала площадь Искусств, набережную Наполеона, Новый мост, и кучер осадил лошадь прямо перед статуей Пьера Корнеля.

— Пошел! — крикнул голос из кузова.

Лошадь рванула и, подхватив с горы, начинающейся на углу улицы Лафайета, галопом примчалась к вокзалу

— Нет, прямо! — крикнул все тот же голос.

Выехав за заставу, лошадь затрусила по дороге, обсаженной высокими вязами. Извозчик вытер лоб, зажал между колен свою кожаную фуражку и, свернув к реке, погнал лошадь по берегу, мимо лужайки.

Некоторое время экипаж ехал вдоль реки, по вымощенному булыжником бечевнику, а потом долго кружил за островами, близ Уаселя.

Но вдруг он понесся через Катрмар, Сотвиль, Гранд-Шоссе, улицу Эльбеф и в третий раз остановился у Ботанического сада.

— Да ну, пошел! — уже злобно крикнул все тот же голос.

Снова тронувшись с места, экипаж покатиł через Сен-Север, через набережную Кюрандые, через набережную Мёль, еще раз проехал по мосту, потом по Марсову полю и мимо раскинувшегося на зеленой горе больничного сада, где гуляли на солнышке старики в черных куртках. Затем поднялся по бульвару Буврёйль, пролетел бульвар Кошуаз и всю Мон-Рибуде до самого Городского спуска.

Потом карета повернула обратно и после долго еще колесила, но уже наугад, без всякой цели и направления. Ее видели

в кварталах Сен-Поль и Лекюр, на горе Гарган, в Руж-Мар, на площади Гайярбуа, на улице Маладрери, на улице Динандери, у церквей св. Романа, св. Вивиана, св. Маклу, св. Никеза, возле таможни, возле нижней Старой башни, в Труа-Пип и у Главного кладбища. Извозчик бросал по временам со своих козел безнадежные взгляды на кабачки. Он не мог понять, что это за страсть — двигаться без передышки. Он несколько раз пробовал остановиться, но сейчас же слышал за собой грозный окрик. Тогда он снова принимался нахлестывать своих двух взмыленных кляч и уже не остерегался толчков, не разбирал дороги и все время на что-то наезжал; он впал в глубокое уныние и чуть не плакал от жажды, от усталости и от тоски.

А на набережной, загроможденной бочками и телегами, на всех улицах, на всех перекрестках взоры обывателей были прикованы к невиданному в провинции зрелищу — к беспрерывно кружившей карете с опущенными шторами, непроницаемой, точно гроб, качавшейся из стороны в сторону, словно корабль на волнах.

Только однажды, за городом, в середине дня, когда солнце зажигало особенно яркие отблески на старых посеребренных фонарях, из-под желтой полотняной занавески высунулась голая рука и выбросила мелкие клочки бумаги; ветер подхватил их, они разлетелись и потом белыми мотыльками опустились на красное поле цветущего клевера.

Было уже около шести часов, когда карета остановилась в одном из переулков квартала Бовуазин; из нее вышла женщина под вуалью и, не оглядываясь, пошла вперед.

II

Придя в гостиницу, г-жа Бовари, к своему удивлению, не обнаружила на дворе дилижанса. Ивер, прождав ее пятьдесят три минуты, уехал.

Спешить ей было, собственно, некуда, но она дала Шарлю слово вернуться домой в этот день к вечеру. Шарль ее ждал, и она уже ощущала в душе ту малодушную покорность, которая для большинства женщин является наказанием за измену и в то же время ее искуплением.

Она быстро уложила вещи, расплатилась, наняла тут же, во дворе, кабриолет и, торопя кучера, подбадривая его, поминутно спрашивая, который час и сколько они уже проехали, в конце концов нагнала «Ласточку» на окраине Кенкампуа.

Прикорнув в уголке, Эмма тотчас закрыла глаза — и открыла их, когда дилижанс уже спустился с горы; тут она еще издали увидела Фелисите, стоявшую на часах подле кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, став на цыпочки, таинственно прошептала в окошко:

— Барыня, поезжайте прямо к господину Оме. Очень важное дело.

В городке, по обыкновению, все было тихо. На тротуарах дымились тазы, в которых розовела пена: был сезон варки варенья, и весь Ионвиль запасался им на год. Но перед аптекой стояла жаровня с самым большим тазом; он превосходил своими размерами все прочие — так же точно лаборатория при аптеке должна быть больше кухни в обывательских домах, так же точно общественная потребность должна господствовать над индивидуальными прихотями.

Эмма вошла в дом. Большое кресло было опрокинута; даже «Руанский светоч» валялся на полу между двумя пестиками. Эмма толкнула кухонную дверь и среди глиняных банок со смородиной, сахарным песком и рафинадом, среди весов на столах и тазов, поставленных на огонь, увидела всех Оме, от мала до велика, в передниках, доходивших им до подбородка, и с ложками в руках. Жюстен стоял, понутив голову, а фармацевт на него кричал:

— Кто тебя посылал в склад?

— Что такое? В чем дело?

— В чем дело? — подхватил аптекарь. — Мы варим варенье. Варенье кипит. В нем слишком много жидкости, того и гляди убежит, и я велю принести еще один таз. И вот он, лентяй, разгильдяй, снимает с гвоздя в моей лаборатории ключ от склада!

Так г-н Оме называл каморку под крышей, заваленную аптекарскими приборами и спадобьями. Нередко он пребывал там в одиночестве и целыми часами наклеивал этикетки, переливал, перевязывал склянки. И смотрел он на эту каморку не как на кладовую, а как на истинное святилище, ибо оттуда исходили собственноручно им приготовленные крупные и мелкие пилюли, декокты, примочки и присыпки, распространявшие славу о нем далеко окрест. Никто, кроме него, не имел права переступить порог святилища. Г-н Оме относился к нему с таким благоговением, что даже сам подметал его. Словом, если в аптеке, открытой для всех, он тешил свое тщеславие, то склад служил ему убежищем, где он с сосредоточенностью эгоиста предавался своим любимым занятиям. Вот почему легкомыслен-

ный поступок Жюстена он расценивал как неслыханную дерзость. Он был краснее смородины и все кричал:

— Да, от склада! Ключ от кислот и едких щелочей! Схватил запасной таз! Таз с крышкой! Теперь я, может быть, никогда больше им не воспользуюсь! Наше искусство до того тонкое, что здесь имеет значение каждая мелочь! Надо же, черт возьми, разбираться в таких вещах, нельзя для домашних, в сущности, надобностей употреблять то, что предназначено для надобностей фармацевтики! Это все равно что резать пулярку скальпелем, это все равно, как если бы судья...

— Да успокойся! — говорила г-жа Оме.

Аталия тянула его за полы сюртука:

— Папа! Папа!

— А, черт! Оставьте вы меня, оставьте! — не унимался аптекарь. — Ты бы лучше лавочником заделался, честное слово! Ну что ж, круши все подряд! Ломай! Бей! Выпусти пиявок! Сожги алтею! Маринуй огурцы в склянках! Разорви бинты!

— Вы меня... — начала было Эмма.

— Сейчас!.. Знаешь, чем ты рисковал?.. Ты ничего не заметил в левом углу, на третьей полке? Говори, отвечай, изреки что-нибудь!

— Нне... не знаю, — пролепетал подросток.

— Ах, ты не знаешь! Ну, а я знаю! Ты видел банку синего стекла, залитую желтым воском, банку с белым порошком, на которой я своей рукой написал «Опасно!»? Ты знаешь, что в ней? Мышьяк! А ты до него дотронулся! Ты взял таз, который стоял рядом!

— Мышьяк? Рядом? — всплеснув руками, воскликнула г-жа Оме. — Да ты всех нас мог отравить!

Тут все дети заревели в голос, как будто они уже почувствовали дикую боль в животе.

— Или отравить больного! — продолжал аптекарь. — Ты что же, хотел, чтобы я попал на скамью подсудимых? Чтобы меня повлекли на эшафот? Разве тебе не известно, какую осторожность я соблюдаю в хранении товаров, несмотря на свой колоссальный опыт? Мне становится страшно при одной мысли о том, какая на мне лежит ответственность! Правительство нас преследует, а действующее у нас нелепое законодательство висит у нас над головой, как дамоклов меч!

Эмма уже не спрашивала, зачем ее звали, а фармацевт, задыхаясь от волнения, все вопил:

— Вот как ты нам платишь за нашу доброту! Вот как ты благодаришь меня за мою истинно отеческую заботу! Если б

не я, где бы ты был? Что бы ты собой представлял? Кто тебя кормит, воспитывает, одевает, кто делает все для того, чтобы со временем ты мог занять почетное место в обществе? Но для этого надо трудиться до кровавого пота, как говорят — не покладая рук. *Fabricando fit bafer, age quod agis*¹.

От злости он перешел на латынь. Он бы заговорил и по-китайски и по-гренландски, если б только знал эти языки. Он находился в таком состоянии, когда душа бессознательно раскрывается до самого дна — так в бурю океан взметает и прибрежные водоросли, и песок своих пучин.

— Я страшно жалею, что взял тебя на воспитание! — бушевал фармацевт. — Вырос в грязи да в бедности — там бы и коптел! Из тебя только пастух и выйдет. К наукам ты не способен! Ты этикетку-то путем не наклеишь! А живешь у меня на всем готовеньком, как сыр в масле катаешься!

Наконец Эмма обратилась к г-же Оме:

— Вы меня звали...

— Ах, боже мой! — с печальным видом прервала ее добрая женщина. — Уж и не знаю, как вам сказать... Такое несчастье!

Она не договорила. Аптекарь все еще метал громы и молнии:

— Вычисти! Вымой! Унеси! Да ну, скорей же!

С этими словами он так тряхнул Жюстена, что у того выпала из кармана книжка.

Мальчик нагнулся. Фармацевт опередил его, поднял книгу и, взглянув, выпучил глаза и разинул рот.

— *Супружеская... любовь!* — нарочито медленно произнес он. — Хорошо! Очень хорошо! Прекрасно! И еще с картинками!.. Нет, это уже слишком!

Госпожа Оме подошла поближе.

— Не прикасайся!

Детям захотелось посмотреть картинки.

— Уйдите! — властно сказал отец.

И дети ушли.

Некоторое время фармацевт с раскрытой книжкой в руке, тяжело дыша, весь налившись кровью, вращая глазами, шагал из угла в угол. Затем подошел вплотную к своему ученику и скрестил руки:

— Значит, ты еще вдобавок испорчен, молокосос несчастный? Смотри, ты на скользкой дорожке! А ты не подумал, что

¹ Трудом создается мастер, — так делай, что делаешь (лат.).

эта мерзкая книга может попасть в руки моим детям, заронить в них искру порока, загрязнить чистую душу Аталии, развратить Наполеона: ведь он уже не ребенок! Ты уверен, что они ее не читали? Можешь ты мне поручиться...

— Послушайте, господин Оме,— взмолилась Эмма,— ведь вы хотели мне что-то сказать...

— Совершенно верно, сударыня... Ваш свекор умер!

В самом деле, третьего дня старик Бовари, вставая из-за стола, скоропостижно скончался от апоплексического удара. Переусердствовав в своих заботах о впечатлительной натуре Эммы, Шарль поручил г-ну Оме как можно осторожнее сообщить ей эту страшную вестъ.

Фармацевт заранее обдумал, округлил, отшлифовал, ритмизовал каждую фразу, и у него получилось настоящее произведение искусства в смысле бережности, деликатности, постепенности переходов, изящества оборотов речи, но в последнюю минуту гнев разметал всю его риторiku.

Подробности Эмму не интересовали, и она ушла, а фармацевт вновь принялся обличать Жюстена. Однако он понемногу успокаивался и, обмахиваясь феской, уже отеческим тоном читал нотацию:

— Я не говорю, что эта книга вредна во всех отношениях. Ее написал врач. Его труд содержит ряд научных положений, и мужчине их не худо знать. Я бы даже сказал, что мужчина должен их знать. Но всему свое время, всему свое время! Станешь мужчиной, выработается у тебя темперамент — тогда сделай одолжение!

Шарль поджидал Эмму. Как только она постучала в дверь, он, раскрыв объятия, бросился к ней навстречу, со слезами в голосе проговорил:

— Ах, моя дорогая!..

И осторожно наклонился поцеловать ее. Но прикосновение его губ напомнило ей поцелуй другого человека, и она, вздрогнув всем телом, закрыла лицо рукой.

Все же она нашла в себе силы ответить:

— Да, я знаю... я знаю...

Шарль показал ей письмо от матери, в котором та без всяких сантиментов извещала о случившемся. Она только жале-ла, что ее муж не причастился перед смертью: он умер в Дудвиле, на улице, на пороге кофейной, после кутежа со своими однокашниками — отставными офицерами.

Эмма отдала письмо Шарлю. За обедом она из приличия разыграла отвращение к пище. Шарль стал уговаривать ее — тогда она уже без всякого стеснения принялась за еду, а он с убитым видом, не шевелясь, сидел против нее.

По временам он поднимал голову и смотрел на нее долгим и скорбным взглядом.

— Хоть бы раз еще увидеть его! — со вздохом произнес Шарль.

Она молчала. Наконец, поняв, что надо же что-то сказать, спросила:

— Сколько лет было твоему отцу?

— Пятьдесят восемь!

— А!

На этом разговор кончился.

Через четверть часа Шарль проговорил:

— Бедная мама!.. Что-то с ней теперь будет!

Эмма пожала плечами.

Ее молчаливость Шарль объяснял тем, что ей очень тяжело; он был тронут ее мнимым горем и, чтобы не беречь ей рану, делал над собой усилие и тоже молчал. Наконец взял себя в руки и спросил:

— Тебе понравилось вчера?

— Да.

Когда убрали скатерть, ни Шарль, ни Эмма не встали из-за стола. Она вглядывалась в мужа, и это однообразное зрелище изгоняло из ее сердца последние остатки жалости к нему. Шарль казался ей невзрачным, слабым, никчемным человеком, короче говоря — полнейшим ничтожеством. Куда от него бежать? Как долго тянется вечер! Что-то сковывало все ее движения, точно она приняла опиуму.

В передней раздался сухой стук костыля. Это Ипполит тащил барынины вещи. Перед тем как сложить их на пол, он с величайшим трудом описал четверть круга своей деревяшкой.

«А он уже забыл!» — глядя, как с рыжих косм несчастного калеки стекают на лоб крупные капли пота, подумала про мужа Эмма.

Бовари рылся в кошельке, отыскивая мелочь. Он, видимо, не отдавал себе отчета, сколь унижен был для него один вид этого человека, стоявшего олицетворенным укором его неправимой бездарности.

— Какой хорошенький букетик! — увидев на камине фиалки Леона, заметил лекарь.

— Да,— равнодушно отозвалась Эмма.— Я сегодня купила его у... у нищенки.

Шарль взял букет и стал осторожно нюхать фиалки; прикосновение к ним освежало его покрасневшие от слез глаза. Эмма сейчас же выхватила у него цветы и поставила в воду.

На другой день приехала г-жа Бовари-мать. Они с сыном долго плакали. Эмма, сославшись на домашние дела, удалилась.

Еще через день пришлось заняться трауром. Обе женщины уселись с рабочими шкатулками в беседке, над рекой.

Шарль думал об отце и сам удивлялся, что так горюет о нем: прежде ему всегда казалось, что он не очень к нему привязан. Г-жа Бовари-мать думала о своем муже. Теперь она охотно бы вернула даже самые мрачные дни своей супружеской жизни. Бессознательное сожаление о том, к чему она давно привыкла, скрашивало все. Иголка беспрестанно мелькала у нее в руке, а по лицу старухи время от времени скатывались слезы и повисали на кончике носа. Эмма думала о том, что только двое суток назад они с Леоном, уединясь от всего света, полные любовью, не могли наглядеться друг на друга. Она пыталась припомнить мельчайшие подробности минувшего дня. Но ей мешало присутствие свекрови и мужа. Ей хотелось ничего не слышать, ничего не видеть; она боялась нарушить цельность своего чувства, и тем не менее вопреки ей самой чувство ее под напором внешних впечатлений постепенно расплывалось.

Эмма распарывала подкладку платья, и вокруг нее сыпались лоскутки. Старуха, не поднимая головы, лязгала ножницами, а Шарль в веревочных туфлях и старом коричневом сюртуке, который теперь заменял ему халат, сидел, держа руки в карманах, и тоже не говорил ни слова. Берта, в белом переднике, скребла лопаткой усыпанную песком дорожку.

Внезапно отворилась калитка, и вошел торговец тканями г-н Лере.

Он пришел предложить свои услуги «в связи с печальными обстоятельствами». Эмма ответила, что она как будто ни в чем не нуждается. Однако на купца это не произвело впечатления.

— Простите великодушно,— сказал он Шарлю,— но мне надо поговорить с вами наедине.— И, понизив голос, добавил: — Относительно того дела... Помните?

Шарль покраснел до ушей.

— Ах да!.. Верно, верно! — пробормотал он и с растерянным видом обратился к жене: — А ты бы... ты бы не могла, дорогая?..

Эмма, видимо, поняла, о чем он ее просит. Она сейчас же встала, а Шарль сказал матери:

— Это так, пустяки! Какая-нибудь житейская мелочь.

Опасаясь выговора, он решил скрыть от нее всю историю с векселем.

Как только Эмма оказалась с г-ном Лере вдвоем, тот без особых подходов поздравил ее с получением наследства, а потом заговорил о вещах посторонних: о фруктовых деревьях, об урожае, о своем здоровье, а здоровье его было «так себе, ни два, ни полтора». Да и с чего бы ему быть здоровым?хлопот у него всегда полон рот, и все-таки он еле сводит концы с концами.

Эмма не прерывала его. Она так соскучилась по людям за эти два дня!

— А вы уже совсем поправились? — продолжал Лере. — Что тогда ваш супруг из-за вас пережил! Я своими глазами видел! Славный он человек! Хотя неприятности у нас с ним были.

Эмма спросила, какие именно; надо заметить, что Шарль не сказал ей, как он был удивлен, узнав про ее покупки.

— Да вы же знаете! — воскликнул Лере. — Все из-за вашего каприза, из-за чемоводанов.

Надвинув шляпу на глаза, заложив руки за спину, улыбаясь и посвистывая, он нагло смотрел ей в лицо. Она ломала себе голову: неужели он что-то подозревает?

— В конце концов мы с ним столковались, — снова заговорил он. — Я и сейчас пришел предложить ему любовную сделку.

Он имел в виду переписку векселя. А там, как господину Бовари будет угодно. Ему самому не стоит беспокоиться, у него и так голова кругом идет.

— Всего лучше, если б он поручил это кому-нибудь другому — ну хоть вам, например. Пусть он только напишет доверенность, а уж мы с вами сумеем обделать делишки...

Эмма не понимала. Лере замолчал. Потом он заговорил о своей торговле и вдруг заявил, что Эмма непременно должна что-нибудь у него взять. Он пришлет ей двенадцать метров черного барежа на платье.

— То, что на вас, хорошо для дома. А вам нужно платье для визитов. Я это понял с первого взгляда. Глаз у меня наметанный.

Материю он не прислал, а принес сам. Некоторое время спустя пришел еще раз, чтобы лучше отмерить. А потом стал заглядывать под разными предлогами, и каждый раз был обходителен, предупредителен, раболепствовал, как сказал бы Оме, и не упускал случая шепнуть Эмме несколько слов насчет доверенности. Про вексель он молчал. Эмма тоже о нем не вспоминала. Еще когда она только начала выздоравливать, Шарль как-то ей на это намекнул, но Эмму одолевали в ту пору мрачные думы, и намеки Шарля мгновенно вылетели у нее из головы. Вообще она предпочитала пока не заводить разговора о деньгах. Свекровь была этим удивлена и приписывала такую перемену тем религиозным настроениям, которые появились у Эммы во время болезни.

Но как только свекровь уехала, Эмма поразила Бовари своей практичностью. Она предлагала ему то навести справки, то проверить закладные, то прикинуть, что выгоднее: продать имение с публичного торга или же не продавать, но взять на себя долги. Она кстати и некстати употребляла специальные выражения, произносила громкие фразы о том, что в денежных делах надо быть особенно аккуратным, что надо все предвидеть, что надо думать о будущем, находила все новые и новые трудности, связанные со вступлением в права наследия, и в конце концов показала Шарлю образец общей доверенности на «распоряжение и управление всеми делами, производство займов, выдачу и передачу векселей, уплату любых сумм и т. д.». Уроки г-на Лере пошли ей на пользу.

Шарль с наивным видом спросил, кто ей дал эту бумагу.

— Гильомен, — ответила Эмма и, глазом не моргнув, добавила: — Я ему не доверяю. Вообще нотариусов не хвалят. Надо бы посоветоваться... Но мы знакомы только... Нет, не с кем!

— Разве что с Леоном... — подумав, проговорил Шарль.

Можно было бы написать ему, да уж очень это сложно. Эмма сказала, что она сама съездит в Руан. Шарль поблагодарил, но не согласился. Она стояла на своем. После взаимных учтивостей Эмма сделала вид, что сердится не на шутку.

— Оставь, пожалуйста, я все равно поеду! — заявила она.

— Какая ты милая! — сказал Шарль и поцеловал ее в лоб.

На другой же день Эмма, воспользовавшись услугами «Ласточки», отправилась в Руан советоваться с Леоном. Пробыла она там три дня.

Это были наполненные, упоительные, чудные дни — настоящий медовый месяц.

Эмма и Леон жили в гостинице «Булонь», на набережной: закрытые ставни, запертые двери, цветы на полу, сироп со льдом по утрам...

Перед вечером они брали крытую лодку и уезжали обедать на остров.

То был час, когда в доках по корпусам судов стучали молотки конопатчиков. Меж деревьев клубился дым от вара, а по воде плыли похожие на листы флорентийской бронзы большие жирные пятна, неравномерно колыхавшиеся в багряном свете заката.

Лодка двигалась вниз по течению, задевая вёрхом длинные, наклонно спускавшиеся канаты причаленных баркасов.

Городской шум, в котором можно было различить скрип телег, голоса, тявканье собак на палубах, постепенно удалялся. Эмма развязывала ленты шляпки, и вскоре лодка приставала к острову.

На дверях ресторанчика сохли рыбачьи сети, почерневшие от воды. Эмма и Леон усаживались в одной из комнат нижнего этажа, заказывали жареную корюшку, сливки, вишни. Потом валялись на траве, целовались под тополями. Здесь они, кажется, могли бы жить вечно, как два Робинзона, — им было так хорошо вдвоем, что они в целом мире не могли себе представить ничего прекраснее этого островка. Не в первый раз видели они деревья, голубое небо, траву, слышали, как плещут волны и как шелестят листья от ветра, но прежде они ничего этого не замечали; до сих пор природа для них как бы не существовала; вернее, они стали ценить ее красоту лишь после того, как были утолены их желания.

С наступлением темноты они возвращались в город. Лодка долго плыла мимо острова. Окутанные сумраком, они сидели в глубине и молчали. В железных уключинах, усиливая ощущение тишины, мерно, будто ход метронома, постукивали четырехугольные весла, а сзади, под неподвижным рулем, все время журчала вода.

Как-то раз показалась луна. Эмма и Леон не преминули сказать несколько подходящих к случаю фраз о том, какое это печальное и поэтичное светило. Эмма даже запела:

Ты помнишь, плыли мы ночной порой...

Ее слабый, но приятный голос тонул в шуме волн. Переливы его, точно бьющие крыльями птицы, пролетали мимо Леона, и ветер относил их вдаль.

Озаренная луной, светившей в раскрытое оконце, Эмма сидела напротив Леона, прислонившись к перегородке. Черное платье, расходившееся книзу веером, делало ее тоньше и выше. Голову она запрокинула, руки сложила, глаза обратила к небу. Порою тень прибрежных ракит закрывала ее всю, а затем, вновь облитая лунным светом, она, точно призрак, выступала из мрака.

На дне лодки около Эммы Леон подобрал пунцовую шелковую ленту.

Лодочник долго рассматривал ее и наконец сказал:

— Я на днях катал целую компанию — наверно, кто-нибудь из них и обронил. Такие всё озорники подобрались — что господа, что дамы, приехали с пирожными, с шампанским, с музыкой, и пошла потеха! Особенно один, высокий, красивый, с усиками — такой шутник! Они всё к нему: «Расскажи да расскажи нам что-нибудь!..» Как же это они его называли?.. Не то Адольф, не то Додольф...

Эмма вздрогнула.

— Ты не простудилась? — придвигаясь ближе, спросил Леон.

— Не беспокойся! Ночь прохладная, — наверно, от этого.

— И, по всему видать, женскому полу он спуску не дает, — должно быть, полагая, что невежливо обрывать разговор, тихо добавил старый моряк.

Затем он поплевал себе на руки и опять налег на весла.

И все же настал час разлуки! Расставаться им было нелегко. Условились, что Леон будет писать на имя тетушки Роле. Эмма дала ему совет относительно двойных конвертов и обнаружила при этом такое знание дела, что Леон не мог не подивиться ее хитроумию в сердечных делах.

— Так ты говоришь, там все в порядке? — поцеловав его в последний раз, спросила она.

— Да, конечно!

«Что ей далась эта доверенность?» — немного погодя, шагая по улице один, подумал Леон.

IV

Скоро Леон стал подчеркивать перед товарищами свое превосходство; он избегал теперь их общества и запустил дела.

Он ждал писем от Эммы, читал и перечитывал их. Писал

ей. Воскрешал ее образ всеми силами страсти и воспоминаний. Разлука не уменьшила жажды видеть ее — напротив, только усилила, и вот однажды, в субботу утром, он удрал из конторы.

Увидев с горы долину, колокольню и вертящийся на ней жестяной флажок флюгера, он ощутил в себе то смешанное чувство удовлетворения, утоленного честолюбия и эгоистического умиления, которое, вероятно, испытывает миллионер, когда возвращается в родную деревню.

Он обошел ее дом. В кухне горел огонь. Он стал на часах: не мелькнет ли за занавесками ее тень? Но тень так и не показалась.

Тетушка Лефрансуа при виде его начала ахать и охать, нашла, что он «еще подрос и похудел»; Артемиза между тем нашла, что он «поздоровел и загорел».

По старой памяти он пообедал в маленькой зале, но на этот раз один, без податного инспектора: г-ну Бине «стало невмоготу» дожидаться «Ласточки», и обедал он теперь на целый час раньше, то есть ровно в пять, и все же постоянно ворчал, что «старая калоша запаздывает».

Наконец Леон набрался храбрости — он подошел к докторскому дому и постучал в дверь. Г-жа Бовари сидела у себя в комнате и вышла только через четверть часа. Г-н Бовари был, кажется, очень рад его видеть, но ни в тот вечер, ни на другой день не отлучился из дому.

Леон увиделся с Эммой наедине лишь поздно вечером, в проулке за садом, в том самом проулке, где она встречалась с другим! Они разговаривали под грозой, при блеске молний, прикрываясь зонтом.

Расставаться им было нестерпимо больно.

— Лучше смерть! — ломая руки и горько плача, говорила Эмма. — Прощай!.. Прощай!.. Когда-то мы еще увидимся?..

Они разошлись было в разные стороны и снова бросились друг другу в объятия. И тут она ему обещала придумать какой-нибудь способ, какой-нибудь постоянный предлог встречаться без помех, по крайней мере, раз в неделю. Эмма не сомневалась в успехе. Да и вообще она бодро смотрела вперед. Скоро у нее должны были появиться деньги.

Имея это в виду, она купила для своей комнаты две желтые занавески с широкой каймой, — как уверял г-н Лере, «по баснословно дешевой цене». Она мечтала о ковре — г-н Лере сказал, что это «совсем не так дорого», и с присущей ему любезностью взялся раздобыть его. Теперь она уже никак не мог-

ла обойтись без его услуг. Она посылала за ним по двадцать раз на день, и он, ни слова не говоря, бросал ради нее все дела. Загадочно было еще одно обстоятельство: тетушка Роле ежедневно завтракала у г-жи Бовари, а иногда забежала к ней просто так.

В эту самую пору, то есть в начале зимы, Эмма начала увлекаться музыкой.

Однажды вечером ее игру слушал Шарль; она четыре раза подряд начинала одну и ту же вещь и всякий раз бросала в сердцах, а Шарль, не видя разницы, кричал:

— Браво!.. Превосходно!.. Что ж ты? Играй, играй!

— Нет, я играю отвратительно! Пальцы совсем не слушаются.

На другой день он попросил ее «сыграть что-нибудь».

— Если тебе это доставляет удовольствие, то пожалуйста!

Шарль вынужден был признать, что она несколько отстала. Эмма сбивалась в счете, фальшивила, потом вдруг прекратила игру.

— Нет, ничего не выходит! Мне бы надо брать уроки, да... — Эмма закусил губу. — Двадцать франков в месяц — это дорого! — добавила она.

— Да, правда, дороговато... — глупо ухмыляясь, проговорил Шарль. — А все-таки, по-моему, можно найти и дешевле. Иные малоизвестные музыканты не уступят знаменитостям.

— Попробуй, найди, — отозвалась Эмма.

На другой день, придя домой, Шарль с хитрым видом посмотрел на нее и наконец не выдержал.

— Экая же ты упрямая! — воскликнул он. — Сегодня я был в Барфешере. И что ж ты думаешь? Госпожа Льежар мне сказала, что все три ее дочки — они учатся в монастыре Милосердия — берут уроки музыки по пятьдесят су, да еще у прекрасной учительницы!

Эмма только пожала плечами и больше уже не открывала инструмента.

Но, проходя мимо, она, если Бовари был тут, всякий раз вздыхала:

— Бедное мое фортепьяно!

При гостях Эмма непременно заводила разговор о том, что она вынуждена была забросить музыку. Ей выражали сочувствие. Как обидно! А ведь у нее такой талант! Заговаривали об этом с Бовари. Все его стыдили, особенно — фармацевт:

— Это ваша ошибка! Врожденные способности надо развивать. А кроме того, дорогой друг, примите во внимание, что

если вы уговорите свою супругу заниматься музыкой, то тем самым вы сэкономите на музыкальном образовании вашей дочери! Я лично считаю, что матери должны сами обучать детей. Это идея Руссо; она все еще кажется слишком смелой, но я уверен, что когда-нибудь она восторжествует, как восторжествовало кормление материнским молоком и оспопрививание.

После этого Шарль опять вернулся к вопросу о музыке. Эмма с горечью заметила, что лучше всего продать инструмент, хотя расстаться с милым фортепьяно, благодаря которому она столько раз тешила свое тщеславие, было для нее равносильно медленному самоубийству, умерщвлению какой-то части ее души.

— Ну так ты... время от времени бери уроки — это уж не бог весть как разорительно, — сказал Шарль.

— Толк бывает от постоянных занятий, — возразила она.

Так в конце концов она добилась от мужа позволения раз в неделю ездить в город на свиданье к любовнику. Уже через месяц ей говорили, что она делает большие успехи.

V

Это бывало по четвергам. Она вставала и одевалась неслышно, боясь разбудить Шарля, который мог выразить ей неудовольствие из-за того, что она слишком рано начинает собираться. Затем ходила по комнате, смотрела в окно на площадь. Бледный свет зари сквозил меж столбов, на которых держался рыночный навес; над закрытыми ставнями аптеки едва-едва проступали крупные буквы на вывеске.

Ровно в четверть восьмого Эмма шла к «Золотому льву», и Артемиза, зевая, отворяла ей дверь. Ради барыни она разгребала в печке подернувшийся пеплом жар. Потом г-жа Бовари оставалась на кухне одна. Время от времени она выходила во двор. Ивер не спеша запрягал лошадей и одновременно слушал, что говорит тетушка Лефрансуа, а та, высунув в окошко голову в ночном чепце, давала кучеру всевозможные поручения и так подробно все объясняла, что всякий другой запутался бы неминуемо. Стуча деревянными подошвами, Эмма прохаживалась по мощеному двору.

Наконец Ивер, похлебав супу, накинув пыльник, закулив трубку и зажав в руке кнут, с невозмутимым видом усаживался на козлы.

Лошади полегоньку трусили. Первые три четверти лье «Ласточка» то и дело останавливалась — кучер брал пассажи-

ров, поджидавших «Ласточку» у обочины дороги или же у калиток. Те, что заказывали места накануне, заставляли себя ждать. Иных никак нельзя было добудиться. Ивер звал, кричал, бранился, потом слезал с козел и изо всех сил стучал в ворота. Ветер дул в разбитые окна дилижанса.

Но вот все четыре скамейки заняты, дилижанс катит без остановки, яблони, одна за другой, убегают назад. Дорога, постепенно суживаясь, тянется между двумя канавами, полными желтой воды.

Эмма знала дорогу как свои пять пальцев, знала, что за выгоном будет столб, потом вяз, гумно и домик дорожного мастера. По временам, чтобы сделать себе сюрприз, она даже закрывала глаза. Но чувство расстояния не изменяло ей никогда.

Наконец приближались кирпичные дома, дорога начинала греметь под колесами, «Ласточка» катилась среди садов, и в просветах оград мелькали статуи, трельяжи, подстриженные тисы, качели. И вдруг глазам открывался весь город.

Уступами спускаясь с холмов, еще окутанный предрасветной мглой, он широко и беспорядочно раскинулся за мостами. Сейчас же за городом полого поднимались к горизонту поля и касались вдали неясно обозначавшегося края бледных небес. Отсюда, сверху, весь ландшафт представлялся неподвижным, как на картине. В одном углу теснились стоявшие на якоре корабли, у подошвы зеленых холмов извивалась река, продолговатые островки казались большими черными рыбами, замершими на воде. Фабричные трубы выбрасывали громадные бурые, обтрепанные по краям султаны. Шумно дышали сталелитейные заводы, а с колоколен церквей, выступавших из тумана, неся радостный звон. Безлистые деревья бульваров лиловым кустарником темнели между домами; крыши, мокрые от дождя, отливали где ярким, где тусклым блеском, в зависимости от того, на какой высоте стояли дома. По временам ветер относил облака к холму Святой Катерины, и они воздушными волнами беззвучно разбивались об откос.

При взгляде на эти скученные жилища у Эммы кружилась голова, сердцу становилось тесно в груди: Эмма видела в каждой из этих ста двадцати тысяч жизней, биение которых она угадывала издалека, особый мир страстей, и все эти страсти, казалось, обдавали ее своим дыханием. Ее любовь росла от ощущения простора, наполнилась смутным гулом. Эмма изливала ее вовне: на площади, на бульвары, на улицы. Она вступала в этот древний нормандский город, точно в некую необозримую столицу, точно в некий Вавилон. Держась обеими ру-

ками за раму, она высовывалась в окно и дышала ветром. Тройка неслась вскачь, под копытами скрежетали торчавшие из грязи камни, дилижанс качало, Ивер издали окликал ехавших впереди кучеров, руанские буржуа, проведя ночь в Буа-Гильом, чинно спускались в семейных экипажах с горы.

У заставы «Ласточка» делала остановку. Эмма снимала деревянные подошвы, меняла перчатки, оправляла шаль и, проехав еще шагов двадцать, выходила из «Ласточки».

Город между тем просыпался. Приказчики в фесках протирали витрины, торговки, стоя с корзинками у бедер на перекрестках, зычными голосами расхваливали свой товар.

Опустив черную вуаль, глядя под ноги, Эмма пробиралась у самых стен и улыбалась от счастья.

Боясь, как бы ее не узнали, она шла обычно не кратчайшим путем. Она устремлялась в глубь темных переулков, и когда она выходила туда, где кончается улица Насьональ, к фонтану, все тело у нее покрывалось потом. Это был квартал театра, квартал кабачков и девиц легкого поведения. Мимо Эммы часто проезжали телеги с трясущимися декорациями. Дворники в фартуках посыпали песком тротуары, обсаженные зелеными деревьями. Пахло абсентом, сигарами, устрицами.

Эмма поворачивала за угол и по кудрям, выбивавшимся из-под шляпы, сразу узнавала Леона.

Молодой человек шагал, не останавливаясь. Она шла за ним к гостинице; он поднимался по лестнице, отворял дверь, входил... Что это было за объятие!

Вслед за поцелуями сыпались слова. Оба рассказывали о горестях прошедшей недели, о своих предчувствиях, о беспокойстве из-за писем. Немного погодя все это забывалось, и они обменивались долгим взглядом, смеясь от возбуждения и призывая друг друга к ласкам.

Кровать была большая, красного дерева, в виде челнока. Полог из красного левантина, спускавшийся с потолка, выгибался дугой у расширявшейся книзу спинки. И ничто не могло сравниться по красоте с темными волосами Эммы и ее белой кожей на пурпуровом фоне, когда она стыдливым движением прикрывала голыми руками грудь и опускала на ладони лицо.

Теплая комната, ковер, скрадывающий шаги, на стенах игривые картинки, мягкий свет — в этом уюте страсть чувствовала себя свободно. Палки для занавесок, имевшие форму стрел, медные кольца на этих палках и шишечки на каминной решетке сейчас же начинали отсвечивать, стоило солнцу заронить сюда луч. На камине между канделябрами лежали две большие

розовые раковины, в которых, если приложить к ним ухо, слышался шум моря.

Как любили они эту милую и веселую комнату, несмотря на то, что блеск ее слегка потускнел! Каждый раз они убеждались, что все здесь на прежнем месте, и если Эмма забывала под часами шпильку, то она так до следующего четверга тут и лежала. Завтракали у камина, на маленьком палисандровом столике с инкрустацией. Эмма резала мясо и, ластясь к Леону, подкладывала ему куски на тарелку. А когда шампанское пенилось и выплескивалось через край тонкого бокала прямо ей на пальцы, унизанные кольцами, она смеялась звонким, чувственным смехом. Они так полно владели друг другом, что им казалось, будто это их собственный дом, где они вечно молодыми супругами будут жить до конца своих дней. Они говорили: «Наша комната, наш ковер, наше кресло»; Эмма даже говорила: «Мои домашние туфли». Это был ее каприз, подарок Леона — домашние туфли из розового атласа, отороченные лебяжьим пухом. Когда она садилась на колени к Леону, ее ноги не доставали до полу, они повисали в воздухе, и изящные туфельки без задников держались только на голых пальцах.

Леон впервые наслаждался неизъяснимой прелестью женского обаяния. Изящные обороты речи, строгий вкус в туалетах, позы спящей голубки — все это было ему внове. Ему нравились и восторженность ее натуры, и кружевная отделка ее платья. И при всем том Эмма была «женщина из хорошего общества», да еще замужняя! Одним словом, настоящая любовница!

То самоуглубленная, то жизнерадостная, то словоохотливая, то неразговорчивая, то порывистая, то безучастная, Эмма этой сменой настроений рождала в нем вихрь желаний, будила инстинкты и воспоминания. Кто была для него Эмма? Главный женский образ всех романов, героиня всех драм, загадочная *она* всех сборников стихов. Он находил, что плечи ее своим янтарным отливом напоминают плечи «Купающейся одалиски», что талия у нее длинная, как у владетельниц феодальных замков. Еще она походила на «бледную барселонку», но прежде всего она была ангел!

Когда он смотрел на нее, ему часто казалось, что душа его устремляется к ней и, разлившись волной вокруг ее головы, низвергается на белую грудь.

Он садился на пол и, уперевшись локтями в ее колени, улыбался и подставлял лоб.

Эмма наклонялась к нему и голосом, прерывающимся от восторга, шептала:

— Не шевелись! Молчи! Смотри на меня! Твои глаза глядят так ласково! Мне так хорошо с тобой!

Она называла Леона «дитя»;

— Дитя, ты любишь меня?

Ответа она не слышала — его губы впивались в нее.

На часах маленький бронзовый купидон жеманно расставлял руки под позолоченной гирляндой. Эмма и Леон часто над ним смеялись. Но при расставании все рисовалось им в мрачном свете.

Стоя друг против друга как вкопанные, они твердили:

— До четверга!.. До четверга!..

Потом она вдруг брала Леона обеими руками за голову, на миг припадала губами к его лбу и, крикнув: «Прощай!» — выбегала на лестницу.

Она шла на Театральную улицу к парикмахеру приводить в порядок свою прическу. Темнело. В парикмахерской зажигали газ.

Эмма слышала звонок, созывавший актеров на представление. Мимо окна по той стороне двигались бледные мужчины, женщины в поношенных платьях и проходили за кулисы.

В низеньком и тесном помещении, где среди париков и помадных банок гудела железная печка, было жарко. Запах горячих щипцов и жирных рук, перебиравших локоны Эммы, действовал на нее одуряюще, и, закутавшись в халат, она скоро начинала дремать. Во время завивки мастер часто предлагал ей билет на бал-маскарад.

А потом она уезжала! Она шла обратно по тем же самым улицам, доходила до «Красного креста», опять привязывала деревянные подошвы, которые она прятала утром в дилижансе под скамейку, и пробиралась среди нетерпеливых пассажиров на свое место. Перед подъемом на гору все вылезали. Она оставалась одна в дилижансе.

С каждым поворотом все шире и шире открывался вид на огни уличных фонарей, образовавших над хаосом зданий большое лучезарное облако. Эмма становилась коленями на подушки, и взор ее терялся в этом свечении. Она плакала навзрыд, звала Леона, шептала нежные слова, посылала ему поцелуи, и ветер развеивал их.

По горе между встречными дилижансами шагал нищий с клюкой. Его тело едва прикрывали лохмотья, старая касторовая шляпа без донышка, круглая, как таз, съезжала ему на гла-

за. Но когда он ее снимал, было видно, что на месте век у него зияют кровавые впадины. Живое мясо висело красными клоками; из глазниц до самого носа текла жидкость, образуя зеленую корку; черные ноздри судорожно подергивались. Когда он с кем-нибудь говорил, то запрокидывал голову и смеялся бессмысленным смехом, а его непрестанно вращавшиеся синеватые бельма закатывались под лоб и касались открытых ран.

Нищий бежал за экипажами и пел песенку:

Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.

А дальше все в этой песне было полно птичьего гама, солнечного света и зеленой листвы.

Иногда нищий с непокрытой головой внезапно вырастал перед Эммой. Она вскрикивала и отшатывалась в глубь дилижанса. Ивер издевался над слепцом. Он советовал ему снять ярмарочный балаган или, заливаясь хохотом, спрашивал, как поживает его милашка.

Часто в окна дилижанса на полном ходу просовывалась шляпа слепца; свободной рукой нищий держался за складную лестницу; из-под колес на него летели комья грязи. Голос его, вначале слабый, как у новорожденного, постепенно становился пронзительным. В ночной темноте он звучал тягучим нечленораздельным воплем какого-то непонятого отчаяния. Что-то бесконечно одинокое было в этом щемящем звуке, как бы издавека доходившем до слуха Эммы сквозь шум деревьев, звон бубенцов и тарактенье пустого кузова. Он врывался к ней в душу, как вихрь врывается в глубокую теснину, и уносил ее на бескрайние просторы тоски. Но в это время Ивер, заметив, что дилижанс накренился, несколько раз вытягивал слепого кнутом. Узелок на конце кнута бил его по ранам, и нищий с воем летел в грязь.

Затем пассажиры «Ласточки» мало-помалу погружались в сон: кто — с открытым ртом, кто — уронив голову на грудь, кто — привалившись к плечу соседа, кто, наконец, держась рукой за ремень, и все при этом мерно покачивались вместе с дилижансом, а мерцающий свет фонаря, скользя по крупу коленника, проникал внутрь дилижанса сквозь коленкоровые занавески шоколадного цвета и бросал на неподвижные лица спящих кровавый отсвет. Эмма, смертельно тоскуя, дрожала от холода; ноги у нее мучительно зябли; в душе царил беспросветный мрак.

Дома Шарль ждал ее с нетерпением — по четвергам «Ласточка» всегда запаздывала. Наконец-то «барыня» дома! Эмма рассеянно целует девочку. Обед еще не готов — не беда! Эмма не сердится на кухарку. В этот день служанке прощалось все.

Заметив, что Эмма бледна, муж спрашивал, как ее здоровье.

— Хорошо, — отвечала Эмма.

— А почему у тебя нынче какой-то странный вид?

— А, пустое, пустое!

Иногда она даже, вернувшись домой, проходила прямо к себе в комнату. Там она заставляла Жюстена — он двигался неслышно и прислуживал ей лучше вышколенной горничной: подавал спички, свечу, книгу, раскладывал ночную сорочку, стелил постель.

После этого, видя, что Жюстен стоит неподвижно и руки у него повисли, как плети, а глаза широко раскрыты, точно его опутала бесчисленным множеством нитей какая-то внезапно налетевшая дума, Эмма обычно говорила:

— Ну, хорошо, а теперь ступай.

На другой день Эмма чувствовала себя ужасно, а затем с каждым днем муки ее становились все невыносимее: она жаждала вновь испытать уже изведенное блаженство, и этот пламень страсти, распаляемый воспоминаниями, разгорался неукротимо лишь на седьмой день под ласками Леона. А его сердечный пыл выражался в проявлениях восторга и признательности. Эмма упивалась любовью Леона, любовью сдержанной, глубокой, и, уже заранее боясь потерять ее, прибегала ко всем ухищрениям, на какие только способна женская нежность.

Часто она говорила ему с тихой грустью в голосе:

— Нет, ты бросишь меня!.. Ты женишься!.. Ты поступишь, как все.

— Кто все? — спрашивал он.

— Ну, мужчины вообще!..

С этими словами она, томно глядя на Леона, отталкивала его.

— Все вы обманщики!

Однажды, когда у них шел философский разговор о тщете всего земного, она, чтобы вызвать в нем ревность или, быть может, удовлетворяя назревшую потребность излить душу, призналась, что когда-то, еще до него, любила одного человека... «но не так, как тебя!» — поспешила она добавить и поклялась здоровьем дочери, что «не была с ним близка».

Леон поверил ей, но все же стал расспрашивать, чем тот занимался.

— Он был капитаном корабля, друг мой.

Не хотела ли она одной этой фразой пресечь дальнейшие расспросы и в то же время еще выше поднять себя в глазах Леона тем, что ее чары будто бы подействовали на человека воинственного и привыкшего к почестям?

Вот когда молодой человек понял всю невыгодность своего положения! Он стал завидовать эполетам, крестам, чиnam. Расточительность Эммы доказывала, что все это должно ей нравиться.

Между тем Эмма еще умалчивала о многих своих прихотях: так, например, она мечтала завести для поездок в Руан синее тильбюри, английскую лошадку и грума в ботфортах с отворотами. На эту мысль навел ее Жюстен: он умолял взять его к себе в лакеи. И если отсутствие всего этого не умаляло радости поездки на свидание, зато оно, разумеется, усиливало горечь обратного пути.

Когда они говорили о Париже, Эмма часто шептала:

— Ах, как бы нам с тобой там было хорошо!

— А разве здесь мы не счастливы? — проводя рукой по ее волосам, мягко возражал молодой человек.

— Конечно, счастливы! — говорила она. — Это я глупость сказала. Поцелуй меня.

С мужем она была особенно предупредительна, делала ему фисташковые кремы, играла после обеда вальсы. Он считал себя счастливейшим из смертных, и Эмма была спокойна до тех пор, пока однажды вечером он не спросил ее:

— Ведь ты берешь уроки у мадемуазель Лампрер?

— Да.

— Ну так вот, — продолжал Шарль, — я только что встретился с ней у госпожи Льежар. Заговорил о тебе, а она тебя не знает.

Это было как удар грома среди ясного неба. И все же Эмма самым естественным тоном ответила:

— Она просто забыла мою фамилию!

— А может быть, в Руане есть несколько Лампрер — учительниц музыки? — высказал предположение лекарь.

— Возможно, — согласилась Эмма и тут же добавила: — Да ведь у меня есть ее расписки. Сейчас я тебе покажу.

Она бросилась к своему секретеру, перерыла все ящики, свалила в одну кучу все бумаги и в конце концов так растеря-

лась, что Шарль стал умолять ее не огорчаться из-за каких-то несчастных расписок.

— Нет, я найду их! — твердила она.

И точно: в следующую пятницу Шарль, натягивая сапоги в темной конурке, где было свалено все его платье, нащупал ногой листок бумаги и, вытащив его из сапога, прочел:

«Получено за три месяца обучения и за всякого рода покупки шестьдесят пять франков.

Преподавательница музыки
Фелиси Лампрер».

— Что за чертовщина! Как это могло попасть ко мне в сапог?

— Наверно, расписка выпала из старой папки со счетами — той, что лежит на полке с краю, — ответила Эмма.

С этого дня вся ее жизнь превратилась в сцепление выдумок, которыми она, точно пеленами, укрывала свою любовь.

Это стало для нее потребностью, манией, наслаждением, и если она утверждала, что шла вчера по правой стороне, значит, на самом деле по левой, а не по правой.

Однажды утром она отправилась в Руан, по обыкновению довольно легко одетая, а тут неожиданно выпал снег. Выглянув в окно, Шарль увидел аббата Бурнизьена — тот в экипаже Тюваша ехал по направлению к Руану. Шарль сбежал по лестнице и попросил священника разыскать жену в «Красном кресте» и передать ей теплый платок. Заехав на постоянный двор, священник сейчас же спросил, где можно найти жену ионвильского доктора. Хозяйка ему на это ответила, что г-жа Бовари останавливается у нее крайне редко. Вечером, столкнувшись с Эммой в дилижансе, Бурнизьен рассказал ей, в каком он был затруднительном положении, но, по-видимому, не придавал этому случаю особого значения, так как тут же принялся расхваливать соборного священника, который славился своими проповедями настолько, что все дамы сбегались послушать его.

Итак, Бурнизьен ни о чем ее не спросил, но ведь не все такие деликатные, как он. Поэтому она сочла за благо впредь останавливаться только в «Красном кресте», чтобы почтенные сограждане, встретившись с ней на лестнице, уже ни в чем не могли ее заподозрить.

Но в один прекрасный день, выйдя под руку с Леоном из «Булони», Эмма наткнулась на г-на Лере. Эта встреча напугала ее: она была уверена, что он начнет болтать. Но г-н Лере оказался умнее.

Он пришел к ней через три дня, затворил за собой дверь и сказал:

— Мне нужны деньги.

Эмма заявила, что у нее ничего нет. Тогда Лере стал ка-
нючить и перечислил все свои услуги.

Он имел основания быть недовольным: из двух выданных Шарлем векселей Эмма пока что уплатила по одному. Что касается второго, то купец по просьбе Эммы согласился заменить его двумя новыми, да и те уже были переписаны и платеж по ним перенесен на весьма далекий срок. Затем г-н Лере достал из кармана неоплаченный счет, где значились следующие предметы: занавески, ковер, обивка для кресел, отрезы на платья, принадлежности туалета — всего приблизительно тысячи на две франков.

Эмма опустила голову.

— Положим, наличных у вас нет, но ведь зато есть *име-
ние*, — напомнил Лере.

Он имел в виду ветхую лачугу в Барневиле, близ Омаля, приносившую мизерный доход. В былые времена она составляла часть небольшой усадьбы, но Бовари-отец усадьбу про-
дал. Г-ну Лере было известно все, вплоть до того, сколько там гектаров земли и как зовут соседей.

— Я бы на вашем месте с этим имением развязался, — заметил г-н Лере. — После расплаты с долгами у вас еще оста-
нутся деньги.

Эмма сказала, что на этот дом трудно найти покупателя. Г-н Лере взялся за это дело сам. Тогда г-жа Бовари спросила, как ей получить право на продажу.

— Да разве у вас нет доверенности? — спросил Лере.

На Эмму словно повеяло свежим воздухом.

— Оставьте мне счет, — сказала она.

— Ну что вы! Зачем? — проговорил Лере.

Через неделю он пришел опять и похвалился, что после долгих поисков напал на некоего Ланглуа, который давно уже подбирается к этой недвижимости, но цену пока не говорит.

— Да я за ценой и не гонюсь! — воскликнула Эмма.

Лере, однако, советовал выждать, сначала прощупать это-
го молодчика. По его мнению, стоило даже побывать там, а так как Эмма не могла поехать сама, то он обещал туда съездить и переговорить с Ланглуа. Вернувшись, он сообщил, что поку-
патель дает четыре тысячи франков.

Эмма вся так и расцвела.

— Цена, по правде сказать, хорошая, — заметил Лере.

Половину всей суммы она получила наличными. Когда же она заговорила о счете, торговец прервал ее:

— Мне неприятно отхватывать у вас этаким куш, честное слово!

При этих словах Эмма бросила взгляд на ассигнации и невольно подумала о том, какое великое множество свиданий заключено в этих двух тысячах франков.

— Что вы! Что вы! — пролепетала она.

— Со счетом можно сделать все что хотите, уверяю вас! — добродушно посмеиваясь, продолжал Лере. — Я знаю, что такое хозяйственные расходы.

Пропуская между пальцами два длинных листа бумаги, он пристально смотрел на нее. Затем вынул из бумажника и разложил на столе четыре векселя на сумму в четыре тысячи франков каждый.

— Подпишите, а деньги возьмите себе, — сказал он.

У нее вырвался крик возмущения.

— Но ведь я же у вас не беру остатка, — нагло заявил г-н Лере. — Вы не находите, что это большая любезность с моей стороны?

Он взял перо и написал под счетом:

«Получено от г-жи Бовари четыре тысячи франков».

— Я не понимаю, что вас тут смущает. Через полгода вы получите все деньги за свою хибарку, а я проставил на последнем векселе более чем полугодовой срок.

Все эти сложные вычисления сбили г-жу Бовари с толку. В ушах у нее звенело, ей казалось, будто золото сыплется вокруг нее на пол. В конце концов Лере объяснил ей, что в Руане у него есть приятель — банкир, некто Венсар, который учтет эти четыре векселя, а то, что останется после уплаты реального долга, он, Лере, вернет г-же Бовари.

Однако вместо двух тысяч франков он принес тысячу восемьсот: дело в том, что его друг Венсар удержал «законно следующие» двести франков за комиссию и за учет.

Затем г-н Лере с небрежным видом попросил расписку:

— Сами понимаете... коммерция — это такое дело... все может случиться. И дату, пожалуйста, дату!

Перед Эммой сразу открылась широкая перспектива осуществления своих прихотей. У нее, впрочем, хватило благоразумия отложить тысячу экю, и эти деньги она уплатила в срок по первым трем векселям, но четвертый якобы случайно сва-

лился на голову Шарля как раз в четверг, и Шарль в полном недоумении стал терпеливо ждать, когда вернется жена и все ему растолкует.

Да, правда, она ничего ему не сказала про этот вексель, но ей просто не хотелось путать его в домашние дразги. Она села к нему на колени, ласкалась, ворковала, долго перечисляла необходимые вещи, которые ей пришлось взять в долг.

— Если принять во внимание, сколько я всего накупила, то выйдет совсем не так дорого.

Шарль с горя обратился все к тому же Лере, и торгош обещал все уладить, если только господин доктор выдаст ему два векселя, в том числе один на сумму в семьсот франков сроком на три месяца. В поисках выхода из положения Шарль написал матери отчаянное письмо. Г-жа Бовари-мать, не долго думая, приехала сама. На вопрос Эммы, удалось ли Шарлю уломать ее, Шарль ответил:

— Да, но только она требует, чтобы ей показали счет.

На другое утро Эмма чуть свет побежала к г-ну Лере и попросила его выписать другой счет — не больше чем на тысячу франков. Показать счет на четыре тысячи было равносильно признанию в том, что две трети этой суммы уже выплачены, следовательно — открыть продажу дома, а между тем торговец хранил эту сделку в такой строгой тайне, что про нее узнали много позднее.

Хотя на все товары были проставлены очень низкие цены, г-жа Бовари-мать нашла, что расходы непомерно велики.

— Неужели нельзя было обойтись без ковра? Для чего менять обивку на креслах? В мои времена полагалось только одно кресло — для пожилых людей. По крайней мере, так было заведено у моей матери, а она была, смею вас уверить, женщина порядочная. За богачами все равно не угонишься! Будете транжирить, так вам никаких денег не хватит! Я бы постыдилась так себя баловать, как вы, а ведь я старуха, за мной нужен уход... Вам только бы рядиться, только бы пыль в глаза пускать! Ведь это что ж такое: шелк на подкладку по два франка... когда есть отличный жаконет по десяти, даже по восьми су!

— Довольно, сударыня, довольно!.. — раскинувшись на козетке, изо всех сил сдерживаясь, говорила Эмма.

Но свекровь продолжала отчитывать ее; она предсказывала, что Шарль с Эммой кончат свои дни в богадельне. Впрочем, Шарль сам виноват. Хорошо еще, что он обещал уничтожить доверенность...

— То есть как уничтожить?

— Он мне поклялся,— заявила почтенная дама.

Эмма открыла окно и позвала Шарля. Бедняга принужден был сознаться, что мать вырвала у него это обещание.

Эмма убежала, но сейчас же вернулась и с величественным видом протянула свекрови плотный лист бумаги.

— Благодарю вас,— сказала старуха и бросила доверенность в огонь.

Эмма засмеялась резким, громким, неудержимым смехом: у нее начался нервный припадок.

— Ах ты, господи! — воскликнул Шарль. — Ты тоже не права! Зачем ты устраиваешь ей сцены?..

Мать, пожав плечами, заметила, что «все это фокусы».

Но Шарль первый раз в жизни взбунтовался и так горячо стал защищать жену, что мать решила немедленно уехать. На другой день она и точно отправилась восвояси; когда же сын попытался удержать ее на пороге, она сказала:

— Нет, нет! Ее ты любишь больше, чем меня, и так и надо, это в порядке вещей. Тут уж ничего не поделаешь! Поживем — увидим!.. Будь здоров!.. Больше я, как ты выражаешься, не устрою ей сцены.

Шарль все же чувствовал себя виноватым перед Эммой, а та и не думала скрывать, что обижена на него за недоверие. Ему пришлось долго упрашивать ее, прежде чем она согласилась, чтобы на ее имя была составлена новая доверенность; с этой целью он даже пошел вместе с Эммой к г-ну Гильомену.

— Я вас понимаю,— сказал нотариус. — Человека, всецело преданного науке, не должны отвлекать мелочи практической жизни.

Эта лицемерная фраза ободрила Шарля — она прикрывала его слабость лестной для него видимостью каких-то важных занятий.

Чего только не вытворяла Эмма в следующий четверг, придя вместе с Леоном в их номер! Смеялась, плакала, пела, танцевала, заказывала шербет, пробовала курить, и Леон нашел, что она хоть и взбалмошна, но зато обворожительна, несравненна.

Он не догадывался, что происходило теперь у нее в душе, что заставляло ее так жадно ловить каждый миг наслаждения. Она стала раздражительна, плотоядна, сластолюбива. С гордо поднятой головой ходила она с ним по городу и говорила, что не боится себя скомпрометировать. Ее только пугала мысль о

возможной встрече с Родольфом. Хотя они расстались навсегда, Эмма все еще чувствовала над собой его власть.

Однажды вечером Эмма не вернулась домой. Шарль совсем потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться спать без мамы и неутешно рыдала. Жюстен на всякий случай пошел встречать барыню. Г-н Оме бросил аптеку.

Когда пробило одиннадцать, Шарль не выдержал, запряг свой шарабанчик, сел, ударил по лошади — и в два часа ночи подъехал к «Красному кресту». Эммы там не было. Шарлю пришлось на ум: не видел ли ее случайно Леон? Но где его дом? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона и побежал к нему.

Светало. Разглядев дощечку над дверью, Шарль постучался. Кто-то, не отворяя, прорычал ему, где живет Леон, и обругал на чем свет стоит тех нахалов, которые беспокоят по ночам добрых людей.

В доме, где проживал Леон, не оказалось ни звонка, ни молотка, ни швейцара. Шарль изо всех сил застучал в ставни. Мимо прошел полицейский. Шарль испугался и поспешил удалиться.

«Я сошел с ума,— говорил он сам с собой.— Наверно, она пообедала у Лормо и осталась у них ночевать».

Но он тут же вспомнил, что семейство Лормо выехало из Руана.

«Значит, она ухаживает за госпожой Дюбрейль... Ах да! Госпожа Дюбрейль десять месяцев тому назад умерла!.. Так где же Эмма?»

Тут его осенило. Он спросил в кафе адрес-календарь, быстро нашел мадемуазель Лампрер и выяснил, что она живет в доме номер 74 по улице Ренель-де-Марокинье.

Но, выйдя на эту улицу, он еще издали увидел Эмму — она шла ему навстречу. Шарль даже не обнял ее — он обрушился на нее с криком:

— Почему ты вчера не приехала?

— Я захворала.

— Чем захворала?.. Где?.. Как?..

— У Лампрер,— проводя рукой по лбу, ответила она.

— Я так и думал! Я шел к ней.

— Ну и напрасно,— сказала Эмма.— Она только что ушла. В другой раз, пожалуйста, не беспокойся. Если я буду знать, что ты сам не свой из-за малейшего моего опоздания, то я тоже стану нервничать, понимаешь?

Так она завоевала себе свободу походов. И этой свободой она пользовалась широко. Соскучившись без Леона, она

под любым предлогом уезжала в Руан, а так как Леон в тот день ее не ждал, то она приходила к нему в контору.

Первое время это было для него великим счастьем, но вскоре он ей признался, что патрон недоволен его поведением.

— А, не обращай внимания! — говорила она.

И он менял разговор.

Эмме хотелось, чтобы он сшил себе черный костюм и отпустил бородку, — так, мол, он будет похож на Людовика XIII. Она побывала у него и нашла, что комната неважная. Леон покраснел. Она этого не заметила и посоветовала ему купить такие же занавески, как у нее. Он сказал, что это ему не по карману.

— Экий ты жмот! — сказала она, смеясь.

Каждый раз Леон должен был докладывать ей, как он без нее жил. Она требовала, чтобы он писал стихи и посвящал ей, чтобы он сочинил «стихотворение о любви» и воспел бы ее. Но он никак не мог подобрать ни одной рифмы и в конце концов списал сонет из кипсека.

Сделал он это не из самолюбия, а из желания угодить Эмме. Он никогда с ней не спорил, он подделывался под ее вкусы, скорее он был ее любовницей, чем она его. Она знала такие ласковые слова и так умела целовать, что у него захватывало дух. Как же проникла к Эмме эта скрытая порочность — проникла настолько глубоко, что ничего плотского в ней как будто бы не ощущалось?

VI

Когда Леон приезжал в Ионвиль повидаться с Эммой, он часто обедал у фармацевта и как-то из вежливости пригласил его к себе.

— С удовольствием! — сказал г-н Оме. — Мне давно пора встряхнуться, а то я здесь совсем закис. Пойдем в театр, в ресторан, кутнем!

— Что ты, друг мой! — нежно прошептала г-жа Оме — она боялась каких-нибудь непредвиденных опасностей.

— А ты думаешь, это не вредно для моего здоровья — постоянно дышать аптечным запахом? Женщины все таковы: сначала ревнуют к науке, а потом восстают против самых невинных развлечений. Ничего, ничего! Можете быть уверены: как-нибудь я нагряну в Руан, и мы с вами *тряхнем* мощной.

В прежнее время аптекарь ни за что не употребил бы подобного выражения, но теперь он охотно впадал в игривый

парижский тон, что являлось для него признаком высшего шика. Как и его соседка, г-жа Бовари, он с любопытством расспрашивал Леона о столичных нравах и даже, на удивление обывателям, уснащал свою речь жаргонными словечками, вроде: *шущера, канальство, ферт, хлюст, Бред-гастрит* вместо *Бред-стрит* и *дернуть* вместо *уйти*.

И вот в один из четвергов Эмма, к своему удивлению, встретила в «Золотом льве», на кухне, г-на Оме, одетого по дорожному, то есть в старом плаще, в котором он никогда прежде не появлялся, с чемоданом в одной руке и с грелкой из собственной аптеки в другой. Боясь всполошить своим отъездом клиентов, он отбыл тайно.

Всю дорогу он сам с собой рассуждал — видимо, его волновала мысль, что он скоро увидит места, где протекла его юность. Не успел дилижанс остановиться, а г-н Оме уже спрыгнул с подножки и помчался разыскивать Леона. Как тот ни отбивался, фармацевт затащил его в большое кафе «Нормандия» и с величественным видом вошел туда в шляпе, ибо он считал, что снимать шляпу в общественных местах способен лишь глубокий провинциал.

Эмма прождала Леона в гостинице три четверти часа. Наконец не выдержала — сбегала к нему в контору, вернулась обратно и, строя всевозможные предположения, мучаясь мыслью, что он к ней охладел, а себя самое осуждая за бесхарактерность, простояла полдня, прижавшись лбом к оконному стеклу.

В два часа дня Леон и г-н Оме все еще сидели друг против друга за столиком. Большой зал пустел; дымоход в виде пальмы раскидывал по белому потолку золоченые листья; недалеко от сотрапезников за стеклянной перегородкой маленькая струйка фонтана, искрясь на солнце, булькала в мраморном бассейне, где среди кресс-салата и спаржи три сонных омара, вытянувшись во всю длину, касались хвостами лежавших на боку перепелок, целые столбики которых высились на краю.

Оме блаженствовал. Роскошь опьяняла его еще больше, чем возлияние, но помардское тоже оказало на него свое действие, и когда подали омлет с ромом, он завел циничный разговор о женщинах. Больше всего он ценил в женщинах «шик». Он обожал элегантные туалеты, хорошо обставленные комнаты, а что касается внешности, то он предпочитал «крохотулек».

Леон время от времени устремлял полный отчаяния взгляд на стенные часы. А фармацевт все ел, пил, говорил.

— В Руане у вас, наверно, никого нет,— ни с того ни с сего сказал он.— Впрочем, ваш предмет живет близко.

Леон покраснел.

— Ну, ну, не притворяйтесь! Вы же не станете отрицать, что в Ионвиле...

Молодой человек что-то пробормотал.

— Вы ни за кем не волочитесь у госпожи Бовари?..

— Да за кем же?

— За служанкой!

Оме говорил серьезно, но самолюбие возобладало в Леоне над осторожностью, и он невольно запротестовал: ведь ему же нравятся брюнетки!

— Я с вами согласен,— сказал фармацевт.— У них темперамент сильнее.

Наклонившись к самому уху Леона, он стал перечислять признаки темперамента у женщин. Он даже приплел сюда этнографию: немки истеричны, французенки распутны, итальянки страстны.

— А негритянки? — спросил его собеседник.

— Это дело вкуса,— ответил Оме.— Человек! Две порции!

— Пойдем! — теряя терпение, сказал Леон.

— Yes¹.

Но перед уходом он не преминул вызвать хозяина и наговорил ему приятных вещей.

Чтобы отвязаться от Оме, молодой человек сказал, что у него есть дело.

— Ну что ж, я вас провожу! — вызвался Оме.

Дорогой он говорил о своей жене, о детях, об их будущем, о своей аптеке, о том, какое жалкое существование влачила она прежде и как он блестяще ее поставил.

Дойдя до гостиницы «Булонь», Леон неожиданно бросил аптекаря, взбежал по лестнице и застал свою возлюбленную в сильном волнении.

При имени фармацевта она вышла из себя. Но Леон стал приводить один веский довод за другим: чем же он виноват? Разве она не знает г-на Оме? Как она могла подумать, что он предпочел его общество? Она все отворачивалась от него; наконец он привлек ее к себе, опустился на колени и, обхватив ее стан, замер в сладострастной позе, выражавшей вожделение и мольбу.

¹ Да (англ.).

Эмма стояла не шевелясь; ее большие горящие глаза смотрели на него до ужаса серьезно. Но вот ее взор затуманился слезою, розовые веки дрогнули, она перестала вырывать руки, и Леон уже подносил их к губам, как вдруг постучался слуга и доложил, что его спрашивает какой-то господин.

— Ты скоро вернешься? — спросила Эмма.

— Конечно.

— Когда именно?

— Да сейчас.

— Я схитрил, — сказал Леону фармацевт. — Мне показалось, что этот визит вам не по душе, и я решил вызволить вас. Пойдемте к Бриду, выпьем по стаканчику эликсира Гарюс.

Леон поклялся, что ему давно пора в контору. Тогда аптекарь стал посмеиваться над крючкотворством, над судопроизводством.

— Да пошлите вы к черту своих Куяциев и Бартолов! Чего вы боитесь? Наплевать! Пойдемте к Бриду! Он вам покажет собаку. Это очень любопытно!

Леон не сдавался.

— Ну так я тоже пойду в контору, — заявил фармацевт. — Пока вы освободитесь, я почитаю газету, просмотрю Свод законов.

Устав от гнева Эммы, от болтовни фармацевта, быть может еще и осовев после сытного завтрака, Леон впал в нерешительность, а г-н Оме словно гипнотизировал его:

— Идемте к Бриду! Он живет в двух шагах, на улице Мальпалю.

И по своей мягкотелости, по глупости, подстрекаемый тем не поддающимся определению чувством, которое толкает нас на самые некрасивые поступки, Леон дал себя отвести к Бриду. Они застали его во дворе — он наблюдал за тремя парнями, которые вертели, пыхтя, тяжелое колесо машины для изготовления сельтерской воды. Оме начал давать им советы, потом стал обниматься с Бриду, потом все трое выпили эликсир. Леон двадцать раз пытался уйти, но Оме хватал его за руку и говорил:

— Сейчас, сейчас! Я тоже иду. Мы с вами зайдем в «Руанский светоч», посмотрим на журналистов. Я вас познакомлю с Томасеном.

В конце концов Леон все же избавился от него — и бегом в гостиницу: Эммы там уже не было.

Вне себя от ярости, она только что уехала в Ионвиль. Теперь она ненавидела Леона. То, что он не пришел на свиданье,

она воспринимала как личное оскорбление и выискивала все новые и новые причины, чтобы порвать с ним: человек он вполне заурядный, бесхарактерный, безвольный, как женщина, неспособный на подвиг, да и к тому же еще скупой и трусливый.

Несколько успокоившись, она поняла, что была к нему несправедлива. Но когда мы черним любимого человека, то это до известной степени отдаляет нас от него. До идолов дотрагиваться нельзя — позолота пристаёт к пальцам.

С этого дня Эмма и Леон все чаще стали обращаться к посторонним предметам. В письмах Эмма рассуждала о цветах, о стихах, о луне и звездах, обо всех этих немудреных подспорях слабеющей страсти, которая требует поддержки извне. От каждого нового свидания она ждала чего-то необыкновенного, а потому всякий раз признавалась себе, что захватывающего блаженства ей испытать не довелось. Но разочарование быстро сменялось надеждой, и Эмма возвращалась к Леону еще более пылкой, еще более жадной, чем прежде. Она срывала с себя платье, выдергивала из корсета тонкий шнурок, и шнурок скользящей змеей свистел вокруг ее бедер. Босиком, на цыпочках она еще раз подходила к порогу, убеждалась, что дверь заперта, мгновенно сбрасывала с себя оставшиеся на ней покровы, внезапно бледнела, молча, не улыбаясь, прижималась к груди Леона, и по всему ее телу пробегал долгий трепет.

Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в сцеплении ее рук было что-то неестественное, что-то непонятное и мрачное, и Леону казалось, будто это *что-то* внезапно проползает между ними и разделяет их.

Леон не смел задавать ей вопросы, но он считал ее опытной женщиной и был убежден, что ей привелось испытать все муки и все наслаждения. Что когда-то пленяло его, то теперь отчасти пугало. Кроме того, она все больше и больше поработала его личность, и это вызывало в нем внутренний протест. Леон не мог простить Эмме ее постоянной победы над ним. Он пытался даже разлюбить ее, но, слышав скрип ее туфель, терял над собой власть, как пьяница — при виде крепких напитков.

Правда, она по-прежнему оказывала ему всевозможные знаки внимания, начиная с изысканных блюд и кончая модными туалетами и томными взглядами. Везла у себя на груди розы из Ионвиля и потом осыпала ими Леона, следила за его здоровьем, учила его хорошим манерам и, чтобы крепче привязать его к себе, в надежде на помощь свыше, повесила ему

на шею образок богородицы. Как заботливая мать, она расспрашивала его о товарищах.

— Не встречайся с ними,— говорила она,— никуда не ходи, думай только о нашем счастье, люби меня!

Ей хотелось знать каждый его шаг; она даже подумала, нельзя ли нанять соглядатая, который ходил бы за ним по пятам. Около гостиницы к приезжающим вечно приставал какой-то оборванец — он бы, конечно, не отказался... Но против этого восстала ее гордость.

«А, бог с ним, пусть обманывает! Не очень-то я в нем нуждаюсь!»

Однажды они с Леоном расстались раньше, чем обыкновенно, и когда Эмма шла одна по бульвару, перед ней забелели стены ее монастыря. Она села на скамейку под вязами. Как спокойно жилось ей тогда! Как она жаждала сейчас той несказанно прекрасной любви, которую некогда старалась представить себе по книгам!

Первые месяцы замужества, прогулки верхом в лес, вальсирующий виконт, Лагарди — все прошло перед ее глазами... Внезапно появился и Леон, но тоже вдалеке, как и остальные.

«Нет, я его люблю!» — говорила она себе.

Ну что ж, все равно! Счастья у нее нет и никогда не было прежде. Откуда же у нее это ощущение неполноты жизни, отчего мгновенно истлевало то, на что она пыталась опереться?.. Но если есть на земле существо сильное и прекрасное, благородная натура, пылкая и вместе с тем тонко чувствующая, ангел во плоти и с сердцем поэта, звонкострунная лира, возносящая к небу тихие гимны, то почему они не могут встретиться? О нет, это невозможно! Да и не стоит искать — все на свете обман! За каждой улыбкой кроется зевот от скуки, за каждой радостью — горе, за наслаждением — пресыщение, и даже после самых жарких поцелуев остается лишь неутоляемая жажда еще более упоительных ласк.

Внезапно в воздухе раздался механический хрип — это на монастырской колокольне ударили четыре раза. Только четыре часа! А ей казалось, что с тех пор, как она села на эту скамейку, прошла целая вечность. Но одно мгновение может вобрать в себя сонм страстей, равно как на небольшом пространстве может поместиться толпа. Эмму ее страсти поглощали всецело, и о деньгах она думала столько же, сколько эрцгерцогиня.

Но однажды к ней явился какой-то лысый, краснолицый плюгавый человечек и сказал, что он из Руана, от г-на Венсара. Вытащив булавки, которыми был заколот боковой карман его

длинного зеленого сюртука, он воткнул их в рукав и вежливо протянул Эмме какую-то бумагу.

Это был выданный Эммой вексель на семьсот франков,— Лере нарушил все свои клятвы и подал его ко взысканию.

Эмма послала за торговцем служанку. Но Лере сказал, что он занят.

Любопытные глазки незнакомца, прятавшиеся под насупленными белесыми бровями, шарили по всей комнате.

— Что передать господину Венсару? — спросил он с наивным видом.

— Так вот... — начала Эмма, — скажите ему... что сейчас у меня денег нет... На той неделе... Пусть подождет... Да, да, на той неделе.

Посланец молча удалился.

Тем не менее на другой день в двенадцать часов Эмма получила протест. Один вид гербовой бумаги, на которой в нескольких местах было выведено крупными буквами: «Судебный пристав города Бюши господин Аран», так ее напугал, что она опрометью бросилась к торговцу тканями.

Господин Лере перевязывал у себя в лавке пакет.

— Честь имею! — сказал он. — К вашим услугам.

Но он все же до конца довел свое дело, в котором ему помогала горбатенькая девочка лет тринадцати, — она была у него и за приказчика и за кухарку.

Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам лестницы, он повел Эмму на второй этаж и впустил ее в тесный кабинет, где на громоздком еловом письменном столе высилась груда конторских книг, придавленная лежавшим поперек железным бруском на висячем замке. У стены за ситцевой занавеской виднелся несгораемый шкаф таких громадных размеров, что в нем, по всей вероятности, хранились вещи более крупные, чем ассигнации и векселя. В самом деле, г-н Лере давал в долг под залог, и как раз в этот шкаф положил он золотую цепочку г-жи Бовари и серьги незадачливого дядюшки Телье, который в конце концов вынужден был продать свое заведение и купить в Кенкампуа бакалейную лавчонку, где он, еще желтее тех свечей, что ему приходилось отпускать покупателям, медленно умирал от чахотки.

Лере сел в большое соломенное кресло.

— Что скажете? — спросил он.

— Вот, полюбуйтеся.

Эмма показала ему бумагу.

— Что же я-то тут могу поделать?

Эмма в сердцах напомнила ему его обещание не опротестовывать ее векселя, но он этого и не оспаривал.

— Иначе я поступить не мог — мне самому позарез нужны были деньги.

— Что же теперь будет? — спросила она.

— Все пойдет своим порядком — сперва суд, потом опись имущества... И капут!

Эмма едва сдерживалась, чтобы не ударить его. Но все же она самым кротким тоном спросила, нельзя ли как-нибудь смягчить Венсара.

— Да, как же! Венсара, пожалуй, смягчишь! Плохо вы его знаете: это тигр лютый.

Но ведь у Эммы вся надежда на г-на Лере!

— Послушайте! По-моему, я до сих пор был достаточно снисходителен.

С этими словами он открыл одну из своих книг:

— Вот пожалуйста!

И стал водить пальцем по странице:

— Сейчас... сейчас... Третьего августа — двести франков... Семнадцатого июня — полтора ста... Двадцать пятого марта — сорок шесть... В апреле...

Но тут он, словно боясь попасть впросак, запнулся.

— И это не считая векселей, выданных господином Бовари, одного — на семьсот франков, а другого — на триста! А вашим мелким займам и процентам я давно счет потерял — тут сам черт ногу сломит. Нет, я — слуга покорный!

Эмма плакала, она даже назвала его один раз «милым господином Лере». Но он все валил на этого «зверюгу Венсара». К тому же он сейчас без гроша, долгов никто ему не платит, а он для всех — дойная корова; он — бедный лавочник, он не в состоянии давать займы.

Эмма умолкла; г-н Лере покусывал перо; наконец, встревоженный ее молчанием, он снова заговорил:

— Впрочем, если у меня на днях будут поступления... тогда я смогу...

— Во всяком случае, как только я получу остальную сумму за Барневиль... — сказала Эмма.

— Что такое?..

Узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере сделал крайне удивленное лицо.

— Так вы говорите, мы с вами поладим?.. — вкрадчивым тоном спросил он.

— О, это зависит только от вас!

Господин Лере закрыл глаза, подумал, написал несколько цифр, а затем, продолжая уверять Эмму, что он не оберется хлопот, что дело это щекотливое и что он «спускает с себя последнюю рубашку», продиктовал Эмме четыре векселя по двести пятьдесят франков каждый, причем все они должны были быть погашены один за другим, с месячным промежутком в платежах.

— Только бы мне уговорить Венсара! Ну да что там толковать, что сделано, то сделано, я на ветер слов не бросаю, я весь тут!

Затем он с небрежным видом показал ей кое-какие новые товары, ни один из которых, однако, не заслуживал, на его взгляд, внимания г-жи Бовари.

— Подумать только: вот эта материя — по семи су за метр, да еще с ручательством, что не линяет! Берут нарасхват! Сами понимаете, я же им не говорю, в чем тут секрет.

Этим откровенным признанием, что он плутует с другими покупателями, он желал окончательно убедить ее в своей безукоризненной честности по отношению к ней.

После этого он предложил ей взглянуть на гипюр — три метра этой материи он приобрел на аукционе.

— Хорош! — восхищался он. — Теперь его много берут на накидочки для кресел. Модный товар.

Тут он ловкими, как у фокусника, руками завернул гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки.

— А сколько же?..

— Сочтемся! — прервал ее Лере и повернулся к ней спиной.

В тот же вечер Эмма заставила Бовари написать матери, чтобы она немедленно выслала им все, что осталось от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего больше нет: ликвидация имущества закончена, и, не считая Барневиля, на их долю приходится шестьсот ливров годового дохода, каковую сумму она обязуется аккуратно выплачивать.

Тогда г-жа Бовари послала кое-кому из пациентов счета и вскоре начала широко применять это оказавшееся действительным средство. В постскриптуме она неукоснительно добавляла: «Не говорите об этом мужу — вы знаете, как он самолюбив... Извините за беспокойство... Готовая к услугам...» Пришло несколько негодующих писем; она их перехватила.

Чтобы наскрести денег, она распродала старые перчатки, старые шляпки, железный лом; торговалась она отчаянно — в ней заговорила мужицкая кровь. Этого мало: она придумала на-

купить в Руане всякой всячины — в расчете на то, что сумеет ее перепродать г-ну Лере, а может быть, и другим торговцам. Эмма набрала страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок. Она занимала у Фелисите, у г-жи Лефрансуа, в гостинице «Красный крест», у кого угодно. Получив наконец последние деньги за Барневиль, она уплатила по двум векселям, но тут доспел срок еще одному — на полторы тысячи. Она опять влезла в долг — и так без конца!

Правда, время от времени она пыталась поверить счета. Но тогда открывались такие страшные вещи, что она вся холодела. Она пересчитывала, быстро запутывалась, бросала и больше уже об этом не думала.

Как уныло выглядел теперь ее дом! Оттуда постоянно выходили обозленные поставщики. На каминных полочках валялись Эммины носовые платочки. Маленькая Берта, к великому ужасу г-жи Оме, ходила в дырявых чулках. Когда Шарль робко пытался сделать жене замечание, она резко отвечала, что это не ее вина.

Что было причиной подобных вспышек? Шарль все объяснял ее давним нервным заболеванием. Он упрекал себя в том, что принимал болезненные явления за свойства характера, обвинял себя в эгоизме, ему хотелось приласкать ее, но он тут же себя останавливал:

«Нет, нет, не надо ей докучать!»

И так и не подходил к ней.

После обеда он гулял в саду один. Иногда брал к себе на колени БERTУ, открывал медицинский журнал и показывал ей буквы. Но девочка, не привыкшая учиться, смотрела на отца большими грустными глазами и начинала плакать. Отец утешал ее как мог: приносил в лейке воду и пускал ручейки по дорожке, обламывал бирючину и втыкал ветки в клумбы, как будто это деревья, что, однако, не очень портило общий вид сада — до того он был запущен: ведь они так давно не платили садовнику Лестибудуа! Потом девочка зябла и спрашивала, где мама.

— Позови няню, — говорил Шарль. — Ты же знаешь, детка: мама не любит, чтобы ей надоедали.

Уже наступала осень и падал лист — совсем как два года назад, во время болезни Эммы. Когда же все это кончится?.. Заложив руки за спину, Шарль ходил по саду.

Госпожа Бовари сидела у себя в комнате. К ней никто не смел войти. Она проводила здесь целые дни, полуодетая, ослабленная, и лишь время от времени приказывала зажечь курильные свечи, которые она купила в Руане у алжирца. Чтобы

ночью рядом с ней не лежал и не спал ее муж, она своими капризами довела его до того, что он перебрался на третий этаж, а сама читала до утра глупейшие романы с описаниями оргий и с кровавой развязкой. Временами ей становилось страшно; она вскрикивала; прибежал Шарль.

— Уйди! — говорила она.

А когда Эмму особенно сильно жег внутренний огонь — огонь запретной любви, ей становилось нечем дышать, и она, возбужденная, вся охваченная страстью, отворяла окно и с наслаждением втягивала в себя холодный воздух; ветер трепал ее тяжелые волосы, а она, глядя на звезды, жаждала той любви, о которой пишут в романах. Она думала о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все за одно утоляющее свидание с ним.

Эти свидания были для нее праздником. Ей хотелось обставить их как можно роскошнее. И если Леон не мог оплатить все расходы, то она швыряла деньги направо и налево, и случилось это почти всякий раз. Он пытался доказать ей, что в другой, более скромной гостинице им было бы не хуже, но она стояла на своем.

Как-то Эмма вынула из ридикюля полдюжины золоченых ложек (это был свадебный подарок папаши Руо) и попросила Леона сейчас же заложить их на ее имя в ломбарде. Леон выполнил это поручение, но неохотно. Он боялся себя скомпрометировать.

По зрелом размышлении он пришел к выводу, что его любовница начинает как-то странно себя вести и что, в сущности, недурно было бы от нее отделаться.

Помимо всего прочего, кто-то уже написал его матери длинное анонимное письмо, ставившее ее в известность, что Леон «губит свою жизнь связью с замужней женщиной». Почтенная дама, нарисовав себе расплывчатый образ вечного пугала всех семей, некоего зловредного существа, сирены, чуда морского, таящегося в пучинах любви, немедленно написала патрону своего сына Дюбокажу, и Дюбокаж постарался. Он продержал Леона у себя в кабинете около часа и все открывал ему глаза и указывал на бездну. Такого рода связь может испортить карьеру. Он умолял Леона порвать — если не ради себя, то хотя бы ради него, Дюбокажа!

В конце концов Леон обещал больше не встречаться с Эммой. И потом он постоянно упрекал себя, что не держит слова, думал о том, сколько еще будет разговоров и неприятностей из-за этой женщины, а сослуживцы, греясь по утрам у печки, подшучивали над ним. К тому же Леону была обещана долж-

ность старшего делопроизводителя — пора было остепениться. Он уже отказался от игры на флейте, от возвышенных чувств, от мечтаний. Нет такого мещанина, который в пору мятежной юности хотя бы один день, хотя бы одно мгновение не считал себя способным на глубокое чувство, на смелый подвиг. Воображению самого обыкновенного развратника когда-нибудь являлись султанши, в душе у любого нотариуса покоятся останки поэта.

Теперь Леон скучал, когда Эмма на его груди внезапно разражалась слезами. Есть люди, которые выносят музыку только в известных дозах, — так сердце Леона стало глухо к голосам страсти, оно не улавливало оттенков.

Леон и Эмма изучили друг друга настолько, что уже не испытывали той ошеломленности, которая стократ усиливает радость обладания. Она им пресытилась, он от нее устал. Та самая пошлость, которая преследовала Эмму в брачном сожительстве, просочилась и в запретную любовь.

Но как со всем этим покончить? Всю унижительность этого убогого счастья Эмма сознавала отчетливо, и тем не менее она держалась за него то ли в силу привычки, то ли в силу своей порочности. С каждым днем она все отчаяннее цеплялась за него и отравляла себе всякое подобие блаженства тоскою о каком-то необыкновенном блаженстве. Она считала Леона виновным в том, что надежды ее не сбылись, как если бы он сознательно обманул ее. Ей даже хотелось, чтобы произошла катастрофа и повлекла за собой разлуку — разорвать самой у нее не хватало душевных сил.

Это не мешало ей по-прежнему писать Леону любовные письма: она была убеждена, что женщине полагается писать письма своему возлюбленному.

Но когда она сидела за письменным столом, ей мерещился другой человек, некий призрак, сотканный из самых ярких ее впечатлений, из самых красивых описаний, вычитанных в книгах, из самых сильных ее вождедений. Мало-помалу он становился таким правдоподобным и таким доступным, что она вздрагивала от изумления, хотя представить себе его явственно все-таки не могла: подобно богу, он был не виден за многообразием своих свойств. Он жил в лазоревом царстве, где с балконов спускались шелковые лестницы, среди душистых цветов, сиянный луною. Ей казалось, что он где-то совсем близко: сейчас он придет, и в едином лобзании она отдаст ему всю себя. И вдруг она падала как подкошенная: эти бесплодные порывы истощали ее сильнее самого безудержного разврата.

У нее не проходило ощущение телесной и душевной разбитости. Она получала повестки в суд, разные официальные бумаги, но просматривала их мельком. Ей хотелось или совсем не жить, или спать, не просыпаясь.

В день середины Великого поста она не вернулась в Ионвиль, а пошла вечером на маскарад. На ней были бархатные панталоны, красные чулки, парик с косицей и цилиндр, сдвинутый набекрень. Всю ночь она проплясала под бешеный рев тромбонов; мужчины за ней увивались; под утро она вышла из театра в компании нескольких масок — «грузчиц» и «моряков», товарищей Леона, — они звали ее ужинать.

Ближайшие кафе были переполнены. Наконец они отыскали на набережной захудалый ресторанчик; хозяин провел их в тесный отдельный кабинет на пятом этаже.

Мужчины шептались в уголке, видимо, подсчитывая предстоящие расходы. Тут был один писец, два лекаря и один приказчик. Нечего сказать, в хорошее общество попала она! А женщины! Эмма сразу по звуку голоса определила, что все они самого низкого пошиба. Ей стало страшно, она отсела от них и опустила глаза.

Все принялись за еду. Она ничего не ела. Лоб у нее пылал, веки покалывало, по телу пробегал озноб. Ей казалось, что голова ее превратилась в бальную залу, и пол в ней трясется от мерного топота множества пляшущих ног. Потом ей стало дурно от запаха пунша и от дыма сигар. Она потеряла сознание; ее перенесли к окну.

Светало. По бледному небу, над холмом Святой Катерины, все шире растекалось пурпурное пятно. Посиневшая от холода река дрожала на ветру. Никто не шел по мостам. Фонари гасли.

Эмма между тем очнулась и вспомнила о Берте, которая спала сейчас там, в Ионвиле, в няниной комнате. В эту самую минуту мимо проехала телега с длинными листами железа; стенам домов передавалась мелкая дрожь оглушительно скрежещавшего металла.

Эмма вдруг сорвалась с места, переоделась в другой комнате, сказала Леону, что ей пора домой, и, наконец, осталась одна в гостинице «Булонь». Она испытывала отвращение ко всему, даже к себе самой. Ей хотелось вспорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-далеко, в незагрязненные пространства, и обновиться душой и телом.

Она вышла на улицу и, пройдя бульвар и площадь Кошуаз, очутилась в предместье, на улице, где было больше садов, чем домов. Она шла быстрой походкой, свежий воздух действовал

на нее успокаивающе, и постепенно лица, мелькавшие вчера перед ней, маски, танцы, люстры, ужин, девицы — все это исчезло, как подхваченные ветром хлопья тумана. Дойдя до «Красного креста», она поднялась в свой номерок на третьем этаже, где висели иллюстрации к «Нельской башне», и бросилась на кровать. В четыре часа дня ее разбудил Ивер.

Дома Фелисите показала ей на лист серой бумаги, спрятанный за часами. Эмма прочла:

«Копия постановления суда...»

Какого еще суда? Она не знала, что накануне приносили другую бумагу, и ее ошеломили эти слова:

«Именем короля, закона и правосудия г-жа Бовари...»

Несколько строк она пропустила.

«...в двадцать четыре часа...»

Что в двадцать четыре часа?

«...уплатить сполна восемь тысяч франков».

И дальше:

«В противном случае на законном основании будет наложен арест на все ее движимое и недвижимое имущество».

Что же делать?.. Через двадцать четыре часа! Значит — завтра! Она решила, что Лере просто пугает ее. Ей казалось, что она разгадала все его маневры, поняла цель его поблажек. Громадность суммы отчасти успокоила ее.

А между тем, покупая и не платя, занимая, выдавая и переписывая векселя, суммы которых росли с каждой отсрочкой, Эмма накопила г-ну Лере изрядный капитал, который был ему теперь очень нужен для всевозможных махинаций.

Эмма пришла к нему как ни в чем не бывало.

— Вы знаете, что произошло? Это, конечно, шутка?

— Нет.

— То есть как?

Он медленно повернулся к ней всем корпусом и, сложив на груди руки, сказал:

— Неужели вы думаете, милая барыня, что я до скончания века буду служить вам поставщиком и банкиром только ради ваших прекрасных глаз? Войдите в мое положение: надо же мне когда-нибудь вернуть мои деньги!

Эмма попыталась возразить против суммы.

— Ничего не поделаешь! Утверждено судом! Есть постановление! Вам оно объявлено официально. Да и потом, это же не я, а Венсар.

— А вы не могли бы...

— Ничего я не могу.

— Ну, а все-таки... Давайте подумаем.

И она замолела вздор: она ничего не знала, все это ей как снег на голову...

— А кто виноват? — поклонившись ей с насмешливым видом, спросил торговец. — Я из сил выбиваюсь, а вы веселитесь.

— Нельзя ли без нравоучений?

— Нравоучения всегда полезны, — возразил он.

Эмма унижалась перед ним, умоляла, даже дотронулась до его колена своими красивыми длинными белыми пальцами.

— Нет уж, пожалуйста! Вы что, соблазнить меня хотите?

— Подлец! — крикнула Эмма.

— Ого! Уж очень быстрые у вас переходы! — со смехом заметил Лере.

— Я выведу вас на чистую воду. Я скажу мужу...

— А я вашему мужу кое-что покажу!

С этими словами Лере вынул из несгораемого шкафа расписку на тысячу восемьсот франков, которую она ему выдала, когда Венсар собирался учесть ее векселя.

— Вы думаете, ваш бедный муженек не поймет, что вы сжульничали? — спросил он.

Эмму точно ударили обухом по голове. А Лере шагал от окна к столу и обратно и все твердил:

— Я непременно ему покажу... я непременно ему покажу...

Затем он приблизился к ней вплотную и вдруг перешел на вкрадчивый тон:

— Конечно, это не весело, я понимаю. Но, в конце концов, никто от этого не умирал, и поскольку другого пути вернуть мне деньги у вас нет...

— Где же мне их взять? — ломая руки, проговорила Эмма.

— А, будет вам! У вас же есть друзья!

И при этом он посмотрел на нее таким пропизывающим и таким страшным взглядом, что она содрогнулась.

— Я обещаю вам, я подпишу... — залепетала она.
— Довольно с меня ваших подписей!
— Я еще что-нибудь продам...
— Перестаньте! У вас ничего больше нет! — передернув плечами, прервал ее торговец и крикнул в слуховое окошко, выходящее в лавку: — Аннета! Принеси мне три отреза номер четырнадцать.

Появилась служанка. Эмма все поняла и только спросила, какая нужна сумма, чтобы прекратить дело.

— Поздно!
— А если я вам принесу несколько тысяч франков, четверть суммы, треть, почти все?

— Нет, нет, бесполезно!
Он осторожно подталкивал ее к лестнице.
— Заклинаю вас, господин Лере: еще хоть несколько дней!

Она рыдала.

— Ну, вот еще! Слезы!

— Я в таком отчаянии!

— А мне наплевать! — запирая дверь, сказал г-н Лере.

VII

На другой день, когда судебный пристав г-н Аран явился к ней с двумя понятыми описывать имущество, она держала себя героически.

Начали они с кабинета Бовари, но френологическую голову описывать не стали, так как отнесли ее к «медицинским инструментам». Зато в кухне переписали блюда, горшки, стулья, подсвечники, а в спальне безделушки на этажерке. Осмотрели платья Эммы, белье, туалетную комнату. Вся жизнь Эммы со всеми ее тайниками была выставлена напоказ этим трем мужчинам, точно вскрываемый труп.

Господин Аран в наглухо застегнутом черном фраке, в белом галстуке, в панталонах с туго натянутыми штрипками время от времени обращался к Эмме:

— Разрешите, сударыня! Разрешите!

Поминутно раздавались его восклицания:

— Какая хорошенькая вещица!.. Какая прелесть!

Потом г-н Аран опять принимался писать, макая перо в роговую чернильницу, которую он держал в левой руке.

Покончив с жилым помещением, поднялись на чердак.

Там у Эммы стоял пюпитр, где хранились письма Родольфа. Пришлось открыть и пюпитр.

— Ах, тут корреспонденция! — улыбаясь скромной улыбкой, сказал г-н Аран. — А все-таки разрешите мне удостовериться, что в ящике больше ничего нет.

Он стал осторожно наклонять конверты, словно для того, чтобы высыпать золото. При виде того, как эта жирная рука с красными, влажными, точно слизняки, пальцами касается тех страниц, над которыми когда-то сильно билось ее сердце, Эмма чуть было не вышла из себя.

Наконец они удалились. Вошла Фелисите. Эмма посылала ее перехватить Бовари и постараться отвлечь его внимание. Сторожа, оставленного караулить описанное имущество, они спровадили на чердак, взяв с него слово, что он оттуда не выйдет.

Вечером Эмме показалось, что Шарль чем-то озабочен. Она следила за ним встревоженным взглядом и в каждой складке на его лице читала себе обвинительный приговор. Когда же она переводила глаза на камин, заставленный китайским экраном, на широкие портьеры, на кресла, на все эти вещи, скрашивавшие ей жизнь, ее охватывало раскаяние, вернее — глубочайшее сожаление, от которого боль не только не утихала, а наоборот: становилась все мучительнее. Шарль, поставив ноги на решетку, спокойно помещивал угли в камине.

Сторож, видимо соскучившись в своем укроном уголке, чем-то стукнул.

— Там кто-то ходит? — спросил Шарль.

— Нет! — ответила Эмма. — Забыли затворить слуховое окно, и ветер хлопает рамой.

На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан и обегала всех известных ей банкиров. Но они были за городом или в отлучке. Это ее не остановило. Она просила денег у тех немногих, кого ей удалось застать, и все твердила, что у нее сейчас крайность и что она отдаст. Иные смеялись ей в лицо. Отказом ответили все.

В два часа она побежала к Леону, постучалась. Ее не впустили. Наконец появился он сам.

— Зачем ты пришла?

— Тебе это неприятно?

— Нет... но...

Он признался, что хозяин не любит, когда у жильцов «бывают женщины».

— Мне надо с тобой поговорить, — сказала Эмма.

Он хотел было распахнуть перед ней дверь, но она остановила его:

— Нет, нет! Пойдем к нам!

И они пошли в свой номер, в гостиницу «Булонь».

Войдя, Эмма выпила целый стакан воды. Она была очень бледна.

— Леон, окажи мне услугу, — обратилась она к нему.

Она стиснула ему руки и стала трясти их.

— Слушай: мне нужно восемь тысяч франков!

— Ты с ума сошла!

— Пока еще нет!

Она рассказала ему про опись, про свою беду: Шарль ничего не подозревает, свекровь ненавидит ее, отец ничем не в состоянии помочь. Но Леон должен похлопотать и во что бы то ни стало раздобыть требуемую сумму...

— Но как же я...

— Тряпка ты, а не мужчина! — крикнула она.

В ответ на это он сказал явную глупость:

— Ты сгущаешь краски. Наверно, твоему старикашке можно заткнуть рот и одной тысячей экю.

Казалось бы, тем больше у Леона оснований хоть что-нибудь предпринять. Никогда она не поверит, чтобы нельзя было достать три тысячи франков. Притом Леон может занять не для себя, а для нее.

— Ну иди! Попытайся! Это необходимо! Беги!.. Сделай все! Сделай все! Я так тебя буду любить!

Он ушел и, вернувшись через час, торжественно объявил:

— Я был у троих... Ничего не вышло.

Молча и неподвижно сидели они друг против друга по обе стороны камина. Эмма пожимала плечами, пристукивая от нетерпения каблуком. Вдруг он услышал ее шепот:

— Я бы на твоём месте, конечно, нашла!

— Да где же?

— У себя в конторе!

И она взглянула на него.

Глаза ее горели дикой отвагой, веки сладострастно и ободряюще смежались, и молодой человек чувствовал, что он не в силах противодействовать молчаливой воле этой женщины, толкающей его на преступление. Ему стало страшно, и, чтобы не ставить точек над *i*, он, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— Да ведь сегодня ночью должен вернуться Морель! Надеюсь, он мне не откажет. (Морель был сын богатого коммер-

санта, приятель Леона.) Завтра я привезу тебе деньги,— добавил он.

Эмма, видимо, не очень обрадовалась. Быть может, она подозревала ложь? Леон покраснел.

— Но если до трех часов меня не будет, ты уж меня не жди, дорогая,— предупредил он.— А теперь прости — мне пора. Прощай!

Он пожал ей руку, но ответного пожатия не ощутил. Эмма уже ничего не чувствовала, кроме душевной пустоты.

Пробило четыре часа, и она по привычке, как автомат, встала с места — надо было ехать обратно в Ионвиль.

Погода стояла прекрасная. Был один из тех ясных и свежих мартовских дней, когда солнце сияет на белом-белом небе. Руанцы, нарядные ради воскресного дня, разгуливали и, казалось, наслаждались жизнью. Эмма дошла до соборной площади. Только что кончилась всенощная, и народ расходился. Толпа, словно река из трех пролетов моста, текла из трех церковных дверей, а у главного входа неподвижной скалой высился привратник.

И тут Эмма припомнила день, когда, полная надежд и сомнений, входила она под эти своды, а любовь ее в тот миг была еще глубже громадного храма. Она плохо сознавала, что с ней творится, но все же продолжала идти, хотя ноги у нее подкашивались, а из глаз текли под вуалью слезы.

— Берегись! — крикнул голос из распахнувшихся ворот.

Она остановилась и пропустила вороную лошадь, приплясывавшую в оглоблях тильбюри, которым правил какой-то джентльмен в собольей шубе. Кто бы это мог быть? Эмма его где-то видела... Лошадь рванула и укатила.

Да это же виконт! Эмма оглянулась — улица была пуста. Подавленная, измученная, Эмма прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Потом она подумала, что, вероятно, ошиблась. Вообще она уже ничего не понимала. Все в ней самой и вокруг нее было ненадежно. Она чувствовала, что погибает, чувствовала, что катится в пропасть. И она даже обрадовалась милому Оме,— держа в руке платок с полдюжиной «тюрбанчиков» для своей супруги, он стоял во дворе «Красного креста» и наблюдал за тем, как в «Ласточку» грузят большой ящик с аптекарскими товарами.

«Тюрбанчики» — тяжелые хлебцы в виде чалмы, которые принято есть постом и непременно — с соленым маслом,— г-жа Оме очень любила. Это единственный уцелевший образец средне-

вековой кулинарии, восходящий, быть может, ко времени крестовых походов: такими хлебцами, вероятно, наедались досыта могучие нормандцы, которым при желтом свете факелов казалось, будто на столах среди кувшинов с вином и громадных окороков выставлены им на съедение головы сарацинов. Аптекарьша, несмотря на скверные зубы, грызла тюрбанчики с героическим упорством, поэтому г-н Оме, всякий раз, когда бывал в Руане, покупал их для нее в лучшей булочной на улице Масакр.

— Какая приятная встреча! — сказал он, подсаживая Эмму в «Ласточку».

Затем привязал тюрбанчики к ремню багажной сетки, снял шляпу и, скрестив руки, принял наполеоновскую задумчивую позу. Но когда у подножья горы, по обыкновению, показался слепой, он воскликнул:

— Не понимаю, как это власти до сих пор терпят столь предосудительный промысел! Таких несчастных нужно отделить от общества и приучить к труду! Прогресс движается черепашьям шагом, честное слово! Мы недалеко ушли от варваров!

Слепой протягивал шляпу, и она тряслась у края занавески, словно отставший клочок обоев.

— Последствие золотухи! — возгласил фармацевт.

Он прекрасно знал этого горемыку, но притворился, будто видит его впервые, и стал сыпать специальными выражениями: роговая оболочка, склера, габитус, фациес, а затем отеческим тоном заговорил с ним:

— И давно ты, мой друг, болеешь этой ужасной болезнью? Вместо того чтобы шататься по кабакам, ты бы лучше придерживался определенного режима.

Он советовал ему пить хорошее вино, хорошее пиво, есть хорошее жаркое. Слепой все тянул свою песенку. Вообще он казался полудиотом. Наконец г-н Оме открыл кошелек.

— На, вот тебе су, дай мне два лиара сдачи. И не забывай моих советов — они тебе пригодятся.

Ивер не постеснялся выразить по этому поводу сомнение. Но аптекарь, заявив, что берется вылечить слепого с помощью противовоспалительной мази собственного приготовления, дал ему свой адрес:

— Господин Оме, возле рынка, меня все знают.

— Ну, а теперь, за то, что побеспокоил господ, представь нам комедию, — сказал Ивер.

Слепой присел на корточки, запрокинул голову, высунул язык и, вращая глазами, затекшими зеленоватым гноем, стал

тереть обеими руками живот и глухо, как голодная собака, завыл. Почувствовав отвращение, Эмма бросила ему через плечо пятифранковую монету. Это было все ее достояние. Она тут же подумала, что лучше нельзя было его промотать.

Дилижанс поехал дальше, но г-н Оме вдруг высунулся в окошко и крикнул:

— Ни мучного, ни молочного! Носить шерстяное белье и подвергать пораженные участки действию можжевельного дыма!

Знакомые предметы, мелькавшие перед глазами Эммы, отвлекали ее от мрачных дум. Она чувствовала во всем теле страшную усталость; домой она вернулась в каком-то отупении, изнеможении, полусне.

«Будь что будет!» — решила она.

А потом, кто знает? Всегда может произойти что-нибудь необычайное. Например, скоропостижно умрет Лере.

В девять часов утра ее разбудил шум на площади. У рынка, около столба, на котором было наклеено большое объявление, собрался народ, а Жюстен, стоя на тумбе, срывал объявление. Но в эту минуту его схватил за шиворот полевой сторож. Из аптеки вышел г-н Оме. В центре толпы стояла и, по-видимому, о чем-то распространялась тетушка Лефрансуа.

— Барыня! Барыня! — крикнула, вбегая, Фелисите. — Вот безобразие!

С этими словами бедная девушка, вся дрожа от волнения, протянула Эмме лист желтой бумаги, который она сейчас сорвала с двери. Эмма, только взглянув, поняла все: это объявление о распродаже ее имущества.

Барыня и служанка молча переглянулись. У них не было тайн друг от друга. Фелисите вздохнула.

— Я бы на вашем месте, барыня, пошла к Гильомену.

— Ты думаешь?

Этим вопросом она хотела сказать:

«Через слугу тебе известно все. Разве хозяин говорил когда-нибудь обо мне?»

— Да, да, пойдите к нему, это самое лучшее.

Госпожа Бовари надела черное платье и шляпку с отделкой из стекляруса. Чтобы ее не увидели (на площади все еще толпился народ), она пошла задворками, берегом реки.

Добежав до калитки нотариуса, она еле перевела дух. Было пасмурно, падал снежок.

На звонок вышел Теодор в красном жилете; он встретил Эмму почти фамильярно, как свою приятельницу, и провел прямо в столовую.

Под кактусом, который заполнял всю нишу, гудела большая изразцовая печь; на стенах, оклеенных обоями под цвет дуба, висели в черных деревянных рамах «Эсмеральда» Штейбена и «Жена Потифара» Шопена. Накрытый стол, две серебряные грелки, хрустальная дверная ручка, паркет, обстановка — все сверкало безукоризненной, английской чистотой. В уголки окон были вставлены для красоты цветные стекла.

«Мне бы такую столовую», — подумала Эмма.

Вошел нотариус; левой рукой он придерживал расшитый пальмовыми листьями халат, а другой рукой то приподнимал, то опять надевал коричневую бархатную шапочку, кокетливо сдвинутую на правый бок — туда, где свисали три белесые пряди, которые, расходясь на затылке, обвивали его голый череп.

Предложив Эмме кресло, Гильомен извинился за бесцеремонность и сел завтракать.

— У меня к вам просьба, сударь... — заговорила Эмма.

— Какая просьба, сударыня? Я вас слушаю.

Она начала излагать суть дела.

Господин Гильомен все уже знал от самого торговца тканями, с которым он не раз под шумок обделывал дела: когда нотариуса просили устроить ссуду под закладные, г-н Лере охотно давал ему деньги.

Таким образом вся эта длинная история представлялась ему яснее, чем самой Эмме: ее векселя, сначала мелкие, бланкированные разными лицами, надолго отсроченные, без конца переписывались, пока в один прекрасный день купец не собрал все протесты и не поручил своему приятелю подать в суд, но только от своего имени, ибо прослыть у своих сограждан живоглотом он считал для себя невыгодным.

Эмма перебивала свой рассказ упреками по адресу Лере, на которые нотариус время от времени отвечал ничего не значащими словами. Синий галстук, заколотый двумя бриллиантовыми булавками, соединенными золотой цепочкой, подпирал ему подбородок; он ел котлету, пил чай и все улыбался какой-то странной улыбкой, слащавой и двусмысленной. Потом вдруг обратил внимание, что у посетительницы промокли ноги:

— Сядьте поближе к печке... А ноги повыше... Поближе к кафелям.

Эмма боялась их запачкать.

— Красивое ничего не может испортить, — галантно заметил нотариус.

Эмма попыталась растрогать его и, постепенно проникаясь жалостью к самой себе, заговорила с ним о своем скудном

достатке, о домашних дразгах, о своих потребностях. Он все это понимал: еще бы, такая элегантная женщина! Не переставая жевать, он повернулся к ней всем корпусом, так что колено его касалось теперь ее ботинка, от приставленной к теплой печке и коробившейся подошвы которого шел пар.

Но когда Эмма попросила у него тысячу экю, он поджал губы и сказал, что напрасно она раньше не уполномочила его распорядиться ее состоянием, так как много есть приемлемых и для женщины способов получать прибыль. Можно было почти без всякого риска отлично заработать на грюменильских торфяных разработках, на гаврских земельных участках. Он называл сногшибательные цифры ее возможных доходов, и это приводило ее в бешенство.

— Почему же вы не обратились ко мне? — спросил он.

— Сама не знаю, — ответила она.

— Почему же все-таки?.. Неужели вы меня боялись? Значит, это я должен жаловаться на судьбу, а не вы! Мы с вами были едва знакомы! А между тем я вам всей душой предан. Надеюсь, теперь вы в этом не сомневаетесь?

Он взял ее руку, припал к ней жадными губами, потом положил себе на колено и, бережно играя пальцами Эммы, стал рассыпаться в изъяснениях нежности.

Его монотонный голос журчал, как ручей, сквозь отсвечивавшие очки было видно, как в его зрачках вспыхивают искры, а пальцы все выше забирались к Эмме в рукав. Она чувствовала на своей щеке его прерывистое дыхание. Он был ей мерзок.

— Милостивый государь, я жду! — вскочив с места, сказала она.

— Чего ждете? — спросил нотариус; он был сейчас бледен как смерть.

— Денег.

— Но...

Искушение было слишком велико.

— Ну, хорошо!.. — сказал г-н Гильомен.

Не обращая внимания на халат, он пополз к ней на коленях:

— Оставайтесь, умоляю! Я вас люблю!

Он обхватил рукой ее стан.

Вся кровь бросилась Эмме в голову. Она дико посмотрела на него и отпрянула.

— Как вам не стыдно, милостивый государь! — крикнула она. — Воспользоваться моим бедственным положением!.. Меня можно погубить, но меня нельзя купить!

И выбежала из комнаты.

Господин Гильомеи тупо уставился на свои прекрасные ковровые туфли — это был дар любящего сердца. Наглядев-шись на них, он понемногу утешился. А кроме того, он подумал, что такого рода похождение могло бы слишком далеко его завести.

«Негодяй! Хам!.. Какая низость!» — шептала Эмма, идя нервной походкой под придорожными осинами. К чувству оскорбленной стыдливости примешивалось горестное сознание, что последняя ее надежда рухнула. Ей пришло на ум, что ее преследует само провидение, и мысль эта наполнила ее гордостью — никогда еще не была она такого высокого мнения о себе и никогда еще так не презирала людей. На нее нашло какое-то исступление. Ей хотелось бить всех мужчин, плевать им в лицо, топтать их ногами. Бледная, дрожащая, разъяренная, она быстро шла вперед, глядя сквозь слезы в пустынную даль, испытывая какое-то злобное наслаждение.

Завидев свой дом, она вдруг почувствовала полный упадок сил. Ноги не слушались ее, а не идти она не могла — куда же ей было деваться?

Фелисите ждала ее у входа.

— Ну что?

— Сорвалось! — сказала Эмма.

Минут пятнадцать перебирали они всех понвильцев, которые могли бы ей помочь. Но стоило Фелисите назвать кого-нибудь, как у Эммы тотчас находились возражения.

— Ну что ты! Разве они согласятся!

— А ведь сейчас барин придет!

— Я знаю... Оставь меня.

Она испробовала все. Круг замкнут. Когда Шарль придет, она скажет ему начистоту:

— Уходи отсюда. Ковер, по которому ты ступаешь, уже не наш. От всего твоего дома у тебя не осталось ни одной вещи, ни одной булавки, ничего как есть, и это я разорила тебя, несчастный ты человек!

Тут Шарль разрыдается, а когда выплечется, когда первый порыв отчаяния пройдет, он простит ее.

— Да, — шептала она, скрежеща зубами, — он простит меня, а я и за миллион не простила бы Шарлю того, что я досталась ему... Никогда! Никогда!

Эта мысль о моральном превосходстве Шарля выводила ее из себя. Как бы то ни было, сознается она или не сознается, все равно — сейчас, немного погодя или завтра, но он узнает о

катастрофе. Значит, мучительного разговора не избежать, она неминуемо должна будет принять на себя всю тяжесть его великодушия. Не сходить ли еще раз к Лере? Но какой смысл? Написать отцу? Поздно. Быть может, она уже теперь жалела, что отказала нотариусу, но тут внезапно послышался конский топот. Это подъехал Шарль, он уже отворил калитку; он был белее мела. Эмма пустилась стрелой вниз по лестнице, перебежала площадь. Жена мэра, остановившаяся у церкви с Лестибудуа, видела, как она вошла к податному инспектору.

Госпожа Тюваш побежала к г-же Карон поделиться новостью. Обе дамы поднялись на чердак и, спрятавшись за развешанным па жердях бельем, устроились так, чтобы видеть все, что происходит у Бине.

Сидя один в своей мансарде, он вытачивал из дерева копию одного из тех не поддающихся описанию и никому не нужных костяных изделий, которые состоят из полумесяцев, шариков, вставленных один в другой, а вместе образуют сооружение прямое, точноobelisk. Податному инспектору осталось выточить последнюю деталь, он был почти у цели! В полумраке мастерской из-под резца летела белая пыль, похожая на искровой фонтан, бьющий из-под копыт скакуна. Колеса крутились, скрипели. Склонившись над станком, Бине раздувал ноздри и улыбался; по-видимому, он испытывал чувство полного удовлетворения, того удовлетворения, какое могут дать только примитивные занятия, радующие легкими трудностями и заставляющие успокаиваться на достигнутом, ибо дальше стремиться уже не к чему.

— Ага! Вот она! — сказала г-жа Тюваш.

Но станок так скрежетал, что слов Эммы не было слышно.

Наконец обеим дамам показалось, что до них долетело слово «франки».

— Она просит его не брать с нее сейчас налогов,— шепнула г-жа Тюваш.

— Это предлог! — заметила г-жа Карон.

Им было видно, как Эмма ходила по мастерской, рассматривала висевшие на стенах кольца для салфеток, подсвечники, шары для перил и с каким самодовольным выражением лица поглаживал подбородок Бине.

— Может, она хочет что-нибудь ему заказать? — высказала предположение г-жа Тюваш.

— Да он ничего не продает! — возразила соседка.

Податной инспектор, видимо, слушал, но, как ни тарашил глаза, ничего не мог взять в толк. Эмма продолжала говорить,

смотря на него нежным, умоляющим взором. Потом она подошла к нему вплотную; грудь ее высоко поднималась; оба не произносили ни слова.

— Неужели она с ним заигрывает? — спросила г-жа Тюваш. Бине покраснел до ушей. Эмма взяла его за руку.

— Это уж бог знает что такое!

Эмма, бесспорно, делала ему какое-то гнусное предложение, потому что податной инспектор — а он был не из робких: он сражался за родину под Баутценом и Лютценом и был даже «представлен к кресту» — вдруг, точно завидев змею, шарахнулся от Эммы и крикнул:

— Милостивая государыня! Да вы в своем уме?..

— Таких женщин сечь надо! — сказала г-жа Тюваш.

— Да где же она? — спросила г-жа Карон.

А Эммы уже и след простыл. Некоторое время спустя они снова увидели ее: она бежала по Большой улице, а потом повернула направо, как будто бы к кладбищу, и это окончательно сбilo их с толку.

— Тетушка Роле, мне душно!.. — войдя к кормилице, сказала Эмма. — Распустите мне шнуровку.

Эмма рухнула на кровать. Она рыдала. Тетушка Роле накрыла ее юбкой и стала возле кровати. Но г-жа Бовари не отвечала ни на какие вопросы, и кормилица опять села за прялку.

— Ох! Перестаньте! — вообразив, что это станок Бине, прошептала Эмма.

«Что с ней? — думала кормилица. — Зачем она ко мне пришла?»

Эмму загнал сюда страх — она не в силах была оставаться дома.

Лежа на спине, она неподвижным, остановившимся взглядом смотрела прямо перед собой, и хотя разглядывала предметы с каким-то тупым вниманием, а все же различала их неясно. Она не отрывала глаз от трещин на стене, от двух дымящихся головешек и от продолговатого паука, сновавшего у нее над головой по щели в балке. Наконец ей удалось привести мысли в порядок. Она вспомнила... Однажды она шла с Леоном... О, как это было давно!.. Река сверкала на солнце, благоухал ломонос... Воспоминания понесли ее, как бурный поток, и она припомнила вчерашний день.

— Какой час? — спросила она.

Тетушка Роле вышла во двор, протянула руку к самой светлой части неба и не спеша вернулась домой.

— Скоро три, — объявила она.

— Спасибо! Спасибо!

Сейчас приедет Леон. Наверное приедет! Он достал денег. Но ведь он не знает, что она здесь,— скорее всего он пройдет прямо к ней. Эмма велела кормилице сбегать за ним.

— Только скорей!

— Иду, иду, милая барыня!

Теперь Эмма не могла понять, почему она не подумала о нем с самого начала. Вчера он дал слово, он не подведет. Она живо представила себе, как она войдет к Лере и выложит на стол три кредитных билета. Потом еще надо будет как-нибудь объяснить Бовари. Но что можно придумать?

Кормилица между тем все не шла. Часов в лачуге не было, и Эмма успокоила себя, что это для нее так тянется время. Она решила прогуляться по саду, медленным шагом прошлась мимо изгороди, а затем, в надежде, что кормилица шла обратно другой дорогой, быстро вернулась. Наконец, истерзанная ожиданием, отбиваясь от роя сомнений, не зная, как долго томится она здесь — целый век или одну минуту, она села в уголок, закрыла глаза, заткнула уши. Скрипнула калитка. Она вскочила. Не успела она задать кормилице вопрос, как та уже выпалила:

— К вам никто не приезжал!

— Как?

— Никто, никто! А барин плачет. Он вас зовет. Вас ищут.

Эмма ничего не сказала в ответ. Ей было трудно дышать, она смотрела вокруг блуждающим взглядом. Кормилица, увидев, какое у нее лицо, невольно попятилась: ей показалось, что г-жа Бовари сошла с ума. Вдруг Эмма вскрикнула и ударила себя по лбу: точно яркая молния во мраке ночи, прорезала ей сознание мысль о Родольфе. Он был такой добрый, такой деликатный, такой великодушный! Если даже он начнет колебаться, она заставит его оказать ей эту услугу: довольно одного ее взгляда, чтобы в душе у Родольфа воскресла любовь. И она отправилась в Ла Юшет, не отдавая себе отчета, что теперь она сама идет на то, что еще так недавно до глубины души возмутило ее,— не помышляя о том, какой это для нее позор.

VIII

«Что ему сказать? С чего начать?» — думала она дорогой. Все ей здесь было знакомо: каждый кустик, каждое дерево, бугор, поросший дроком, усадьба вдали. Она вновь ощущала в себе первоначальную нежность, ее бедное пустовавшее сердце напол-

нялось влюбленностью. Теплый ветер дул ей в лицо; снег таял и по капле стекал на траву с еще не развернувшихся почек.

Она, как прежде, вошла в парк через калитку, оттуда во двор, окаймленный двумя рядами раскидистых лип. Их длинные ветви качались со свистом. На псарне залаяли дружно собаки. Но как они ни надрывались, на крыльцо не вышел никто.

Эмма поднялась по широкой, без поворотов, лестнице с деревянными перилами; наверху был коридор с грязным плиточным полом: туда, точно в монастыре или в гостинице, выходил длинный ряд комнат. Комната Родольфа была в самом конце, налево. Когда Эмма взялась за ручку двери, силы внезапно оставили ее. Она боялась, что не застанет Родольфа, и вместе с тем как будто бы хотела, чтобы его не оказалось дома, хотя это была ее единственная надежда, последний якорь спасения. Она сделала над собой усилие и, черпая бодрость в сознании, что это необходимо, вошла.

Он сидел у камина, поставив ноги на решетку, и курил трубку.

— Ах, это вы! — сказал он, вскакивая со стула.

— Да, это я!.. Родольф, я хочу с вами посоветоваться.

Но слова застряли у нее в горле.

— А вы не изменились, все такая же очаровательная!

— Значит, не настолько уж сильны мои чары, если вы ими пренебрегли, — с горечью заметила она.

Родольф стал объяснять, почему он так поступил с ней, и, не сумев придумать ничего убедительного, напустил туману.

Эмму подкупали не столько слова Родольфа, сколько его голос и весь его облик. Она притворилась, будто верит, а может быть, и в самом деле поверила, что причиной их разрыва была некая тайна, от которой зависела честь и даже жизнь третьего лица.

— Все равно я очень страдала, — глядя на него грустными глазами, сказала она.

— Такова жизнь! — с видом философа изрек Родольф.

— По крайней мере, жизнь улыбалась вам с тех пор как мы расстались? — спросила Эмма.

— Ни улыбалась, ни хмурилась...

— Пожалуй, нам лучше было бы не расставаться?..

— Да, пожалуй!

— Ты так думаешь? — придвинувшись к нему, сказала она со вздохом. — О Родольф! Если б ты знал!.. Я тебя так любила!

Только тут решилась она взять его за руку, и на некоторое время их пальцы сплелись — как тогда, в первый раз, на вы-

ставке. Он из самолюбия боролся с прихлынувшей к его сердцу нежностью. А Эмма, прижимаясь к его груди, говорила:

— Как я могла жить без тебя! Нельзя отвыкнуть от счастья! Я была в таком отчаянии! Думала, что не переживу! Я потом все тебе расскажу. А ты... ты не хотел меня видеть!..

В самом деле, все эти три года, из трусости, характерной для сильного пола, он старательно избегал ее.

— Ты любил других, признайся! — покачивая головой и ластясь к нему, точно ласковая кошечка, говорила Эмма. — О, я их понимаю, да! Я им прощаю. Ты, верно, соблазнил их так же, как меня. Ты — настоящий мужчина! Ты создан для того, чтобы тебя любили. Но мы начнем сначала, хорошо? Мы опять полюбим друг друга! Смотри: я смеюсь, я счастлива... Ну, говори же!

В глазах у нее дрожали слезы: так после грозы в голубой чашечке цветка дрожат дождевые капли, — в эту минуту Эммой нельзя было не залюбоваться.

Он посадил ее к себе на колени и начал осторожно проводить тыльной стороной руки по ее гладко зачесанным волосам, по которым золотую стрелкою пробегал в сумерках последний луч заходящего солнца. Она опустила голову. Тогда Родольф едва прикоснулся губами к ее векам.

— Ты плачешь! — проговорил он. — О чем?

Эмма разрыдалась. Родольф подумал, что это взрыв накопившихся чувств. Когда же она затихла, он принял это за последний приступ стыдливости.

— О, прости меня! — воскликнул он. — Ты — моя единственная. Я был глуп и жесток! Я люблю тебя и буду любить всегда!.. Скажи мне, что с тобой?

Он стал на колени.

— Ну так вот... Я разорилась, Родольф! Дай мне займы три тысячи франков!

— Но... но... — уже с серьезным лицом начал он, медленно вставая с колен.

— Понимаешь, — быстро продолжала она, — мой муж поместил все свои деньги у нотариуса, а тот сбежал. Мы наделали долгов, пациенты нам не платили. Впрочем, ликвидация еще не кончена, деньги у нас будут. Но пока что не хватает трех тысяч, нас описали, описали сегодня, сейчас, и я, в надежде на твое дружеское участие, пришла к тебе.

«Ах, так вот зачем она пришла!» — мгновенно побледнев, подумал Родольф.

А вслух совершенно спокойно сказал:

— У меня нет таких денег, сударыня.

Он говорил правду. Будь они у него, он бы, конечно, дал, хотя вообще делать такие широкие жесты не очень приятно: из всех злоключений, претерпеваемых любовью, самое расхолаживающее, самое убийственное — это денежная просьба.

Некоторое время она смотрела на него не отрываясь.

— У тебя таких денег нет!

Она несколько раз повторила:

— У тебя таких денег нет!.. Зачем же мне еще это последнее унижение? Ты никогда не любил меня! Ты ничем не лучше других.

Она выдавала, она губила себя.

Родольф, прервав ее, начал доказывать, что он сам «в стесненных обстоятельствах».

— Мне жаль тебя! — сказала Эмма. — Да, очень жаль!..

На глаза ей попался блестевший на щите карабин с насечкой.

— Но бедный человек не отделяет ружейный приклад серебром! Не покупает часов с перламутровой инкрустацией! — продолжала она, указывая на булевские часы. — Не заводит хлыстов с золочеными рукоятками! — Она потрогала хлысты. — Не вешает брелоков на цепочку от часов! О, у него все есть! Даже погребец! Ты за собой ухаживаешь, живешь в свое удовольствие, у тебя великолепный дом, фермы, лес, псовая охота, ты едешь в Париж!.. Ну вот хотя бы это! — беря с каминной запонки, воскликнула Эмма. — Здесь любой пустяк можно превратить в деньги!.. Нет, мне их не надо! Оставь их себе!

И тут она с такой силой швырнула запонки, что когда они ударились об стену, то порвалась золотая цепочка.

— А я бы отдала тебе все, я бы все продала, я бы работала на тебя, пошла бы милостыню просить за одну твою улыбку, за один взгляд, только за то, чтобы услышать от тебя: «Спасибо!» А ты спокойно сидишь в кресле, как будто еще мало причинил мне горя! Знаешь, если б не ты, я бы еще могла быть счастливой! Кто тебя просил? Или, чего доброго, ты бился об заклад? Но ведь ты же любил меня, ты сам мне говорил... Только сейчас... Ах, лучше бы ты выгнал меня! У меня еще руки не остыли от твоих поцелуев. Вот здесь, на этом ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви. И ты меня уверил. Ты целых два года погружал меня в сладкий, волшебный сон!.. А наши планы путешествия ты позабыл? Ах, твое письмо, твое письмо! И как только сердце у меня не разорвалось от горя!..

А теперь, когда я прихожу к нему — к нему, богатому, счастливому, свободному — и молю о помощи, которую оказал бы мне первый встречный, когда я заклинаю его и вновь приношу ему в дар всю свою любовь, он меня отвергает, оттого что это ему обойдется в три тысячи франков!

— У меня таких денег нет! — проговорил Родольф с тем невозмутимым спокойствием, которое словно щитом прикрывает сдержанную ярость.

Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее. Потом она бежала по длинной аллее, натыкаясь на кучи сухих листьев, разлетавшихся от ветра. Вот и канава, вот и калитка. Второпях отворяя калитку, Эмма обломала себе ногти о засов. Она прошла еще шагов сто, совсем задохнулась, чуть не упала и поневоле остановилась. Ей захотелось оглянуться, и она вновь охватила взглядом равнодушный дом, парк, сады, три двора и окна фасада.

Она вся точно окаменела; она чувствовала, что еще жива, только по сердцебиению, которое казалось ей громкой музыкой, разносившейся далеко окрест. Земля у нее под ногами колыбалась, точно вода, борозды вставали перед ней громадными бушующими бурными волнами. Все впечатления, все думы, какие только были у нее в голове, вспыхнули разом, точно огни грандиозного фейерверка. Она увидела своего отца, кабинет Лере, номер в гостинице «Булонь», другую местность. Она чувствовала, что сходит с ума; ей стало страшно, и она попыталась переломить себя, но это ей удалось только отчасти: причина ее ужасного состояния, — деньги, — выпала у нее из памяти. Она страдала только от своей любви, при одном воспоминании о ней душа у нее расставалась с телом — так умирающий чувствует, что жизнь выходит из него через кровоточащую рану.

Ложились сумерки, кружились вороны.

Вдруг ей почудилось, будто в воздухе взлетают огненные шарики, похожие на светящиеся пули; потом они сплющивались, вертелись, вертелись, падали в снег, опушивший ветви деревьев, и гасли. На каждом из них возникало лицо Родольфа. Их становилось все больше, они вились вокруг Эммы, пробивали ее навывлет. Потом все исчезло. Она узнала мерцавшие в тумане далекие огни города.

И тут правда жизни разверзлась перед ней, как пропасть. Ей было мучительно больно дышать. Затем, в приливе отваги, от которой ей стало почти весело, она сбежала с горы, перешла через речку, миновала тропинку, бульвар, рынок и очутилась перед аптекой.

Там было пусто. Ей хотелось туда проникнуть, но на звонок кто-нибудь мог выйти. Тогда она, затаив дыхание, держась за стены, добралась до кухонной двери — в кухне на плите горела свеча. Жюстен, в одной рубашке, нес в столовую блюдо.

«А, они обедают! Придется подождать».

Жюстен вернулся. Она постучала в окно. Он вышел к ней.

— Ключ! От верха, где...

— Что вы говорите?

Жюстен был поражен бледностью ее лица — на фоне темного вечера оно вырисовывалось белым пятном. Ему показалось, что она сейчас как-то особенно хороша собой, величественна, точно видение. Он еще не понимал, чего она хочет, но уже предчувствовал что-то ужасное.

А она, не задумываясь, ответила ему тихим, нежным, заволаживающим голосом:

— Мне нужно! Дай ключ!

Сквозь тонкую переборку из столовой доносился стук вилок.

Она сказала, что ей не дают спать крысы и что ей необходима отравка.

— Надо бы спросить хозяина!

— Нет, нет, не ходи туда! — встрепенулась Эмма и тут же хладнокровно добавила: — Не стоит! Я потом сама ему скажу. Посвети мне!

Она вошла в коридор. Из коридора дверь вела в лабораторию. На стене висел ключ с ярлычком: «От склада».

— Жюстен! — раздраженно крикнул аптекарь.

— Идем!

Жюстен пошел за ней.

Ключ повернулся в замочной скважине, и, руководимая безошибочной памятью, Эмма подошла прямо к третьей полке, схватила синюю банку, вытащила пробку, засунула туда руку и, вынув горсть белого порошка, начала тут же глотать.

— Что вы делаете! — кидаясь к ней, крикнул Жюстен.

— Молчи! А то придут...

Он был в отчаянии, он хотел звать на помощь.

— Не говори никому, иначе за все ответит твой хозяин!

И, внезапно умиротворенная, почти успокоенная сознанием исполненного долга, Эмма удалилась.

Когда Шарль, потрясенный вестью о том, что у него описали имущество, примчался домой, Эмма только что вышла. Он кричал, плакал, он потерял сознание, а она все не приходила.

Где же она могла быть? Он посылал Фелисите к Оме, к Тюва-шу, к Лере, в «Золотой лев», всюду. Как только душевная боль утихала, к нему тотчас же возвращалась мысль о том, что он лишился прежнего положения, потерял состояние, что будущее дочери погублено. Из-за чего? Полная неясность. Он прождал до шести вечера. Наконец, вообразив, что Эмма уехала в Руан, он почувствовал, что не может больше сидеть на месте, вышел на большую дорогу, прошагал с пол-лье, никого не встретил, подождал еще и вернулся.

Она была уже дома.

— Как это случилось?.. Почему? Объясни!..

Эмма села за свой секретер, написала письмо и, проставив день и час, медленно запечатала.

— Завтра ты это прочтешь, — торжественно заговорила она. — А пока, будь добр, не задавай мне ни одного вопроса!.. Ни одного!

— Но...

— Оставь меня!

С этими словами она вытянулась на постели.

Ее разбудил терпкий вкус во рту. Она увидела Шарля, потом снова закрыла глаза.

Она с любопытством наблюдала за собой, старалась уловить тот момент, когда начнутся боли. Нет, пока еще нет! Она слышала тиканье часов, потрескивание огня и дыхание Шарля, стоявшего у ее кровати.

«Ах, умирать совсем не страшно! — подумала она. — Я сейчас засну, и все будет кончено».

Она выпила воды и повернулась лицом к стене.

Отвратительный чернильный привкус все не проходил.

— Хочу пить!.. Ах, как я хочу пить! — со вздохом вымолвила она.

— Что с тобой? — подавая ей стакан воды, спросил Шарль.

— Ничего!.. Открой окно... Мне душно.

И тут ее затошнило — так внезапно, что она едва успела вытащить из-под подушки носовой платок.

— Унеси! Выбрось! — быстро проговорила она.

Шарль стал расспрашивать ее — она не отвечала. Боясь, что от малейшего движения у нее опять может начаться рвота, она лежала пластом. И в то же время чувствовала, как от ног к сердцу идет пронизывающий холод.

— Ага! Началось! — прошептала она.

— Что ты сказала?

Эмма томила; она медленно вертела головой, все время раскрывая рот, точно на языке у нее лежало что-то очень тяжелое. В восемь часов ее опять затошнило.

Шарль обратил внимание, что к стенкам фарфорового таза пристали какие-то белые крупинки.

— Странно! Непонятно! — несколько раз повторил он.

Но она громко произнесла:

— Нет, ты ошибаешься!

Тогда он осторожно, точно глядя, дотронулся до ее живота. Она дико закричала. Он в ужасе отскочил.

Потом она начала стонать, сперва еле слышно. Плечи у нее ходили ходуном, а сама она стала бледнее простыни, в которую впивались ее сведенные судорогой пальцы. Ее неровный пульс был теперь почти неуловим.

При взгляде на посиневшее лицо Эммы, все в капельках пота, казалось, что оно покрыто свинцовым налетом. Зубы у нее стучали, расширенные зрачки, должно быть, неясно различали предметы, на все вопросы она отвечала кивками; впрочем, нашла в себе силы несколько раз улыбнуться. Между тем кричать она стала громче. Внезапно из груди у нее вырвался глухой стон. После этого она объявила, что ей хорошо, что она сейчас встанет. Но тут ее схватила судорога.

— Ах, боже мой, как больно! — крикнула она.

Шарль упал перед ней на колени.

— Скажи, что ты ела? Ответь мне, ради всего святого!

Он смотрел на нее с такой любовью, какой она никогда еще не видела в его глазах.

— Ну, там... там!.. — сдавленным голосом проговорила она.

Он бросился к секретеру, сорвал печать, прочитал вслух: «Прошу никого не винить...» — остановился, провел рукой по глазам, затем прочитал еще раз.

— Что такое?.. На помощь! Сюда!

Он без конца повторял только одно слово: «Отравилась! Отравилась!» Фелисите побежала за фармацевтом — у него невольно вырвалось это же самое слово, в «Золотом льве» его слышала г-жа Лефрансуа, жители вставали и с тем же словом на устах бежали к соседям, — городок не спал всю ночь.

Спотыкаясь, бормоча, Шарль как потерянный метался по комнате. Он натыкался на мебель, рвал на себе волосы — аптекарю впервые пришлось быть свидетелем такой душераздирающей сцены.

Потом Шарль прошел к себе в кабинет и сел писать г-ну Каниве и доктору Ларивьеру. Но мысли у него путались — он

переписывал не менее пятнадцати раз. Ипполит поехал в Невшатель, а Жюстен загнал лошадь Бовари по дороге в Руан и бросил ее, околевающую, на горе Буа-Гильом.

Шарль перелистывал медицинский справочник, но ничего не видел: строчки прыгали у него перед глазами.

— Не волнуйтесь! — сказал г-н Оме. — Нужно только ей дать какое-нибудь сильное противоядие. Чем она отравилась?

Шарль показал письмо — мышьяком.

— Ну так надо сделать анализ, — заключил Оме.

Он знал, что при любом случае отравления рекомендуется делать анализ. Шарль машинально подхватил:

— Сделайте, сделайте! Спасите ее...

Он опять подошел к ней, опустился на ковер и, уронив голову на кровать, разрыдался.

— Не плачь! — сказала она. — Скоро я перестану тебя мучить!

— Зачем? Что тебя толкнуло?

— Так надо, друг мой, — возразила она.

— Разве ты не была со мной счастлива? Чем я виноват? Я делал все, что мог!

— Да... правда... ты — добрый!

Она медленно провела рукой по его волосам. От этой ласки ему стало еще тяжелее. Он чувствовал, как весь его внутренний мир рушится от одной нелепой мысли, что он ее теряет — теряет, как раз когда она особенно с ним нежна; он ничего не мог придумать, не знал, как быть, ни на что не отваживался, необходимость принять решительные меры повергала его в крайнее смятение.

А она в это время думала о том, что настал конец всем обманам, всем подлостям, всем бесконечным вожделениям, которые так истомили ее. Теперь она уже ни к кому не питала ненависти, мысль ее окутывал сумрак, из всех звуков земли она различала лишь прерывистые, тихие, невнятные жалобы своего бедного сердца, замиравшие, точно последние затихающие аккорды.

— Приведите ко мне дочку, — приподнявшись на локте, сказала она.

— Тебе уже не больно? — спросил Шарль.

— Нет, нет!

Няня принесла хмурую со сна девочку в длинной ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ножки. Берта обводила изумленными глазами беспорядок, царивший в комнате, и жмурилась от огня свечей, горевших на столах. Все это, ве-



Госпожа Бовари

роятно, напоминало ей Новый год или середину поста, когда ее тоже будили при свечах, раным-рано, и несли в постель к матери, а та ей что-нибудь дарила.

— Где же игрушки, мама? — спросила Берта.

Все молчали.

— Я не вижу моего башмачка!

Фелисите поднесла Берту к кровати, а она продолжала смотреть в сторону камина.

— Его кормилица взяла? — спросила девочка.

Слово «кормилица» привело г-же Бовари на память все ее измены, все ее невзгоды, и с таким видом, точно к горлу ей подступила тошнота от еще более сильного яда, она отвернулась. Берта сидела теперь на кровати.

— Какие у тебя большие глаза, мама! Какая ты бледная! Ты вся в поту!

Мать смотрела на нее.

— Я боюсь! — сказала девочка и отстранилась.

Эмма взяла ее руку и хотела поцеловать. Берта начала отбиваться.

— Довольно! Унесите ее! — крикнул Шарль, рыдавший в алькове.

Некоторое время никаких последствий отравления не наблюдалось. Эмма стала спокойнее. Каждое ее слово, хотя бы и ничего не значащее, каждый ее более легкий вздох вселяли в Шарля надежду. Когда приехал Каниве, он со слезами кинулся ему на шею.

— Ах, это вы! Благодарю вас! Какой вы добрый! Но ей уже лучше. Вы сейчас сами увидите...

У коллеги, однако, сложилось иное мнение, и так как он, по его собственному выражению, не любил гадать на кофейной гуще, то, чтобы как следует очистить желудок, велел дать Эмме рвотного.

Эмму стало рвать кровью. Губы ее вытянулись в ниточку. Руки и ноги сводила судорога, по телу пошли бурые пятна, пульс напоминал дрожь туго натянутой нитки, дрожь струны, которая вот-вот порвется.

Немного погодя она начала дико кричать. Она проклинала яд, бранила его, потом просила, чтобы он действовал быстрее, отталкивала коченеющими руками все, что давал ей выпить Шарль, переживавший не менее мучительную агонию, чем она. Прижимая платок к губам, он стоял у постели больной и захлебывался слезами, все его тело, с головы до ног, сотрясалось от рыданий. Фелисите бегала туда-сюда. Оме стоял как вкопан-

ный и тяжело вздыхал, а г-н Каниве хотя и не терял самоуверенности, однако в глубине души был озадачен.

— Черт возьми!.. Ведь... ведь желудок очищен, а раз устранена причина...

— Ясно, что должно быть устранено и следствие, — подхватил Оме.

— Да спасите же ее! — крикнул Бовари.

Каниве, не слушая аптекаря, который пытался обосновать гипотезу: «Быть может, это спасительный кризис», — только хотел было дать ей териак, но в это мгновение за окном раздалось щелканье бича, все стекла затряслись, и из-за крытого рынка вымахнула взмыленная тройка, впряженная в почтовый берлин. Приехал доктор Ларивьер.

Если бы в доме Бовари появился бог, то все же это произвело бы не такое сильное впечатление. Шарль взмахнул руками, Каниве замер на месте, а Оме задолго до прихода доктора снял феску.

Ларивьер принадлежал к хирургической школе великого Биша, к уже вымершему поколению врачей-философов, которые любили свое искусство фанатической любовью и отличались вдохновенной прозорливостью. Когда Ларивьер гневался, вся больница дрожала; ученики боготворили его и, как только устраивались на место, сейчас же начинали во всем ему подражать. Дело доходило до того, что в Руанском округе врачи носили такое же, как у него, стеганое пальто с мериновым воротником и такой же, как у него, широкий черный фрак с расстегнутыми манжетами, причем у самого Ларивьера всегда были видны его пухлые, очень красивые руки, не знавшие перчаток, как бы в любую минуту готовые погрузиться в глубь человеческих мук. Он презирал чины, кресты, академии, славился щедростью и радушием, для бедных был родным отцом, в добродетель не верил, а сам на каждом шагу делал добрые дела и, конечно, был бы признан святым, если бы не его дьявольская проницательность, из-за которой все его боялись пуще огня. Взгляд у него был острее ланцета, он проникал прямо в душу; удаляя обиняки и прикрасы, Ларивьер вылущивал ложь. Так шел он по жизни, исполненный того благодушного величия, которое порождают большой талант, благосостояние и сорокалетняя непорочная служба.

Еще у дверей, обратив внимание на мертвенный цвет лица Эммы, лежавшей с раскрытым ртом на спине, он нахмурил брови. Потом, делая вид, что слушает Каниве, и потирая пальцем нос, несколько раз повторил:

— Хорошо, хорошо!

Но при этом медленно повел плечами. Бовари наблюдал за ним. Глаза их встретились, и у Ларивьера, привыкшего видеть страдания, скатилась на воротничок непрошенная слеза.

Он увел Каниве в соседнюю комнату. Шарль пошел за ними.

— Она очень плоха, да? А если поставить горчичники? Я не знаю, что нужно делать. Придумайте что-нибудь! Вы же столько людей спасли!

Шарль обхватил его обеими руками и, почти повиснув на нем, смотрел на него растерянным, умоляющим взглядом.

— Мужайтесь, мой дорогой! Тут ничего поделать нельзя. И с этими словами доктор Ларивьер отвернулся.

— Вы уходите?

— Я сейчас приду.

Вместе с Каниве, который тоже не сомневался, что Эмма протянет недолго, он вышел якобы для того, чтобы отдать распоряжения кучеру.

На площади их догнал фармацевт. Отлипнуть от знаменитостей — это было выше его сил. И он обратился к г-ну Ларивьеру с покорнейшей просьбой почтить его своим посещением и позавтракать у него.

Супруги Оме нимало не медля послали в «Золотой лев» за голубями, скупили в мясной лавке мясо на котлеты, какое там еще оставалось, у Тювашей — весь запас сливок, у Лестибудуа — весь запас яиц. Аптекарь помогал накрывать на стол, а г-жа Оме, теребя завязки своей кофты, говорила:

— Вы уж нас извините, сударь. В нашем захолустье если накануне не предупредить...

— Рюмки!!! — шипел Оме.

— В городе мы, на худой конец, всегда могли бы приготовить фаршированные ножки.

— Замолчи!.. Пожалуйста к столу, доктор.

Когда все съели по кусочку, аптекарь счел уместным сообщить некоторые подробности несчастного случая:

— Сперва появилось ощущение сухости в горле, потом начались нестерпимые боли в надчревной области, рвота, коматозное состояние.

— А как она отравилась?

— Не знаю, доктор. Ума не приложу, где она могла достать мышьяковистой кислоты.

В эту минуту вошел со стопкой тарелок в руках Жюстен и, услышав это название, весь затрясся.

— Что с тобой? — спросил фармацевт.

Вместо ответа юнец грохнул всю стопку на пол.

— Болван! — крикнул Оме. — Ротозей! Уваленъ! Осел!

Но тут же овладел собой.

— Я, доктор, решил произвести анализ и, *primo*¹, осторожно ввел в трубочку...

— Лучше бы вы ввели ей пальцы в глотку, — заметил хирург.

Его коллега молчал; Ларивьер только что, оставшись с ним один на один, закатил ему изрядную проборку за рвотное, и теперь почтенный Каниве, столь самоуверенный и речистый во время истории с искривлением стопы, сидел скромненько, в разговор не встречал и только одобрительно улыбался.

Оме был преисполнен гордости амфитриона, а от грустных мыслей о Бовари он бессознательно приходил в еще лучшее расположение духа, едва лишь, повинувшись чисто эгоистическому чувству, обращал мысленный взор на себя. Присутствие хирурга вдохновляло его. Он щеголял эрудицией, сыпал всякими специальными названиями, вроде шпанских мушек, анчара, манцениллы, змеиного яда.

— Я даже читал, доктор, что были случаи, когда люди отравлялись и падали, как пораженные громом, от самой обыкновенной колбасы, которая подвергалась слишком сильному копчению. Узнал я об этом из великолепной статьи, написанной одним из наших фармацевтических светил, одним из наших учителей, знаменитым Каде де Гасикуром.

Госпожа Оме принесла шаткую спиртовку — ее супруг требовал, чтобы кофе варилось тут же, за столом; мало того: он сам обжаривал зерна, сам молот, сам смешивал.

— *Saccharum*, доктор! — сказал он, предлагая сахар.

Затем созвал всех своих детей, — ему было интересно, что скажет хирург об их телосложении.

Господин Ларивьер уже собрался уходить, но тут г-жа Оме обратилась к нему за советом относительно своего мужа. Ему вредно раздражаться, а он, вспыхив, прямо с ума сходит.

— Да не с чего ему сходить!

Слегка улыбнувшись этому прошедшему незамеченным калямбуру, доктор отворил дверь. Но в аптеке было полно народу. Хирург еле-еле отделался от г-на Тюваша, который боялся, что у его жены воспаление легких, так как она имеет обыкновение плевать в камин; потом от г-на Бине, который иногда никак не

¹ Прежде всего (лат.).

мог наесться; от г-жи Карон, у которой покалывало в боку; от Лере, который страдал головокружениями; от Лестибудуа, у которого был ревматизм; от г-жи Лефрансуа, у которой была кислая отрыжка. Наконец тройка умчалась, и все в один голос сказали, что доктор вел себя неучтиво.

Но тут внимание ионвильцев обратил на себя аббат Бурнизьен — он шел по рынку, неся сосуд с миром.

Оме, верный своим убеждениям, уподобил священников вóронам, которых привлекает трупный запах. Он не мог равнодушно смотреть на духовных особ: дело в том, что сутана напоминала ему саван, а савана он боялся и отчасти поэтому не выносил сутану.

Однако Оме, неуклонно выполняя то, что он называл своей «миссией», вернулся к Бовари вместе с Каниве, которого очень просил сходить туда г-н Ларивьер. Фармацевт хотел было взять с собой своих сыновей, дабы приучить их к тяжелым впечатлениям, показать им величественную картину, которая послужила бы им уроком, назиданием, навсегда врезалась бы в их память, но мать решительно воспротивилась.

В комнате, где умирала Эмма, на всем лежал отпечаток мрачной торжественности. На рабочем столике, накрытом белой салфеткой, у большого распятия с двумя зажженными свечами по бокам стояло серебряное блюдо с комочками хлопчатой бумаги. Эмма, уронив голову на грудь, смотрела перед собой неестественно широко раскрытыми глазами, а ее ослабевшие руки ползали по одеялу — неприятное, бессильное движение всех умирающих, которые точно заранее натягивают на себя саван! Бледный, как изваяние, с красными, как горящие угли, глазами, Шарль, уже не плача, стоял напротив Эммы, у изножья кровати, а священник, опустившись на одно колено, шептал себе под нос молитвы.

Эмма медленно повернула голову и, увидев лиловую епитрахиль, явно обрадовалась: в нечаянном успокоении она, наверное, вновь обрела утраченную сладость своих первых мистических порывов, это был для нее прообраз вечного блаженства.

Священник встал и взял распятие. Эмма вытянула шею, как будто ей хотелось пить, припала устами к телу богочеловека и со всей уже угасающей силой любви напечатлела на нем самый жаркий из всех своих поцелуев. После этого священник прочел «Misereatur»¹ и «Indulgentiam»², обмакнул большой па-

¹ «Да смилуется» (лат.).

² «Отпущение» (лат.).

лец правой руки в мир — и приступил к помазанию: умастил ей сперва глаза, еще недавно столь жадные до всяческого земного великолепия; затем — ноздри, с упоением вдыхавшие теплый ветер и ароматы любви; затем — уста, откуда исходила ложь, вопли оскорбленной гордости и сладострастные стоны; затем — руки, получавшие наслаждение от нежных прикосновений, и, наконец, подошвы ног, которые так быстро бежали, когда она жаждала утолить свои желания, и которые никогда уже больше не пройдут по земле.

Священник вытер пальцы, бросил в огонь замасленные комочки хлопчатой бумаги, опять подсел к умирающей и сказал, что теперь ей надлежит подумать не о своих муках, а о муках Иисуса Христа и поручить себя милосердию божью.

Кончив напутствие, он попытался вложить ей в руки освещенную свечу — символ ожидающего ее неземного блаженства, но Эмма от слабости не могла ее держать, и если б не аббат, свеча упала бы на пол.

Эмма между тем слегка порозовела, и лицо ее приняло выражение безмятежного спокойствия, словно таинство исцелило ее.

Священнослужитель не преминул обратить на это внимание Шарля. Он даже заметил, что господь в иных случаях продлевает человеку жизнь, если так нужно для его спасения. Шарль припомнил, что однажды она уже совсем умирала и причастилась.

«Может быть, еще рано отчаиваться», — подумал он.

В самом деле: Эмма, точно проснувшись, медленно обвела глазами комнату, затем вполне внятно попросила подать ей зеркало и, нагнувшись, долго смотрелась, пока из глаз у нее не выкатились две крупные слезы. Тогда она вздохнула и откинулась на подушки.

В ту же минуту она начала задыхаться. Язык вывалился наружу, глаза закатились под лоб и потускнели, как абажуры на гаснущих лампах; от учащенного дыхания у нее так страшно ходили бока, точно из тела рвалась душа, а если б не это, можно было бы подумать, что Эмма уже мертва. Фелисите опустилась на колени перед распятьем; фармацевт — и тот слегка подогнул ноги; г-н Каниве невидящим взглядом смотрел в окно. Бурнизьен, нагнувшись к краю постели, опять начал молиться; его длинная сутана касалась пола. Шарль стоял на коленях по другую сторону кровати и тянулся к Эмме. Он сжимал ей руки, вздрагивая при каждом биении ее сердца, точно отзываясь на грохот рушащегося здания. Чем громче хрипела Эмма,

тем быстрее священник читал молитвы. Порой слова молитв сливались с приглушенными рыданиями Бовари, а порой все тонуло в глухом рокоте латинских звуко сочетаний, гудевших, как похоронный звон.

Внезапно на тротуаре раздался топот деревянных башмаков, стук палки, и хриплый голос запел:

Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.

Эмма, с распущенными волосами, уставив в одну точку расширенные зрачки, приподнялась, точно гальванизированный труп.

За жницей только поспевай!
Нанетта по полю шагает
И, наклоняясь то и знай,
С земли колосья подбирает.

— Слепой! — крикнула Эмма и вдруг залилась ужасным, безумным, иступленным смехом — ей привиделось безобразное лицо нищего, пугалом вставшего перед нею в вечном мраке.

Вдруг ветер налетел на дол
И мигом ей задрал подол.

Судорога отбросила Эмму на подушки. Все обступили ее. Она скончалась.

IX

Когда кто-нибудь умирает, настает всеобщее оцепенение — до того трудно бывает осмыслить вторжение небытия, заставить себя поверить в него. Но как только Шарль убедился, что Эмма неподвижна, он бросился к ней с криком:

— Прощай! Прощай!

Оме и Каниве вывели его из комнаты.

— Успокойтесь!

— Хорошо, — говорил он, вырываясь. — Я буду благоразумен, я ничего с собой не сделаю. Только пустите меня! Я хочу к ней! Ведь это моя жена!

Он плакал.

— Поплачьте, — разрешил фармацевт, — этого требует сама природа, вам станет легче!

Шарль, слабый, как ребенок, дал себя увести вниз, в столовую; вскоре после этого г-н Оме пошел домой.

На площади к нему пристал слепец: уверовав в противо-

воспалительную мазь, он притащился в Ионвиль и теперь спрашивал каждого встречного, где живет аптекарь.

— Да, как же! Есть у меня время с тобой возиться! Ну да уж ладно, приходи попоздней,— сказал г-н Оме и вбежал в аптеку.

Ему предстояло написать два письма, приготовить успокоительную микстуру для Бовари, что-нибудь придумать, чтобы скрыть самоубийство, сделать из этой лжи статью для «Светоча» и дать отчет о случившемся своим согражданам, которые ждали, что он сделает им сообщение. Только когда ионвильцы, все до единого, выслушали его рассказ о том, как г-жа Бовари, приготавливая ванильный крем, спутала мышь с сахаром, Оме опять побежал к Шарлю.

Тот сидел в кресле у окна (г-н Каниве недавно уехал), бессмысленно глядя в пол.

— Вам надо бы самому назначить час церемонии,— сказал фармацевт.

— Что такое? Какая церемония? — переспросил Шарль и залепетал испуганно: — Нет, нет, пожалуйста, не надо! Она должна быть со мной.

Оме, чтобы замять неловкость, взял с этажерки графин и начал поливать герань.

— Очень вам благодарен! Вы так добры...— начал было Шарль, но под наплывом воспоминаний, вызванных этим жестом фармацевта, сейчас же умолк.

Чтобы он хоть немного отвлекся от своих мыслей, Оме счел за благо поговорить о садоводстве, о том, что растения нуждаются во влаге. Шарль в знак согласия кивнул головой.

— А теперь скоро опять настанут теплые дни.

— Да, да! — подтвердил Шарль.

Не зная, о чем говорить дальше, аптекарь слегка раздвинул оконные занавески.

— А вон Тюваш идет.

— Тюваш идет,— как эхо, повторил за ним Шарль.

Оме так и не решился напомнить ему о похоронах. Его уговаривал священник.

Шарль заперся у себя в кабинете, вволю наплакался, потом взял перо и написал:

«Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых туфлях, в венке. Волосы распустите ей по плечам. Гробов должно быть три: один — дубовый, другой — красного дерева, третий — металлический. Со мной ни о чем не говорите. У меня

достанет сил перенести все. Сверху накройте ее большим куском зеленого бархата. Это мое желание. Сделайте, пожалуйста, так».

Романтические причуды Бовари удивили тех, кто его окружал. Фармацевт не преминул возразить:

— По-моему, бархат — это лишнее. Да и стоит он...

— Какое вам дело? — крикнул Бовари. — Оставьте меня! Я ее люблю, а не вы! Уходите!

Священник взял его под руку и увел в сад. Там он заговорил о бренности всего земного. Господь всемогущ и милосерд; мы должны не только безропотно подчиняться его воле, но и благодарить его.

Шарль начал богохульствовать:

— Ненавижу я вашего господя!

— Это дух отрицания в вас говорит, — со вздохом молвил священник.

Бовари был уже далеко. Он быстро шел между оградой и фруктовыми деревьями и, скрежеща зубами, взглядом богоборца смотрел на небо, но вокруг не шелохнул ни один листок.

Моросил дождь. Ворот у Шарля был распахнут, ему стало холодно, и, придя домой, он сел в кухне.

В шесть часов на площади что-то затарахтело: это приехала «Ласточка». Прижавшись лбом к стеклу, Шарль смотрел, как один за другим выходили из нее пассажиры. Фелисите положила ему в гостиной тюфяк. Он лег и заснул.

Господин Оме хоть и был философом, но к мертвым относился с уважением. Вот почему, не обижаясь на бедного Шарля, он, взяв с собой три книги и папку с бумагой для выписок, пришел к нему вечером, чтобы провести всю ночь около покойницы.

Там он застал аббата Бурнизьена. Кровать вытащили из алькова; в возглавии горели две большие свечи.

Тишина угнетала аптекаря, и он поспешил заговорить о том, как жаль «несчастную молодую женщину». Священник на это возразил, что теперь нам остается только молиться за нее.

— Но ведь одно из двух, — вскинулся Оме, — либо она упокоилась «со духи праведных», как выражается церковь, и в таком случае наши молитвы ей ни на что не нужны, либо она умерла без покаяния (кажется, я употребляю настоящий богословский термин), и в таком случае...

Бурнизьен, перебив его, буркнул, что молиться все-таки надо.

— Но если бог сам знает, в чем мы нуждаемся, то зачем же тогда молиться? — возразил фармацевт.

— Как зачем молиться? — воскликнул священнослужитель. — Так вы, стало быть, не христиане?

— Простите! — сказал Оме. — Я преклоняюсь перед христианством. Прежде всего оно освободило рабов, оно дало миру новую мораль.

— Да я не о том! Все тексты...

— Ох, уж эти ваши тексты! Почитайте историю! Всем известно, что их подделали иезуиты.

Вошел Бовари и, подойдя к кровати, медленно отдернул полог.

Голова Эммы склонилась к правому плечу. В нижней части лица черной дырой зиял приоткрытый уголок рта. Большие пальцы были пригнуты к ладоням, ресницы точно посыпаны белой пылью, а глаза подернула мутная пленка, похожая на тонкую паутину. Между грудью и коленями одеяло провисло, а от колен поднималось к ступням. И показалось Шарлю, что Эмму давит какая-то страшная тяжесть, какой-то непомерный груз.

На церковных часах пробило два. Под горою во мраке шумела река. Время от времени громко сморкался Бурнизьен, да Оме скрипел по бумаге пером.

— Послушайте, друг мой, подите к себе, — сказал он Шарлю. — Это зрелище для вас невыносимо.

Тотчас по уходе Шарля спор между фармацевтом и священником возгорелся с новой силой.

— Прочтите Вольтера! — твердил один. — Прочтите Гольбаха! Прочтите «Энциклопедию»!

— Прочтите «Письма португальских евреев»! — стоял на своем другой. — Прочтите «Сущность христианства» бывшего судейского чиновника Николá!

Оба разгорячились, покраснелись, говорили одновременно, не слушая друг друга. Бурнизьена возмущала «подобная дерзость»; Оме удивляла «подобная тупость». Еще минута — и они бы повздорили, но тут опять пришел Бовари. Какая-то колдовская сила влекла его сюда, он то и дело поднимался по лестнице.

Чтобы лучше видеть покойницу, он становился напротив и погружался в созерцание, до того глубокое, что скорби в эти минуты не чувствовал.

Он припоминал рассказы о каталепсии, о чудесах магнетизма, и ему казалось, что если захотеть всем существом своим, то, быть может, удастся ее воскресить. Один раз он даже

наклонился над ней и шепотом окликнул: «Эмма! Эмма!» Но от его сильного дыхания только огоньки свечей заколебались на столе.

Рано утром приехала г-жа Бовари-мать. Шарль обнял ее и опять горькими слезами заплакал. Она, как и фармацевт, попыталась обратить его внимание на то, что похороны будут стоить слишком дорого. Шарля это взорвало, — старуха живо осеклась и даже вызвалась сейчас же поехать в город и купить все, что нужно.

Шарль до вечера пробыл один; Бертю увели к г-же Оме; Фелисите сидела наверху с тетушкой Лефрансуа.

Вечером Шарль принимал посетителей. Он вставал, молча пожимал руку, и визитер подсаживался к другим, образовавшим широкий полукруг подле камина. Опустив голову и заложив ногу на ногу, ионвильцы пошевеливали носками и по временам шумно вздыхали. Им было смертельно скучно, и все-таки они старались пересидеть друг друга.

В девять часов пришел Оме (эти два дня он без устали сновал по площади) и принес камфары, росного ладана и ароматических трав. Еще он прихватил банку с хлором для уничтожения миазмов. В это время служанка, г-жа Лефрансуа и старуха Бовари кончали убирать Эмму — они опустили длинную негнущуюся вуаль, и она закрыла ее всю, до атласных туфель.

— Бедная моя барыня! Бедная моя барыня! — причитала Фелисите.

— Поглядите, какая она еще славненькая! — вздыхая, говорила трактирщица. — Так и кажется, что вот сейчас встанет.

Все три женщины склонились над ней, чтобы надеть венок.

Для этого пришлось слегка приподнять голову, и тут изо рта у покойницы хлынула, точно рвота, черная жидкость.

— Ах, боже мой, платье! Осторожней! — крикнула г-жа Лефрансуа. — Помогите же нам! — обратилась она к фармацевту. — Вы что, боитесь?

— Боюсь? — пожав плечами, переспросил тот. — Ну вот еще! Я такого навидался в больнице, когда изучал фармацевтику! В анатомическом театре мы варили пунш! Философа небытие не пугает. Я уже много раз говорил, что собираюсь завещать мой труп клинике, — хочу и после смерти послужить науке.

Пришел священник, осведомился, как себя чувствует г-н Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, заметил:

— У него, понимаете ли, рана еще слишком свежа.

Оме на это возразил, что священнику хорошо, мол, так говорить: он не рискует потерять любимую жену. Отсюда возник спор о безбрачии священников.

— Это противоестественно! — утверждал фармацевт. — Из-за этого совершались преступления...

— Да как же, нелегкая побери, — вскричал священник, — женатый человек может, например, сохранить тайну исповеди?

Оме напал на исповедь. Бурнизьен принял ее под защиту. Он начал длинно доказывать, что исповедь совершает в человеке благодетельный перелом. Привел несколько случаев с ворами, которые стали потом честными людьми. Многие военные, приближаясь к исповедальне, чувствовали, как с их глаз спадает пелена. Во Фрибуре некий священнослужитель...

Его оппонент спал. В комнате было душно; аббату не хватало воздуха, он отворил окно и разбудил этим фармацевта.

— Не хотите ли табачку? — предложил Бурнизьен. — Возьмите, возьмите! Так и сон пройдет.

Где-то далеко завывала собака.

— Слышите? Собака воет, — сказал фармацевт.

— Говорят, будто они чуют покойников, — отозвался священник. — Это как все равно пчелы: если кто умрет, они сей же час покидают улей.

Этот предрассудок не вызвал возражений со стороны Оме, так как он опять задремал.

Аббат Бурнизьен был покрепче фармацевта и еще некоторое время шевелил губами, но потом и у него голова свесилась на грудь, он выронил свою толстую черную книгу и захрапел.

Надутые, насупленные, они сидели друг против друга, выпятив животы; после стольких препирательств их объединила, наконец, общечеловеческая слабость — и тот и другой были теперь неподвижны, как лежавшая рядом покойница, которая тоже, казалось, спала.

Приход Шарля не разбудил их. Он пришел в последний раз — проститься с Эммой.

Еще курились ароматические травы, облачка сизого дыма сливались у окна с туманом, вползавшим в комнату. На небе мерцали редкие звезды, ночь была теплая.

Свечи оплывали, роняя на простыни крупные капли воска. Шарль до боли в глазах смотрел, как они горят, как лучится их желтое пламя.

По атласному платью, матовому, как свет луны, ходили волны. Эммы не было видно под ним, и казалось Шарлю, что душа ее не приметно для глаз разливается вокруг и что теперь

она во всем: в каждом предмете, в ночной тишине, в пролетающем ветерке, в запахе речной сырости.

А то вдруг он видел ее в саду в Тосте, на скамейке, возле живой изгороди, или на руанских улицах, или на пороге ее родного дома в Берто. Ему слышался веселый смех пляшущих под яблонями парней. Комната была для него полна благоухания ее волос, ее платье с шуршаньем вылетающих искр трепетало у него в руках. И это все была она!

Он долго припоминал все исчезнувшие радости, все ее позы, движения, звук ее голоса. За одним порывом отчаяния следовал другой, — они были непрерывны, как волны в часы прибоя.

Им овладело жестокое любопытство: весь дрожа, он медленно, кончиками пальцев приподнял вуаль. Вопль ужаса, вырвавшийся у него, разбудил обоих спящих. Они увели его вниз, в столовую.

Потом пришла Фелисите и сказала, что он просит прядь ее волос.

— Отрежьте! — позволил аптекарь.

Но служанка не решалась — тогда он сам с ножницами в руках подошел к покойнице. Его так трясло, что он в нескольких местах проткнул на висках кожу. Наконец, преодолевая волнение, раза два-три, не глядя, лязгнув ножницами, и в прелестных черных волосах Эммы образовалась белая прогалина.

Затем фармацевт и священник вернулись к своим занятиям, но все-таки время от времени оба засыпали, а когда просыпались, то корили друг друга. Аббат Бурнизьен неукоснительно кропил комнату святой водой, Оме посыпал хлором пол.

Фелисите догадалась оставить им на комодке бутылку водки, кусок сыру и большую булку. Около четырех часов утра аптекарь не выдержал.

— Я не прочь подкрепиться, — сказал он со вздохом.

Священнослужитель тоже не отказался. Он только сходил в церковь и, отслужив, сейчас же вернулся. Затем они чокнулись и закусили, ухмыляясь, сами не зная почему, — ими овладела та беспричинная веселость, какая нападает на человека после долгого унылого бдения. Выпив последнюю, священник хлопнул фармацевта по плечу и сказал:

— Кончится тем, что мы с вами поладим!

Внизу, в прихожей, они столкнулись с рабочими. Шарлю пришлось вынести двухчасовую пытку — слушать, как стучит молоток по доскам. Потом Эмму положили в дубовый гроб, этот гроб — в другой, другой — в третий. Но последний оказался

слишком широким — пришлось набить в промежутки шерсть из тюфяка. Когда же все три крышки были подструганы, прилажены, подогнаны, покойницу перенесли поближе к дверям, доступ к телу был открыт, и сейчас же нахлынули ионвильцы.

Приехал папаша Руо. Увидев черное сукно у входной двери, он замертво свалился на площади.

Х

Письмо аптекаря он получил только через полтора суток после печального события, а кроме того, боясь чересчур взволновать старика, г-н Оме составил письмо в таких туманных выражениях, что ничего нельзя было понять.

Сначала бедного старика чуть было не хватил удар. Потом он пришел к заключению, что Эмма еще жива. Но ведь она могла и... Словом, он надел блузу, схватил шапку, прицепил к башмаку шпору и помчался вихрем. Дорогой грудь ему теснила невыносимая тоска. Один раз он даже слез с коня. Он ничего не видел, ему чудились какие-то голоса, рассудок у него мутился.

Занялась заря. Вдруг он обратил внимание, что на дереве спят три черные птицы. Он содрогнулся от этой приметы и тут же дал обещание царице небесной пожертвовать в церковь три ризы и дойти босиком от кладбища в Берто до Васонвильской часовни.

В Мароме он, не дозвавшись трактирных слуг, вышиб плечом дверь, схватил мешок овса, вылил в кормушку бутылку сладкого сидра, потом опять сел на свою лошадку и припустил ее так, что из-под копыт у нее летели искры.

Он убеждал себя, что Эмму, конечно, спасут. Врачи найдут какое-нибудь средство, это несомненно! Он припоминал все чудесные исцеления, о которых ему приходилось слышать.

Потом она ему представилась мертвой. Вот она лежит плашмя посреди дороги. Он рванул поводья, и видение исчезло.

В Кенкампуа он для бодрости выпил три чашки кофе.

Вдруг у него мелькнула мысль, что письмо написано не ему. Он поискал в кармане письмо, нащупал его, но так и не решился перечитать.

Минутами ему даже казалось, что, быть может, это «милая шутка», чья-нибудь месть, чей-нибудь пьяный бред. Ведь если бы Эмма умерла, это сквозило бы во всем! А между тем ничего необычайного вокруг не происходит: на небе ни облачка, де-

ревья колышутся, вон прошло стадо овец. Вдали показался Ионвиль. Горожане видели, как он промчался, пригнувшись к шее своей лошади и нахлестывая ее так, что с подпруги капала кровь.

Опомнившись, он, весь в слезах, бросился в объятия Шарля.
— Дочь моя! Эмма! Дитя мое! Что случилось?..

Шарль, рыдая, ответил:

— Не знаю, не знаю! Какое-то несчастье!

Аптекарь оторвал их друг от друга.

— Все эти ужасные подробности ни к чему. Я сам все объясню господину Руо. Вон люди подходят. Ну, ну, не роняйте своего достоинства! Смотрите на вещи философски!

Бедняга Шарль решил проявить мужество.

— Да, да... надо быть твердым! — несколько раз повторил он.

— Хорошо, черт бы мою душу драл! Я тоже буду тверд! — воскликнул старик. — Я провожу ее до могилы.

Звонил колокол. Все было готово. Предстоял вынос.

В церкви мимо сидевших рядом на передних скамейках Бовари и Руо ходили взад и вперед три гнусавивших псаломщика. Трубач не щадил легких. Аббат Бурнизьен в полном облачении пел тонким голосом. Он склонялся перед престолом, воздевал и простирали руки. Лестибудуа с пластинкой китового уса, которою он поправлял свечи, ходил по церкви. Подле аналая стоял гроб, окруженный четырьмя рядами свечей. Шарлю хотелось встать и погасить их.

Все же он старался настроиться на молитвенный лад, перенестись на крыльях надежды в будущую жизнь, где он увидится с ней. Он воображал, что она уехала, уехала куда-то далеко и давно. Но стоило ему вспомнить, что она лежит здесь, что все кончено, что ее унесут и зароют в землю, — и его охватывала дикая, черная, бешеная злоба. Временами ему казалось, что он стал совсем бесчувственный, и, называя себя мысленно ничтожеством, он все же испытывал блаженство, когда боль отпускала.

Внезапно послышался сухой стук, точно кто-то мерно ударял в плиты пола палкой с железным наконечником. Этот звук шел из глубины церкви и вдруг оборвался в одном из боковых приделов. Какой-то человек в плотной коричневой куртке с трудом опустился на одно колено. Это был Ипполит, конюх из «Золотого льва». Сегодня он надел свою новую ногу.

Один из псаломщиков обошел церковь. Тяжелые монеты со звоном ударялись о серебряное блюдо.

— Нельзя ли поскорее? Я больше не могу! — крикнул Бовари, в бешенстве швыряя пятифранковую монету.

Причетник поблагодарил его низким поклоном.

Снова пели, становились на колени, вставали — и так без конца! Шарль вспомнил, что когда-то давно они с Эммой были здесь у обедни, но только сидели в другом конце храма, справа, у самой стены. Опять загудел колокол. Задвигали скамьями. Носильщики подняли гроб на трех жердях, и народ повалил из церкви.

В эту минуту на пороге аптеки появился Жюстен. Потом вдруг побледнел и, шатаясь, повернул обратно.

На похороны смотрели из окон. Впереди всех, держась прямо, выступал Шарль. Он бодрился и даже кивал тем, что, вливаясь из дверей домов или из переулков, присоединялись к толпе.

Шестеро носильщиков, по трое с каждой стороны, шли мелкими шагами и тяжело дышали. Священники, псаломщики, двое певчих, — это были два мальчика, — пели «De profundis»¹, и голоса их, волнообразно поднимаясь и опускаясь, замирали вдалеке. Порою духовенство скрывалось за поворотом, но высокое серебряное распятие все время маячило между деревьями.

Женщины шли в черных накидках с опущенными капюшонами. В руках у них были толстые зажженные свечи, и Шарлю становилось нехорошо от бесконечных молитв, от огней, от позывающего на тошноту запаха воска и облачения. Дул свежий ветер, зеленели рожь и сурепица, по обочинам дороги на живой изгороди дрожали капельки росы. Все кругом наполнилось веселыми звуками: гремела нырявшая в колдобинах телега, пел петух, неся вскачь под яблони жеребенок. Чистое небо лишь кое-где было подернуто розовыми облачками; над соломенными кровлями с торчащими стеблями ириса стлался сизый дым. Шарлю был тут знаком каждый домик. В такое же ясное утро он, навестив больного, выходил, бывало, из калитки и возвращался к Эмме.

Черное сукно, все в белых слезках, временами приподнималось, и тогда был виден гроб. Носильщики замедляли шаг от усталости, поэтому гроб двигался беспрестанными рывками, точно лодка, которую подбрасывает на волнах.

Вот и конец пути.

Мужчины вошли на кладбище, раскинувшееся под горой, — там, посреди лужайки, была вырыта могила.

¹ «Из бездны [взывал я к тебе, господи]» (лат.).

Все сгрудились вокруг ямы. Священник читал молитвы, а в это время по краям могилы непрерывно, бесшумно осыпалась глина.

Под гроб пропустили четыре веревки. Шарль смотрел, как он стал опускаться. А он опускался все ниже и ниже.

Наконец послышался стук. Веревки со скрипом выскользнули наверх. Бурнизьен взял у Лестибудуа лопату. Правой рукой кропя могилу, левой он захватил на лопату ком земли, с размаху бросил его в яму, и камешки, ударившись о деревянный гроб, издали тот грозный звук, который нам, людям, представляется гулом вечности.

Священник передал кропило стоявшему рядом с ним. Это был г-н Оме. Он с важным видом помахал им и передал Шарлю — тот стоял по колено в глине, бросал ее пригоршнями и кричал: «Прощай!» Он посылал воздушные поцелуи, он все тянулся к Эмме, чтобы земля поглотила и его.

Шарля увели, и он скоро успокоился — быть может, он, как и все, сам того не сознавая, испытывал чувство удовлетворения, что с этим покончено.

Папаша Руо, вернувшись с похорон, закурил, как ни в чем не бывало, трубку. Оме в глубине души нашел, что это неприлично. Он отметил также, что Бине не показался на похоронах, что Тюваш «удрал» сейчас же после заупокойной обедни, а слуга нотариуса Теодор явился в синем фраке, — «как будто, черт побери, нельзя было надеть черный, раз уж так принято!» Он переходил от одной кучки обывателей к другой и делился своими наблюдениями. Все оплакивали кончину Эммы, в особенности — Лере, который не преминул прийти на похороны:

— Ах, бедная дамочка! Несчастный муж!

— Вы знаете, если б не я, он непременно учинил бы над собой что-нибудь недоброе! — ввернул аптекарь.

— Такая милая особа! Кто бы мог подумать! Еще в субботу она была у меня в лавке!

— Я хотел было произнести речь на ее могиле, но так и не успел подготовиться, — сказал Оме.

Дома Шарль разделся, а папаша Руо разгладил свою синюю блузу. Она была совсем новенькая, но по дороге он то и дело вытирал глаза рукавами, и они полиняли и выпачкали ему лицо, на котором следы слез прорезали слой пыли.

Госпожа Бовари-мать была тут же. Все трое молчали. Наконец старик вздохнул:

— Помните, друг мой? Я приехал в Тост вскоре после того, как вы потеряли свою первую жену. Тогда я вас утешал!

Я находил слова, а теперь...— Из его высоко поднявшейся груди вырвался протяжный стон.— Очередь за мной, понимаете? Я похоронил жену... потом сына, а сегодня дочь!

Он решил сейчас же ехать в Берто — ему казалось, что в этом доме он не уснет. Он даже отказался поглядеть на внучку.

— Нет, нет! Мне это слишком больно. Вы уж поцелуйте ее покрепче за меня! Прощайте!.. Вы хороший человек! А потом я вам никогда не забуду вот этого,— добавил он, хлопнув себя по ноге.— Не беспокойтесь! Я по-прежнему буду посылать вам индейку.

Но с горы он все-таки оглянулся, как оглянулся в давно прошедшие времена, расставаясь с дочерью на дороге в Сен-Виктор. Окна домов, освещенные косыми лучами солнца, заходившего за лугом, были точно объаты пламенем. Руо, приставив руку щитком к глазам, увидел тянувшиеся на горизонте сады: сплошную белокаменную стену, а над ней — темные купы деревьев. Лошадь у старика хромала, и он затрусил рысцой.

Шарль и его мать, несмотря на усталость, проговорили весь вечер. Вспоминали прошлое, думали, как жить дальше. Порешили на том, что она переедет в Ионвиль, будет вести хозяйство, и они больше никогда не расстанутся. Она была предупредительна, ласкова; в глубине души она радовалась, что вновь обретает сыновнюю любовь. Пробило полночь. В городке, как всегда, было тихо, но Шарль не мог заснуть и все думал об Эмме.

Родольф от нечего делать весь день шатался по лесу и теперь спал крепким сном у себя в усадьбе. В Руане спал Леон.

Но был еще один человек, который не спал в эту пору.

У свежей могилы, осененной ветвями елей, стоял на коленях подросток; он исходил слезами, в груди его теснилась бесконечная жалость, нежная, как лунный свет, и бездонно глубокая, как ночной мрак. Внезапно скрипнула калитка. Это был Лестибудуа. Он позабыл лопату и пришел за ней. Подросток взобрался на ограду, но Лестибудуа успел разглядеть, что это Жюстен,— теперь он, по крайней мере, знал, какой разбойник лазает к нему за картошкой.

XI

На другой день Шарль послал за дочкой. Она спросила, где мама. Ей ответили, что мама уехала и привезет ей игрушек. Берта потом еще несколько раз вспоминала о ней, но с

течением времени позабыла. Ее детская жизнерадостность надрывала душу Бовари, а ему еще приходилось выносить нестерпимые утешения фармацевта.

Вскоре перед Шарлем опять встал денежный вопрос: г-н Лере снова натравил своего друга Венсара, а Шарль ни за что не соглашался продать хотя бы одну вещь из тех, что принадлежали ей, и предпочел наделать чудовищных долгов. Мать на него рассердилась. Он на нее еще пуще. Он очень изменился. Она от него уехала.

Тут-то все и поспешили «воспользоваться случаем». Мадемуазель Лампрер потребовала уплатить ей за полгода, хотя Эмма, несмотря на расписку, которую она показала Бовари, не взяла у нее ни одного урока — так между ними было условлено. Владелец библиотеки потребовал деньги за три года. Тетушка Роле потребовала деньги за доставку двадцати писем. Когда же Шарль спросил, что это за письма, у нее хватило деликатности ответить:

— Я знать ничего не знаю! Я в ее дела не вмешивалась.

Уплатив очередной долг, Шарль всякий раз надеялся, что это последний. Но затем объявлялись новые кредиторы, и конца им не предвиделось.

Он обратился к пациентам с просьбой уплатить за прежние визиты. Но ему показали письма жены. Пришлось извиниться.

Фелисите носила теперь платья своей покойной барыни, но только не все: некоторые Шарль оставил себе — он запирался в гардеробной и рассматривал их. Фелисите была почти одного роста с Эммой, и когда Шарль смотрел на нее сзади, то иллюзия была так велика, что он нередко восклицал:

— Не уходи! Не уходи!

Но на Троицын день Фелисите бежала из Ионвиля с Теодором, захватив все, что еще оставалось от гардероба Эммы.

В это же время вдова Дюпюи имела честь уведомить г-на Бовари о «бракосочетании своего сына, г-на Леона Дюпюи, нотариуса города Ивето, с девицею Леокадией Лебеф из Бонд-виля». Шарль, поздравляя ее, между прочим написал:

«Как была бы счастлива моя бедная жена!»

Однажды, бродя без цели по дому, он поднялся на чердак и там нащупал ногой комок тонкой бумаги. Он развернул его и прочел: «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни!» Это было письмо Родольфа — оно завалялось за ящики, пролежало там некоторое время, а затем

ветром, подувшим в слуховое окно, его отнесло к двери. Шарль остолбенел на том самом месте, где когда-то Эмма, такая же бледная, как он сейчас, в порыве отчаяния хотела покончить с собой. Наконец на второй странице, внизу, он разглядел едва заметную прописную букву Р. Кто бы это мог быть? Он припомнил, как Родольф сначала ухаживал за Эммой, как потом внезапно исчез и как натянуто себя чувствовал после при встречах. Однако почтительный тон письма ввел Шарля в заблуждение.

«Они, наверно, любили друг друга платонически», — решил он.

Шарль был не охотник добираться до сути. Он не стал искать доказательств, и его смутная ревность потонула в пучине скорби.

«Она невольно заставляла себя обожать, — думал он. — Все мужчины, конечно, мечтали о близости с ней». От этого она стала казаться ему еще прекраснее. Теперь он испытывал постоянное бешеное желание, доводившее его до полного отчаяния и не знавшее пределов, оттого что его нельзя было утолить.

Все ее прихоти, все ее вкусы стали теперь для него священны: как будто она и не умирала, он, чтобы угодить ей, купил себе лаковые ботинки, стал носить белые галстуки, фабрилы усы и по ее примеру подписывал векселя. Она совращала его из гроба.

Ему пришлось постепенно распродать серебро, потом обстановку гостиной. Комнаты одна за другой пустели. Только в ее комнате все оставалось по-прежнему. Шарль поднимался туда после обеда. Придвигал к камину круглый столик, подставлял ее кресло, а сам садился напротив. В позолоченном канделябре горела свеча. Тут же, рядом, раскрашивала картинки Берта.

Шарль, глубоко несчастный, страдал еще и оттого, что она так бедно одета, что башмачки у нее без шнурков, что кофточки рваные, — служанка о ней не заботилась. Но девочка была тихая, милая, она грациозно наклоняла головку, на ее розовые щеки падали белокурые пряди пушистых волос, и, глядя на нее, отец испытывал несказанное наслаждение, радость, насквозь пропитанную горечью, — так плохое вино отдает смолой. Он чинил ей игрушки, вырезал из картона паяцев, зашивал ее куклам прорванные животы. Но если на глаза ему попадалась рабочая шкатулка, валявшаяся где-нибудь лента или хотя бы застрявшая в щели стола булавка, он внезапно задумывался, и в

такие минуты у него был до того печальный вид, что и девочка невольно делила с ним его печаль.

Теперь никто у него не бывал. Жюстен сбегал в Руан и поступил мальчиком в бакалейную лавку, дети фармацевта приходили к Берте все реже и реже, — г-н Оме, приняв во внимание, что Берта им уже не ровня, не поощрял этой дружбы.

Слепого он так и не вылечил своей мазью, и тот, вернувшись на гору Буа-Гильом, рассказывал всем путешественникам о неудачной попытке фармацевта, так что Оме, когда ехал в Руан, прятался от него за занавесками дилижанса. Он ненавидел слепого. Для спасения своей репутации он поставил себе задачу устранить его любой ценой и повел исподтишка против него кампанию, в которой ясно обозначились все хитрости аптекаря и та подлость, до которой доходило его тщеславие. На протяжении полугода в «Руанском светоче» печатались такого рода заметки:

«Все, кто держит путь в хлеботородные области Пикардии, наверное, видели на горе Буа-Гильом несчастного калеку с ужасной язвой на лице. Он ко всем пристаёт, всем надоедает, собирает с путешественников самую настоящую дань. Неужели у нас все еще длится мрачное средневековье, когда бродяги могли беспрепятственно заражать общественные места принесенными из крестовых походов проказой и золотухой?»

Или:

«Несмотря на законы против бродяжничества, окрестности наших больших городов все еще наводнены шайками нищих. Некоторые из них скитаются в одиночку, и это, быть может, как раз наиболее опасные. И куда только смотрят наши эдилы?»

Иногда Оме выдумывал целые происшествия:

«Вчера на горе Буа-Гильом пугливая лошадь...»

За этим следовал рассказ о том, как из-за слепого произошел несчастный случай.

В конце концов фармацевт добился, что слепого арестовали. Впрочем, его скоро выпустили. Нищий взялся за свое, Оме — за свое. Это была ожесточенная борьба. Победил в ней фармацевт: его противника приговорили к пожизненному заключению в богадельне.

Успех окрылил фармацевта. С тех пор, если только он узнавал, что в его округе задавили собаку, сгорел сарай, избили женщину, то, движимый любовью к прогрессу и ненавистью к попам, он немедленно доводил это до всеобщего сведения. Он рассуждал о преимуществах учеников начальной школы перед братьями-игнорантипцами; в связи с каждой сотней франков, пожертвованной на церковь, напоминал о Варфоломеевской ночи; раскрывал злоупотребления, пускал шпильки. Оме подкапывался; он становился опасен.

И тем не менее ему было тесно в узких рамках журналистики — его подмывало выпустить в свет книгу, целый труд! И он написал «Общие статистические сведения об Ионвильском кантоне, с приложением климатологических наблюдений», а затем от статистики перешел к философии. Он заинтересовался вопросами чрезвычайной важности: социальной проблемой, распространением нравственности среди неимущих классов, рыбоводством, каучуком, железными дорогами и пр. Дело дошло до того, что он устыдился своих мещанских манер. Он попытался усвоить «артистический пошиб», он даже начал курить! Для своей гостиной он приобрел две «шикарные» статуэтки в стиле Помпадур.

Но он не забывал и аптеку. Напротив: он был в курсе всех новейших открытий. Он следил за стремительным ростом шоколадного производства. Он первый ввел в департаменте Нижней Сены «шо-ка» и реваленцию. Он сделался ярым сторонником гидроэлектрических цепей Пульвермахера. Он сам носил такие цепи. По вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, г-жу Оме всякий раз ослепляла обвивавшая ее мужа золотая спираль; в такие минуты этот мужчина, облаченный в доспехи, точно скиф, весь сверкающий, точно маг, вызывал в ней особый прилив страсти.

У фармацевта были замечательные проекты памятника Эмме. Сначала он предложил обломок колонны с драпировкой, потом — пирамиду, потом — храм Весты, нечто вроде ротонды... или же «грудю руин». И в каждом его проекте неизменно фигурировала плакучая ива в качестве неизбежной, с его точки зрения, эмблемы печали.

Он отправился с Шарлем в Руан и там, захватив с собой художника, друга Бриду, некоего Вофрилара, так и сыпавшего каламбурами, пошел посмотреть памятники в мастерской надгробий. Ознакомившись с сотней проектов, заказав смету и потом еще раз съездив в Руан, Шарль в конце концов вы-

брал мавзолей, на котором и спереди и сзади должен был красоваться «гений с угасшим факелом».

Что касается надписи, то фармацевту больше всего нравилось: «*Sta, viator*»¹, но дальше дело у него не шло. Он долго напрягал воображение, без конца повторял: «*Sta, viator*»... Наконец его осенило: «*Amabilem conjugem calcas!*»² И это было одобрено.

Странно, что Бовари, постоянно думая об Эмме, тем не менее забывал ее. Он с ужасом видел, что, несмотря на все его усилия, образ ее расплывается. Но сплелась она ему каждую ночь. Это был всегда один и тот же сон: он приближался к ней, хотел обнять, но она рассыпалась у него в руках.

Целую неделю он каждый вечер ходил в церковь. Аббат Бурнизьен на первых порах раза два навещал его, а потом перестал бывать. Между прочим, по словам фармацевта, старик сделался нетерпимым фанатиком, обличал дух века сего и раз в две недели, обращаясь к прихожанам с проповедью, неукоснительно рассказывал о том, как Вольтер, умирая, пожирал собственные испражнения, что, мол, известно всем и каждому.

Бовари урезал себя во всем, но так и не погасил своих старых долгов. Лере не пошел на переписку векселей. Над Шарлем вновь нависла угроза аукциона. Тогда он обратился к матери. Та написала ему, что позволяет заложить ее имение, но не преминула отвести душу по поводу Эммы. В награду за свое самопожертвование она просила у него шаль, уцелевшую от разграбления, которое учинила Фелисите. Шарль отказал. Они рассорились.

Первый шаг к примирению был сделан ею — она написала, что хотела бы взять к себе девочку, что уж очень ей одиноко. Шарль согласился. Но в самый момент расставания у него не хватило духу. За этим последовал полный и уже окончательный разрыв.

Вокруг Шарля никого не осталось, и тем сильнее привязался он к своей девочке. Вид ее внушал ему, однако, тревогу: она покашливала, на щеках у нее выступали красные пятна.

А напротив благоденствовала цветущая, жизнерадостная семья фармацевта, которому везло решительно во всем. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала ему феску, Ирма вырезала из бумаги кружочки, чтобы накрывать

¹ Стой, путник (*лат.*).

² Стой, путник, ты попираешь [останки] любимой жены (*лат.*).

банки с вареньем, Франклин отвечал без запинки таблицу умножения. Аптекарь был счастливейшим отцом, удачливейшим человеком.

Впрочем, не совсем! Он был снедаем честолюбием: ему хотелось получить крестик. Основания у него для этого были следующие:

Во-первых, во время холеры он трудился не за страх, а за совесть; во-вторых, он напечатал, и притом за свой счет, ряд трудов, имеющих общественное значение, как, например... (тут он припоминал свою работу: «Сидр, его производство и его действие», затем посланный в Академию наук отчет о своих наблюдениях над шерстоносной травяной вошью, затем свой статистический труд и даже свою университетскую диссертацию на фармацевтическую тему). А кроме того, он являлся членом нескольких ученых обществ! (На самом деле — только одного.)

— Наконец, — несколько неожиданно заключал он, — я бываю незаменим на пожарах!

Из этих соображений он переметнулся на сторону власти. Во время выборов он тайно оказал префекту важные услуги. Словом, он продался, он себя растлил. Он даже подал на высочайшее имя прошение, в котором умолял «обратить внимание на его заслуги», называл государя «наш добрый король» и сравнивал его с Генрихом IV.

Каждое утро аптекарь набрасывался на газету — нет ли сообщения о том, что он награжден, но сообщения все не было. Наконец он не выдержал и устроил у себя в саду клумбу в виде орденской звезды, причем от ее вершины шли две узенькие полоски травы, как бы напоминавшие ленту. Фармацевт, скрестив руки, разгуливал вокруг клумбы и думал о бездарности правительства и о человеческой неблагодарности.

Шарль, то ли из уважения к памяти жены, то ли потому, что медлительность обследования доставляла ему некое чувственное наслаждение, все еще не открывал потайного ящика того палисандрового стола, на котором Эмма обычно писала. Наконец однажды он подсел к столу, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма Леона. Теперь уже никаких сомнений быть не могло! Он прочитал всё до последней строчки, обыскал все уголки, все шкафы, все ящики, смотрел за обоями; он неистовствовал, он безумствовал, он рыдал, он вопил. Случайно он наткнулся на какую-то коробку и ногой вышиб у нее дно. Оттуда вылетел портрет Родольфа и высыпался ворох любовных писем.

Его отчаяние всем бросалось в глаза. Он целыми днями сидел дома, никою не принимал, не ходил даже на вызов к больным. И в городе пришли к заключению, что он «пьет горькую».

Все же иной раз кто-нибудь из любопытных заглядывал через изгородь в сад и с удивлением наблюдал за опустившимся, обросшим, неопрятным человеком, который бродил по дорожкам и плакал навзрыд.

В летние вечера он брал с собой дочку и шел на кладбище. Возвращались они поздно, когда на всей площади было освещено только одно окошечко у Бине.

Однако он еще не вполне наслаждался своим горем — ему не с кем было поделиться. Изредка он заезживал к тетушке Лефрансуа только для того, чтобы поговорить о *ней*. Но трактирщица в одно ухо впускала, в другое выпускала — у нее были свои невзгоды: Лере наконец открыл заезжий двор «Любимцы коммерции», а Ивер, который славился как отличный исполнитель любых поручений, требовал прибавки и все грозил перейти к «конкуренту».

Как-то раз Бовари отправился в Аргейль на базар продавать лошадь, — больше ему продавать было нечего, — и встретил там Родольфа.

Увидев друг друга, оба побледнели. После смерти Эммы Родольф прислал только свою визитную карточку, и теперь он пробормотал что-то в свое оправдание, но потом обнаглел до того, что даже пригласил Шарля (был жаркий августовский день) распить в кабачке бутылку пива.

Он сидел напротив Шарля и, облокотившись на стол, жевал сигару и болтал, а Шарль, глядя ему в лицо, упорно думал, что это вот и есть тот самый человек, которого она любила. И казалось Шарлю, будто что-то от Эммы передалось Родольфу. В этом было какое-то колдовство. Шарлю хотелось сейчас быть этим человеком.

Родольф говорил о земледелии, о скотоводстве, об удобрениях, затыкая общими фразами все щели, в которые мог проскочить малейший намек. Шарль не слушал. Родольф видел это и наблюдал, как на лице Шарля отражаются воспоминания: щеки у него багровели, ноздри раздувались, губы дрожали. Была даже минута, когда Шарль такими жуткими глазами посмотрел на Родольфа, что у того промелькнуло нечто похожее на испуг, и он смолк. Но мгновение спустя черты Шарля вновь приняли то же выражение угрюмой пришибленности.

— Я на вас не сержусь, — сказал он.

Родольф окаменел. А Шарль, обхватив голову руками, повторил слабым голосом, голосом человека, свыкшегося со своей безысходной душевной болью:

— Нет, я на вас больше не сержусь!

И тут он первый раз в жизни прибегнул к высокому слогу:

— Это игра судьбы!

Родольф сам руководил этой игрой, и сейчас он думал о Бовари, думал о том, что нельзя быть таким благодушным в его положении, что он смешон и даже отчасти гадок.

На другой день Шарль вышел в сад и сел на скамейку в беседке. Через решетку пробивались солнечные лучи, на песке вычерчивали свою тень листья дикого винограда, благоухал жасмин, небо было безоблачно, вокруг цветущих лип гудели шпанские мухи, и Шарль задыхался, как юноша, от невнятного прилива любви, переполнявшей его тоскующую душу.

В семь часов пришла звать его обедать дочка. Она не виделась с ним целый день.

Голова у него была запрокинута, веки опущены, рот открыт, в руках он держал длинную прядь черных волос.

— Папа, иди обедать! — сказала девочка.

Думая, что он шутит, она тихонько толкнула его. Он рухнул наземь. Он был мертв.

Через полтора суток приехал по просьбе аптекаря г-н Каниве. Он вскрыл труп и никакого заболевания не обнаружил.

После распродажи имущества осталось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, которых мадемуазель Бовари хватило на то, чтобы доехать до бабушки. Старуха умерла в том же году, дедушку Руо разбил паралич, — Берту взяла к себе тетка. Она очень нуждается, так что девочке пришлось поступить на прядильную фабрику.

После смерти Бовари в Ионвиле сменилось уже три врача — их всех забил г-н Оме. Пациентов у него тьма. Власть смотрят на него сквозь пальцы, общественное мнение покрывает его.

Недавно он получил орден Почетного легиона.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

ПЕРЕВОД А. ФЕДОРОВА

1

Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтеро», выпуская густые клубы дыма, готовился отчалить от набережной Святого Бернара.

Спешили запыхавшиеся люди; бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу; матросы никому не отвечали; все толкались; в проходе около машин горой лежали тюки, и шум сливался с гудением пара; вырываясь через отверстия в обшивке труб, он заволакивал все белесоватой пеленой, а колокол на баке не переставая звонил.

Наконец судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, медленно потянулись, развертываясь, точно две широкие ленты.

Молодой человек лет восемнадцати с длинными волосами неподвижно стоял около штурвала, держа под мышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в какие-то колокольни, в какие-то неизвестные здания; потом в последний раз обвел глазами остров Святого Людовика, Старый город, собор Богоматери и, наконец, глубоко вздохнул: Париж исчезал из глаз.

Господин Фредерик Моро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет «изучать право». Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр — навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство; Фредерик приехал оттуда только накануне и, не имея возможности задержаться в столице, вознаграждал себя тем, что возвращался домой самым длинным путем.

Суматоха улеглась; все разошлись по своим местам; кое-кто стоя грелся у машины; а труба с медленным ритмическим

хрипением выбрасывала дым, поднимавшийся черным султаном; на медных частях появились капельки и стекали по ним; палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения, и колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги.

Река была окаймлена песчаными мелями. По пути встречались то плоты, которые начинали раскачиваться на волнах от пархода, то какая-нибудь лодка без парусов, а в ней — человек, удивший рыбу; вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу Сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм.

Он увенчан был деревьями, среди них мелькали приземистые домики с крышами в итальянском вкусе. Вокруг них — сады, спускающиеся по склону и отделенные друг от друга новенькими оградами, железные решетки, газоны, теплицы и вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, на которые можно было облокотиться. Не один путешественник, завидев эти нарядные приюты отдохновения, жалел, что не он их владелец, и рад был бы прожить здесь до конца своих дней с хорошим бильярдом, лодкой, подругой или каким-нибудь иным предметом мечтаний. Удовольствие, которое испытывали первые совершавшие путешествие по воде, способствовало сердечным излияниям. Весельчаки начинали шутить. Раздавались песни. Было весело. Кое-кто уже приложился к рюмке.

Фредерик думал о комнате, в которой ему предстояло жить; о плане драмы, о сюжетах для картин, о будущих любовных увлечениях. Он находил, что счастье, которого заслуживало совершенство его души, медлит. Он декламировал про себя меланхолические стихи; нетерпеливо расхаживал по палубе; дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами какую-то крестьянку и при этом вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру его плотно облегал черная бархатная куртка, на манжетах батистовой сорочки сверкали две изумрудные запонки, а из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги из красного сафьяна с синими узорами.

Его не смутило присутствие Фредерика. Он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить; потом угостил сигарами всех стоявших вокруг. Но, соскучившись, видимо, в этой компании, вскоре отошел. Фредерик последовал за ним.

Вначале разговор касался различных сортов табака, потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов; он развивал теории, рассказывал анекдоты, ссылаясь на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно простодушным тоном.

Он называл себя республиканцем; он много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газет и со всеми артистическими знаменитостями, которых фамильярно называл по имени; Фредерик вскоре поделился с ним своими планами; он их одобрил.

Но, внезапно прервав разговор, взглянул на трубу парохода, потом, быстро бормоча, стал производить длинные вычисления, чтобы узнать, «сколько получится, если поршень сделает в минуту столько-то ходов», и т. д. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что теперь отдыхает от всяких дел.

Фредерик чувствовал некоторое почтение к нему и не устоял против желания узнать, как его зовут. Незнакомец ответил, не переводя дыхания:

— Жак Арну, владелец «Художественной промышленности» на бульваре Монмартр.

Слуга в фуражке с золотым галуном подошел к нему и сказал:

— Не пройдет ли вниз, сударь? Барышня плачет.

Он исчез.

В «Художественной промышленности», предприятии смешанном, объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе, на огромных объявлениях, у книготорговца, где имя Жака Арну занимало видное место.

Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды; от носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были совсем безлюдны. В небе застыли белые облачка, и скука, смутно разлитая повсюду, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид.

За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, все это были рабочие и лавочники с женами и детьми.

В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу, поэтому почти все были в каких-то старых шапках или вылинявших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же в сюртуках, так долго служивших их владельцам за прилавком магазина, что продралась вся материя на пуговицах; кое у кого под жилетом с отворотами виднелась коленкоровая рубашка, забрызганная кофе; галстуки, превратившиеся в тряпку, были заколоты булавами из накладного золота; матерчатые туфли придерживались штрипками. Какие-то подозрительные личности, с бамбуковыми тростями на кожаных петлях, косились по сторонам, а отцы семейств таращили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие — присев на свои пожитки; некоторые спали, забившись в угол; кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенной в бумаге; три столяра, одетых в блузы, не отходили от буфетной стойки; арфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент; по временам слышно было, как в топку бросают уголь, раздавались возгласы, смех; а капитан все время шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу в первый класс, потревожив двух охотников с собаками.

И словно видение предстало ему.

Она сидела посередине скамейки одна; по крайней мере, он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз когда он проходил, она подняла голову; он невольно склонился и только потом, когда сам занял место, немного подальше, с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее.

На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь кончиков длинных бровей, и, словно ласковыми ладонями, сжимали ее овальное лицо. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось многочисленными складками. Она что-то вышивала; ее прямой нос, ее подбородок, вся ее фигура вырисовывались на фоне голубого неба.

Она продолжала сидеть все в той же позе, а он несколько раз прошелся взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, потом остановился возле ее зонтика, прислоненного к скамейке, и притворился, будто следит за лодкой на реке.

Никогда не видел он такой восхитительной смуглой кожи, такого чарующего стана, таких тонких пальцев, просвечиваю-



щих на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее зовут, откуда она, что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо надевала, людей, с которыми она знакома; и даже стремление обладать ею исчезало перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела.

Подошла негритянка с косынкой на голове, ведя за руку девочку, довольно большую. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Она посадила девочку к себе на колени: «Девушка плохо себя ведет, а ведь ей скоро уже семь лет; мама ее разлюбит; слишком часто прощаются ей капризы». И Фредерик радостно слушал, точно все это было для него откровением.

Уж не андалузка ли она родом или креолка? И не с островов ли вывезла она эту негритянку?

За ее спиной, на медной обшивке борта, лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверное, на море, в сырые вечера, она куталась в эту шаль, укрывала ею ноги, спала в ней! Но бахрома перетягивала шаль вниз, она постепенно скользила — вот-вот упадет в реку. Фредерик бросился и подхватил ее. Дама сказала:

— Благодарю вас, сударь.

Глаза их встретились.

— Жена, ты готова? — крикнул г-н Арну, появляясь на лестнице.

Мадемуазель Марта побежала к нему, повисла у него на шее и стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось «посмотреть на музыку», и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арну узнал в нем бывшего натурщика; к удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты». Но вот арфист откинул свои длинные волосы, вытянул руки и начал играть.

То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел обо всем этом пронзительным голосом; стук машины врывался в мелодию, нарушая такт; арфист сильнее ударял по струнам; они дрожали, и, казалось, в их металлических звуках слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по обоим берегам, спускались к самой воде; проносился свежий ветерок; г-жа Арну с рассеянным видом глядела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь от сна.

Арфист смиренно приблизился к ним. Пока Арну искал мелочь, Фредерик протянул руку и, стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда луидор. Не тщеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, к которому он мысленно приобщил и ее.

Арну, пропуская его вперед себя, стал дружески уговаривать его пройти вниз. Фредерик уверял, что сейчас только позавтракал; на самом деле он умирал от голода, а в кошельке у него не было уже ни сентима.

Но тут же он решил, что имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте.

Несколько буржуа, сидя за круглыми столами, уже ели; между ними сновал официант; супруги Арну расположились в глубине направо; Фредерик сел на длинный бархатный диванчик, убрав газету, лежавшую там.

В Монтеро им предстояло пересесть в шалонский дилижанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Г-жа Арну упрекнула мужа в том, что он слишком балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавески на окне за ее спиной.

Низкий белый потолок резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба; медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, как будто и не замечали ее.

Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшей к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к окошку и называли местность.

Арну выражал недовольство поваром, а когда подали счет, возмутился и потребовал, чтобы сбавили цену. Затем он повел молодого человека на бак — выпить грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла г-жа Арну. Она читала тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта временами приподнимались, и словно луч удовольствия озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто сочинил все эти вещи, видимо занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между нею и им возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с ней

навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив у нее даже воспоминания!

Справа была равнина; налево пастбище тянулось по склону холма, где виднелись виноградники, орешник, мельница вся в зелени, а дальше тропинки зигзагами вились по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, меж тем как платье ее будет задевать пожелтевшие листья,— и слушать ее голос, видеть сияние ее глаз! Пароход мог бы остановиться, им стоило лишь сойти на берег; но все то, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце!

Немного дальше открылся замок с остроконечной крышей, с четырехугольными башенками. Перед его фасадом расстилались цветники, а липовые аллеи уходили в глубь парка, смыкаясь высокими темными сводами. Он представил себе, что она гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где стояли кадки с померанцевыми деревьями, вышли дама и молодой человек. Потом все скрылось.

Подле него играла девочка. Фредерик хотел ее поцеловать. Она спряталась за няниной спиной; мать пожурила ее за то, что она нелюбезна с господином, который спас шаль. Не приглашение ли это вступить в беседу?

«Быть может, теперь она заговорит со мной?» — спрашивал он себя.

Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к Арну? И Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние тона пейзажа, и прибавил:

— Недалеко уже и зима, время балов и обедов!

Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался сюрвильский берег, приближались мсты; вот миновали канатный завод, ряд низких домов; на берегу стояли котлы с дегтем, разбросаны были щепки, а на песке вертелись колесом мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему:

— Поскорей!

Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров, и тот, пожимая ему руку, сказал:

— Всех благ, дражайший.

Выйдя на набережную, Фредерик оглянулся. Она стояла около руля. Он обратил к ней взгляд, в который хотел вложить всю свою душу: она не пошевелинулась, как будто ничего не произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик прикрикнул на него:

— Почему ты не подъехал ближе?

Слуга стал извиняться.

— Какой бестолковый! Дай мне денег!

И Фредерик отправился в харчевню поесть.

Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зайти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз?

«К чему?» — спросил он себя.

И, сев в американку, поехал. Не обе лошади принадлежали его матери. Вторую она попросила у г-на Шамбриона, сборщика податей. Исидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал в Брэ, а ночевал в Монтеро, так что лошади, отдохнув, теперь бежали резво.

Без конца тянулись жнивья. Дорогу окаймляли два ряда деревьев, мелькали одна за другой кучи булыжника, и мало-помалу Фредерику вспомнилось все путешествие — Вильнев — Сен-Жорж, Аблон, Шатийон, Корбей и другие места, — вспомнилось так ярко, что теперь он различил новые подробности, более тонкие черты. Из-под нижней оборки ее платья выступала ножка в узком шелковом башмачке коричневого цвета; тиковый тент поднимался над ее головой, как широкий балдахин, и красные кисточки его бахромы все время трепетали от ветра.

Она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредоточивался смысл бытия, и, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыв веки и весь отдался радости мечтательной и беспредельной.

В Брэ он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперед по дороге. Арну звал ее «Мария». Он крикнул громко: «Мария!» Голос его замер в воздухе.

Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды ржи, подымавшиеся среди сжатых полей, отбрасывали огромные тени. Вдали, где-то на ферме, залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением.

Когда Исидор догнал его, он сел на козлы, чтобы править самому. Неуверенность миновала. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом супругов Арну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело, к тому же и сам Арну ему нравился; а там — как знать? Лицо у него зарделось, в висках стучало, он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял:

— Потише! Да потише! Вы их загоните.

Фредерик понемногу успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга.

Молодого хозяина ждут с нетерпением. Мадемуазель Луиза даже плакала, — так ей хотелось поехать ему навстречу.

— Какая мадемуазель Луиза?

— Да дочка господина Рокка!

— Ах, я и забыл! — небрежно ответил Фредерик.

Между тем лошади выбились из сил. Обе они хромали, и на башне св. Лаврентия пробило уже девять, когда Фредерик прибыл на Оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходящим в поле, придавал еще больше веса г-же Моро, самой уважаемой особе во всей округе.

Она происходила из старинного дворянского рода, теперь угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени давала прекрасные званые обеды. Но каждая свеча заранее была на счету, а арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скрывала как порок, была причиной ее постоянной озабоченности. Но добродетель проявлялась у нее без ханжества, без озлобления. Малейшая ее милостыня казалась величайшим благодеянием. С ней советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и его преосвященство, когда объезжал епархию, останавливался у нее.

Госпожа Моро питала в отношении своего сына честолюбивые надежды. Она, как бы заранее принимая меры предосторожности, не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику необходима будет протекция; потом, благодаря своим способностям, он станет советником, посланником, министром. Его успехи в Санском коллеже давали основание для ее гордости: он получил первую награду.

Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать; потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Г-н Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело г-жи Лафорж. Этот шумевший процесс сразу же вызвал горячий спор; правда, г-жа Моро, к сожалению г-на Гамблена, прекратила его; гость же видел в нем пользу для молодого человека — будущего юриста — и с обидой покинул гостиную.

Впрочем, чему тут было удивляться, раз это приятель дядюшки Рокка? В связи с дядюшкой Рокком речь зашла и о

г-не Дамбрёзе, который только что приобрел поместье Ла Фортель. Но Фредерика уже отвел в сторону сборщик податей, интересуясь его мнением о последнем труде г-на Гизо. Все желали узнать, каковы дела Фредерика, и г-жа Бенуа ловко приступила к расспросам, справившись о здоровье дядюшки. Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно. Ведь у него есть в Америке троюродный брат?

Кухарка доложила, что г-ну Фредерику подано кушать. Гости из скромности удалились. А когда мать и сын остались одни, она вполголоса спросила:

— Ну что?

Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал.

Госпожа Моро вздохнула.

«Где-то она сейчас? — думал он. — Дилижанс катит, и, наверно, закутавшись в шаль, она дремлет, прислонясь прелестной головкой к суконной обивке кареты».

Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы «Созвездие лебедя» принес записку.

— Что такое?

— Делорье просит меня выйти к нему, — ответил Фредерик.

— А! Твой товарищ! — с презрением усмехнулась г-жа Моро. — Нашел время, право!

Фредерик был в нерешительности. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу.

— По крайней мере, не уходи надолго, — сказала ему мать.

II

Отец Шарля Делорье, бывший пехотный капитан, выйдя в отставку в 1818 году, возвратился в Ножан, женился, а на деньги, составлявшие приданое, купил должность судебного пристава, которая еле-еле давала ему средства к существованию. Озлобленный долгой цепью несправедливостей, страдая от старых ран и не переставая жалеть об Императоре, он изливал на окружающих душивший его гнев. Не многих детей колотили так часто, как его сына. Несмотря на побои, мальчуган упорствовал. Если мать пыталась за него заступиться, отец обходился с нею так же грубо, как и с сыном. Наконец капитан засадил его в свою контору, и мальчик целыми дня-

ми должен был, согнувшись, переписывать дела, отчего правое плечо у него стало заметно выдаваться.

В 1833 году, по предложению председателя суда, капитан продал контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон; потом, устроившись в Труа, занялся поставкой рекрутов и, добившись для Шарля половинной стипендии, отдал его в Санский коллеж, где с ним и встретился Фредерик. Но одному было двенадцать лет, другому пятнадцать; к тому же характер и происхождение отделяли их друг от друга множеством преград.

В комод у Фредерика водилась всякая снедь, были редкостные вещицы — туалетный прибор, например. Он любил долго спать по утрам, наблюдать полет ласточек, читать драматические пьесы и, жалея о приятностях домашнего существования, находил жизнь в коллеже тяжелой.

Сыну судебного пристава она, наоборот, казалась привольной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако — вследствие ли бедности или сварливого нрава — он был окружен глухим недоброжелательством. Но вот однажды случилось, что, когда на дворе перед целой ватагой учеников средних классов служитель обозвал его оборвышем, мальчик схватил его за горло и убил бы, если бы не подоспели три надзирателя. Фредерик в порыве восхищения бросился обнимать его. С того дня и началась у них дружба. Привязанность старшего, несомненно, льстила тщеславию малыша, а старший был счастлив встретить такую преданность.

На время каникул отец не брал его из коллежа. Перевод Платона, случайно попавшийся Шарлю, привел его в восхищение. Он увлекся метафизикой и быстро сделал большие успехи, ибо за изучение ее он взялся полный юной силы, с гордостью пробуждающегося сознания; Жуффруа, Кузен, Ларомигьер, Мальбранш, шотландцы — все, что имелось в библиотеке, было прочитано. Ему пришлось украсть ключ, чтобы добывать книги...

Развлечения Фредерика были менее серьезного свойства. На улице Трех Волхвов он срисовал родословную Христа, вырезанную на одной из колонн, потом изобразил портал собора. После средневековых драм он взялся за мемуары Фруасара, Комина, Пьера де Летуаля, Брантома. Образы, которые это чтение вызывало в его уме, так его захватили, что он чувствовал потребность их воспроизвести. Он лелеял гордую надежду стать со временем французским Вальтером Скоттом.

А Делорье обдумывал обширную философскую систему, которая могла бы иметь самое широкое применение.

Они разговаривали обо всем этом на переменах, во дворе, перед нравоучительной надписью под часами; они перешептывались в капелле под самым носом у Людовика Святого; они мечтали о том же и в дортуаре, окна которого выходили на кладбище. В дни, когда бывала прогулка, они становились в последней паре и болтали без умолку.

Они говорили о том, что будут делать, когда окончат коллеж. Прежде всего они предпримут большое путешествие — на те деньги, что Фредерик, достигнув совершеннолетия, получит со своего капитала. Потом они возвратятся в Париж, станут вместе работать, никогда не разлучаясь, а от своих трудов будут отдыхать, наслаждаясь любовью принцесс в атласных будуарах или тешась шумными оргиями с знаменитыми куртизанками. Взлеты надежды сменялись сомнениями. После приступов веселой болтливости наступало глубокое молчание.

Летними вечерами они долго бродили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге между полей, где, освещенные заходящим солнцем, колыхались колосья и веял запах дягиля; когда им становилось душно, они бросались на землю, ложились на спину, одурманенные, опьяненные. Их товарищи в одних жилетах бегали вперегонки или пускали воздушных змеев. Надзиратель их сзывал. Домой возвращались вдоль садов, пересеченных ручейками, потом шли бульварами в тени старых стен; шаги гулко отдавались среди пустынных улиц; открывалась калитка, все поднимались по лестнице, и ими овладевала тоска, как после бурного кутежа.

Господин инспектор утверждал, что они только будоражат друг друга. Однако если в старших классах Фредерик проявлял хоть какое-то усердие, то лишь благодаря увещаниям товарища; а на каникулы в 1837 году он повез Делорье к своей матери.

Молодой человек не понравился г-же Моро. Ел он необычайно много, отказывался ходить по воскресеньям в церковь, рассуждал в республиканском духе, наконец, до нее дошел слух, что он водил ее сына в непотребные места. За ними стали следить. От этого мальчики еще больше прежнего привязались друг к другу, и когда на следующий год Делорье покинул коллеж и уехал в Париж изучать право, расставание было мучительным.

Фредерик рассчитывал там встретиться с ним. Они не

виделись уже два года; когда они кончили обниматься, то пошли к мостам, чтобы как следует наговориться.

Сын у отца потребовал отчета по опеке, и капитан, — он содержал теперь бильярдный зал в Вильноксе, — пришел в ярость и наотрез отказал ему в поддержке. Мечтая в будущем получить по конкурсу профессорскую кафедру, а сейчас вовсе не имея денег, Делорье поступил старшим клерком к адвокату в Труа. Он намеревался ценою всяческих лишений скопить четыре тысячи франков, и если ему даже ничего не достанется из материнского наследства, все же у него будут средства, чтобы спокойно заниматься в течение трех лет, в ожидании места. Значит, надо было отказаться, по крайней мере сейчас, от их давнего плана — вместе поселиться в столице.

Фредерик поник головой. Вот и рушилась первая его мечта.

— Утешься, — сказал сын капитана, — жить нам еще долго, мы молоды. Я к тебе приеду! Брось об этом думать!

Он потряс друга за руки и, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал расспрашивать о путешествии.

Фредерик мало что мог рассказать. Но при воспоминании о г-же Арну его печаль рассеялась. Он не стал говорить о ней — его удерживала стыдливость. Зато он распространялся об Арну: что тот говорил, какие у него манеры, какие связи; и Делорье настойчиво советовал ему поддерживать это знакомство.

Фредерик последнее время ничего не писал; его литературные взгляды изменились; он выше всего ставил страсть: Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие, менее замечательные персонажи восхищали его почти в равной мере. А порою ему казалось, что только музыка способна выразить его глубокое волнение; тогда он грезил симфониями; порою же его увлекал внешний облик предметов, и тогда ему хотелось быть живописцем. Впрочем, он сочинял и стихи; Делорье очень одобрил их, но не просил почитать еще.

Сам же он забросил метафизику. Теперь его занимали социальная экономия и французская революция. Он был высокий малый двадцати двух лет, худой, с большим ртом, решительный на вид. В тот вечер на нем было скверное люстриновое пальто, а башмаки его побелели от пыли, так как он пешком проделал весь путь от Вильнокса, только чтобы повидать Фредерика.

К ним навстречу шел Исидор. Г-жа Моро просит г-на Фредерика вернуться, она боится, как бы он не озяб, и посылает ему плащ.

— Да не торопись! — сказал Делорье.

И они продолжали ходить из конца в конец по обоим мостам, что ведут на остров, образуемый каналом и рекою.

Когда они поворачивали в сторону Ножана, прямо перед ними появлялись дома, спускающиеся по склону; направо, из-за лесопилен с закрытыми шлюзами, выступала церковь, налево же, окаймленные изгородью из кустарника, тянулись вдоль берега сады, которые лишь с трудом удавалось различить. А по направлению к Парижу дорога спускалась совершенно прямо, и луга уходили в даль, окутанную ночною мглой. Ночь была безмолвная, пронизанная беловатым сиянием. До них доходил запах влажной листвы. От запруженной реки, шагах в ста отсюда, доносился сильный и мягкий шум, похожий на звук прибоя в темноте.

Делорье остановился и сказал:

— Добрые люди мирно спят — вот забавно! Но терпение! Готовится новый восемьдесят девятый год. Мы устали от конституций, хартий, хитростей, всякой лжи. О, если бы у меня была своя газета или кафедра, как бы я все это потрянул! Но чтобы что-то предпринять, нужны деньги. Вот проклятье — быть сыном кабатчика и растрачивать молодость в погоне за куском хлеба!

Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в своем легком пальто.

Фредерик накинул ему на плечи половину своего плаща. Они закутались в него и, прижимаясь друг к другу, пошли рядом.

— Как же я буду жить там один, без тебя? — говорил Фредерик. (Горечь друга вновь пробудила в нем тоску.) — Я бы еще, пожалуй, сделал что-нибудь, будь со мной любящая женщина... Чему ты смеешься? Любовь — это пища и как бы атмосфера для таланта. Необычайные переживания порождают высокие творения. Но искать ту, которая мне нужна, — от этого я отказываюсь! Впрочем, даже если я когда-нибудь ее и найду, она меня оттолкнет. Я принадлежу к отверженным, я угасну, владея сокровищем и не зная, был ли то алмаз или бриллиант.

Чья-то тень легла на мостовую, и тотчас же они услышали:

— Мое почтение, господа!

Слова эти произнес маленький человечек в широком коричневом сюртуке и в фуражке, из-под козырька которой торчал острый нос.

— Господин Рокк? — сказал Фредерик.

— Он самый! — ответил голос.

Житель Ножана объяснил свое появление тем, что ходил осматривать волчьи капканы, расставленные им у себя в саду, у реки.

— Так вы вернулись в наши края? Прекрасно! Я это узнал от дочки. В добром здравии, надеюсь? Еще не скоро уезжаете?

И он удалился, недовольный, вероятно, тем, как его встретил Фредерик.

Госпожа Моро и в самом деле не поддерживала с ним знакомства; дядюшка Рокк находился в незаконном сожительстве со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был агентом по выборам и управляющим у г-на Дамбрёза.

— У банкира, что живет на улице Анжу? — спросил Делорье. — Знаешь, любезнейший, что ты должен был бы сделать?

Исидор во второй раз прервал их беседу. Ему велено непременно привести Фредерика. Г-жу Моро беспокоит его отсутствие.

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Делорье, — уж ночевать-то он придет домой. — И прибавил, когда слуга ушел: — Тебе надо бы попросить этого старика, чтоб он ввел тебя к Дамбрёзам; нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме! Раз у тебя есть черный фрак и белые перчатки — воспользуйся этим. Тебе следует бывать в таком обществе. Потом ты и меня туда введешь. Ведь это миллионер, подумай только! Постарайся понравиться ему, да и жене его тоже. Сделайся ее любовником!

Фредерик возмутился.

— Да ведь, кажется, я говорю тебе общеизвестные вещи? Вспомни хоть Растиньяка из «Человеческой комедии». Ты добьешься удачи, я уверен.

Фредерик питал такое доверие к Делорье, что даже растерялся, и, забывая о г-же Арну или мысленно применяя к ней то, что было сказано по поводу другой, не мог удержаться от улыбки.

Клерк прибавил:

— И последний мой совет: сдавай экзамены! Звание всегда пригодится. И брось ты своих католических и сатанических поэтов, которые в философии ушли не дальше, чем люди двенадцатого века. Твое отчаяние просто глупо. Самым великим людям еще труднее было начинать, — тому же Мирабо

хотя бы. Впрочем, расстанемся мы не на такой уж долгий срок. Мошенника отца я заставляю вернуть мою долю. Но мне пора идти, прощай! Нет ли у тебя ста су? Мне надо заплатить за обед.

Фредерик дал ему десять франков, остаток от тех денег, что он утром взял у Исидора.

В двадцати туазах от мостов, на левом берегу, в слуховом окне низенького дома блестел огонек.

Делорье заметил его. Сняв шляпу, он торжественным тоном сказал:

— Венера, властительница небес, привет тебе! Но Ниццета — мать Целомудрия. Чего о нас только не выдумывали по этому поводу, боже ты мой!

Намек на приключение, в котором участвовали они оба, их развеселил. Идя по улицам, они громко смеялись.

Потом, расплатившись в гостинице, Делорье проводил Фредерика до перекрестка у больницы, и друзья, после долгих объятий, расстались.

III

Прошло два месяца, и вот Фредерик, только утром приехавший в гостиницу на улице Цапли, первым делом решил отправиться с парадным визитом.

Случай ему благоприятствовал. Дядюшка Рокк принес ему сверток с бумагами и просил лично вручить их г-ну Дамбрёзу, а к свертку была приложена незапечатанная записка, в которой он рекомендовал своего молодого земляка.

Госпожу Моро это поручение как будто удивило. А Фредерик и виду не показал, как оно ему приятно.

Господин Дамбрёз был, собственно, графом д'Амбрёз, но с 1825 года, мало-помалу изменяя своему титулу и своему кругу, он обратился к промышленности, и вот, умея проводить обо всем, что творится в любой конторе, принимая участие в любом предприятии, подстерегая всякий благоприятный случай, он, хитрый, как грек, и трудолюбивый, как овернец, нажил, по слухам, значительное состояние; кроме того, он был кавалером Почетного легиона, членом генерального совета в департаменте Обы, депутатом и не сегодня-завтра — пэром Франции; будучи человеком услужливым, он надоедал министру непрерывными просьбами о пособиях, орденах, табачных привилегиях, а когда бывал недоволен властью, склонялся в сторону левого центра. Его жена, хорошенькая г-жа Дамбрёз,

имя которой встречалось в журналах мод, председательствовала в благотворительных обществах. Угождая герцогиням, она смягчала гнев аристократического предместья и давала повод думать, будто г-н Дамбрёз еще может исправиться и быть полезным.

Молодой человек, собираясь к ним, волновался.

— Лучше было бы надеть фрак. Меня, наверно, пригласят на бал на следующей неделе. Что-то мне скажут?

Мысль о том, что г-н Дамбрёз всего-навсего буржуа, вернула ему прежнюю уверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу.

Толкнув одну половину ворот, он перешел двор, поднялся на ступеньки подъезда и вступил в вестибюль, где пол был выложен пестрым мрамором.

Двойная прямая лестница, устланная красным ковром с медными прутьями, подымалась вдоль высоких стен, отделанных под мрамор. Внизу ее стояло банановое дерево; его широкие листья касались бархата перил. С двух бронзовых канделябров свисали на цепочках фарфоровые шары; через открытые отдушины калорифера проникал тяжелый нагретый воздух; и слышно было только тиканье больших часов, стоявших на другом конце вестибюля под развешанным на стене оружием.

Раздался звонок; появился лакей и провел Фредерика в маленькую комнату, где было два несгораемых шкафа и полки, заваленные папками. Г-н Дамбрёз писал, сидя за полукруглым бюро посередине комнаты.

Он пробежал письмо дядюшки Рокка, вскрыл перочинным ножом холст, в который были зашиты бумаги, и стал просматривать их.

Тонкий и стройный, он издали мог бы сойти за человека еще молодого. Но его редкие седые волосы, хилое тело, а главное, необычайно бледное лицо говорили о расшатанном здоровье. В серо-зеленых глазах, холодных, как стекло, таилась неумолимая энергия. Скулы у него были широкие, суставы на пальцах узловатые.

Наконец он встал и задал молодому человеку несколько вопросов об общих знакомых, о Ножане, о его занятиях; потом легким поклоном дал понять, что не задерживает его. Фредерик вышел другим ходом и очутился в конце двора, около каретных сараев.

Перед подъездом стояла синяя двухместная карета, запряженная вороной лошадью. Дверцу открыли, в экипаж села дама, и он с глухим стуком покатил по песку.

Фредерик оказался у ворот, к которым подошел с другой стороны, в одно время с каретой. Проезд был недостаточно широк, и ему пришлось пропустить ее. Молодая женщина, высунувшись в окошко, тихо что-то сказала привратнику. Фредерик видел ее спину, покрытую фиолетовой накидкой. Но она исчезла внутри кареты, обитой голубым репсом с кистями и шелковой бахромой. Там все заполнял собою наряд дамы; из этой маленькой стеганой шкатулки веяло запахом ириса и как бы смутным благоуханием женской изысканности. Кучер отпустил поводья, лошадь рванула, задела за тумбу, и все скрылось.

Фредерик возвращался пешком по бульварам.

Он жалел, что не мог разглядеть г-жу Дамбрёз.

Уже миновав улицу Монмартр, он повернул голову, привлеченный скоплением экипажей, и на противоположной стороне, прямо против себя, прочитал надпись на мраморной доске:

Ж А К А Р Н У

Как это он раньше не подумал о ней? Во всем виноват Делорье. И Фредерик подошел к лавке; однако не вошел; он ждал, не появится ли она.

В большие зеркальные окна были видны искусно размещенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги, номера «Художественной промышленности», а условия подписки повторялись и на двери, украшенной посередине инициалами издателя. Вдоль стен расставлены были большие картины, блестевшие лаком, а в глубине находились две горки с фарфором, бронзой, соблазнительными и занятными вещами; в промежутке между ними начиналась маленькая лестница с триповой портьерой наверху, у выхода на площадку; а люстра старинного саксонского фарфора, зеленый ковер на полу, стол с инкрустацией придавали всему заведению вид скорее гостиной, чем магазина.

Фредерик притворился, будто разглядывает рисунки. После бесконечных колебаний он вошел.

Приказчик откинул портьеру и сообщил, что хозяин не будет «в магазине» до пяти часов. Но если какое поручение, можно передать...

— Нет, я зайду еще, — скромно ответил Фредерик.

Следующие дни он занимался поисками квартиры; свой выбор он остановил на помещении в третьем этаже меблированных комнат на улице Святого Гиацинта.

С новеньким бюваром под мышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей без шляп наполняли аудиторию, устроенную амфитеатром, а старец в красной мантии излагал что-то монотонным голосом; по бумаге скрипели перья. Здесь был тот же запах пыли, что и в классах коллежа, стояла такая же кафедра, царила та же скука! Целых две недели Фредерик ходил сюда. Но не успели еще коснуться и третьей статьи, как он бросил Гражданский кодекс, а с институтциями расстался на *Summa divisio personarum*¹.

Радости, на которые он надеялся, не приходили, и вот, исчерпав все запасы одной из библиотек, бегло осмотрев Лувр и несколько раз подряд побывав в театре, он впал в совершеннейшую праздность.

Тысячи мелочей, до сих пор неизвестных, усугубляли его тоску. Ему приходилось считать белье и терпеть присутствие привратника, невежи с повадками больничного служителя, от которого так и несло алкоголем, когда он с бесконечной воркотней являлся по утрам, чтобы оправить постель. Да и самая комната, украшенная алебастровыми часами, не нравилась Фредерику. Стены были тонкие; он слышал, как студенты варят пунш, смеются, поют.

Устав от одиночества, он решил разыскать одного из своих прежних товарищей — Батиста Мартинона и нашел его в буржуазном пансионе на улице Сен-Жак, где тот у горящего камина зубрил судопроизводство.

Против него сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки.

Мартинон был, что называется, красавец мужчина: высокий, круглолицый, с правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами навывкате; его отец, крупный землевладелец, предназначал сына для судейской карьеры, и Мартинон, уже теперь желая казаться солидным, отпустил окладистую бороду.

Так как уныние Фредерика не имело никакой серьезной причины, то его сетования на жизнь остались непонятны Мартинону. Сам он каждое утро посещал лекции, потом гулял в Люксембургском саду, вечером выпивал в кофейной полпорции кофе и, имея полторы тысячи франков в год, наслаждаясь любовью простой мастерицы, считал себя вполне счастливым.

«Что за счастье!» — мысленно воскликнул Фредерик.

¹ Основное разделение лиц (субъектов Гражданского права) (лат.).

В университете же он завел другое знакомство — с г-ном де Сизи, отпрыском знатного рода, приятностью манер напоминавшим девицу.

Господин де Сизи занимался рисованием, увлекался готикой. Несколько раз они вместе ходили любоваться Капеллой и собором Богоматери. Но изысканность молодого патриция скрывала ум самый убогий. Все поражало его; он долго смеялся малейшей шутке и выказывал наивность столь полную, что сперва Фредерик принимал его за шутника, а под конец увидел, что он глуп.

Итак, излить душу было некому; и он все еще ждал приглашения от Дамбрёзов.

На Новый год он послал им визитные карточки, но от них не получил ничего.

Он опять зашел в «Художественную промышленность».

Он зашел туда и в третий раз и застал наконец Арну, который о чем-то спорил, окруженный пятью-шестью посетителями, и едва ответил на его поклон; Фредерика это обидело. Тем не менее он продолжал искать средства, как бы проникнуть к ней.

Сперва он задумал почаще приходить и прицениваться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей, «да порезче», чтобы таким способом завязать отношения. Может быть, лучше всего прямо пойти к цели, признаться в любви? И он сочинил письмо в двенадцать страниц, полное лирических порывов и риторических обращений, но разорвал его и ничего не сделал, ничего не предпринял, скованный боязнью неудачи.

Над магазином Арну, во втором этаже, было три окна, где по вечерам всегда горел свет. Там двигались тени, особенно одна — ее тень; и он проделывал длинный путь, лишь бы взглянуть на эти окна и посмотреть на эту тень.

Как-то раз в Тюильри ему повстречалась негритянка, которая вела за руку маленькую девочку; она напомнила ему негритянку г-жи Арну. Она, должно быть, как и другие, тоже бывает здесь; и всякий раз, как он проходил через Тюильри, сердце его билось надеждой увидеть ее. В солнечные дни он продолжал свои прогулки вплоть до Елисейских полей.

Небрежно откинувшись в колясках, чуть покачиваясь, проезжали мимо него женщины с развевающимися от ветра вуалями; мерно двигались лошади, блестящая кожа сидений поскрипывала. Экипажей становилось все больше; начиная от Круглой площадки, они замедляли движение и запружали всю

дорогу — грива к гриве, фонарь к фонарю; стальные стремяна, серебряные уздечки, медные пряжки то тут, то там выделялись блестящими точками среди мельканья рейтузов, белых перчаток и мехов, которые свешивались на гербы, украшавшие дверцы карет. Он чувствовал себя словно затерянным среди какого-то чуждого мира. Его глаза, блуждая, следили за женскими головками, и даже смутные черты сходства вызвали в его памяти г-жу Арну. Он представлял себе, как она, среди толпы других, сидит в одной из этих маленьких карет, похожих на карету г-жи Дамбрёз. Но солнце заходило, и холодный ветер поднимал облака пыли. Кучера прятали подбородки в воротники, колеса вертелись быстрее, макадамовая мостовая скрипела; и все экипажи мчались по длинной аллее, друг друга задевая, обгоняя, друг от друга удаляясь, а потом, на площади Согласия, разъезжались в разные стороны. За Тюильри небо окрашивалось в аспидный цвет. Деревья сада сливались в два огромных массива; вершины их еще лиловели. Зажигались газовые рожки, а Сена, зеленевшая на всем своем протяжении, покрывалась у мостовых быков серебристой рябью.

Фредерик ходил обедать по абонементу за сорок три су в ресторан на улице Лагарпа.

Он с пренебрежением смотрел на старую стойку красного дерева, на грязные салфетки, на неопрятное серебро и на шляпы, висевшие на стене. Его окружали студенты, такие же, как он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о своих любовницах. Какое ему дело до профессоров? И разве у него есть любовница? Избегая их веселого общества, он приходил как можно позже. Со столов еще не были убраны объедки. Оба лакея, усталые, дремали в углу, и запах кухни, ламп и табака наполнял опустевшую комнату.

Потом он медленно возвращался. Покачивались фонари, на лужах дрожали длинные желтоватые отсветы. Вдоль тротуаров скользили тени под зонтиками. На мостовой было грязно, опускалась мгла, и ему казалось, что этот безграничный сырой мрак, окутывая его, обволакивает и его душу.

Дали себя знать угрызения совести. Он опять стал ходить на лекции. Но так как из того, что уже объяснялось раньше, он ничего не знал, то даже самые простые вещи затрудняли его.

Он начал писать роман под заглавием «Сильвио, сын рыбака». Дело происходило в Венеции. Героем был он сам, героиней — г-жа Арну. Называлась она Антония, и, чтобы овладеть ею, он убивал несколько дворян, сжигал часть города и

пел под ее балконом, где развевались от дуновения ветерка красные штофные занавески, как на бульваре Монмартр. Совпадения с действительностью, слишком уж частые, совсем смутили его, когда он их заметил; он не стал продолжать, и бездействие его еще усилилось.

Тогда он стал умолять Делорье приехать и поселиться вместе с ним. Они устроятся и сумеют прожить на две тысячи франков, получаемые им на содержание; все лучше, чем эта нестерпимая жизнь. Делорье еще не мог уехать из Труа. Он рекомендовал Фредерику развлекаться и посещать Сенекаля.

Сенекаль был учитель математики, человек великого ума и республиканских убеждений, будущий Сен-Жюст, по словам клерка. Фредерик три раза поднимался к нему на шестой этаж, но визит ему так и не был отдан. Больше он туда не пошел.

Ему захотелось развлечься. Он стал ходить на балы Оперы. Не успевал он войти, как это бурное веселье обдавало его холодом. К тому же его удерживали и опасения меркантильного свойства, так как он воображал, будто ужин с маской требует огромных расходов и представляет собой рискованное похождение.

А между тем ему казалось, что его должны любить. Порою он просыпался, полный надежд, тщательно одевался, точно готовясь к свиданию, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. Каждый раз, завидев женщину, шедшую впереди или приближавшуюся ему навстречу, он говорил себе: «Вот она!» — и каждый раз это было новое разочарование. Мысль о г-же Арну еще усиливала его вожделения. Он, может быть, встретит ее на своем пути; мечтая приблизиться к ней, он рисовал в своем воображении странные стечения обстоятельств, необыкновенные опасности, от которых он ее спасет.

А дни протекали все с тем же скучным однообразием, в кругу заведенных привычек. Он перелистывал брошюры под аркадами Одеона, ходил в кафе читать «Ревю де Де Монд», заходил на час в какую-нибудь из аудиторий Французского коллежа — послушать лекцию о китайском языке или о политической экономии. Каждую неделю он писал пространные письма Делорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда встречался с г-ном де Сизи.

Он взял напрокат рояль и стал сочинять вальсы в немецком духе.

Однажды вечером в театре Пале-Рояль он в одной из литерных лож заметил Арну и рядом с ним женщину. Она ли

это? Экран из зеленой тафты на барьере ложи закрывал ее лицо. Наконец занавес поднялся, экран убрали. Это была особа высокого роста, лет тридцати, уже поблекшая, с толстыми губами; когда она смеялась, открывался ряд великолепных зубов. Она фамильярно разговаривала с Арну и похлопывала его веером по пальцам. Потом показалась белокурая девушка с красноватыми, словно от слез, веками и села между ними. Теперь Арну склонился к ее плечу, что-то ей говорил, она слушала и не отвечала. Фредерик изощрялся в догадках, кто такие эти женщины, одетые в простые темные платья с гладкими отложными воротничками.

Когда представление окончилось, он поспешил в коридоры. Толпа заполняла их. Арну впереди него медленно спустился по лестнице, держа под руку обеих женщин.

Вдруг на него упал свет газового рожка. На его шляпе был креп. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой же день он побежал в «Художественную промышленность», наскоро выбрал одну из гравюр, выставленных на витрине, и, расплачиваясь, спросил приказчика, как чувствует себя г-н Арну.

Приказчик ответил:

— Превосходно.

Фредерик, бледнея, задал и второй вопрос:

— А госпожа Арну?

— Госпожа Арну — тоже.

Фредерик даже забыл взять гравюру.

Зима кончилась. Весной ему было не так тоскливо, он стал готовиться к экзамену и, выдержав его посредственно, сразу же уехал в Ножан.

В Труа, к своему другу, он не наведлся, чтобы не дать матери повода к замечаниям. По возвращении в Париж он отказался от прошлогодней квартиры, нанял на набережной Наполеона две комнаты и обставил их. Он уже не надеялся на приглашение к Дамбрёзам; великая страсть к г-же Арну начинала угасать.

IV

Однажды декабрьским утром, когда он шел на лекцию по судопроизводству, ему показалось, что на улице Сен-Жак больше оживления, чем обычно. Студенты стремительно выходили из кафе, другие перекликались в открытые окна своих квартир; лавочники, вышедшие на тротуар, с беспокойством гля-

дели по сторонам; закрывались ставни; а когда он попал на улицу Суффло, то увидел огромную толпу, окружавшую Пантеон.

Молодые люди, кучками от пяти до двенадцати человек, прогуливались, взявшись под руки, и подходили к стоявшим тут и там группам, более многочисленным; в конце площади, у решетки, о чем-то с жаром рассуждали люди в блузах, а полицейские в треуголках набекрень, заложив руки за спину, шагали вдоль стен, звонко ступая тяжелыми сапогами по каменным плитам. Вид у всех был таинственный и недоумевающий; чего-то явно ждали; у каждого на языке так и вертелся вопрос, от которого приходилось воздерживаться.

Фредерик стоял подле молодого благообразного блондина с усами и бородкой, какие носили щеголи времен Людовика XIII. Фредерик спросил его о причине беспорядков.

— Ничего не знаю, — ответил тот, — да и сами они не знают! Теперь у них так принято! Потеха!

И он расхохотался.

Петиции о реформе, распространяемые среди национальной гвардии для сбора подписей, перепись Юмана и другие события уже целых полгода вызывали в Париже непонятные сборища; и повторялись они столь часто, что газеты даже перестали о них упоминать.

— Нет у них ни запала, ни своего лица, — продолжал сосед Фредерика. — Сдается мне, милостивый государь, что мы вырождаемся. В доброе время Людовика Одиннадцатого и даже во времена Бенжамена Констана среди школяров больше было вольнолюбия. Теперь они, по-моему, смиренны, как овечки, глупы, как пробки, и годны, прости господи, лишь в бакалейщики. И это еще называют студенчеством!

Он сделал широкий жест руками, совсем как Фредерик Леметр в роли Робера Макэра.

— Студенчество, благословляю тебя!

Затем, обратившись к тряпичнику, перебиравшему раковины от устриц подле тумбы у винной лавки, спросил:

— А ты тоже принадлежишь к студенчеству?

Старик поднял безобразное лицо, все покрытое седой щетиной, среди которой выделялись красный нос и бессмысленные пьяные глаза.

— Нет, ты, как мне кажется, скорее *из тех, кому не миновать виселицы и кто, снуя в народе, полными пригоршнями сыплет золото...* О! Сыпь, патриарше, сыпь! Подкупай меня со-

кровищами Альбиона! Are you English? ¹ Я не отвергаю даров Артаксеркса! Однако потолкуем о таможенном союзе.

Фредерик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо; он обернулся. Это был Мартинон, страшно бледный.

— Ну вот,— сказал он, глубоко вздохнув,— опять бунт!

Он боялся навлечь на себя подозрения и очень сокрушался. Особенно тревожили его люди в блузах, будто бы принадлежавшие к тайным обществам.

— Да разве существуют тайные общества? — сказал молодой человек с усами.— Это все старые сказки, которыми правительство запугивает буржуа!

Мартинон попросил его говорить потише, так как опасался полиции.

— Так вы еще верите в полицию? А, в сущности, почему знать, сударь, может быть, я и сам сыщик?

И он с таким видом посмотрел на Мартинона, что тот, перепугавшись, сперва не понял шутки. Толпа оттеснила их, и всем троим пришлось стать на лесенке, ведущей к коридору, за которым находилась новая аудитория с амфитеатром.

Вскоре толпа раздалась сама собой; некоторые сняли шляпы; они приветствовали знаменитого профессора Самюэля Ронделю — в широком сюртуке, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб; страдая от одышки, он медленно шел читать лекцию. Это был один из тех, кто в области права составлял гордость XIX века, соперник Цахариев и Рудорфов. Удостоившись недавно звания пэра Франции, он ни в чем не изменил своих привычек. Было известно, что он беден, и все относились к нему с большим уважением.

Между тем в конце площади раздались голоса:

— Долой Гизо!

— Долой Притчарда!

— Долой предателей!

— Долой Луи-Филиппа!

Толпа пришла в движение и, стеснившись у закрытых ворот во двор, не давала профессору пройти. Он остановился у лестницы. Вскоре он показался на третьей, верхней ступени. Он что-то начал говорить; толпа загудела, заглушая его слова. Только что он был любим, а теперь его уже ненавидели, ибо он представлял собою власть. Всякий раз, как он пытался заговорить громче, крики начинались опять. Он сделал широкий жест, предлагая студентам следовать за ним. Ответом был об-

¹ Вы англичанин? (англ.)

щий рев. Профессор презрительно пожал плечами и исчез в коридоре. Мартинон воспользовался случаем и скрылся в одно время с ним.

— Этаким трус! — сказал Фредерик.

— Осторожный! — ответил молодой человек.

Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было ее победой. Из всех окон выглядывали любопытные. Некоторые запевали «Марсельезу», другие предлагали идти к Беранже.

— К Лаффиту!

— К Шатобриану!

— К Вольтеру! — заорал белокурый молодой человек с усами.

Полицейские старались проложить себе дорогу и говорили как можно мягче:

— Расходитесь, господа; расходитесь по домам!

Кто-то крикнул:

— Долой убийц!

Со времени сентябрьских волнений это стало обычным бранным словом. Все подхватили его. Блюстителям общественного порядка гикали, свистали; они побледнели; один из них не выдержал и, увидев низенького подростка, подошедшего слишком близко и смеявшегося ему прямо в лицо, оттолкнул его с такой силой, что тот, отлетев шагов на пять, упал навзничь у лавки виноторговца. Все расступились; но почти тотчас же покатился и сам полицейский, сбитый с ног каким-то геркулесом, волосы которого торчали из-под клеенчатой фуражки, точно свалившаяся пакля.

Тот уже несколько минут стоял на углу улицы Сен-Жак; быстро освободившись от широкой картонки, которую нес, он бросился на полицейского и, подмяв его под себя, изо всей силы принялся барабанить кулаками по его физиономии. Подбежали другие полицейские. Страшный детина был так силен, что для его укрощения потребовалось не менее четырех человек. Двое трясли его за шиворот, двое тащили за руки, пятый коленкой пинал его в зад, и все они ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком, а он, растерзанный, с обнаженной грудью, в одежде, от которой висели клочья, уверял, что не виноват; не мог он хладнокровно смотреть, как бьют ребенка.

— Меня зовут Дюссардьё. Служу у братьев Валенсар, в магазине кружев и мод, на улице Клеры. Где моя картонка? Отдайте мне картонку! Он все твердил: «Дюссардьё!.. С улицы Клеры! Отдайте картонку».

Однако же он смирился и стоически дал увести себя в участок на улицу Декарта. Вслед ему устремился целый поток. Фредерик и усатый молодой человек шли непосредственно за ним, восхищаясь этим приказчиком, негодуя на насилие власти.

Но по мере того как они приближались к цели, толпа рассеивалась.

Полицейские время от времени оборачивались с самым свирепым видом, а так как буянам больше нечего было делать, зевакам не на что смотреть, все мало-помалу разбрелось. Встречные прохожие разглядывали Дюссардые и вслух делали оскорбительные замечания. Какая-то старуха даже крикнула со своего порога, что он украл хлеб; эта несправедливость еще усилила раздражение обоих приятелей. Наконец дошли до кордегардии. Оставалось всего человек двадцать. Стоило им увидеть солдат, как разбежались и они.

Фредерик и его товарищ смело потребовали освобождения арестованного. Полицейский пригрозил им, что, если они будут упорствовать, их тоже посадят. Они вызвали начальника, объявили свои фамилии и сказали, что они студенты-юристы, уверяя, что и задержанный их коллега.

Их ввели в совершенно пустую комнату с неоштукатуренными закопченными стенами, вдоль которых стояли четыре скамьи. В задней стене открылось окошечко. Показались огромная голова Дюссардые, его всклокоченные вихры, маленькие доверчивые глазки, приплюснутый нос, — черты, чем-то напоминавшие морду добродушного пса.

— Не узнаешь нас? — сказал Юссонэ. Так звали молодого человека с усами.

— Но... — пробормотал Дюссардые.

— Брось дурака валять! — продолжал тот. — Ведь известно, что ты студент-юрист, так же как и мы.

Несмотря на их подмигиванья, Дюссардые ничего не соображал. Он как будто хотел собраться с мыслями, потом вдруг спросил:

— Нашли мою картонку?

Фредерик, совсем отчаявшись, возвел глаза к потолку. А Юссонэ ответил:

— А! Папку с записями лекций? Да, да, успокойся!

Они еще усерднее принялись делать ему знаки. Дюссардые понял наконец, что они пришли ему помочь, и замолчал, боясь невольно выдать себя. К тому же его смущало, что его возвышают до звания студента и приравнивают к молодым людям, у которых такие белые руки.

— Хочешь кому-нибудь что-либо передать?

— Нет, благодарствуйте, никому!

— А родным?

Он опустил голову и не ответил; бедняга был подкидыш. Приятели не могли понять причины молчания.

— Есть у тебя что курить? — опять спросил Фредерик.

Тот пощупал у себя в кармане, потом извлек из него обломки трубки, прекрасной пенковой трубки с чубуком черного дерева, серебряной крышкой и мундштуком из янтаря.

Он три года трудился, чтобы довести ее до совершенства. Он всегда держал ее в замшевом футляре, курил как можно медленнее, никогда не клал ее на мрамор и каждый вечер вешал у изголовья своей постели. Теперь он потряхивал осколки в руке, из-под ногтей его сочилась кровь; он опустил голову на грудь и, раскрыв рот, остановившимся, невыразимо печальным взглядом созерцал то, что осталось от его утех.

— Дать ему сигар? А? — шепотом спросил Юссонэ, делая жест, как будто хочет их достать.

Фредерик уже успел положить на окошечко полный порт-сигар.

— Бери! И до свиданья! Не унывай!

Дюссардье схватил протянутые ему руки. Он вне себя сжимал их, голос его прерывался от слез.

— Как?.. Это мне!.. Мне!

Приятели, чтобы избежать его благодарности, удалились и вместе пошли завтракать в кафе «Табурэ», против Люксембургского сада.

Разрезая бифштекс, Юссонэ сообщил своему спутнику, что он сотрудничает в журналах мод и сочиняет рекламы для «Художественной промышленности».

— У Жака Арну? — спросил Фредерик.

— Вы его знаете?

— Да... То есть нет... То есть я видал его, познакомился с ним.

Он небрежным тоном спросил Юссонэ, встречается ли тот с его женой.

— Иногда, — отвечал сотрапезник.

Фредерик не решился продолжать расспросы; человек этот занял теперь в его жизни огромное место; когда позавтракали, Фредерик заплатил по счету, что не вызвало никаких возражений со стороны Юссонэ.

Симпатия была взаимная; они обменялись адресами, и Юссонэ дружески пригласил его пройтись с ним до улицы Флерюс.

Они находились посреди сада, когда сотрудник Арну, задержав дыхание, вдруг состроил отчаянную гримасу и закричал петухом. И все петухи по соседству ответили ему протяжными «ку-ка-ре-ку».

— Это условный знак, — сказал Юссонэ.

Они остановились около театра Бобино, перед домом, к которому вел узкий проход. На чердаке в окошечке, между настурцией и душистым горошком, показалась молодая женщина, простоволосая, в корсете; она опиралась обеими руками на водосточный желоб.

— Здравствуй, ангел мой, здравствуй, детка! — Юссонэ посылал ей воздушные поцелуи.

Он ногой толкнул калитку и скрылся.

Фредерик ждал его целую неделю. Он не решался идти к нему сам, чтобы не подать вида, будто ему не терпится получить ответное приглашение на завтрак; но он исходил весь Латинский квартал в надежде встретиться с ним. Как-то вечером он столкнулся с Юссонэ и привел его к себе в комнату на набережной Наполеона.

Беседа была продолжительной; они разговаривали по душам, Юссонэ мечтал о театральной славе и театральных доходах. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, «имел массу планов», придумывал куплеты, некоторые из них пропел. Потом, заметив на этажерке книгу Гюго и томик Ламартина, разразился сарказмами по поводу романтической школы. Эти поэты не обладают ни здравым смыслом, ни даром правильной речи, и не французы они — вот что главное! Он хвалился знанием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, которой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве.

Фредерик был оскорблен в своих пристрастиях; ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему не рискнуть сразу заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Арну.

Это не представляло трудностей, и они условились на следующий день.

Юссонэ не пришел в назначенное время; затем обманул еще три раза. Явился он однажды в субботу, около четырех часов. Но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у Французского театра, где должен был получить билет в ложу, заехал к портному, к белошвейке, писал в швейцарских записки. Наконец они прибыли на бульвар Монмартр.

Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его, увидав в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку.

В тесной комнате с одним окном во двор столпилось человек пять-шесть; у задней стены в алькове, между двумя портьерами коричневого штофа, был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии,— два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, так и не снимавший шляпы, и читал газету; стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами или эскизами современных мастеров, с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Арну.

— Как живете? — спросил он, обернувшись к Фредерику. И, прежде чем тот успел ответить, шепотом спросил Юссонэ: — Как зовут вашего приятеля? — Потом — опять вслух: — Возьмите сигару, там, на этажерке, в коробке.

«Художественная промышленность», находившаяся в центре Парижа, была удобным местом для встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрё, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Сомбаза, скульптора Вурдэ, кой-кого еще; и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи — вольные. Мистик Ловариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в омнибусе.

Речь шла вначале о некой Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бюрё будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юссонэ объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей.

— Здорово этот молодчик знает парижских девчонок! — сказал Арну.

— Если что останется после вас, ваше величество, — ответил шалун, отдавая честь на военный лад, в подражание гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги.

Потом зашел спор о нескольких полотнах, где моделью служила голова Аполлонии. Подверглись критике отсутствующие собраты. Удивлялись высоким ценам на их произведения, и все начали жаловаться, что зарабатывают недостаточно, как

вдруг вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну пуговицу; глаза у него были живые, а вид полубезумный.

— Этакie вы мещане! — воскликнул он. — Ну что же из того, помилуйте! Старики, создавшие шедевры, не думали о каких-то миллионах. Корреджо, Мурильо...

— А также Пеллерен, — вставил Сомбаз.

Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему:

— Моя жена рассчитывает на вас в четверг. Не забудьте!

Эти слова вернули Фредерика к мысли о г-же Арну. В квартиру, наверно, проходят через комнатку, что за диваном? Арну, которому нужно было взять носовой платок, только что отворял туда дверь; у задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание; оно исходило от субъекта, читавшего газету. Ростом он был пяти футов девяти дюймов, сидел, полузакрыв глаза, волосы у него были седые, вид величавый, и звали его Режембар.

— Что такое, гражданин? — спросил Арну.

— Еще новая низость со стороны правительства!

Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя. Пеллерен снова стал проводить параллель между Микеланджело и Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил ему две ассигнации. Юссонэ счел момент благоприятным.

— Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон?..

Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид.

— Ну и хороши же вы, дядюшка Исаак! Обесценены, пропали три картины. Все на меня плюют! Теперь все их знают! Что прикажете с ними делать? В Калифорнию, что ли, их отослать?.. Да к чертям! Замолчите!

Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказывался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах, с бакенбардами и в белом галстуке.

Опершись локтем на оконную задвижку, он долго и вкрадчиво что-то говорил ему. А потом разразился:

— Ах, граф, для меня ничего не составляет достать посредника.

Дворянин смирился, Арну вручил ему двадцать пять луидоров, а как только тот ушел, воскликнул:

— И несносные же они, эти знатные господа!

— Все они дрянь! — пробормотал Режембар.

По мере того как время шло, дела у Арну становилось все больше; он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги; на стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и, продолжая водить по бумаге стальным пером, отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день уехать в Бельгию.

Прочие беседовали о всяких злободневных вещах: о портрете Керубини, о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пеллерен ругал Институт. Сплетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман.

Дверь около дивана отворилась, вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платье звякали все брелоки ее часов.

Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом мельком видел в Пале-Рояле. Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юссонэ вырвал наконец у Арну пятьдесят франков; часы пробили семь; все стали расходиться.

Арну предложил Пеллерену подождать, а сам увел м-ль Ватназ в туалетную комнатку.

Фредерик не слышал их слов: говорили они шепотом. Но вдруг женский голос зазвучал громче:

— Полгода как дело сделано, а я все жду!

Наступило долгое молчание, м-ль Ватназ вновь появилась. Арну опять пообещал ей что-то.

— Ну-ну! Еще посмотрим!

— Прощайте, счастливый человек! — сказала она, уходя.

Арну быстро вернулся в туалетную комнату, почернил усы, поправил подтяжки, чтобы туже натянулись штрипки, и, моя руки, сказал:

— Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре Буше. Можно рассчитывать?

— Идет, — ответил, покраснев, художник.

— Хорошо! И не забывайте мою жену!

Фредерик проводил Пеллерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения время от времени его навещать; согласие было любезно дано.

Пеллерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию Прекрасного, так как был убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами; и, терзаясь, искал; он винил погоду, нервы, свою мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, которая должна была быть еще прекраснее. И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в спорах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дожился до пятидесяти лет, не создав ничего, кроме набросков. Непоколебимая гордость не позволяла ему унывать, но он всегда был чем-нибудь раздражен и вечно находился в том искусственном и все же неподдельном возбуждении, которое отличает актеров.

Когда вы входили к нему, первым делом бросались в глаза две большие картины, на которых коричневые, красные и синие мазки выделялись пятнами на фоне белого холста. Все это было покрыто целой сетью линий, начерченных мелом и беспорядочно сплетавшихся вновь и вновь, — в сущности ничего нельзя было понять. Пеллерен объяснил содержание этих двух композиций, намечая большим пальцем еще недостающие части. Одна из картин должна была изображать «Безумие Навуходоносора», другая — «Рим, сжигаемый Нероном». Фредерик пришел от них в восхищение.

Он был в восхищении и от этюдов женщин с распущенными волосами, и от пейзажей, на которых во множестве встречались искривленные бурей стволы, но главное — от набросков пером в манере Калло, Рембрандта или Гойи; в оригинале он их не знал. Пеллерен относился пренебрежительно к этим работам своей молодости; теперь он стоял за высокий стиль; он пустился в красноречивые рассуждения о Фидии и Винкельмане. Предметы, окружавшие его, еще усиливали впечатление от его слов: здесь можно было увидеть череп на аналое, несколько ятаганов, монашескую рясу; Фредерик однажды ее надел.

Когда он приходил рано, то заставлял Пеллерена в походной кровати, неудобной, покрытой рваным ковром: Пеллерен ложился поздно, так как усердно посещал театры. Прислуживала ему старуха в лохмотьях, обедал он в кухмистерской и жил без любовницы. Благодаря познаниям, приобретенным где попало, парадоксы его были забавны. Ненависть ко всему заурядному и мещанскому прорывалась у него наружу сарказмами, полными великолепного лиризма, а к мастерам он чув-

ствовал такое благоговение, которое и его почти что возвышало до них.

Но почему он никогда не говорил о г-же Арну? Что до ее мужа, то порою он называл его славным малым, порою — шарлатаном. Фредерик ждал, когда он начнет откровенничать.

Однажды, перелистывая рисунки в одной из его папок, Фредерик в портрете какой-то цыганки нашел нечто общее с м-ль Ватназ, а так как эта особа его интересовала, он решил спросить, кто она такая.

Прежде она, насколько знал Пеллерен, была учительницей в провинции; теперь дает уроки и пытается писать в маленьких газетах.

Судя по ее обращению с Арну, можно было — так думалось Фредерику — счесть ее за его любовницу.

— Э, какое там! С него довольно и других!

Тогда молодой человек, отвернув лицо, покрывшееся краской стыда от гнусной догадки, которую он решил высказать, развязно спросил:

— Жена отвечает ему, верно, тем же?

— Ничуть не бывало! Она порядочная женщина!

Фредерик почувствовал угрызения совести и еще усерднее стал посещать редакцию.

Большие буквы, из которых на мраморной доске над магазином складывалась фамилия Арну, казались ему совершенно особенными и полными значения, словно священные письма. По широкому покатоу тротуару идти было легко, дверь открывалась почти сама собой, а ручка ее, гладкая на ощупь, казалось, наделена была мягкостью и чуткостью, словно живая рука, которую он сжимает в своей. Он незаметно стал приходить с такой же точностью, как Режембар.

Каждый день Режембар садился в свое кресло у камина, брал «Насьональ», уже не отрывался от него и мысль свою выражал каким-нибудь восклицанием или же просто пожимал плечами. Время от времени он вытирал лоб скрученным в спираль носовым платком, который висел у него на груди между двумя пуговицами зеленого сюртука. Панталоны у него были со складками, он носил полусапожки и длинный галстук, а по шляпе с загнутыми полями его легко можно было узнать в толпе.

В восемь часов утра он спускался с высот Монмартра и заходил на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар выпить белого вина. Его завтрак, за которым следовало несколько партий на бильярде, длился часов до трех. Тогда он направлялся к пассажиу

Панорамы выпить абсента. После пребывания у Арну он заходил в «Бордоский кабачок» выпить вермута; затем, вместо того чтобы вернуться к жене домой, он часто предпочитал пообедать в одиночестве, в маленьком кафе на площади Гайон, где заказывал «домашние блюда, что-нибудь попроще!». Напоследок он еще перебирался в какую-нибудь бильярдную и просиживал там до двенадцати, до часу ночи, до тех пор, пока не тушили газ и не запирали ставни и хозяин заведения, уже изнемогавший, не умолял его уйти.

Но не любовь к выпивке привлекала в подобные места гражданина Режембара, а давняя привычка к политическим разговорам; однако с годами пыл его угас, он хранил угрюмое молчание. По серьезности его лица можно было подумать, что он весь поглощен мировыми вопросами. Его мысль никак не проявлялась, и никто, даже его друзья, не знали, занимается ли он чем-нибудь, хоть он и говорил, будто у него деловая контора.

Арну, казалось, питал к нему беспредельное уважение. Однажды он сказал Фредерику:

— Он-то все знает, уж будьте покойны! Светлая голова!

Как-то в другой раз Режембар разложил на конторке бумаги, касавшиеся залежей фарфоровой глины в Бретани; Арну не сомневался в его опытности.

Фредерик стал еще более учтив с Режембаром — настолько, что время от времени угощал его абсентом, и хотя считал его глупым, нередко целые часы проводил в его компании — потому только, что тот был другом Жака Арну.

Торговец картинами, которому привелось помочь кое-кому из современных художников при первых их шагах, как человек передовой старался увеличить свои доходы и сохранял в то же время артистические замашки. Он стремился к раскрепощению искусства, к прекрасному по дешевой цене. Все виды парижской промышленности, вырабатывающей предметы роскоши, испытали на себе его влияние, благотворное для мелочей и пагубное для всего значительного. Подлаживаясь изо всех сил под вкус большинства, он сбивал с пути искусных художников, развращал одаренных, выжимал последние соки из слабых и прославлял посредственных; он держал их в руках благодаря своим связям и своей газете. Всякие бездарности жаждали видеть свои картины в витрине Арну, обойщики брали у него рисунки мебели. Фредерик видел в нем и миллионера, и любителя искусств, и дельца. Все же многое удивляло его, — слишком уж господин Арну был ловок в торговых делах.

Так, из Германии или Италии ему присылали картину, купленную в Париже за полторы тысячи франков, и он, предъявляя на нее накладную в четыре тысячи, перепродавал из любезности за три с половиной. Одна из обычных его проделок состояла в том, что он требовал от художников в придачу к купленной картине небольшую копию под тем предлогом, будто собирается сделать с нее гравюру; копию он всегда продавал, а гравюра никогда не появлялась. Того, кто жаловался, что это эксплуатация, он только похлопывал по животу. Он был, впрочем, превосходный малый, не жалел сигар, говорил «ты» незнакомым людям и, если начинал восторгаться каким-нибудь произведением или человеком, то уже, невзирая ни на что, настаивал на своем, не скупился на хлопоты, на статьи, на рекламу. Он считал себя вполне честным и, чувствуя потребность излить душу, простосердечно рассказывал о разных своих неблагоприятных делах.

Как-то раз, чтобы досадить собрату, который основал газету, тоже посвященную живописи, и давал в честь этого события большой званый обед, Арну попросил Фредерика написать в его присутствии, незадолго до назначенного часа, письма приглашенным, что обед отменяется.

— Это ведь не затрагивает чести, понимаете?

И молодой человек не решился отказать ему в услуге.

На другой день после этого, зайдя вместе с Юссонэ в контору Арну, Фредерик увидел, как в двери (той, что выходила на лестницу) мелькнул подол женского платья.

— Тысячу извинений! — сказал Юссонэ. — Если бы я знал, что здесь женщины...

— О, да это моя жена, — ответил Арну. — Она проходила мимо и решила меня навестить.

— Как так? — спросил Фредерик.

— Ну да. И пойдет сейчас домой!

Прелесть окружающего исчезла тотчас же. То, что было разлито здесь, как ему чудилось, теперь исчезло, или, пожалуй, всего этого никогда и не было. Он испытывал бесконечное удивление и словно боль измены.

Арну, роясь у себя в ящике, чему-то улыбался. Не над ним ли он смеется? Приказчик положил на стол кипу сырых бумаг.

— А! Вот и афиши! — воскликнул торговец. — Мне сегодня не скоро удастся пообедать!

Режембар взялся за шляпу.

— Как, вы уже покидаете меня?

— Семь часов! — сказал Режембар.

Фредерик последовал за ним.

На углу улицы Монмартр он обернулся, взглянул на окна второго этажа и мысленно усмехнулся, чувствуя жалость к себе, вспоминая, с какой любовью он так часто на них смотрел. Где же она живет? Как встретиться с ней теперь? Одиночество вновь зияло вокруг него, вокруг его желаний — еще необъятнее, чем когда бы то ни было!

— Пойдем, усладимся! — предложил Режембар.

— Кем это?

— Полынной.

И, уступая настойчивым просьбам, Фредерик позволил затащить себя в «Бордоский кабачок». Пока его собутыльник, облокотившись на стол, разглядывал графин, Фредерик смотрел во все стороны. Но вот на тротуаре показалась фигура Пеллерена; Фредерик торопливо застучал в окно, и не успел еще художник усесться, как Режембар спросил, почему его больше не видно в «Художественной промышленности».

— Лопнуть мне, если я туда пойду. Он скотина, мещанин, мерзавец, плут!

Эта брань была приятна раздосадованному Фредерику. Все же он был ею и задет, так как ему казалось, что это слегка затрагивает и г-жу Арну.

— Что же он вам такое сделал? — спросил Режембар.

Вместо ответа Пеллерен топнул ногой и громко засопел.

Он втайне занимался кой-какими делами, например, изготовлением портретов цветным карандашом или подделкой произведений великих мастеров в расчете на непросвещенного любителя, а так как эти работы его унижали, то обычно он предпочитал о них молчать. Но «гнузность Арну» слишком обозлила его. Он излил душу.

По заказу Арну, сделанному в присутствии Фредерика, он принес ему две картины. И торговец позволил себе критиковать их! Он порицал композицию, колорит и рисунок, главное — рисунок, словом, ни за что не хотел их взять. И Пеллерен, вынужденный к тому же истечением срока векселя, уступил их еврею Исааку, а через две недели тот же Арну продал их за две тысячи франков какому-то испанцу.

— Ни на одно су не дешевле. Какая подлость! И ведь это не единственная, ей-богу! Не сегодня-завтра мы еще увидим его на скамье подсудимых.

— Это уж вы преувеличиваете! — робко сказал Фредерик.

— Ну вот еще! Преувеличиваю! — воскликнул художник, ударив кулаком по столу.

Грубая выходка Пеллерена вернула молодому человеку самоуверенность. Конечно, можно было бы вести себя более прилично; однако если, по мнению Арну, эти полотна...

— Плохи? Договаривайте! Да вы их видели? Понимаете вы в этом деле? А ведь я, знаете, мой миленький, дилетантов не признаю!

— Э! Да меня это и не касается! — сказал Фредерик.

— С какой же стати вы защищаете его? — холодно спросил Пеллерен.

Молодой человек пробормотал:

— Да... потому что я ему друг.

— Так поцелуйте его от меня! Добрый вечер!

И художник ушел, совершенно взбешенный, ни словом, разумеется, не обмолвившись о счете.

Фредерик, защищая Арну, сам убедил себя в его правоте. В пылу своего красноречия он ощутил нежность к этому человеку, умному и доброму, на которого его друзья клеветают и который теперь работает один, всеми покинутый. Он не стал противиться странному желанию тотчас же увидеть его. Десять минут спустя он уже отворял дверь в магазин.

Арну с приказчиком составлял невероятных размеров афиши для выставки картин.

— Ба! Какими судьбами вы снова к нам?

Этот простой вопрос привел Фредерика в замешательство, и, не зная, что ответить, он спросил, не нашлась ли случайно его записная книжка, маленькая записная книжка в синем кожаном переплете.

— Та, где вы храните письма от женщин? — сказал Арну.

Фредерик покраснел, как девушка, и стал защищаться, чтобы опровергнуть подобное предположение.

— Так, значит, ваши стихи? — не унимался торговец.

Он перебирал образцы, разложенные перед ним, рассуждал о их форме, цвете, о бордюре; а Фредерика все сильнее и сильнее раздражал его озабоченный вид, главное же — его руки, двигавшиеся по афишам, большие руки, несколько пухлые, с плоскими ногтями. Наконец Арну поднялся, сказал: «Вот и готово!» — и фамильярно взял его за подбородок. Эта вольность не понравилась Фредерику, он попятился; потом он переступил порог конторы, последний раз в жизни — так он думал. Даже и на г-жу Арну как будто распространялась вульгарность ее мужа.

На той же неделе он получил письмо, которым Делорье сообщал, что прибудет в Париж в следующий четверг. И Фреде-

рик с новой страстью вернулся к этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Такой человек сто́ит всех женщин. Ему больше не нужны будут ни Режембар, ни Пеллерен, ни Юссонэ — никто! Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе кресло, распределил на две части свое постельное белье; в четверг утром он уже одевался, чтобы ехать встречать Делорье, как вдруг у дверей раздался звонок. Вошел Арну.

— Всего два слова. Мне вчера прислали из Женевы чудесную форель; мы рассчитываем на вас, сегодня ровно в семь... Улица Шуазель, дом двадцать четыре. Не забудьте же!

Фредерик принужден был сесть. Колени у него дрожали. Он повторял: «Наконец! Наконец!» Потом он написал своему портному, шапочнику, башмачнику и отправил эти три записки с тремя рассылными. В замке повернулся ключ, и появился привратник с сундуком на плечах.

Увидев Делорье, Фредерик задрожал, как застигнутая врасплох изменница-жена.

— Какая муха тебя укусила? — спросил Делорье. — Ведь ты, вероятно, получил мое письмо?

Фредерик не в силах был солгать.

Он раскрыл объятия и бросился к нему на грудь.

Потом клерк поведал свою историю. Отец отказался дать отчет по опеке, вообразив, что необходимость в этом отпадает в силу десятилетней давности. Но Делорье, весьма сведущий в судопроизводстве, в конце концов выцарапал все материнское наследство, чистых семь тысяч франков, которые были тут, при нем, в старом бумажнике.

— Это на черный день, про запас. Завтра же с утра надо будет подумать, куда их поместить, да и мне самому пристроиться. А сегодня — отдых от всех забот, и я весь к твоим услугам, старина!

— О, ты не стесняйся! — сказал Фредерик. — Если на сегодняшней вечер у тебя что-нибудь важное...

— Ну вот еще! Я был бы изрядный мерзавец...

Этот случайно оброненный эпитет, как оскорбительный намек, кольнул Фредерика в самое сердце.

Привратник расставил на столе перед камином котлеты, заливное, лангусты, десерт и две бутылки бордо. Делорье был тронут таким приемом.

— Ты по-царски угощаешь меня, честное слово!

Они говорили о прошлом, о будущем и время от времени протягивали руки через стол, с нежностью глядя друг на друга.

Но вот посыльный принес новую шляпу. Делорье громко заметил, какая блестящая у нее тулья.

Потом портной самолично доставил фрак, отутюженный им.

— Можно подумать, что сегодня твоя свадьба, — сказал Делорье.

Час спустя явилась третья личность и из большого черного мешка извлекла пару великолепных лакированных ботинок. Пока Фредерик их примерял, башмачник насмешливо рассматривал обувь провинциала.

— Вам, сударь, ничего не требуется?

— Нет, благодарю, — ответил клерк, пряча под стул ноги в старых башмаках со шнуровкой.

То, что Делорье подвергся такому унижению, смутило Фредерика. Он все медлил с признанием. Наконец, словно что-то вспомнив, воскликнул:

— Ах, черт возьми, я и забыл!

— Что такое?

— Сегодня я обедаю в гостях!

— У Дамбрёзов? Почему ты ни разу не писал мне о них?

Нет, он обедает не у Дамбрёзов — у Арну.

— Ты бы меня предупредил! — сказал Делорье. — Я приехал бы днем позже.

— Это было невозможно! — резко ответил Фредерик. — Я только сегодня утром получил приглашение.

И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он стал развязывать веревки, опутывавшие сундук, разложил в комод все его вещи, хотел уступить ему свою постель, говорил, что ляжет сам в дровяном чулане. Потом, уже с четырех часов, он принялся за свой туалет.

— Времени у тебя еще достаточно! — сказал Делорье.

Наконец Фредерик оделся и ушел.

«Вот они, богачи!» — подумал Делорье. И отправился обедать на улицу Сен-Жак в знакомый ему ресторанчик.

Фредерик несколько раз останавливался на лестнице, — так билось у него сердце. Одна из перчаток, слишком узкая, лопнула, а пока он засовывал разорванное место под манжету, Арну, следом за ним подымавшийся по лестнице, схватил его за руку и ввел в свою квартиру.

Передняя была в китайском вкусе — с расписным фонарем на потолке, с бамбуками по углам. Проходя через гостиную, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечей еще не зажигали, лишь в глубине будуара горели две лампы.

Мадемуазель Марта явилась и сообщила, что мама одевается. Арну поднял ее и поцеловал; потом, желая сам выбрать в погребе несколько бутылок вина, он оставил Фредерика с девочкой.

Она очень выросла со времени поездки в Монтеро. Ее темные волосы длинными локонами спускались на голые руки. Из-под короткого платица, более пышного, чем у балерины, видны были розовые икры, и вся ее милая фигурка дышала свежестью, точно букет цветов. Комплименты гостя она выслушала с видом кокетки, остановила на нем глубокий пристальный взгляд, потом, проскользнув среди мебели, исчезла, словно кошка.

Он больше не испытывал волнения. Шары ламп, покрытые кружевной бумагой, бросали на стены, обтянутые лиловатым атласом, мягкий молочный свет. Сквозь каминную решетку, похожую на большой веер, видны были горящие уголья; рядом с часами стоял ларец с серебряными застёжками. Тут и там разбросаны были всякие домашние вещицы: на диванчике — кукла, на спинке стула — косынка, а на рабочем столике — вязанье, в котором остриями вниз торчали две спицы слоновой кости. В этой комнате все говорило о жизни мирной, добропорядочной и семейственной.

Арну вернулся; из-за другой портьеры показалась г-жа Арну. На нее падала тень, и сперва он различил только ее лицо. Платье на ней было черное бархатное, а волосы покрывала длинная алжирская сетка красного шелка, которая, обвившись вокруг гребня, спускалась на левое плечо.

Арну представил Фредерика.

— О! Я прекрасно помню вас, — ответила она.

Потом, почти в одно и то же время, прибыли остальные гости: Дитмер, Ловариас, Бюрё, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, товарищи Юссонэ, владелец писчебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер-Поль Мейнсиус, последний представитель высокой живописи, который с бодростью нес не только бремя славы, но и свои восемьдесят лет и огромный живот.

Когда гости направились в столовую, г-жа Арну взяла его под руку. Одно место оставалось свободным — для Пеллерена. Арну его любил, хотя и эксплуатировал. К тому же он опасался его беспощадно злого языка — настолько, что, желая его смягчить, поместил в «Художественной промышленности» портрет живописца, за которым следовали гиперболические похвалы; и Пеллерен, более падкий на славу, чем на деньги, появил-

ся часам к восьми, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они уже давно помирились.

Общество, кушанья — все нравилось ему. Комната была обтянута тисненой кожей, наподобие залы в средневековом вкусе; против голландской этажерки находился поставец для чубуков, а стаканы богемского хрусталя разной окраски, расставленные на столе среди цветов и фруктов, создавали впечатление иллюминации в саду.

Ему пришлось выбирать между десятью сортами горчицы. Он ел даспаккьо, кари, имбирь, корсиканских дроздов, римскую лапшу; он пил необыкновенные вина, либффрауенмилх и токайское. Умение угостить действительно было для Арну делом чести. И он ублажал кондукторов почтовых карет, которые поставляли ему разную снедь, и водил знакомство с поварами богатых домов, сообщавшими ему рецепты приправ.

Но больше всего занимали Фредерика разговоры. Так как его увлекала мысль о путешествиях, то он наслаждался рассказами Дитмера о Востоке; его интерес ко всему театральному утолял Розенвальд, говоривший об опере, а суровая жизнь богемы показалась ему забавной сквозь призму той веселости, с которой Юссонэ в красочных тонах описал, как он провел целую зиму, питаясь одним только голландским сыром. Потом спор о флорентийской школе, возникший между Ловариасом и Бюрё, открыл ему новые сокровища, расширил его горизонты, и он уже едва сдерживал свой восторг, когда Пеллерен воскликнул:

— Оставьте меня в покое с вашей отвратительной реальностью! Что значит — реальность? Одни видят черное, другие — голубое, большинство видит одни глупости. Нет ничего менее естественного, чем Микеланджело, и ничего более замечательного! Забота о внешнем правдоподобии обличает современную низость, и если так будет продолжаться, искусство превратится бог весть в какую ерунду, оно станет менее поэтичным, чем религия, и менее занимательным, чем политика. Его цель, — да, цель, заключается в том, чтобы возбуждать в нас восторг не личного свойства, и ее вы не достигнете какими-либо пустяками, как бы вы ни ухищрялись, как бы ни отделывали их. Вот, например, картины Бассолье: мило, нарядно, чисто и не тяжело-весно! Можно положить в карман, взять с собой в дорогу. Нотариусы платят за такие вещи по двадцать тысяч франков, а идеи тут на три су; но без идеи не может быть ничего великого! Без величия не может быть ничего прекрасного! Олимп — это гора! Самым потрясающим памятником неизменно останутся пира-

миды! Лучше излишество, чем умеренность, пустыня, чем тротуар, дикарь, чем парикмахер!

Слушая эти слова, Фредерик глядел на г-жу Арну. Они проникали в его сознание, как куски металла падают в горнило, они сливались с его страстью и претворялись в любовь.

Он сидел через три места от нее, на той же стороне стола. Время от времени она слегка наклонялась и поворачивала голову, чтобы сказать несколько слов дочке; она улыбалась, и на щеке у нее появлялась ямочка, что придавало ее лицу выражение еще большей мягкости и доброты.

Когда были поданы ликеры, она скрылась. Разговор стал очень вольным; г-н Арну в нем блистал, и Фредерик был удивлен цинизмом всех этих мужчин. Но как бы то ни было, интерес к женщинам словно устанавливал между ним и ими равенство, поднимавшее Фредерика в собственном мнении.

Вернувшись в гостиную, он приличия ради взял один из альбомов, лежавших на столе. Самые крупные современные художники украсили его своими рисунками, заполнили его страницы прозой, стихами или просто-напросто оставили автограф; рядом со знаменитыми именами встречалось много неизвестных, а любопытные мысли лишь мелькали среди потока глупостей. Все они содержали более или менее прямые похвалы г-же Арну. Фредерику страшно было бы написать здесь хоть одну строчку.

Она пошла в будуар принести ларец с серебряными застёжками, который он успел заметить на камине. Это был подарок от мужа, работа времен Возрождения. Друзья Арну хвалили его покупку, жена благодарила; он почувствовал прилив нежности и при всех поцеловал ее.

Разговор продолжался, гости расположились группами, старик Мейнсийос сидел с г-жой Арну на диванчике у камина; она наклонялась к его уху, их головы соприкасались, и Фредерик согласился бы стать глухим, немощным и безобразным ради громкого имени и седых волос, словом, лишь бы обладать чем-то таким, что дало бы ему право на подобную близость. Он терзался в душе, негодуя на свою молодость.

Но она пришла в тот угол гостиной, где находился он, спросила, знаком ли он с кем-нибудь из гостей, любит ли живопись, давно ли учится в Париже. Каждое слово, произнесенное ею, казалось ему чем-то новым, возможным только в ее устах. Он внимательно разглядывал бахрому ее головного убора, касавшуюся одним краем обнаженного плеча, и не отрывал от него взгляда, мысленно погружаясь в белизну этого женского

тела; однако он не смел поднять глаза, посмотреть ей прямо в лицо.

Розенвальд прервал их беседу, попросив г-жу Арну что-нибудь спеть. Он взял несколько аккордов, она ждала; губы ее приоткрылись, и понеслись чистые протяжные ровные звуки.

Слов итальянской песни Фредерик не понял.

Она начиналась в торжественном ритме, напоминая церковное песнопение, потом музыка оживлялась, звук нарастал, шли звонкие раскаты, и вдруг все замирало; тогда широко и медленно возвращалась нежная начальная мелодия.

Госпожа Арну стояла у рояля, опустив руки, глядя куда-то в пространство. Порою, чтобы прочесть ноты, она щурила глаза и на миг вытягивала шею. Ее контральто на низких нотах принимало зловещий оттенок, от него веяло холодом, и ее прекрасное лицо с длинными бровями склонялось к плечу; грудь ее вздымалась, она разводила руками, томно откидывала голову, словно кто-то бесплотный целовал ее, а рулады продолжали нестись; она взяла три высоких ноты, спустилась вниз, затем снова взяла еще более высокую ноту и, после паузы, кончила фермато.

Розенвальд остался у рояля. Он продолжал играть для себя. Время от времени кто-нибудь из гостей исчезал. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел вместе с Пеллереном под предлогом, что проводит его. Он был из числа тех, которые чувствуют себя больными, если не «пройдутся» после обеда.

Госпожа Арну вышла в переднюю; Дитмер и Юссонэ поклонились ей, она протянула им руку; она протянула ее и Фредерику, и он всем существом ощутил это прикосновение.

Он простился с приятелями; ему надо было остаться одному. Сердце его было переполнено. Почему она протянула ему руку? Был ли то необдуманый жест или знак поощрения? «Да полно, я с ума сошел!» Впрочем, не все ли равно, раз он может теперь посещать ее когда угодно, дышать тем же воздухом, что она?

На улицах было безлюдно. Изредка проезжала тяжелая повозка, сотрясая мостовую. Дома следовали один за другим — серые фасады, закрытые окна; и он с пренебрежением думал о всех этих людях, которые спят за этими стенами, живут, не видя ее и даже не подозревая, что она существует на свете. Он утратил представление о пространстве, о месте, где находился, ничего не помнил и, стуча каблуками, ударяя тростью по ставням лавок, шел все прямо вперед, наугад, растерянный, послуш-

ный какому-то влечению. Его обдало сыростью. Он понял, что стоит на одной из набережных.

Двумя прямыми бесконечными линиями блестели фонари, и длинные красные языки дрожали в воде, уходя в глубину. Вода была цвета аспидной доски, а небо, менее темное, как будто опиралось на сумрачные громады, возвышавшиеся по обеим сторонам Сены. Здания, которых не было видно, еще усиливали мрак. Над крышами плыл светящийся туман; все шумы сливались в одно гудение; дул легкий ветерок.

Дойдя до середины Нового моста, Фредерик остановился; сняв шляпу, открыв грудь, он вдыхал воздух. И он чувствовал, как из глубины его существа подымается нечто неиссякаемое, прилив нежности, расслаблявший его, как движение воды перед глазами. На церковной башне медленно пробило час, словно чей-то голос позвал его.

В этот миг им овладел тот трепет души, когда кажется, что вы переноситесь в высший мир. Необыкновенный талант, — к чему, он сам еще не знал, — внезапно пробудился в нем. Он серьезно спрашивал себя, быть ли ему великим живописцем или великим поэтом, и выбрал живопись, ибо это занятие может приблизить его к г-же Арну. Так, значит, он нашел свое призвание! Цель его жизни теперь ясна, а будущее непреложно.

Войдя к себе, он запер дверь и услышал, как кто-то храпит в темном чулане рядом с его комнатой. То был его товарищ. Он о нем и забыл.

В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел, что хорош собой, и остановился на минуту поглядеть на себя.

V

Утром на следующий день он купил ящик с красками, кисти, мольберт. Пеллерен согласился давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе на квартиру посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь, необходимого для занятий живописью.

Делорье уже вернулся. А в кресле напротив сидел какой-то молодой человек. Клерк показал на него:

— Вот он! Это Сенекаль.

Фредерику он не понравился. Лоб его казался выше благодаря тому, что волосы были подстрижены бобриком. Что-то жесткое и холодное сквозило в его серых глазах, а от длинного черного сюртука, от всей одежды так и несло педагогикой, церковными поучениями.

Сперва разговор шел о новостях дня, между прочим о «Stabat Mater»¹ Россини; когда спросили мнение Сенекаля, он заявил, что никогда не бывает в театре. Пеллерен открыл ящик с красками.

— Это все для тебя? — спросил клерк.

— Да, конечно!

— Ну? Вот затея!

И он наклонился к столу, за которым математик-репетитор перелистывал том Луи Блана. Он принес его с собою и теперь вполголоса читал оттуда отдельные места, меж тем как Пеллерен и Фредерик вместе рассматривали палитру, шпатель, тюбики с красками; потом они заговорили об обеде у Арну.

— У торговца картинами? — спросил Сенекаль. — Хорош гусь, нечего сказать!

— А что? — отозвался Пеллерен.

Сенекаль ответил:

— Человек, который выколачивает монету политическими гнусностями!

И он заговорил о знаменитой литографии, на которой изображено все королевское семейство, занятое вещами назидательными: в руках у Луи-Филиппа свод законов, у королевы молитвенник, принцессы вышивают, герцог Немурский пристегивает саблю; г-н де Жуанвиль показывает младшим братьям географическую карту; в глубине видна двуспальная кровать. Эта картинка, носившая название «Доброе семейство», радовала буржуа, но огорчала патриотов. Пеллерен раздраженным тоном, словно он был автор, ответил, что одно мнение стоит другого. Сенекаль возразил. Искусство должно иметь единственной целью нравственное совершенствование масс! Следует брать лишь такие сюжеты, которые побуждают к добродетельным поступкам, все остальные вредны.

— Все зависит от выполнения! — кричал Пеллерен. — Я могу создать шедевр!

— Если так, тем хуже для вас! Никто не имеет права...

— Что?

— Да, сударь, никто не имеет права возбуждать во мне интерес к тому, что я осуждаю! К чему нам старательно сработанные безделки, из которых нельзя извлечь никакой пользы, скажем, все эти Венеры, все ваши пейзажи? Я тут не вижу ничего поучительного для народа. Лучше покажите нам его горести, заставьте нас преклоняться перед жертвами, которые он

¹ «Скорбящей богоматери» (лат.):

приносит! Ах, боже мой, в сюжетах недостатка нет: ферма, мастерская...

Пеллерен заикался от возмущения; ему показалось, что он нашел довод:

— Мольера вы признаете?

— Да! — сказал Сенекаль. — Я восхищаюсь им как предтечей французской революции.

— Ах! Революция! Да где там искусство? Не было эпохи более жалкой!

— Более великой, сударь!

Пеллерен скрестил руки и взглянул на него в упор.

— Из вас, по-моему, вышел бы отличный солдат национальной гвардии!

Противник, привыкший к спорам, отвечал:

— Я в ней не состою и ненавижу ее так же, как вы! Но подобными принципами только развращают массы! Это, впрочем, и входит в расчеты правительства; оно не было бы так сильно, если бы его не поддерживала целая свора таких же шутов, как Арну.

Художник встал на защиту торговца, ибо мнения Сенекаля выводили его из себя. Он даже решился утверждать, что у Жака Арну поистине золотое сердце, что он предан своим друзьям, нежно любит жену.

— О! О! Если бы ему предложить хорошую сумму, он не отказался бы сделать из нее натурщицу.

Фредерик побледнел.

— Наверно, он вас очень обидел, сударь?

— Меня? Нет! Я видел его один лишь раз, в кафе, с приятелем. Вот и все.

Сенекаль говорил правду. Но рекламы «Художественной промышленности» раздражали его изо дня в день. Арну был в его глазах представителем среды, которую он считал губительной для демократии. Суровый республиканец, он во всяком проявлении изящества подозревал испорченность, сам же был лишен всяких потребностей и отличался непоколебимой честностью.

Разговор уже не клеился. Художник вскоре вспомнил о назначенной встрече, репетитор — о своих учениках; когда они ушли, Делорье, после долгого молчания, стал задавать разные вопросы об Арну.

— Со временем представишь меня, старина, не правда ли?

— Конечно, — сказал Фредерик.

Потом они стали думать, как им устроиться. Делорье без труда получил место второго клерка у адвоката, записался на

юридический факультет, купил необходимые книги, и жизнь, о которой они так мечтали, началась.

Она была прекрасна благодаря очарованию молодости. Делорье о деньгах не заговаривал, и Фредерик о них тоже не говорил. Он производил все расходы, убирал в шкафу, занимался хозяйством; но если надо было отчитать привратника, за это брался клерк, продолжая и теперь, как в коллеже, играть роль покровителя и старшего.

В течение дня они не виделись и встречались только вечером. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее бросали. И не было конца излиниям, приступам беспричинной веселости, а порою случались и ссоры — из-за накопившей лампы или затерянной книги, минутные вспышки гнева, разрешавшиеся смехом.

Дверь в дровяной чулан оставалась открыта, так что, и лежа в постелях, они еще могли болтать.

Утром они без сюртуков расхаживали по балкону; вставало солнце, над рекой зыблился легкий туман, с цветочного рынка, расположенного поблизости, долетали визгливые крики, а дым от их трубок клубился в чистом воздухе, освежавшем их заспанные глаза; вдыхая его, они чувствовали веяние необъятных надежд, разлитых повсюду.

По воскресеньям, если не было дождя, они вместе выходили и, взявшись под руку, шли по улицам. Очень часто у них возникала одна и та же мысль, иногда, разговаривая, они ничего не видели вокруг себя. Делорье стремился к богатству как к средству властвовать над людьми. Ему хотелось бы приводить в движение как можно больше народа, делать побольше шума, иметь в своем распоряжении трех секретарей и раз в неделю давать большой политический обед. Фредерик обставлял себе дворец в мавританском вкусе, где он мог бы всю жизнь лежать на диванах, обитых турецкой тканью, под журчанье водометов, и где ему прислуживали бы негры-пажи; и все эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил потом в отчаяние, как будто утратил их.

— К чему и говорить обо всем этом, — замечал он, — раз у нас никогда этого не будет?

— Как знать! — отвечал Делорье.

Несмотря на свои демократические взгляды, он советовал Фредерику завязать знакомство с Дамбрёзами. Тот ссылался на свои неудачные попытки.

— Да полно. Зайди еще! Тебя пригласят.

В середине марта они, в числе других довольно крупных счетов, получили счет из кухмистерской, где брали обеды. Фредерик, не имея всей требуемой суммы, занял сто экю у Делорье; две недели спустя он обратился к нему с подобной же просьбой, и клерк пробрал его за то, что он тратит так много у Арну.

Тут он действительно не знал меры. Вид Венеции, вид Неаполя, вид Константинополя занимали в комнате три стены, тут и там висели этюды коней Альфреда де Дрё, на камине стояла скульптура Прадье, на рояле валялись номера «Художественной промышленности», на полу в углах — папки, и от всего этого становилось так тесно, что некуда было положить книгу, трудно двинуть локтем. Фредерик уверял, что все это ему нужно для занятий живописью.

Он работал у Пеллерена. Но Пеллерена часто не бывало дома, ибо он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и при всех событиях, о которых газетам полагалось давать отчет, и Фредерик целые часы проводил в мастерской совершенно один. Тишина большой комнаты, где слышно было только, как возятся мыши, свет, падавший с потолка, даже гудение в печи — все составляло тот своеобразный духовный уют, которым он здесь был окружен. Потом его глаза, оторвавшись от работы, начинали блуждать по облупившейся стене, по безделушкам на этажерке, торсам, покрытым густою пылью, как локутьями бархата, и, точно путник, который сбился в лесу с пути и которого все тропинки приводят все к одному и тому же месту, Фредерик в глубине каждой своей мысли находил воспоминание о г-же Арну.

Он назначал себе день, когда пойдет к ней; поднявшись на третий этаж и уже стоя у ее дверей, он не сразу решался позвонить. Вот приближались шаги; дверь отворялась, и когда он слышал слова: «Барыни нет дома», — ему как будто возвращали свободу, с сердца сваливалась тяжесть.

Все же иногда он заставлял ее. В первый раз у нее были три дамы; в другой раз — тоже под вечер — пришел учитель чистописания м-ль Марты. Мужчины, которых принимала у себя г-жа Арну, с визитами не являлись. Фредерик, из скромности, больше не заходил.

Но чтобы получить приглашение на обед в четверг, он каждую среду неизменно появлялся в «Художественной промышленности» и оставался там дольше всех, дольше даже, чем Режембар, до последней минуты, делая вид, что рассматривает гравюру, пробегает газету. Наконец Арну спрашивал: «Вы зав-

тра вечером свободны?» Приглашение он принимал прежде, чем фраза доводилась до конца. Арну как будто начинал испытывать к нему привязанность. Он учил его разбираться в винах, варить жженку, готовить рагу из бекасов; Фредерик покорно следовал его советам, — он любил все, что было связано с г-жой Арну: ее мебель, ее прислугу, ее дом, ее улицу.

Он безмолвствовал во время этих обедов; он созерцал ее. На правом виске у нее была маленькая родинка, пряди волос, гладко зачесанные на уши, были более темны, чем вся остальная прическа, и всегда как будто немного влажны по краям; она время от времени приглаживала их двумя пальцами. Он изучил форму каждого ее ногтя, наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила в дверь, украдкой вдыхал аромат ее носового платка; ее гребень, ее перчатки, ее кольца были для него вещами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, как человеческие существа; все они волновали его сердце и усиливали страсть.

У него не хватало выдержки скрыть ее от Делорье. Когда он возвращался от г-жи Арну, то будил его, как бы нечаянно, лишь бы поговорить о ней.

Делорье, спавший в дровяном чулане около умывальника, долго зевал. Фредерик садился на постель у него в ногах. Сперва он говорил об обеде, потом рассказывал о множестве незначительных мелочей, в которых видел знаки пренебрежения или расположения к нему. Однажды, например, она не пошла с ним под руку, предпочла идти с Дитмером, и Фредерик был в отчаянии.

— Вот вздор-то!

А как-то раз она его назвала своим «другом».

— Если так, будь смелей!

— Да я не решаюсь, — говорил Фредерик.

— Ну, тогда и не думай о ней! Спокойной ночи!

Делорье поворачивался к стене и засыпал. Он не понимал этой любви, в которой видел последнюю юношескую слабость своего приятеля; а так как их близость уже, очевидно, его не удовлетворяла, ему пришла в голову мысль собирать раз в неделю общих друзей.

Друзья приходили по субботам часов около девяти.

Все три тиковые занавески бывали аккуратно задернуты; лампа и четыре свечи зажжены; посреди стола ставился картуз с табаком и трубками, а вокруг него — бутылки пива, чайник, графин с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, сравнивали достоинства своих профессоров.

Однажды Юссонэ привел на вечер высокого молодого человека, одетого в сюртук с чересчур короткими рукавами и, видимо, стеснявшегося. Это был тот самый парень, которого они в прошлом году пытались выволить из полиции.

Так как он не мог возвратить картонку с кружевами, потерянную во время свалки, хозяин обвинил его в воровстве и грозил судом; теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Юссонэ встретился с ним утром на улице и привел его, так как Дюссардые из благодарности захотел повидать и «другого».

Он протянул Фредерику портсигар, еще совершенно полный, ибо с благоговением берег его, надеясь вернуть. Молодые люди пригласили его заходить. Он стал у них бывать.

Все чувствовали друг к другу приязнь. Их ненависть к правительству была возведена в степень неоспоримого догмата. Один только Мартинон пробовал защищать Луи-Филиппа. Против него пускали в ход все избитые доводы, примелькавшиеся в газетах: устройство укреплений вокруг Парижа, сентябрьские законы, Притчарда, лорда Гизо,— так что Мартинон умолкал, опасаясь кого-нибудь задеть. В коллеже он за семь лет ни разу не подвергся наказанию, а теперь на юридическом факультете умел нравиться профессорам. Обыкновенно он ходил в широком коричневом сюртуке, носил резиновые калоши; но в один из вечеров явился одетый прямо женихом: на нем был бархатный жилет, белый галстук, золотая цепочка.

Удивление возросло, когда стало известно, что он от г-на Дамбрёза. Банкир действительно купил на днях у отца Мартинона крупную партию леса; старик представил ему сына, и Дамбрёз пригласил обоих к обеду.

— Вдоволь ли было трюфелей? — спросил Делорье. — Удалось ли тебе обнять его супругу где-нибудь в дверях *sicut decet*?¹

Тут разговор коснулся женщин. Пеллерен не допускал, что могут быть красивые женщины (он предпочитал тигриц); вообще самка человека — существо низшее в эстетической иерархии.

— То, что пленяет вас в ней, как раз и снижает ее как идею; я имею в виду волосы, грудь...

— Однако, — возразил Фредерик, — длинные черные волосы, большие черные глаза...

— О! Знаем! — воскликнул Юссонэ. — Довольно андалузок средь зелени лугов! Античность? Слуга покорный! Ибо в конце

¹ Как приличествует (*лат.*).

концов — надо же сказать правду — какая-нибудь лоретка много занятнее Венеры Милосской! Будем же галлами, черт возьми! Будем жить, коли сумеем, как в дни Регентства!

Струись, вино; вы, девы, улыбайтесь!

От брюнетки поспешим к блондинке! Согласны, дядюшка Дюссардье?

Дюссардье не отвечал. Все пристали к нему, чтобы узнать его вкусы.

— Ну, так вот, — сказал он, краснея, — я хотел бы любить всегда одну и ту же!

Это было сказано так, что на миг наступило молчание; одних изумило его чистосердечие, а другим в его словах открылось то, о чем они, быть может, втайне мечтали сами.

Сенекаль поставил свою кружку пива на подоконник и догматическим тоном заявил, что проституция — тирания, а брак — безнравственность, и поэтому лучше всего воздерживаться. Делорье смотрел на женщин как на развлечение — только и всего. Г-ну де Сизи они внушали всякого рода опасения.

Ему, воспитанному под наблюдением благочестивой бабушки, общество этих молодых людей представлялось заманчивым, словно бы какой-нибудь притон, и поучительным, как Сорбонна. На уроки ему не скупились; и он проявлял величайшее усердие, вплоть до того, что пробовал курить, невзирая на тошноту, каждый раз мучившую его потом.

Фредерик окружал его всяческими заботами. Он восторгался оттенками его галстуков, мехом его пальто и в особенности ботинками, тонкими, как перчатки, вызывающе изящными и блестящими; внизу на улице его всегда ждал экипаж.

Однажды после его отъезда, — а в тот вечер шел снег, — Сенекаль принялся жалеть его кучера. Потом направил свое красноречие против желтых перчаток, против Жокей-клуба. Любого рабочего он ставит выше, чем этих господ.

— Я-то, по крайней мере, тружусь, я беден!

— Оно и видно, — сказал наконец Фредерик, потеряв терпение.

Репетитор затаил на него злобу за эти слова.

Но вот, услышав как-то раз от Режембара, что он немного знает Сенекаля, Фредерик захотел оказать любезность приятелю Арну и пригласил его бывать по субботам. Встреча обоим патриотам была приятна.

Впрочем, они отличались друг от друга.

Сенекаль, у которого голова была клином, признавал только системы. Режембар, напротив, видел в фактах только факты. Его беспокоил главным образом вопрос о рейнской границе. Он утверждал, что знает толк в артиллерийском деле, и одевался у портного Политехнической школы.

Когда ему, в первое его посещение, предложили пирожного, он с презрением пожал плечами и сказал, что это годится лишь для женщин; в следующие разы он оказался не более учтив. Как только суждения собеседников затрагивали предметы более возвышенные, он бормотал: «О! Только без утопий! Без фантазий!» В области искусства (хоть он и посещал мастерские художников, где иногда, из любезности, давал урок фехтования) взгляды его не отличались глубиной. Он сравнивал стиль г-на Мараста со стилем Вольтера, г-жу де Сталь с м-ль Ватназ — только потому, что последняя написала «весьма смелую» оду в честь Польши. И, наконец, Режембар раздражал всех, и в особенности Делорье, ибо он, Гражданин, был свой человек у Арну. А клерк жаждал попасть к ним в дом, надеясь завязать там полезные знакомства. «Когда же ты поведешь меня к ним?» — спрашивал он Фредерика. Но Арну то был чрезмерно занят делами, то собирался куда-нибудь ехать; потом оказывалось, что вообще уже ничего не стоит затевать, так как скоро обеды прекратятся.

Если бы ради друга надо было рискнуть жизнью, Фредерик не отступил бы. Но так как он стремился выставить себя в самом выгодном свете, следил за своими выражениями, манерами, костюмом и даже в «Художественную промышленность» являлся всегда в безукоризненных перчатках, то боялся, как бы Делорье, одетый в старый черный фрак, своими судейскими замашками и самоуверенностью в разговоре не произвел дурного впечатления на г-жу Арну, что могло бы скомпрометировать и его, унизив в ее глазах. Против кого-либо другого он не стал бы возражать, но именно этот человек стеснил бы его в тысячу раз больше, чем все остальные. Клерк заметил, что он не хочет исполнить обещанное, и молчание Фредерика по этому поводу казалось ему еще бóльшим оскорблением.

Он хотел бы руководить им во всем, видеть, как он развивается в согласии с идеалами их юности, а праздность Фредерика возмущала его, как непослушание и как измена. К тому же Фредерик, всецело занятый мыслями о г-же Арну, часто говорил о ее муже, и Делорье придумал невыносимый способ дразнить его, состоявший в том, что он раз сто в день в конце каждой фразы, словно маньяк-идиот, повторял фамилию Арну.

На стук в дверь он отвечал: «Войдите, Арну!» В ресторане он заказывал бри «а ля Арну», а ночью, прикидываясь, что у него кошмар, будил приятеля воплем: «Арну! Арну!»

Наконец Фредерик, уже изнемогая, сказал ему как-то жалобным тоном:

— Да оставь ты меня в покое с этим Арну!

— Ни за что! — ответил клерк:

Он всюду, он во всем, то хладный, то палящий,
Встает Арну...

— Да замолчи же! — закричал Фредерик, сжимая кулаки. И кротко добавил: — Ты ведь знаешь, мне тяжело говорить на эту тему.

— О! Извини, старина, — ответил Делорье, поклонившись весьма низко, — теперь мы примем в расчет нервы благородной девицы! Еще раз прошу прощения! Тысяча извинений!

Так был положен конец насмешкам.

Но три недели спустя, как-то вечером, он сказал Фредерику:

— А знаешь, я сегодня видел госпожу Арну!

— Где?

— В суде, с адвокатом Баландаром; брюнетка, среднего роста — верно?

Фредерик в знак подтверждения кивнул. Он ждал, что Делорье будет говорить о ней. При малейшем слове восхищения он излил бы всю душу, готов был бы обожать его; тот все молчал; наконец Фредерик, которому не терпелось, равнодушным тоном спросил, что он думает о ней.

Делорье находил, что она «недурна, по все же ничего особенного».

— А, ты находишь? — сказал Фредерик.

Наступил август месяц, время держать второй экзамен. По общему мнению, двух недель было достаточно, чтобы подготовиться. Фредерик, не сомневаясь в своих силах, одним духом проглотил первые четыре книги Процессуального кодекса, первые три — Уложения о наказаниях, несколько отрывков из Уголовного судопроизводства и часть Гражданского судопроизводства с примечаниями г-на Понселе. Накануне экзамена Делорье заставил его взяться за повторение, которое продолжалось до утра, а чтобы воспользоваться и последними минутами, он, уже идя с ним по улице, все не переставал его спрашивать.

Так как в одни и те же часы происходили экзамены по разным предметам, во дворе было много народа, между прочими —

Юссонэ и Сизи; когда дело касалось кого-нибудь из товарищей, было принято приходить на экзамен. Фредерик облекся в традиционную черную мантию; вместе с другими тремя студентами, сопровождаемый целой толпой, он вошел в большой зал, где на окнах не было занавесок, а вдоль стен тянулись скамьи. Посредине, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, стояли кожаные стулья. Стол отделял кандидатов от господ экзаменаторов, восседавших в красных одеяниях, с горностаем через плечо, в беретах с золотым галуном.

Фредерик был предпоследним в списке — положение скверное. Отвечая на первый же вопрос — о разнице между условием и договором, — он перепутал определения, но профессор, добрый человек, сказал ему: «Не смущайтесь, милостивый государь, успокойтесь!» — потом, задав два легких вопроса, на которые получил неясный ответ, перешел, наконец, к четвертому. Фредерик был расстроен столь неудачным началом. Из публики Делорье знаками давал ему понять, что не все еще потеряно, и второй его ответ — на вопрос из Уголовного права — оказался сносным. Но после третьего, связанного с тайным завещанием, тревога Фредерика усилилась: профессор все время оставался бесстрастным, тогда как Юссонэ уже складывал руки для аплодисментов, а Делорье постоянно пожимал плечами. Наконец пришла пора отвечать по судопроизводству! Дело шло о возражении со стороны третьих лиц. Профессор, неприятно удивленный тем, что ему приходится выслушивать теории, противоположные его собственным, резко спросил его:

— Это что же, милостивый государь, ваше мнение? Как же вы согласуете принцип статьи тысяча триста пятьдесят первой Гражданского кодекса с таким необыкновенным способом предъявлять иск?

У Фредерика очень болела голова, — ведь он всю ночь не спал. Солнечный луч, проникнув в щель жалюзи, ударял ему прямо в лицо. Стоя за стулом, он переминался с ноги на ногу и тербил усы.

— Я жду вашего ответа! — сказал человек в золотистом берете. Жест Фредерика его, видимо, раздражал, и он добавил: — В усах вы его не отыщете!

Этот сарказм вызвал смех среди слушателей; польщенный профессор смягчился. Он задал ему еще два вопроса — о вызове в суд и об ускоренном судопроизводстве, затем опустил голову в знак одобрения; публичный экзамен был окончен. Фредерик вернулся в вестибюль.

Пока сторож снимал с него мантию, чтобы тотчас же

надеть ее на другого, друзья окружили Фредерика и привели его в полное замешательство своими противоречивыми мнениями о результате экзамена. Этот результат вскоре был объявлен у входа в зал чьим-то звучным голосом:

— Номеру третьему... дана отсрочка!

— Срезался! — сказал Юссонэ. — Идемте!

Около швейцарской им повстречался Мартинон, красный, взволнованный, со смеющимися глазами и с ореолом победы вокруг чела. Он только что благополучно сдал последний экзамен. Оставалась теперь только диссертация. Через две недели он уже будет лицензиатом. Семья его знакома с министром, перед ним открывается «блестящая карьера».

— Этот все-таки тебя перегнал, — сказал Делорье.

Нет большего унижения, чем видеть глупца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу. Рассерженный Фредерик ответил, что ему наплевать, у него более высокие стремления. А когда Юссонэ собрался уходить, Фредерик отвел его в сторону и сказал:

— У них, разумеется, об этом ни слова!

Сохранить секрет было легко, ибо Арну на следующий день уезжал в путешествие по Германии.

Вернувшись вечером домой, клерк нашел в своем друге странную перемену: он делал пируэты, насвистывал; а когда Делорье выразил свое удивление по этому поводу, он объявил, что не поедет к матери; на каникулах он будет заниматься.

Его охватила радость, когда он узнал, что Арну уезжает. Теперь он может являться туда, когда захочет, не опасаясь никакой помехи в своих посещениях. Уверенность в полной безопасности придаст ему отваги. Наконец-то он не будет вдали от *нее*, не будет разлучен с *нею*. К Парижу его приковывало нечто более крепкое, чем железная цепь, внутренний голос повелевал ему остаться.

Возникли всякие препятствия. Он преодолел их, написал матери; прежде всего он признался в своей неудаче, вызванной изменениями в программе, — случайность, несправедливость; впрочем, все выдающиеся адвокаты (он приводил имена) проваливались на экзаменах. Но он рассчитывает снова держать их в ноябре. А так как времени ему нельзя терять, то в нынешнем году он не поедет домой и просит, помимо денег, присылаемых ему на три месяца, еще двести пятьдесят франков — на занятия с репетитором, которые принесут ему большую пользу; все это было разукрашено сожалениями, утешениями, нежностями и заверениями в сыновней любви.

Госпожа Моро, ждавшая его на следующий день, вдвойне была огорчена. Она утаила его неудачу и ответила ему, чтобы он «все-таки приезжал». Фредерик не уступил. Начался разлад. Тем не менее к концу недели он получил деньги на три месяца и сумму, которая предназначалась репетитору, а в действительности послужила для уплаты за светло-серые панталоны, белую фетровую шляпу и трость с золотым набалдашником.

Когда все это оказалось в его распоряжении, он подумал: «А может быть, такая затея достойна парикмахера?»

И им овладели большие сомнения.

Чтобы решить, идти ли ему к г-же Арну, он три раза подбрасывал монету. Все три раза предзнаменование было благоприятно. Итак, то было веление судьбы. Фиакр отвез его на улицу Шуазель.

Он быстро поднялся по лестнице, потянул за шнур от звонка; звонок не зазвонил: Фредерик чувствовал, что вот-вот лишится чувств.

Тогда он с неистовой силой дернул тяжелую кисть красного шелка. Колокольчик зазвенел, потом постепенно замолк; и опять ничего не стало слышно. Фредерик испугался.

Он приложил ухо к двери; ни звука! Он заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел в передней, кроме двух тростинок на фоне обоев с узором из цветов. Он собрался уже уходить, но передумал. На этот раз он совсем тихонько постучал. Дверь отворилась, и вот, со всклокоченными волосами, багровым лицом и недовольным видом, на пороге предстал сам Арну.

— Ба! Каким это чертом вас занесло? Входите!

Он ввел его, только не в будуар и не в свою комнату, а в столовую, где на столе стояла бутылка шампанского и два бокала; он отрывисто спросил:

— Вам, дорогой друг, что-нибудь нужно от меня?

— Да нет! Ничего, ничего! — пробормотал молодой человек, стараясь чем-либо объяснить свое посещение.

В конце концов Фредерик сказал, что пришел справиться о нем, так как слышал от Юссонэ, будто он в Германии.

— И не собирался туда! — ответил Арну. — Что за куриные мозги у этого молодца, все слышит наизусть!

Чтобы скрыть свое замешательство, Фредерик стал расхаживать взад и вперед по комнате. Зацепившись за ножку стула, он уронил зонтик, лежавший на нем; ручка слоновой кости разбилась.

— Боже мой! — воскликнул он. — Какая жалость, я разбил зонтик госпожи Арну!

При этих словах торговец поднял голову и как-то странно улыбнулся. Фредерик, воспользовавшись случаем заговорить о ней, робко спросил:

— А можно ее увидеть?

Она, оказывается, была в своих родных краях, у больной матери.

Он не осмелился спросить, сколько продлится ее отсутствие. Он лишь спросил, откуда родом г-жа Арну.

— Из Шартра. Это вас удивляет?

— Меня? Нет! Почему? Нисколько!

Теперь им решительно не о чем было говорить. Арну, свернув папиросу, расхаживал кругом стола и отдувался. Фредерик, прислонившись к печке, рассматривал стены, шкаф, паркет, и в его памяти, вернее, перед его глазами вереницей тянулись прелестные образы. Наконец он ушел.

В передней на полу валялся обрывок газеты, скомканный в шарик; Арну его поднял и, встав на цыпочки, засунул в звонок, чтобы продолжить, как он выразился, нарушенный послеобеденный отдых. Потом, пожимая Фредерику руку, сказал:

— Пожалуйста, предупредите привратника, что меня нет дома!

И изо всей силы захлопнул за ним дверь.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Неудача первой попытки лишала его надежды на дальнейший успех. Наступили три месяца, полных тоски. Занятий у него не было никаких, и безделье еще усиливало его печаль.

Он целыми часами глядел со своего балкона на реку; она текла между сероватыми набережными, почерневшими кое-где от грязи сточных труб, на берегу был плот для стирки белья, где мальчишки иногда забавлялись тем, что купали в илистой воде какого-нибудь пуделька. Не оборачиваясь налево, в сторону Каменного моста у собора Богоматери и трех висячих мостов, он всегда смотрел на набережную Вязов, на густые старые деревья, напоминавшие липы у пристани Монтеро. Башня св. Иакова, Ратуша, церкви св. Гервасия, св. Людовика, св. Павла возвышались прямо напротив, среди моря крыш, а на востоке, точно огромная золотая звезда, сверкал ангел на Июльской колонне, с другого же края небосклона круглой громадой рисовался голубой купол Тюильри. В этой стороне, где-то там, дальше, должен был быть и дом г-жи Арну.

Фредерик возвращался в свою комнату; он ложился на диван и предавался беспорядочным думам — о планах работ, о

том, как себя вести, о будущем, к которому рвался. Наконец, чтобы уйти от самого себя, он отправлялся на улицу.

Он шел, куда глаза глядят, по Латинскому кварталу, обычно столь шумному, но в эту пору пустынному, так как студенты разъезжались по домам. Длинные стены учебных заведений, как будто еще более растянувшиеся от этого безмолвия, стали еще угрюмее; мирная повседневность давала о себе знать всякого рода шумами: птица билась в клетке, скрипел токарный станок, сапожник стучал молотком, а старьевщики, бредя посреди улицы, тщетно вопрошали взглядом каждое окно. В глубине безлюдных кафе продавщицы зевали между полными графинами; на столах читален в порядке лежали газеты; в прачечной от порывов теплого ветра колыхалось белье. Время от времени он останавливался перед лавкой букиниста; омнибус, который проезжал мимо, задевая тротуар, заставлял его обернуться; а добравшись до Люксембургского сада, он дальше уже и не шел.

Иногда надежда чем-нибудь развлечься притягивала его к бульварам. Из темных переулков, где веяло сыростью, он попадал на большие пустынные площади, залитые солнцем, а от какого-нибудь памятника на мостовую падала черная зубчатая тень. Но вот опять начинали грохотать повозки, опять тянулись лавки, и толпа оглушала его — особенно по воскресеньям, когда от самой Бастилии вплоть до церкви св. Магдалины среди пыли, среди несмолкающего шума неся по асфальту огромный зыблющийся людской поток; его прямо тошнило от пошлости всех этих лиц, глупости разговоров, дурацкого самодовольства, написанного на потных лбах! Однако сознание, что сам он стоит выше этих людей, ослабляло усталость от подобного зрелища.

Каждый день Фредерик ходил в «Художественную промышленность», а чтобы узнать, когда вернется г-жа Арну, очень пространно расспрашивал о здоровье ее матери. Ответ Арну оставался неизменным: «Дело идет на поправку», — жена с девочкой должны были вернуться на будущей неделе. Чем дольше она медлила с возвращением, тем больше беспокойства проявлял Фредерик, так что Арну, тронутый этим сочувствием, раз пять-шесть приглашал его обедать в ресторан.

Во время этих длительных свиданий с глазу на глаз Фредерик понял, что торговец картинами не блещет умом. Но Арну мог бы заметить охлаждение с его стороны, и к тому же надо было хоть в некоторой степени отплатить ему за любезность.

Желая устроить все как можно лучше, он продал старьевщику за восемьдесят франков все новые свои костюмы и, приба-

вив к этой сумме еще сотню, оставшуюся у него, пошел к Арну пригласить его на обед. Там оказался Режембар. Пошли в ресторан «Три провансальских брата».

Гражданин прежде всего снял сюртук и, уверенный в одобрении своих сотрапезников, составил меню. Но хотя он и отправлялся на кухню, чтобы самолично переговорить с поваром, спускался в погреб, все закоулки которого знал, и вызвал хозяина ресторана, причем «намылил ему голову», — его не удовлетворили ни кушанья, ни вина, ни сервировка. При каждом новом блюде, при каждой новой марке вина он после первого же куса, первого же глотка бросал вилку или отодвигал бокал; потом, поставив локти на стол, вопил, что в Париже невозможно стало пообедать! Наконец, не зная, какое блюдо придумать, Режембар заказал себе «попросту» бобов на прованском масле, которые, хоть и не вполне удались, все же несколько умиротворили его. Затем у него завязался с лакеем диалог о прежних лакеях у «Провансальских братьев»: «Что случилось с Антуаном? А с неким Эженом? А с Теодором, тем маленьким, что прислуживал всегда внизу? В ту пору еда здесь была куда более тонкая, а бургонское — такое, какого больше уж и не встретишь!»

Потом речь зашла о ценах на землю в пригородах в связи с какой-то спекуляцией Арну, совершенно беспроектной. Пока что он терял на процентах. Так как он ни за что не соглашался продавать, Режембар предложил свести его с одним человеком, и оба принялись с карандашом в руках за какие-то вычисления, продолжавшиеся до конца десерта.

Кофе пошли пить в пассаж «Сомон», в кофейню, помещавшуюся на антресолях. Фредерик, все время стоя, следил за бесконечными партиями на бильярде, за которыми следовали бесчисленные кружки пива; и он пробыл тут до полуночи, сам не зная зачем, из малодушия, по глупости или в смутной надежде на какую-нибудь случайность, благоприятную для его любви.

Когда же он вновь увидит ее? Фредерик приходил в отчаяние. Но однажды вечером в конце ноября Арну сказал ему:

— Знаете, вчера вернулась жена!

На следующий день, в пять часов, он уже входил к ней.

Он стал поздравлять ее с выздоровлением матери, которая была так тяжело больна.

— Да нет. Кто вам сказал?

— Арну!

У нее вырвалось легкое «а-а!»; потом она прибавила, что сперва у нее были серьезные опасения, но теперь все прошло.

Она сидела у камина в глубоком вышитом кресле. Он расположился на диване, шляпу держал на коленях, и разговор был томительный; она его нисколько не поддерживала; повода заговорить о своих чувствах он не находил. А когда пожаловался, что должен изучать крючкомовство, она сказала: «Да... понимаю... процессы!» — и наклонила голову, внезапно поглощенная какими-то мыслями.

Он жаждал их узнать, уже и не думал ни о чем ином. Наступили сумерки, сгустились тени вокруг.

Она поднялась, — ей предстояло куда-то идти, — потом появилась вновь в бархатной шляпке и черной накидке, отороченной беличьим мехом. Он осмелился предложить себя в провожатые.

Уже совсем стемнело, погода была холодная, и густой злобонный туман заволакивал фасады домов. Фредерик вдыхал его с наслаждением, — ведь сквозь ватную подкладку он ощущал форму ее локтя, а ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось покрыть поцелуями, опиралась на его руку. Было скользко, и они шли походкой не совсем твердой, ему казалось, что их обоих, окутанных облаком, укачивает ветер.

Блеск фонарей на бульварах вернул его к действительности. Случай был подходящий, надо было спешить. Он решил, что признается в любви, когда минуют улицу Ришелье. Но почти в ту же минуту она остановилась у посудного магазина и сказала:

— Вот мы и дошли, благодарю вас. До четверга, не правда ли, как всегда?

Обеды возобновились, и чем чаще он бывал у г-жи Арну, тем большее испытывал томленье.

Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Он чувствовал, как что-то проникает в самые глубины его существа, подчиняет себе все другие его ощущения, становясь для него новой формой бытия.

Проститутки, встречавшиеся ему при свете газовых фонарей, певицы, выводившие рулады, наездницы, мчавшиеся галопом, мещанки, шедшие пешком, гризетки у своих окон — все женщины напоминали ее в силу сходства или резкого контраста. Он смотрел на выставленные в лавках кашемировые шали, кружева и подвески из драгоценных камней, рисуя в своем воображении, как они драпируют ее стан, украшают ее корсаж, огнями сверкают в ее черных волосах. На лотках у цветочниц цветы распускались для того, чтобы, проходя мимо, она могла выбрать

их; в витрине башмачника атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножек; все улицы вели к ее дому; экипажи на площадях стояли только для того, чтобы скорее можно было приехать к ней; Париж был связан с ней, и весь этот огромный город, полный стольких голосов, гудел, как исполинский оркестр, вокруг нее.

Когда он приходил в Ботанический сад, вид пальмы уносил его в далекие страны. Вот они путешествуют вместе на спине верблюда, в палатке на слоне, в каюте яхты среди лазурного архипелага или едут рядом на мулах с бубенцами, спотыкающихся в траве о разбитые колонны. Порою он останавливался в Лувре перед старинными полотнами, а так как любовь преследовала его и в былых веках, то лица на картинах он заменял образом любимой. Она в высоком головном уборе молилась на коленях за свинцовой решеткой окна. Властительница обеих Кастилий или Фландрии, она восседала в накрахмаленных брыжах и в стянутом лифе с пышными буфами. Или спускалась по огромной порфировой лестнице, окруженная сенаторами, в парчовом платье, под балдахином из страусовых перьев. А порою она представлялась его мечтам в желтых шелковых шальварах, на подушках, в гареме, и все, что было прекрасного, — мерцание звезд, мелодия, ритм фразы, какое-нибудь очертание — все это внезапно и незаметно возвращало его мысли к ней.

Но он был уверен, что всякая попытка сделать ее своей любовницей будет напрасна.

Однажды вечером Дитмер, войдя, поцеловал ее в лоб; Ловариас сделал то же самое и сказал:

— Вы позволяете, не так ли? Это право друзей...

Фредерик пробормотал:

— Мне кажется, мы все здесь друзья?

— Но не все старые! — возразила она.

Это значило, что косвенным путем она уже заранее отвергает его.

Но что же делать? Сказать ей, что он ее любит? Она, наверно, попросит, чтобы он оставил ее или даже с негодованием выгонит из дома! Он же любые мучения предпочел бы страшной участи больше никогда не видеть ее.

Он завидовал таланту пианистов, шрамам солдат. Он мечтал об опасной болезни, надеясь хоть таким путем привлечь ее внимание.

Одно удивляло его — то, что он не ревновал к Арну; и он не мог представить себе ее иначе, как одетой, — настолько

естественной казалась ее стыдливость, отодвигавшая ее пол в какую-то таинственную тень.

А меж тем он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», подолгу гладить ее волосы или стоять перед ней на коленях, обняв ее стан, упиваться ее взглядом, в котором светилась ее душа! Для этого пришлось бы побороть злой рок; а он, неспособный к действию, проклиная бога и обвиняя себя в малодушии, метался в плену у своих желаний, как узник в каземате. Он задыхался от тоски, не оставлявшей его. Он целыми часами сидел неподвижно или вдруг разражался слезами; но однажды, когда у него не хватило сил сдержаться, Делорье ему сказал:

— Да что с тобою, черт возьми?

Оказывается, Фредерик страдает нервами. Делорье и не поверил бы. Увидев такие муки, он почувствовал, как в нем пробуждается былая нежность к другу, и попытался вернуть ему бодрость. Такой человек, как он, и вдруг падает духом! Что за нелепость! В юности еще куда ни шло, но позднее — это же только потеря времени.

— Не узнаю моего Фредерика! Я требую прежнего. Человек, еще порцию! Тот был мне по вкусу! Ну, выкури трубку, скотина! Да встряхнись ты, ведь ты меня приводишь в отчаяние!

— Правда, — сказал Фредерик, — я с ума схожу!

Клерк продолжал:

— А, старый трубадур, я ведь знаю, что тебя печалит. Сердечко? Признавайся-ка. Ерунда! Одну потеряем, четырех найдем! За добродетельных дам нас утешают другие. Хочешь, я познакомлю тебя с женщинами? Стоит только сходить в «Альгамбру». (Это были публичные балы, недавно открывшиеся в конце Елисейских полей и потерпевшие крах уже в следующем сезоне, чему виной явилась роскошь, преждевременная для такого рода предприятий.) Там, говорят, весело. Съездим туда! Возьми, если хочешь, своих приятелей; я согласен даже на Режембара!

Фредерик Гражданина не пригласил. Делорье обошелся без Сенекаля. Они захватили с собой только Юссонэ, Сизи и Дюссардые, и один фиакр доставил всех пятерых к подъезду «Альгамбры».

Две галереи в мавританском стиле, параллельные одна другой, тянулись справа и слева. Перпендикулярно им подымалась стена дома, а четвертая сторона (там, где был ресторан) изображала ограду монастыря с цветными стеклами, на готический лад. Над эстрадой, где играли музыканты, раскинулось нечто

вроде шатра в китайском вкусе; земля была залита асфальтом, а венецианские фонари, качавшиеся на столбах, казались издали венцом из разноцветных огней над толпой танцующих. То тут, то там на пьедестале покоилась каменная чаша, из которой били тонкие струйки воды. Среди листвы виднелись гипсовые статуи — Гебы и купидонов, еще липкие от свежей масляной краски, а благодаря многочисленным аллеям, посыпанным ярко-желтым песком и тщательно расчищенным, сад казался гораздо обширнее, чем был на самом деле.

Студенты прогуливались со своими возлюбленными; приказчики из модных лавок важно выступали, щеголяя тросточками; воспитанники коллежей закуривали сигары; старые холостяки расчесывали гребешком свои крашеные бороды; были тут англичане, русские, приезжие из Южной Америки, три восточных человека в фесках. Лоретки, гризетки, публичные женщины пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, золотую монету или просто ради удовольствия потанцевать, и их широкие платья, светло-зеленые, темно-вишневые и фиолетовые, проносились, развеваясь, среди кустов раkitника и сирени. Мужчины почти все были в костюмах из клетчатой материи, иные, несмотря на прохладный вечер, в белых панталонах. Зажигались газовые рожки.

Юссонэ, благодаря своим связям с модными журналами и мелкими театрами, знал многих женщин; он посылал им воздушные поцелуи и время от времени покидал друзей, чтобы поговорить с той или иной из них.

Делорье позавидовал его развязности. Он нагло пристал к высокой блондинке в нанковом платье. Она угрюмо посмотрела на него и сказала: «Нет, любезный, никакого к тебе доверия!» — и пошла от него.

Он вновь попытал счастья — теперь с толстой брюнеткой, наверное сумасшедшей, ибо при первом же его слове она вскочила, грозя позвать полицию, если он не отстанет. Делорье натянуто рассмеялся; потом, заметив маленькую женщину, которая сидела в сторонке под фонарем, пригласил ее на кадрили.

Музыканты, сидевшие на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и трубили вовсю. Капельмейстер, стоя, автоматическим движением отбивал такт. Все сбились в кучу и веселились; развязавшиеся ленты шляпок задевали за галстуки, сапоги запутывались в юбках; все ритмично подпрыгивали. Делорье прижимал к себе маленькую женщину и, охваченный неистовством канкана, бесновался среди танцующих, точно большая марионетка. Сизи и Дюссардые продолжали прогуливаться; молодой

аристократ направлял лорнет на девиц, но, несмотря на уговоры приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, будто у таких женщин «всегда спрятан в шкафу человек с пистолетом, выскакивающий оттуда, с тем чтобы заставить вас подписать вексель».

Они вернулись к Фредерику. Делорье уже не танцевал, и все были заняты мыслью, как же закончить вечер; вдруг Юссонэ воскликнул:

— А! Вот маркиза д'Амаэги!

Это была бледная женщина со вздернутым носом, в митенках до локтей, с длинными черными локонами, свисавшими на щеки, точно собачьи уши. Юссонэ сказал ей:

— Надо бы нам устроить у тебя маленький кутеж, восточный раут. Постарайся собрать кой-кого из подруг для этих французских рыцарей. Ну, что тебя смущает? Может быть, ты ждешь своего идальго?

Андалузка стояла потупившись; зная отнюдь не роскошный образ жизни своего приятеля, она опасалась, как бы ей не пришлось расплачиваться за него. Но как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил пять наполеондоров, все содержимое своего кошелька; дело было решено. Однако Фредерик уже исчез.

Ему показалось, что он узнал голос Арну; он заметил дамскую шляпку и поспешил под сень боскета, тут же невдалеке.

Мадемуазель Ватназ была наедине с Арну.

— Извините! Я вам не помешал?

— Ничуть! — ответил торговец.

Из последних слов их разговора Фредерик понял, что Арну прибежал в «Альгамбру» поговорить с м-ль Ватназ о неотложном деле и, по-видимому, был не совсем спокоен, так как спросил ее с тревогой в голосе:

— Вы вполне уверены?

— Вполне уверена! Вас любят! Ах, что за человек!

И она надулась на него, выпятив свои толстые губы почти кровавого цвета — так они были накрашены. Зато у нее были чудесные глаза, карие, с золотистыми отблесками в зрачках, умные, полные любви и чувственности. Они, точно лампы, озаряли ее желтоватое и худое лицо. Арну как будто наслаждался резкостью ее обращения. Он наклонился к ней и сказал:

— Вы так милы, поцелуйте же меня!

Она взяла его за уши и поцеловала в лоб.

В этот миг танцы прекратились, и на месте капельмейстера появился красивый молодой человек, чрезмерно полный, с бе-

лым, как воск, лицом; у него были длинные черные волосы, ниспадавшие на плечи, как у Христа, лазоревого цвета бархатный жилет, расшитый большими пальмовыми ветками, вид гордый, как у павлина, и глупый, как у индюка; поклонившись публике, он запел шансонетку. В ней крестьянин описывал свое путешествие в столицу; артист пел на нижненормандском наречии, изображая пьяного, а после припева:

То-то хохот, то-то смех
Там в Париже — прямо грех! —

раздавался всякий раз топот, которым публика выражала свой восторг. Дельмас, этот мастер «выразительного пения», был слишком ловок, чтобы дать восторгу остыть. Ему поспешили вручить гитару, и он жалобно пропел романс под названием «Брат албанки».

Слова напомнили Фредерику песню, которую на пароходе, между двумя колесными кожухами, пел арфист в лохмотьях. Он невольно обращал взгляд на подол платья, раскинутого перед ним. За каждым куплетом следовала длительная пауза, и шелест ветра, игравшего листвою, казался шумом волн.

Мадемуазель Ватназ, раздвинув ветви бирючины, закрывавшие эстраду, пристально смотрела на певца; ее ноздри раздувались, глаза были прищурены, и вся она как будто отдавалась чувству глубокой сосредоточенной радости.

— Превосходно! — сказал Арну. — Я понимаю, почему вы нынче вечером в «Альгамбре»! Вам, моя милая, нравится Дельмас.

Она не хотела признаваться.

— О! Какая стыдливость!

И он указал на Фредерика.

— Может быть, из-за него? Вы не правы. Нет юноши более скромного!

Остальные, искавшие своего приятеля, тоже вошли в зеленую беседку. Юссонэ их представил. Арну всем предложил сигары и угостил всю кампанию шербетом.

Мадемуазель Ватназ покраснела, увидев Дюссардьё. Она вскоре поднялась со своего места и протянула ему руку:

— Вы узнаете меня, господин Огюст?

— Откуда вы ее знаете? — спросил Фредерик.

— Мы вместе служили в одном магазине! — ответил он.

Сизи дергал его за рукав, они вышли; и едва они скрылись, как м-ль Ватназ начала восхвалять характер Дюссардьё. Она даже прибавила, что «его сердце — это особый дар».

Потом завели речь о Дельмасе, который благодаря своей мимике мог бы рассчитывать на успех и в театре; и завязался спор, в котором попадались попеременно Шекспир, цензура, стиль, народ, сборы театра Порт Сен-Мартен, Александр Дюма, Виктор Гюго и Дюмерсан. Арну был знаком с несколькими знаменитыми актрисами; молодые люди даже наклонились, чтобы лучше слышать его. Но слова его заглушал грохот музыки; а как только заканчивалась полька или кадрили, все бросались к столикам, подзывали официантов, хохотали; в гуще листвы хлопали пробки от бутылок пива и шипучего лимонада; женщины кудахтали, как куры; временами каких-нибудь два господина затевали драку; был задержан вор.

Музыка заиграла галоп, и танцоры наводнили аллеи. Запыхавшиеся, с покрасневшими и улыбающимися лицами, они летели вихрем, так что развевались платья и фалды сюртуков; все громче ревели тромбоны, темп ускорялся; за средневековой монастырской оградой слышался треск, стали разрываться ракеты; завертелись солнца; изумрудное сияние бенгальских огней целую минуту освещало весь сад, и при последней ракете у толпы вырвался глубокий вздох.

Расходились медленно. В воздухе плавало облако порохового дыма. Фредерик и Делорье шаг за шагом продвигались в толпе, как вдруг им представилось зрелище: Мартинон требовал сдачу у вешалки, где хранятся зонты; он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, великолепно одетую и принадлежавшую неизвестно к какому общественному кругу.

— Этот молодчик, — сказал Делорье, — не так прост, как можно подумать. Но где же Сизи?

Дюссардье показал на кабачок, в котором они увидели потомка рыцарей за чашей пунша в обществе розовой шляпки.

Юссонэ, куда-то исчезнувший минут пять тому назад, появился вновь.

На руку его опиралась девушка, вслух называвшая его «котик».

— Перестань, — говорил он ей. — Перестань! Нельзя же на людях! Лучше называй меня виконтом! Вот это будет изысканно, как во дни Людовика Тринадцатого и вельмож в мягких сапогах, это мне по душе. Да, дражайшие, вот перед вами старая приятельница! Не правда ли, она мила?

Он взял ее за подбородок.

— Приветствуй этих господ! Они все сыновья пэров Франции! Я поддерживаю с ними знакомство, чтобы попасть в посланники!

— Этаким вы забавник! — вздохнула м-ль Ватназ.

Она попросила Дюссардые проводить ее домой.

Арну посмотрел им вслед, потом обратился к Фредерику:

— Нравится вам эта Ватназ? Впрочем, вы на этот счет неоткровенны! Мне кажется, вы скрываете ваши увлечения?

Фредерик, побледнев, стал клясться, что ничего не скрывает.

— Да ведь неизвестно, есть ли у вас любовница, — продолжал Арну.

Фредерику хотелось назвать наудачу какое-нибудь имя. Но это могли пересказать ей. Он ответил, что в самом деле у него нет любовницы.

Торговец порицал его за это.

— Нынче вечером вам представлялся случай. Отчего вы не сделали, как другие? Каждый уходит с женщиной.

— Ну, а вы? — сказал Фредерик, выведенный из терпения такой настойчивостью.

— О! Я дело другое, мой милый! Я возвращаюсь к собственной жене!

Он кликнул кабриолет и скрылся.

Друзья пошли пешком. Дул восточный ветер. Оба молчали. Делорье жалел, что не блеснул перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец он заметил, что бал показался ему преглупым.

— А кто виноват? Если бы ты не бросил нас для своего Арну...

— Э! Все, что бы я ни затеял, все было бы совершенно бесполезно!

Но у клерка были свои теории. Чтобы чего-нибудь добиться, стоит лишь сильно пожелать.

— А между тем ты сам только что...

— Наплевать мне было! — сказал Делорье, сразу пресекая намеки. — Стану я путаться с бабами!

И он начал обличать их жеманство, их глупость; словом, не нравятся они ему.

— Будет тебе рисоваться! — сказал Фредерик.

Делорье замолчал. Потом вдруг предложил:

— Хочешь пари на сто франков, что я столкнусь с первой же встречной!

— Идет!

Первой им попалась навстречу отвратительная нищая, и они уже стали терять надежду, как вдруг на середине улицы Риволи увидели высокую девушку с картонкой в руке...



Делорье подошел к ней под арками. Она быстро свернула по направлению к Тюильри и вскоре вышла на площадь Карусели, оглядываясь по сторонам. Она бросилась за фиакром; Делорье нагнал ее. Теперь он шел рядом с ней, сопровождая слова выразительными жестами. Наконец она взяла его под руку, и они двинулись дальше по набережным. Они дошли до Шатле, где потратили, по крайней мере, минут двадцать, шагая взад и вперед по тротуару, точно два матроса на вахте. Но вот они перешли Казначейский мост, пересекли Цветочный рынок, вышли на набережную Наполеона. Фредерик вслед за ними вошел в подъезд. Делорье дал ему понять, что он им помешает и ему остается лишь последовать их примеру.

— Сколько у тебя еще в кошельке?

Две монеты по сто су!

— Хватит вполне! Покойной ночи!

Фредериком овладело то удивление, какое испытываешь при виде удавшейся шутки. «Он надо мной смеется,— думал Фредерик.— Что, если я подымусь?» Делорье, пожалуй, решит, что он завидует его любовному приключению? «Как будто я сам не знаю любви, да еще во сто раз более редкостной, более благородной, более сильной!» Им овладела какая-то злоба. Он очутился у подъезда г-жи Арну.

Ни одно окно в ее квартире не выходило на улицу. И все-таки он остановился, не сводил глаз с фасада, как будто, впиваясь в него взглядом, он мог пробиться сквозь стену. Сейчас, наверно, она почивает, безмятежная, как заснувший цветок; чудесные черные волосы покоятся на кружевах подушки, губы полуоткрыты, руку она подложила под голову.

Ему померещилась и голова Арну. Он скорее отошел, чтобы спастись от этого видения.

Фредерик вспомнил совет Делорье и ужаснулся. Тогда он отправился бродить по улицам.

Едва навстречу приближался пешеход, Фредерик старался разглядеть его лицо. Порою луч света скользил у него под ногами, описывал на гладкой мостовой огромную дугу, и из темноты появлялся человек с корзиной на плече и с фонарем. Кое-где от ветра сотрясалось железо дымовой трубы; откуда-то издали доносились звуки, они сливались с шумом в его голове, и тогда ему чудилось, будто в воздухе смутно звучит ритурнель кадрили. Быстрая ходьба поддерживала в нем чувство опьянения; он оказался на мосту Согласия.

И тут ему вспомнился другой вечер, год тому назад, когда, в первый раз возвращаясь от нее, он вынужден был остановить-

ся — так сильно билось сердце, полное надежд. Все они умерли теперь!

Неслись темные облака, временами заволакивая луну. Фредерик смотрел на нее, думая о беспредельности пространств, о ничтожестве жизни, о тщете всего. Наступил рассвет; зубы у него стучали, и вот, полусонный, промокший от тумана, весь в слезах, он спросил себя, почему бы не положить всему этому конец. Стоит лишь сделать одно движение. Голова тянула его своею тяжестью, он уже видел свой труп, плывущий по воде; Фредерик наклонился. Парапет был несколько широк, и только от усталости Фредерик не попытался перепрыгнуть через него.

Страх овладел им. Он вернулся на бульвары и в изнеможении опустился на скамейку. Его разбудили полицейские, уверенные, что он «кутнул».

Фредерик встал и опять пошел. Но так как он сильно проголодался, а все рестораны были закрыты, то позавтракал он в кабачке на Крытом рынке. Потом, рассчитав, что еще слишком рано, он до четверти девятого бродил вокруг Ратуши.

Делорье давно уже отпустил свою красотку; теперь он сидел за столом посредине комнаты и писал. Часов около четырех появился г-н де Сизи.

Благодаря Дюссардьё он накануне вечером вступил в беседу с некоей дамой и даже проводил ее в экипаже вместе с ее мужем до самого дома, где она ему назначила свидание. Он только что оттуда. Ее там и не знают!

— Так чем же я могу вам помочь? — сказал Фредерик.

Тогда молодой дворянин стал молоть всякий вздор; он говорил о м-ль Ватназ, об андалузке и обо всех прочих. Наконец, после множества всяких отступлений, изложил цель своего визита: полагаясь на скромность приятеля, он пришел просить его содействия в одной попытке, после которой окончательно сможет считать себя мужчиной. Фредерик ему не отказал. Он посвятил в эту историю и Делорье, скрыв только то, что касалось его лично.

Клерк нашел, что «теперь он привел себя в полный порядок». Столь послушное отношение к его советам привело его в еще лучшее расположение духа.

Именно своей веселостью он и пленил с первой же встречи м-ль Клеманс Давиу, вышивальщицу золотом для военной обмундировки, кротчайшее в мире создание, стройное, как тростник, с большими голубыми глазами, вечно изумленными. Клерк злоупотреблял ее наивностью — вплоть до того, что уверял ее, будто награжден орденом; когда они оставались наеди-

не, он украшал свой сюртук красной ленточкой, но на людях от этого воздерживался, якобы потому, что не хотел унижать своего начальника. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволял себя ласкать, как какой-нибудь паша, и шутки ради называл ее «дочь народа». Всякий раз она приносила ему букетик фиалок. Фредерик не хотел бы такой любви.

Все же, когда они под руку уходили обедать к Пенсону или к Барийо в отдельный кабинет, им овладевала странная тоска. Фредерик и не подозревал, какие страдания он причинял Делорье в течение целого года, каждый четверг, когда, собираясь идти на улицу Шуазель, чистил себе ногти!

Однажды вечером, стоя у себя на балконе и глядя им вслед, он вдали, на Аркольском мосту, заметил Юссонэ. Тот знаками стал звать его, а когда Фредерик спустился с пятого этажа, сообщил:

— Дело вот в чем: в субботу, двадцать четвертого, именины госпожи Арну.

— Как? Ведь ее зовут Марией?

— И Анжелой. Да не все ли равно? Праздновать будут у них на даче, в Сен-Клу; мне поручено известить вас. В три часа у редакции вас будет ждать экипаж. Итак, решено! Простите, что побеспокоил. Но у меня столько дела!

Едва Фредерик вернулся, как привратник подал ему письмо:

«Господин и госпожа Дамбрёз просят господина Ф. Моро сделать им честь пожаловать к обеду в субботу, 24 сего месяца. Соболаговолите ответить».

«Слишком поздно», — подумал он.

Тем не менее он показал письмо Делорье, который воскликнул:

— А! Наконец-то! Но ты как будто недоволен? Почему?

Фредерик после некоторого колебания сказал, что на этот день у него еще другое приглашение.

— Сделай ты мне удовольствие — плюнь на улицу Шуазель! Брось глупости! Если ты стесняешься, я напишу за тебя.

И клерк в третьем лице написал, что приглашение принято.

Зная свет лишь сквозь лихорадку своих вожделений, он представлял его себе как искусственное творение, действующее по математическим законам. Званный обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины могли вызвать целый ряд поступков, вытекающих один из другого, иметь гигантские последствия. Иные из парижских салонов были в его глазах машинами, принимающими сырой материал и путем перера-

ботки придающими ему ценность во сто раз бóльшую. Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные путем интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке. Словом, он считал знакомство с Дамбрёзами столь полезным и проявил такое красноречие, что Фредерик уже не знал, какое принять решение.

Но, как бы то ни было, раз предстоят именины г-жи Арну, он должен сделать ей подарок; он, разумеется, подумал о зонтике, так как хотел загладить свою неловкость. И вот ему попался китайский зонтик переливчатого шелка с резной ручкой из слоновой кости. Но он стоил сто семьдесят пять франков, а у Фредерика не было ни одного су, жил он даже в кредит, в счет ожидаемых денег. Все же он непременно хотел его купить и, хоть это ему и претило, обратился к Делорье.

Делорье ответил, что у него нет денег.

— Мне нужно, — сказал Фредерик, — очень нужно!

А когда Делорье еще раз извинился, он вышел из себя.

— Ты бы мог иногда...

— Что?

— Ничего!

Клерк понял. Он взял из своих сбережений требуемую сумму и, отсчитав монету за монетой, сказал:

— Не беру расписки, потому что живу на твой счет!

Фредерик бросился ему на шею, всячески уверяя в своей дружбе. Делорье остался холоден. На другой день он увидел на рояле зонтик.

— Ах! Вот оно что!

— Я, может быть, его отошлю, — малодушно ответил Фредерик.

Помог случай: вечером он получил письмо с траурной каймой, в котором г-жа Дамбрёз, сообщая о смерти дяди, сожалела, что вынуждена отложить удовольствие с ним познакомиться.

К двум часам Фредерик пришел в контору газеты. Вместо того чтобы ждать его и везти в своем экипаже, Арну уехал еще накануне, так как ему не терпелось подышать свежим воздухом.

Он каждый год, едва появлялись первые листья, в течение нескольких дней подряд с самого утра отправлялся за город, совершал долгие прогулки по полям, пил молоко на фермах, заигрывал с крестьянками, справлялся о видах на урожай и привозил с собою в носовом платке пучки салата. Наконец он осуществил давнишнюю свою мечту — купил себе дачу.

Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла м-ль Ватназ, и была разочарована, что не застала Арну. Он, может быть, еще дня на два останется там. Приказчик посоветовал ей «поехать туда»; она не могла; написать письмо она боялась — вдруг оно пропадет. Фредерик предложил его передать. Она быстро написала записку и стала умолять Фредерика, чтобы он вручил ее без свидетелей.

Сорок минут спустя он уже был в Сен-Клу.

Дом находился на склоне холма, в каких-нибудь ста шагах от моста. Садовую ограду скрывали два ряда лип, к берегу реки спускалась широкая лужайка. Калитка была открыта, и Фредерик вошел.

Арну, растянувшись на траве, играл с котятами. Забава эта, видимо, поглощала его всецело. Письмо м-ль Ватназ нарушило его благодушное состояние.

— Черт возьми! Черт возьми! Неприятно! Она права; мне придется ехать.

Потом, засунув послание в карман, он доставил себе удовольствие показать гостю свои владения. Он показал все — конюшню, сарай, кухню. Гостиная была направо; за окнами, выходившими в сторону Парижа, тянулся трельяж, увитый ломоносом. Но вот над головой у них раздалась рулада: это г-жа Арну, — она думала, что одна в доме, — развлекалась пением. Она упражнялась в гаммах, трелях, арпеджо. Одни ноты словно застывали в воздухе, другие быстро скользили вниз, точно капельки в водопаде, и голос ее, проникавший сквозь жалюзи, разрывал глубокую тишину и поднимался к голубому небу.

Вдруг она умолкла — пришли соседи, супруги Удри.

Потом она сама появилась на крыльце, а когда стала спускаться по ступенькам, Фредерик увидал ее ногу. Г-жа Арну была в открытых туфельках бронзовой кожи с тремя поперечными переплетами, которые золотой решеткой выделялись на фоне чулка.

Приехали гости. За исключением адвоката Лефошера, все это были завсегдатаи четвергов. Каждый принес какой-нибудь подарок: Дитмер — сирийский шарф, Розенвальд — альбом романсов, Бюрьё — акварель, Сомбаз — карикатуру на самого себя, а Пеллерен — рисунок углем, изображающий нечто вроде плясок смерти, отвратительную фантазию, посредственную вещь. Юссонэ решил обойтись без подношения.

Фредерик, выждав, после всех преподнес ей свой дар.

Она горячо благодарила его. Тогда он сказал:

— Но... это почти что долг! Я так на себя досадовал...

— За что? — возразила она. — Я не понимаю!

— К столу! — сказал хозяин и схватил его под руку; потом на ухо шепнул: «Уж вы и недогадливы!»

Ничего не могло быть приятней для глаз, чем эта столовая, с бледно-зелеными стенами. На одном ее конце каменная нимфа погружала кончик ноги в бассейн, имевший форму раковины. В открытые окна был виден весь сад с длинной лужайкой, на краю которой возвышалась старая шотландская сосна, высохшая больше, чем наполовину; клумбы здесь были разбиты неравномерно, без строгого порядка; по ту сторону реки широким полукругом разворачивались Булонский лес, Нейи, Севр, Медон. За оградой, прямо напротив, скользила по воде парусная лодка.

Говорили сперва о виде, открывавшемся отсюда, потом о пейзаже вообще, и споры только еще начались, когда Арну приказал слуге заложить в половине десятого кабриолет. Письмо от кассира звало его в город.

— Хочешь, я поеду с тобой? — сказала г-жа Арну.

— Еще бы! — И он отвесил ей низкий поклон. — Вы же знаете, сударыня, что жить без вас я не могу.

Все стали поздравлять ее, что у нее такой прекрасный муж.

— О! Так ведь я не одна! — мягко заметила г-жа Арну, показывая на дочку.

Потом опять речь зашла о живописи, заговорили о картине Рюисдаля, за которую Арну надеялся выручить значительную сумму, и Пеллерен спросил, верно ли, что пресловутый Саул Матиас приезжал в прошлом месяце из Лондона и предлагал за нее двадцать три тысячи франков.

— Как нельзя более верно! — И Арну обратился к Фредерику: — Это как раз тот господин, с которым я в тот вечер был в «Альгамбре», не по своему желанию, уверяю вас; эти англичане вовсе незанимательны!

Фредерик, подозревавший, что письмо м-ль Ватназ скрывает какую-то любовную историю, изумился, с какой легкостью почтенный Арну нашел приличный повод, чтобы удрать в город, но эта новая ложь, совершенно уж ненужная, заставила его вытаращить глаза.

Торговец как ни в чем не бывало спросил:

— А как зовут того высокого молодого человека, вашего приятеля?

— Делорье, — поспешил ответить Фредерик.

И чтобы загладить вину, которую он перед клерком чувствовал, стал расхваливать его незаурядный ум.

— Неужели? Но на вид он не такой славный малый, как тот, другой, приказчик из транспортной конторы.

Фредерик уже проклинал Дюссардые. Вдруг она подумает, что он водится с простонародьем.

После разговор зашел о том, как украшается столица, о новых кварталах, и старик Удри в числе крупных дельцов назвал г-на Дамбрёза.

Фредерик, пользуясь случаем привлечь к себе внимание, сказал, что знаком с ним. Но Пеллерен разразился филиппикой против лавочников: торгуют ли они свечами или деньгами, разницы он в них не видит. Затем Розенвальд и Бюрё стали рассуждать о фарфоре; Арну разговаривал с г-жой Удри о садоводстве; Сомбаз, весельчак старого закала, забавлялся тем, что подтрунивал над ее мужем, он именовал его Одри, по имени актера, потом заявил, что он, наверно, потомок Удри, рисовальщика собак, ибо на лбу у него заметна шишка четвероногих. Он даже захотел ощупать его череп, а тот не давался — из-за парика, и десерт закончился среди раскатов смеха.

После того как выпили кофе в саду под липами, покурили и несколько раз прошлись по дорожкам, все общество отправилось к реке — погулять на берегу.

Остановились около рыбака, чистившего угрей в своей палатке. М-ль Марта захотела на них поглядеть. Рыбак высыпал их на траву; девочка бросилась на колени, стала их ловить; она то смеялась от удовольствия, то вскрикивала от испуга. Все угри разбежались. Арну заплатил за них.

Потом ему пришло в голову, что надо бы покататься на лодке.

С одного края горизонт начинал бледнеть, а с другого по небу широкой волной разливался оранжевый свет, приобретающий красноватый оттенок у вершины холмов, которые стали совсем черными. Г-жа Арну сидела на большом камне, спиной к этому зареву пожара. Остальные бродили поблизости; Юссонэ, стоявший внизу, у самой реки, бросал в воду камешки.

Вернулся Арну — он раздобыл старую лодку и, невзирая на увещания наиболее благоразумных, усадил в нее своих гостей. Лодка стала погружаться в воду; пришлось высадиться.

В гостиной, обтянутой ситцем, уже горели свечи в хрустальных жирандолях. Старушка Удри мирно задремала в кресле, а прочие слушали г-на Лефюшера, рассуждавшего о знаменитостях адвокатуры. Г-жа Арну стояла в одиночестве у окна; Фредерик подошел к ней.

Они говорили о том же, о чем и другие. Она восхищалась ораторами; он же предпочитал славу писателя. Но ведь, наверно, продолжала она, испытываешь большее наслаждение, когда непосредственно воздействуешь на толпу, когда видишь, что ей передаются все чувства твоей души. Это не соблазняет Фредерика — он не честолюбив.

— Ах! Но почему же? — сказала она. — Немного честолюбия не мешает.

Они стояли у окна друг подле друга. Ночь расстилалась перед ними, как громадный темный покров, усеянный блестками серебра. В первый раз они говорили не о безразличных вещах. Он даже узнал, что ее привлекает, что отталкивает; для нее были мучительны некоторые запахи, исторические книги ее занимали, она верила в сны.

Он затронул тему любви. Потрясения, причиняемые страстью, вызывали в ней сочувствие, а гнусное лицемерие возмущало ее; и эта прямота души так гармонировала с правильными чертами ее прекрасного лица, что казалось, будто между ними существует какая-то зависимость.

Порой она улыбалась, на миг задерживая на нем свой взгляд. Тогда он чувствовал, как ее взор проникает ему в душу, подобно тем могучим солнечным лучам, что пронизывают воду до самого дна. Он любил ее без всякой задней мысли, без надежды на взаимность, самозабвенно; и в своих немых порывах, похожих на пыл благодарности, хотел бы покрыть ее лоб градом поцелуев. В то же время некая внутренняя сила словно возвышала его над самим собой; то была жажда принести себя в жертву, потребность немедленно доказать свою преданность, тем более сильная, что он не мог ее удовлетворить.

Он не уехал вместе с другими гостями, Юссонэ тоже. Они должны были возвращаться в экипаже; кабриолет уже стоял у подъезда, когда Арну спустился в сад нарвать роз. Цветы он перевязал ниткой, а так как стебли были разной длины, он порылся у себя в кармане, полном бумажек, взял первую попавшуюся, завернул букет, скрепил его толстой булавкой и с чувством преподнес жене.

— Вот, дорогая, — и прости, что я не подумал о тебе!

Но она вскрикнула; булавка, нелепо воткнутая, уколола ее, и она ушла к себе в спальню. Ее ждали с четверть часа. Наконец она снова появилась, схватила Марту и поспешно села в коляску.

— А букет? — спросил Арну.

— Нет, нет, не стоит труда!

Фредерик побежал за ним; она ему крикнула:

— Не надо мне его!

Но он быстро принес букет и сказал, что опять завернул его в бумагу, так как цветы валялись на полу. Она засунула их за кожаный фартук напротив сиденья, и экипаж тронулся.

Фредерик, сидевший рядом с ней, заметил, что она вся дрожит. Проехав мост, Арну стал поворачивать налево.

— Да нет! — крикнула она, — ты не туда едешь! Надо направо!

Видимо, она была раздражена: все ее волновало. Наконец, когда Марта закрыла глаза, она вытащила букет и бросила его за дверцу, потом схватила Фредерика за руку, другой рукой делая ему знак больше об этом не заговаривать. Затем приложила к губам носовой платок и более не двигалась.

Двое их спутников, сидевшие на козлах, беседовали о типографии, о подписчиках. Арну, правивший небрежно, среди Булонского леса сбился с пути. Пришлось ехать какими-то узкими аллеями. Лошадь шла шагом; ветви деревьев задевали верх экипажа. В темноте Фредерик ничего не видел, кроме глаз г-жи Арну; Марта лежала у нее на коленях, а он поддерживал ей голову.

— Она вам мешает? — спросила мать.

Он отвечал:

— Нет! О нет!

Медленно подымались столбы пыли; экипаж проезжал через Отейль; все дома были заперты; то тут, то там фонарь освещал угол стены, потом опять въезжали в темноту; вдруг Фредерик заметил, что она плачет.

Что это — раскаяние? Какое-то желание? Ее печаль, причины которой он не знал, тревожила его, словно нечто, касавшееся его самого; теперь между ними возникла новая связь, своего рода сообщничество; и он ее спросил так ласково, как только мог:

— Вам не по себе?

— Да, немного, — ответила она.

Экипаж катил, жимолость и сирень, перекинув ветки за садовые ограды, наполняли ночной воздух томным благоуханием. Ее платье с многочисленными оборками закрывало ему ноги. Ему казалось, что девочка, лежащая между ними, связывает его со всем ее существом. Он наклонился к Марте и, откинув ее красивые темные волосы, тихонько поцеловал в лоб.

— Вы добрый! — сказала г-жа Арну.

— Почему это?

— Потому что любите детей.

— Не всех!

Он ничего больше не сказал, но протянул к ней левую руку и широко раскрыл ладонь, вообразив, что, может быть, она делает то же самое и руки их встретятся. Потом ему стало совестно, и он отдернул руку.

Вскоре выехали на мостовую. Экипаж катил быстрее, газовые рожки становились все многочисленнее — это был Париж. Перед зданием морского министерства Юссонэ соскочил с козел. Фредерик вышел из экипажа, только когда они въехали во двор дома, потом он притаился за углом улицы Шуазёль и, стоя там, увидал, как Арну медленно идет в сторону бульваров.

Со следующего же дня Фредерик изо всех сил принялся за работу.

Он видел себя в зале суда зимним вечером, когда защитительная речь близится к концу, лица присяжных бледны, а трепещущая толпа напирает на перегородки, так что они трещат; он говорит уже четыре часа, подводит итоги всем своим доказательствам, открывает новые и при каждой фразе, при каждом слове чувствует, как нож гильотины, повисший где-то там над обвиняемым, поднимается все выше; потом он видел себя на трибуне палаты депутатов, — он оратор, на устах которого спасение целого народа; он топит противников своими уподоблениями, уничтожает одним ответом; в голосе его слышатся и громы, и музыкальные интонации; все есть у него — ирония, пафос, гнев, величие. Она тоже там, где-то в толпе, она скрывает под вуалью слезы восхищения; потом они встречаются; и ни разочарования, ни клевета, ни обиды не коснутся его, если она скажет: «Ах! Как прекрасно!» — и проведет по его лбу своими тонкими руками.

Эти образы, точно маяки, сияли на его жизненном горизонте. Возбужденный ум его окреп и стал более гибким. До августа он заперся у себя и выдержал последний экзамен.

Делорье, который с таким трудом натаскивал его еще раз ко второму экзамену в конце декабря и к третьему — в феврале, удивлялся его рвению. Воскресли прежние надежды. Через десять лет Фредерик должен стать депутатом, через пятнадцать — министром. Почему бы и нет? Благодаря наследству, которое вскоре будет в его распоряжении, он может основать газету; с этого он начнет; а там видно будет. Что касается Делорье, то он по-прежнему мечтал о кафедре на юридическом факультете, и свою докторскую диссертацию он защитил так замечательно, что удостоился похвалы профессоров.

Через три дня после него защитил диссертацию и Фредерик. Перед отъездом на каникулы он решил устроить пикник, которым завершились бы субботние сборища.

На пикнике он был весел. Г-жа Арну находилась теперь у своей матери в Шартре. Но скоро он встретится с ней вновь и в конце концов станет ее любовником.

Делорье, как раз в тот день допущенный к ораторским упражнениям на набережной Орсе, произнес речь, вызвавшую немало аплодисментов. Хотя обычно он был воздержан, но на этот раз напился и за десертом сказал Дюссардые:

— Вот ты — человек честный! Когда я разбогатею, я сделаю тебя моим управляющим.

Все были счастливы. Сизи не предполагал кончать курс. Мартинон для продолжения своей деятельности собирался уехать в провинцию, где он будет назначен помощником прокурора; Пеллерен готовился приступить к большой картине на тему «Гений революции». Юссонэ на следующей неделе должен был читать директору театра Отдохновение план пьесы и в успехе не сомневался:

— Построение драмы не вызывает спора! В страстях я знаю толк — я достаточно таскался по свету; а что до остроумия, так это моя профессия!

Он сделал прыжок, стал на руки и несколько раз прошелся вокруг стола.

Сенекаля эта мальчишеская выходка не развеселила. Из пансиона, где он служил, его прогнали за то, что он побил сына аристократа. Терпя все большую нужду, он винил в этом общественный строй, проклинал богатых; свои чувства он изливал перед Режембаром, все более разочарованным, унылым, привередливым. Гражданин занимался теперь вопросами бюджета и обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.

Он не мог лечь спать, не заглянув в кабачок «Александр», и поэтому исчез еще в одиннадцать часов. Остальные ушли позднее; прощаясь с Юссонэ, Фредерик узнал от него, что г-жа Арну должна была вернуться накануне.

Он пошел в контору дилижансов переменить билет, чтоб уехать на день позже, и часов около шести явился к ней. Ее возвращение, сказал привратник, откладывается на неделю. Фредерик пообедал в одиночестве, потом слонялся по бульварам.

Розовые облака, длинные и растрепанные, тянулись над крышами; над витринами лавок уже начинали поднимать на-

весы; на уличную пыль из бочек поливальщиков брызнула вода, и неожиданная свежесть смешивалась с запахами кофеен, в открытые двери которых видны были, среди серебра и позолоты, целые снопы цветов, отражавшиеся в высоких зеркалах. Медленно двигалась толпа. Мужчины вели разговоры, стоя группами на тротуаре; женщины проходили мимо, и в их взглядах была та нега, а на лицах та матовая бледность камелий, которую вызывает усталость от сильной жары. Что-то необъятное было разлито в воздухе, окутывало дома. Никогда Париж не казался Фредерику таким прекрасным. Будущее представлялось ему бесконечной вереницей лет, полных любви.

Он остановился перед театром Порт Сен-Мартен, посмотрел на афишу и, так как делать ему было нечего, взял билет.

Играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало; в слуховые окошки над райком видно было небо — маленькие синие квадратики, а кенкеты рампы тянулись сплошной линией желтых огней. Сцена изображала невольничий рынок в Пекине — с колокольчиками, гонгами, султаншами, остроконечными шапками, а действие пересыпалось игрою слов. В антракте Фредерик пошел бродить по безлюдному фойе и увидел в окно на бульваре, у подъезда, большое зеленое ландо, запряженное парой белых лошадей, с кучером в коротких штанах.

Он уже возвращался на свое место, когда в первую ложу бельэтажа вошли дама и господин; у мужа было бледное лицо, окаймленное жидкими седыми бакенбардами, орден в петлице и тот холодный вид, который якобы всегда присущ дипломатам.

Жена, по крайней мере, лет на двадцать моложе, ни высокая, ни маленькая, ни дурнушка, ни хорошенькая, блондинка с локонами по английской моде, в платье с гладким лифом, держала в руке широкий черный кружевной веер. Чтобы объяснить, почему люди подобного круга в эту пору сезона приехали в театр, надо было предположить или какую-то случайность, или скуку при мысли о вечере, который им предстояло провести вдвоем. Дама покусывала веер, господин зевал. Фредерик не мог вспомнить, где он его видел.

Проходя по коридору в следующем антракте, он встретил их и неуверенно поклонился; г-н Дамбрёз, узнав его, подошел и сразу же стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, которые Фредерик посылал по советам клерка. Однако он путал года и думал, что Фредерик еще только на втором курсе. Потом он сказал Фредерику, что завидует его поездке в деревню. Ему самому надо бы отдохнуть, но дела удерживают его в Париже.

Госпожа Дамбрёз, опираясь на руку мужа, чуть наклоняла голову, и любезно-оживленное выражение ее лица не соответствовало печали, которая только что была на нем.

— Все же здесь есть и чудесные развлечения! — сказала она, как только муж ее замолчал. — Какая глупая пьеса! Не правда ли, сударь?

И все трое продолжали стоять, разговаривая о театре и новых пьесах.

Фредерик, привыкший к ломанью провинциальных мещанок, еще ни у одной женщины не видел такой непринужденности в обращении, той простоты, которая на самом деле есть не что иное, как изысканность, и в которой люди наивные усматривают проявление внезапной симпатии.

Они рассчитывали видеть его у себя, как только он вернется; г-н Дамбрёз поручил передать привет дядюшке Рокку.

Фредерик, возвратясь домой, не преминул рассказать об этой встрече Делорье.

— Великолечно! — заметил клерк. — Только не давай мамаше вертеть тобою! Возвращайся сразу же!

На другой день по его приезде г-жа Моро после завтрака повела сына в сад.

Она выразила радость по поводу того, что теперь он получил звание, ибо они не так богаты, как думают люди; земля приносит мало дохода; арендаторы платят неважно; она даже была вынуждена продать свой экипаж. Наконец она ознакомила его с положением их дел.

Когда, овдовев, она впервые оказалась в стесненных обстоятельствах, один коварный человек, г-н Рокк, одолжил ей денег и, помимо нее, возобновлял и переносил сроки векселя. Вдруг он сразу потребовал все, и она пошла на его условия, за смехотворную цену уступила ему Прельскую ферму. Десять лет спустя, при крахе банка в Мелёне, погиб и ее капитал. В ужасе перед необходимостью заложить недвижимость и стремясь в то же время сохранить прежний образ жизни, что в будущем могло оказаться полезным для ее сына, она, когда г-н Рокк снова явился к ней, еще раз согласилась на его предложения. Но теперь она с ним в расчете. Короче говоря, у них остается приблизительно десять тысяч франков годового дохода, из них на долю Фредерика — две тысячи триста, все, что осталось от наследства отца!

— Да не может быть! — воскликнул Фредерик.

Она только кивнула головой в знак того, что это вполне может быть.

Но дядя-то оставит ему что-нибудь?

Вот это совершенно неизвестно!

И они молча прошли по саду. Наконец она прижала его к груди и сказала голосом, сдавленным от слез:

— Ах! Бедный мой мальчик! Мне пришлось отказаться от стольких надежд.

Он сел на скамейку под тенью густой акации.

Ее совет — поступить клерком к адвокату Пруараму, который впоследствии передаст ему свою контору; если он хорошо поведет дела, то сможет ее перепродать и найти богатую невесту.

Фредерик уже не слушал. Он машинально смотрел поверх изгороди в соседний сад.

Там была девочка лет двенадцати, рыжеволосая, совсем одна. Из ягод рябины она сделала себе серьги, с ее плеч, чуть золотистых от загара, спускался серый полотняный лиф, на белой юбке были пятна от варенья, а во всей ее фигурке, напряженной и хрупкой, чувствовалась грация хищного зверька. Присутствие незнакомца, по-видимому, удивило ее; держа в руках лейку, она вдруг застыла на месте и уставилась на него прозрачными голубовато-зелеными глазами.

— Это дочка господина Рокка, — сказала г-жа Моро. — Он недавно женился на своей служанке и узаконил ребенка.

VI

Разорен, ограблен, погублен!

Фредерик продолжал сидеть на скамейке, словно ошеломленный ударом. Он проклинал судьбу, ему хотелось кого-нибудь прибить; и он приходил в еще большее отчаяние оттого, что чувствовал над собой гнет какого-то оскорбления, бесчестья; ибо раньше он воображал, что отцовское состояние будет со временем приносить тысяч пятнадцать годового дохода, и дал это понять супругам Арну. Теперь его сочтут за хвастуна, за мошенника, за темного плута, который втерся к ним в надежде на какие-то выгоды! А она, а г-жа Арну! Как теперь встретиться с нею?

Впрочем, это уж и вовсе немыслимо, раз у него всего лишь три тысячи годового дохода! Ведь не может он вечно жить на четвертом этаже, иметь в услужении только привратника и целый год являться все в тех же жалких черных перчатках, побелевших на пальцах, в просаленной шляпе, в одном

и том же сюртуке. Нет! Нет! Ни за что! А между тем жить без *нее* невыносимо. Правда, многие не имеют никакого состояния,—Делорье в том числе,—и ему показалось малодушием, что он придает такую важность столь ничтожным обстоятельствам. Нужда, быть может, во сто крат умножит его способности. Мысль о великих людях, работающих где-то там, в мансардах, возбудила его. Душу г-жи Арну подобное зрелище должно тронуть, и она умилится. Пожалуй, эта катастрофа в конце концов окажется счастьем; подобно землетрясениям, благодаря которым обнаруживаются сокровища, она вызовет к жизни скрытые богатства его натуры. Но во всем мире есть только одно место, где могут их оценить,—Париж! Ибо в его представлениях искусство, науки и любовь (эти три лика божества, как сказал бы Пеллерен) были совершенно немыслимы вне столицы.

Вечером он объявил матери, что вернется в Париж. Г-жа Моро была удивлена и возмущена. Это безумие, нелепость. Лучше бы он послушался ее советов, то есть остался с нею, начал службу в конторе. Фредерик пожал плечами: «Полноте!» — и решил, что такое предложение для него оскорбительно.

Тогда добрая женщина прибегла к другому способу. Тихо всхлипывая, она нежным голосом стала говорить о своем одиночестве, о своей старости, о жертвах, принесенных ею. Теперь, когда она так несчастна, он ее покидает. Потом, намекая на близость своей смерти, сказала:

— Боже мой, потерпи немножко! Скоро ты будешь свободен!

Эти жалобы повторялись раз двадцать в день в течение целых трех месяцев, а в то же время приятности домашней жизни подкупали его; он наслаждался мягкой постелью, полотенцами, на которых не было дыр, и вот, обессиленный, лишенный воли, словом, побежденный страшной силой кротости, Фредерик позволил отвести себя к мэтру Пруараму.

Он не выказал там ни знаний, ни усердия. До сих пор на него смотрели как на молодого человека с большими задатками, как на будущую гордость департамента. И все были разочарованы.

Первое время он думал про себя: «Надо сообщить г-же Арну», — и целую неделю обдумывал письма, полные дифирамбов, и коротенькие записки в стиле лапидарном и возвышенном. Его удерживала боязнь признаться в своем положении. Потом он решил, что лучше написать ее мужу. Арну

знает жизнь и поймет его. Наконец, после двухнедельных колебаний, он решил: «Да что там! Мне больше не видаться с ними. Пусть забудут меня! По крайней мере, я не уроню себя в ее мнению! Она подумает, что я умер, и пожалеет обо мне... быть может».

Так как и самые крайние решения не стоили ему труда, то он дал себе клятву никогда больше не возвращаться в Париж и даже не справляться о г-же Арну.

А между тем он испытывал сожаление решительно обо всем, вплоть до запаха газа и грохота омнибусов. Он мечтательно вспоминал всякое слово, слышанное от нее, тембр ее голоса, блеск ее глаз и, считая себя конченным человеком, не делал уже ничего, решительно ничего.

Он вставал очень поздно, смотрел в окно на проезжавшие мимо возы. Особенно скверно чувствовал он себя первые полгода.

Все же случались дни, когда им овладевало негодование на самого себя. Тогда он уходил из дому. Он шел по лугам, которые зимой наполовину затоплены разливом Сены. Их разделяют ряды тополей. То тут, то там подымается мостик. Он бродил до вечера, ступая по желтым листьям, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы; по мере того как кровь сильнее стучала в висках, его охватывала неистовая жажда деятельности; ему хотелось бы стать охотником в Америке, поступить слугою к восточному паше или матросом на корабль; свою меланхолию он изливал в длинных письмах к Делорье.

Тот из кожи лез вон, лишь бы пробиться. Малодушное поведение друга и его вечные жалобы казались клерку нелепыми. Вскоре их переписка почти сошла на нет. Всю свою обстановку Фредерик подарил Делорье, который продолжал жить в его квартире. Мать время от времени заговаривала на эту тему; наконец он сознался в сделанном им подарке, и мать стала бранить его. Как раз в это время ему принесли письмо.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты весь дрожишь?

— Что со мной? Да ничего! — ответил Фредерик.

Делорье сообщал ему, что поселил у себя Сенекаля и они уже две недели живут вместе. Итак, Сенекаль пребывает сейчас среди вещей, связанных с четой Арну. Он может продать их; делать замечания на их счет, шутить. Фредерик почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Он ушел к себе в комнату. Ему хотелось умереть.

Мать позвала его. Ей надо было посоветоваться с ним относительно каких-то насаждений в саду.

Этот сад, вроде английского парка, был разделен по середине изгородью, и одна половина принадлежала дядюшке Рокку, у которого на берегу реки был еще и огород. Соседи, находившиеся в ссоре, избегали появляться в саду в одни и те же часы. Но с тех пор как вернулся Фредерик, г-н Рокк чаще стал гулять там и не скупился на любезности по его адресу. Он сочувствовал сыну г-жи Моро, которому приходится жить в маленьком городке. Однажды он ему сказал, что г-н Дамбрёз о нем спрашивал. В другой раз он стал распространяться о Шампани, по обычаям которой титул переходил к детям по женской линии.

— В ту пору вы были бы знатным господином, ведь ваша матушка урожденная де Фуван. И право, что ни говори, а имя кое-что да значит! Впрочем,— прибавил он, лукаво глядя на него,— все зависит от министра юстиции.

Эти притязания на аристократизм удивительно противоречили всему его облику. Он был мал ростом, а просторный коричневый сюртук нарушал пропорции его туловища, удлиняя его. Когда он снимал фуражку, показывалось почти женское лицо с необычайно острым носом; желтые волосы напоминали парик; кланялся он при встречах очень низко, задевая стены.

До пятидесяти лет он довольствовался услугами некой Катрины, родом из Лотарингии, его ровесницы, лицо у нее было изрыто оспой. Но в 1834 году он вывез из Парижа красавицу блондинку с овечьим выражением лица и «царственной осанкой». Вскоре она стала важно разгуливать с огромными серьгами в ушах, а после рождения дочери, записанной под именем Елизаветы-Олимпии-Луизы Рокк, все стало ясно.

Катрина, снедаемая ревностью, думала, что возненавидит ребенка. Напротив, она полюбила эту девочку, окружила ее заботами, вниманием и ласками, чтобы занять место матери и восстановить против нее малютку, и это не стоило большого труда, ибо г-жа Элеонора совершенно забросила дочь, предпочитая болтать со своими поставщиками. На другой же день после свадьбы она побывала с визитом в доме субпрефекта, перестала говорить служанкам «ты» и решила, считая это хорошим тоном, держать девочку в строгости. Она сама присутствовала на уроках; учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как ему и быть. Ученица бунтовала, получала пощечины, а потом плакала на коленях у Катрины, неизменно признававшей ее правоту. Тогда женщины ссорились;

г-н Рокк заставлял их умолкнуть. Он женился из любви к дочери и не хотел, чтобы ее мучили.

Она часто ходила в изодранном белом платье и в кружевных панталонах, но в большие праздники ее наряжали как принцессу, назло обывателям, которые, ввиду ее незаконного рождения, запрещали своим малышам водиться с ней.

Она жила одна в своем саду, качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась посмотреть, как жук садится на розовый куст. Должно быть, этот образ жизни и придал ее лицу выражение смелости и в то же время мечтательности. Она была такого же роста, как Марта, так что Фредерик уже при второй их встрече спросил ее:

— Вы мне позволите поцеловать вас, мадемуазель?

Девочка подняла голову и ответила:

— Пожалуйста!

Но изгородь отделяла их друг от друга.

— Надо на нее влезть, — сказал Фредерик.

— Нет, подними меня!

Он перегнулся через ограду и, схватив ее под мышки, поцеловал в обе щеки, потом таким же образом поставил ее на место; это повторялось несколько раз.

Непосредственная, как четырехлетний ребенок, она, едва заслышав, что идет ее друг, бросалась к нему навстречу или же, спрятавшись за дерево, таякала по-собачьи, чтобы его испугать.

Как-то раз, когда г-жи Моро не было дома, он привел ее в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и густо напмадила себе волосы; потом без стеснения улеглась на его постель, но спать не собиралась.

— Я воображаю, что я твоя жена, — сказала она.

На следующий день он застал ее всю в слезах. Она призналась, что «оплакивает свои грехи», а когда он захотел разузнать о них, она, потупившись, ответила:

— Не спрашивай меня!

Приближался день первого причастия; утром ее повели исповедоваться.

После этого таинства она не стала благоразумнее. Порою она впадала прямо в ярость; тогда, чтобы успокоить ее, за помощью обращались к Фредерику.

Он часто уводил ее с собою на прогулку. Пока он, шагая, предавался своим грезам, она собирала маки вдоль нив, а если замечала, что он грустнее, чем обычно, старалась утешить его нежными словами. Его сердце, не знавшее взаим-

ной любви, отозвалось на эту детскую привязанность; он рисовал ей человечков, рассказывал разные истории и стал читать ей вслух.

Он начал с «Романтических анналов», в ту пору знаменитого собрания стихов и прозы. Потом, забыв о ее возрасте, — до того он поражался ее уму, — он прочел ей «Аталу», «Сен-Мара», «Осенние листья». Но однажды ночью (в тот вечер она слушала «Макбета» в незатейливом переводе Летурнера) она проснулась с криком: «Пятно! Пятно!» — зубы ее стучали, она дрожала и, не отрывая испуганных глаз от правой руки, терла ее и повторяла: «Все то же пятно!» Наконец пришел врач и не велел волновать ее.

Местные буржуа увидели в этом лишь дурное предзнаменование для ее нравственности. Пошли толки, что «сын Моро» хочет сделать из нее в будущем актрису.

Вскоре всеобщее внимание было привлечено другим событием, а именно, приездом дядюшки Бартелеми. Г-жа Моро отвела ему собственную спальню и в своей предупредительности дошла до того, что в постные дни стала подавать скоромное.

Старик оказался не очень любезным. Не было конца сравнениям между Гавром и Ножаном, где, по его мнению, воздух тяжелый, хлеб скверный, улицы плохо вымощены, провизия неважная, а жители города лентяи. «Что за жалкая у вас торговля!» Он осуждал своего покойного брата за сумасбродство; то ли дело он сам: ведь он нажил капитал, который дает двадцать семь тысяч ливров годового дохода! Но вот к концу недели он уехал и, уже садясь в экипаж, проронил мало обнадеживающие слова:

— Мне всегда отрадно знать, что вы живете в достатке.

— Ничего ты не получишь! — сказала г-жа Моро, возвращаясь в комнаты.

Приехал он только по ее настояниям, и она всю неделю добивалась, — слишком явно, может быть, — чтобы он открыл свои намерения. Она уже раскаивалась в этом и сидела теперь в кресле, опустив голову, сжав губы. Фредерик, сидя против нее, следил за ней взглядом, и оба молчали, как было пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Это совпадение, невольно пришедшее ему в голову, напомнило ему о г-же Арну.

В эту минуту под окном раздалось щелканье бича, и кто-то его позвал.

То был дядюшка Рокк — один в своей повозке. Он собирался провести целый день в Ла Фортель, у г-на Дамбрёза, и дружески предложил Фредерику поехать с ним.

— Со мной вам не надо приглашений, не беспокойтесь!

Фредерик охотно бы согласился. Но чем объяснить свое окончательное переселение в Ножан? Не было у него и подходящего летнего костюма. Наконец, что скажет мать? Он отказался.

С этих пор сосед сделался менее дружелюбен. Луиза подрастала. Г-жа Элеонора опасно заболела, и общение прервалось, к великому удовольствию г-жи Моро, опасавшейся, что знакомство с подобными людьми повредит карьере сына.

Она мечтала купить ему место в канцелярии суда. Фредерик не особенно сопротивлялся этому намерению. Теперь он сопровождал ее к обеду, по вечерам играл с нею в империал; он привыкал к провинции, погружался в нее, и даже самая его любовь приобрела какую-то замогильную сладость, дремотное очарование. Свою скорбь он столько раз изливал в письмах, столько раз вспоминал о ней, читая книги или гуляя среди полей и все окрашивая ею, что она почти иссякла, и г-жа Арну была для него теперь как бы покойницей, и он удивлялся, что не знает, где ее могила, — такой тихой и смиренной стала его привязанность.

Однажды, — это было 12 декабря 1845 года, — кухарка часов в девять утра подала Фредерику в комнату письмо. Адрес был написан крупными буквами, незнакомым почерком, и Фредерик, еще сонный, неторопливо его распечатал. Наконец он прочел:

«Гаврский мировой судья, III округ.

Милостивый государь,

Ваш дядя, господин Моро, скончавшись *ab intestat*...»¹

Он наследник!

Фредерик вскочил с постели, босиком, в одной рубашке, как будто за стеной вспыхнул пожар; он провел рукой по лицу, не веря собственным глазам, думая, не пригрезилось ли ему все это, и, желая убедиться, что не спит, распахнул окно.

Выпал снег; крыши побелели; и на дворе он даже заметил лохань для стирки, на которую наткнулся накануне вечером.

Он три раза подряд перечитал письмо. Никакого сомнения! Все состояние дяди! Двадцать семь тысяч ливров годового дохода! И неистовая радость потрясла его при мысли, что он увидит г-жу Арну. Отчетливо, как в галлюцинации, он узрел себя рядом с ней, у нее в доме; он привез ей какой-то

¹ Не оставив завещания (*лат.*).

подарок, завернутый в тончайшую бумагу, а у подъезда его ждет тильбюри, нет, лучше двухместная карета! Да, черная двухместная карета, со слугою в коричневой ливрее. Он слышит, как лошадь бьет копытом, а позвякивание уздечки сливается с нежными звуками их поцелуев. Так будет каждый день, до бесконечности. Он станет принимать их у себя, в своем доме; столовая будет обита красным сафьяном, будуар желтым шелком, всюду диваны! И какие этажерки! Китайские вазы! Какие ковры! Эти образы неслись столь стремительно, что у него закружилась голова. Тогда он вспомнил о матери и пошел к ней, все не выпуская письма из рук.

Госпожа Моро пыталась сдержать свое волнение и чуть не упала в обморок. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб.

— Милая матушка, ты теперь снова можешь купить экипаж. Улыбнись же, не надо плакать, будь счастлива!

Через десять минут новость распространилась вплоть до предместий. Тут поспешили явиться мэтр Бенуа, г-н Гамблен, г-н Шамбион, все друзья. Фредерик убежал от них на минуту, чтобы написать Делорье. Пришли новые гости. Всю вторую половину дня заполнили поздравления. За всем этим позабыли о жене Рокка, а между тем она была «совсем плоха».

Вечером, когда они остались вдвоем, г-жа Моро сказала сыну, что советует ему обосноваться в Труа, заняться адвокатурой. В родных краях его знают лучше, чем где-либо в другом месте, здесь он легче может найти богатую невесту.

— Ну, это уж слишком! — воскликнул Фредерик.

Не успело счастье прийти к нему, как его хотят уже отнять. Он объявил о своем категорическом решении поселиться в Париже.

— А что там делать?

— Ничего!

Госпожа Моро, удивленная таким тоном, спросила, кем же он намерен стать?

— Министром! — ответил Фредерик.

И он уверил ее, что нисколько не шутит, что он хочет пойти по дипломатической части, что к этому его побуждают и познания и склонности. Сперва он поступит в государственный совет по протекции г-на Дамбрёза.

— Так ты с ним знаком?

— Еще бы! Через господина Рокка!

— Странно, — сказала г-жа Моро.

Он пробудил в ее сердце давние честолюбивые мечты. Она отдалась им и ни о чем другом уже не заговаривала.

Фредерик — повинуйся он только своему нетерпению — уехал бы тотчас же. На другой день все места в дилижансе оказались проданы; ему пришлось терзаться до следующего дня, до семи часов вечера.

Когда они садились обедать, протяжно прозвучали три удара церковного колокола, и служанка, войдя в комнату, объявила, что г-жа Элеонора скончалась.

Эта смерть, в сущности, ни для кого не была горем, даже для ребенка. Девочке это со временем могло пойти лишь на пользу.

Так как дома стояли рядом, то слышна была суматоха, доносились голоса; и мысль об этом трупе, который находится так близко от них, бросала на их расставание траурную тень. Г-жа Моро раза два-три вытирала глаза, у Фредерика сжималось сердце.

Когда кончили обедать, к нему в дверях подошла Катрина. Барышня непременно хочет его видеть. Она ждет его в саду. Он вышел, перескочил через изгородь и, натыкаясь на деревья, направился к дому г-на Рокка. В одном из окон второго этажа горел свет, из темноты показалась тень, и голос прошептал:

— Это я.

Она показалась ему выше обыкновенного, должно быть из-за черного платья. Не зная, с какими словами обратиться к ней, он только взял ее за руку и со вздохом сказал:

— Ах, бедная моя Луиза!

Она ничего не ответила. Посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Фредерик боялся опоздать на дилижанс; вдали он уже будто слышал стук колес и решил положить конец разговору:

— Катрина мне говорила, что ты хочешь что-то...

— Да, верно, я хотела вам сказать...

Это «вы» удивило его; она умолкла, и он спросил:

— Ну что же?

— Да не помню. Позабыла! Правда, что вы уезжаете?

— Да, и сейчас.

Она переспросила:

— Ах, сейчас?.. Совсем?.. Мы больше не увидимся? — Ее душили рыдания. — Прощай! Прощай! Поцелуй меня!

И она порывисто обняла его.

I

Когда Фредерик занял свое место в глубине экипажа и дилижанс тронулся, дружно подхваченный пятеркой лошадей, им овладел какой-то опьяняющий восторг. Как зодчий создает план дворца, так он заранее начал обдумывать свою жизнь. Он наполнил ее утонченностью и великолепием; она возносилась к горным высотам; всего в ней было в изобилии, и созерцание ее так глубоко его захватило, что внешний мир для него исчез.

Лишь когда поравнялись с сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали только пять километров, самое большее. Фредерик был возмущен. Он опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Несколько раз он задавал кондуктору вопрос, когда в точности они приедут. Мало-помалу он успокоился и сидел в своем углу с открытыми глазами.

Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. А впереди Фредерик различал лишь гривы остальных лошадей, зыблющиеся, как белые волны; от их дыхания по обе стороны упряжи клубился пар; железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, и тяжелый экипаж мерно катился по дороге. То тут, то там из мрака выступали какой-нибудь сарай или одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали деревню, видно было зарево печи, топившейся в пекарне, и чудовищные силуэты лошадей проносились по стене дома, стоящего напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, на минуту водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше экипажа, и на крыльце появлялась женщина, рукой защищая свечу от ветра. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова трогался в путь.

В Мормане Фредерик услышал, как часы пробили четверть второго.

«Так, значит, сегодня,— подумал он,— уже сегодня, совсем скоро!»

Но мало-помалу его надежды и воспоминания, Ножан, улица Шуазёль, г-жа Арну, мать — все смешалось.

Его разбудил глухой стук колес по деревянному настилу: переезжали Шарантонский мост — это был Париж. Тогда его спутники сняли один — фуражку, а другой — фуляровый платок, надели шляпы и занялись разговорами. Первый, краснолицый толстяк в бархатном сюртуке, был купец; второй ехал в столицу посоветоваться с врачом, и вот Фредерик, вдруг испугавшись, не причинил ли ему ночью беспокойства, стал извиняться,— столь умиляюще действовало счастье на его душу.

Так как Вокзальная набережная была, видимо, затоплена, ехать продолжали прямо, и опять потянулись поля. Вдали дымили высокие фабричные трубы. Потом экипаж повернул на Иври. Въехали на какую-то улицу; внезапно Фредерик увидел купол Пантеона.

Взрытая равнина напоминала груды развалин. На ней длинной полосой вздувался крепостной вал; вдоль пешеходных дорожек, окаймлявших шоссе, выстроились чахлые деревца, не успевшие разветвиться и окруженные защитными рейками, которые были утыканы гвоздями. Фабрики химических изделий чередовались с лесными складами. В полуоткрытые высокие ворота, вроде тех, что бывают на фермах, виднелась внутренность отвратительных дворов, полных нечистот, с грязными лужами посредине. На длинных трактирных зданиях цвета бычьей крови в простенках между окнами второго этажа выделялось по два скрещенных бильярдных кия в венке из намаленных цветов; то тут, то там попадались жалкие лачуги, лишь наполовину отстроенные и оштукатуренные. Потом по обе стороны потянулись сплошной линией дома, и на их обнаженных фасадах то гигантская сигара из жести указывала табачную лавку, то виднелась вывеска повивальной бабки с изображением представительной женщины в чепце, которая указывала младенца, завернутого в стеганое одеяло с кружевами. Углы домов были заклеены афишами, на три четверти изорванными и трепетавшими от ветра, точно лохмотья. Проходили рабочие в блузах, проезжали повозки с бочонками пива, прачечные фургоны, тележки с мясом; моросил дождь, было холодно, на бледном небе — ни просвета, но там, за мглой, сияли глаза, которые для него стоили солнца.

У заставы долго стояли, так как торговцы яйцами, ломовики и стадо овец запрудили весь проезд. Караульный, надвинув капюшон шинели, шагал взад и вперед перед своей будкой, чтобы согреться. Акцизный чиновник влез на империал, и звонко раздался сигнал почтового рожка. По бульвару экипаж промчался рысью — стучали вальки, болтались постромки. Длинный бич щелкал в сыром воздухе. Кондуктор громко кричал: «Эй! Берегись!» — и метельщики сторонились, пешеходы отскакивали назад, брызги грязи летели в окна дилижанса; навстречу двигались возы, кабриолеты, омнибусы. Наконец показалась решетка Ботанического сада.

Желтоватая вода Сены почти достигала настила мостов. От нее веяло прохладой. Фредерик всей грудью вдыхал ее, наслаждаясь благодатным воздухом Парижа, словно напоенным любовью и насыщенным мыслью; он умилился, увидев первый фиакр. И все было ему мило — даже солома, устилавшая пороги винных погребков, даже чистильщики сапог с их ящиками, даже приказчик из бакалейной лавки, встряхивающий жаровню для кофе. Торопливо проходили жепщины под зонтиками; Фредерик высовывался, вглядывался в их лица; ведь случай мог привести сюда и г-жу Арну.

Тянулись магазины, толпа становилась гуще, шум оглушительней. Миновав набережную Святого Бернара, набережную Турнель и набережную Монтебелло, дилижанс продолжал путь по набережной Наполеона; Фредерику захотелось взглянуть на окна своей квартиры, но это было далеко. Потом по Новому мосту еще раз перебрались через Сену, доехали до Лувра, а дальше улицами Святого Гонория, Круа-де-Пти-Шан и Булуа, попали на улицу Цапли и въехали во двор гостиницы.

Чтобы продлить удовольствие, Фредерик одевался как можно медленнее и даже пошел на бульвар Монмартр пешком; улыбаясь при мысли, что вот сейчас на мраморной доске снова увидит любимое имя, он поднял глаза. Ни витрины, ни картин — ничего!

Он бросился на улицу Шуазель. Господа Арну там больше не жили, вместо привратника сидела какая-то соседка. Фредерик подождал его; наконец он появился — это был не тот. Адреса их он не знал.

Фредерик зашел в кафе и за завтраком навел справку в «Торговом альманахе». Там оказалось триста разных Арну, но Жака Арну не было! Где же они живут? Адрес должен бы знать Пеллерен.

Он отправился в самый конец предместья Пуассоньер, в

его мастерскую. У двери не было ни звонка, ни молотка; Фредерик несколько раз изо всей силы постучал кулаком, звал, кричал. Ему ответила пустота.

Потом он вспомнил об Юссонэ. Но где разыщешь такого человека? Однажды Фредерику случилось проводить журналиста до дома, где жила его любовница, — на улицу Флерюс. Дойдя до улицы Флерюс, Фредерик спохватился, что не знает, как зовут эту девицу.

Он прибегнул к полицейской префектуре. Он блуждал с лестницы на лестницу, из канцелярии в канцелярию. Адресный стол уже заканчивал работу. Ему предложили прийти на другой день.

Потом он стал заходить ко всем торговцам картинами, каких только мог обнаружить, и спрашивался, не знают ли они Арну. Г-н Арну больше не занимался этим видом торговли.

Наконец, упав духом, измученный, разбитый, Фредерик вернулся к себе в гостиницу и лег в постель. Когда он натягивал на себя простыню, его внезапно озарило, так что он даже подпрыгнул от радости: «Режембар! Какой же я дурак, что не вспомнил о нем!»

На следующий день он уже к семи часам утра был на улице Богоматери-победительницы перед винным погребком, где Режембар имел обыкновение пропустить стаканчик. Погребок был еще закрыт; Фредерик решил еще пройтись и через полчаса вернулся. Режембар уже ушел. Фредерик бросился на улицу. Вдали как будто мелькнула шляпа Гражданина; но похоронная процессия и траурные кареты преградили путь Фредерику. Когда же препятствие исчезло, видение скрылось.

К счастью, он вспомнил, что Гражданин каждый день ровно в одиннадцать часов завтракает в ресторанчике на площади Гайон. Надо было запастись терпением; после бесконечных скитаний от Биржи до церкви св. Магдалины и от Магдалины до театра Жимназ Фредерик ровно в одиннадцать часов вошел в ресторан, уверенный, что найдет там своего Режембара.

— Не знаю такого! — надменно сказал хозяин ресторана.

Фредерик стал настаивать; тогда тот ответил:

— Я с ним больше не знаком, сударь! — и, величественно подняв брови, покачал головой, намекая на некую тайну.

Когда они виделись в последний раз, Гражданин упомянул кабачок «Александр». Фредерик съел сдобную булку и, вскочив в кабриолет, спросил кучера, нет ли где-нибудь в квартале Святой Женевьевы кафе под названием «Александр». Кучер доставил его на улицу Фран-Буржуа-Сен-Мишель к заведению

с таким названием, и на вопрос Фредерика: «Нельзя ли видеть господина Режембара?» — хозяин ответил с улыбкой более чем любезной:

— Мы еще не видели его сегодня, сударь, — и бросил на свою супругу, сидевшую за конторкой, многозначительный взгляд.

Затем он взглянул на стенные часы.

— Но он придет, надеюсь, минут через десять, через четверть часа самое большее. Селестен, живо газеты! Что угодно заказать?

Фредерик, хоть ему ничего и не хотелось, проглотил рюмку рома, потом рюмку кирша, потом рюмку кюрасо, потом пил разные гроги, холодные и горячие. Он прочел весь номер «Века», перечитал еще раз; изучил, вплоть до мельчайших особенностей бумаги, карикатуры «Шаривари»; под конец он знал наизусть все объявления. Время от времени на тротуаре раздавались шаги, — он! — и чей-то силуэт появлялся за окном, но всякий раз проходил мимо.

От скуки Фредерик перебирался с места на место; он сел у задней стены, потом пересел направо, затем налево; он устраивался на середине диванчика, раскинув руки. Но кот, мягко ступавший по бархатной спинке, пугал его своими прыжками, когда стремглав бросался к подносу, чтобы слизать капли сиропа, а хозяйский ребенок, несносный четырехлетний малыш, играл трещоткой на ступеньках конторки. Его мамаша, маленькая бледная женщина с испорченными зубами, бессмысленно улыбалась. Что могло произойти с Режембаром? Фредерик ждал его, погружаясь в беспредельное отчаяние.

Дождь, словно град, стучал по поднятому верху кабриолета. В окно с раздвинутой кисейной занавеской он видел на улице несчастную лошадь, стоявшую неподвижнее, чем деревянный конь. Между колесами как раз приходилась сточная канавка, превратившаяся теперь в огромный ручей, кучер же, накрывшись фартуком, дремал; однако, опасаясь, как бы не удрал его седок, он время от времени заглядывал в дверь, весь мокрый, низвергая с себя потоки воды; и если бы взгляды обладали разрушительной силой, то от часов ничего бы не осталось — так пристально смотрел на них Фредерик. А между тем они продолжали идти. Господин Александр расхаживал взад и вперед, повторяя: «Да уж будьте уверены, он придет! Он придет!» — и, чтобы развлечь Фредерика, заводил разговоры, рассуждал о политике. Свою любезность он довел до того, что предложил сыграть партию в домино.

Наконец в половине пятого Фредерик, пребывавший здесь уже с двенадцати часов, вскочил с места и объявил, что больше не станет ждать.

— Я и сам ничего не пойму,— с простодушным видом ответил хозяин,— первый раз господин Леду не приходит!

— Как? Господин Леду?

— Ну да, сударь!

— Я же сказал: Режембар!—вне себя воскликнул Фредерик.

— Ах, простите, пожалуйста! Вы оговорились! Не правда ли, госпожа Александр, ведь этот господин сказал: Леду? — И обратился к официанту: — Ведь и вы слышали так же, как и я?

Официант, желая, очевидно, за что-то отомстить хозяину, ограничился лишь улыбкой.

Фредерик велел ехать на бульвары, возмущенный потерей времени, страшно негодуя на Гражданина и пламенно мечтая узреть его, точно некоего бога; он твердо решил извлечь его из глубин любого, хотя бы и самого отдаленного, винного погребка. Экипаж раздражал Фредерика, он его отпустил; мысли путались в его голове; потом вдруг все названия кафе, какие когда-либо произносил при нем этот дурак, разом вспыхнули в его памяти, как бесчисленные огни фейерверка: кафе «Гаскар», кафе «Грембер», кафе «Альбу», кабачок «Бордоский», «Гаванский», «Гаврский», «Бёф-а-ла-Мод», «Немецкая пивная», «Мамаша Морёль», и он посетил их все по очереди. Но в одном оказывалось, что Режембар только сейчас вышел, в другом — что он, может быть, придет; в третьем его уже полгода не видели; еще в одном он накануне заказал на субботу жаркое из баранины. Наконец у трактирщика Вотье Фредерик, отворив дверь, столкнулся с официантом.

— Вы знаете господина Режембара?

— Как же, сударь, еще бы не знать! Ведь я имею честь прислуживать ему. Он наверху, сейчас кончает обедать!

И даже сам хозяин заведения, с салфеткой под мышкой, подошел к нему:

— Вы, сударь, спрашиваете господина Режембара? Он только что был здесь.

Фредерик выругался, но хозяин стал уверять, что он непременно найдет его у Бутвилена.

— Даю вам честное слово! Он ушел немножко раньше, чем обычно, у него деловое свидание с какими-то господами. Но повторяю, вы его застанете у Бутвилена, на улице Сен-Мартен, номер девяносто два, второй подъезд, во дворе налево, второй этаж, правая дверь!

Наконец сквозь облака табачного дыма он увидел его; Режембар сидел в одиночестве в задней комнате позади бильярда, в самой глубине; перед ним стояла кружка пива; он опустил голову, и вид у него был задумчивый.

— Ах! Долго же я вас искал!

Режембар, не двинувшись с места, протянул ему два пальца и, словно они виделись только вчера, произнес несколько незначительных фраз по поводу открытия сессии.

Фредерик прервал его, спросив тоном самым непринужденным, каким только мог:

— Как поживает Арну?

Ответа пришлось ждать долго, Режембар полоскал горло своим напитком.

— Недурно!

— А где он теперь живет?

— Да... на улице Паради-Пуассоньер,— отвечал удивленный Гражданин.

— Какой номер?

— Тридцать семь... Вы, право, чудак!

Фредерик встал.

— Как, вы уже уходите?

— Да, да, мне надо ехать, я и позабыл, что у меня дело! Прощайте!

Из кабачка Фредерик помчался к Арну, словно подгоняемый теплым ветром, с той необычайной легкостью, какую ощущаешь лишь во сне.

Он вскоре оказался перед дверью, на площадке третьего этажа; прозвонил звонок, вышла служанка, открылась вторая дверь. Г-жа Арну сидела у камина. Арну вскочил и обнял Фредерика. На коленях у нее был мальчик лет трех; дочь ее, теперь такого же роста, как мать, стояла по другую сторону камина.

— Позвольте представить вам вот этого господина,— сказал Арну, схватив сына под мышки.

И несколько минут он забавлялся тем, что высоко подбрасывал и опять подхватывал его.

— Ты же его убьешь! Ах, боже мой! Да перестань! — кричала г-жа Арну.

Но Арну клялся, что опасности никакой нет, продолжал игру и даже сюсюкал ласковые слова на своем родном марсельском наречии.

— Ах ты, мой цыпленочек! Соловей ты мой маленький!

Затем стал расспрашивать Фредерика, почему он так долго не писал, что он делал, что побудило его вернуться.

— Я теперь, друг мой, торгую фаянсом. Но поговорим о вас.

Фредерик сослался на долгий судебный процесс, на здоровье матери, делая на это сильный упор, чтобы казаться интереснее. Короче говоря, теперь он окончательно намерен поселиться в Париже; о наследстве он промолчал, чтобы не повредить своему прошлому в их глазах.

Занавески, так же как и обивка мебели, были из шерстяного штофа коричневого цвета; в изголовье постели лежали рядом две подушки; на угольях в камине грелся чайник; абажур на лампе, помещавшейся на краю комода, затенял комнату. Г-жа Арну была в синем мериновом капоте. Глядя на потухающие в камине угли и положив одну руку на плечо мальчика, она другою развязывала ему тесемку на кофточке; малыш, оставшись в одной рубашонке, заплакал и стал чесать себе голову, совсем как Александр-сын.

Фредерик думал, что задохнется от радости; но страсти, перенесенные в новую среду, чахнут, и когда он увидел г-жу Арну не в той обстановке, в которой раньше знал ее, ему показалось, будто она утратила что-то, как-то опустилась, словом, уже не та, что прежде. Спокойствие, которое он ощутил в своем сердце, даже поразило его. Он осведомился о старых друзьях, в том числе о Пеллерене.

— Я с ним редко вижусь,— сказал Арну.

Она прибавила:

— Мы больше не принимаем, как прежде!

Не было ли это предупреждением, что его больше не будут приглашать? Но Арну, продолжая в том же дружеском тоне, упрекнул Фредерика, что тот не пришел к ним запросто обедать, и стал объяснять, почему переменил занятие.

— Что прикажете делать в дни такого упадка, как сейчас? Высокая живопись вышла из моды! Впрочем, во всяком деле можно найти место искусству. Ведь я, вы знаете, люблю Прекрасное! Надо будет на днях свезти вас на мою фабрику.

И он пожелал немедленно показать ему некоторые из своих изделий в кладовой на антресолях.

Пол загромождали блюда, суповые миски, тарелки и тазы. К стенам были прислонены большие изразцовые плиты для ванн и туалетных комнат с мифологическими сюжетами в стиле Возрождения, а посередине, поднимаясь до самого потолка, стояла двойная этажерка, уставленная вазами для мороженого, горшками для цветов, канделябрами, маленькими жардиньерками и большими многокрасочными статуэтками, изображав-

шими негра или пастушку в стиле помпадур. Объяснения Арну надоели Фредерику, ему было холодно и хотелось есть.

Он поспешил в «Английское кафе» и роскошно поужинал; за едой он говорил себе: «Хорош я там был со своими страданиями! Она едва меня узнала! Что за мещанка!»

И, почувствовав внезапный прилив сил, он принял эгоистические решения. Его сердце казалось ему таким же твердым, как тот стол, на который он облокотился. Итак, теперь он без страха может пуститься в свет. Ему на память пришли Дамбрёзы; он воспользуется знакомством с ними; потом он вспомнил о Делорье: «А ну его!» Все же он отправил с рассыльным записку, в которой назначил Делорье встречу на другой день в Пале-Рояле, чтобы вместе пойти позавтракать.

К Делорье судьба была не столь милостива.

На соискание кафедры он представил диссертацию «О праве духовного завещания», где утверждал, что это право следует как можно больше ограничить, а так как оппонент подстрекал его на глупости, он наговорил их в достаточном количестве, причем экзаменаторы и глазом не моргнули. Затем случаю было угодно, чтобы темой его первой лекции оказался вопрос о давности. Тут Делорье дал волю теориям самым прискорбным: старые претензии могут предъявляться на равных основаниях с новыми; зачем отнимать у человека его собственность, если он может доказать право на нее хотя бы и по истечении тридцати одного года? Не значит ли это ставить наследника разбогатевшего вора в такое же положение, как и честного человека? Все несправедливости освящаются широким толкованием этого права, которое является тиранией, злоупотреблением силой. Он даже воскликнул:

— Уничтожим его, и франки больше не будут угнетать галлов, англичане — ирландцев, янки — краснокожих, турки — арабов, белые — негров, Польша...

Председатель прервал его:

— Довольно, милостивый государь, довольно! Ваши политические взгляды нас не интересуют; вам придется явиться еще раз!

Делорье не пожелал явиться. Но эта злополучная глава двадцатая третьей книги Гражданского кодекса стала для него камнем преткновения. Он трудился над сочинением о «давности, рассматриваемой как основа гражданского и естественного права народов», и всецело поглощен был чтением Дюно, Рогериуса, Бальбуса, Мерлина, Вазейля, Савиньи, Тролона и других серьезных трудов. Чтобы свободнее предаваться своим заняти-

ям, он бросил место старшего клерка. Он зарабатывал уроками и писанием кандидатских сочинений, а на ораторских собраниях своей язвительностью пугал консервативную партию, всех молодых доктринеров школы г-на Гизо, так что в определенной среде достиг своего рода известности, сочетавшейся с некоторым недоверием к его личности.

На свидание он пришел в толстом пальто на красной фланелевой подкладке, — такое в былую пору носил Сенекаль.

Стеснясь публики, они не стали обниматься и под руку пошли к Веффуру, посмеиваясь от удовольствия, готовые проследиться. Как только они остались наедине, Делорье воскликнул:

— Ах, черт возьми, вот когда у нас пойдет отличное житье!

Фредерику не понравилось это желание поскорее присоединиться к его богатству. Друг его слишком был рад за них обоих и недостаточно за него одного.

Потом Делорье рассказал о своей неудаче, а там постепенно о своих трудах, о своей жизни, причем о себе он говорил тоном стойка, о других же со злобой. Все ему было не по вкусу. Не было ни одного человека с положением, которого он не считал бы кретином или мерзавцем. Из-за плохо вымытого стакана он набросился на официанта, а когда Фредерик мягко упрекнул его, ответил:

— Буду я церемониться с подобными субъектами, которые зарабатывают до шести, до восьми тысяч франков в год, имеют право выбирать, даже, пожалуй, быть избранными! О нет, нет! — Затем — уже игривым тоном: — Но я забыл, что разговариваю с капиталистом, с золотым мешком — ведь ты же теперь золотой мешок!

И, вернувшись опять к вопросу о наследстве, он выразил мысль, сводившуюся к тому, что наследование по боковой линии (вещь сама по себе несправедливая, хотя в данном случае он очень рад) будет отменено в ближайшие дни, как только произойдет революция.

— Ты думаешь? — сказал Фредерик.

— Будь уверен! Так не может продолжаться! Слишком много приходится страдать! Когда я вижу в нужде таких людей, как Сенекаль...

«Вечно этот Сенекаль!» — подумал Фредерик.

— А вообще что нового? Ты все по-прежнему влюблен в госпожу Арну? Наверно, прошло? А?

Фредерик, не зная, что ответить, закрыл глаза и опустил голову.



Воспитание чувств

Относительно Арну Делорье сообщил, что его газета принадлежит теперь Юссонэ, преобразовавшему ее. Называется она «Искусство», — литературное предприятие, товарищество на паях, по сто франков каждый; капитал общества — сорок тысяч франков; каждому пайщику предоставляется право печатать в нем свои рукописи, ибо «товарищество имеет целью издавать произведения начинающих, избавляя талант, может быть даже гений, от мучительных кризисов, — и так далее... Понимаешь, какое вранье!». Все же тут можно было бы кое-что сделать — поднять тон означенного листка, потом, сохранив тех же редакторов и обещав подписчикам продолжение фельетона, преподнести им политическую газету; предварительные затраты не были бы чрезмерно велики.

— Что ты об этом думаешь, а? Хочешь заняться?

Фредерик предложения не отверг. Но придется подождать, пока он приведет в порядок свои дела.

— Тогда, если тебе что-нибудь понадобится...

— Благодарю, дорогой! — сказал Делорье.

Затем они закурили дорогие сигары, облокотясь на подоконник, обитый бархатом. Сверкало солнце, воздух был мягкий, птицы, стаями порхавшие в саду, опускались на деревья; блестя бронзовые и мраморные статуи, омытые дождем; няньки в передниках болтали, сидя на скамейках; слышен был детский смех и непрерывный плеск фонтана.

Сзлобление Делорье смутило Фредерика; но под влиянием вина, разлившегося по жилам, он, полусонный, отяжелевший, обратив лицо прямо к солнцу, не испытывал ничего, кроме необъятного блаженства, бессмысленной неги, — точно растение, насыщенное влагой и теплом. Делорье, полузакрыв глаза, смотрел куда-то вдаль. Грудь его вздымалась, и вот он заговорил:

— Ах, как это было прекрасно, когда Камиль Демулен, стоя вон там, на столе, звал народ на приступ Бастилии! В то время люди жили, они могли проявить себя, показать свою силу! Простые адвокаты приказывали генералам, оборванцы побивали королей, а теперь...

Он умолк; потом вдруг снова:

— Да, будущее чревато событиями!

И, барабанив пальцами по стеклу, декламировал стихи Бартеlemi:

Вновь явится оно, то грозное Собрание,
Пред коим и теперь вы полны содроганья,
Колосс, что шествует без страха все вперед.

Как дальше, не помню. Однако уже поздно, не пора ли идти?

На улице он продолжал излагать свои теории.

Фредерик, не слушая его, высматривал в витринах магазинов мебель и материи, подходящие для убранства его квартиры, и, может быть, именно мысль о г-же Арну побудила его остановиться перед магазином случайных вещей, где в витрине были выставлены три фаянсовые тарелки. Их украшали желтые арабески с металлическим отблеском, и каждая стоила сто экю. Он велел их отложить.

— Я на твоём месте покупал бы уж скорее серебро, — сказал Делорье, обнаруживая этой любовью к прочным ценностям свое низкое происхождение.

Как только они расстались, Фредерик отправился к знаменитому Помадеру, которому заказал три пары брюк, два фрака, меховую шубу и пять жилетов, потом — к сапожнику, в магазины бельевой и шляпный и всюду настаивал на том, чтобы с заказом поторопились.

Три дня спустя, вернувшись вечером из Гавра, он нашел у себя полный гардероб; ему не терпелось воспользоваться им, и он решил тотчас же сделать визит Дамбрёзам. Но было слишком рано, только восемь часов.

«А что, если навестить тех?» — подумал он.

Арну в одиночестве брился перед зеркалом. Он предложил Фредерику свезти его в одно место, где будет весело, а когда услышал имя г-на Дамбрёза, сказал:

— Ах, вот и кстати! Там вы увидите и его знакомых. Так поедем! Будет занятно!

Фредерик отговаривался. Госпожа Арну узнала его голос и поздоровалась с ним из другой комнаты; дочка ее прихворнула, и сама она была нездорова; раздавалось позвякивание ложечки о стакан, слышался тот смутный шорох, что бывает в комнате больного, когда осторожно передвигают какие-то вещи. Потом Арну скрылся, чтобы попрощаться с женой. Он сыпал разными доводами:

— Ты ведь знаешь, что это дело важное! Я должен там быть, мне это нужно, меня ждут!

— Поезжай, друг мой, поезжай! Развлекись!

Арну крикнул фиакр:

— Пале-Рояль, галерея Монпансье, дом номер семь. — И откинулся на подушки: — Ах, как я устал, дорогой мой! Я просто подыхаю! Впрочем, вам-то я могу сказать...

Он тайно склонился к уху Фредерика:

— Я стараюсь изготовить краску медно-красного оттенка, какою пользовались китайцы.

И он объяснил, что такое глазурь и медленный огонь.

В магазине у Шеде ему подали большую корзину, которую он велел отнести в экипаж. Потом он выбрал для «своей бедной жены» винограду, ананасов, разных редкостных лакомств и распорядился, чтобы все это было доставлено на другой день с самого утра.

Затем они отправились в костюмерную; им предстояло ехать на бал. Арну надел короткие синие бархатные штаны, такой же камзол, рыжий парик; Фредерик нарядился в домино; и они поехали на улицу Лавалья, где остановились у дома, третий этаж которого был освещен разноцветными фонариками.

Уже внизу, на лестнице, они слышали звуки скрипок.

— Куда вы привели меня, черт возьми? — сказал Фредерик.

— К премоу девоуке! Не бойтесь!

Грум отворил им дверь, и они вошли в переднюю, где на стульях грудями были набросаны пальто, плащи и шали. Молодая женщина в костюме драгуна времен Людовика XV проходила в этот миг через переднюю. То была м-ль Роза-Анетта Брон, хозяйка дома.

— Ну как? — спросил Арну.

— Сделано! — ответила она.

— О, благодарю, мой ангел!

И он хотел поцеловать ее.

— Осторожнее, дурак! Ты мне испортишь грим!

Арну представил Фредерика.

— Заходите, сударь! Милости просим!

Она откинула позади себя портьеру и торжественно объявила:

— Господин Арну, Поваренок, и князь, его друг!

Фредерика сперва ослепил блеск огня; он не видел ничего, кроме шелка, бархата, обнаженных плеч, многоцветной толпы, которая под звуки оркестра, скрытого в зелени, колыбалась среди обтянутых желтым шелком стен, украшенных песколькими портретами пастелью и хрустальными бра в стиле Людовика XVI. По углам, над корзинами цветов, стоявшими на консолях, подымались высокие лампы, матовые колпаки которых были похожи на снежные комья, а прямо напротив, за второй комнатой несколько меньших размеров, открывалась третья, где стояла кровать с витыми колоннами и венецианским зеркалом в изголовье.

Танцы прервались, и раздались рукоплескания, радостный шум при виде Арну, который шествовал с корзиной на голове; снедь подымалась там горбом.

— Осторожней, люстра!

Фредерик поднял глаза — это была та самая люстра старинного саксонского фарфора, что украшала магазин «Художественной промышленности». В нем пробудились воспоминания минувших дней; но в этот миг Солдат-пехотинец в караульной форме, с тем простоватым видом, который по традиции приписывают новобранцам, встал перед ним и в знак удивления развел руками. Несмотря на страшные, до невозможности острые черные усы, изменявшие черты лица, Фредерик узнал в нем своего бывшего приятеля Юссонэ. На каком-то тарабарском языке, полуэльзасском, полунегритянском, шалопай рассыпался перед ним в поздравлениях, называл его полковником. Фредерик, смущенный при виде всей этой публики, не знал, что ответить. Но ударили смычком по пюпитру, танцоры и танцовки заняли свои места.

Их было тут человек шестьдесят, женщины по большей части в костюмах поселянок или маркиз, а мужчины, почти все в зрелых летах, одеты были возчиками, грузчиками или матросами.

Фредерик, став у стены, смотрел на кадрили.

Старый красавец в шелковой пурпурной мантии, изображавший дожа, танцевал с г-жой Розанеттой, на которой были зеленый мундир, сблегающие штаны и мягкие сапоги с золотыми шпорами. Против них танцевали Арнаут, весь обвешанный ятаганамн, и голубоглазая Швейцарка, белая, как молоко, пухлая, как перепелка, в красном корсаже без рукавов. Высокая блондинка, оперная статистка, желая выставить напоказ свои волосы, доходившие ей до колен, нарядилась Дикаркой и поверх коричневого трико надела лишь кожаный передник, украсив себя браслетами из стеклянных бус и мишурной диадемой, над которой возвышался высокий сноп павлиньих перьев. Впереди нее Притчард, щеголяя в причудливо широком черном фраке, локтем отбивал такт по своей табакерке. Пастушок в духе Ватто, весь лазоревый и серебряный, точно лунный луч, ударял посохом по тирсу Вакханки, увенчанной виноградом, в леопардовой шкуре через левое плечо и в котурнах с золотыми завязками. По другую сторону Польша в ярко-красном бархатном казакине колыхала свою газовую юбку над светло-серыми шелковыми чулками и высокими розовыми ботинками с белой меховой оторочкой. Она улыбалась сорокалетнему толстобрюхому кавалеру, наряженному Церковным певчим; он подпрыгивал очень высоко, одной рукой приподнимая стихарь, а другой придерживая красную скуфью. Но королевой, звездой была

м-ль Лулу, знаменитая танцовщица публичных балов. Она теперь стала богата, и на ее гладком камзоле черного бархата был широкий кружевной воротник, а обширные шаровары пунцового шелка, плотно обтянутые сзади и схваченные в талии кашемировым шарфом, были украшены вдоль швов живыми белыми камелиями. Ее бледное, чуть одутловатое лицо со вздернутым носиком казалось еще более наглым благодаря всклокоченному парикку, на который надета была серая мужская фетровая шляпа, сдвинутая на правое ухо; а когда м-ль Лулу подскакивала, ее туфельки с бриллиантовыми пряжками чуть не задевали за нос ее кавалера, высокого Средневекового барона, изнывавшего в железных доспехах. Был тут и Ангел с золотым мечом в руке и с лебедиными крыльями за спиной; двигаясь взад и вперед, он поминутно терял своего кавалера, Людовика XIV, путал фигуры и мешал танцующим.

Фредерик, глядя на этих людей, чувствовал себя одиноким, ему было не по себе. Он снова думал о г-же Арну, и ему казалось, что он участвует в каком-то враждебном начинании, замышляемом ей во вред.

Когда кадриль кончилась, к нему подошла г-жа Розанетта. Она немного запыхалась, и зеркально-глянцевитый нагрудник слегка приподнимался у нее под подбородком.

— А вы, сударь, — сказала она, — не танцуете?

Фредерик извинился; он не умеет танцевать.

— Вот как? Ну, а со мной? В самом деле не умеете?

Подбоченясь и слегка отставив назад одну ногу, она левой рукой поглаживала перламутровую рукоятку шпаги; с минуту она смотрела на Фредерика взглядом полуумоляющим, полунасмешливым. Наконец сказала: «Прощайте», — сделала пируэт и скрылась.

Фредерик, недовольный собой и не зная, что делать, стал бродить по комнатам.

Он вошел в будуар, обитый бледно-голубым шелком с букетами полевых цветов; на потолке, в кольце позолоченного дерева, амуры среди лазурного неба резвились в облаках, напоминающих перины. Эти чудеса изящества, которые в наши дни были бы убожеством в глазах такой женщины, как Розанетта, ослепили его, и он восхищался всем: искусственными вьюнками вокруг зеркала, заслонкой у камина, турецким диваном и — в нише стены — неким подобием шатра, обтянутого розовым шелком и покрытого белым муслином. Спальня была обставлена мебелью черного дерева с медной инкрустацией, а на возвышении, покрытом ковром из лебяжьего пуха, стояла широ-

кая кровать под балдахином со страусовыми перьями. В полутьме комнаты, освещенной хрустальной люстрой, которая спускалась на трех цепочках, можно было различить булавки с драгоценными камнями, воткнутые в подушечки, кольца, брошенные на тарелочки, золотые медальоны и серебряные шкапулки. В маленькую приотворенную дверь видна была теплица, занимавшая террасу во всю ее ширину и заканчивавшаяся вольером.

Такая обстановка не могла не понравиться Фредерику. В нем вдруг заговорила молодость, он поклялся насладиться всем этим и осмелел; вернувшись в гостиную, где народу теперь было еще больше (все кружилось в какой-то светящейся пыли), и став в дверях, он созерцал танцующих, щурился, чтобы лучше видеть, и впивал томные благоухания, носившиеся в воздухе, словно нескончаемый поцелуй.

Но рядом с ним, по другую сторону двери, стоял Пеллерен, — Пеллерен в полном параде, — заложив левую руку за жилет, а в правой держа шляпу и белую разорванную перчатку.

— Ба! Давно вас не видно! Где ж это вы были, черт возьми? Путешествовали? По Италии? Шаблонная она, Италия? Не так здорово, как говорят? Но все равно! Принесите-ка мне как-нибудь на днях ваши эскизы.

И, не дожидаясь ответа, художник заговорил о самом себе.

Он сделал большие успехи, окончательно поняв бессмысленность Линии. В произведении искусства считаться следует не столько с Красотой и Единством, сколько с характерностью и разнообразием предметов.

— Ибо в природе существует все, стало быть, все закономерно и все пластично. Дело лишь в том, чтобы схватить тон, — вот и все! Я открыл этот секрет! — И, толкнув Фредерика локтем, он несколько раз повторил: — Видите, я открыл секрет! Вот взгляните-ка на эту маленькую женщину с повязкой сфинкса на волосах, что танцует в паре с Русским ямщиком, — здесь все четко, сухо, определено, все плоско и в резких тонах: индиго под глазами, киноварь на щеках, бистр на висках — раз-два! — И он размахивал большим пальцем, словно делал мазки кистью. — А вот эта толстуха, вон там, — продолжал он, указывая на Рыбную торговку в вишневом платье с золотым крестиком на шее, в батистовой косынке, завязанной на спине узлом, — сплошные округлости; ноздри расплющены, как банты на ее чепце, углы рта приподняты, подбородок опускается, все жирно, слитно, плотно, спокойно и солнечно, настоящий Рубенс! И обе они — совершенство! Где же тогда тип? — Он уже горя-

чился: — Что такое красивая женщина? Что такое Прекрасное? Ах, Прекрасное, скажете вы мне...

Фредерик прервал его вопросом, кто такой этот Пьеро с козлиным профилем, что благословляет сейчас танцующих в самый разгар кадрили.

— Полное ничтожество! Вдов, отец трех мальчиков. Они у него без штанов, а он проводит время в клубе и живет со своей служанкой.

— А вон тот, одетый Средневековым судьей? Разговаривает у окна с маркизой Помпадур.

— Маркиза — это госпожа Вандаэль, бывшая актриса театра Жимназ, любовница Дожа, графа де Палазо. Уже двадцать лет, как они живут вместе — неизвестно почему. Что за дивные глаза были когда-то у этой женщины! А гражданина, стоящего рядом с ней, зовут капитаном д'Эрбиньи, он ветеран старой гвардии; кроме ордена Почетного легиона и пенсии, ничего не имеет, в торжественных случаях играет роль дядюшки какой-нибудь гризетки, распоряжается на дуэлях и всегда обедает в гостях.

— Каналья? — спросил Фредерик.

— Нет, порядочный человек!

— А!

Художник продолжал называть ему и других, как вдруг заметил господина, который, подобно мольеровским врачам, одет был в черную саржевую мантию, расстегнутую сверху до низу, чтобы всякий мог видеть все его брелоки.

— Перед вами доктор Де Рожи; его бесит, что он не знаменит; написал порнографическую книгу по медицине, охотно лижет сапоги в светском обществе, умест держать язык за зубами; здешние красотки его обожают. Он и его супруга (та худощавая Средневековая дама в сером платье) таскаются вместе по всем публичным, да и всяким другим местам. Несмотря на стесненные обстоятельства, у них есть «приемные дни», — артистические чаепития, на которых читаются стихи. Но тише!

Доктор и в самом деле к ним подошел; и вскоре они втроем, став у дверей гостиной, занялись разговорами; к ним присоединились Юссонэ, потом любовник Дикарки, молодой поэт, жалкое телосложение которого не мог скрыть короткий плащ в стиле Франциска I, и, наконец, остроумный малый, костюмированный Турецким стражником. Но его куртка с желтыми галунами так долго путешествовала на спинах странствующих дантистов, широкие красные панталоны в складках так вылиняли, тюрбан, скрученный по-татарски, как угорь, являл такое

убогое зрелище, словом, весь его наряд был так плачевен и тем не менее так удачен, что женщины даже не скрывали своего отвращения. Доктор утешил его восторженными похвалами по адресу Грузчицы, его любовницы. Этот Турок был сыном банкира.

В промежутке между двумя кадрилями Розанетта направилась к камину, возле которого сидел в кресле полный старичок в коричневом фраке с золотыми пуговицами. Наперекор его поблекшим щекам, которые свисали над высоким белым галстуком, волосы его еще были белокуры и сами вились, точно шерсть пуделя, придавая его облику что-то игривое.

Она слушала его, склонившись к самому его лицу. Потом приготовила ему стакан сиропа, и ничто не могло быть изящнее ее ручек в кружевных манжетах, выступавших из-под обшлага зеленого мундира. Старичок выпил сироп и поцеловал их.

— Да это же господин Удри, сосед Арну!

— Он-то его и погубил! — сказал со смехом Пеллерен.

— Как так?

Гость в костюме Почтаря из Лонжюмо схватил Розанетту за талию; начался вальс. Все женщины, сидевшие на диванчиках по стенам гостиной, живо поднялись одна за другой, и их юбки, их шаровары, их прически — все закружилось.

Они кружились так близко от Фредерика, что он различал даже капельки пота у них на лбу, и это вращательное движение, все более и более быстрое и равномерное, головокружительное, как-то будоражило его ум, вызывая в нем другие образы; все эти женщины проносились мимо него, равно ослепительные, но каждая по-иному возбуждала его, смотря по роду своей красоты. Полька, томно отдававшаяся движению танца, внушала ему желание прижать ее к сердцу и унести с ней вдвоем в санях по снежной равнине. Картины безмятежных наслаждений, где-нибудь в хижине, на берегу озера, развертывались в поступи Швейцарки, которая вальсировала, выпрямив стан и потупив взор. Потом вдруг Вакханка, откинув темно-волосую головку, будила в нем мечты об исступленных ласках в олеандровых рощах, в грозу, под смутные звуки тамбурина. Рыбная торговка, задыхаясь от слишком быстрого темпа, громко смеялась, и он бы хотел, попивая вместе с ней вино в каком-нибудь поршеронском кабачке, вволю мять ее косынку, совсем как в «доброе старое время». А Грузчица, едва касаясь паркета, как бы таила в гибкости своего тела, в сосредоточенном выражении лица всю утонченность современной любви, обладающей точностью науки и быстролетностью птицы. Розанетта кру-

жила подбоченья; с ее затейливого парика, подпрыгивающего над воротником, во все стороны летела рисовая пудра, а своими золотыми шпорами она в каждом туре чуть-чуть не задевала Фредерика.

С последним аккордом вальса явилась м-ль Ватназ в алжирском платке, надетом на голову, с множеством пиастров на лбу — в виде украшения, с подведенными глазами; на ней было что-то вроде бурнуса из черного кашемира, который спускался на светлую юбку, вышитую серебром, а в руке она держала бубен.

За нею шел высокий мужчина в классическом костюме Данте; он оказался (теперь она уже не скрывала своих отношений с ним) тем самым певцом из «Альгамбры»; первоначально именуясь Огюстом Деламаром, впоследствии он начал называть себя Антепором Делламаром, затем Дельмасом, потом Бельмаром и, наконец, Дельмаром, видоизменяя и совершенствуя таким путем свою фамилию в соответствии с ростом своей славы; эстраду кабачков он сменил на театр и даже только что с успехом дебютировал на сцене Амбигю в пьесе «Гаспардо-рыбак».

Юссонэ, увидев его, нахмурил брови. С тех пор как не приняли его пьесу, он терпеть не мог актеров. Невозможно себе представить, как тщеславны такого сорта господа, а в особенности этот.

«Ну и кривляка, вот полюбуйтесь!»

Отвесив легкий поклон Розанетте, Дельмар прислонился к камину; он стоял неподвижно, приложив руку к сердцу, выставив вперед левую ногу, возведя глаза к небу, не снимая венка из золоченого лавра, надетого на капюшон, и силился придать своему взгляду побольше поэтичности, чтобы пленить дам. Около него, но на некотором расстоянии, уже образовался круг.

Ватназ, после долгих объятий с Розанеттой, подошла к Юссонэ попросить, чтобы он просмотрел с точки зрения стиля ее труд по педагогике, который она собиралась издать под заглавием «Венок молодым девицам», — литературно-нравственную хрестоматию. Литератор обещал свое содействие. Тогда она спросила, не может ли он в одной из газет, куда имеет доступ, написать что-нибудь похвальное о ее друге, а потом даже поручить ему роль. Юссонэ из-за этого прозевал стакан пунша.

Приготовлял его Арну. Сопровождаемый графским грумом, который держал поднос, он с самодовольным видом предлагал его гостям.

Когда он приближался к г-ну Удри, Розанетта его остановила:

— Ну, а как же то дело?

Он слегка покраснел; потом обратился к старику:

— Наша приятельница говорила мне, что вы так любезны...

— Да, разумеется, располагайте мною, дорогой сосед.

Тут было произнесено имя господина Дамбрёза; они разговаривали вполголоса, поэтому Фредерик плохо слышал их; он устремился к другому углу камина, где Розанетта уже беседовала с Дельмаром.

Лицо актера было вульгарное, подобно театральным декорациям, рассчитанное на то, что смотреть будут издали; руки у него были толстые, ноги большие, челюсть тяжелая; он ругал самых знаменитых актеров, свысока рассуждал о поэтах, говорил «мой голос, моя внешность, мои данные», — расцвечивал речь мало понятными ему самому словами, к которым у него было пристрастие, как-то: «морбидецца», «аналогичный», «гомогенность».

Розанетта слушала его, в знак согласия кивая головой. Сквозь румяна было видно, как от восхищения загораются ее щеки, и что-то влажное, словно флером, заволакивало ее светлые глаза неопределенного цвета. Как мог подобный человек очаровать ее? Фредерик разжигал в себе презрение к нему, тем самым, может быть, надеясь уничтожить своего рода зависть, которую тот в нем вызывал.

Мадемуазель Ватназ находилась теперь в обществе Арну; очень громко смеясь, она время от времени кидала взгляды на свою подругу, которую г-н Удри тоже не терял из виду.

Потом Арну и Ватназ исчезли; старик подошел к Розанетте и шепотом что-то ей сказал:

— Ну да, да, это же решено! Оставьте меня в покое!

И она попросила Фредерика сходить на кухню посмотреть, там ли господин Арну.

На полу выстроилась целая батарея недопитых стаканов, а разные кастрюли, котелки, сковороды так и прыгали по плите. Арну распоряжался прислугой, всем говорил «ты», сбивал острый соус, пробовал подливки, шутил с кухаркой.

— Хорошо, — сказал он, — передайте ей, что я сейчас велю подавать!

Танцы прекратились, женщины опять уселись, мужчины расхаживали по комнате. Занавеска на одном из окон топорщилась от ветра, и женщина-Сфинкс, несмотря на увещания, подставила вспотевшие плечи под струю свежего воздуха. Но где же Розанетта? Фредерик в поисках ее прошел дальше; в будуар и в спальню. Некоторые из гостей, желая побыть в одиночестве или остаться с кем-нибудь вдвоем, удалились туда.

Шепот сливался с полутьмой. Слышался смех, приглушенный носовым платком, а на фоне корсажей смутно выделялось медленное и мягкое движение вееров, трепетавших, словно крылья раненой птицы.

Войдя в оранжерею, Фредерик увидел около фонтана, под широкими листьями ароиды, Дельмара, лежавшего на диване с холстяной обивкой; Розанетта, сидя подле него, гладила рукой его волосы, и они смотрели друг на друга. В тот же момент с другого конца, со стороны вольера, вошел Арну. Дельмар тотчас вскочил, но к выходу направился спокойным шагом, не оборачиваясь, и даже остановился у двери, чтобы сорвать цветок гибиска и вдеть его в петлицу. Розанетта опустила голову; Фредерик, смотревший на нее в профиль, заметил, что она плачет.

— Что с тобой? — спросил Арну.

Она вместо ответа пожала плечами.

— Это из-за него? — спросил он.

Она обвила руками его шею и, целуя в лоб, медленно проговорила:

— Ты же знаешь, что я всегда буду тебя любить, пузан. Забудь об этом! Идем ужинать!

Медная люстра в сорок свечей освещала столовую, стены которой были сплошь увешаны старинными фаянсовыми изделиями, и от этого резкого света, падавшего совершенно отвесно, еще больше казалось гигантское тюрбо, стоявшее посредине стола, окруженное закусками и фруктами; по краям тянулись тарелки с супом из раков. Шурша платьями, подбирая юбки, рукава и шарфы, женщины садились одна подле другой; мужчины, стоя, устроились по углам. Пеллерен и г-н Удри оказались около Розанетты, Арну — против нее. Палазо и его приятельница только что уехали.

— Счастливого пути! — сказала Розанетта. — Приступим!

И вот Церковный певчий, большой шутник, широко перекрестился и стал читать «Benedicite»¹.

Дамы были скандализованы, и более всех Рыбная торговка, имевшая дочку, которую она желала видеть порядочной женщиной. Арну тоже не любил «таких вещей», считая, что религию следует уважать.

Немецкие часы с петухом пробили два часа и вызвали немало острот, относившихся к птице. Тут последовали всякого рода каламбуры, анекдоты, хвастливые речи, пари, ложь, выдаваемая за правду, невероятные утверждения, целый водопад

¹ «Благословен» (лат.) — название молитвы.

слов, распылившийся вскоре на частные беседы. Вино лилось, одно блюдо сменялось другим, доктор разрезал жаркое. Гости издали перебрасывались апельсинами, пробками, уходили со своих мест, чтобы с кем-нибудь поговорить. Розанетта часто оборачивалась к Дельмару, который неподвижно стоял за ее спиной; Пеллерен болтал, г-н Удри улыбался. М-ль Ватназ почти одна съела блюдо раков, и скорлупа хрустела на ее длинных зубах. Ангел, усевшись на табурет от фортепиано (единственное сиденье, на которое ему позволяли опуститься его крылья), невозмутимо и непрерывно жевал.

— Этаким аппетит! — повторял в изумлении Церковный певчий. — Этаким аппетит!

А женщина-Сфинкс пила водку, кричала во все горло, бешовалась, как демон. Внезапно щеки ее раздулись, и, не в силах больше сдержать кровь, от которой она задыхалась, она поднесла к губам салфетку, потом швырнула ее под стол.

Фредерик это видел.

— Пустяки!

В ответ на его увещания уехать и подумать о своем здоровье она медленно произнесла:

— Ну да! А что толку-то? Одно другого стоит! Жизнь не такая уж занятная штука!

И он содрогнулся, охваченный леденящей печалью, как будто перед ним открылись целые миры нищеты и отчаяния, жаровня с угольями подле койки больного, трупы в морге, прикрытые кожаными передниками, под краном, из которого им на волосы льется холодная вода.

Между тем Юссонэ, подсевший на корточках к ногам Дикарки, орал хриплым голосом, передразнивая актера Грассо:

— Не будь жестока, о Селюта! Этот маленький семейный праздник очарователен! Опьяните меня сладострастием, дорогие мои! Будем резвиться! Будем резвиться!

И он стал целовать женщин в плечи. Они вздрагивали, он колот их своими усами; потом он вздумал разбить тарелку, стукнув ее слегка о свою голову. Другие последовали его примеру; осколки фаянса летали, точно черепицы в сильный ветер, а Грузчица воскликнула:

— Не стесняйтесь! Это ничего не стоит! Это нам подарок от господина, который их изготавливает!

Все взоры обратились к Арну. Он возразил:

— Ну нет, простите, за все уплачено! — желая, наверно, дать понять, что он не любовник Розанетты или что он уже перестал им быть.

Но вдруг раздалось два яростных голоса:

— Дурак!

— Бездельник!

— К вашим услугам!

— Я также!

Это ссорились Средневековый рыцарь и Русский ямщик; последний заметил, что при наличии лат храбрости не требуется, Рыцарь принял это за оскорбление. Он хотел драться, другие вмешались, а Ветеран гвардии пытался среди всего этого шума поднять голос:

— Господа, выслушайте меня! Два слова! Я человек опытный, господа!

Розанетта, постучав ножом о стакан, добила наконец тишины и обратилась сперва к Рыцарю, не снимавшему шлема, потом к Ямщику в мохнатой меховой шапке:

— Снимите для начала вашу кастрюлю! Мне от нее жарко! А вы там — вашу волчью морду! Будете вы меня слушаться, черт возьми? Посмотрите на мои эполеты! Я ваша капитанша!

Они покорились, и все зааплодировали, закричали:

— Да здравствует Капитанша! Да здравствует Капитанша!

Тогда она сняла с камина бутылку шампанского и, подняв ее, стала наливать вино в протянутые к ней бокалы. Но стол был слишком широк, поэтому гости, и в первую очередь женщины, окружили ее, они подымались на цыпочки, взбирались на стулья, так что на минуту образовалась целая пирамида из причесок, обнаженных плеч, вытянутых рук, склоненных станом, и тут же искрились длинные струи вина, так как Пьеро и Арну в разных концах столовой тоже откупоривали бутылки, обдавая брызгами лица окружающих. Птички из вольера, дверь которого оставили открытой, налетели в столовую, они в испуге порхали вокруг люстры, ударялись об окна, о мебель, а некоторые садились на головы, напоминая большие цветы, какими украшают прическу.

Музыканты ушли. Рояль перетащили из передней в гостиную. Ватназ села за него и под аккомпанемент Церковного певчего, который бил в бубен, с неистовством заиграла кадрили, колотя по клавишам, как лошадь бьет копытом землю, и раскачиваясь, чтобы лучше отмечать такт. Капитанша увлекла Фредерика, Юссонэ ходил колесом. Грузчица изгибалась, точно клоун, Пьеро вел себя как орангутанг. Дикарка, раскинув руки, изображала качающуюся лодку. Наконец, дойдя до полного изнеможения, все остановились; распахнули окно.

В комнату вместе с утренней свежестью ворвался дневной свет. Раздался возглас изумления, потом наступило безмолвие. Дрожали желтые огни свечей, время от времени с треском лопалась розетка; ленты, бусы усеивали пол; на столиках оставались липкие пятна пунша и сиропа; обои были запачканы, платья измялись, запылились; косы обвисли, а из-под румян и белил, которые растеклись вместе с потом, выступала мертвенная бледность лиц с мигающими красными веками.

У Капитанши, свежей, как будто она только что приняла ванну, щеки были розовые, глаза блестящие. Она далеко отшвырнула свой парик, и волосы ее упали на плечи, точно руно, закрыв собой весь ее костюм, кроме панталон, что производило впечатление вместе забавное и милое.

Сфинксу, который от лихорадки щелкал зубами, понадобилась шаль.

Розанетта побежала за ней к себе в спальню, а гостя двинулась было вслед, но та быстро, перед самым ее носом, захлопнула дверь.

Турок заметил во всеуслышание, что никто не видел, как ушел г-н Удри. Все были настолько утомлены, что не обратили внимания на этот ехидный намек.

Потом, в ожидании экипажей, гости стали кутаться в плащи, надевали капоры. Пробило семь часов. Ангел все еще пребывал в столовой за тарелкой с сардинами в масле, а рядом с ней Рыбная торговка курила папиросы, давая житейские советы.

Наконец появились фиакры, все разъехались. Юссонэ как корреспондент по провинциям должен был до завтрака прочесть пятьдесят три газеты, Дикарке предстояла репетиция в театре, Пеллерена ждал натурщик, у Церковного певчего назначено было три свидания. Ангел, ощутив первые приступы расстройства желудка, не в силах был встать. Средневековый барон на руках отнес молодую женщину до фиакра.

— Осторожнее с крыльями! — крикнула в окно Грузчица.

Мадемуазель Ватназ, уже выйдя на лестницу, сказала Розанетте:

— Прощай, дорогая! Твой вечер очень удался. — Потом наклонилась к ее уху: — Держи его при себе!

— До лучших времен, — сказала Капитанша, медленно поворачиваясь к ней спиной.

Арну и Фредерик возвращались вместе, так же как и приехали. У торговца фаянсом вид был такой сумрачный, что его спутник подумал, уж не болен ли он,

— Я? Нисколько!

Он покусывал усы, хмурил брови, и Фредерик спросил, не дела ли так беспокоят его.

— Да ничуть! — Потом вдруг: — Ведь вы были знакомы с дядюшкой Удри? Не правда ли? — И со злобой прибавил: — Богат, старый плут!

Далее Арну заговорил о каком-то важном обжиге, который сегодня следовало закончить у него на фабрике. Он хотел присутствовать при этом. Поезд отправлялся через час.

— Надо все-таки заехать домой — поцеловать жену!

«Гм... жену!» — подумал Фредерик.

Наконец он лег спать с невыносимой болью в затылке и выпил целый графин воды, чтобы утолить жажду.

Иная жажда стала мучить его — жажда женщин, роскоши и всего того, что составляет парижскую жизнь. Он чувствовал себя слегка ошеломленным, точно человек, сошедший с корабля, и не успел еще уснуть, как перед ним замелькали плечи Рыбной торговли, бедра Грузчицы, икры Польки, волосы Дикарки. Потом два больших черных глаза, которых на балу не было, появились тоже и, легкие, как бабочки, жгучие, как факелы, уносились, возвращались, трепетали, поднимались до карниза, опускались к его губам. Фредерик изо всех сил, однако безуспешно, пытался вспомнить, чьи же это глаза. Но сон уже овладел им; ему казалось, что он вместе с Арну запряжен в дышла фиакра, а Капитанша, сидя на нем верхом, вонзает в него золотые шпоры.

II

На углу улицы Ремфор Фредерик снял небольшой особняк и сразу купил двухместную карету, лошадь, мебель и две жардиньерки, которые выбрал у Арну, чтобы поставить по обе стороны двери в гостиную. За гостиной была еще комната с туалетной. Ему пришла мысль поселить там Делорье. Но как он тогда будет принимать ее, свою будущую любовницу? Присутствие друга будет его стеснять. Он велел разобрать стену, чтобы расширить гостиную, а туалетную превратил в курительную.

Были куплены книги любимых поэтов, путешествия, географические атласы, словари, ибо Фредерик наметил обширный план занятий; он торопил рабочих, бегал по магазинам и в нетерпеливом стремлении насладиться брал все, не торгуясь.

По счетам поставщиков Фредерик увидел, что в ближайшее время должен израсходовать тысяч сорок, не считая наследственных пошлин, которые обойдутся более чем в тридцать

семь тысяч; так как состояние его заключалось в недвижимо-сти, то он написал в Гавр своему нотариусу, прося продать часть ее, чтобы расплатиться с долгами и некоторую сумму иметь в своем распоряжении. Потом, стремясь наконец познать то зыбкое, туманное, неопределимое, что носит название «свет», он послал Дамбрёзам записку, прося разрешения посетить их. Г-жа Дамбрёз ответила, что надеется увидеть его у себя завтра.

Это был приемный день. Во дворе стояли экипажи. Два лакея поспешили к нему у подъезда, а третий, оказавшийся на верхней площадке лестницы, пошел впереди него.

Он миновал переднюю, еще одну комнату, затем большую гостиную с высокими окнами и монументальным камином, на котором стояли часы в виде шара и две фарфоровые вазы чудовищных размеров, а из них, как два золотых куста, поднимались два канделябра со множеством свечей. На стене висели картины в манере Рибейры; величественно ниспадали тяжелые тканые портьеры, а во всей обстановке стиля ампир, в этих креслах, консолях, столах было нечто внушительное и чопорное. Фредерик невольно улыбнулся от удовольствия.

Наконец он вступил в овальную комнату с обшивкой розового дерева, плотно уставленную миниатюрной мебелью, с зеркальным окном, которое выходило в сад. Г-жа Дамбрёз сидела у камина, а человек десять гостей образовали около нее полукруг. Встретив Фредерика любезной фразой, она жестом пригласила его сесть, но не выказала удивления, что так давно не видала его.

Когда он вошел, все восхваляли красноречие аббата Кера. Потом по поводу кражи, совершенной каким-то лакеем, стали сокрушаться об испорченности прислуги, и тут начались пересуды. Старая г-жа де Соммери простужена, м-ль де Тюрвизо выходит замуж, Моншароны вернутся не раньше конца января, Бретанкуры также. Теперь принято долго оставаться в деревне. И убожество предметов разговора словно подчеркивалось роскошью обстановки; но то, о чем говорилось, было еще куда менее глупо, чем самая манера вести разговор — без цели, без связи, без оживления. А между тем здесь были люди, выдавшие виды, — бывший министр, кюре большого прихода, два-три крупных государственных деятеля; все они не выходили за пределы самых избитых тем. У одних был вид неутешных вдов, у других повадки барышников, а старики, явившиеся сюда со своими женами, годились бы этим женам в деды.

Госпожа Дамбрёз всех принимала одинаково любезно. Как только заговаривали о чьей-нибудь болезни, она скорбно сдвигала брови, когда же речь заходила о балах или вечерах, она

сразу становилась веселой. Скоро ей придется отказаться от этих развлечений, так как она берет к себе в дом племянницу мужа, сироту. Стали превозносить ее самоотверженность: она поступает, как настоящая мать.

Фредерик в нее всматривался. Матовая кожа ее лица казалась упругой и была свежей, но тусклой, точно законсервированный плод. Зато волосы, завитые по английской моде, были нежнее шелка, голубые глаза сияли, все движения отличались изяществом. Сидя в глубине комнаты на козетке, она перебирала красную бахрому японского экрана, наверно, чтобы показать свои руки, длинные, узкие, немного худые руки с пальцами, выгнутыми на концах. Она была в сером муаровом платье с глухим лифом, точно пуританка.

Фредерик спросил, не собирается ли она в этом году в Ла-Фортель. Г-жа Дамбрёз еще ничего не могла сказать на этот счет. Он, впрочем, понимает: в Ножане ей, должно быть, скучно. Гостей становилось все больше. По коврам, не переставая, шуршали платья; дамы, присев на кончик стула, похихикав и сказав несколько слов, через пять минут уезжали со своими дочерьми. Вскоре стало невозможно следить за беседой, и Фредерик уже откланялся, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала ему:

— Итак, по средам, господин Моро? — испуская этой единственной фразой все равнодушие, проявленное к нему.

Он был доволен. И все же, выйдя на улицу, он глубоко, с облегчением вздохнул; чувствуя потребность в обществе менее искусственном, Фредерик вспомнил, что он должен сделать визит Капитанше.

Дверь в переднюю была открыта. Две гаванские болонки выбежали к нему навстречу. Раздался голос:

— Дельфина! Дельфина! Это вы, Феликс?

Он не пошел дальше; собачонки все еще тявкали. Наконец появилась Розанетта в пеньюаре из белого муслина, отделанном кружевами, в турецких туфлях на босу ногу.

— Ах, извините, сударь! Я думала, это парикмахер. Одну минутку! Сейчас вернусь!

И он остался один в столовой. Ставни были закрыты. Фредерик обвел взглядом комнату, вспоминая шум, царивший здесь в ту ночь, и вдруг заметил на середине стола мужскую фетровую шляпу, старую, измятую, засаленную, отвратительную. Чья же это шляпа? Нагло выставив свою неряшливую подкладку, она как будто говорила: «А мне наплевать! Я здесь хозяин!»

Вошла Капитанша. Она взяла шляпу, открыла дверь в теплицу, бросила ее туда, затворила дверь (в то же время дру-

гие двери открывались и закрывались) и, проведя Фредерика через кухню,пустила его в свою туалетную комнату.

Сразу было видно, что во всем доме это самое любимое место, как бы его духовное средоточие. Стены, кресла и широкий упругий диван были обиты ситцем с узором, изображавшим густую листву; на белом мраморном столе стояли два больших таза из синего фаянса; стеклянные полочки, расположенные над ним в виде этажерки, были заставлены флаконами, щетками, гребнями, косметическими карандашами, коробками с пудрой; высокое трюмо отражало огонь, горевший в камине; с края ванны свешивалась простыня, а воздух благоухал смесью миндаля и розного ладана.

— Извините за беспорядок! Я сегодня обедаю в гостях.

И, резко повернувшись, она чуть было не раздавила одну из собачонок. Фредерик нашел, что они очаровательны. Она взяла их на руки, поднесла к его лицу их черные мордочки и сказала:

— Ну, улыбнитесь и поцелуйте этого господина!

В комнату вдруг вошел какой-то человек в засаленном пальто с меховым воротником.

— Феликс, милейший,— сказала она,— в воскресенье все будет улажено, непременно.

Вошедший стал ее причесывать. Он сообщал ей новости о ее приятельницах: г-же де Рошегюн, г-же де Сен-Флорантен, г-же Ломбар,— все об аристократических дамах, совсем как в доме Дамбрёзов. Потом он заговорил о театрах; нынче вечером в Амбигю исключительный спектакль:

— Вы поедете?

— Да нет! Посижу дома.

Появилась Дельфина. Розанетта стала бранить ее за то, что она отлучилась без позволения. Та божилась, что «ходила на рынок».

— Ну тогда принесите мне расходную тетрадь! Вы разрешите?

Вполголоса читая записи, Розанетта делала замечания по поводу каждого расхода. Итог был неверный.

— Верните четыре су сдачи!

Дельфина отдала, и Розанетта ее отпустила.

— Ах, пресвятая дева! Что за мука с этим народом!

Фредерик был неприятно поражен ее брюзжанием. Оно слишком напоминало ему только что слышанное и устанавливало между обоими домами обидное равенство.

Дельфина вновь вошла и, подойдя к Капитанше, что-то шепнула ей на ухо.

— Ну нет! Не хочу!

Дельфина еще раз вернулась:

— Барыня, она не слушает.

— Ах, какая досада! Гони ее прочь!

В этот самый миг дверь толкнула старая дама в черном. Фредерик ничего не расслышал, ничего не разглядел — Розанетта ринулась в спальню ей навстречу.

Когда она вернулась, щеки у нее горели, и она молча села в кресло. Слеза скатилась у нее по щеке; потом она обернулась к молодому человеку и тихо спросила:

— Как ваше имя?

— Фредерик.

— А, Федерико! Вам не будет неприятно, что я вас так называю?

И она ласково, почти влюбленно взглянула на него. Но вот она вскрикнула от радости: к ней вошла м-ль Ватназ.

У этой артистической особы не было ни минуты свободного времени: ровно в шесть часов ей надо возглавить свой табльдот, и она задыхалась, изнемогая. Первым делом она вынула из сумочки часовую цепочку и листок бумаги, потом разные вещи, покупки.

— К твоему сведению: на улице Жубер продаются шведские перчатки, по тридцать шесть су пара, — роскошь! Твой красильщик просит подождать еще неделю. Насчет гипюра я сказала, что зайду потом. Бюньо задаток получил. Вот и все как будто? Итого ты мне должна сто восемьдесят пять франков!

Розанетта достала из ящика десять наполеондоров. У них у обеих не оказалось мелочи, Фредерик предложил свою...

— Я вам отдам, — сказала Ватназ, засовывая в сумочку пятнадцать франков. — Но вы противный! Я вас разлюбила: вы в тот вечер ни разу не танцевали со мной. Ах, моя милая, на набережной Вольтера я видела в одной лавке рамку, сделанную из чучел колибри, — прелесть! На твоём месте я бы ее купила. А вот взгляни, как тебе это понравится?

И она показала отрез старинного розового шелка, который купила в Тампле на средневековый камзол Дельмару.

— Он у тебя сегодня был, правда?

— Нет.

— Странно! — И минуту спустя: — Ты где сегодня вечером?

— У Альфонсины, — сказала Розанетта.

Это был уже третий вариант — как она собирается провести вечер.

Мадемуазель Ватназ опять спросила:

— Ну, а насчет старика с Горы что нового?

Но Капитанша, быстро подмигнув ей, заставила ее замолчать, затем проводила Фредерика до передней, чтобы спросить, скоро ли он увидит Арну.

— Пусть он придет, попросите его; конечно, не при суп-руге!

На площадке у стены стоял зонтик и рядом пара калош.

— Калоши Ватназ,— сказала Розанетта.— Какова ножка, а? Здоровенная у меня подружка? — И мелодраматическим тоном раскатисто произнесла:— Ей не доверррять!

Фредерик, которому это признание придало смелости, хотел поцеловать ее в шею. Она холодно сказала:

— Ах, пожалуйста! Ведь это ничего не стоит!

Он вышел от нее настроенный на легкомысленный лад и не сомневался, что Капитанша скоро будет его любовницей. Это желание пробудило в нем другое, и, хотя он и был несколько сердит на г-жу Арну, ему захотелось ее увидеть.

К тому же он должен был зайти к ним по поручению Розанетты.

«Но сейчас,— подумал он (было шесть часов),— сам Арну, наверно, дома».

И он отложил визит до следующего дня.

Она сидела в той же позе, что и в первый раз, и шила детскую рубашку. Мальчик играл у ее ног с деревянными зверушками; Марта поодаль писала.

Он начал с того, что похвалил детей. В ее ответе не было и следа глупого материнского тщеславия.

Комната являла вид мирный и спокойный. Солнце ярко светило в окна, полированная мебель блестела; г-жа Арну сидела у окна, и широкий солнечный луч, падая ей на затылок, на завитки волос, как бы жидким золотом пронизывал ее нежную смуглую кожу. И он сказал:

— Как выросла молодая особа за три года! Помните, мадемуазель, как вы спали у меня на коленях в коляске?

Марта не помнила.

— Это было вечером, мы ехали из Сен-Клу.

Госпожа Арну бросила на него взгляд, исполненный странной печали. Не запрещала ли она ему всякий намек на их общее воспоминание?

Ее прекрасные черные глаза с блестящими белками медленно двигались под веками, немного тяжелыми, и в глубине ее зрачков таилась беспредельная доброта. Им опять овладела любовь, еще более сильная, чем прежде, необъятная; созерцая,

он погружался в оцепенение; но он стряхнул его с себя: Как же поднять себя в ее мнении? Каким образом? И, хорошенько подумав, Фредерик не нашел ничего лучшего, чем упоминание о деньгах. Он завел речь о погоде, которая здесь не такая холодная, как в Гавре.

— Вы там бывали?

— Да, по делам... семейным... о наследстве.

— А! Очень рада за вас,— сказала она с выражением такого искреннего удовольствия, что он был тронут, как если бы она оказала ему большую услугу.

Потом она спросила, что он теперь намерен делать,— ведь мужчина должен чем-нибудь заниматься. Он вспомнил о своем вымысле и сказал, что рассчитывает попасть в Государственный совет благодаря господину Дамбрёзу, депутату.

— Вы, может быть, знаете его?

— Только по фамилии.

Потом, понизив голос, спросила:

— *Он* ездил с вами на бал в тот раз, правда?

Фредерик молчал.

— Мне просто хотелось узнать; благодарю вас.

И она задала ему два-три сдержанных вопроса о его семье и родном городе. Как это любезно, что он не забыл их, хоть и прожил там так долго.

— Но... разве мог я иначе? — спросил он. — И вы сомневались?

Госпожа Арну встала.

— Я полагаю, у вас к нам искреннее и прочное чувство. Прощайте... нет, до свиданья.

И она крепко, по-мужски пожала ему руку. Не залог ли это, не обещание ли? Фредерик ощутил теперь счастье жизни; он сдерживал себя, чтобы не запеть; он испытывал потребность излить свой восторг, проявить великодушие, подать милостыню. Он посмотрел вокруг себя, нет ли человека, которому можно прийти на помощь. Ни один нищий не проходил поблизости, и готовность к жертве исчезла в нем, едва возникнув, ибо он был не из тех, кто с упорством стал бы искать для этого подходящего случая.

Потом он вспомнил о своих друзьях. Первый, о ком он подумал, был Юссонэ, второй — Пеллерен. К Дюссардье, занимавшему очень скромное положение, следовало отнести особенно внимательно; что до Сизи, Фредерик радовался возможности похвастаться перед ним своим богатством. Он письменно пригласил всех четырех отпраздновать с ним новоселье в ближай-

шее воскресенье, ровно в одиннадцать часов, а Делорье он поручил привести Сенекаля.

Репетитора уже уволили из третьего пансиона за то, что он высказался против раздачи наград, обычая, который считал пагубным с точки зрения равенства. Он теперь служил у некоего машиностроителя и уже полгода, как не жил с Делорье.

Разлука оказалась для них вовсе не тяжелой. К Сенекалю последнее время ходили какие-то блузники, всё — патриоты, всё — рабочие, всё — честные люди; адвокату, однако, общество их казалось скучным. К тому же некоторые идеи его друга, превосходные как орудия борьбы, ему не нравились. Из честолюбия он об этом молчал, стараясь обращаться с Сенекалем бережно, чтобы иметь возможность им руководить, ибо он с нетерпением ожидал великого переворота, надеясь пробиться, занять положение.

Взгляды Сенекаля были бескорыстнее. Каждый вечер, кончив работу, он возвращался к себе в мансарду и в книгах искал подтверждения своим мечтам. Он делал заметки к «Общественному договору». Он пичкал себя «Независимым обозрением». Он изучил Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабе, Луи Блана — весь грузный воз писателей-социалистов, тех, что хотят поселить все человечество в казармах, тех, что желали бы развлекать его в домах терпимости или заставить корпеть за конторкой; и из смеси всего этого он создал себе идеал добродетельной демократии, нечто похожее и на ферму и на прядильню, своего рода американскую Лакедемонию, где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу, более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому и божественному, чем какие-нибудь далай-ламы и Навуходоносоры. Он не сомневался в скором осуществлении этой идеи и яростно ратовал против всего, что считал враждебным ей, рассуждая, как математик, и слепо веря в нее, как инквизитор. Дворянские титулы, мундиры, ордена, в особенности ливреи и даже слишком громкие репутации вызывали в нем возмущение, а книги, которые он изучал, и его невзгоды с каждым днем усиливали в нем ненависть ко всему выдающемуся и ко всякому проявлению превосходства.

— Чем я обязан этому господину, чтобы оказывать ему какие-то любезности? Если я ему нужен, он может сам ко мне прийти!

Делорье просто потащил его к Фредерику.

Они застали своего приятеля в спальне. Шторы и двойные драпировки, венецианские зеркала — ни в чем не было недо-

статка; Фредерик в бархатной куртке сидел, развалившись в глубоком кресле, и курил турецкие папиросы.

Сенекаль насупился, как ханжа, попавший на веселое сборище. Делорье окинул все единым взглядом, потом низко поклонился:

— Ваша светлость! Честь имею приветствовать вас!

Дюссардые бросился ему на шею.

— Так вы теперь разбогатели? Ах, вот это славно, черт возьми, это славно.

Сизи явился с крепом на шляпе. После смерти своей бабушки он располагал значительным состоянием и стремился не столько веселиться, сколько отличаться от других, быть не как все, носить «особый отпечаток». Это было его любимое выражение.

Был уже полдень, и все зевали; Фредерик поджидал еще кого-то. При имени Арну Пеллерен состроил гримасу. Он смотрел на него как на ренегата с тех пор, как тот бросил искусство.

— А что, если обойтись без него? Как вы скажете?

Все были согласны.

Слуга в высоких гетрах распахнул дверь, и гости увидели столовую, стены которой были отделаны широкой дубовой панелью с золотым багетом; на двух поставцах стояла посуда. На печке подогревались бутылки с вином; рядом с устрицами блестяли лезвия новых ножей; в молочном оттенке тончайших стаканов было что-то нежно манящее, и стол гнулся от дичи, фруктов, разных необыкновенных яств. Эти тонкости Сенекаль не мог оценить.

Он первым делом потребовал простого хлеба (как можно более черствого) и по этому случаю заговорил об убийствах в Бюзансэ и о продовольственном кризисе.

Ничего бы этого не случилось, если бы больше заботились о земледелии, если бы все не было отдано во власть конкуренции, анархии, злосчастного принципа «свободной торговли»! Вот как возникает денежный феодализм, худший, чем феодализм прежний. Но берегитесь! Народ в конце концов не выдержит и за свои страдания оплатит капиталистам кровавыми приговорами либо разграблением их дворцов.

Фредерику представилось на миг, как толпа людей с засученными рукавами наводняет парадную гостиную г-жи Дамбрёз и ударами пик разбивает зеркала.

Сенекаль продолжал: рабочий вследствие недостаточности заработной платы несчастнее, чем илот, негр или пария, особенно если у него есть дети.

— Что ж ему, удушить их, что ли, чтоб от них избавиться, как рекомендует, не помню уж какой, английский ученый, последователь Мальтуса? — И он обратился к Сизи: — Неужели же мы дойдем до того, что будем следовать советам гнусного Мальтуса?

Сизи, не подозревавший ни о гнусности, ни даже о самом существовании Мальтуса, ответил, что бедным все-таки много помогают и что высшие классы...

— Ах, высшие классы! — проговорил с насмешкой социалист. — Во-первых, никаких высших классов нет; человека возвышает лишь его сердце. Нам не надо милостыни, слышите! Мы хотим равенства, справедливого распределения продуктов труда.

Он требовал, чтобы рабочий мог стать капиталистом, как солдат — полковником. Средневековые цехи, ограничивая число подмастерьев, по крайней мере, препятствовали излишнему скоплению рабочей силы, а чувство братства поддерживалось празднествами, знаменами.

Юссонэ, как поэт, жалел о знаменах; Пеллерен — также, ибо имел к ним пристрастие с тех пор, как в кафе «Даньо» слышал беседу поборников фаланстера. Он заявил, что Фурье великий человек.

— Да ну! — сказал Делорье. — Эта старая скотина видит в государственных переворотах проявление божественного возмездия! Он вроде барина Сен-Симона и его дворни с их ненавистью к французской революции, — кучка болтунов, желающих восстановить католицизм.

Господин де Сизи, вероятно, из любознательности или для того, чтобы выставить себя в выигрышном свете, тихо спросил:

— Так эти ученые держатся других взглядов, чем Вольтер?

— Этого я вам уступаю! — ответил Сенекаль.

— Как? А я думал...

— Да нет же! Он не любил народ!

Потом разговор перешел на современные события: испанские браки, рошфоровскую растрату, новый капитул Сен-Дени, который приведет к увеличению налогов. По мнению Сенекаля, они и так были достаточно велики.

— И для чего, боже ты мой? Чтобы воздвигать дворцы для музейных обезьян, устраивать на площадях блистательные парады или поддерживать среди придворных лакеев средневековый этикет!

— Я читал в «Журнале мод», — сказал Сизи, — что в день святого Фердинанда на балу в Тюильри все были наряжены грузчиками.

— Ну, разве это не плачевно! — сказал социалист, с отвращением пожимая плечами.

— А версальский музей! — воскликнул Пеллерен. — Стоит о нем поговорить! Эти болваны укоротили одну из картин Делакруа и надставили Гро! В Лувре так хорошо реставрируют полотна, так их подчищают и подмазывают, что лет через десять, пожалуй, от них ничего не останется. А об ошибках в каталоге один немец написал целую книгу. Честное слово, иностранцы смеются над нами!

— Да, мы стали посмешищем Европы, — сказал Сенекаль.

— Все потому, что искусство подчинено короне.

— Пока не будет всеобщего избирательного права...

— Позвольте! — Художник, которого уже двадцать лет не принимали ни на одну выставку, негодовал на Власть. — О, пусть нас оставят в покое. Лично я не требую ничего! Но только палаты должны были бы с помощью законов оказывать поддержку искусству. Следовало бы учредить кафедру эстетики и найти такого профессора, который был бы и практиком, и в то же время философом, и, надо надеяться, сумел бы объединить массы. Хорошо бы вам, Юссонэ, коснуться этого в вашей газете!

— Разве газеты у нас пользуются свободой? Разве сами мы пользуемся ею? — с горячностью воскликнул Делорье. — Когда подумаешь, что, прежде чем спустить лодочку на реку, может потребоваться двадцать восемь формальностей, просто хочется бежать к людоедам! Правительство пожирает нас! Все принадлежит ему: философия, право, искусство, самый воздух, а изможденная Франция хрипит под сапогом жандарма и сутаной попа!

Так широким потоком будущий Мирабо изливал свою желчь. Наконец он поднял стакан, поднялся и, упершись рукой в бок, сверкая глазами, проговорил:

— Я пью за полное разрушение существующего строя, то есть всего, что называют Привилегией, Монополией, Управлением, Иерархией, Властью, Государством, — закончив голосом еще более громким, — которые я хотел бы разбить вот так! — И он бросил на стол высокий красивый бокал, который разлетелся на множество осколков.

Все зааплодировали, а больше всех — Дюссардь.

Его сердце возмущало зрелище несправедливостей. Он тревожился за судьбу Барбеса: он был из числа тех, кто готов броситься под экипаж, чтобы спасти упавшую лошадь. Его эрудиция ограничивалась двумя сочинениями; одно из них называ-

лось «Преступления королей», другое — «Тайны Ватикана». Он слушал адвоката, разинув рот, упиваясь его речью. Наконец он не выдержал.

— А я упрекаю Луи-Филиппа в том, что он предал поляков!

— Одну минутку! — сказал Юссонэ. — Прежде всего никакой Польши не существует; это выдумка Лафайета. Как правило, все поляки — из предместья Сен-Марсо, а настоящие утонули вместе с Понятовским.

Словом, его «не проведешь», он «разуверился во всем этом». Ведь это все равно что морской змей, отмена Нантского эдикта или «старая басня о Варфоломеевской ночи»!

Сенекаль, не защищая поляков, подхватил последние слова журналиста. Пам оклеветали, они, в сущности, стоят за народ, а Лигу он назвал «зарей Демократии, великим движением в защиту равенства против индивидуализма протестантов».

Фредерик был несколько удивлен такими идеями. Сизифы, наверно, тоже надоели: он перевел разговор на живые картины в театре Жимназ, которые в то время привлекали много зрителей.

Сенекаля и это огорчило. Подобные зрелища развращают дочерей пролетария; потом и они стремятся выставить напоказ наглую роскошь. Поэтому он оправдывал баварских студентов, оскорбивших Лолу Монтес. По примеру Руссо, он больше уважал жену угольщика, чем любовницу короля.

— Вы отвергаете трюфели! — величественно возразил Юссонэ.

И он встал на защиту подобных дам из внимания к Розанетте. Потом заговорил о ее бале и костюме Арну.

— Говорят, дела его плохи? — сказал Пеллерен.

У торговца картинами только что закончилось судебное дело из-за участков в Бельвиле, а теперь он состоял членом компании по разработке фарфоровой глины в Нижней Бретани вместе с такими же сомнительными личностями, как он сам.

Дюссардье знал на этот счет больше, так как его хозяин, г-н Муссино, навел об Арну справки у банкира Оскара Лефевра; тот сообщил, что считает Арну человеком несолидным, — ему приходилось переписывать векселя.

Десерт был окончен; перешли в гостиную, обтянутую так же, как и у Капитанши, желтым шелком и убранную в стиле Людовика XVI.

Пеллерен поставил Фредерику в укор, что он не отдал предпочтения неогреческому стилю; Сенекаль чиркал спичками

о шелковую обивку; Делорье никаких замечаний не сделал, но не мог воздержаться от них по поводу библиотеки, которую назвал библиотекой маленькой девочки. В ней была собрана большая часть современных авторов. Поговорить об их произведениях было невозможно, так как Юссонэ тотчас же начинал рассказывать анекдоты о них самих, критиковал их внешность, поведение, костюмы, превознося каких-то писателей пятнадцатого ранга, уничтожающе отзываясь о талантах первостепенных и, разумеется, сокрушаясь о современном упадке. В любой деревенской песенке поэзии больше, чем во всей лирике XIX века; Бальзака захвалили. Байрона уже низвергли, Гюго ничего не смыслит в театре, и так далее.

— Почему, — спросил Сенекаль, — у вас нет книг наших рабочих поэтов?

А господин де Сизи, интересовавшийся литературой, удивился, что не видит на столе у Фредерика «каких-нибудь новейших физиологий — физиологии курильщика, рыболова, таможенного чиновника».

Приятели настолько вывели Фредерика из терпения, что ему захотелось вытолкать их вон. «Нет, я просто глупею!» И, отведя Дюссардые в сторону, он спросил, не может ли быть ему чем-нибудь полезен.

Добрый малый был растроган. Но он служит кассиром и ни в чем не нуждается.

Затем Фредерик повел Делорье к себе в спальню и вынул из бюро две тысячи франков:

— На, дружище, забирай! Это остаток моих старых долгов.

— Ну... а как же газета? — спросил адвокат. — Ты ведь знаешь, я уже говорил об этом с Юссонэ.

А когда Фредерик ответил, что он «сейчас в несколько стесненных обстоятельствах», Делорье зло усмехнулся.

После ликеров пили вино; после пива — грог; еще раз закурили трубки. Наконец в пять часов гости разошлись; они шагали рядом и молчали, как вдруг Дюссардые заговорил о том, что Фредерик превосходно принял их. Все согласились.

Юссонэ заявил, что завтрак был тяжеловат. Сенекаль раскритиковал обстановку Фредерика, изобличающую его пустоту. Сизи был того же мнения. В ней совершенно не заметно «особого отпечатка».

— Я считаю, — проговорил Пеллерен, — что он, безусловно, мог бы заказать мне картину.

Делорье молчал, унося в кармане панталон банковые билеты.

Фредерик остался один. Он думал о своих друзьях и чувствовал, что от них его как бы отделяет глубокий ров, полный мрака. Он протянул им руку, но его искренность не вызвала в них отклика.

Он вспомнил все сказанное Пеллереном и Дюссардые относительно Арну. Наверно, это выдумка, клевета. Но, собственно, почему? И он уже видел, как г-жа Арну, разоренная, плачущая, распродает свою обстановку. Эта мысль терзала его всю ночь; на следующий день он отправился к ней.

Не зная, как сообщить ей то, что ему известно, он в разговоре, между прочим, спросил ее, по-прежнему ли Арну владеет участками в Бельвиле.

— Да, по-прежнему.

— Он теперь, кажется, член компании по добыче фарфоровой глины в Бретани?

— Да.

— На фабрике все идет хорошо, не правда ли?

— Ну да... как будто.— И, чувствуя, что он не решается что-то сказать, спросила: — Да что с вами? Вы меня пугаете!

Тогда он сообщил ей об отсроченных векселях. Она опустила голову и сказала:

— Я так и думала!

Действительно, Арну ради выгодной спекуляции отказался продать землю, заложил ее за большую сумму и, не находя покупателей, решил поправить дело постройкой фабрики. Затраты превысили смету. Ей больше ничего не известно; он же избегает всяких вопросов и все время уверяет, что «дела идут прекрасно».

Фредерик попытался ее успокоить. Это, может быть, лишь временные затруднения. Впрочем, если он что-нибудь узнает, то сообщит ей.

— Ах, да! Пожалуйста,— сказала она, складывая руки с очаровательным выражением мольбы.

Так, значит, он может быть ей полезен. Он входит в ее жизнь, в ее сердце!

Явился Арну.

— Ах, как мило! Вы зашли, чтобы везти меня обедать!

Фредерик опешил.

Арну поговорил о разных пустяках, потом предупредил жену, что вернется очень поздно, так как у него назначено свидание с г-ном Удри.

— У него дома?

— Ну конечно, у него.

Спускаясь по лестнице, он признался, что Капитанша сегодня свободна и он с ней поедет повеселиться в «Мулен Руж», а так как у него всегда была потребность в излияниях, он попросил Фредерика проводить его до подъезда Розанетты.

Но вместо того чтобы войти, он стал ходить по тротуару, разглядывая окна третьего этажа. Вдруг занавески раздвинулись.

— А! Браво! Папаша Удри ушел. Всего доброго!

Так, значит, она на содержании у старика Удри? Фредерик теперь не знал, что и думать.

С этого дня Арну стал еще дружелюбнее прежнего; он приглашал его обедать к своей любовнице, и вскоре Фредерик начал посещать оба дома.

У Розанетты бывало занято. К ней заезжали вечером после клуба или театра, пили чай, играли партию в лото; по воскресеньям разыгрывали шарады; Розанетта, самая неугомонная из всех, любила забавные затеи, например, бегала на четвереньках или напяливала на себя вязаный колпак. Когда она смотрела в окно на прохожих, то надевала кожаную шляпу; она курила трубку с чубуком, пела тирольские песни. Днем она от нечего делать вырезала цветы из ситца, сама наклеивала их на стекла окон, намазывала румянами двух своих собачек, зажигала курительные свечи или гадала на картах. Не в силах совладать со своими желаниями, она приходила в восторг от увиденной безделушки, не спала ночь, спешила ее купить, выменивала на другую, без толку изводила какую-нибудь ткань, теряла свои драгоценности, сорила деньгами, могла бы продать последнюю рубашку, чтобы достать литературную ложу на спектакль. Она часто просила Фредерика объяснить ей какое-нибудь слово, которое ей случалось прочесть, но не слушала объяснений, быстро перескакивала с одного предмета на другой и сыпала вопросами. Приступы веселости сменялись у нее детскими вспышками гнева; или же она погружалась в мечты, сидя на полу перед камином, опустив голову и обхватив колени руками, неподвижнее, чем оцепеневший уж. Не обращая на Фредерика внимания, она одевалась в его присутствии, медленно натягивала шелковые чулки, потом умывала лицо, обдавая все кругом брызгами, откидывалась назад, как трепещущая наяда; и ее смех, белизна ее зубов, блеск ее глаз, ее красота, ее веселость пленяли Фредерика и будоражили его.

Госпожа Арну почти всякий раз, как он приходил, или учила читать своего мальчугана, или стояла за стулом Марты, игравшей гаммы; если она занималась шитьем, для него было

великим счастьем поднять упавшие ножницы. Все ее движения были спокойно-величественны; ее маленькие руки казались созданными для того, чтобы раздавать милостыню, чтобы утирать слезы, а в голосе ее, от природы глуховатом, были ласкающие интонации и как бы легкость ветерка.

Литературой она не восторгалась, но зато ее ум сказывался в чарующе простых и прочувствованных словах. Она любила путешествовать, слушать шум ветра в лесу и без шляпы гулять под дождем. Фредерик наслаждался, слушая все это, и думал, что уже начинается их сближение.

Общение с этими двумя женщинами составляло как бы две мелодии; одна была игривая, порывистая, веселящая, другая же — торжественная, почти молитвенная; и, звуча в одно и то же время, они непрерывно нарастали и мало-помалу сливались, ибо, если г-же Арну случалось прикоснуться к нему хоть кончиком пальца, перед ним вставал, откликаясь на его желания, образ той, другой, потому что с ней он больше мог рассчитывать на удачу; а когда в обществе Розанетты он чувствовал сердечное волнение, тотчас же ему вспоминалась его великая любовь.

Этому смещению способствовало и сходство в обстановке обеих квартир. Один из двух ларей, находившихся в прежнее время на бульваре Монмартр, украшал теперь столовую Розанетты, другой же — гостиную г-жи Арну. В обоих домах сервизы были одинаковые, и даже на креслах валялись такие же бархатные ермолки; далее, множество мелких подарков — экраны, шкатулки, веера — переходили от жены к любовнице и обратно, ибо Арну, нисколько не стесняясь, часто отбирал у одной подаренное им же, чтобы преподнести другой.

Капитанша вместе с Фредериком смеялась над этой скверной его манерой. Однажды в воскресенье, после обеда, она повела Фредерика в переднюю и показала ему в кармане пальто Арну пакет с пирожными, которые он стащил со стола, вероятно чтобы угостить свою семью. Г-н Арну пускался на шалости, граничившие с гнусностью. Он считал долгом надувать городскую таможню; в театр он никогда не ходил за деньги; с билетом второго класса всегда, по его словам, пробирался в первый и рассказывал, как о превосходной шутке, о своем обыкновении опускать в купальнях в кружку для прислуги вместо мелкой монеты пуговицу от штанов; все это, однако, не мешало Капитанше его любить.

Как-то раз она все же сказала в разговоре о нем:

— Ах! Надоел он мне в конце концов! Довольно с меня! Право, куда ни шло, найду себе другого!

Фредерик заметил, что «другой», как ему кажется, уже найден и называется г-ном Удри.

— Ну так что же из того? — сказала Розанетта. И в голосе ее слышались слезы. — Ведь я у него так мало прошу, а он не хочет, скотина! Не хочет! Вот на обещания он не скупится — о! это другое дело.

Он посулил ей даже четвертую часть прибылей от пресловутой фарфоровой глины; никаких прибылей она и в глаза не видела, равно как и кашемировой шали, которою он уже полгода морочит ее.

Фредерик сразу решил было подарить ей такую шаль. Но Арну мог счесть это за урок и рассердиться.

А все-таки он был добрый, его жена сама об этом говорила. Но такой сумасброд! Теперь, вместо того чтобы каждый день принимать гостей у себя, он приглашал знакомых в ресторан. Он покупал вещи совершенно ненужные, например, золотые цепочки, стенные часы, всякие хозяйственные принадлежности. Г-жа Арну даже показала Фредерику в коридоре огромное количество чайников, грелок и самоваров. Наконец однажды она призналась ему, что ее тревожит: Арну заставил ее подписать вексель на имя г-на Дамбрёза.

Фредерик между тем не отказывался от литературных замыслов, которые в своем роде были для него вопросом чести. Он хотел написать историю эстетики — итог его разговоров с Пеллереном, потом — изобразить в драмах разные моменты французской революции и, под косвенным влиянием Делорье и Юссонэ, думал сочинить большую комедию. Часто во время работы перед ним вставало лицо то одной, то другой женщины; он боролся с желанием увидеть ее, сразу же поддавался этому желанию, а возвращаясь от г-жи Арну, становился еще грустнее.

Однажды утром, когда он у камина предавался меланхолии, вошел Делорье. Крамольные речи Сенекаля обеспокоили его патрона, и он снова очутился без средств к существованию.

— Что же я тут, по-твоему, могу сделать? — сказал Фредерик.

— Ничего! Денег у тебя нет, я знаю. Но не можешь ли ты найти ему место через господина Дамбрёза или через Арну?

Последнему, должно быть, нужны инженеры на его фабрике. Фредерика осенило: Сенекаль мог бы сообщать ему об отлучках мужа, передавать письма, быть полезным во множестве случаев, которые представятся. Мужчины всегда ока-

зывают друг другу такие услуги. Впрочем, он найдет способ воспользоваться Сенекалем так, что тот и не догадается. Случай посылает пособника, это добрый знак, упускать нельзя; и вот, притворясь равнодушным, он ответил, что дело, пожалуй, удастся устроить и что он им займется.

Фредерик занялся им немедленно. У Арну было много хлопот с фабрикой. Он искал медно-красную китайскую краску; но краски улетучивались при обжигании. Чтобы предохранить фаянс от трещин, он к глине примешивал известь; однако изделия становились ломкими, эмаль на рисунках пузырилась, большие пластинки коробились, и он, приписывая эти неудачи плохому оборудованию фабрики, хотел заказать новые дробильные мельницы, новые сушилки. Фредерик вспомнил некоторые из этих подробностей и, придя к Арну, объявил, что отыскал человека весьма сведущего, способного найти пресловутую красную краску. Арну так и подпрыгнул, потом, выслушав все, ответил, что ему никого не надо.

Фредерик стал расхваливать удивительные познания Сенекаля — одновременно инженера и счетовода, первоклассного математика.

Фабрикант дал согласие повидаться с ним.

Насчет вознаграждения они не сошлись. Фредерику пришлось вмешаться в дело, и к концу недели он добился того, что условие было заключено.

Но фабрика находилась в Крейле, и Сенекаль ничем не мог бы быть ему полезен. Это соображение, весьма простое, повергло Фредерика в уныние, как настоящая неудача.

Он решил, что чем больше Арну будет отвлекаться от жены, тем больше он сам может рассчитывать на успех у нее. И он стал без конца восхвалять Розанетту; он указал Арну на все, в чем тот перед нею виноват, передал ее недавние смутные угрозы и даже упомянул про кашемировую шаль, не утаив, что Розанетта обвиняет его в скупости.

Арну, задетый этим упреком (и к тому же обеспокоенный), подарил Розанетте шаль, но побранил ее за то, что она жаловалась Фредерику; а когда она сказала, что тысячу раз напоминала о его обещании, он стал уверять, что запомнил, так как слишком занят.

На другой день Фредерик явился к ней. Хотя было два часа, Капитанша еще не вставала, а у самого ее изголовья Дельмар за круглым столиком доедал кусок паштета. Она еще издали крикнула: «Получила! Получила!» — потом, взяв Фредерика за уши, поцеловала его в лоб, долго благодарила,

говорила ему «ты» и даже пожелала усадить к себе на постель. Ее красивые нежные глаза блестели, влажный рот улыбался, рубашка без рукавов открывала полные руки, и время от времени он чувствовал сквозь батист упругие формы ее тела. Дельмар между тем вращал глазами:

— Но, право же, друг мой, дорогая моя!..

То же повторялось потом каждый раз. Как только Фредерик входил, она приподнималась на локте, чтобы ему удобнее было ее поцеловать, называла его душкой, прелестью, втыкала ему в петлицу цветок, поправляла галстук; эти нежности всегда усиливались, когда тут же оказывался Дельмар.

Не заигрывает ли она с ним? Фредерик так и подумал. А что до Арну, то ведь он на месте Фредерика не постеснялся бы обмануть друга. Имеет же он право не быть добродетельным с его любовницей, раз он добродетелен с его женой, ибо Фредерик считал, что это так, или, вернее, хотел внушить себе это, стараясь оправдать свое удивительное малодушие. Все же свое поведение он считал глупым и решил действовать с Капитаншей напрямик.

И вот однажды днем, когда она наклонилась над комодом, он подошел к ней и обнял ее столь недвусмысленно красноречиво, что она выпрямилась и вся вспыхнула. Он продолжал в том же роде; тогда она расплакалась и сказала, что очень несчастна, но это еще не основание презирать ее.

Он повторил свои попытки. Она стала держать себя по-иному — все время смеялась. Он счел уместным отвечать ей в том же тоне и довел это до крайности. Но он прикидывался слишком уж веселым, чтобы она могла верить в его искренность, а их товарищеская непринужденность служила помехой для выражения серьезного чувства. Наконец она как-то объявила, что хватит с нее чужих объедков.

— Каких чужих?

— А разве нет? Ступай к своей госпоже Арну!

Фредерик о ней часто говорил; с другой стороны, и Арну имел такую же привычку; в конце концов Розанетту стали выводить из терпения вечные похвалы этой женщине, и ее упрек был своего рода мстью.

Фредерик затаил на нее обиду.

К тому же она начинала сильно раздражать его. Порою, выставляя себя опытной в делах любви, она со злостью говорила об этом чувстве, и ее скептический смешок возбуждал в нем желание дать ей пощечину. Четверть часа спустя любовь оказывалась единственно ценной вещью на свете, и,

полузакрыв веки, скрестив руки на груди, словно кого-то обнимая, Розанетта в каком-то опьянении томно шептала: «Ах, да! Это чудесно! Так чудесно!» Невозможно было понять ее, узнать, например, любит ли она Арну; она издевалась над ним и вместе с тем как будто ревновала его. То же и с Ватназ, которую она то называла мерзавкой, то лучшей своей подругой. Вообще во всем ее облике, даже в том, как она закручивала косы, было что-то неуловимо похожее на вызов, и он желал ее главным образом ради удовольствия победить и подчинить.

Как быть? Ведь часто она, ничуть не церемонясь, выпроваживала его, появлялась на минуту в дверях, чтобы шепнуть: «Я до вечера занята!» — или же он заставлял ее в обществе человек двенадцати гостей, а когда они оставались вдвоем, можно было побиться об заклад, что помехи будут возникать непрерывно. Он приглашал ее обедать, она всегда отказывалась; раз как-то согласилась, но не приехала.

В голове у него зародился план, достойный Макиавелли.

Зная от Дюссардьё об упреках Пеллерена по своему адресу, Фредерик придумал заказать ему портрет Капитанши, портрет в натуральную величину, такой, что потребуются много сеансов; сам он не пропустит ни одного из них; обычная неаккуратность художника облегчит свидания наедине. И он предложил Розанетте позировать для портрета, чтобы преподнести свое изображение бесценному Арну. Она согласилась, ибо уже видела свой портрет в Большом салоне, на самом почетном месте, и собравшуюся перед ним толпу; да и газеты заговорят о ней, так что она сразу «войдет в моду».

Пеллерен с жадностью ухватился за предложение. Этот портрет должен сделать его знаменитым, явиться шедевром.

Он перебрал в памяти все портреты кисти великих мастеров, какие были ему известны, и окончательно остановился на портрете в манере Тициана, решив прибавить к нему украшения во вкусе Веронезе. Итак, он осуществит свой замысел без всяких искусственных теней, в ярком свете, тело выдержит в одном тоне, а на аксессуары будут падать блики.

«Что, если нарядить ее, — думал он, — в розовое шелковое платье? С восточным бурнусом? Ах, нет! К черту бурнус! Или лучше одеть ее в синий бархат на густо-сером фоне? Можно бы еще белый гипюровый воротник, черный веер, а позади алую драпировку?»

И, размышляя таким образом, он с каждым днем расширял свой замысел и восхищался им.

У него забилося сердце, когда Розанетта, в сопровождении Фредерика, явилась к нему на первый сеанс. Он попросил ее встать на некое подобие эстрады посередине комнаты; и, жалуясь на освещение и жалея о своей прежней мастерской, заставил ее сперва облокотиться на какой-то пьедестал, потом сесть в кресло; он то удалялся, то снова приближался к ней, чтобы щелчком поправить складки платья, прищурясь, глядел на нее и отрывисто спрашивал у Фредерика советов.

— Ну, так нет же! — воскликнул он. — Я возвращаюсь к прежнему замыслу! Делаю вас венецианкой!

На ней будет платье пунцового бархата с золотым поясом, а из-под широкого рукава, отороченного горностаем, будет видна обнаженная рука, опирающаяся на балюстраду лестницы, которая приходится сзади. Слева, до верхнего края холста, будет подниматься высокая колонна, сливаясь с архитектурными деталями свода. Под его аркой смутно видны купы почти черных апельсиновых деревьев на фоне голубого неба с полосками белых облаков. На выступ лестницы наброшен ковер, на нем — серебряное блюдо, букет цветов, янтарные четки, кинжал и старинный, чуть пожелтевший ларец слоновой кости, полный золотых цехинов; несколько монет, упавших на пол, протянутся цепью блестящих брызг, привлекая внимание к кончику ее ноги, а стоять она будет на предпоследней ступеньке, в ярком свете.

Он принес ящик для упаковки картин и водрузил его на эстраде, чтобы изобразить ступеньку; потом в качестве аксессуаров разложил на табурете, заменявшем балюстраду, свою рабочую блузу, щит, коробку из-под сардин, пучок перьев, нож и, разбросав перед Розанеттой дюжину медяков, попросил ее встать в позу.

— Вообразите себе, что все эти вещи — сокровища, роскошные подарки. Голову немного направо! Превосходно! И не двигайтесь! Такая величественная поза очень подходит к характеру вашей красоты.

Она была в шотландском платье, в руке держала большую муфту; ей стоило усилий не расхохотаться.

— А в волосы мы вплетем жемчуга: в рыжих волосах это всегда очень эффектно.

Капитанша возразила, что волосы у нее не рыжие.

— Да не спорьте! Рыжий цвет у художников не тот, что у обывателей!

Он стал набрасывать расположение предметов и так был занят мыслями о великих мастерах Возрождения, что только

о них и говорил. Целый час он вслух грезил о жизни этих людей, исполненной великолепия, гениальности, славы и пышности, о триумфальных въездах в города и пирах при свете факелов, среди женщин, полунагих, прекрасных, как богини.

— Вы созданы, чтобы жить так, как жили в те времена. Женщина, подобная вам, была бы достойна принца.

Розанетта находила, что комплименты Пеллерена чрезвычайно милы. Назначен был день следующего сеанса; Фредерик взялся принести аксессуары.

От жарко натопленной печки у Розанетты немного кружилась голова; поэтому назад они отправились пешком по улице Дюбак и вышли на Королевский мост.

Была прекрасная погода, холодная, но ясная. Садилось солнце, окна некоторых домов Старого города блестели вдали, как золотые дощечки, а сзади, с правой стороны, башни собора Богоматери вырисовывались совсем черные на фоне синего неба, нежно подернутого на горизонте серой дымкой. Подул ветер. Розанетта объявила, что проголодалась, и они вошли в Английскую кондитерскую.

Молодые женщины с детьми ели, стоя у мраморного прилавка, где под стеклянными колпаками жались одна к другой тарелки с пирожными. Розанетта проглотила два бисквита с кремом. От сахарной пудры на углах рта у нее получились усики. Чтобы вытереть их, она несколько раз вынимала из муфты носовой платок; в обрамлении зеленого шелкового капора ее лицо напоминало распустившуюся розу среди листьев.

Они пошли дальше; на Рю-де-ла-Пэ она остановилась у ювелирного магазина, стала рассматривать браслет; Фредерик захотел подарить ей его.

— Нет,— сказала она,— побереги деньги.

Его задела эти слова.

— Что это с моим мальчиком? Взгрустнулось?

И разговор снова завязался; Фредерик, как обычно, начал уверять ее в своей любви.

— Ты же знаешь, что это невозможно!

— Почему?

— Ах! Потому что...

Они шли рядом, она опиралась на его руку, и оборки платья задевали его ногу. И тут он вспомнил зимние сумерки, когда по этому же самому тротуару с ним рядом шла г-жа Арну, и настолько поглощен был этим воспоминанием, что перестал замечать Розанетту и думать о ней.

Она глядела куда-то в пространство, повиснув на его руке, а он тащил ее за собой, словно лепивого ребенка. Был тот час, когда возвращаются с прогулки; по сухой мостовой быстро неслись экипажи. Ей, вероятно, пришла на память лесь Пеллерена, и она вздохнула:

— Ах! Есть же ведь такие счастливицы! Решительно, я создана для богатого человека.

Он грубо возразил:

— Так он же у вас есть! — Ибо г-н Удри, как считали все, был трижды миллионер.

Она, оказалось, только и мечтает, как бы избавиться от него.

— Кто же вам мешает?

И он дал волю желчным насмешкам над этим старым буржуа в парике, убеждая ее, что подобная связь недостойна и ее надо порвать!

— Да, — ответила Капитанша, словно разговаривая сама с собой, — я, наверно, так в конце концов и сделаю.

Фредерика восхитило ее бескорыстие. Она замедлила шаг; он подумал, что она устала. Она упорно не желала садиться в экипаж и отпустила Фредерика у своего подъезда, послав ему воздушный поцелуй.

«Ах! Какая жалость! И подумать, что есть дураки, которые считают меня богатым!»

Он мрачный возвращался домой.

Там его ждали Юссонэ и Делорье.

Журналист, сидя за его столом, рисовал головы турок, адвокат же, забравшись в грязных башмаках на диван, дремал.

— А, наконец-то! — воскликнул он. — Но какой свирепый вид! Можешь ты меня выслушать?

Мода на него как на репетитора проходила, ибо своих учеников он пичкал теориями, неблагоприятными для экзаменов. Он два-три раза выступил в суде, проиграл дела, и каждое новое разочарование все подкрепляло в нем давнюю мечту о газете, где он мог бы проявлять себя, мстить, извергать свою желчь и свои мысли. К тому же явятся известность и богатство. В надежде на это он и обхаживал Юссонэ, имевшего в своем распоряжении газету.

Тот выпускал ее теперь на розовой бумаге, сочинял утки, придумывал ребусы, ввязывался в полемику и даже (не соображаясь с помещением) собирался устраивать концерты. Годовая подписка «давала право на место в партере в одном из главных театров Парижа; кроме того, редакция обязывалась снаб-

жать господ иногородних всеми требуемыми справками из области искусства и прочими». Но типографщик грозился, хозяину дома задолжали за девять месяцев, возникали всяческие затруднения, и Юссонэ дал бы «Искусству» погибнуть, если бы не заклинания адвоката, который изо дня в день старался поддерживать в нем бодрость. Делорье захватил его с собой, чтобы придать больший вес своему ходатайству.

— Мы пришли по поводу газеты, — сказал он.

— Ну? Ты еще думаешь о ней! — небрежно ответил Фредерик.

— Разумеется, думаю!

И он снова изложил свой план. Печатаемая биржевые отчеты, они завяжут отношения с финансистами и таким путем получат сто тысяч франков, необходимых для залога. Но для того чтобы листок мог превратиться в политическую газету, надо сперва создать себе широкую клиентуру, а ради этого пойти на некоторые расходы, не считая издержек на бумагу, на печатание, на контору; короче — требовалась сумма в пятнадцать тысяч франков.

— У меня нет капиталов, — сказал Фредерик.

— Ну, а у нас? — сказал Делорье, скрестив руки на груди.

Фредерик, обиженный этим жестом, возразил:

— Я-то тут при чем?..

— А, великолепно! У них есть и дрова в камине, и трюфели к обеду, и мягкая постель, библиотека, экипаж, все радости жизни! А если другой дрожит от стужи на чердаке, обедает за двадцать су, трудится, как каторжный, и барахтается в нищете — они тут ни при чем!

И он повторял: «Они тут ни при чем!» — с цicerоновской иронией, отзывававшейся судебным красноречием.

Фредерик хотел заговорить.

— Впрочем, я понимаю, есть потребности... аристократического свойства; без сомнения... какая-нибудь женщина...

— Ну так что же, даже если и так? Разве я не волен?

— О, вполне! — И, с минуту помолчав, Делорье добавил: — Обещания — самая удобная вещь.

— Боже мой! Да я не отказываюсь от них! — сказал Фредерик.

Адвокат продолжал:

— В школьные годы дают клятвы, собираются учредить фалангу, подражать «Тринадцати» Бальзака! А потом, когда встретятся: «Прощай, старина, ступай своей дорогой!» Тот,

кто мог бы оказать другому услугу, заботливо приберегает все для себя.

— Что?

— Да, ты даже не представил нас Дамбрёзам!

Фредерик посмотрел на него; в старом сюртуке, тусклых очках, страшно бледный, адвокат показался ему столь жалким существом, что он не мог удержаться от презрительной улыбки. Делорье заметил ее и покраснел.

Он уже взялся за шляпу, чтобы уйти. Юссонэ, полный тревоги, умоляющими взглядами пытался его смягчить и обратился к Фредерику, повернувшись к ним спиной:

— Ну, миленький, будьте моим меценатом! Окажите покровительство искусствам!

Фредерик, с внезапной покорностью судьбе, взял листок бумаги и, нацарапав несколько строчек, подал ему. Лицо Юссонэ просияло. Он передал письмо Делорье:

— Просите извинения, сударь!

Их друг заклинал своего нотариуса прислать ему как можно скорее пятнадцать тысяч франков.

— О! Теперь я тебя узнаю! — сказал Делорье.

— Клянусь честью дворянина, — прибавил журналист, — вы молодец, вас поместят в галерею полезных деятелей!

Адвокат добавил:

— Ты не окажешься внакладе, сделка великолепная.

— Еще бы! — воскликнул Юссонэ. — Я дам голову на отсечение!

И он наговорил столько глупостей и наобещал столько чудес (в которые сам, быть может, и верил), что Фредерик не знал, над ними ли он смеется или над самим собою.

В тот же вечер он получил письмо от матери.

Слегка над ним подтрунивая, она удивлялась, что он еще не министр. Далее она писала о своем здоровье и сообщала, что г-н Рокк теперь стал бывать у нее. «С тех пор как он овдовел, я не считаю неприличным принимать его. Луиза очень изменилась к лучшему». И в постскриптуме: «Ты ничего не пишешь мне о твоём влиятельном знакомом, господине Дамбрёзе; на твоём месте я воспользовалась бы случаем».

Отчего не воспользоваться? Высокие стремления его покинули, а средства его (он это видел) были недостаточны; после уплаты долгов и передачи друзьям условленной суммы его доход уменьшится на четыре тысячи франков, по крайней мере. Впрочем, он испытывал потребность прекратить этот образ жизни и пристроиться к чему-нибудь. Поэтому, обедая на

другой день у г-жи Арну, он рассказал о настояниях своей матери, требующей от него, чтобы он избрал себе какую-нибудь профессию.

— А мне казалось,— заметила г-жа Арну,— что господин Дамбрёз должен был вас устроить в Государственный совет? Это бы вам подошло.

Значит, она этого хочет. Он повиновался.

Как и в первый раз, банкир сидел за своим бюро и жестом попросил его подождать несколько минут; какой-то человек, повернувшись спиной к двери, разговаривал с ним о важных делах. Речь шла о каменном угле и предстоящем слиянии нескольких компаний.

По сторонам зеркала висели портреты генерала Фуа и Луи-Филиппа; вдоль стен с панелью громоздились на полках папки до самого потолка, в комнате было только шесть соломенных стульев, ибо г-н Дамбрёз не нуждался для своих дел в лучшем помещении; оно напоминало темные кухни, где готовятся яства для роскошных пиров. Фредерик особенно обратил внимание на два огромных несгораемых шкафа, стоявших по углам. Он задавал себе вопрос, сколько миллионов могут они вмещать. Банкир отпер один из них, железная доска откинулась — там лежали только синие папки.

Наконец посетитель прошел мимо Фредерика. Это был старик Удри. Они поклонились друг другу и покраснели, что, видимо, удивило г-на Дамбрёза. Впрочем, он оказался очень мил. Ничего не было проще, как отрекомендовать его молодого друга министру. Там будут счастливы принять его на службу; и в довершение любезности он пригласил Фредерика на вечер, который давал на днях.

Фредерик сажился в карету, чтобы ехать на вечер к Дамбрёзам, когда ему принесли записку от Капитанши. При свете фонарей он прочел:

«Дорогой, я последовала вашим советам. Только что выставила старого хрыча. С завтрашнего вечера я свободна! После этого скажите, что я не молодец».

Только и всего! Но ведь это — приглашение на освободившееся место. Он не удержался от восклицания, спрятал записку в карман и поехал.

Два конных полицейских стояли на улице. Над воротами цепью горели плошки, а во дворе лакеи окриками приказывали кучерам подъезжать к крыльцу под навес. В вестибюле шум сразу замолкал.

Пышные растения украшали пролет лестницы; фарфоровые шары лили свет, от которого стены словно переливались белым атласом. Фредерик весело поднимался по лестнице. Слуга объявил его фамилию; г-н Дамбрёз протянул ему руку; вслед за ним появилась г-жа Дамбрёз.

На ней было светло-лиловое платье, отделанное кружевами; локоны прически вились пышнее, чем обычно; она не надела ни одной драгоценности.

Она пожурела его, что он редко у них появляется, и перекинулась с ним несколькими словами. Гости прибывали; приветствуя хозяев, одни откидывали весь корпус вбок, другие сгибались, третьи лишь наклоняли голову; прошла супружеская чета, потом целое семейство — и все рассеивались в большой гостиной, переполненной народом.

Под самой люстрой был огромный круглый диван, из середины которого поднималась жардиньерка, и цветы свешивались, как перья шляпы, на головы сидевших вокруг дам; другие расположились в глубоких креслах, расставленных вдоль стен в прямую линию, которая симметрически прерывалась широкими, алого бархата, занавесями на окнах и высокими пролетами дверей с золочеными карнизами.

Толпа мужчин со шляпами в руках производила издали впечатление сплошной черной массы, на фоне которой красными точками мелькали ленточки орденов; благодаря однообразной белизне галстуков она казалась еще темней. За исключением каких-нибудь совсем молодых людей, с пушком вместо бороды, все, видимо, скучали; какие-то денди угрюмого вида покачивались на каблуках. Было много седых голов и париков; то тут, то там лоснился голый череп; лица, багровые или очень бледные, хранили на себе следы страшной усталости — все это были люди, принадлежавшие либо к политическому, либо к деловому миру. Г-н Дамбрёз пригласил также нескольких ученых, судейских, двух-трех известных врачей и скромно отклонял похвалы по поводу его вечера и намеки на богатство.

Сновали лакеи с широкими золотыми галунами. Высокие канделябры, словно огненные букеты, расцветали на фоне обоев, отражались в зеркалах, а буфет в глубине столовой, украшенной жасминовым трельяжем, был похож на алтарь собора или на выставку драгоценностей — столько на нем было блюд, крышек, приборов, ложек серебряных и позолоченных, граненого хрусталя, от которого расходились радужные лучи, скрещаясь над снедью. Три других гостиных были украшены

произведениями искусства: на стенах — пейзажи знаменитых живописцев; на столах — изделия из слоновой кости и фарфор; на консолях — китайские безделушки; перед окнами стояли лаковые ширмы, на каминах возвышались кусты камелий, а легкие звуки музыки доносились издали, как жужжание пчел.

Кадриль танцевали немногие, и можно было подумать, что танцоры выполняют скучный долг — так небрежно они скользили в своих бальных туфлях. Фредерик слышал фразы вроде следующих:

— Вы были на последнем благотворительном празднике у Ламберов, мадемуазель?

— Нет, сударь!

— Сейчас такая будет жара!

— Да, можно задохнуться!

— Кто сочинил эту польку?

— Право, сударыня, не знаю.

У него за спиной, стоя у окна, три молодящихся старичка шепотом обменивались непристойными замечаниями; другие разговаривали о железных дорогах, о свободе торговли; какой-то спортсмен рассказывал про случай на охоте; легитимист спорил с орлеанистом.

Переходя от группы к группе, Фредерик дошел до комнаты, где играли в карты и где в обществе почтенных людей он увидал Мартинона, «в настоящее время причисленного к столичной прокуратуре».

Его толстое восковое лицо аккуратно обрамляла аккуратная черная бородка, представлявшая собой настоящее чудо, — так приглажен был каждый волосок; а сам он, соблюдая золотую середину между изяществом, которого требовал его возраст, и достоинством, налагаемым его должностью, то засовывал большой палец под мышку, в подражание щеголям, то закладывал руку за жилет, по примеру доктринеров. Его лакированные башмаки ослепительно блестели, и виски он брил, чтобы лоб иметь как у мыслителя.

Холодно сказав Фредерику несколько слов, он опять повернулся к своим партнерам. Один из них — землевладелец — говорил:

— Это класс людей, мечтающий об общественном перевороте!

— Они требуют организации труда! — подхватил другой. — Можете себе представить?

— Что вы хотите, — возразил третий, — когда мы видим, как рука господина Женуда тянется к «Веку»?

— Даже консерваторы именуют себя прогрессивными! Чтобы привести нас к чему? К республике! Как будто она во Франции возможна!

Все объявили, что республика во Франции невозможна.

— Во всяком случае,— весьма громко заметил какой-то господин,— революцией занимаются слишком уж много; о ней пишут уйму всякой всячины, множество книг!..

— Не говоря о том,— сказал Мартинон,— что есть, пожалуй, более серьезные предметы для изучения!

Приверженец министерства придрался к театральным скандалам:

— Вот, например, новая драма «Королева Марго»; право, она переходит все границы! И чему было говорить о Валуа? Все это выставляет королевскую власть в невыгодном свете! Вот и ваша пресса! Что ни говори, сентябрьские законы чересчур мягки! Я желал бы, чтобы военные суды заткнули глотки журналистам! За малейшую дерзость — тащить в военный трибунал! И все тут!

— Ах, сударь, осторожнее, осторожнее! — сказал профессор.— Не затрагивайте наших драгоценных завоеваний тысяча восемьсот тридцатого года! Будем уважать наши свободы!

По его мнению, следовало скорее произвести децентрализацию, расселить излишек городского населения по деревням.

— Но они охвачены заразой! — воскликнул католик.— Укрепляйте религию!

Мартинон поспешил вставить:

— Действительно, это узда!

Все зло заключалось в современном стремлении подняться над своим классом, достичь роскоши.

— Однако,— заметил один промышленник,— роскошь благоприятствует торговле. Вот почему я одобряю герцога Немурского, который требует, чтобы на вечера к нему являлись в коротких панталонах.

— А господин Тьер приехал в длинных. Вы слышали его остроту?

— Да, прелестно! Но он становится демагогом, и его речь по вопросу о несовместимости осталась не без влияния на покушение двенадцатого мая.

— Да ну? Что вы!

— Вот как!

Пришлось расступиться, чтобы пропустить лакея, который пробирался с подносом в зал к игрокам.

На столах там горели свечи под зелеными колпачками, по сукну разбросаны были карты и золотые монеты. Фредерик остановился у одного из столов, проиграл пятнадцать наполеондоров, имевшихся у него в кармане, сделал пируэт и оказался на пороге будуара, где в это время находилась г-жа Дамбрёз.

Будуар был полон дам, сидевших одна подле другой на мягких табуретах. Их длинные юбки вздувались, напоминая волны, из которых подымался стан, а в вырезе корсажей взгляду открывалась грудь. Почти каждая держала букет фиалок. Матовый тон перчаток оттенял живую белизну рук; с их плеч свешивались бахрома и какие-то травы; а порой трепет проходил у них по телу, — тогда казалось, что платье вот-вот спадет. Но вызывающий вид одежды смягчался благопристойным выражением лиц, на некоторых даже было написано почти животное спокойствие, и это сборище полуобнаженных женщин вызывало мысль о гареме; Фредерику пришло на ум сравнение еще более грубое. Действительно, здесь были все виды красоты: англичанка с профилем как в кипсеке, итальянка с черными глазами, огненными, как Везувий, три сестры в голубом, три нормандки, свежие, как яблони в апреле, высокая рыжеволосая женщина в уборе из аметистов; белые искры бриллиантов, дрожавших на эгретах в волосах, лучистые пятна драгоценных камней на груди и нежный отблеск жемчуга, оттенявшего цвет лица, — все сливалось со сверканием золотых колец, с кружевами, пудрой, перьями, с кораллом губ, с перламутром зубов. Куполообразный потолок придавал будуару сходство с корзиной; а от колыхания вееров пробежал душистый ветерок.

Фредерик, стоя позади, с моноклем в глазу, находил, что не у всех женщин безукоризненные плечи; он думал о Капитанше, и мысль о ней умеряла все иные вождедения, успокаивала его.

Все же он смотрел на г-жу Дамбрёз и признал ее очаровательной, несмотря на несколько длинный рот и слишком широкие ноздри. В ней была грация совсем особенная. Даже локоны и те будто были полны какой-то страстной томности, а гладкий, как агат, лоб, казалось, многое тайл и выдавал таланты незаурядные.

Рядом с собой она посадила племянницу мужа, девушку довольно некрасивую. Время от времени она поднималась навстречу новым гостям; женские голоса, становившиеся все громче, напоминали щебет птиц.

Речь шла о тунисских посланниках и их нарядах. Одна из дам присутствовала на последнем заседании в Академии; другая заговорила о «Дон-Жуане» Мольера, недавно возобновленном во Французском театре. Но г-жа Дамбрёз, глазами указывая на племянницу, поднесла палец к губам, а непроизвольная улыбка опровергла эту строгость.

Вдруг в противоположной двери появился Мартинон. Она встала. Он предложил ей руку. Фредерик, желая посмотреть, как он дальше будет любезничать, прошел мимо карточных столов и присоединился к нему и к ней в большой гостиной; г-жа Дамбрёз тотчас же оставила своего кавалера и запросто заговорила с Фредериком.

Ей было понятно то, что он не танцует, не играет в карты.

— В молодости мы часто грустим!

И она окинула взглядом танцующих.

— К тому же все это невесело! Для некоторых, по крайней мере!

И, двигаясь вдоль ряда кресел, она останавливалась то тут, то там, говорила что-нибудь приятное, а старики с лорнетами подходили к ней сказать какой-нибудь комплимент. Некоторым из них она представила Фредерика. Г-н Дамбрёз тихонько тронул его за локоть и повел на террасу.

Он уже разговаривал с министром. Дело оказалось не так просто. Для назначения аудитором в Государственный совет надо подвергнуться экзамену; Фредерик с непостижимой уверенностью в себе ответил, что предмет ему знаком.

Банкир не удивился — так много лестного о Фредерике он слышал от г-на Рокка.

При этом имени Фредерик живо представил себе маленькую Луизу, свой дом, свою комнату, и ему вспомнились такие же ночи, которые он проводил, стоя у окна и прислушиваясь к грохоту фургонов. Воспоминания о былой тоске вызвали мысль о г-же Арну; и он молчал, продолжая ходить по террасе. Окна выделялись в темноте длинными красными прямоугольниками; шум бала уже затихал; экипажи начинали разъезжаться.

— А почему, — спросил г-н Дамбрёз, — вам непременно хочется в Государственный совет?

И тоном либерала он стал уверять его, что государственная служба ни к чему не ведет, он-то это знает; заниматься делами гораздо лучше. Фредерик возразил, что этому трудно научиться.

— Ах, полноте! Я бы вас быстро со всем ознакомил.

Не хочет ли он привлечь его в свои предприятия?

Молодому человеку, словно при блеске молнии, на миг представилось то огромное богатство, которое к нему придет.

— Вернемтесь в дом,— сказал банкир.— Вы, конечно, останетесь ужинать?

Было три часа, гости разъезжались. Для близких друзей в столовой был накрыт стол.

Господин Дамбрёз увидал Мартинона и, подойдя к жене, шепотом спросил:

— Это вы пригласили его?

Она сухо ответила:

— Да.

Племянницы не было. Пили очень много, смеялись очень громко, и даже рискованные шутки никого не смущали,— ощущалось то облегчение, которое наступает после долгих часов натянутости. Один лишь Мартинон держался серьезно: от шампанского он отказался, считая, что этого требует хороший тон, вообще же был внимателен и крайне вежлив; так как г-н Дамбрёз, у которого была узкая грудь, жаловался на удушье, Мартинон несколько раз спрашивался о его самочувствии; потом переводил свои голубоватые глаза на г-жу Дамбрёз.

Она обратилась к Фредерику с вопросом, кто из девиц ему понравился. Он не заметил ни одной и вообще предпочитал женщин лет тридцати.

— Это, пожалуй, неглупо! — ответила она.

Потом, когда гости уже надевали шубы и пальто, г-н Дамбрёз ему сказал:

— Приезжайте ко мне как-нибудь на днях утром, мы по-толкуем!

Мартинон, спустившись с лестницы, закурил сигару; теперь профиль его казался столь грузным, что у его спутника вырывалось:

— Ну и голова же у тебя, честное слово!

— А вскружила не одну! — ответил молодой судейский тоном самоуверенным и в то же время раздраженным.

Ложась спать, Фредерик подвел итог вечеру. Прежде всего весь его туалет (он несколько раз смотрелся в зеркало), начиная с покроя фрака и кончая бантами на туфлях, был безукоризнен; он разговаривал с лицами значительными, видел вблизи богатых женщин, г-н Дамбрёз прекрасно отнесся к нему, а г-жа Дамбрёз была почти что ласкова. Он взвесил

каждое ее слово, все ее взгляды, тысячи мелочей, неопределимых и все же таких красноречивых. Было бы здорово иметь такую любовницу! А почему бы и нет, в конце концов? Он ничем не хуже других! Может быть, она не так неприступна? Потом ему вспомнился Мартинон, и, засыпая, он улыбался от жалости к этому молодцу.

Проснулся он с мыслью о Капитанше; ведь слова в ее записке «с завтрашнего вечера» означали свидание на сегодня. Он подождал до девяти часов и поспешил к ней.

Кто-то перед ним поднялся по лестнице, дверь затворилась. Он позвонил. Дельфина открыла и стала уверять, что барыни нет дома.

Фредерик настаивал, просил. Ему надо сообщить ей нечто очень важное, всего несколько слов. Наконец удачным доводом оказалась монета в сто су, и служанка оставила его одного в передней.

Показалась Розанетта. Была она в одной сорочке, волосы распущены, и, качая головой, она издали разводила руками, — выразительный жест, означавший, что она не может его принять.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Этот каприз превосходил все остальное. Он ничего не понимал.

Около швейцарской его остановила м-ль Ватназ:

— Она вас приняла?

— Нет!

— Вас выставили?

— А как вы узнали?

— Это же видно! Идемте! Прочь отсюда! Мне дурно!

Ватназ вышла с ним на улицу. Она задыхалась. Он чувствовал, как дрожит ее тощая рука, которой она опиралась на его руку. И вдруг она разразилась:

— Ах, мерзавец!

— Кто?

— Да это же он! Он! Дельмар!

Фредерика такое открытие оскорбило, он спросил:

— Вы в этом уверены?

— Да я вам говорю, что я все время шла за ним! — воскликнула Ватназ. — Я видела, как он вошел! Понимаете вы теперь? Впрочем, мне надо было этого ожидать; ведь я сама по глупости ввела его к ней. О, если бы вы только знали, боже мой! Я приютила его, кормила, одевала. А все мои хлопоты в газетах! Я любила его, как мать! — Потом, злобно усмехнувшись, она продолжала: — Ах, этому господину нужны бар-

хатные костюмы! Это ведь лишь сделка для него, не сомневайтесь! А она! Ведь я знала ее еще белошвейкой! Не будь меня, сколько раз она уже барахталась бы в грязи! Но я еще швырну ее в грязь Да! Да! Пусть подохнет в больнице! И пусть все узнают!

Словно поток нечистот из помойного ушата, она яростно выплеснула перед Фредериком свой гнев, обнажая весь позор соперницы.

— Она спала с Жюмийяком, с Флакуром, с молодым Алларом, с Бертино, с Сен-Валери — рябым. Нет, с другим! Все равно, они братья! А когда она оказывалась в трудном положении, я все улаживала. А был ли мне от этого какой-нибудь прок? Она такая скупая! И потом, согласитесь, с моей стороны большая любезность водиться с ней; в конце концов, мы с ней не одного круга! Я ведь не девка! Разве я продаюсь? Не говорю уже о том, что она глупа как пробка! Слово «категория» она пишет через два «т». Впрочем, они друг друга стоят, хоть он и величает себя артистом и воображает, что он гений! Но, боже мой, будь у него соображение, он не совершил бы такой гнусности! Покинуть незаурядную женщину ради какой-то шлюхи! В конце концов, мне наплевать. Он дурнеет! Он мне гадок! Если я его встречу, я, право же, плюну ему в лицо.— Она плюнула.— Да, вот во что я его ставлю теперь! Но Арну-то каково? Не правда ли, ужасно? Он столько раз прощал ей! Нельзя и представить себе, какие он приносил жертвы! Она бы должна целовать ему ноги! Он такой щедрый, такой добрый!

Фредерик с удовольствием слушал, как она честит Дельмара. С Арну он мирился. Вероломство Розанетты казалось ему чем-то противоестественным, несправедливым; возбуждение старой девы передалось и ему, и он даже почувствовал к Арну нечто вроде нежности. И вдруг он очутился у его подъезда: он и не заметил, как м-ль Ватназ привела его в предместье Пуассоньер.

— Вот мы и пришли,— сказала она.— Я зайти к нему не могу. Но вам-то ничто не мешает?

— А зачем?

— Чтобы все ему рассказать, черт возьми!

Фредерик, словно внезапно очнувшись, понял, на какую низость его толкают.

— Ну что же? — спросила она.

Он посмотрел на третий этаж. У г-жи Арну горела лампа. Действительно, ничто не мешало ему подняться.

— Я жду вас здесь. Идите же!

Это приказание вконец расхолодило его, и он ответил:

— Я долго там пробуду. Вам бы лучше вернуться домой. Завтра я зайду к вам.

— Нет! Нет! — ответила Ватназ, топая ногой. — Захватите его! Возьмите его с собой! Пусть он их накроет!

— Но Дельмара там уже не будет!

Она опустила голову.

— Да, пожалуй, верно.

Она молча стояла на мостовой среди мчавшихся экипажей; потом уставилась на него глазами дикой кошки.

— Я могу на вас рассчитывать, правда? Теперь мы сообщники, это свято! Так действуйте. До завтра!

Фредерик, проходя по коридору, услышал два голоса — они спорили. Голос г-жи Арну говорил:

— Не лги! Да не лги же!

Он вошел. Они замолчали.

Арну расхаживал взад и вперед по комнате, а жена его сидела на низеньком стуле у камина, очень бледная, с остановившимся взглядом. Фредерик повернулся было к двери. Арну схватил его за руку, довольный, что явилась помощь.

— Я, кажется... — сказал Фредерик.

— Да оставайтесь! — шепнул ему на ухо Арну.

Госпожа Арну сказала:

— Надо быть снисходительным, господин Моро! В семейной жизни такие вещи иногда бывают.

— То есть их устраивают, — игриво сказал Арну. — И случаются же у женщин причуды! Вот, например, она, женщина совсем неплохая. Напротив! И что же, целый час забавляется тем, что докучает мне всякими выдумками.

— Это не выдумки, а правда! — раздраженно ответила г-жа Арну. — Ведь как-никак ты же ее купил.

— Я?

— Да, ты! В «Персидском магазине»!

«Кашемировая шаль!» — решил Фредерик.

Он чувствовал себя виноватым, был испуган.

Она тут же добавила:

— Это было в прошлом месяце, в субботу, четырнадцатого.

— А! В этот день я как раз был в Крейле! Итак, ты видишь.

— Вовсе нет! Ведь четырнадцатого мы обедали у Бертенгов.

— Четырнадцатого?..— И Арну поднял глаза к потолку, как бы вспоминая число.

— И даже приказчик, который ее продавал, был белокурый!

— Могу я разве помнить приказчика?

— Но ты продиктовал ему адрес: улица Лаваль, восемнадцать.

— Как ты узнала? — спросил изумленный Арну.

Она пожала плечами.

— О! Все очень просто: я зашла починить свою шаль, и старший приказчик сказал мне, что точно такую же сейчас отправили госпоже Арну.

— Так моя ли вина, что на той же улице живет какая-то госпожа Арну?

— Да, но не жена Жака Арну, — ответила она.

Тут он стал путаться в объяснениях, уверяя, что не виноват. Это ошибка, случайность, одна из тех необъяснимых странностей, какие иногда встречаются. Не следует осуждать людей по одному только подозрению, на основании неопределенных улик, и в качестве примера он привел несчастного Лезюрка.

— Словом, я утверждаю, что ты ошибаешься! Хочешь, я поклянусь тебе?

— Не стоит труда!

— Почему?

Она взглянула ему прямо в лицо, ничего не сказав, потом протянула руку, взяла с камина серебряный ларец и подала ему развернутый счет.

Арну покраснел до самых ушей, и его растерянное лицо даже раздулось.

— Ну?

— Так что же, — медленно проговорил он в ответ, — что же это доказывает?

— Вот как! — сказала она с особой интонацией, в которой слышалась и боль и ирония. — Вот как!

Арну держал счет в руках и вертел его, не отрывал от него глаз, как будто там он должен был найти решение важного вопроса.

— А! Да, да, припоминаю, — сказал он наконец. — Это было поручение. Вам это должно быть известно, Фредерик.

Фредерик молчал.

— Поручение, которое меня просил исполнить... просил... да, старик Удри.

— А для кого?
— Для его любовницы!
— Для вашей! — воскликнула г-жа Арну, выпрямившись во весь рост.

— Клянусь тебе...

— Перестаньте! Я все знаю!

— А-а! Превосходно! Значит, за мной шпионят!

Она холодно возразила:

— Это, может быть, оскорбляет вас при вашей щепетильности?

— Раз человек выходит из себя, — начал Арну, ища шляпу, — а вразумить его нет возможности... — Потом он глубоко вздохнул: — Не женитесь, любезный друг мой, нет, уж поверьте мне!

И он поспешил выйти, ощутив потребность подышать свежим воздухом.

Тут наступило глубокое молчание, и в комнате все как будто застыло. На потолке белел светлый круг от лампы, а по углам, как полосы черного флера, ложились тени; слышно было тиканье часов, да в камине потрескивал огонь.

Госпожа Арну снова села в кресло, теперь по другую сторону камина; она кусала губы, ее трясло; она подняла руки, всхлипнула, расплакалась.

Фредерик сел на низенький стул и ласковым голосом, каким разговаривают с больными, сказал:

— Вы не сомневайтесь, что я разделяю...

Она ничего не ответила. Но, продолжая вслух свои размышления, проговорила:

— Я же не стесняю его! Ему незачем было лгать.

— Разумеется, — сказал Фредерик. — Наверно, всему виной его привычки, он просто не подумал, и, может быть, в делах более важных...

— Что же, по-вашему, может быть более важного?

— Да! Ничего!

Фредерик наклонился с покорной улыбкой. У Арну все же есть некоторые достоинства, он любит своих детей.

— Ах! И делает все, чтобы их разорить!

Причиной тому его прав, слишком общительный; ведь в сущности он же добрый малый.

Она воскликнула:

— А что это значит — добрый малый?

Так он защищал его в выражениях самых неопределенных, какие только мог найти, и, хотя и сочувствовал ей, в глубине души радовался, блаженствовал. Из мести или из

потребности в любви она теперь устремится к нему. Надежды, непомерно возрастая, укрепляли его любовь.

Еще никогда не казалась она ему такой пленительной, беспредельно прекрасной. Временами грудь ее поднималась; ее неподвижные расширенные глаза как будто были прикованы к видению, возникшему перед ее духовным взором, а губы оставались полуоткрыты, как бы для того, чтобы дать душе вырваться из тела. Порою она крепко прижимала к ним носовой платок. Фредерик хотел бы быть этим кусочком батиста, насквозь пропитанным слезами. Он невольно смотрел на постель в глубине алькова, рисуя в своем воображении ее голову, лежащую на подушках, и так отчетливо видел ее, что должен был сдержаться, иначе он бы сжал ее в своих объятиях. Г-жа Арну закрыла глаза, успокоенная, обессиленная. Тогда он подошел к ней ближе и, наклонившись, жадно стал вглядываться в ее лицо. В коридоре раздались шаги, это вернулся муж. Они услышали, как он затворил дверь в свою спальню. Фредерик знаком спросил, не должен ли он пойти туда.

Она тоже знаком ответила ему: «Да», — и этот немой обмен мыслями был словно соглашением, началом любовной связи.

Арну, собираясь ложиться спать, уже снимал сюртук.

— Ну, как она?

— О! Лучше! — сказал Фредерик. — Это пройдет!

Но Арну был огорчен.

— Вы ее не знаете! Теперь у нее разыгрались нервы!.. Дурак приказчик! Вот что значит быть слишком добрым! Если бы я не дарил Розанетте эту проклятую шаль!

— Не жалейте! Она вам как нельзя более благодарна!

— Вы думаете?

Фредерик в этом не сомневался. Доказательство — то, что она дала отставку старику Удри.

— Ах! Милая крошка!

И в порыве умиления Арну уже хотел бежать к ней.

— Да не надо! Я только что от нее! Она больна!

— Тем более.

Он быстро опять надел сюртук и взял подсвечник. Фредерик проклинал себя за эту глупость и стал втолковывать Арну, что нынешний вечер он из приличия должен остаться дома с женой. Нельзя ее бросать одну, это было бы очень дурно.

— Говорю вам откровенно — вы не правы! Дело там вовсе не к спеху! Сходите завтра! Ну, сделайте это для меня.

Арну поставил подсвечник и сказал:

— Вы добрый человек!

С той поры для Фредерика началось жалкое существование. Он сделался приживальщиком в этом доме.

Если кто-нибудь в семье заболел, он по три раза в день заходил справляться о здоровье; он ездил за настройщиком, измышлял тысячи поводов, чтоб услужить, и с довольным видом терпел капризы м-ль Марты и ласки маленького Эжена, который всякий раз гладил его грязными руками по лицу. Он присутствовал на обедах, во время которых муж и жена, сидя друг против друга, не обменивались ни единым словом или Арну отпускал колкие замечания, раздражавшие ее. После обеда Арну возился с мальчиком в спальне, играл с ним в прятки или носил его на спине, становясь на четвереньки, как беарнец. Наконец муж уходил, она же тотчас заводила разговор на тему, служившую вечным источником жалоб: Арну.

В негодование ее приводило беспутство мужа. Но, видимо, страдала и ее гордость, и г-жа Арну не скрывала отвращения к этому человеку, у которого не было ни чуткости, ни достоинства, ни чести...

— Или он просто сумасшедший! — говорила она.

Фредерик искусно вызывал ее на признания. Вскоре он узнал всю ее жизнь.

Ее родители, мелкие буржуа, жили в Шартре. Однажды Арну, рисуя на берегу реки (в те времена он мнил себя художником), увидел ее, когда она выходила из церкви, и сделал предложение; ввиду его состояния родители, не колеблясь, дали согласие. К тому же он без памяти любил ее. Она прибавила:

— Боже мой, он и теперь еще любит меня — по-своему!

Потом первые месяцы они путешествовали по Италии.

Арну, несмотря на свое восхищение ландшафтами и памятниками искусства, только и делал, что жаловался на плохое вино да затевал пикники с англичанами, чтобы развлечься. Удачно перепродав несколько картин, он решил заняться торговлей художественными предметами. Потом увлекся производством фаянса. Теперь его соблазнили другие спекуляции, и, делаясь все пошлее и пошлее, он приобретал грубые и разорительные привычки. Она ставила ему в вину не столько его пороки, сколько все его поведение. Никакой перемены нельзя было от него ждать, и горе ее непоправимо.

Фредерик утверждал, что и его жизнь не удалась.

Но ведь он так молод. Зачем отчаиваться? И она давала ему добрые советы: «Работайте! Женитесь!» Он отвечал горькой усмешкой, ибо, вместо того чтобы назвать истинную причину своей печали, он прикидывался, будто у него есть причина иная, более возвышенная, в известном роде разыгрывал Антони, несущего печать проклятия, что, впрочем, не вполне извращало его мысль.

Для некоторых людей действие тем неосуществимее, чем сильнее желание. Их гнетет недоверие к самим себе, пугает боязнь не понравиться; к тому же глубокие чувства похожи на порядочных женщин: они страшатся, как бы их не заметили, и проходят через жизнь с опущенными глазами.

Хотя он ближе узнал г-жу Арну (или, может быть, именно поэтому), он стал еще более робок. Каждое утро он давал себе клятву действовать смелее. От этого его удерживала непобедимая стыдливость, и он не мог руководствоваться чьим бы то ни было примером, раз это была женщина совсем особенная. Силой своей мечты он вознес ее выше всяких человеческих отношений. Подле нее он чувствовал себя более ничтожным в этом мире, чем шелковинки, падавшие под ее ножницами.

Потом он думал о вещах чудовищных, нелепых — броде внезапного нападения ночью, с наркотическими снадобьями и подобранными ключами; ведь все казалось ему легче, чем снести ее презрение.

К тому же дети, две служанки, расположение комнат — все это были непреодолимые препятствия. Он решил, что будет обладать ею один и что они уедут очень далеко, поселятся вдвоем в уединении; он даже раздумывал, на каком озере достаточно синяя вода, на каком пляже достаточно нежный песок, и будет ли это в Испании, Швейцарии или на Востоке, и как раз в такие дни, когда она казалась особенно раздраженной, он говорил, что надо покончить с этим, найти способ и что выход, как он считает, лишь один — развод. Но из любви к детям она же никогда не пойдет на подобную крайность. И такая добродетель еще усиливала его уважение к ней.

Время он проводил, вспоминая вчерашнее посещение и мечтая о том, как он будет у нее сегодня вечером. Если он не обедал у них, то часов около девяти приходил на угол их улицы, и едва только Арну захлопывал парадную дверь, Фредерик живо подымался на третий этаж и как ни в чем не бывало спрашивал у служанки:

— Дома господин Арну?

Потом притворялся удивленным, что не застал его.

Часто Арну неожиданно возвращался домой. Тогда приходилось сопровождать его в маленькое кафе на улице Святой Анны, где бывал теперь Режембар.

Гражданин первым делом высказывал свое недовольство правительством. Потом завязывался разговор, причем они в дружеском тоне говорили друг другу колкости, ибо фабрикант считал Режембара мыслителем высокого полета и, огорченный тем, что такие способности пропадают даром, шутил над его леностью. Гражданин видел в Арну человека великодушного и одаренного воображением, но, несомненно, слишком уж безнравственного; вот почему он обращался с ним без малейшего снисхождения и даже отказывался обедать у него, его раздражали «все эти церемонии».

Иногда, уже в момент прощания, оказывалось, что Арну проголодался. У него являлась «потребность» съесть яичницу или печеных яблок, а так как в заведении всего этого обычно не имелось, то он посылал за снедью. Надо было ждать. Режембар не уходил и в конце концов, ворча, соглашался чего-нибудь отведать.

Тем не менее он был мрачен, часами просиживал за стаканом, опорожненным лишь наполовину. Провидение управляло миром несогласно с его мыслями, он превращался в ипохондрика, даже бросил читать газеты, и стоило лишь произнести слово «Англия», как он начинал рычать. Как-то раз, когда официант ему не угодил, он воскликнул:

— Разве еще мало оскорблений наносят нам иностранные державы!

Вообще же, если не считать подобных вспышек, он бывал молчалив и обдумывал «удар без промаха — такой, чтобы с треском взлетела вся лавочка».

Пока он предавался размышлениям, Арну, с глазами, уже несколько осолопевшими, рассказывал монотонным голосом невероятные истории, в которых он всегда блистал благодаря своей находчивости, и Фредерик (должно быть, это зависело от какого-то тайного сходства между ними) чувствовал своего рода влечение к нему. Он ставил себе в упрек эту слабость, считая, что, напротив, должен был бы его ненавидеть.

Арну горько жаловался ему на дурное настроение жены, на ее упрямство, несправедливую пристрастность. Прежде она была не такая.

— На вашем месте, — говорил Фредерик, — я бы назначил ей содержание и поселился бы один.

Арну ничего не отвечал, а минуту спустя начинал ее расхваливать. Она добрая, преданная, умная, добродетельная; переходя к ее телесным качествам, он щедро сыпал подробности, с тем легкомыслием, с каким некоторые люди где-нибудь в гостинице раскладывают свои сокровища на виду у всех.

Вскоре его равновесие нарушила внезапная катастрофа.

Он вошел в компанию по добыче фарфоровой глины и стал членом ревизионного совета. Но, веря всему, что ему говорили, он подписывал неправильные отчеты и одобрил, не проверив, годовую ведомость, мошеннически составленную управляющим. Компания прогорела, и Арну, который нес солидарную ответственность, был вместе с прочими приговорен к возмещению убытков, что означало для него потерю около тридцати тысяч франков, осложнявшуюся вдобавок мотивировкой приговора.

Фредерик узнал об этом из газеты и стремглав бросился на улицу Паради.

Его приняли в комнате г-жи Арну. Было время завтракать. Большие чашки кофе с молоком загромаждали столик у камина. На ковре валялись ночные туфли, на креслах — всякая одежда. У Арну, сидевшего в кальсонах и в вязаной фуфайке, глаза были красные, волосы всклокоченные; маленький Эжен, болевший свинкой, жевал хлеб с маслом и плакал, сестра его ела спокойно, а г-жа Арну, несколько более бледная, чем обычно, прислуживала всем трем.

— Ну вот! — с глубоким вздохом сказал Арну. — Вы уже знаете!

Фредерик сделал жест, выражавший сочувствие.

— Так-то! Я стал жертвой своей доверчивости!

Он замолчал; подавлен он был настолько, что даже отказался от завтрака. Г-жа Арну подняла глаза, пожала плечами. Он провел руками по лбу.

— В конце концов, я не виноват. Мне себя не в чем упрекнуть. Это просто — несчастье! Как-нибудь выпутаемся! Что поделаешь!

И он отломил кусок сдобной булки, повинуюсь, впрочем, уговорам своей жены.

Вечером ему захотелось отобедать с ней вдвоем в «Золотом доме», в отдельном кабинете. Г-же Арну остался непонятен его сердечный порыв, и она даже обиделась, что к ней отнеслись как к лоретке; между тем со стороны Арну это было, напротив, проявлением любви. Потом ему стало скучно, он поехал к Капитанше — развлечься.

До сих пор многое сходило ему с рук благодаря его добродушному нраву. Судебный процесс поставил его в число людей сомнительных. Теперь вокруг его дома образовалась пустота.

Фредерик считал долгом чести бывать у них чаще, чем когда бы то ни было. Он взял абонемент на ложу бенуара в Итальянской опере и каждую неделю приглашал их с собой. Но они переживали тот период семейного разлада, когда после всех взаимных уступок, на какие пошли супруги, у них возникает друг к другу непреодолимое отвращение, делающее не-сносной дальнейшую жизнь. Г-жа Арну сдерживалась, чтобы не выйти из себя, Арну хмурился, и вид этих двух несчастных людей печалил Фредерика.

Она поручила ему, — ведь он пользовался ее доверием, — справляться о положении их дел. Но ему было стыдно обедать у Арну, в то время как он добивается благосклонности его жены, и он этим мучился. И все же продолжал такую жизнь, находя оправдание в том, что должен защищать *ее* и что может представиться случай быть *ей* полезным.

Через неделю после бала он сделал визит г-ну Дамбрёзу. Финансист предложил ему двадцать акций в своем каменно-угольном предприятии; Фредерик не повторил визита. Делорье посылал ему письма — он на них не отвечал. Пеллерен приглашал его зайти взглянуть на портрет; он всякий раз вежливо отговаривался. Однако уступил настойчивым просьбам Сизи познакомить его с Розанеттой.

Фредерика она встретила очень мило, но не бросилась на шею, как бывало прежде. Приятель его был счастлив попасть к развратной женщине, а главное, побеседовать с актером: тут оказался Дельмар.

Драма, в которой Дельмар играл простолюдина, отчитывающего Людовика XIV и предрекающего 1789 год, так привлекла к нему внимание, что для него непрестанно сочиняли все такие же роли, и назначение его теперь состояло в том, чтобы осмеивать монархов всех стран. В роли английского пивовара он поносил Карла I, в роли студента из Саламанки проклинал Филиппа II или же, играя чувствительного отца, негодовал на маркизу Помпадур; это было лучше всего! Мальчишки, чтобы увидеть актера, ждали его у подъезда театра; в антрактах продавали его биографию, в которой описывалось, как он заботится о своей престарелой матери, как читает Евангелие, помогает бедным, — короче говоря, он превращался в подобие святого Венсана де Поля с примесью Брута и Ми-

рабо. Говорили: «Наш Дельмар». На него была возложена миссия, из него делали Христа.

Все это обворожило Розанетту, и она беззаботно избавилась от старика Удри, так как не страдала жадностью.

Арну, зная ее, долгое время пользовался этим ее свойством и мало тратил на нее; потом появился старик, и все трое старались избегать откровенных объяснений. Теперь, вообразив, что она только ради него выставила старика, Арну увеличил ей содержание. Но она все чаще просила денег, и это было тем более непонятно, что она вела образ жизни менее расточительный, чем прежде; она даже продала кашемировую шаль, чтобы расплатиться со старыми долгами, как она объясняла; а он все давал, она околдовала его, злоупотребляя им без всякой жалости. Счета, взыскания так и сыпались в этом доме. Фредерик предчувствовал близкую развязку.

Как-то раз он зашел к г-же Арну. Ее не было дома. Г-н Арну, как ему сказали, был занят внизу, в магазине.

И в самом деле Арну, стоя среди своих расписных ваз, старался втереть очки каким-то молодоженам, мещанской чете из провинции. Он толковал о токарной работе и гончарном деле, о наводе вразброс и о глазури, а посетители, не желая показать, что они ничего не понимают, одобрительно кивали головой и покупали.

Когда они ушли, Арну рассказал, что утром у него с женой произошла ссора. Чтобы предотвратить ее замечания по поводу расходов, он стал уверять, будто Капитанша уже не его любовница.

— Я даже сказал ей, что она — ваша.

Фредерик был возмущен; но упреки могли выдать его; он пробормотал:

— Ах, как это нехорошо, как нехорошо!

— Что за беда? — сказал Арну. — Разве позор — считаться ее любовником? Ведь я же не стыжусь! А разве вам это не было бы лестно?

Не сказала ли она чего-нибудь при этом? Не был ли то намек? Фредерик поспешил ответить:

— Нет! Ничуть! Напротив!

— Ну так что же?

— Да, пожалуй! Ничего!

Арну продолжал:

— Почему вы там больше не бываете?

Фредерик обещал возобновить посещения.

— Ах! Я и забыл! Вам бы следовало... в разговоре о Розанетте... сказать моей жене что-нибудь такое... не знаю что, но вы придумаете... такую вещь, чтобы она убедилась, что вы ее любовник. Окажите мне эту услугу. Ну как?

Молодой человек вместо ответа сделал двусмысленную гримасу. Эта клевета могла его погубить. Он в тот же вечер пошел к г-же Арну и поклялся, что утверждения Арну — ложь.

— В самом деле?

Казалось, он был искренен, и она, глубоко вздохнув, с чудесной улыбкой сказала ему:

— Я вам верю.— Потом опустила голову и, не глядя на него, проговорила: — Впрочем, на вас никто не имеет прав!

Значит, она ни о чем не догадывается и презирает его, если не думает, что он может любить ее настолько, чтобы хранить ей верность! Фредерик, забыв уже о своих попытках у Розанетты, почувствовал себя оскорбленным этой снисходительностью.

Затем она попросила его бывать иногда «у этой женщины», чтобы видеть, что там происходит.

Пришел Арну и пять минут спустя стал звать его к Розанетте.

Положение становилось нестерпимым.

Его немного отвлекло письмо нотариуса, который на следующий день должен был прислать Фредерику пятнадцать тысяч франков, и, чтобы загладить свою невнимательность по отношению к Делорье, он тотчас же пошел сообщить ему эту приятную новость.

Адвокат жил на улице Трех Марий на шестом этаже, в квартире окнами во двор. В его кабинете, небольшой холодной комнате с сероватыми обоями и полом, выложенным плитам, главным украшением была золотая медаль, полученная за диссертацию на степень доктора, и висела она в черной деревянной раме рядом с зеркалом. В книжном шкафу красного дерева было за стеклом около сотни томов. Письменный стол, обитый сафьяном, занимал середину комнаты. По углам стояли четыре старых кресла, крытых зеленым бархатом; в камине горели щепки, но тут же лежала наготове вязанка дров, которые можно было подбросить в огонь, как только позвонят. Это были как раз его приемные часы; адвокат повязал белый галстук.

Известие о пятнадцати тысячах франков (должно быть, он на них уже не рассчитывал) обрадовало его, и он повторял, посмеиваясь:

— Это хорошо, старина, хорошо, весьма хорошо!

Он подбросил дров в огонь, снова сел и тотчас же заговорил о газете. Первым делом следовало бы избавиться от Юссонэ.

— Я устал от этого кретина! Что же касается направления, то, по-моему, всего вернее и остроумнее не иметь никакого!

Фредерика это удивило.

— Ну да, разумеется! Пора посмотреть на политику с научной точки зрения. Старики восемнадцатого века положили ей начало, но Руссо и писатели ввели туда филантропию, поэзию и прочие глупости, к вящей радости католиков; впрочем, такой союз естествен, ибо новейшие реформаторы (я могу доказать) все верят в Откровение. Но если вы служите мессы о спасении Польши, если бога доминиканцев, который был палачом, вы заменяете богом романтиков, который всего-навсего обойщик, если, наконец, об Абсолютном у вас понятие не более широкое, чем у ваших предков, то сквозь ваши республиканские формы пробьется монархия, и ваш красный колпак будет всегда лишь поповской скуфьей! Разница лишь та, что вместо пыток будет одиночное заключение, вместо святотатства — оскорбление религии, вместо Священного союза — Европейское согласие, и при этом чудесном строе, вызывающем всеобщее восхищение, созданном из обломков времен Людовика Четырнадцатого, из вольтерьянских развалин со следами императорской штукатурки и обрывками английской конституции, мы увидим, как муниципальные советы будут стараться досадить мэру, генеральные советы — своему префекту, палаты — королю, печать — власти, администрация — всем вместе! Но добрые души в восторге от Гражданского кодекса, состряпанного, что бы там ни говорили, в духе мещанском и тираническом, ибо законодатель, вместо того чтобы делать свое дело, то есть вносить порядок в обычаи, вознамерился лепить общество, точно какой-нибудь Ликург! Почему закон стесняет главу семьи в вопросах завещания? Почему он препятствует принудительному отчуждению недвижимости? Почему он наказует бродяжничество как преступление, хотя оно, в сущности, даже не является нарушением закона! А это еще не все! Уж я-то знаю! Я хочу написать романчик под заглавием «История идеи правосудия» — презабавная будет штука! Но мне отчаянно хочется пить! А тебе?

Он высунулся в окно и крикнул привратнику, чтобы тот сходил в кабачок за грогом.

— В общем, по-моему, есть три партии... Нет! Три группы, из которых ни одна меня не интересует: те, которые имеют, те, у которых больше ничего нет, и те, которые хотят что-то иметь. Но все единодушны в дурацком поклонении Власти! Примеры: Мабли советует запрещать философам обнародование их учений; господин Вронский, математик, называет на своем языке цензуру «критическим пресечением умозрительной способности»; отец Анфантен благословляет Габсбургов за то, что они «протянули через Альпы тяжелую длань, дабы подавить Италию»; Пьер Леру желает, чтобы вас силой заставляли слушать оратора, а Луи Блан склоняется к государственной религии — до того все эти вассалы сами одержимы страстью управлять! Меж тем они все далеки от законности, несмотря на их вековые принципы. А поскольку *принцип* означает *происхождение*, надо всегда обращаться мыслью к какой-либо революции, акту насилия, к чему-то переходному. Так, наш принцип — это народный суверенитет, выраженный в парламентских формах, хотя парламент этого и не признает. Но почему народный суверенитет должен быть священное божественного права? И то и другое — фикция! Довольно метафизики, довольно призраков! Чтобы мести улицы, не требуется догм! Мне скажут, что я разрушаю общество! Ну и что же? В чем тут беда? Нечего сказать, хорошо оно, это общество!

Фредерик мог бы многое ему возразить, но, видя, что Делорье теперь далек от теорий Сенекаля, он был полон снисхождения к нему. Он удовольствовался замечанием, что подобная система вызовет к ним всеобщую ненависть.

— Напротив, поскольку мы каждую партию уверим в своей ненависти к ее соседу, все будут рассчитывать на нас. Ты тоже примешь участие и займешься высокой критикой!

Нужно было восстать против общепринятых взглядов, против Академии, Нормальной школы, Консерватории, Французской Комедии, против всего, что напоминает какое-то установление. Таким путем они придадут своему «Обозрению» характер целостной системы. Потом, когда оно займет совершенно прочное положение, издание вдруг станет ежедневным; тут они примутся за личности.

— И нас будут уважать, можешь не сомневаться!

Исполнялась давняя мечта Делорье — стать во главе редакции, то есть иметь невыразимое счастье руководить другими, всюю переделывать статьи, заказывать их, отвергать.

Его глаза сверкали из-под очков, он приходил в возбуждение и машинально выпивал стаканчик за стаканчиком.

— Тебе надо будет раз в неделю давать обед. Это необходимо, пусть даже половина твоих доходов уйдет на это! Все захотят попасть к тебе, для всех это окажется средоточием, для тебя — рычагом, и вот — ты увидишь, — направляя общественное мнение с двух концов, занимаясь и политикой и литературой, мы через какие-нибудь полгода займем в Париже видное место.

Фредерик, слушая его, чувствовал, как молодеет, подобно человеку, который после долгого пребывания в комнате выходит на свежий воздух. Воодушевление товарища передалось и ему.

— Да, я был лентяй, дурак, ты прав!

— В час добрый! — воскликнул Делорье. — Узнаю моего Фредерика. — И, подставив ему кулак под подбородок, прибавил: — Ах, и мучил же ты меня! Ну ничего! Я все-таки тебя люблю.

Они стояли и смотрели друг на друга, растроганные, готовые обняться.

На пороге передней показалась женская шляпка.

— Как это тебя занесло сюда? — спросил Делорье.

То была м-ль Клеманс, его любовница.

Она ответила, что, случайно проходя мимо дома, не могла устоять против желания увидеться с ним, а чтобы вместе закусить, она принесла сладких пирожков; и она положила их на стол.

— Осторожнее, тут мои бумаги! — раздраженно проговорил адвокат. — Кроме того, я уже в третий раз запрещаю тебе приходить ко мне в приемные часы.

Она хотела его поцеловать.

— Ладно! Убирайся! Скатертью дорога!

Он отталкивал ее; она громко всхлипнула.

— Ну вот, начинается!

— Да ведь я тебя люблю!

— Я требую не любви, а услужливости!

Эти жестокие слова остановили слезы Клеманс. Она стала у окна и, прижавшись лбом к стеклу, застонала.

Ее поза и ее молчание сердили Делорье.

— Когда кончишь, прикажи подать себе карету! Слышишь?

Она круто повернулась к нему.

— Ты меня гонишь?

— Именно!

Она, должно быть, в знак последней мольбы, подняла на него большие голубые глаза, потом повязала крест-накрест свой шотландский платок, подождала еще минуту и удалилась.

— Ты бы ее вернул,— сказал Фредерик.

— Еще чего!

И Делорье, которому надо было уходить, прошел в кухню, служившую ему и туалетной комнатой. На плите, рядом с парой сапог, сохранялись остатки скудного завтрака, а на полу в углу валялся свернутый вместе с одеялом матрац.

— Это доказывает тебе,— промолвил он,— что я редко принимаю у себя маркиз! Право, без них легко обойтись, да и без всяких других тоже. Те, которые ничего не стоят, отнимают время, а это те же деньги в другой форме; я ведь не богат! И потом, они все такие глупые! Такие глупые! Неужели ты можешь разговаривать с женщиной?

Расстались они у Нового моста.

— Итак, решено? Ты принесешь это завтра, как только получишь?

— Решено! — сказал Фредерик.

На следующее утро, проснувшись, он получил по почте банковый чек на пятнадцать тысяч франков.

Этот клочок бумаги представился ему в виде пятнадцати больших мешков с деньгами, и он подумал, что, располагая такой большой суммой, мог бы, прежде всего, оставить при себе в течение трех лет свой выезд, вместо того чтобы его продавать, как это поневоле предстояло ему сделать в ближайшее время, или же приобрести два прекрасных набора оружия с узорчатыми насечками, которые он видел на набережной Вольтера, потом еще множество всякой всячины — картины, книги и сколько букетов, сколько подарков для г-жи Арну! Короче говоря, все было бы лучше, чем рисковать, чем терять столько денег на газету! Делорье казался ему самонадеянным; бесчувственность, проявленная им вчера, охладила Фредерика, и он уже предавался сожалениям, как вдруг, совсем для него неожиданно, вошел Арну и тяжело, словно чем-то подавленный, опустился на край постели.

— Что случилось?

— Я погиб!

Он в тот же день должен был внести в контору Бомино, нотариуса на улице Святой Анны, восемнадцать тысяч франков, занятых у некоего Ваннеруа.

— Непостижимое несчастье! Я же дал ему обеспечение, которое как-никак должно было его успокоить! Но он угрожает протестом, если не получит деньги нынче днем, сейчас же!

— А что тогда?

— Тогда все очень просто! Он наложит арест на мою недвижимость. Первое же объявление меня разорит, вот и все! Ах, если бы мне найти человека, который одолжил бы мне эту проклятую сумму,— он стал бы на место Ваннеруа, и я был бы спасен! У вас не окажется случайно этой суммы?

Чек лежал на ночном столике, рядом с книгой. Фредерик взял книгу и, положив ее на чек, ответил:

— Ах, боже мой, нет, дорогой друг!

Но ему трудно было отказать Арну.

— Неужели вы никого не можете найти, кто бы согласился?..

— Никого! И подумать только, что через неделю я получу деньги! К концу месяца мне должны, пожалуй... пятьдесят тысяч франков!

— Не могли бы вы попросить людей, которые вам должны, заплатить раньше срока?

— Какое там!

— Но у вас же есть ценности, векселя?

— Ничего!

— Что же делать? — сказал Фредерик.

— Вот этот вопрос я и задаю себе,— ответил Арну.

Он замолчал и стал шагать по комнате взад и вперед.

— Ведь это не для меня, боже мой, а для моих детей, для бедной моей жены! — Потом, отчеканивая каждое слово, добавил: — В конце концов... я буду мужествен... уложу пожитки... и поеду искать счастья... куда — не знаю!

— Это невозможно! — воскликнул Фредерик.

Арну спокойным тоном отвечал:

— Как же мне теперь оставаться в Париже?

Наступило длительное молчание.

Фредерик заговорил:

— Когда вы могли бы отдать эти деньги?

Это не значит, что они у него есть,— напротив! Но ничто не мешает ему повидаться с некоторыми друзьями, предпринять кой-какие шаги. И он позвонил слуге, собираясь одеваться. Арну его благодарил.

— Вам нужно восемнадцать тысяч, не правда ли?



Воспитание чувств

— О! Мне было бы достаточно и шестнадцати! Две тысячи с половиной, три я уж получу за столовое серебро, если только Ваннеруа согласится подождать до завтра, и повторяю вам, вы можете заявить, поклясться кредитору, что через неделю, даже, может быть, дней через пять-шесть деньги будут возвращены. Кроме того, под них дается обеспечение. Итак, никакого риска, понимаете?

Фредерик уверил его, что понимает и сейчас отправится.

Он остался дома, проклиная Делорье, так как ему хотелось сдержать слово и в то же время помочь Арну.

«Что, если я обращусь к господину Дамбрёзу? Но под каким предлогом просить денег? Ведь это мне, наоборот, следует платить ему за каменноугольные акции! Ах, да ну его с этими акциями! Я ни к чему не обязан!»

И Фредерик был в восхищении от своей независимости, словно он отказал г-ну Дамбрёзу в какой-то услуге.

«Ну что же,— подумал он затем,— ведь я на этом теряю, а мог бы на пятнадцать тысяч выиграть сто! На бирже это иногда бывает... Так вот, если я не оказываю внимания одному, то не в моей ли воле... К тому же Делорье может и подождать! Нет, нет, это нехорошо, пойду к нему!»

Он посмотрел на часы.

«Ах! Дело не к спеху! Банк закрывается лишь в пять часов».

А в половине пятого, получив деньги, он решил:

«Теперь уже не стоит! Я не застаю его; пойду вечером!» — и дал себе, таким образом, возможность отказаться от своего намерения, ибо в сознании всегда сохраняется некоторый след софизмов, проникавших в него, и от них остается привкус, словно от скверного вина.

Он прогулялся по бульварам и пообедал один в ресторане. Потом в театре Водевиль прослушал, чтобы рассеяться, один акт какой-то пьесы. Но банковые билеты как-то беспокоили его, точно он их украл. Его не огорчило бы, если бы он их потерял.

Вернувшись домой, он нашел письмо, в котором содержалось следующее:

«Что нового?

Моя жена присоединяется к моей просьбе, дорогой друг, в надежде... и т. д.

Ваш...»

И росчерк.

«Его жена! Она меня просит!»

В тот же миг появился Арну, чтобы узнать, не достал ли он требуемую сумму.

— Возьмите, вот она! — сказал Фредерик.

А через сутки сообщил Делорье:

— Я ничего не получил.

Адвокат приходил к нему три дня сряду. Он настаивал, чтобы Фредерик написал нотариусу. Он даже предложил съездить в Гавр.

— Нет! Это лишнее! Я сам поеду!

Когда прошла неделя, Фредерик робко попросил у Арну свои пятнадцать тысяч.

Арну отложил платеж на завтра, потом на послезавтра. Фредерик решался выходить из дому лишь поздней ночью, боясь, что Делорье застигнет его где-нибудь врасплох.

Однажды вечером на углу у церкви св. Магдалины он столкнулся с каким-то прохожим. То был Делорье.

— Иду за деньгами, — сказал Фредерик.

И Делорье проводил его до подъезда какого-то дома в предместье Пуассоньер.

— Подожди меня!

Он стал ждать. Наконец через сорок три минуты Фредерик вышел с Арну и знаком дал понять Делорье, чтобы он еще немного потерпел. Торговец фаянсом и его спутник прошлись под руку по улице Отвиль, затем свернули на улицу Шаболь.

Ночь была темная, порывами налетал теплый ветер. Арну шел медленно, рассказывая о Торговых рядах — крытых галереях, которые поведут от бульвара Сен-Дени к Шатле, замечательном предприятии, в которое ему очень хотелось бы вступить; а время от времени он останавливался у окна какого-нибудь магазина взглянуть на гризеток, потом продолжал свои рассуждения.

Фредерик слышал шаги Делорье — точно упреки, точно удары по его совести. Но потребовать свои деньги ему мешал ложный стыд, смешанный с опасением, что это бесполезно. Делорье подходил ближе. Он решился.

Арну чрезвычайно развязным тоном ответил, что не получил еще долгов и сейчас не может вернуть пятнадцати тысяч франков.

— Они же вам не нужны, я полагаю?

В этот момент Делорье подошел к Фредерику и отвел его в сторону:

— Скажи прямо, есть они у тебя или нет?

— Ну, так нет их! — сказал Фредерик. — Я лишился их!

— А! Каким образом?

— Проиграл!

Делорье ни слова не ответил, поклонился очень низко и отошел. Арну воспользовался случаем, чтобы зайти в табачную лавку и закурить сигару. Воротясь, он спросил, кто этот молодой человек.

— Так, один приятель!

Потом, три минуты спустя, у подъезда Розанетты Арну сказал:

— Зайдите же, она будет рада вас видеть. Какой вы стали дикарь!

Фонарь, у которого они стояли, освещал его лицо; в этой самодовольной физиономии с сигарой в зубах было что-то невыносимое.

— Ах да, кстати: мой нотариус был у вашего сегодня утром для составления закладной. Это жена мне напомнила.

— Деловая женщина! — машинально заметил Фредерик.

— Еще бы!

И Арну опять принялся ее хвалить. Ей не было равных по уму, сердцу, бережливости; он шепотом прибавил, вращая глазами:

— А какое тело!

— Прощайте! — сказал Фредерик.

Арну вздрогнул:

— Позвольте! В чем дело?

И, нерешительно протянув ему руку, взглянул на него; его смутило гневное выражение лица Фредерика.

Тот сухо повторил:

— Прощайте!

Как камень, катящийся с высоты, спустился он по улице Брэда, в отчаянии и тоске, негодуя на Арну, давая себе клятву не видеться с ним больше никогда, да и с ней также. Вместо того чтобы с ней расстаться, как он ожидал, муж, напротив, снова стал обожать ее — всю, от корня волос до глубин души. Вульгарность этого человека выводила Фредерика из себя. Так, значит, все принадлежит ему, все! Он снова столкнулся с ним на пороге дома лоретки, и к ярости собственного бессилия у него примешивалось болезненное чувство, которое вызывала мысль о прошедшем разрыве. К тому же честность Арну, предлагавшего обеспечение, унижала его; Фредерик готов был его задушить; а над горем его, точно туман,

реяло сознание собственной подлости по отношению к другу. Слезы душили его.

Делорье шел по улице Мучеников, ругаясь вслух, — так он был возмущен, ибо его проект, подобно низверженному обелиску, казался ему теперь чем-то необычайно высоким. Он считал, что его обокрали, что он потерпел огромный убыток. Приязнь его к Фредерику умерла, и он испытывал от этого радость; это вознаграждало его! Им овладела ненависть к богачам. Он склонился к взглядам Сенекаля и дал себе слово следовать им.

Тем временем Арну, удобно расположившись в глубоком кресле у камина, попивал чай, а Капитанша сидела у него на коленях.

Фредерик к ним больше не пошел, а чтобы отвлечься от своей пагубной страсти, ухватился за первое, что пришло ему в голову, и решил написать «Историю эпохи Возрождения». Он в беспорядке нагромоздил у себя на столе книги гуманистов, философов, поэтов; он ходил в кабинет эстампов смотреть гравюры Марка Антония; он старался уразуметь Макиавелли. Тишина, необходимая для работы, постепенно успокоила его. Погружаясь в изучение других личностей, он забывал о своей — единственное, быть может, средство не страдать от нее.

Однажды, когда он сосредоточенно делал выписки, дверь отворилась, и слуга объявил о приходе г-жи Арну.

Это была она! Одна ли? Да нет! За руку она держала маленького Эжена, следом шла нянька в белом переднике. Г-жа Арну села и, откашлявшись, сказала:

— Давно вы не были у нас!

Фредерик не знал, что сказать в оправдание, и она прибавила:

— Это все ваша деликатность!

Он спросил:

— Почему деликатность?

— А то, что вы сделали для Арну! — сказала она.

Фредерик не удержался от жеста, означавшего: «Какое мне дело до него! Это я для вас!»

Она отослала ребенка с няней поиграть в гостиной. Они обменялись двумя-тремя вопросами о здоровье, потом разговор иссяк.

На ней было коричневое шелковое платье, цветом напоминавшее испанское вино, и черное бархатное пальто, отороченное куньим мехом; так и хотелось потрогать этот мех ру-

кой, а низко собранных гладких волос коснуться губами. Но что-то волновало и беспокоило ее, и, обернувшись в сторону двери, она сказала:

— Здесь немного жарко!

Фредерик по взгляду угадал невысказанную мысль.

— Простите, двери лишь прикрыты!

— Ах да, правда!

И она улыбнулась, как будто хотела сказать: «Я ничего не боюсь».

Он тотчас спросил, что привело ее сюда.

— Мой муж,— проговорила она с усилием над собой,— просил меня к вам зайти, так как не решается на это сам.

— А почему же?

— Вы ведь знакомы с господином Дамбрёзом?

— Да, немного!

— Ах, немного!

Она умолкла.

— Ну так что же?

И она рассказала, что третьего дня Арну не мог уплатить банкиру четырех тысяч франков по векселям, которые заставил ее в свое время подписать. Она раскаивается, что подвергла риску состояние детей. Но все лучше, чем бесчестье, и если г-н Дамбрёз приостановит взыскание, ему, конечно, скоро все уплатят, так как она собирается продать свой домик в Шартре.

— Бедняжка! — пробормотал Фредерик. — Я к нему съезжу! Можете рассчитывать на меня.

— Благодарю!

И она поднялась, уже собираясь идти.

— О! Вам еще некуда спешить!

Сейчас она стоя рассматривала монгольские стрелы, свешивавшиеся с потолка, книжные шкафы, переплеты, письменные принадлежности; она приподняла бронзовую чашечку, в которой лежали перья; ее каблучки двигались по ковру. У Фредерика она несколько раз бывала и прежде, но всегда вместе с Арну. Теперь они были одни — одни в его собственном доме, — событие необычайное, почти что любовная удача.

Она захотела посмотреть его садик; он предложил ей руку и стал показывать свои владения — участок в тридцать футов, окруженный со всех сторон домами, украшенный деревцами по углам и клумбою посредине.

Было начало апреля. Листья сирени зеленели уже, в воздухе веял чистый ветерок, и щебетали птицы, пенье которых

чередовалось с ударами кузнечного молота, доносившимися из каретной мастерской.

Фредерик принес каминную лопатку, и, пока они гуляли по саду, ребенок среди аллеи собирал в кучки песок.

Госпожа Арну думала, что он не будет отличаться пылкостью воображения, но нрава он ласкового. Сестре его, напротив, свойственна какая-то прирожденная сухость, порой обидная для матери.

— Это пройдет, — сказал Фредерик. — Не надо отчаиваться.

Она повторила:

— Не надо отчаиваться!

Эти слова, невольно повторенные ею, показались ему как бы попыткой ободрить его; он сорвал розу, единственную в саду.

— Вы помните... букет роз однажды вечером в экипаже?

Она чуть покраснела и тоном насмешливого сожаления ответила:

— Ах! Я тогда была очень молода!

— А с этой, — тихим голосом продолжал Фредерик, — будет то же самое?

Она ответила, вертя стебелек между пальцами, словно нить веретена:

— Нет! Ее я сохраню!

Она знаком подозвала няню, которая взяла ребенка на руки; выходя на улицу, г-жа Арну на самом пороге дома понюхала цветок, склонила голову на плечо и бросила взгляд нежный, как поцелуй.

Вернувшись к себе в кабинет, он глядел на кресло, где она сидела, на вещи, до которых она дотрагивалась. Что-то оставшееся от ее присутствия реяло вокруг него. Ласка, принесенная ею, еще жила.

— Так, значит, она приходила сюда! — говорил он себе.

И на него нахлынула волна беспредельной нежности.

На другой день он в одиннадцать часов явился к г-ну Дамбрёзу. Приняли его в столовой. Банкир завтракал, сидя против жены. Рядом с нею была племянница, по другую руку — гувернантка-англичанка с изрытым оспой лицом.

Господин Дамбрёз пригласил своего молодого друга позавтракать вместе с ними и, когда тот отказался, спросил:

— Чем могу вам быть полезен? Я вас слушаю.

Фредерик с притворным равнодушием сознался, что он приехал просить за некоего Арну.

— А-а, бывший торговец картинами,— с беззвучным смехом сказал банкир, обнажая десны.— Прежде за него ручался Удри; теперь у них ссора.

И он стал пробегать глазами письма и газеты, лежавшие рядом с его прибором.

Прислуживали два лакея, бесшумно ступавшие по паркету; а высота этой комнаты с тремя вышитыми портьерами и двумя бассейнами белого мрамора, блеск конфорок, самая расстановка закусок, даже складки накрахмаленных салфеток,— все это великолепное благополучие представляло для Фредерика полный контраст с другим завтраком — у Арну. Он не осмеливался прерывать г-на Дамбрёза.

Хозяйка заметила его смущение.

— Вы встречаетесь с нашим другом Мартиноном?

— Он будет сегодня вечером,— с живостью сказала молодая девица.

— А-а! Тебе уже известно? — спросила тетка, остановив на ней холодный взгляд.

Один из лакеев, наклонившись к ее уху, что-то сказал.

— Дитя мое, твоя портниха!.. Мисс Джон!

И послушная гувернантка скрылась вместе со своей воспитанницей.

Господин Дамбрёз, потревоженный шумом отодвигаемых стульев, спросил, что такое.

— Пришла госпожа Режембар.

— Как? Режембар! Эта фамилия мне знакома. Я встречал такую подпись.

Фредерик наконец приступил к делу: Арну заслуживает участия; он даже, с единственной целью исполнить обязательства, собирается продать дом своей жены.

— Она, говорят, очень хорошенькая,— сказала г-жа Дамбрёз.

Банкир прибавил добродушно:

— Вы, может быть, их близкий... друг?

Фредерик, не ответив прямо, сказал, что будет премного обязан, если г-н Дамбрёз примет во внимание...

— Ну что же, если это вам доставит удовольствие! Пусть так! Можно подождать! Время еще терпит. Не спуститься ли ко мне в контору, хотите?

Завтракать кончили; г-жа Дамбрёз кивнула головой, улыбнулась странной улыбкой, полной вежливости и в то же время иронии. Фредерик не успел и задуматься над этим: г-н Дамбрёз, как только они остались одни, спросил: — Вы не заезжали

за вашими акциями? — И не давая ему извиниться: — Ничего! Ничего! Вам следует несколько ближе познакомиться с делом. — Он предложил ему папиросу и начал: — «Всеобщая компания по разработке французских каменноугольных копей» основана; ждут лишь утверждения устава. Самый факт слияния компаний уже сокращает расходы на контроль и рабочую силу, увеличивает прибыли. Кроме того, компания решила осуществить нововведение — заинтересовать в предприятии рабочих. Она построит им дома, здоровые жилища; наконец, она сделается поставщиком для своих служащих, будет продавать им все по себестоимости.

И они останутся в выигрыше, сударь; вот где истинный прогресс! Это победоносный ответ на иные республиканские выкрики! У нас в совете состоят, — он извлек проспект, — пэр Франции, один ученый — академик, инженер — генерал в отставке, всё известные имена! Подобные элементы успокаивают боязливых акционеров и привлекают умных! Компания будет получать государственные заказы, затем снабжать железные дороги, пароходы, металлургические предприятия, газовые заводы, кухни горожан. Итак, мы отапливаем, мы освещаем, мы приближаемся к самому скромному домашнему очагу. Но как, спросите вы, удастся нам обеспечить сбыт? С помощью покровительственных законов, дорогой мой, а их мы добьемся; это уж наше дело. Я, впрочем, откровенный приверженец запретительной системы! Страна прежде всего!

Он выбран директором, но у него не хватает времени заниматься разными мелочами, между прочим — составлением докладов.

— Я немного не в ладу с классиками, позабыл греческий! Мне нужен кто-нибудь... кто бы мог излагать мои мысли. — И вдруг: — Не хотите ли стать таким человеком и получить звание генерального секретаря?

Фредерик не знал, что ответить.

— Ну что же, что может вам помешать?

Его обязанности ограничатся составлением ежегодного отчета для акционеров. Он будет находиться в каждодневных сношениях с самыми влиятельными людьми Парижа. Как представитель компании он, разумеется, заслужит любовь рабочих, это впоследствии позволит ему попасть в Генеральный совет, в депутаты.

В ушах у Фредерика звенело. Откуда такая благосклонность? Он рассыпался в благодарностях.

Но, как сказал банкир, не следовало ставить себя в зависимость от кого бы то ни было. Лучшее средство — приобрести акции, ибо они «отличное помещение денег, поскольку ваш капитал обеспечивает вам положение, а ваше положение — капитал».

— А какая приблизительно должна быть сумма? — спросил Фредерик.

— Боже мой, да какая хотите, полагаю, тысяч сорок — шестьдесят.

Эта сумма была для г-на Дамбрёза так ничтожна, а его авторитет был так велик, что Фредерик немедленно решил продать одну из своих ферм. Предложение он принял. Г-н Дамбрёз должен был на днях назначить ему встречу, чтобы окончательно договориться.

— Итак, я могу сообщить Жаку Арну?..

— Все, что вам угодно! Ах, бедняга! Да, все, что вам угодно!

Фредерик написал супругам Арну, что они могут успокоиться; отнести это письмо он послал слугу, которому ответили:

— Прекрасно!

А между тем своим старанием он заслуживал бы большего. Он ждал визита или, по меньшей мере, письма. Визита ему не сделали. Письма не написали.

Что же это — забывчивость с их стороны или умысел? Если г-жа Арну приходила к нему раз, то что же мешает ей прийти снова? Значит, тот смутный намек, то признание, которое она как будто сделала ему, — это лишь корыстная уловка? «Неужели они посмеялись надо мной? Неужели она сообщница?» Какая-то стыдливость, вопреки его желанию, мешала ему пойти к ним.

Однажды утром (три недели спустя после их свидания) г-н Дамбрёз написал ему, что ждет его к себе через час.

По дороге ему опять не давала покоя мысль о супругах Арну, и, не в силах разгадать, чем вызвано их поведение, он был охвачен тоской, зловещим предчувствием. Чтобы избавиться от него, он кликнул кабриолет и велел ехать на улицу Паради.

Арну находился в отъезде.

— А госпожа Арну?

— В деревне, на фабрике!

— Когда вернется господин Арну?

— Завтра непременно!

Итак, он застанет ее одну; случай ему благоприятствует. Мысленно он слышал какой-то голос, властно кричавший ему: «Поезжай!»

Но как же с г-ном Дамбрёзом? «Ну, да все равно! Скажу, что был болен!» Он поспешил на вокзал. Потом, уже сидя в вагоне, подумал: «А может быть, не надо? А, будь как будет!»

Справа и слева раскинулись зеленые равнины; поезд мчался; станционные домики скользили мимо, словно декорации, а дым от паровоза вился все в одну и ту же сторону тяжелыми хлопьями, которые сперва кружились на фоне травы, потом рассеивались.

Фредерик, сидя один на диванчике, от скуки смотрел на все это с той ленью, которую вызывает в нас чрезмерное напряжение. Но показались краны, склады. Это был Крейль.

В этом городке, построенном на склоне двух низких холмов (из которых один голый, а другой у вершины покрыт лесом), с его церковной башней, неровными домами и каменным мостом, как казалось Фредерику, было что-то невеселое, скромное и доброе. По течению реки спускалась большая лодка, а вода плескалась, ее гнал ветер; у подножия распятия копошились в соломе куры; прошла женщина с тазом мокрого белья на голове.

Миновав мост, Фредерик очутился на острове, где справа были видны развалины монастыря. Вертелась мельница, во всю ширину загораживая второй рукав Уазы, над которым нависало здание фабрики. Внушительность постройки чрезвычайно удивила Фредерика. Он почувствовал больше уважения к Арну. Пройдя еще три шага, он повернул в переулок, заканчивавшийся железной решеткой.

Он вошел внутрь. Привратница окликнула его:

— Есть у вас пропуск?

— Зачем?

— Чтобы пройти на фабрику.

Фредерик резко ответил, что он идет к г-ну Арну.

— Это кто ж такой — господин Арну?

— Да начальник, хозяин, владелец, словом!

— Нет, сударь, это фабрика господ Лебефа и Милье!

Старуха, должно быть, пошутила. Подошли рабочие. Фредерик обратился к двум-трем из них; они ответили то же самое.

Фредерик вышел со двора, шатаясь, точно пьяный, и с видом столь растерянным, что на мосту Боен обыватель, куривший трубку, его спросил, не потерял ли он что-нибудь. Этот человек знал фабрику Арну. Находилась она в Монтатэре.

Фредерик стал искать экипаж; достать его можно было только у вокзала. Он вернулся туда. Перед багажной кассой одиноко стояла разбитая коляска, запряженная клячей в порванной сбруе, повисшей на оглоблях.

Мальчишка вызвался найти «дядюшку Пилона». Спустя десять минут он воротился: дядюшка Пилон, оказывается, завтракает. Фредерик, потеряв терпение, двинулся пешком. Но шлагбаум на переезде был опущен. Пришлось подождать, пока пройдут два поезда. Наконец он зашагал по полю.

Своей однообразной зеленью оно напоминало сукно огромного бильярда. Вдоль дороги, по обе ее стороны, лежал железный шлак, точно кучи щебня. В некотором отдалении, одна подле другой, дымили фабричные трубы. Прямо впереди возвышался на круглом холме маленький замок с башенками и четырехугольной колокольней. Ниже, среди деревьев, неправильными линиями тянулись длинные стены, а совсем внизу расположилась деревня.

Дома в ней одноэтажные, каждый с тремя каменными ступеньками, сложенными из цельных плит, без цемента. Порой из какой-нибудь лавки доносилось звяканье дверного колокольчика. В черной грязи оставались глубокие следы чьих-то грузных шагов, сеял мелкий дождь, зачерчивая тусклое небо бесчисленными штрихами.

Фредерик шел по мостовой; наконец на повороте влево он увидал большую деревянную арку с надписью золотыми буквами: «Фаянс».

Жак Арну не без умысла обосновался по соседству с Крейлем; построив свою фабрику как можно ближе к другой (давно уже имевшей хорошую репутацию), он рассчитывал, что публика их спутает в его пользу.

Главный корпус здания упирался в берег речки, пересекавшей луг. Хозяйский дом, окруженный садом, выделялся своим крыльцом, украшенным четырьмя вазами, в которых топорщились кактусы. Кучи белой глины сушились под навесами; другие лежали прямо под открытым небом, а посередине двора, в неизменном синем пальто на красной подкладке, стоял Сенекаль.

Бывший репетитор протянул Фредерику холодную руку.
— Вам хозяина? Его нет.

Фредерик смутился и преглупо ответил:

— Я знаю.— Но тотчас прибавил: — Я по делу, касающемуся госпожи Арну. Может она меня принять?

— Э, я не видел ее уже три дня,— ответил Сенекаль.

И он излил целый поток жалоб. Соглашаясь на условия

фабриканта, он предполагал жить в Париже, а не торчать в этой глуши, вдали от друзей, без газет. Ну что же! Он и с этим примирился! Но Арну, видимо, не обращает никакого внимания на его достоинства. К тому же он человек ограниченный, ретроград, невежда, каких мало. Вместо того чтобы стремиться к художественным усовершенствованиям, лучше было бы ввести угольное и газовое отопление. Буржуа *зарывается*; Сенекаль сделал упор на это слово. Короче, его занятия ему не нравились, и он почти потребовал от Фредерика, чтобы тот замолвил за него словечко и добился увеличения его жалованья.

— Будьте покойны! — сказал Фредерик.

На лестнице он никого не встретил. Поднявшись на второй этаж, Фредерик заглянул в пустую комнату; это была гостиная. Он громко позвал. Ему не ответили; наверное, кухарки не было дома, служанки также; наконец, добравшись до третьего этажа, он толкнул дверь. Г-жа Арну была одна; она стояла перед зеркальным шкафом. Пояс полураспахнутого капота свисал по бокам. Ее волосы черным потоком спускались на правое плечо, а обе руки были подняты: одной она придерживала шиньон, другой втыкала в него шпильку. Она вскрикнула и исчезла.

Вернулась она тщательно одетая. Ее фигура, ее глаза, шелест платья — все его восхитило. Фредерик сдерживался, чтобы не расцеловать ее.

— Извините, — проговорила она, — но я не могла...

У него хватило дерзости ее перебить.

— А между тем... вы были так хороши... вот только что...

Комплимент, должно быть, показался ей несколько грубым: щеки ее покрылись румянцем. Он испугался, что она обиделась. Она же спросила:

— Какой счастливый случай занес вас сюда?

Он не знал, что ответить; усмехнувшись и выиграв время, чтобы подумать, он все же нашелся:

— Если я скажу, поверите вы мне?

— Почему бы нет?

Фредерик рассказал, что прошлой ночью видел страшный сон.

— Мне снилось, что вы опасно больны, лежите при смерти.

— О! Ни я, ни мой муж никогда не болеем!

— Мне снились только вы, — сказал он.

Она спокойно взглянула на него:

— Сны не всегда сбываются.

Фредерик что-то забормotal, подыскивая слова, и начал наконец длинную фразу о сродстве душ. Существует такая сила,

которая и на расстоянии может связать двух людей; она позволяет каждому из них узнавать то, что чувствует другой, и помогает им соединиться.

Она слушала, наклонив голову, улыбаясь своей прекрасной улыбкой. Он украдкой смотрел на нее, исполненный глубокой радости, и свободнее изливал свое чувство, прикрывая его общими фразами. Она предложила ему осмотреть фабрику; стала уговаривать; он согласился.

Сперва, чтобы занять его внимание чем-нибудь более интересным, она повела его на лестницу, где было устроено нечто вроде музея. Образцы изделий, развешанные по стенам или расставленные на полочках, свидетельствовали об усилиях Арну и говорили о смене в его увлечениях. После попыток найти китайскую красную краску он брался за производство майолики, вещей в этрусском и восточном стиле, за подделку итальянского фаянса, старался, наконец, ввести некоторые усовершенствования, осуществившиеся лишь позднее. Вот почему в ряду изделий можно было увидеть и большие вазы с изображением китайских мандаринов, и красновато-коричневые миски с золотистым отливом, и горшки, расцвеченные арабскими надписями, и кувшины во вкусе Возрождения, и широкие тарелки с двумя человеческими фигурами, наведенными как бы сангиной, нежными и воздушными. Теперь он изготовлял буквы для вывесок, ярлыки для вин, но, обладая умом недостаточно возвышенным, чтобы подняться до подлинного искусства, и недостаточно пошлым, чтобы стремиться только к выгоде, он никого не удовлетворял, а сам разорялся. Пока они рассматривали эти вещи, мимо прошла м-ль Марта.

— Разве ты его не узнаешь? — спросила мать.

— Узнаю! — ответила она и поклонилась Фредерику, а ее взгляд, девический взгляд, ясный и подозрительный, словно шептал: «Тебе-то что надо здесь?» И она пошла наверх, слегка склонив головку набок.

Госпожа Арну повела Фредерика во двор, потом серьезным тоном стала объяснять, как растирают глину, как ее очищают, как просеивают.

— Самое главное — приготовление массы.

И она ввела его в помещение, уставленное чанами, где вращалась вертикальная ось с горизонтальными рукоятками. Фредерик досадовал, что не отказался наотрез от ее приглашения.

— Это промывалки, — сказала она.

Название показалось ему смешным и как бы неуместным в ее устах.

Широкие ремни тянулись с одного конца потолка к другому, наматываясь на барабаны, и все двигалось непрерывно, математически строго, раздражающе.

Они вышли оттуда и прошли мимо развалившейся лачуги, служившей прежде хранилищем для садовых инструментов.

— Она уже ни на что не годится, — сказала г-жа Арну.

Он с дрожью в голосе отозвался:

— Счастье может еще найти в ней приют.

Слова его покрыл шум парового насоса, и они вошли в формовочную.

Люди, сидевшие за узким столом, накладывали глиняные комья на диски, вращавшиеся перед каждым из них; левой рукой они выскабливали внутренность, правой разглаживали поверхность, и на глазах, точно распускающиеся цветы, вырастали вазы.

Госпожа Арну велела показать формы для изделий более сложных.

В другом помещении изготовлялись ободки, горлышки, выпуклые части. В верхнем этаже выравнивали спайки и гипсом заполняли дырочки, образовавшиеся от предыдущих операций.

На решетках, в углах, посреди коридоров — везде рядами стояла посуда.

Фредерик начинал скучать.

— Вас это, может быть, утомляет? — сказала она.

Опасаясь, как бы не пришлось этим ограничить свое посещение, Фредерик сделал вид, что, напротив, он в большом восторге. Он даже выразил сожаление, что сам не занялся этим делом.

Она как будто удивилась.

— Конечно! Я ведь мог бы тогда жить подле вас!

Он старался уловить ее взгляд, и г-жа Арну, желая этого избежать, взяла со столика шарики массы, оставшиеся после неудачных отделок, сплющила их в лепешку и отпечатала на ней свою руку.

— Можно мне взять это с собою? — спросил Фредерик.

— Боже мой, какой вы ребенок!

Он хотел что-то ответить, но вошел Сенекаль.

Уже с порога г-н вице-директор заметил нарушение правил. Мастерские полагалось подметать каждую неделю; была суббота, и так как рабочие этого не сделали, Сенекаль объявил, что им придется остаться лишний час. «Сами виноваты!»

Они безропотно склонились над работой, но о гневе их можно было догадаться по тому, как хрипло они дышали.

С ними, впрочем, нелегко было ладить: всех их в свое время прогнали с большой фабрики. Республиканец обращался с ними жестоко. Обладая умом теоретика, он считался только с массами и проявлял беспощадность к отдельным личностям.

Фредерик, стесненный его присутствием, шепотом спросил у г-жи Арну, нельзя ли посмотреть на печи. Они спустились в нижний этаж, и она принялась объяснять ему назначение ящиков, как вдруг между ними снова появился Сенекаль, не отстававший от них.

Он сам стал пояснять, распространяясь о различных видах горючего, о плавлении, о пироскопах, о печных устоях, соединениях, глазури и металлах, сыпал терминами химии: «хлористое соединение», «сернистое соединение», «бура», «углекислая соль»! Фредерик ничего в этом не понимал и каждый миг обращивался к г-же Арну.

— Вы не слушаете,— сказала она.— А господин Сенекаль объясняет очень понятно. Он все эти вещи знает гораздо лучше меня.

Математик, польщенный ее похвалой, предложил показать, как накладывают краски. Фредерик бросил на г-жу Арну тревожно-вопросительный взгляд. Она осталась безучастна, должно быть не желая оказаться с ним наедине и все же не думая еще прощаться. Он предложил ей руку.

— Нет, благодарю вас! Лестница слишком узкая!

А когда они поднялись наверх, Сенекаль отворил дверь в помещение, полное женщин.

В руках у них были кисточки, пузырьки, раковинки, стеклянные дощечки. По карнизу вдоль стены тянулись доски с гравированными рисунками; по комнате летали обрывки тонкой бумаги, а из чугунной печки шел невыносимый жар, к которому примешивался запах скипидара.

Работницы почти все были одеты самым жалким образом. Но среди них выделялась одна — в полупелкуовой шали и с длинными серьгами. У нее, стройной и в то же время пухленькой, были большие черные глаза и мясистые, словно у негритянки, губы. Пышная грудь выпячивалась под рубашкой, схваченной в талии шнурком юбки: одной рукой облокотясь на станок, а другую свесив, она рассеянно глядела куда-то вдаль. Рядом стояла бутылка вина и валялся кусок колбасы.

Правилами распорядка запрещалось есть в мастерских — мера, предусмотренная для соблюдения чистоты в работе и поддержания гигиены среди самих рабочих.

Сенекаль, то ли из чувства долга, то ли из склонности к деспотизму, еще издали закричал, указывая на объявление в рамке:

— Эй! Вы там! Бордоска! Прочтите-ка мне вслух параграф девятый!

— Ну, а еще что?

— А еще что, сударыня? А то, что вы заплатите три франка штрафа!

Она прямо в упор нагло посмотрела на него.

— Подумаешь! Хозяин вернется и снимет ваш штраф! Плевать мне на вас, дружок!

Сенекаль, заложив руки за спину и прогуливаясь, точно классный надзиратель во время урока, только улыбнулся.

— Параграф тринадцатый, неповиновение, десять франков!

Бордоска опять принялась за работу. Г-жа Арну из приличия ничего не говорила, но нахмурила брови. Фредерик пробормотал:

— О! Для демократа вы слишком уж суровы!

Сенекаль менторским тоном возразил:

— Демократия не есть разнуздание личности. Это — равенство всех перед законом, разделение труда, порядок!

— Вы забываете о гуманности! — сказал Фредерик.

Госпожа Арну взяла его под руку; Сенекаль, оскорбленный, может быть, этим знаком безмолвного согласия, удалился.

Фредерик почувствовал огромное облегчение. С самого утра он искал случая объясниться; случай представился. К тому же внезапное движение г-жи Арну словно таило в себе обещание; и он, будто затем, чтобы погреть ноги, попросил позволения пройти в ее комнату. Но когда он сел рядом с ней, им овладело смущение; неизвестно было, с чего начинать. С счастьем, ему на ум пришел Сенекаль.

— Нет ничего глупее такого наказания!

Госпожа Арну возразила:

— Строгость бывает необходима.

— Как? И это вы, такая добрая! О! Я обмолвился — ведь иногда вам нравится мучить!

— Я не понимаю загадок, друг мой.

И ее строгий взгляд, более властный, чем слова, остановил его. Но Фредерик был намерен продолжать. На комодѣ оказался томик Мюссе. Он перевернул несколько страниц, потом заговорил о любви, о ее отчаянии и ее порывах.

Все это, по мнению г-жи Арну, было или преступно, или надуманно.

Столь отрицательное суждение обидело молодого человека, и, чтобы опровергнуть его, он в доказательство привел самоубийства, о которых приходилось читать в газетах, стал превозносить знаменитые литературные типы — Федру, Дидону, Ромео, де Грие. Тут он сбился.

Огонь в камине погас, в окна хлестал дождь. Г-жа Арну сидела неподвижно, положив обе руки на подлокотники: ленты ее чепца свисали, точно концы повязки сфинкса. В темноте выделялся ее чистый бледный профиль.

Ему хотелось броситься к ее ногам. В коридоре раздался какой-то скрип, он не посмел.

К тому же его удерживал благоговейный страх. Это платье, сливавшееся с сумерками, казалось ему непомерным, бесконечным, какой-то непреодолимой преградой, и его желание именно поэтому еще усиливалось. Но боязнь сделать слишком много и все же чего-то не доделать отнимала у него способность здраво рассуждать.

«Если я ей не нравлюсь,— думал он,— пусть прогонит меня! Если же я ей по душе, пусть скажет!»

И со вздохом спросил:

— Значит, вы не допускаете, что можно любить... женщину?

Госпожа Арну ответила:

— Если она свободна — на ней женятся; если она принадлежит другому — уходят.

— Итак, счастье невозможно?

— Отчего же! Но счастье нельзя найти в обмане, в тревогах и в угрызениях совести.

— Не все ли равно, если оно дает божественную радость!

— Опыт обходится слишком дорого.

Он решил прибегнуть к иронии.

— Значит, добродетель не что иное, как трусость?

— Лучше скажите: дальновидность. Даже для тех женщин, которые забыли бы о долге и религии, может иногда быть достаточно простого здравого смысла. Эгоизм — прочная основа целомудрия.

— Ах! Какие у вас мещанские взгляды!

— Да я и не мню себя знатной дамой!

В эту минуту прибежал маленький Эжен.

— Мама, пойдем обедать?

— Да, сейчас!

Фредерик поднялся; появилась Марта.

Он не мог решиться уйти и, обратив к г-же Арну взгляд, полный мольбы, сказал:

— Женщины, о которых вы говорите, верно, очень бесчувственны?

— Нет! Но они глухи, когда надо!

Она стояла на пороге спальни, а рядом с ней двое ее детей. Он поклонился, не сказав ни слова. Она безмолвно ответила на его поклон.

Беспредельное изумление — вот что он испытывал в первую минуту. То, как она дала ему понять всю нелепость его надежд, совершенно убило его. Он чувствовал, что погиб, — как человек, упавший в пропасть и знающий, что его не спасут и он должен умереть.

Все-таки он шагал, хоть и наугад, шагал, ничего не видя; он спотыкался о камни, сбился с дороги. Раздался стук деревянных башмаков — это рабочие возвращались с литейного завода. Тогда только он пришел в себя.

На горизонте железнодорожные фонари вытянулись в линию огней. Он поспел на станцию как раз к отходу поезда; его втолкнули в вагон, и он сразу уснул.

Час спустя на бульварах вечернее веселье Парижа внезапно отодвинуло его поездку куда-то в далекое прошлое. Он решил быть твердым и облегчил душу, осыпая г-жу Арну бранными эпитетами:

— Идиотка, дура, скотина! Незачем больше и думать о ней!

Вернувшись домой, он нашел у себя в кабинете письмо на восьми страницах голубой глянцевиной бумаги с инициалами Р. А.

Оно начиналось дружескими упреками:

«Что с вами, друг мой? Я скучаю».

Но почерк был такой ужасный, что Фредерик уже хотел отшвырнуть письмо, как вдруг в глаза бросилась приписка:

«Я рассчитываю, что вы завтра поедете со мной на скачки».

Что означало это приглашение? Не была ли это еще какая-нибудь новая выходка Капитанши? Но ведь не может же быть, чтобы два раза кряду так, ни с того ни с сего, стали издеваться над одним и тем же человеком; и, охваченный любопытством, он внимательно перечел письмо.

Фредерик разобрал: «Недоразумение... пойти по неверному пути... разочарования... Бедные мы создания!.. Подобно двум потокам, которые сливаются...» и т. д.

Этот стиль не соответствовал обычному языку лоретки. Что же за перемена тут произошла?

Он долго держал в руке эти листочки. От них пахло при-
сом, а в очертании букв и в неровных промежутках между стро-
ками было что-то напоминавшее беспорядок в туалете, и это
смутно волновало его.

«Почему бы не поехать? — подумал он наконец. — А если
узнает госпожа Арну? Ну и пусть узнает! Тем лучше! И пусть
ревнует! Я буду отомщен».

IV

Капитанша была готова и ждала его.

— Вот это мило! — сказала она, взглянув на него своими
красивыми глазами, и нежными и веселыми.

Она завязала ленты шляпки, села на диван и замолкла.

— Что же, едем? — сказал Фредерик.

Она посмотрела на часы.

— Ах, нет! Не раньше, чем часа через полтора.

Она как бы сама ставила этим предел своей нерешитель-
ности.

Наконец пробил назначенный час.

— Ну вот, andiamo, caro mio! ¹

И она в последний раз пригладила волосы, отдала приказа-
ние Дельфине.

— Вернется барыня к обеду?

— Нет, зачем же? Мы вместе пообедаем где-нибудь, в «Ан-
глийском кафе», где захотите!

— Прекрасно!

Собачонки тявкали около нее.

— Их лучше взять с собой, правда?

Фредерик сам отнес их в экипаж. Это была наемная карета,
запряженная парой почтовых лошадей, с фореитором; на запят-
ках стоял лакей Фредерика. Капитанша была, видимо, доволь-
на его предупредительностью; не успела она усесться в каре-
ту, как спросила, бывал ли он в последнее время у Арну.

— Целый месяц не был, — сказал Фредерик.

— А я встретила его третьего дня, он даже хотел сегодня
приехать. Но у него всякие неприятности, опять какой-то про-
цесс, уж не знаю, что там такое. Вот странный!

— Да! Очень странный! — Фредерик прибавил равнодуш-
но: — А кстати, вы все еще видаетесь... как его зовут? С этим
бывшим певцом... Дельмаром?

¹ Идем, милый! (итал.)

Она сухо ответила:

— Нет! С этим кончено!

Итак, разрыв не подлежал сомнению. У Фредерика возникла надежда.

Они шагом проехали квартал Брэда; на улицах, по случаю воскресенья, было безлюдно, в окнах показывались лица обывателей. Экипаж покатиł быстрее; заслышав стук колес, прохожие оборачивались; блестела кожа откинутого верха; слуга выгибал стан, а собачонки напоминали две горностаевые муфты, положенные на подушки одна подле другой. Фредерик покачивался на сиденье. Капитанша с улыбкой поворачивала голову то направо, то налево.

Ее шляпка из соломки, отливавшей перламутром, была обшита черным кружевом. Капюшон ее бурнуса развевался на ветру, а от солнца она закрывалась лиловым атласным зонтиком, островерхим, как кровля пагоды.

— Что за прелесть эти пальчики! — сказал Фредерик, тихонько взяв другую ее руку, левую, украшенную золотым браслетом в виде цепочки. — Ах, премилая вещица! Откуда она у вас?

— О! Она у меня давно, — ответила Капитанша.

Молодой человек ничего не возразил на лицемерные слова. Он предпочел «воспользоваться случаем». И, все еще держа кисть ее руки, он прильнул к ней губами между перчаткой и рукавом.

— Перестаньте, нас увидят!

— Ну так что же?

Проехав площадь Согласия, они свернули на набережную Конфранс, а потом на набережную Бийи, где в одном из садов заметили кедр. Розанетта думала, что Ливан находится в Китае; она сама засмеялась над своим невежеством и попросила Фредерика давать ей уроки географии. Потом, оставив справа Трокадеро, переехали Иенский мост и наконец остановились среди Марсова поля, рядом с другими экипажами, уже стоявшими перед ипподромом.

Неровную поверхность поля усеял простой люд. Любопытные устроились на балконе Военного училища, а оба павильона за весами для жокеев, две трибуны в кругу и третью против королевской ложи заполнила нарядная публика, которая, судя по манере себя держать, почтительно относилась к этому, еще новому, роду развлечений. Публика скачек, в ту пору более своеобразная, имела и облик менее вульгарный; то были времена штрипок, бархатных воротников и белых перчаток. Дамы в яр-

ких платьях с длинными талиями, расположившиеся на скамейках трибуны, напоминали огромный цветник, на фоне которого темными пятнышками то тут, то там выступали костюмы мужчин. Но все взгляды были направлены на знаменитого алжирца Бу-Маза, невозмутимо сидевшего между двумя офицерами генерального штаба в одной из отдельных лож. Зрители на трибуне Жокей-клуба были сплошь важные господа.

Самые восторженные любители поместились внизу, у скакового круга, обнесенного двумя рядами столбов с протянутыми на них веревками; внутри огромного овала, образуемого ими, орали торговцы напитками, другие продавали программы скачек, третьи — сигары; гул не утихал; взад и вперед сновали полицейские; колокол, висевший на столбе, покрытом цифрами, зазвонил. Появилось пять лошадей, и публика уже заняла свои места.

А меж тем тяжелые тучи задевали своими завитками верхушки вязов. Розанетта боялась дождя.

— Я захватил зонтики, — сказал Фредерик. — Да и всякую всячину, чтобы позабавиться, — проронил он, приподнимая переднее сиденье, под которым была корзинка с закусками.

— Браво! Мы друг друга понимаем!

— И будем еще лучше понимать, не правда ли?

— Возможно! — сказала она, краснея.

Жокеи в шелковых куртках старались выровнять в линию своих лошадей, обеими руками сдерживали их. Кто-то опустил красный флаг. Тогда все пятеро, склонившись над гривами, тронулись. Сперва они шли вровень друг с другом, сплоченным строем; но вскоре цепь удлинилась, перервалась; жокей, на котором был желтый камзол, в середине первого круга чуть было не упал; долгое время Филли и Тиби шли впереди, не отставая друг от друга; потом их догнал Том Пус, но Клабстик, с самого начала шедший сзади, обскакал их всех и пришел первым, опередив сэра Чарльза на два корпуса. Это была неожиданность; в публике кричали; дощатые помосты дрожали от топота ног.

— Тут весело! — сказала Капитанша. — Я люблю тебя, милый!

Фредерик больше не сомневался в успехе; ведь слова Розанетты были подтверждением.

Шагах в ста от него в двухместном кабриолете появилась дама. Она высовывалась, потом быстро откидывалась назад; это повторилось несколько раз; Фредерик не мог разглядеть ее лица. У него мелькнуло подозрение — показалось, что это г-жа Арну. Но нет, не может быть! К чему бы ей приезжать сюда?

Он вышел из экипажа под предлогом, будто хочет посмотреть на весы.

— Вы не слишком-то любезны! — сказала Розанетта.

Он не слушал ее и шел вперед. Кабриолет повернул, лошадь побежала рысью.

В ту же минуту Фредерика перехватил Сизи:

— Здравствуйте, дорогой! Как поживаете? Юссонэ вон там! Послушайте!

Фредерик старался отделаться от него, чтобы нагнать кабриолет. Капитанша знаками приказывала ему вернуться. Сизи ее заметил и пожелал непременно поздороваться с ней.

С тех пор как кончился траур по его бабушке, он воплощал в жизнь свой идеал, стремясь приобрести *особый отпечаток*. Клетчатый жилет, короткий фрак, широкие банты на туфлях и входной билет, засунутый за ленту на шляпе, — действительно, все соответствовало тому, что сам он называл «шиком»; то был шик англomана и мушкетера. Первым делом он стал жаловаться на Марсово поле, отвратительное место для скачек, потом поговорил о скачках в Шантийи и о том, какие там случаются проделки, божился, что может выпить двенадцать бокалов шампанского, пока в полночь часы бьют двенадцать, предлагал Капитанше поставить на лошадь, тихонько гладил болонок; опершись локтем о дверцу экипажа, засунув в рот набалдашник стека, расставив ноги, вытянувшись, он продолжал болтать всякие глупости. Фредерик, стоявший рядом с ним, курил, стараясь определить, куда же делся кабриолет.

Прозвонил колокол, Сизи отошел, к великому удовольствию Розанетты, которой, по ее словам, он очень надоел.

Второй заезд ничем особенным не ознаменовался, третий также, если не считать, что одного жокея унесли на носилках. Четвертый же, в котором восемь лошадей состязались на призе города, оказался более интересным.

Зрители трибун взобрались на скамейки. Прочие, стоя в экипажах и поднеся к глазам бинокли, следили за движением жокеев; а те, точно пятнышки — красные, желтые, белые и синие, — проносились вдоль толпы, окружавшей ипподром. Издали их езда не казалась особенно быстрой; на другом конце Марсова поля она как будто даже становилась еще медленнее, лошади словно скользили, касаясь животами земли и не сгибая вытянутых ног. Но, быстро возвращаясь назад, они вырастали; они рассекали воздух, земля дрожала, летел гравий из-под копыт; камзолы жокеев надувались, точно паруса, от ветра, врывавшегося под них; жокеи ударами хлыста подстегивали лоша-

дей — первыми прийти к фишину, то была цель. На табло одни цифры снимались, выставлялись другие, и победившая лошадь, вся в мыле, с опущенной шеей, еле передвигаясь, не в силах согнуть колени, шла среди рукоплесканий к весам, а наездник в седле, находившийся, казалось, при последнем издыхании, держался за бока.

Последний заезд затянулся из-за какого-то спорного обстоятельства. Скучающая толпа рассеивалась. Мужчины, стоя кучками, разговаривали у подножия трибуны. Речи были вольные; дамы из общества уехали, шокированные присутствием лореток.

Были тут и знаменитости публичных балов, актрисы бульварных театров, — и отнюдь не самым красивым расточалось более всего похвал. Старая Жоржина Обер, та самая, которую один водевилист назвал Людовиком XI от проституции, отчаянно размалеванная, раскинулась в своей длинной коляске, закуталась в куний палантин, как будто была зима, и время от времени издавала звуки, более похожие на хрюканье, чем на смех. Г-жа де Ремуссо, ставшая знаменитостью благодаря своему процессу, восседала в бреке в компании американцев, а Тереза Башлю, наружностью напоминая средневековую мадонну, заполняла своими двенадцатью оборками маленький фаэтон, где вместо фартука была жардиньерка с розами. Капитанша позабывала всему этому великолепию; чтобы обратить на себя внимание, она усиленно стала жестикулировать и заговорила чрезвычайно громко.

Какие-то джентльмены узнали ее и раскланивались с нею. Она отвечала на их поклоны, называя Фредерику их имена. Все это были графы, виконты, герцоги и маркизы, и он уже возгордился, ибо во всех взглядах выражалось своего рода почтение, вызванное его любовной удачей.

Сизи, по-видимому, чувствовал себя не менее счастливым в кругу мужчин зрелого возраста. Эти люди в высоких тугих воротничках улыбались, словно посмеиваясь над ним; наконец он хлопнул по руке самого старшего и направился к Капитанше.

Она с преувеличенной жадностью ела кусок паштета; Фредерик, из послушания, следовал ее примеру, зажав между коленями бутылку вина.

Вновь показался кабриолет, в нем была г-жа Арну. Она страшно побледнела.

— Налей мне шампанского! — сказала Розанетта.

И, как можно выше подняв наполненный бокал, она крикнула:

— Эй вы там, порядочная женщина, супруга моего покровителя, эй!

Кругом раздался смех, кабриолет скрылся. Фредерик дергал Розанетту за платье, он готов был вспылить. Но рядом был Сизи — в той же позе, что раньше; он еще более самоуверенно пригласил Розанетту отобедать с ним нынче вечером.

— Не могу! — ответила Розанетта. — Мы вместе едем в «Английское кафе».

Фредерик молчал, как будто ничего не слышал, и Сизи с разочарованным видом отошел от Капитанши.

Пока он разговаривал с ней, стоя у правой дверцы, слева появился Юссонэ и, услышав про «Английское кафе», подхватил:

— Славное заведение! Не перекусить ли там чего-нибудь, а?

— Как вам угодно, — сказал Фредерик. Забившись в угол кареты, он смотрел, как вдали скрывается кабриолет, и чувствовал, что произошло непоправимое и он утратил великую свою любовь. А другая любовь была тут, возле него, веселая и легкая. Но, усталый, весь во власти стремлений, противоречивших одному другому, он уже даже и не знал, чего ему хотелось, и испытывал беспредельную грусть, желание умереть.

Шум шагов и голосов заставил его поднять голову; мальчишки перепрыгивали через барьер скакового круга, глазели на трибуны; все разъезжались. Упало несколько капель дождя. Скопилось множество экипажей. Юссонэ исчез из виду.

— Ну тем лучше! — сказал Фредерик.

— Предпочитаем быть одни? — спросила Капитанша и положила ладонь на его руку.

В эту минуту мимо них проехало, сверкая медью и сталью, великолепное ландо, запряженное четверкой цугом, с двумя жокеями в бархатных куртках, обшитых золотой бахромой. Г-жа Дамбрёз сидела рядом со своим мужем, а на скамеечке против них помещался Мартинон; лица у всех троих выражали удивление.

«Они меня узнали!» — подумал Фредерик.

Розанетта требовала, чтобы остановились, — ей хотелось лучше видеть разъезд. Но ведь опять могла появиться г-жа Арну. Он крикнул кучеру:

— Поезжай! Поезжай! Скорей!

И карета понеслась к Елисейским полям вместе с другими экипажами, колясками, бричками, английскими линейками, каретами, запряженными цугом, тильбюри, фургонами, где за кожаными занавесками хором распевали подвыпившие мастера, одноконными каретами, которыми осторожно правили отцы

семейств. Из битком набитой открытой коляски свешивались ноги какого-нибудь мальчика, сидевшего у других на коленях. В больших каретах с обитыми сукном сиденьями дремали вдовы; или вдруг проносился великолепно рысак, впряженный в пролетку, простую и элегантную, как черный фрак денди. Дождь между тем усиливался. Появлялись зонты, омбrello, макинтоши; едущие перекликались издали: «Здравствуйте!» — «Как себя чувствуете?» — «Да!» — «Нет!» — «До свиданья!» — и лица следовали одно за другим с быстротой китайских теней. Фредерик и Розанетта молчали, ошеломленные этим множеством колес, вертящихся подле них.

Временами вереницы экипажей, прижатых один к другому, останавливались в несколько рядов. Тогда едущие, пользуясь тем, что оказались в соседстве, рассматривали друг друга. Из экипажей, украшенных гербами, на толпу падали равнодушные взгляды; седоки фиакров смотрели глазами, полными зависти; презрительные улыбки служили ответом на горделивые кивки; широко разинутые рты выражали глупое восхищение; то тут, то там какой-нибудь праздничношатающийся, очутившись посреди проезда, одним прыжком отскакивал назад, чтобы спастись от всадника, гарцевавшего среди экипажей и, наконец, выбравшегося из этой тесноты. Потом все опять приходило в движение; кучера отпускали вожжи, вытягивались их длинные бичи; возбужденные лошади встряхивали уздечками, брызгали пеной вокруг себя, а лучи заходящего солнца пронизывали пар, подымавшийся от влажных круп и грив. Под Триумфальной аркой лучи эти удлинялись, превращаясь в рыжеватый столб, от которого сыпались искры на спицы колес, на ручки дверец, концы дышл, кольца седелок, а по обе стороны широкого проезда, напоминающего поток, где колышутся гривы, одежды, человеческие головы, двумя зелеными стенами возвышались деревья, блистающие от дождя. Местами опять показывалось голубое небо, нежное, как атлас.

Тут Фредерику вспомнились те давно прошедшие дни, когда он завидовал невыразимому счастью — сидеть в одном из таких экипажей рядом с одной из таких женщин. Теперь к нему пришло это счастье, но большой радости от него не было.

Дождь перестал. Прохожие, укрывшиеся под колоннадой морского министерства, уходили оттуда. Гуляющие возвращались по Королевской улице в сторону бульвара. На ступеньках перед министерством иностранных дел стояли зеваки.

У Китайских бань, где в мостовой были выбоины, карета замедлила ход. По краю тротуара шел человек в гороховом

пальто. Грязь, брызгавшая из-под колес, залила ему спину. Человек в ярости обернулся. Фредерик побледнел: он узнал Делорье.

Выйдя у «Английского кафе», он отослал экипаж. Розанетта пошла вперед, пока он расплачивался с кучером.

Ее он нагнал на лестнице, где она разговаривала с каким-то мужчиной. Фредерик взял ее под руку. Но посередине коридора ее остановил другой господин.

— Да ты иди! — сказала она. — Я сейчас!

И он один вошел в отдельный кабинет. Оба окна были распахнуты, а в окнах домов на противоположной стороне улицы видны были люди. Асфальт, подсыхая, переливал муаром; магнолия, поставленная на краю балкона, наполняла комнату ароматом. Это благоухание и эта свежесть успокоили его нервы; он опустился на красный диван под зеркалом.

Вошла Капитанша и, целуя его в лоб, спросила:

— Бедняжке взгрустнулось?

— Может статься! — ответил он.

— Ну, не тебе одному! — Это должно было означать: «Забудем каждый наши печали и насладимся счастьем вдвоем».

Потом она взяла в губы лепесток цветка и потянулась к нему, чтобы он ее поцеловал. Этот жест, полный сладострастной прелести и почти нежности, умилил Фредерика.

— Зачем ты мне делаешь больно? — спросил он, думая о г-же Арну.

— Делаю больно? Я?

И, став перед ним, положив ему руки на плечи, она посмотрела на него прищуренными глазами.

Вся его добродетельность, вся его злоба потонули в безграничном безволии.

Он продолжал:

— Ведь ты не хочешь меня любить! — и притянул ее к себе на колени.

Она не сопротивлялась; он обеими руками обнял ее за талию; слыша, как шелестит шелк ее платья, он все более возбуждался.

— Где они? — произнес в коридоре голос Юссонэ.

Капитанша порывисто встала и, пройдя на другой конец комнаты, спиной повернулась к двери.

Она потребовала устриц; сели за стол.

Юссонэ уже не был забавен. Вынужденный каждый день писать на всевозможные темы, читать множество газет, выслушивать множество споров и говорить парадоксами, чтобы пус-

коть пыль в глаза, он в конце концов утратил верное представление о вещах, ослепляясь тусклым блеском собственных острот. Заботы жизни, некогда легкой, но теперь трудной, держали его в непрестанном волнении, а бессилие, в котором он не хотел сознаться, делало его ворчливым, саркастическим. По поводу «Озай», нового балета, он жестоко ополчился на танцы, а по поводу танцев — на оперу; потом, по поводу оперы, — на итальянцев, которых теперь заменила труппа испанских актеров, «как будто нам еще не надоела Кастилия»! Фредерик был оскорблен в своей романтической любви к Испании и, чтобы прервать этот разговор, спросил о Французском коллеже, откуда только что были исключены Эдгар Кине и Мицкевич. Но Юссонэ, поклонник г-на де Местра, объявил себя приверженцем правительства и спиритуализма. При этом он сомневался в фактах самых достоверных, отрицал историю и оспаривал вещи, менее всего подлежавшие сомнению, вплоть до того, что, услышав слово «геометрия», воскликнул: «Вот еще ерунда — ваша геометрия!» И тут же принимался подражать разным актерам. Главным его образцом был Сенвиль.

Все это паясничанье отчаянно надоело Фредерику. Нетерпеливо ерзая на стуле, он под столом задел ногой одну из болонок. Те залились несносным лаем.

— Вы бы отослали их домой! — сказал он резко.

Розанетта никому не решилась бы их доверить.

Тогда он обратился к журналисту:

— Ну, Юссонэ, принесите себя в жертву!

— Ах, да, дорогой! Это было бы так мило!

Юссонэ отправился, не заставив себя просить.

Как отблагодарить его за такую любезность? Фредерик об этом и не подумал. Он даже начинал радоваться тому, что они остаются вдвоем, как вдруг вошел лакей.

— Сударыня, вас кто-то спрашивает.

— Как! Опять?

— Надо мне все-таки пойти взглянуть! — сказала Розанетта.

Он жаждал ее, она была нужна ему. Ее исчезновение казалось ему вероломством, почти что подлостью. Чего она хочет? Разве мало того, что она оскорбила г-жу Арну? Впрочем, тем хуже для той. Теперь он ненавидел всех женщин. И слезы его душили: его любовь не нашла ответа, а желания были обмануты.

Капитанша вернулась и, представляя ему Сизи, сказала:

— Я его пригласила. Не правда ли, я хорошо сделала?

— Еще бы! Конечно! — И Фредерик с улыбкой мученика попросил аристократа присесть.

Капитанша стала просматривать меню, останавливаясь на причудливых названиях.

— Что, если бы нам съесть тюрбан из кролика а ля Ришелье и пудинг по-орлеански?

— О нет! Только не по-орлеански! — воскликнул Сизи, который принадлежал к легитимистам и думал сострить.

— Вы предпочитаете тюрбан а ля Шамбор?

Такая угодливость возмутила Фредерика.

Капитанша решила взять простое филе, раков, трюфели, салат из ананаса, ванильный шербет.

— А там видно будет. Пока ступайте... Да, совсем забыла! Принесите мне колбасы. Без чеснока.

Она называла лакея «молодым человеком», стучала ножом по стакану, швыряла в потолок хлебные шарики. Она пожелала тотчас же выпить бургонского.

— Пить перед едой не принято, — заметил Фредерик.

По мнению виконта, это иногда делается.

— О нет! Никогда!

— Уверяю вас, что делается!

— Ага! Вот видишь!

Она сопровождала свои слова взглядом, означавшим: «Он человек богатый, так слушайся его!»

Между тем дверь ежеминутно открывалась, лакеи бранились, а в соседнем кабинете кто-то барабанил вальс на адском пианино. Разговор со скачек перешел на искусство верховой езды вообще и на две противоположные ее системы. Сизи защищал Боше, Фредерик — графа д'Ор. Розанетта наконец пожала плечами:

— Ах, боже мой! Довольно! Он лучше тебя знает в этом толк, поверь!

Она кусала гранат, облокотившись на стол; пламя свечей в канделябрах дрожало перед нею от ветра; яркий свет пронизывал ее кожу переливами перламутра, румянил ее веки, зажигал блеск в ее глазах; багрянец плода сливался с пурпуром ее губ, тонкие ноздри вздрагивали; во всем ее облике выступало что-то дерзкое, пьяное и распутное; это раздражало Фредерика и в то же время зажигало в его сердце безумное желание.

Затем она спокойно спросила, кому принадлежит вон то большое ландо с лакеем в коричневой ливрее.

— Графине Дамбрёз, — ответил Сизи.

— А они очень богаты, да?

— О! Чрезвычайно богаты! Хотя у госпожи Дамбрёз,— она всего-навсего урожденная Бутрон, дочка префекта,— состояние небольшое.

Муж ее, напротив, получил, как говорят, несколько наследств. Сизи перечислил, от кого и сколько; бывая у Дамбрёзов, он хорошо знал их историю.

Фредерик, желая сделать неприятность Сизи, упорно ему противоречил. Он утверждал, что г-жа Дамбрёз — урожденная де Бутрон, упирал на ее дворянское происхождение.

— Не все ли равно! Мне бы хотелось иметь ее коляску! — сказала Капитанша, откидываясь в кресле.

Рукав ее платья немного отвернулся, и на левой руке они увидели браслет с тремя опалами.

Фредерик заметил его.

— Пойдите! Что это...

Все трое переглянулись и покраснели.

Дверь осторожно приоткрылась, показались сперва поля шляпы, а затем и профиль Юссонэ.

— Простите, я помешал вам, влюбленная парочка!

Он остановился, удивясь, что видит Сизи и что Сизи занял его место.

Подали еще один прибор. Юссонэ был очень голоден и потому наудачу хватал остатки обеда, мясо с блюда, фрукты из корзины, держал в одной руке стакан, в другой — вилку и рассказывал в то же время, как он выполнил поручение. Собачки доставлены в целости и сохранности. Дома ничего нового. Кухарку он застал с солдатом, — этот эпизод Юссонэ сочинил единственно с тем, чтобы произвести эффект.

Капитанша сняла с вешалки свою шляпу. Фредерик бросился к звонку и еще издали крикнул слуге:

— Карету!

— У меня есть карета, — сказал виконт.

— Помилуйте, сударь!

— Позвольте, сударь!

И они уставились друг на друга; оба были бледны, и руки у них дрожали.

Капитанша наконец пошла под руку с Сизи и, указывая на занятого едой Юссонэ, проговорила:

— Уж позаботьтесь о нем — он может подавиться. Мне бы не хотелось, чтобы его преданность моим моськам погубила его!

Дверь захлопнулась.

— Ну? — сказал Юссонэ.

— Что — ну?

— Я думал...

— Что же вы думали?

— Разве вы не...

Фразу свою он дополнил жестом.

— Да нет! Никогда в жизни!

Юссонэ не настаивал.

Напрашиваясь обедать, он задавался особой целью. Так как его газета, называвшаяся теперь не «Искусство», а «Всесельчак», с эпиграфом: «Канониры, по местам!» — отнюдь не процветала, то ему хотелось превратить ее в еженедельное обозрение, которое он издавал бы сам, без помощи Делорье. Он заговорил о своем старом проекте и изложил новый план.

Фредерик, не понимавший, вероятно, в чем дело, отвечал невпопад, Юссонэ схватил со стола несколько сигар, сказал: «Прощай, дружище», — и скрылся.

Фредерик потребовал счет. Счет был длинный, а пока гарсон с салфеткой под мышкой ожидал уплаты, подошел второй — бледный субъект, похожий на Мартинона, и сообщил:

— Прошу прощения, забыли внести в счет фиакр.

— Какой фиакр?

— Тот, что отвозил барина с собачками.

И лицо гарсона вытянулось, как будто ему жаль было бедного молодого человека. Фредерику захотелось дать ему пощечину. Он оставил ему на водку двадцать пять франков сдачи, которые ему хотели возвратить.

— Благодарю, ваша светлость! — сказал человек с салфеткой, низко кланяясь.

Весь следующий день Фредерик предавался гневу и мыслям о своем унижении. Он упрекал себя, что не дал пощечины Сизи. А с Капитаншей он клялся больше не встречаться; в других столь же красивых женщинах не будет недостатка; а так как для того, чтобы обладать ими, нужны деньги, он продаст свою ферму, будет играть на бирже, разбогатеет, своею роскошью сразит Капитаншу, да и весь свет. Когда настал вечер, его удивило, что он не думал о г-же Арну.

«Тем лучше! Что в этом толку?»

На третий день, уже в восемь часов, его посетил Пеллерен. Он начал с похвал обстановке, с любезностей. Потом вдруг спросил:

— Вы были в воскресенье на скачках?

— Увы, да!

Тогда художник начал возмущаться английскими лошадьми, восхвалять лошадей Жерико, коней Парфенона.

— С вами была Розанетта?

И он ловко начал расхваливать ее.

Холодность Фредерика его смутила. Он не знал, как заговорить о портрете.

Его первоначальное намерение было написать портрет в манере Тициана. Но мало-помалу его соблазнил богатый колорит модели, и он дал себе полную волю, накладывая слой за слоем, нагромождая пятна света. Сперва Розанетта была в восторге; ее свидания с Дельмаром прервали эти сеансы и дали Пеллерену полный досуг восхищаться самим собой. Затем, когда восхищение улеглось, он спросил себя, достаточно ли величия в его картине. Он сходил посмотреть на полотна Тициана, понял разницу, признал свое заблуждение и стал отделявать контуры; потом он пытался, ослабив их, слить, сблизить тона головы и фон картины, и лицо стало отчетливее, тени внушительнее, во всем появилась бóльшая твердость. Наконец Капитанша снова пришла. Она даже позволила себе делать замечания. Художник, разумеется, стоял на своем. Он приходил в бешенство от ее глупости, но потом сказал себе, что, может быть, она и права. Тогда началась эра сомнений, судорог мысли, которые вызывают спазмы в желудке, бессонницу, лихорадку, отвращение к самому себе; у него хватило мужества подправить картину, но делал он это неохотно, чувствуя, что работа его неудачна.

Жаловался он только на то, что картину отказались принять на выставку, затем упрекнул Фредерика в том, что он не зашел взглянуть на портрет Капитанши.

— Какое мне дело до Капитанши!

Эти слова придали смелости Пеллерену.

— Представьте, теперь этой дуре портрет больше не нужен!

Он не сказал, что потребовал с нее тысячу экю. А Капитанша не заботилась о том, кто заплатит, и, предпочитая получать от Арну вещи более необходимые, даже ничего не говорила ему о портрете.

— А что же Арну? — спросил Фредерик.

Она уже направляла к нему Пеллерена. Бывшему торговцу картинами портрет оказался ни к чему.

— Он утверждает, что эта вещь принадлежит Розанетте.

— Действительно, это ее собственность.

— Как! А она прислала меня к вам, — ответил Пеллерен.

Если бы он верил в совершенство своего произведения, то, быть может, и не подумал бы о том, чтобы извлечь из него

ыгоду. Но известная сумма (притом сумма значительная) могла бы явиться опровержением критиков, подспорьем для него. Чтобы отделаться, Фредерик вежливо спросил его о цене.

Чудовищность цифры возмутила его; он ответил:

— О нет, нет!

— Но ведь вы ее любовник, вы заказали мне картину!

— Позвольте, я был посредником!

— Но не может же портрет остаться у меня на руках!

Художник пришел в бешенство.

— О, я не думал, что вы такой жадный!

— А я не думал, что вы такой скупой! Слуга покорный!

Не успел он уйти, как явился Сенекаль.

Фредерик смутился, встревожился.

— Что случилось?

Сенекаль рассказал ему свою историю:

— В субботу, часов в девять, госпожа Арну получила письмо, ее звали в Париж. Случайно не оказалось никого, кто мог бы отправиться в Крейль за экипажем, и она вздумала послать меня. Я отказался, потому что это не входит в мои обязанности. Она уехала и вернулась в воскресенье вечером. Вдруг вчера утром на фабрике появляется Арну. Бордоска ему нажаловалась. Не знаю, что там у них такое, но он при всех сложил с нее штраф. У нас произошел крупный разговор. Словом, он меня рассчитал — вот и все! — Потом он отдельно проговорил: — Впрочем, я не раскаиваюсь — я исполнил свой долг. Но все равно, это ваша вина.

— Каким образом? — воскликнул Фредерик, опасаясь, как бы Сенекаль не догадался.

Сенекаль, очевидно, ни о чем не догадывался, так как продолжал:

— Да, если бы не вы, я, быть может, нашел бы что-нибудь получше.

Фредерик почувствовал нечто похожее на угрызения совести.

— Чем я теперь могу быть вам полезен?

Сенекаль просил устроить ему какое-нибудь занятие, какое-нибудь место.

— Вам это легко. У вас столько знакомых, в их числе и господин Дамбрёз, как мне говорил Делорье.

Другу Делорье упоминание о нем было неприятно. А после встречи на Марсовом поле он вовсе не собирался посещать Дамбрёзов.



Воспитание чувств

— Я недостаточно с ними близок, чтобы кого-нибудь рекомендовать им.

Демократ стойчески перенес этот отказ и, помолчав минуту, сказал:

— Я уверен, всему причиной — бордоска, да еще ваша госпожа Арну.

Это «ваша» убило в сердце Фредерика всякое желание ему помочь. Однако, из деликатности, он взял ключ от своего бюро.

Сенекаль предупредил его:

— Благодарю вас!

Затем, забывая о своих невзгодах, он стал говорить о государственных делах, об орденах, которые щедро раздавались в день рождения короля, о смене кабинета, о делах Друайяра и Бенье, наделавших в то время много шума, повозмущался буржуазией и предрек революцию.

Его взгляды привлек висевший на стене японский кинжал. Он взял его в руку, потрогал рукоятку, потом брезгливо бросил на диван.

— Ну, прощайте! Мне пора к Лоретской богоматери.

— Вот как! Почему же это?

— Сегодня годовщина смерти Годфруа Кавеньяка. Он-то умер на посту! Но не все еще кончено! Посмотрим!

И Сенекаль бодро протянул ему руку.

— Мы не увидимся, быть может, никогда. Прощайте!

Это дважды повторенное «прощайте», взгляд из-под насупленной бровей, брошенный на кинжал, эта покорность судьбе и, главное, эта торжественность настроили Фредерика на мечтательный лад. Вскоре он перестал думать о Сенекале.

На той же неделе его гаврский нотариус прислал ему деньги, вырученные от продажи фермы: сто семьдесят четыре тысячи франков. Он разделил сумму на две части: одну положил в банк, другую отнес биржевому маклеру, чтобы начать игру на бирже.

Он обедал в модных ресторанах, посещал театры и старался развлекаться. Среди таких занятий его застало письмо Юссонэ, весело сообщавшего ему, что Капитанша на другой же день после скачек оставила Сизи. Это обрадовало Фредерика, который не стал задумываться, почему Юссонэ пишет ему об этом обстоятельстве.

Через три дня случай привел его встретиться с Сизи. Молодой дворянин проявил полное самообладание и даже пригласил его обедать в среду на следующей неделе.

Утром того дня Фредерик получил от судебного пристава бумагу, которой г-н Шарль-Жан-Батист Удри извещал его, что, согласно определению суда, он является собственником имения, находящегося в Бельвиле и принадлежавшего г-ну Жаку Арну, и что он готов уплатить двести двадцать три тысячи франков — стоимость имения. Но из того же уведомления явствовало, что, так как сумма, за которую заложено было имение, превышает его стоимость, долговое обязательство, данное Фредерику, утрачивает всякую силу.

Вся беда случилась оттого, что в свое время срок действия векселя не был продлен. Арну взялся сделать это и забыл. Фредерик рассердился на него, а когда гнев прошел, сказал себе: «Ну, чего уж там... Что из того? Если это может его спасти, тем лучше! Я от этого не умру! Не стоит и думать об этом!»

Но вот, разбирая бумаги у себя на столе, он опять наткнулся на письмо Юссонэ и обратил внимание на постскрипtum, которого в первый раз не заметил. Журналист просил пять тысяч франков, не больше и не меньше, чтобы наладить дела газеты.

— Ах! И надоел же он!

И он послал Юссонэ лаконическую записку с резким отказом, после чего стал одеваться, чтобы ехать на обед в «Золотой дом».

Сизи представил ему своих гостей, начав с самого почтенного — толстого седовласого господина:

— Маркиз Жильбер дез Онэ, мой крестный отец. Господин Ансельм де Форшамбо, — сказал он о другом госте (то был белокурый и хилый молодой человек, уже лысый), затем он указал на мужчину лет сорока, державшего себя просто: — Жозеф Боффре, мой двоюродный брат, а вот мой старый наставник, господин Везу. — Это был человек, похожий не то на ломового извозчика, не то на семинариста, с большими бакенбардами и в длинном сюртуке, застегнутом внизу на одну только пуговицу, так что на груди он запахивался шалью.

Сизи ожидал еще одно лицо — барона де Комена, который, «может быть, будет, но не наверно». Он каждую минуту выходил, казался взволнованным. Наконец в восемь часов все перешли в залу, великолепно освещенную и слишком просторную для такого числа гостей. Сизи выбрал ее нарочно для большей торжественности.

Ваза позолоченного серебра, в которой были и цветы и фрукты, занимала середину стола, уставленного, по старинному французскому обычаю, серебряными блюдами; их окаймляли

небольшие блюда с солениями и пряностями; на известном расстоянии друг от друга возвышались кувшины с замороженным розовым вином, пять бокалов разной высоты стояли перед каждым прибором, снабженным множеством каких-то замысловатых приспособлений для еды, назначение которых было неизвестно. И уже на первую перемену были поданы: осетровая головизна в шампанском, йоркская ветчина на токайском, дрозды в сухарях, жареные перепелки, волован под бешемелью, соте из красных куропаток и картофельный салат с трюфелями, с двух сторон замыкавший скопление этих яств. Люстра и жирандоли освещали залу, стены были обтянуты красным шелком. За креслами, обитыми сафьяном, стояли четыре лакея во фраках. Увидя это зрелище, гости не могли удержаться от возгласа восхищения, в особенности наставник.

— Право, наш амфитрион совсем забыл о благоразумии. Это слишком!

— Что вы! — сказал виконт де Сизи. — Пустяки! — И, проглотив первую ложку, начал: — Ну что же, дорогой мой дез Онэ, смотрели вы в Пале-Рояле «Отца и дворника»?

— Ты же знаешь, что у меня нет времени! — ответил маркиз.

По утрам он был занят, так как слушал курс лесоводства, вечером посещал сельскохозяйственный клуб, а днем изучал на заводах производство земледельческих машин. Проводя три четверти года в Сентонже, он пользовался пребыванием в столице для пополнения своих знаний, и его широкополая шляпа, которую он положил на консоль, была полна брошюр.

Сизи заметил, что г-н де Форшамбо отказывается от вина.

— Пейте же, право! Сплоховали вы на вашем последнем холостом обеде!

Услышав это, все раскланялись, стали его поздравлять.

— А юная особа, — сказал наставник, — очаровательна, не правда ли?

— Еще бы! — воскликнул Сизи. — Как бы то ни было, он не прав: жениться — это так глупо!

— Ты судишь легкомысленно, друг мой, — возразил г-н дез Онэ, в глазах которого появились слезы, ибо он вспомнил свою покойницу.

А Форшамбо, посмеиваясь, несколько раз кряду повторил:

— Сами тем же кончите! Вот увидите!

Сизи не соглашался. Он предпочитал развлекаться, вести образ жизни «во вкусе Регентства». Он хотел изучить приемы

драки, чтобы посещать кабаки Старого города, как принц Родольф в «Парижских тайнах»; извлек из кармана короткую трубку, был груб с прислугой, пил чрезвычайно много и, чтобы внушить высокое мнение о себе, бранил все кушанья; трюфели он даже велел унести, и наставник, наслаждавшийся ими, сказал, чтобы ему угодить:

— Да, это не то, что яйца в сабайоне, которые готовили у вашей бабушки!

И он возобновил разговор со своим соседом-агрономом, который считал, что жизнь в деревне имеет много преимуществ, позволяя ему, например, воспитывать в своих дочерях любовь к простоте. Наставник приветствовал такие взгляды и грубо льстил ему, думая, что тот имеет влияние на его воспитанника, к которому ему втайне хотелось попасть в управители.

Фредерик, явившись сюда, был зол на Сизи; глупость виконта его обезоружила. А жесты Сизи, его лицо — все в нем напоминало Фредерику обед в «Английском кафе», все сильнее раздражало его, и он прислушивался к нелюбезным замечаниям, которые вполголоса делал кузен Жозеф, добрый малый без всякого состояния, страстный охотник и биржевой игрок. Сизи в шутку несколько раз назвал его плутом; потом вдруг воскликнул:

— А, вот и барон!

Вошел мужчина лет тридцати; в лице его было что-то грубое, в движениях какое-то проворство; шляпу он носил набекрень, а в петлице у него красовался цветок. То был идеал виконта. В восторге от такого гостя, вдохновленный его присутствием, Сизи решился сказать каламбур по поводу глухаря, которого как раз подавали:

— Вот глухарь — он глух, но не глуп!

Сизи забросал г-на де Комена вопросами о разных лицах, не известных остальным гостям; наконец, словно вспомнив что-то, спросил:

— А скажите, вы подумали обо мне?

Тот пожал плечами:

— Рано вам, малыш! Нельзя!

Сизи просил г-на де Комена ввести его в свой клуб. Барон, сжалившись, очевидно, над его самолюбием, сказал:

— Ах, чуть не забыл! Поздравляю, дорогой мой: вы ведь выиграли пари!

— Какое пари?

— А там, на скачках, вы утверждали, что в тот же вечер будете у этой дамы.

Фредерик испытал такое чувство, словно его хлестнули бичом. Но он сразу же успокоился, увидев смущенное лицо Сизи.

Действительно, уже на другой день, как только появился Арну, прежний ее любовник, *ее* Арну,— Капитанша стала раскаиваться. Они с Арну дали понять виконту, что тот лишний, и выставили вон, нимало не церемонясь.

Он сделал вид, что не расслышал. Барон прибавил:

— Что поделявает милейшая Роза? По-прежнему у нее такие красивые ножки? — Этими словами он хотел показать, что был с нею в близких отношениях.

Фредерика обозлило это открытие.

— Тут нечего краснеть,— продолжал барон.— Оно не плохо!

Сизи щелкнул языком.

— Э, не так уж и хорошо!

— Вот как?

— Ну да, право же! Во-первых, я не вижу в ней ничего особенного, а потом ведь таких, как она, можно найти сколько угодно. Ведь как-никак это... товар!

— Не для всех! — раздраженно возразил Фредерик.

— Ему кажется, что он не как все! — сказал Сизи.— Вот шутник-то!

Гости засмеялись.

У Фредерика сердце так билось, что он задыхался. Он выпил залпом два стакана воды.

Но у барона сохранились приятные воспоминания о Розанетте.

— Она по-прежнему с неким Арну?

— Ничего не могу сказать,— ответил Сизи.— Я не знаю этого господина!

Тем не менее он стал утверждать, что Арну мошенник.

— Позвольте! — крикнул Фредерик.

— Однако это несомненно! У него даже был процесс!

— Неправда!

Фредерик вступился за Арну. Он ручался за его честность, даже сам поверил в нее, придумывал цифры, доказательства. Виконт, обозленный и к тому же пьяный, упрямылся, и Фредерик строго спросил его:

— Вы, сударь, хотите меня оскорбить.

И взгляд, брошенный им на виконта, был жгуч, как кончик его сигары.

— О, ничуть! Я даже согласен, что у него есть нечто весьма хорошее: его жена.

— Вы ее знаете?

— Еще бы! Софи Арну — кто ее не знает!

— Как вы сказали?

Сизи поднялся и, запинаясь, повторил:

— Кто ее не знает!

— Замолчите! Она не из тех, у кого вы бываете!

— Надеюсь!

Фредерик швырнул ему в лицо тарелку.

Она молнией пролетела над столом, повалила две бутылки, разбила салатник, раскололась на три куска, ударившись о серебряную вазу, и угодила виконту в живот.

Все вскочили, чтобы удержать его. Он отбивался, кричал, был в ярости. Г-н дез Онэ твердил:

— Успокойтесь! Ну полно, дитя мое!

— Но это же ужасно! — вопил наставник.

Форшамбо был бледен как полотно и дрожал; Жозеф громко хохотал; лакеи вытирали вино, подымали с пола осколки, а барон затворил окно, потому что, несмотря на стук экипажей, шум могли услышать и на бульваре.

В ту минуту, когда Фредерик бросил тарелку, все говорили разом; поэтому оказалось невозможным определить, что дало повод к оскорблению, кто был причиной — сам ли Арну или г-жа Арну, Розанетта или еще кто-нибудь другой. Несомненно было одно — ни с чем не сравнимая грубость Фредерика: он решительно отказался выразить малейшее раскаяние.

Господин дез Онэ попытался смягчить его, кузен Жозеф также; о том же старались наставник и даже Форшамбо. Барон тем временем успокаивал Сизи, который проливал слезы, ослабев от нервного потрясения. Раздражение Фредерика, напротив, все усиливалось, и дело, может быть, осталось бы в том же положении до самого утра, если бы барон не сказал, чтобы положить этому конец:

— Милостивый государь, виконт пришлет к вам завтра своих секундантов.

— В котором часу?

— В полдень, если разрешите.

— К вашим услугам, милостивый государь.

Очутившись на улице, Фредерик вздохнул полной грудью. Слишком уж долго он сдерживался: наконец-то он дал себе волю! Он чувствовал какую-то мужественную гордость, наплыв внутренней силы, которая опьяняла его. Ему требовались два секунданта. Первый, о ком он подумал, был Режембар, и он тотчас же направился в известный ему кабачок на улице Сен-Дени.

Ставни были закрыты. Но в окошке над дверью блестел свет. Дверь открылась, и он вошел, низко наклонив голову, чтобы пройти под навесом.

В пустом помещении горела свечка, поставленная на прилавок у самого края. Все табуреты, ножками вверх, стояли на столах. Хозяйка и слуга ужинали в углу, у двери в кухню, и Режембар, сидевший в шляпе, разделял их трапезу и даже слегка стеснял слугу, который при каждом глотке принужден был поворачиваться боком к столу. Фредерик коротко рассказал Режембару, в чем дело, и объяснил свою просьбу. Гражданин сперва ничего не ответил; он вращал глазами, как будто раздумывал, несколько раз обошел комнату и наконец сказал:

— Да, с удовольствием!

И кровожадная улыбка блеснула на его лице, сгладила морщины, когда он узнал, что противник — аристократ.

— Уж мы не дадим ему спуску, будьте спокойны! Во-первых, дуэль на шпагах...

— Но, может быть, — заметил Фредерик, — я не имею права...

— Говорю вам — надо драться на шпагах! — резко возразил Гражданин. — Умеете вы фехтовать?

— Немножко.

— А-а, немножко! Все они таковы! А еще рвутся в бой! Будто их чему-нибудь научили какие-то уроки фехтования! Слушайте же: держитесь подальше от противника, закрывайте круг и отступайте, отступайте! Это разрешается. Утомляйте его! Потом бросайтесь на него совершенно открыто. А главное — никаких хитростей, никаких ударов во вкусе Ла Фужера! Нет, просто раз-два, отбой. Вот смотрите! Надо поворачивать кисть, как будто вы отпираете ключом... Дядюшка Вотье, дайте-ка вашу трость! Ага! Вот это мне и нужно.

Он схватил палку, с помощью которой зажигали газ, округлил правую руку, согнул левую в локте и стал наносить удары стене. Он притоптывал ногой, оживился, даже делал вид, будто встречает препятствия, кричал: «Попался, а? Попался?» — и на стене вырисовывался его огромный силуэт, а шляпа словно касалась потолка. Хозяин время от времени приговаривал: «Браво! Прекрасно!» Супруга его, хоть и была взволнована, тоже восхищалась, а Теодор, бывший солдат, к тому же ярый поклонник г-на Режембара, от изумления прирос к полу.

На следующий день рано утром Фредерик поспешил в магазин — место службы Дюссардьё. Миновав ряд помещений, где полно было материй, сложенных на полках или выставленных

на прилавках, а на деревянных подставках в виде грибов развешаны были шали, он обнаружил Дюссардые в какой-то клетке, за решеткой, среди счетных книг: он писал, стоя за конторкой. Славный малый тотчас же бросил свои дела.

Секунданты прибыли ровно в двенадцать. Фредерик счел более приличным не присутствовать при переговорах.

Барон и г-н Жозеф заявили, что их удовлетворит самое простое извинение. Но Режембар, державшийся правила никогда не уступать и считавший своим долгом защищать честь Арну (Фредерик ни о чем другом ему не говорил), потребовал, чтобы извинения принес виконт. Г-н де Комен был возмущен такой наглостью. Гражданин не желал идти на уступки. Примирение становилось совершенно невозможным, и дуэль была решена.

Возникли новые затруднения, так как по правилам выбор оружия принадлежал оскорбленному Сизи. Но Режембар утверждал, что, посылая вызов, он тем самым выступает как оскорбитель. Секунданты Сизи возмутились: ведь пощечина как-никак жесточайшее оскорбление. Но Гражданин, придравшись к словам, возразил, что удар не пощечина. Наконец решено было обратиться к военным, и все четыре секунданта ушли, чтобы где-нибудь в казармах посоветоваться с офицерами.

Они остановились у казармы на набережной Орсэ. Г-н де Комен обратился к двум капитанам и изложил им предмет спора.

Капитаны сперва ничего не поняли, так как замечания, которые вставлял Гражданин, только запутывали дело. В конце концов они предложили секундантам составить протокол, прочитав который они смогут вынести решение. Тогда перешли в кафе. Ради большей осторожности Сизи в протоколе обозначили буквою Г., а Фредерика — буквой К.

Потом вернулись в казарму. Офицеров не было. Но скоро они показались и объявили, что выбор оружия, несомненно, принадлежит г-ну Г. Все отправились к Сизи. Режембар и Дюссардые остались на улице.

Виконт, узнав об этом решении, так взволновался, что несколько раз заставил повторить его, а когда г-н де Комен заговорил о требованиях Режембара, он пролепетал: «Однако же...» — втайне склоняясь к тому, чтобы согласиться на них. Потом он рухнул в кресло и заявил, что драться не будет.

— Как? Что? — спросил барон.

И тут из уст Сизи полился беспорядочный поток слов. Он хотел стрелять в упор, через платок, и чтобы был один пистолет,

— Или пусть в стакан насыплют мышьяку и бросят жребий. Это иногда делается, я читал!

Барон, человек нрава не особенно терпеливого, принял более резкий тон:

— Господа секунданты ждут вашего ответа. Это неприлично, в конце концов! Что вы выбираете? Ну! Шпагу, что ли?

Виконт кивнул головой, что означало «да», и дуэль была назначена на следующее утро, ровно в семь часов у заставы Майо.

Дюссардые был вынужден вернуться к себе в магазин; сообщить обо всем Фредерику пошел Режембар.

Фредерик целый день оставался без вестей; его нетерпение перешло всякие пределы.

— Тем лучше! — воскликнул он.

Гражданин был доволен его самообладанием.

— От нас требовали извинений, вообразите! Пустяк, одно какое-нибудь словечко! Но я им показал! Ведь я так и должен был поступить, не правда ли?

— Разумеется, — сказал Фредерик и подумал, что лучше было бы пригласить другого секунданта.

Потом, уже оставшись один, он несколько раз повторил вслух:

— Я буду драться на дуэли. Да, я буду драться! Странно!

Расхаживая по комнате и очутившись перед зеркалом, он заметил, что лицо у него бледное.

«Уж не трушу ли я?»

Страшное беспокойство овладело им при мысли, что на дуэли он оробеет.

«А если убьют, что тогда? Мой отец тоже погиб на дуэли. Да, меня убьют!»

И вдруг ему представилась мать в трауре; бессвязные образы замелькали у него в голове. Он пришел в отчаяние от своего малодушия. И его обуял порыв храбрости, охватила жажда истребления. Он не отступил бы перед целым батальоном. Когда возбуждение улеглось, он с радостью почувствовал, что непоколебим. Чтобы рассеяться, он пошел в театр, где давали балет, слушал музыку, поглядел на танцовщиц, а в антракте выпил стакан пунша. Но, вернувшись домой и увидев свой кабинет, обстановку, среди которой находился, быть может, в последний раз, ощутил какую-то слабость.

Он спустился в свой садик. Сверкали звезды; он предался их созерцанию. Мысль, что он будет драться за женщину, воз-

вышала, облагораживала его в собственных глазах. И он спокойно лег спать.

Иначе вел себя Сизи. Когда барон уехал, Жозеф сделал попытку пробудить в нем бодрость, но виконт не поддавался уговорам, и он ему сказал:

— Однако, любезный, если ты предпочитаешь замять дело, я пойду скажу им.

Сизи не решился ответить: «Да, конечно», — но затаил гнев против своего кузена, который не оказал ему этой услуги без его ведома.

Ему хотелось бы, чтобы Фредерик умер этой ночью от апоплексического удара или чтобы произошло восстание и наутро оказалось столько баррикад, что доступ к Булонскому лесу стал бы невозможен; или чтобы какое-нибудь препятствие помешало явиться одному из секундантов, ибо за отсутствием секунданта поединок не состоялся бы. Ему хотелось умчаться на курьерском поезде, все равно куда. Он жалел, что не знает медицины и не может принять такого снадобья, которое, не подвергая жизнь опасности, усыпило бы его так, чтобы его сочли мертвым. Он дошел до того, что мечтал уже о какой-нибудь тяжелой болезни.

Ища совета и поддержки, он послал за г-ном дез Онэ. Оказалось, что этот достойный человек уехал к себе в Сентонж, получив депешу о болезни одной из дочерей. Сизи это показалось дурным предзнаменованием. К счастью, зашел его навестить г-н Везу, его наставник. Тут начались излияния.

— Как же поступить? Боже мой, как поступить?

— Я бы на вашем месте, граф, нанял на Крытом рынке какого-нибудь молодца, чтобы он вздул того.

— Все равно, он поймет, кто его подослал! — возразил Сизи. Время от времени он выпускал стон.

— А разве закон разрешает драться на дуэли?

— Это пережиток варварства! Что поделаешь!

Педагог из любезности напросился на обед. Воспитанник его ничего не ел, а после обеда почувствовал потребность прогуляться.

Когда они проходили мимо церкви, он сказал:

— Не заглянуть ли... так, ненадолго.

Господин Везу охотно согласился и даже сам предложил ему святой воды.

Был май месяц, алтарь украшали цветы, слышалось пение, звучал орган. Но молиться он был не в состоянии; богослужение

напоминало ему о похоронах, в ушах у него как будто раздавалось гудение «De Profundis»¹.

— Пойдемте! Мне не по себе!

Всю ночь они играли в карты. Виконт старался проигрывать, чтобы умиловить рок, и г-н Везу этим воспользовался. Наконец на рассвете Сизи, совсем изнемогающий, уронил голову на зеленое сукно и погрузился в дремоту, полную неприятных сновидений.

Однако если храбрость есть желание побороть слабость, то виконт проявил храбрость, ибо, увидев секундантов, которые пришли за ним, он напруг все силы, — самолюбие говорило ему, что отступление его погубит. Г-н де Комен похвалил его за бодрость.

Но, сидя в фиакре, от тряски и от утреннего солнца он ослабел. Энергия его исчезла. Он даже не узнавал улиц, по которым проезжали.

Барон развлекался тем, что еще усиливал его страх, заговаривая о «трупe», который придется тайком провезти в город. Жозеф отвечал в том же духе. Оба они, считая всю эту историю смехотворной, были убеждены, что дело уладится.

Сизи ехал, понунив голову; он тихо поднял ее и заметил, что не взяли с собой врача.

— Это ни к чему, — сказал барон.

— Так, значит, опасности нет?

Жозеф ответил торжественно:

— Будем надеяться!

И в карете больше никто не заговаривал.

В десять минут восьмого прибыли к заставе Майо. Фредерик и его секунданты находились уже там, все трое одетые в черное. Режембар вместо обычного галстука надел галстук военный, на конском волосе; в руках у него был длинный ящик вроде футляра для скрипки, всегда фигурирующий в подобных случаях. Дуэлянты холодно обменялись поклонами. Затем все направились в глубь Булонского леса, по Мадридской дороге, чтобы выбрать подходящее место.

Режембар сказал Фредерику, который шел между ним и Дюссардые:

— Ну, а насчет страха как обстоит дело? Если вам что-нибудь нужно — не стесняйтесь, я ведь понимаю! Человеку

¹ «Из глубины [воззвax]...» (лат.) — псалом, читаемый во время погребальных богослужений.

свойственно бояться.— И, понизив голос, добавил: — Не курите больше, это действует расслабляюще!

Фредерик бросил сигару, которая ему мешала, и твердым шагом продолжал путь. Виконт шел сзади, поддерживаемый своими секундантами.

Навстречу изредка попадались прохожие. Небо было голубое, и порою в траве раздавался шорох — прыгали кролики. На повороте тропинки женщина в клетчатом платке разговаривала с мужчиной в блузе, а вдоль большой аллеи, обсаженной каштанами, конюхи в полотняных куртках прогуливали лошадей. Сизи вспоминались те счастливые дни, когда, верхом на своем буром жеребце, с моноклем в глазу, он гарцевал рядом с какой-нибудь коляской; воспоминания еще усиливали его тоску; мучила невыносимая жажда; жужжание мух сливалось для него с пульсацией собственной крови; ноги вязли в песке; ему казалось, что путь продолжается целую вечность.

Секунданты, не останавливаясь, пристально смотрели по сторонам дороги. Начали обсуждать, куда идти — к Каталанскому кресту или к Багательской стене. Наконец свернули направо и, дойдя до какой-то рощицы, остановились под соснами.

Место выбрали так, чтобы обоих противников поставить в одинаковые условия. Отметили, куда им следует стать. Потом Режембар отпер свой ящик. В нем на красной сафьяновой подушке лежали четыре прелестные шпаги, с выемками посредине, с филигранными украшениями на рукоятках. Яркий луч, прорезав листву, упал на них, и Сизи они показались серебряными змеями, сверкнувшими над лужей крови.

Гражданин показал, что все они равной длины; третью он взял сам, чтобы в случае необходимости разнять противников. У г-на де Комена была трость. Наступило молчание. У всех на лицах читалась растерянность или жестокость.

Фредерик снял сюртук и жилет. Жозеф помог Сизи сделать то же самое; когда тот развязал галстук, все заметили, что у него на шее образок. У Режембара это вызвало улыбку презрительной жалости.

Тогда г-н де Комен (чтобы дать Фредерику еще минуту на размышление) попытался кое к чему придаться. Он оговаривал право надеть перчатку, схватиться за шпагу противника левой рукой; Режембар, которому не терпелось, не возражал. Наконец барон обратился к Фредерику:

— Все зависит от вас, сударь! В признании своих ошибок нет ничего постыдного.

Дюссардье в знак согласия кивнул головой. Гражданин пришел в негодование:

— Что же, по-вашему, мы сюда в игрушки играть пришли, черт побери! По местам!

Противники стояли друг против друга, секунданты по сторонам каждого. Режембар крикнул:

— Начинайте!

Сизи ужасно побледнел. Кончик его шпаги дрожал, как хлыст. Он запрокинул голову, раскинул руки и упал на спину, лишившись чувств. Жозеф поднял его и, поднеся к его носу флакон с солью, стал изо всех сил трясти. Виконт открыл глаза и вдруг, как безумный, ринулся к своей шпаге. Фредерик со своей шпагой не расставался и ждал противника, твердо глядя вперед и держа руку наготове.

— Остановитесь! Остановитесь! — донесся с дороги чей-то голос, и раздался топот лошади, пущенной вскачь; сучья ломались о верх кабриолета. Какой-то человек, высунувшись из экипажа, махал платком и продолжал кричать: — Остановитесь остановитесь!

Господин де Комен, думая, что это вмешалась полиция, поднял трость:

— Довольно! Перестаньте! Виконт ранен!

— Я ранен? — спросил виконт.

В самом деле, он, падая, оцарапал себе большой палец левой руки:

— Да это он, когда падал, — пояснил Гражданин.

Барон притворился, что не расслышал.

Из кабриолета выскочил Арну.

— Я опоздал? Нет! Слава богу!

Он облапил Фредерика, щупал его, покрывая поцелуями его лицо.

— Я знаю причину: вы заступились за старого друга! Как это прекрасно! Да, прекрасно! Никогда этого не забуду! Какой вы чудесный человек! Ах, милое дитя!

Он не отрывал от него глаз и, смеясь от радости, в то же время проливал слезы. Барон обернулся к Жозефу:

— Думаю, мы лишние на этом маленьком семейном празднике. Все ведь кончено, господа, не правда ли? Виконт, повяжите руку. Вот, возьмите мой платок. — И с повелительным жестом прибавил: — Полно же! Миритесь! Таков обычай.

Противники нехотя пожали друг другу руки. Виконт, г-н де Комен и Жозеф удалились в одну сторону, а Фредерик со своими приятелями — в другую.

Так как поблизости находился ресторан «Мадрид», то Арну предложил зайти туда выпить по стакану пива.

— Можно бы и позавтракать,— сказал Режембар.

Но Дюссардье спешил, и пришлось ограничиться легкой закуской в саду. Все испытывали то блаженное состояние, которое наступает вслед за счастливой развязкой. Гражданин все-таки досадовал, что дуэль прервали в самый интересный момент.

Арну узнал о ней от приятеля Режембара, некоего Компена, и в великодушном порыве поспешил к месту дуэли, чтобы помешать ей, думая, впрочем, что причиной ее является сам. Он попросил Фредерика рассказать подробности. Фредерику, которого тронула нежность Арну, было совестно поддерживать в нем заблуждение.

— Бога ради, довольно об этом!

В его сдержанности Арну увидел проявление деликатности. И тут же, с обычным своим легкомыслием, перешел на другую тему:

— Что нового, Гражданин?

И они заговорили о векселях, платежных сроках. Чтобы устроиться поудобнее, они даже пересели к другому столу и стали там шептаться.

Фредерик разобрал слова:

— Вы мне подпишете?

— Да. Но вы-то, разумеется...

— Я наконец перепродал за триста! Выгодное дело, право!

Словом, было ясно, что Арну и Гражданин обделывают множество всяких дел.

Фредерик хотел напомнить ему о своих пятнадцати тысячах. Но давешнее появление Арну исключало возможность упреков, даже самых мягких. К тому же давала себя знать и усталость. Место было неподходящее. Он отложил до другого раза.

Арну, сидя в тени жасминного куста, курил и был очень весел. Окинув взглядом двери отдельных кабинетов, которые все выходили в сад, он сказал, что бывал здесь прежде весьма часто.

— И не один, наверно? — спросил Гражданин.

— Еще бы!

— Какой вы шалопай! Ведь женатый человек!

— Ну, а вы-то! — подхватил Арну и, снисходительно улыбаясь, заметил: — Я даже убежден, что у этого бездельника где-нибудь имеется комнатка и он там принимает девочек!

В знак того, что это правда, Гражданин только повел бровью. Тут оба они начали излагать свои вкусы: Арну теперь

больше правилась молодежь, работницы; Режембар терпеть не мог «жеманниц» и ценил прежде всего положительные свойства. Вывод, к которому приходил торговец фаянсом, был тот, что не следует относиться к женщинам всерьез.

«А свою жену он все-таки любит», — думал Фредерик, возвращаясь домой; и Арну казался ему человеком бесчестным. Он сердился на него за эту дуэль, как будто он ради него только что рисковал жизнью.

Дюссардьё он был благодарен за его преданность; приказчик, которого Фредерик настойчиво приглашал к себе, в конце концов стал каждый день навещать его.

Фредерик давал ему книги: Тьера, Дюлора, Баранта, «Жирондистов» Ламартина. Добрый малый внимательно слушал и принимал его мнения как мнения наставника.

Однажды вечером он явился в полном смятении.

Утром того дня на бульваре на него наскочил какой-то человек, мчавшийся во весь дух, и, узнав в нем одного из друзей Сенекаля, сообщил:

— Его сейчас схватили, мне пришлось бежать!

Это была совершенная правда. Весь день Дюссардьё навёл справки. Сенекаль, обвиняемый в политическом преступлении, сидел теперь в тюрьме.

Родом из Лиона, сын мастера и ученик одного из адептов Шалье, Сенекаль, едва только приехал в Париж, сразу же вступил в члены Общества семейств; образ жизни его был известен; полиция за ним следила. В мае 1839 года он оказался в числе сражавшихся и с тех пор держался в тени, но все более и более возбуждался, фанатически поклоняясь Алибо, не видя разницы между недовольством, которое внушало ему общество, и злобой, возбуждаемой в народе монархией; всякое утро он просыпался с надеждой на революцию, которая в две недели или в месяц изменит мир. Выведенный из терпения нерешительностью братьев, взбешенный задержками, которые отдаляли его мечту, разочаровавшись в своей родине, он в качестве химика вступил в ряды заговорщиков, изготовлявших зажигательные бомбы, и был застигнут врасплох по пути на Монмартр, где собирался испытать действие пороха, который он нес с собой, — последнее средство к установлению республики.

Дюссардьё она была не менее дорога, чем Сенекалю, ибо в его представлении она означала свободу и всеобщее счастье. Однажды, — ему тогда было пятнадцать лет, — он на улице Транснонен возле бакалейной лавочки увидел солдат со штыками, красными от крови; к прикладам их ружей прилипли во-

лосы; с тех пор правительство возмущало его как воплощение несправедливости. В его глазах жандармы и убийцы мало чем отличались друг от друга; сыщик был для него то же, что отцеубийца. Все зло, разлитое по земле, он, в своей простоте, приписывал Власти и ненавидел ее ненавистью органической, непрестанной, всецело царившей в его сердце и возбуждавшей его чувствительность. Тирады Сенекаля ослепили его. Виновен тот или невиновен и преступна ли его попытка — не все ли равно? С той минуты, как он стал жертвой Власти, надо было ему помогать.

— Пэры вынесут ему, конечно, обвинительный приговор. А потом его увезут в арестантской карете, как каторжника, и запрут в тюрьме на Мон-Сен-Мишель, где правительство морит их всех! Остен сошел с ума! Штейбен покончил с собой! Когда Барбеса переводили в каземат, его тащили за ноги, за волосы! Его топтали ногами, и голова у него подскакивала на каждой ступеньке. Какой ужас! Подлецы!

Он задыхался, рыдал от гнева и метался по комнате в страшной тоске.

— Надо все-таки что-нибудь сделать! Послушайте, я просто не знаю, как быть! А что, если бы мы попробовали освободить его, а? Когда его поведут в Люксембург, можно напасть в коридоре на конвойных! Десяток смельчаков — те всюду пройдут!

Глаза его так горели, что Фредерик вздрогнул.

Сенекаль показался ему теперь значительнее, чем он думал. Он вспомнил, сколько тот перестрадал, какую суровую жизнь он вел; не разделяя энтузиазма Дюссардье, он все же почувствовал восхищение, какое вызывает всякий человек, приносящий себя в жертву идее. Он говорил себе, что если бы он помог Сенекалю, тот не дошел бы до тюрьмы; и приятели усердно пытались изобрести какой-нибудь способ, чтобы спасти его.

Связаться с ним оказалось невозможно.

Фредерик справлялся в газетах о судьбе заключенного и в течение трех недель посещал читальни.

Как-то раз ему под руку попало несколько номеров «Весельчака». Передовая неизменно бывала посвящена сокрушению какой-нибудь известной личности. Затем следовали светская хроника, сплетни. Далее шли насмешки над Одеоном, над Карпентра, над рыбководством и над приговоренными к смерти, если таковые были. Исчезновение океанского парохода послужило на целый год темой для шуток. Третий столбец занимали художественные корреспонденции, где в форме анекдотов или советов давались рекламы портных, помещались отчеты о балах,

объявления о распродажах, разбор книг и одинаковым стилем писалось о томике стихов и о какой-нибудь паре сапог. Единственным серьезным отделом был обзор маленьких театров, представлявший ожесточенные нападки на двух-трех директоров; а для рассуждения об интересах искусства критику давали повод какие-нибудь декорации в Театре канатных плясунов или актриса на роли любовниц в театре Отдохновение.

Фредерик уже хотел отложить все это, как вдруг его взгляд упал на статью, озаглавленную: «Курочка и три петуха». Это была история его дуэли, изложенная слогом резвым и развязным. Он без труда узнал самого себя, так как по его адресу много раз повторялась шутка: «Юноша, прошедший в Сансэме коллеже курс наук, но ничему не научившийся». Он даже был изображен жалким провинциалом, низкородным простаком, старающимся водить знакомство со знатью. Что касается виконта, то роль благородного героя играл он — и во время ужина, куда он явился незванный, и в истории с пари, ибо он увозил с собой даму, и, наконец, на дуэли, во время которой он вел себя, как подобает дворянину. Храбрость Фредерика, правда, не отрицалась, но автор статьи давал понять, что посредник, то есть сам «покровитель», явился как раз вовремя. Все это заканчивалось фразой, таившей, быть может, коварнейшие намерения: «Откуда столь нежные взаимоотношения? Вот вопрос! И, как говорит дон Базильо, кого, черт возьми, здесь обманывают?»

Это, без всякого сомнения, была месть Юссонэ Фредерику за отказ в пяти тысячах франков.

Что было делать? Если он потребует объяснений от Юссонэ, тот будет уверять его в своей непричастности, и он ничего не добьется. Лучше молча проглотить пилюлю. Никто, в конце концов, не читает этого «Весельчака».

Выйдя из читальни, он увидел, что перед лавкой торговца картинами толпится народ. Взоры привлекал женский портрет, под которым была подпись, сделанная черными буквами: «Мадемуазель Роза-Анетта Брон. Собственность г-на Фредерика Моро из Ножана».

Да, это была она, или почти она, изображенная анфас, с открытой грудью, распущенными волосами и с красным бархатным кошельком в руке; а из-за ее плеча просовывал клюв павлин, огромный хвост которого веером раскинулся на фоне стены.

Пеллерен выставил картину, чтобы заставить Фредерика заплатить, в полной уверенности, что знаменит и что весь Париж примкнет к нему и воодушевится этими дразгами.

Уж не заговор ли это? Не сообща ли художник и журналист подготовили нападение?

Его дуэль ничего не изменила. Он становится смешон, все издеваются над ним.

Дня через три, в последних числах июня, акции Северной компании поднялись на пятнадцать франков, благодаря чему Фредерик, купивший их в прошлом месяце на две тысячи, получил целых тридцать тысяч франков. Эта ласка судьбы вернула ему уверенность. Он решил, что ни в ком не нуждается, что все его неудачи происходят от робости, неуверенности. С Капитаншей надо было сразу же повести себя решительно, с самого начала прогнать Юссонэ, не вступать в отношения с Пеллереном; чтобы показать, что он не чувствует никакой неловкости, он отправился к г-же Дамбрёз на один из ее обычных вечеров.

В передней Мартинон, приехавший одновременно с ним, обернулся.

— Как, ты здесь? — спросил он, удивленный и даже недовольный тем, что видит Фредерика.

— А почему бы и нет?

И, теряясь в догадках, отчего это ему оказывают такой прием, Фредерик прошел в гостиную.

Несмотря на торшеры, зажженные по углам комнаты, освещение казалось тусклым: все три окна, широко распахнутые, слишком уж резко выделялись большими черными четырехугольниками. Под картинами возвышались жардиньерки в человеческий рост, а в глубине комнаты отражались в зеркале серебряный чайник и самовар. Слышались негромкие голоса, скрип башмаков на ковре.

Он различил черные фраки, потом его глазам представился круглый стол, освещенный лампой с большим абажуром; вокруг него сидело семь или восемь дам, одетых по-летнему, а немного дальше, в качалке, г-жа Дамбрёз. Она была в платье из сиреневой тафты, с прорезями на рукавах, из которых выглядывали кисейные сборки, и нежный тон материи гармонировал с цветом ее волос; она откинулась назад и ногу положила на подушку, — спокойная, как произведение искусства, полная изящества, как драгоценный цветок.

Господин Дамбрёз с каким-то седовласым старцем прохаживались по гостиной взад и вперед. Некоторые из гостей, присев на козетки, беседовали небольшими группами; другие же, собравшись в кружок, стояли посредине.

Разговор шел о выборах, об изменениях, вносимых в законы, о дополнениях к этим изменениям, о речи г-на Грандена,

об ответе на нее г-на Бенуа. Третья партия действительно зашла слишком далеко! Левому центру не следовало бы забывать историю своего возникновения! Министерство понесло большой ущерб! Утешительно, однако, что у него не нашлось бы преемников, — словом, положение совершенно такое же, как в 1834 году.

Фредерик, которому все это было скучно, пошел к дамам. Мартинон находился подле них; он стоял со шляпой под мышкой, вполоборота, и вид имел столь благопристойный, что напоминал фигурку из севрского фарфора. Он взял номер «Ревю де Де Монд», валявшийся на столе между «Подражанием Христу» и «Готским альманахом», и свысока произнес свое суждение об одном знаменитом поэте; сказал, что посещает чтения, посвящаемые святому Франциску; пожаловался на свое горло, глотал конфетки от кашля; говорил о музыке, рисовался своей ветреностью. М-ль Сесиль, племянница г-на Дамбрёза, вышивавшая себе рукавчики, искоса посматривала на него своими бледно-голубыми глазами, а мисс Джон, курносая гувернантка, даже бросила вышивание; обе как будто восклицали про себя: «Какой красавец!»

Госпожа Дамбрёз обернулась к нему:

— Принесите мне веер — он там, на столике... Нет, нет, вы не там ищите! На другом!

Она встала, а так как тот уже возвращался с веером, они встретились посреди гостиной лицом к лицу; она что-то резко сказала ему, — видимо, то был упрек, судя по надменному выражению ее лица. Мартинон попытался улыбнуться, потом присоединился к кружку солидных мужчин. Г-жа Дамбрёз снова села и, перегнувшись через ручку кресла, сказала Фредерику:

— Я третьего дня видела одного человека, который говорил со мной о вас, это господин де Сизи. Вы ведь с ним знакомы?

— Да... немножко...

Вдруг г-жа Дамбрёз воскликнула:

— Герцогиня! Ах, какое счастье!

И она поспешила к самой двери, навстречу маленькой старушке в платье из серой тафты и кружевном чепце с длинными концами. Эта дама, дочь одного из товарищей по изгнанию графа д'Артуа и вдова наполеоновского маршала, ставшего пэром Франции в 1830 году, имела связи как при старом, так и при новом дворе и могла добиться весьма многого. Гости, стоявшие посреди комнаты, расступились, и разговор продолжался.

Теперь беседа перешла на пауперизм, все описания которого, по мнению разговаривающих, были весьма преувеличены.

— Однако, — заметил Мартинон, — нищета существует, надо в этом сознаться! Но исцелить от нее не может ни наука, ни власть. Это вопрос чисто индивидуальный. Когда низшие классы захотят отделаться от своих пороков, исчезнет и их нужда. Пусть народ станет более нравственным, и тогда не будет такой бедности!

Господин Дамбрёз считал, что ничего нельзя ожидать хорошего, пока не будет избытка капиталов. «Итак, единственное средство — это верить, как, впрочем, того хотели и сен-симонисты (ведь у них, бог мой, кое-что было неплохо, будем ко всем справедливы), верить, говорю я, дело прогресса людям, которые могут приумножить народное богатство».

Разговор незаметно коснулся крупных промышленных предприятий, железных дорог, угольных копей. И г-н Дамбрёз, обратившись к Фредерику, тихо сказал ему:

— Вы так и не захвали поговорить о нашем деле.

Фредерик сослался на нездоровье, но, чувствуя, что это слишком глупое оправдание, прибавил:

— К тому же мне тогда нужны были деньги.

— Чтобы купить коляску? — подхватила г-жа Дамбрёз, проходившая мимо с чашкой чая, и поглядела на него через плечо.

Она думала, что он любовник Розанетты; намек был ясен. Фредерику даже показалось, что все дамы, перешептываясь, издали смотрят на него. Чтобы лучше разобраться в том, что они могут думать, он направился к ним опять.

Мартинон, сидевший по другую сторону стола, подле м-ль Сесиль, перелистывал альбом. Это были литографии, изображавшие испанские костюмы. Мартинон читал вслух надписи: «Женщина из Севильи», «Андалузский пикадор» — и вдруг, заметив напечатанное внизу страницы, не сделав и паузы, прочел:

— «Жак Арну, издатель». Кажется, один из твоих друзей?

— Да, — сказал Фредерик, оскорбленный этой репликой.

— В самом деле, — подхватила г-жа Дамбрёз, — вы ведь однажды, как-то утром, приезжали... по поводу дома... так, кажется?... да, да, дома, принадлежащего его жене.

Это означало: «Она — ваша любовница».

Он покраснел до ушей, а г-н Дамбрёз, подошедший в эту минуту, прибавил:

— Вы как будто даже принимали в них большое участие.

Слова эти окончательно смутили Фредерика. Его замешательство, которое, как он думал, заметили, должно было подтвердить подозрения, как вдруг г-н Дамбрёз, подойдя к нему еще ближе, серьезным тоном спросил:

— Надеюсь, у вас с ним нет общих дел?

Фредерик в знак отрицания стал трясти головой, не понимая, с какой целью спрашивает его об этом капиталист, на самом деле желавший дать ему совет.

Ему хотелось уехать. Боязнь показать свое малодушие его удержала. Лакей убирал чайные чашки; г-жа Дамбрёз разговаривала с дипломатом в синем фраке; две девушки, низко склонив головки, рассматривали кольцо; остальные, разместившись полукругом в креслах, тихонько поворачивали друг к другу свои белые лица, окаймленные черными или светлыми волосами; словом, никому до него не было дела. Фредерик пошел к двери и, проделав ряд зигзагов, уже почти достиг выхода, как вдруг, проходя мимо консоли, заметил засунутую между китайской вазой и стеной сложенную пополам газету. Он потянул ее и прочитал название: «Весельчак».

Кто принес ее сюда? Сизи! Никто иной, разумеется. Впрочем, не все ли равно? Они поверят; они все, быть может, уже поверили статье. Почему такое ожесточение? Его окружала молчаливая насмешка. Он чувствовал себя словно потеряннным в пустыне. Но вдруг раздался голос Мартинона:

— Кстати, по поводу Арну. В списке обвиняемых по делу о зажигательных бомбах я увидел имя одного из его служащих — Сенекаля. Это не наш ли?

— Он самый, — ответил Фредерик.

Мартинон, громко вскрикнув, дважды повторил:

— Как! Наш Сенекаль?! Наш Сенекаль?!

Тут его начали расспрашивать о заговоре; благодаря своей службе в суде он должен был бы о нем знать.

Он уверял, что сведений у него нет. Вообще же это лицо было ему мало знакомо, так как видел он его всего лишь два-три раза; в конечном счете он находил, что это изрядный негодяй. Фредерик, возмущенный, воскликнул:

— Ничуть! Он честнейший малый!

— Однако, сударь, — заметил один из богачей, — честные люди не участвуют в заговорах!

Большинство мужчин, находившихся здесь, служило, по крайней мере, четырем правительствам, и они готовы были продать Францию или род человеческий, чтобы спасти свое богатство, избежать неудобства или даже просто из врожденной

подлости, заставлявшей их поклоняться силе. Все объявили, что политическим преступлениям нет оправдания. Скорее уж можно простить те, которые вызваны нуждой! И не преминули привести в пример пресловутого отца семейства, который у неизменного булочника крадет неизменный кусок хлеба.

Какой-то крупный чиновник даже воскликнул:

— Сударь, если бы я узнал, что мой брат участвует в заговоре, то донес бы на него!

Фредерик сослался на право сопротивления и, вспомнив кое-какие фразы, слышанные им от Делорье, указал на Дезольма, Блекстона, на английский билль о правах и статью вторую конституции девяносто первого года. Именно в силу этого права и был низвергнут Наполеон; оно было признано в 1830 году, легло в основу хартии.

— Вообще, когда монарх нарушает свои обязательства, правосудие требует его низвержения.

— Но ведь это ужасно! — возгласила жена одного префекта.

Остальные хранили молчание, смутно напуганные, как будто слышали свист пуль. Г-жа Дамбрёз качалась в своем кресле и слушала Фредерика с улыбкой.

Какой-то промышленник, сам бывший карбонарий, попытался доказать ему, что Орлеанский дом — прекрасное семейство; правда, есть и злоупотребления...

— Ну так что же?

— Так не надо говорить о них, дражайший! Если бы вы знали, как вредно отражаются на делах все эти крики оппозиционеров!

— Дела? Да наплевать мне на них! — отрезал Фредерик.

Его возмущали эти прогнившие старики и, поддавшись порыву храбрости, который охватывает порою и самых робких, он стал нападать на финансистов, на депутатов, на правительство, на короля, защищать арабов, наговорил много глупостей. Кое-кто иронически его подбадривал: «Ну, ну, дальше!» — а другие бормотали: «Черт возьми, какой пыл!» Наконец он счел приличным удалиться, и когда он уже уходил, г-н Дамбрёз, намекая на место секретаря, сказал ему:

— Ничто не решено еще окончательно! Но вам надо поторопиться!

А г-жа Дамбрёз проговорила:

— До скорого свидания, не правда ли?

Эти слова, сказанные на прощанье, Фредерик счел последней насмешкой. Он принял решение никогда не возвращаться

в этот дом, не посещать больше этих людей. Он думал, что оскорбил их, ибо не знал, каким широким запасом равнодушия обладает свет. В особенности женщины возмущали его. Ни одна из них его не поддержала хотя бы сочувственным взглядом. Он сердился на них за то, что они не были взволнованы его речами. А в г-же Дамбрёз он находил какую-то томность и в то же время сухость, мешавшую ему найти для нее определение. Есть ли у нее любовник? Что это за любовник? Дипломат или кто-нибудь другой? Уж не Мартинон ли? Не может быть! Однако Мартинон вызывал в нем нечто вроде ревности, а она — необъяснимую злобу.

Дома его, как и каждый вечер, ждал Дюссардье. Сердце у Фредерика было переполнено, он отвел душу, и жалобы его, хотя были смутны и непонятны, опечалили приказчика. Фредерик сетовал даже на одиночество. Дюссардье, немного поколебавшись, предложил зайти к Делорье.

Когда было произнесено имя адвоката, Фредерик почувствовал страстное желание увидеться с ним. Он глубоко ощущал свое умственное отчуждение, а общество Дюссардье его не удовлетворяло. Он ответил, что все предоставляет на его усмотрение.

Делорье со времени их ссоры тоже чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он без труда пошел навстречу дружескому примирению.

Друзья обнялись и завели разговор на безразличные темы. Сдержанность Делорье тронула Фредерика и, чтобы как-нибудь оправдаться перед ним, он рассказал, как лишился пятнадцати тысяч франков, умолчав о том, что первоначально они предназначались ему. Однако адвокат в этом не сомневался. Неприятность, случившаяся с Фредериком и подкреплявшая его предубеждение против Арну, совершенно обезоружила его досаду, и он уже больше не напоминал о прежнем обещании.

Фредерик, введенный в заблуждение его молчанием, подумал, что Делорье о нем забыл. Через несколько дней он спросил адвоката, нет ли возможности получить обратно эти деньги.

Можно было бы оспаривать действительность предыдущих залладных, обвинить Арну в незаконной продаже, предъявить иск к его жене.

— Нет, нет! Только не к ней! — воскликнул Фредерик и в ответ на настойчивые вопросы бывшего клерка рассказал ему правду. Делорье остался уверен в том, что Фредерик, должно быть, из деликатности, признался не во всем. Такое недоверие его обидело.

Однако они по-прежнему были дружны, и быть вместе доставляло обоим такое удовольствие, что присутствие Дюссардые стало их тяготить. Под предлогом, что у них вместе какие-то дела, они мало-помалу от него избавились. Есть люди, назначение которых в том, чтобы служить посредниками для других; через них переходят, как через мост, и идут дальше.

Фредерик ничего не скрывал от старого друга. Он рассказал ему о каменноугольной компании и о предложении г-на Дамбрёза. Адвокат впал в задумчивость.

— Странно! На это место надо было бы человека, сведущего в вопросах права!

— Но ты мог бы помогать мне, — ответил Фредерик.

— Да, верно... черт возьми! Разумеется.

На этой же неделе Фредерик показал ему письмо матери.

Госпожа Моро каялась в том, что неправильно судила насчет г-на Рокка, который дал ей теперь удовлетворительные объяснения своих поступков. Затем она писала о его богатстве и возможности для Фредерика жениться в будущем на Луизе.

— Это, пожалуй, было бы неглупо! — сказал Делорье.

Фредерик с жаром отверг такую возможность; к тому же дядюшка Рокк старый мошенник. По мнению адвоката, это ничего не значило.

В конце июля северные акции по непонятной причине упали в цене; Фредерик не успел продать своих, он сразу потерял шестьдесят тысяч франков. Доходы его значительно уменьшились. Надо было или сократить расходы, или найти себе занятие, или поправить дело выгодным браком.

Тут Делорье стал говорить ему о м-ль Рокк. Ничто не мешает ему съездить туда и собственными глазами взглянуть, что там делается. Фредерик несколько утомлен, а провинция и материнский дом будут для него отдыхом. И Фредерик собрался в путь.

Проезжая по освещенным луною улицам Ножана, он перенесся в мир далеких воспоминаний и почувствовал тоску, как те, кто возвращается из долгих странствований.

У матери сидели все ее обычные гости: г-да Гамблен, Эдра и Шамбрион, семейство Лебрэн, «барышни Оже» и, кроме того, дядюшка Рокк, а за ломберным столом, против г-жи Моро — Луиза. Теперь она была взрослой женщиной. Она встала, не удержалась от возгласа. Все зашевелились. Она застыла на месте, а свет, который бросали четыре свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках, еще усиливал ее бледность. Когда она снова взялась за карты, рука ее дрожала. Ее волнение без-

мерно польстило Фредерику, уязвленному в своей гордости, он решил: «Ты-то уж меня полюбишь!» — и, вознаграждая себя за все огорчения, перенесенные там, он принялся разыгрывать роль парижанина, светского льва, сообщал театральные новости, рассказывал великосветские анекдоты, почерпнутые из плохоньких газет, — словом, поразил своих земляков.

На другой день г-жа Моро стала расписывать сыну достоинства Луизы, затем перечислила леса и фермы, которые должны были достаться ей. Состояние г-на Рокка было значительно.

Он составил себе капитал, ссужая под проценты деньги г-на Дамбрёза; займы он давал только лицам, которые могли представить солидные гарантии, что позволяло ему выпрашивать комиссионные или отчисления в свою пользу. Ссуды, благодаря бдительному надзору, не подвергались никакому риску. Впрочем, дядюшка Рокк никогда не останавливался и перед наложением ареста; затем он по низкой цене скупал заложенные имения, а г-н Дамбрёз, видя, как растет его капитал, находил, что дела его ведутся отлично.

Но эти незаконные проделки роняли его в глазах управляющего. Дамбрёз ни в чем не мог ему отказать. Именно по настояниям Рокка он так хорошо принимал Фредерика.

А дядюшка Рокк лелеял в душе честолюбивый замысел. Ему хотелось, чтобы дочь его стала графиней, и он не знал другого молодого человека, благодаря которому удалось бы, не рискуя счастьем дочери, достигнуть этой цели.

Покровительство г-на Дамбрёза могло бы доставить Фредерику титул его деда, ибо г-жа Моро была дочь графа де Фуван и к тому же находилась в родстве с самыми старинными фамилиями Шампани — Лавернадами и д'Этрины. Что касается самих Моро, то готическая надпись, которую можно было видеть у мельниц города Вильнев-Ларшевек, гласила о некоем Жакобе Моро, отстроившем их вновь в 1596 году, а могила его сына, Пьера Моро, главного шталмейстера при Людовике XIV, находилась в часовне св. Николая.

Господин Рокк, сын лакея, был заворожен всем этим величием. Если бы не удалось добиться графской короны, то утешение он отыскал бы в другом: когда г-н Дамбрёз будет возведен в пэры, Фредерик может стать депутатом и начнет содействовать Рокку в его делах, добывать ему поставки, концессии. Сам по себе молодой человек ему нравился. И, наконец, он хотел выдать за него дочь потому, что уже давно вбил себе в голову эту мысль, и она укоренялась все глубже.

Теперь он стал посещать церковь, а г-жу Моро ему удалось соблазнить главным образом надеждой на титул. Все же она остерегалась дать окончательный ответ.

Через неделю, хотя никакого предложения еще не было сделано, Фредерик уже считался «суженым» м-ль Луизы, и дядюшка Рокк, человек мало щепетильный, иногда оставлял их вдвоем.

V

Делорье получил от Фредерика копию закладной и доверенность, составленную по форме и дававшую ему все полномочия; но когда, поднявшись к себе на пятый этаж, он очутился один в своем унылом кабинете и уселся в кожаное кресло, вид гербовой бумаги вызвал в нем омерзение.

Он устал от всего — и от обедов по тридцать два су, и от поездок в омнибусе, и от своей бедности, и от своих усилий. Он взялся за бумаги; тут были и другие: проспект каменноугольной компании и список рудников с указанием их размеров, — Фредерик передал ему все это, чтобы узнать его мнение.

У него явилась мысль отправиться к г-ну Дамбрёзу и попросить у него место секретаря. Конечно, этого места не получить, если не приобрести известного количества акций. Он понял нелепость своего плана и решил:

«Ах, нет! Это было бы гнусно».

Тогда он стал придумывать, каким бы способом получить обратно пятнадцать тысяч франков. Для Фредерика такая сумма ничего не значила. Но, владей этой суммой он, какой бы то был могучий рычаг! И бывший клерк возмущался, зачем у его друга большое состояние.

«Он так глупо пользуется им. Он эгоист. Ах, очень мне нужны его пятнадцать тысяч!»

Ради чего дал он их в долг? Ради прекрасных глаз г-жи Арну? Она его любовница! Делорье в этом не сомневался. «Вот на что идут деньги!» Им овладели злобные мысли.

Потом он задумался о самой личности Фредерика. Он всегда поддавался ее обаянию, почти женственному, и теперь, сам того не замечая, уже опять восхищался его успехом, на который себя самого считал неспособным.

Однако же разве воля не есть главный элемент во всяком начинании? А если с помощью воли все можно преодолеть...

«Вот было бы забавно!»

Но он устыдился своего вероломства, а минуту спустя подумал:

«Что это? Неужели я испугался?»

Госпожа Арну (оттого, что он так много о ней слышал) необычайными красками рисовалась в его воображении. Это постоянство в любви раздражало его, как неразрешимая загадка. Его собственная суровость, немного наигранная, начала теперь его тяготить. К тому же светская женщина (или то, что он под этим подразумевал) ослепляла фантазию адвоката как символ и как выражение тысячи неизведанных наслаждений. Живя в бедности, он стремился к роскоши в самой ее яркой форме.

«В конце концов, если он и рассердится — пускай! Он слишком нехорошо поступил со мной, чтобы я стал церемониться! У меня нет доказательств, что она его любовница! Он сам это отрицает. Значит, я ничем не связан!»

Желание сделать этот шаг уже не покидало его. Ему хотелось испытать свои силы, и вот однажды он сам вычистил себе сапоги, купил белые перчатки и пустился в путь, воображая себя на месте Фредерика, и почти отождествлял себя с ним, переживая своеобразный психологический процесс, в котором сочетались и жажда мести, и симпатия, и подражание, и дерзость.

Он велел доложить о себе: «Доктор Делорье».

Госпожа Арну удивилась, так как не посылала за врачом.
— Ах, виноват! Я ведь доктор права. Я пришел к вам по делу господина Моро.

Это имя как будто смутило ее.

«Тем лучше! — подумал бывший клерк. — Не отвергла его, не отвергнет и меня», — успокаивал он себя прописной истиной, будто любовника легче вытеснить, чем мужа.

Он имел удовольствие встретиться с нею однажды в суде; он даже назвал день и число. Такая памятьливость удивила г-жу Арну. Он вкрадчивым голосом продолжал:

— Вы и тогда уже... находились... в затруднительных обстоятельствах!

Она ничего не ответила; значит, это была правда.

Он заговорил о том, о сем, о ее квартире, о фабрике; потом, заметив возле зеркала несколько медальонов, предположил:

— Ах, наверно, семейные портреты!

Он обратил внимание на портрет пожилой женщины, матери г-жи Арну.

— Судя по лицу, чудесная женщина, типичная южанка. Оказалось, что она родом из Шартра.

— Шартр? Красивый город.

Он похвалил Шартрский собор и пироги, затем, вернувшись к портрету, обнаружил в нем сходство с г-жой Арну и сказал ей кстати несколько косвенных комплиментов. Это ее не оскорбило. Он стал увереннее и сообщил, что давно знаком с Арну.

— Славный малый, но компрометирует себя! Например, вот эта закладная,— нельзя себе представить, до какого легкомыслия...

— Да, я знаю,— ответила она, пожав плечами.

Презрение, невольно высказанное ею, ободрило Делорье, и он продолжал:

— История с фарфоровой глиной,— вам это, может быть, не известно,— чуть было не кончилась очень скверно, и даже его репутация...

Увидев нахмуренные брови, он осекся.

Тогда, перейдя к темам более общим, он стал жалеть бедных женщин, мужья которых проматывают состояние...

— Но это же его состояние, у меня ничего нет!

Все равно! Ведь трудно сказать... Опытный в делах человек всегда мог бы быть полезен. Он просил верить в его преданность, располагать им, стал превозносить свои собственные достоинства, а сам через поблескивавшие очки смотрел ей прямо в лицо.

Она поддалась какому-то смутному оцепенению, но вдруг пересилила себя:

— Прошу вас, перейдемте к делу!

Он открыл папку.

— Вот доверенность Фредерика. Если такой документ окажется в руках судебного пристава, а тот распорядится как надо,— дело просто: тут в двадцать четыре часа... (Она оставалась невозмутимой; он изменил тактику.) Мне, впрочем, непонятно, что его заставило требовать эту сумму,— ведь он совершенно не нуждается в ней!

— Позвольте! Господин Моро был так добр...

— О, не спорю!

И Делорье принялся расхваливать Фредерика, а потом постепенно стал его чернить, изображая человеком, не помнящим добра, себялюбивым, скупым.

— Я думала, сударь, что он вам друг.

— Это не мешает мне видеть его недостатки. Так, например, он плохо умеет ценить... как бы это сказать?... ту симпатию...

Госпожа Арну перелистывала толстую тетрадь. Она прервала его, попросила объяснить ей какое-то слово.

Он склонился к ее плечу, и так близко, что коснулся ее щеки. Она покраснела; этот румянец воспламенил Делорье; он поцеловал ее руку, впился в нее губами.

— Что вы делаете, сударь?

И вот, прислонившись к стене, она уже глядела на него большими негодующими глазами, и от этого взгляда он застыл на месте.

— Выслушайте меня! Я люблю вас!

Она расхохоталась, залилась резким, неумолимым, убийственным смехом. Делорье почувствовал такую ярость, что готов был задушить ее. Он сдержался и с видом побежденного, который молит о пощаде, сказал:

— Ах, как вы не правы! Я бы не стал, как он...

— О ком это вы?

— О Фредерике!

— Ну, господин Моро меня мало интересуется, я ведь сказала вам!

— О, простите, простите! — Он язвительно прибавил, растягивая слова: — А я думал, вы настолько не безучастны к нему, что вам доставит удовольствие узнать...

Она побледнела. Бывший клерк прибавил:

— Он женится.

— Женится?

— Через месяц — самое позднее, на мадемуазель Рокк, дочери управляющего господина Дамбрёза. Поэтому-то он и уехал в Ножан, только поэтому.

Она поднесла руку к сердцу, как будто ей нанесли сильный удар, но тотчас же схватилась за звонок. Делорье не стал ждать, чтобы его выгнали. Когда она обернулась, его уже не было.

Госпожа Арну почти задыхалась. Она подошла к окну подышать свежим воздухом.

По ту сторону улицы, на тротуаре, упаковщик, сняв куртку, заколачивал ящик. Проезжали экипажи. Она затворила окно и опять села. Высокие соседние дома напротив скрывали солнце, и в комнату падал какой-то неживой свет. Детей дома не было, вокруг царила тишина. Все как будто отступились от нее.

«Он женится! Может ли это быть?»

Ее охватила нервная дрожь.

«Что это? Разве я люблю его?»

И вдруг она ответила себе:

«Да, да, люблю!.. Люблю его!..»

Ей казалось, что она падает куда-то глубоко, что ее падению нет конца. Часы пробили три. Она слушала, как замирает

звон. И продолжала сидеть на краю кресла, улыбаясь все той же улыбкой, неподвижно глядя вперед.

В тот же день, в тот же самый час Фредерик и м-ль Луиза гуляли в конце острова по саду, который принадлежал г-ну Рокку. Старая Катрина издали следила за ними. Они шли рядом, и Фредерик говорил:

— Помните, как я вас брал с собой за город?

— Как вы были добры ко мне! — ответила она. — Вы мне помогали делать пирожки из песка, наливали мне лейку, качали меня на качелях...

— А что случилось с вашими куклами, которых вы называли маркизами и королевами?

— Право, не знаю!

— А ваш песик, Черныш?

— Утонул, бедняжка!

— А «Дон-Кихот», в котором мы вместе раскрашивали картинки?

— Он у меня до сих пор!

Фредерик напомнил ей о ее первом причастии и как она была мила во время вечерни в белой вуали и с большой свечой в руке, когда вместе с другими девочками обходила алтарь под звон колокольчика.

Вероятно, для м-ль Рокк в этих воспоминаниях было мало привлекательного; она ничего не ответила, а минуту спустя сказала:

— Противный! Ни разу не написал мне!

Фредерик сослался на свои многочисленные занятия.

— Что же такое вы делаете?

Вопрос несколько затруднил его; он ответил, что занимался изучением политики.

— Ах, вот как! — И, не расспрашивая его больше, она прибавила: — Вам, конечно, интересно, а мне...

И она рассказала ему, как ей скучно живет, как она одинока, никого не видит, не знает никаких удовольствий, развлечений. Теперь ей хочется ездить верхом.

— Викарий находит, что для девушки это неприлично. Что за глупая вещь — приличия! Раньше мне позволяли делать все, что я хочу, а теперь ничего нельзя!

— Но ведь ваш отец любит вас!

— Да, но все-таки...

Она вздохнула, и вздох ее означал: «Для моего счастья этого мало».

Наступило молчание. И только скрипел песок под их нога-

ми, а вдали шумела вода. Сена выше Ножана делится на два рукава. Рукав, который приводит в движение мельницы, в этом месте рвется из берегов — так силен здесь напор воды, а ниже сливается с естественным руслом; и если миновать мосты, то направо, на противоположном берегу, над откосом, где зеленеет дерн, будет виден белый дом; налево, на лугах, — ряды тополей, а прямо — горизонт, ограниченный изгибом реки. В ту минуту она была гладкая, как зеркало; большие жуки скользили по недвижной воде; вдоль берегов неровной каймой тянулись заросли камыша и тростника, к самой воде подступали распускаящиеся лютики, свешивались гроздья каких-то желтых цветов, перемежаясь высокими стеблями с пучками лиловых соцветий, кое-где виднелись пряди зелени. Заводь была усеяна белыми кувшинками, и ряд старых ив, под которыми ставились капканы, с этой стороны заменял изгородь.

Внутри сада находился окруженный каменной оградой с черепичным коньком огород, где бурыми квадратами выделялись участки недавно взрыхленной земли. Над узкой грядкой с дынями блестели, вытянувшись в ряд, стеклянные колпаки; гряды с артишоками, фасолью, шпинатом, морковью и помидорами чередовались вплоть до участка, отведенного под спаржу, которая казалась рощицей из перьев.

Во времена Директории все это место представляло собою то, что тогда называлось «капризом». С тех пор деревья непомерно разрослись. В крытых аллеях они заплетались ломоносом, дорожки затянулись мхом, везде буйно расплодился ежевичник. В траве крошились обломки гипсовых статуй. Ноги цеплялись за обрывки проволоки. От здания павильона остались только две нижние комнаты с ободранными синими обоями. Вдоль фасада тянулась крытая дорожка на итальянский лад, где на столбиках из кирпича держалась деревянная решетка, обвитая виноградом.

Они пошли по дорожке; лучи пробивались сквозь неровные просветы в зелени, и Фредерик, идя рядом с Луизой и разговаривая с ней, наблюдал на ее лице игру тени от листьев.

Волосы у нее были рыжие, а в шиньон воткнута булавка со стеклянной пишечкой изумрудного цвета, и хотя Луиза все еще носила траур, на ногах у нее были (до такой наивности доходила она в своем безвкусице) соломенные туфли, отделанные розовым атласом, — пошлая диковинка, купленная, очевидно, где-нибудь на ярмарке.

Он это заметил и обратился к ней с ироническим комплиментом.

— Не смейтесь надо мной! — ответила она.

И, окинув его взглядом с головы до ног, от серой фетровой шляпы до шелковых носков, сказала:

— Какой вы франт!

Потом она попросила указать ей книги для чтения. Он назвал целый ряд, и она промолвила:

— Ах, вы очень ученый!

Еще совсем ребенком она полюбила его той детской любовью, которая дышит религиозной чистотой и вместе с тем исполнена непреодолимой страсти. Он был для нее товарищем, братом, учителем, развлекал ее ум, заставлял биться сердце и невольно погружал ее в тайное и непрерывное опьянение. Потом он уехал, бросив ее как раз в трагическую минуту перелома, в день смерти ее матери, и эти два горя слились в одно. За годы разлуки он еще вырос в ее воспоминании; вернулся он, окруженный каким-то ореолом, и она простодушно отдавалась счастьем видеть его снова.

Фредерик первый раз в жизни чувствовал себя любимым, и от этого сладостного ощущения, которое казалось просто новым удовольствием, в нем как будто что-то росло, и он протянул руки, откинул голову.

По небу в это время двигалась большая туча.

— Она ползет к Парижу, — сказала Луиза. — Вам бы хотелось последовать за ней, правда?

— Мне? Почему?

— Как знать!

И, укол его острым, подозрительным взглядом, проговорила:

— Может быть, у вас там есть (она искала слова)... привязанность.

— Ах, нет у меня привязанностей!

— Наверно?

— Ну да, разумеется, мадемуазель Луиза!

Не прошло и года, а в девушке совершилась необычайная перемена, удивившая Фредерика. Минуту помолчав, он прибавил:

— Нам надо было бы говорить друг другу «ты», как прежде. Хотите?

— Нет.

— Почему же?

— Так!

Он настаивал. Она ответила, опустив голову:

— Я не смею.

Они теперь стояли в самом конце сада, около запруды. Фредерик, шалости ради, стал бросать камешки в воду. Она велела ему сесть. Он повиновался; спустя немного он промолвил, глядя на реку, образовавшую здесь водопад:

— Прямо Ниагара!

И заговорил о дальних странах, длинных путешествиях. Мысль о путешествиях пленяла и ее. Ничто ее не испугало бы — ни бури, ни львы.

Сидя рядом, они набирали пригоршни песку и, пропуская его сквозь пальцы, продолжали беседовать; а теплый ветер дул с полей и порывами приносил им благоухание лаванды, смешанное с запахом дегтя, который шел от баржи, стоявшей по ту сторону плотины. Солнце освещало водопад; на зеленоватые камни, по которым, как по стенке, стекала вода, была словно накинута прозрачная серебряная ткань, развертывавшаяся без конца. Внизу мерными брызгами рассыпалась длинная полоса пены. А там возникали водовороты, вода бурлила, струи сталкивались и, наконец, сливались в один прозрачный и гладкий, как пелена, поток.

Луиза прошептала, что завидует рыбам.

— Нырять, спускаться в самую глубину — это должно быть так приятно, такое приволье! И чувствовать, как тебя со всех сторон что-то ласкает.

Она вздрагивала и со сладострастной томностью поводила плечами.

Но раздался голос:

— Где ты?

— Вас няня зовет, — сказал Фредерик.

— Пускай ее.

Луиза не двигалась с места.

— Она рассердится, — продолжал он.

— Мне все равно! И вообще...

Мадемуазель Рокк пренебрежительным жестом дала понять, что няня у нее в подчинении.

Все-таки она встала, потом начала жаловаться на головную боль. А когда они подошли к большому сараю, где сложены были вязанки прутьев, она сказала:

— Не запрятаться ли нам туда да поозорничать?

Он притворился, будто не понимает, и, придравшись к местному говору, проступавшему в ее произношении, даже принялся дразнить ее. Уголки ее рта понемногу начали вздрагивать, она уже кусала себе губы и, закапризничав, отстала от него.

Фредерик вернулся к ней, поклялся, что не хотел ее обидеть и что он очень любит ее.

— Правда? — вскрикнула она и взглянула на него с такой улыбкой, что засветилось все ее лицо, слегка усеянное веснушками.

Он покорился этой смелости чувства, этой юной свежести и продолжал:

— Зачем бы мне лгать тебе?.. Ты сомневаешься, а? — и обнял ее за талию левой рукой.

Из ее груди вырвался крик, нежный, как воркованье; голова откинулась назад, она теряла сознание; он ее поддержал. И внушения совести тут были бы даже излишни; перед этой девушкой, предлагавшей ему себя, им овладел страх. Он помог ей пройти несколько шагов, совсем медленно. Нежные слова иссякли, и, стараясь говорить с ней только о вещах безразличных, он коснулся ножанского общества.

Вдруг она оттолкнула его и с горечью воскликнула:

— У тебя не хватит смелости увезти меня!

Он застыл на месте, страшно изумленный. Она зарыдала, спрятав голову у него на груди.

— Разве я могу жить без тебя?

Он старался ее успокоить. Она положила ему руки на плечи; чтобы лучше видеть его, впиалась в него своими зелеными глазами, влажными и почти хищными.

— Хочешь быть моим мужем?

— Но... — сказал Фредерик, пытаясь придумать ответ. — Конечно... я только этого и желаю.

И тут из-за куста сирени появилась фуражка г-на Рокка.

Он пригласил своего «молодого друга» совершить с ним поездку по его имениям, и два дня возил его по окрестностям. Вернувшись, Фредерик застал дома три письма.

Первое было от г-на Дамбрёза, который звал его на обед в прошлый вторник. Откуда такая любезность? Ему, значит, простили его выходку?

Второе было от Розанетты. Она благодарила его за то, что он ради нее рисковал жизнью. Фредерик сначала не понял, что она имеет в виду; далее, после всяких обиняков, она умоляла его, взывая к его дружеским чувствам, умоляла «на коленях», вынужденная крайней необходимостью, как просят о куске хлеба, чтобы он выручил ее, выдав небольшое пособие — пятьсот франков. Он тотчас же решил послать ей эти деньги.

Третье письмо, от Делорье, касалось закладной и было длинно и несвязно. Адвокат еще ни на чем не остановился. Он

уговаривал его не утруждать себя: «Возвращаться тебе не к чему!» — и даже настаивал на этом с каким-то странным упорством.

Фредерик терялся в предположениях всякого рода, и ему захотелось вернуться в Париж; эти притязания на руководство его поступками возмущали его.

К тому же им снова овладевала тоска по бульварам, а мать так торопила его, г-н Рокк так его обхаживал и любовь м-ль Луизы была такой сильной, что, не сделав предложения, он не мог здесь больше оставаться. Надо все это обдумать — издали будет виднее.

Чтобы объяснить свой отъезд, Фредерик выдумал какую-то историю и уехал, говоря всем, да и сам веря, что скоро вернется.

VI

Возвращение в Париж не порадовало его; был конец августа, вечер; бульвары, казалось, опустели, прохожие с хмурыми лицами следовали друг за другом, кое-где дымились чаны с асфальтом, во многих домах ставни были закрыты наглухо. Он приехал к себе. Обои покрылись слоями пыли, и Фредерик, обедая в полном одиночестве, поддался странному чувству, как будто он всеми покинут; тут он подумал о м-ль Рокк.

Мысль о женитьбе уже не казалась ему чем-то чудовищным. Они будут путешествовать, поедут в Италию, на Восток! И ему представлялась Луиза: она стоит на вершине холма, любитесь видом или, опираясь на его руку, осматривает флорентийскую галерею, останавливается перед картинами. Радостно будет видеть, как это милое существо расцветает под лучами Искусства и Природы! Оторвавшись от своей среды, она очень скоро станет прелестной подругой. К тому же его соблазняло и состояние г-на Рокка. Все же это решение было ему и противно, как некая слабость, унижало его.

Но он был твердо намерен (чего бы это ни стоило) изменить свою жизнь, то есть не растрачивать сердце на бесплодные страсти, и даже колебался, исполнить ли поручение, данное ему Луизой. Надо было купить для нее у Жака Арну две большие раскрашенные статуэтки, изображавшие негров, совершенно такие, как в префектуре Труа. Она запомнила вензель фабриканта и хотела иметь точно такие же статуэтки. Фредерик боялся, что, если он снова увидит Арну, в нем оживет былая любовь.

Весь вечер его занимали эти мысли; он собирался уже ложиться спать, как вдруг в комнату вошла женщина.

— Это я, — со смехом сказала м-ль Ватназ. — Я по поручению Розанетты.

Так, значит, они помирились?

— Боже мой, ну да! Вы же знаете, я не злопамятна! Вдобавок, бедняжка Розанетта... Слишком долго рассказывать.

Короче говоря, Капитанша хотела его видеть; она ждала ответа на свое письмо, пересланное из Парижа в Ножан. М-ль Ватназ не было известно его содержание. Тут Фредерик осведомился о Капитанше.

Теперь она жила с человеком очень богатым, русским князем Чернуковым, который увидел ее прошлым летом во время скачек на Марсовом поле.

— Целых три экипажа, верховая лошадь, слуги в ливреях, грум по английской моде, загородный дом, ложа в Итальянской опере, еще много чего другого. Вот какие дела, дорогой мой.

И Ватназ, как будто и ей пошла на пользу перемена в судьбе Розанетты, казалось, повеселела, была вполне счастлива. Она сняла перчатки и стала рассматривать мебель и безделушки. Словно антиквар, она определяла их настоящую цену. Ему следовало бы спросить ее совета, тогда они достались бы ему гораздо дешевле. Она хвалила его вкус:

— Ах, премило, прекрасно! Никто лучше вас не сумеет! — Потом, заметив в алькове, позади изголовья постели, дверь, она спросила: — Вы отсюда выпускаете дамочек, а?

И она дружески взяла его за подбородок. Он вздрогнул от прикосновения ее длинных рук, и худощавых и нежных. Рукава у ней были обшиты кружевами, а лиф зеленого платья был отделан шнуром, как у гусара. Черная тюлевая шляпа с опущенными полями слегка закрывала лоб; из-под шляпы блестели глаза; волосы пахли пачулями. Кенкет, стоявший на круглом столике, освещал ее снизу, словно театральная рампа, и от этого еще резче выделялся подбородок; и вдруг, глядя на эту некрасивую женщину, гибкую, как пантера, Фредерик почувствовал непреодолимое вожделение, прилив животного сладострастия.

Вынув из кармана три квадратных бумажки, она елеиным тоном спросила:

— Ведь вы возьмете?

Это были три билета на бенефис Дельмара.

— Как! На его бенефис?

— Ну да!

Мадемуазель Ватназ, не пускаясь в объяснения, прибавила, что обожает его больше, чем когда-либо. По ее словам, актер был окончательно признан «одной из знаменитостей нашего времени». Он воплощал в себе не тот или иной персонаж, выводимый на сцене, а самый гений Франции, Народ! У него «гуманная душа, ему понятно таинство Искусства». Чтобы положить конец этим восхвалениям, Фредерик поспешил заплатить ей за все три места.

— Там вы можете не говорить об этом!.. Боже мой, как поздно! Мне надо уходить... Ах, я чуть не забыла сказать адрес: улица Гранд-Батальер, четырнадцать.

Она уже стояла в дверях.

— Прощайте, человек, которого любят!

«Кто любит? — спрашивал себя Фредерик. — Что за странная особа!»

И ему пришло на память, что однажды Дюссардые сказал о ней: «О, многого она не стоит!» — точно намекая на какие-то темные истории.

На другой день он отправился к Капитанше. Жила она в недавно выстроенном доме. Маркизы, затенявшие окна, выступали на улицу; на каждой площадке лестницы были зеркала в стене, перед окнами — корзины с цветами, по ступеням спускалась полотняная дорожка, и того, кто входил с улицы, здесь обдавало приятной свежестью.

У Розанетты была и мужская прислуга — ему отворил лакей в красном жилете. В передней, словно в приемной у министра, сидели на скамейке женщина и двое мужчин — очевидно, поставщики — и ждали. Налево, через приоткрытую дверь столовой, видны были пустые бутылки на буфетах, салфетки на спинках стульев, а параллельно столовой тянулась галерея, где золоченые палки подпирали шпалеры роз. Внизу, во дворе, двое слуг, засучив рукава, чистили коляску. Их голоса доносились вверх, смешиваясь с прерывистым стуком скребницы о камень.

Лакей вернулся, сказал: «Барыня просят», — и провел Фредерика через вторую переднюю и большую гостиную, обтянутую желтой парчой, со шнурами по углам, соединявшимися на потолке и как будто переходившими в крученые ветви люстры. Прошлую ночью здесь, очевидно, пировали: на консолях еще оставался пепел сигар.

Наконец он очутился в своего рода будуаре, который тускло освещался окнами с цветным стеклом. Над дверью красовались вырезанные из дерева трилистники; за баяустрой — три пурпурных матраца, служившие диваном, а на них валялась труб-

ка платинового кальяна. Над камином вместо зеркала висела этажерка в виде пирамиды, и на полочках ее размещалась целая коллекция диковинок: старинные серебряные часы, богемские рожки, пряжки с драгоценными камнями, пуговицы из нефрита, эмали, китайские идолы, византийский образок богоматери в ризе из позолоченного серебра — все это в золотистом сумраке сливалось с голубоватым ковром, с перламутровым отблеском от табуретов, с рыжевато-коричневой кожаной обивкой стен. По углам на тумбочках стояли бронзовые вазы с букетами цветов, распространявших тяжелое благоухание.

Розанетта появилась в розовой атласной курточке, в белых кашемировых шароварах, с ожерельем из пиастров и в красной шапочке, вокруг которой вилась ветка жасмина.

Фредерик не мог скрыть своего изумления; овладев собой, он сказал, что принес «требуемое», и подал ей банковый билет.

Она оторопело уставилась на него, он же, не зная, куда положить ассигнацию, продолжал держать ее в руке.

— Берите же!

Она схватила ее и бросила на диван.

— Вы очень любезны.

Нужно это было для уплаты ежегодного взноса за участок земли в Бельвю. Фредерик был обижен такой бесцеремонностью. Впрочем, тем лучше! Это отместка за прошлое.

— Садитесь! — сказала она. — Вот сюда, поближе. — И перешла на серьезный тон: — Прежде всего я должна поблагодарить вас, дорогой мой: вы для меня рисковали жизнью.

— О, какие пустяки!

— Что вы! Это так прекрасно!

Благодарность Капитанши смущала его, ибо, должно быть, она думала, что дрался он исключительно из-за Арну, который, сам воображая это, очевидно, не выдержал и рассказал ей.

«Она, чего доброго, смеется надо мной», — размышлял Фредерик.

Делать здесь ему было нечего и, сославшись на важное свидание, он поднялся.

— Нет, нет! Оставайтесь!

Он снова сел и похвалил ее костюм.

Она удрученно ответила:

— Князь любит, чтобы я так одевалась! И еще надо курить из этих штук, — прибавила Розанетта, показывая кальян. — А что, не отведать ли? Хотите?

Принесли огня; металлический сплав накалялся медленно, и Розанетта от нетерпения затопала ногами. Потом ее охватила

какая-то вялость, и она неподвижно лежала на тахте, подложив подушку под руку, слегка изогнувшись, поджав одну ногу, а другую вытянув совершенно прямо. Длинная змея из красного сафьяна, лежавшая кольцами на полу, обвилась вокруг ее руки. Янтарный мундштук она поднесла к губам и, щуря глаза, глядела на Фредерика сквозь дым, окутавший ее своими клубами. От дыхания Розанетты клокотала вода, и время от времени слышался ее шепот:

— Милый мальчик! Бедняжка!

Он старался найти приятную тему для разговора; ему вспомнилась Ватназ.

Он сказал, что, по его мнению, та была очень нарядна.

— Еще бы! — ответила Капитанша. — Счастье ее, что я существую! — и ни слова не прибавила: столько умолчаний было в их разговоре.

Оба чувствовали какую-то принужденность, что-то мешало им. Розанетта действительно считала себя причиной дуэли, которая льстила ее самолюбию. Ее очень удивило, что он не поспешил явиться к ней — похвастать своим подвигом, и, чтобы заставить его прийти, она и придумала, что ей нужны пятьсот франков. Почему же в награду он не просит ласки? То была утонченность, приводившая ее в изумление, и в сердечном порыве Розанетта предложила ему:

— Хотите, поедemте с нами на морские купанья?

— С кем это — *с нами*?

— Со мной и моим гусем. Я, как в старинных комедиях, буду говорить, что вы мой двоюродный брат.

— Слуга покорный!

— Ну, так вы наймите себе квартиру поблизости от нас.

Прятаться от богатого человека ему казалось унижительным.

— Нет, это невозможно!

— Как угодно!

Розанетта отвернулась, на глазах у ней были слезы. Фредерик это заметил и, желая выразить ей участие, сказал, что его радует благополучие, которого она достигла.

Она пожала плечами. Кто же виновник ее огорчений? Или, быть может, ее не любят?

— О нет! Меня всегда любят! — И прибавила: — Смотря какой любовью.

Жалуясь на жару, от которой она «задыхается», Капитанша сняла курточку, осталась в одной шелковой рубашке и, склонив голову на плечо, приняла позу рабыни-соблазнительницы.

Эгоист, менее расчетливый, не подумал бы о том, что может появиться виконт и г-н Комен или еще кто-нибудь. Но Фредерика слишком часто обманывали эти взгляды, и он вовсе не хотел подвергаться новым унижениям.

Она интересовалась, с кем он водит знакомство, как развлекается; она осведомилась даже о его делах и предложила дать ему займы, если он нуждается в деньгах. Фредерик не выдержал и взялся за шляпу.

— Ну, дорогая, желаю вам веселиться! До свидания.

Она вытаращила глаза, потом сухо сказала:

— До свиданья!

Он опять прошел через желтую гостиную и вторую переднюю. Там, на столе, между вазой с визитными карточками и чернильницей, стоял серебряный чеканный ящичек. То был ящичек г-жи Арну! Фредерик почувствовал умиление и вместе с тем стыд, словно был свидетелем святотатства. Ему хотелось дотронуться до него, открыть его. Он побоялся, что это будет замечено, и прошел мимо.

Фредерик остался добродетельным до конца. Он не поехал к Арну.

Он послал лакея купить статуэтки негров, снабдив его всеми необходимыми указаниями, и ящик в тот же вечер отправлен был в Ножан. На другой день, идя к Делорье, он на углу улицы Вивьен и бульвара столкнулся лицом к лицу с г-жой Арну.

Первым их движением было отступить назад, потом одна и та же улыбка появилась на их губах, и они подошли друг к другу. С минуту длилось молчание.

На нее светило солнце, и ее овальное лицо, длинные брови, черная кружевная шаль, покрывавшая ее плечи, ее платье переливчатого шелка, букет фиалок на шляпке — все показалось ему блистательным, несравненным. Бесконечную нежность лили ее прекрасные глаза, и Фредерик наудачу пробормотал первые пришедшие ему в голову слова:

— Как поживает Арну?

— Благодарю вас!

— А ваши дети?

— Очень хорошо!

— Ах!.. Какая чудесная погода, не правда ли?

— Да, прекрасная!

— Вы за покупками?

— Да.— И, томно наклонив голову, она сказала: — Прощайте!

Она не протянула ему руки, не вымолвила ни одного ласкового слова, не пригласила его даже к себе — не все ли равно! Эту встречу он не отдал бы и за самое блестящее приключение и, продолжая путь, снова и снова переживал ее сладость.

Делорье, которого удивило его появление, скрыл свою досаду, так как он, из упрямства, питал еще кой-какие надежды относительно г-жи Арну и писал Фредерику в Ножан, советуя оставаться там именно для того, чтобы иметь свободу действий.

Однако он рассказал, что был у нее с целью узнать, обусловлена ли ее брачным контрактом общность имущества; в этом случае можно было бы предъявить иск к жене.

— И какое у нее было выражение лица, когда я ей сказал о твоей женитьбе!

— Ну! Это еще что за выдумка!

— Так было нужно, чтобы показать ей, зачем тебе понадобились деньги! Человек, равнодушный к тебе, не упал бы от этого в обморок, как она.

— Правда? — воскликнул Фредерик.

— Эх, приятель, ты себя выдаешь. Ну полно же, будь откровенен!

Поклонником г-жи Арну овладело страшное малодушие.

— Да нет же... уверяю тебя... честное слово!

Эти вялые возражения окончательно убедили Делорье. Он поздравил его с успехом. Стал расспрашивать о «подробностях». Фредерик ничего не рассказал и даже подавил желание выдумать эти подробности.

Что до закладной, то он попросил ничего не делать, подождать. Делорье нашел, что Фредерик не прав, и даже резко отчитал его.

Делорье был теперь, впрочем, еще мрачнее, озлобленнее и раздражительнее, чем раньше. Через год, если в судьбе его не наступит перемены, он отправится в Америку или пустит себе пулю в лоб. Словом, все приводило его в такую ярость и радикализм его был столь безграничен, что Фредерик не удержался и сказал:

— Ты стал совсем как Сенекаль.

Тут Делорье сообщил ему, что Сенекаля выпустили из тюрьмы Сент-Пелажи, так как следствие, очевидно, не дало достаточных улик для судебного процесса.

По случаю его освобождения Дюссардьё на радостях захотел «позвать гостей на пунш» и пригласил Фредерика «при сем присутствовать», все же предупредив его, что он встретится с

Юссонэ, который по отношению к Сенекалю проявил себя с самой лучшей стороны.

Дело в том, что «Весельчак» учредил теперь деловую контору, которая, судя по ее проспектам, состояла из «Конторы виноторговли», «Бюро объявлений», «Отдела взысканий и справок» и т. д. Но Юссонэ опасался, как бы это предприятие не нанесло ущерба его литературной репутации, и пригласил математика вести книги. Хотя место было и неважное, все же, не будь его, Сенекаль умер бы с голоду. Фредерик, не желая огорчить честного малого, принял приглашение.

Дюссардье заранее, еще за три дня, сам натер красный каменный пол своей мансарды, выколотил кресло и вытер пыль с камина, где между сталактитом и кокосовым орехом стояли под стеклянным колпаком алебастровые часы. Трех его подсвечников — двух больших и одного маленького — было недостаточно, так что он попросил у привратника еще два, и эти пять светильников сияли на комодѣ, покрытом для большей благопристойности салфетками, на которых разместились тарелки с миндальными пирожными, бисквитами, сдобным хлебом и дюжина бутылок пива. Против комода, у стены, оклеенной желтыми обоями, в книжном шкафу красного дерева стояли «Басни» Лашамбоди, «Парижские тайны», «Наполеон» Норвена, а в алькове, выглядывая из палисандровой рамки, улыбалось лицо Беранже!

Приглашены были (кроме Делорье и Сенекаля) фармацевт, только что окончивший курс, но не имевший средств, чтобы завести свое дело; молодой человек, работавший вместе с Дюссардье в магазине; комиссионер по винной торговле; архитектор и какой-то господин, служивший в страховом обществе. Режембар прийти не мог. Об его отсутствии жалели.

Фредерик был встречен очень радушно, так как благодаря Дюссардье все знали, что он говорил у Дамбрёза. Сенекаль ограничился тем, что с достоинством протянул ему руку.

Он стоял, прислонившись к камину. Остальные сидели с трубками в зубах и слушали его рассуждения о всеобщем избирательном праве, которое должно было вызвать победу демократии, осуществление евангельских принципов. Впрочем, время приближалось; в провинции то и дело устраиваются реформистские банкеты; Пьемонт, Неаполь, Тоскана...

— Это правда, — на полуслове перебил его Делорье, — так не может продолжаться!

И он стал обрисовывать положение дел:

Голландию мы принесли в жертву, чтобы Англия признала Луи-Филиппа, а пресловутый союз с Англией пропал даром из-за испанских браков. В Швейцарии г-н Гизо, по внушению Австрии, поддерживает трактаты тысяча восемьсот пятнадцатого года. Пруссия и ее таможенный союз готовят нам немало хлопот. Восточный вопрос остается открытым.

Если великий князь Константин шлет подарки герцогу Омальскому, это еще не основание, чтобы полагаться на Россию. Что до внутренних дел, то никогда еще не видали такого ослепления, такой глупости! Большинство голосов — и то сомнительно! Словом, всюду, следуя известному речению, ничего, ничего! И, несмотря на такой позор, они, — продолжал адвокат, подбоченясь, — заявляют, что удовлетворены!

Этот намек на знаменитый случай с голосованием вызвал аплодисменты. Дюссардые откупорил бутылку пива; пена забрызгала занавески, он и внимания на это не обратил; он набивал трубки, резал сдобный хлеб, потчевал им гостей, несколько раз спускался вниз справиться, не готов ли пунш; а гости не замедлили прийти в возбуждение, так как все одинаково негодовали на Власть. Негодование их было сильно и питалось одной только ненавистью к несправедливости; но наряду с правильными обвинениями возникали и самые нелепые упреки.

Фармацевт сокрушался о жалком состоянии нашего флота. Страховой агент не мог простить маршалу Сульту, что у его подъезда стоят два часовых. Делорье обличал иезуитов, которые открыто обосновались в Лилле. Сенекаль гораздо сильнее ненавидел г-на Кузена, ибо эклектизм, научая нас черпать свои убеждения в разуме, развивает эгоизм, разрушает солидарность; комиссионер по винной торговле, мало понимая в этих вещах, во всеуслышание заметил, что о многих подлостях забыли:

— Королевский вагон на Северной железной дороге должен обойтись в восемьдесят тысяч франков! Кто за него заплатит?

— Да, кто за него заплатит? — подхватил приказчик с такой яростью, как будто эти деньги были взяты из его кармана.

Посыпались жалобы на биржевиков-эксплуататоров и на взяточничество среди чиновников. По мнению Сенекаля, причину зла надо было искать выше и обвинять прежде всего принцев, воскрешавших нравы Регентства.

— Знаете ли вы, что на днях друзья герцога Монпансье, возвращаясь из Венсена, должно быть пьяные, потревожили своими песнями рабочих Сент-Антуанского предместья.

— И им даже кричали: «Долой воров!» — сказал фармацевт. — Я тоже там был, тоже кричал!

— Тем лучше! После процесса Теста — Кюбьера народ наконец просыпается.

— А меня этот процесс огорчил,— сказал Дюссардье.— Опозорили старого солдата!

— А известно ли вам,— продолжал Сенекаль,— что у герцогини де Прален нашли...

Но тут кто-то ударил ногой в дверь, и она распахнулась. Вошел Юссонэ.

— Приветствую вас, сеньоры! — сказал он, усаживаясь на кровать.

Ни одного намека не было сделано на его статью; впрочем, он в ней теперь раскаивался, так как ему основательно попало за нее от Капитанши.

Он прибыл из театра Дюма, где смотрел «Кавалера де Мезон-Руж» — пьесу, которую находил «невыносимой».

Подобное суждение удивило демократов, ибо благодаря своим тенденциям, вернее — своим декорациям, драма эта приходилась им по вкусу. Сенекаль, чтобы покончить спор, спросил, помогает ли пьеса делу демократии.

— Да, пожалуй... но что за стиль!

— Так, значит, пьеса хороша. Что такое стиль? Важна идея! — И, не дав Фредерику возразить, продолжал: — Итак, я утверждал, что в деле Прален...

Юссонэ прервал его:

— Ах, старая песня! Надоела она мне!

— И не только вам,— заметил Делорье.— Из-за нее закрыли уже пять газет! Послушайте-ка эти цифры.— И, вынув записную книжку, он прочитал: — «С тех пор как утвердилась «лучшая из республик», состоялось тысяча двести двадцать девять процессов по делам печати, результатом которых для авторов явились: три тысячи сто сорок один год тюремного заключения и маленький штраф на сумму семь миллионов сто десять тысяч пятисот франков». Не правда ли, мило?

Все с горечью усмехнулись. Фредерик, возбужденный, как и все остальные, подхватил:

— У «Мирной демократии» сейчас процесс из-за романа, который она напечатала,— «Удел женщины».

— Вот так так! — сказал Юссонэ.— С этими запретами мы, мужчины, не у дел окажемся!

— Да чего только не запрещают! — воскликнул Делорье.— Запрещают курить в Люксембургском саду, запрещают петь гимн Пию Девятому!

— Запрещают банкет типографщиков! — глухо произнес чей-то голос.

Это был голос архитектора, сидевшего в алькове, в тени, и до сих пор молчавшего. Он добавил, что на прошлой неделе за оскорбление короля вынесли обвинительный приговор некоему Руже.

— Славного Руже сцапали уже, — сказал Юссонэ.

Сенекаль нашел эту шутку столь неподходящей, что упрекнул Юссонэ в том, будто он защищает «фигляра из Ратуши, друга предателя Дюмурье».

— Я защищаю? Напротив!

Луи-Филиппа он считал личностью пошлой, унылой, национальным гвардейцем, лавочником, каких мало. И, приложив руку к сердцу, журналист произнес сакраментальные фразы: «Каждый раз с новым удовлетворением... Польский народ не погибнет... Наши великие начинания будут завершены... Не откажите мне в деньгах для моей дорогой семьи...» Все много смеялись и находили, что он чудесный, остроумный малый, веселье удвоилось, когда внесли чашу с пуншем, заказанным внизу, в распивочной.

Пламя спирта и пламя свечей быстро нагрело комнату; свет, падавший из окна мансарды во двор, достигал края противоположной крыши, где на фоне ночного неба черным столбом возвышалась труба. Говорили очень громко, все разом; сюртуки сняли; натыкались на стулья, чокались.

Юссонэ воскликнул:

— Пригласите сюда знатных дам, чтобы больше было похоже на «Нельскую башню», чтобы ярче был местный колорит, чтобы получилось нечто рембрандтовское, разрази меня господь!

А фармацевт, без конца размешивавший пунш, запел во все горло:

Два белых быка в моем стойле,
Два белых огромных быка...

Сенекаль зажал ему рот рукой, он не любил беспорядка; в окна уже выглядывали жильцы, удивленные необычным шумом, доносившимся из мансарды Дюссардые.

Добрый малый был счастлив и сказал, что ему вспоминаются их прежние сборища на набережной Наполеона; кое-кого, однако, не хватает, «так, например, Пеллерена...»

— Без него можно обойтись, — заметил Фредерик.

Делорье осведомился о Мартиноне:

— Что-то поделывает этот интересный господин?

Тут Фредерик, дав волю недружелюбным чувствам, которые он питал к Мартинону, стал критиковать его ум, характер, его поддельный лоск, всё в нем. Типичный выскочка из крестьянской среды! Новая аристократия — буржуазия — не может равняться с прежней знатью, с дворянством. Он настаивал на этом, а демократы соглашались, как будто Фредерик принадлежал к старой аристократии и как будто сами они бывали в домах новой знати. Фредериком были очарованы. Фармацевт сравнил его даже с г-ном д'Альтон-Шэ, который, хоть и был пэром Франции, стоял за Народ.

Пора было расходиться. На прощанье пожимали друг другу руки; умиленный Дюссардьё пошел провожать Фредерика и Делорье. Едва они оказались на улице, адвокат словно задумался о чем-то и, с минуту помолчав, спросил:

— Так ты очень сердит на Пеллерена?

Фредерик не стал скрывать своей досады.

Но ведь художник снял же с выставки свою пресловутую картину. Не стоит ссориться из-за пустяков! Зачем наживать себе врага?

— Он поддался вспышке гнева, извинительной, когда у человека пусто в кармане. Тебе-то ведь это непонятно!

Когда Делорье дошел до своего подъезда, приказчик не отстал от Фредерика; он даже старался уговорить его купить портрет. Дело в том, что Пеллерен, утратив надежду запугать Фредерика, прибегнул к помощи его друзей, которые должны были убедить его взять картину.

Делорье при следующей встрече снова вернулся к этому и даже проявил настойчивость. Требования художника он считал основательными.

— Я уверен, что за какие-нибудь пятьсот франков...

— Ах, отдай их ему, вот тебе деньги! — сказал Фредерик.

В тот же вечер картину принесли. Она ему показалась еще более ужасной, чем в первый раз. Тени и полутени столько раз были закрашены, что сделались свинцовыми и казались еще темнее рядом с кричаще яркими пятнами света, разрушая единство колорита.

Фредерик, в отместку за то, что пришлось купить картину, жестоко ее разругал. Делорье поверил ему на слово и одобрил его поведение, ибо, как и прежде, он стремился образовать фалангу и стать во главе ее; есть люди, которые наслаждаются тем, что принуждают своих друзей делать вещи, неприятные для них.

Фредерик больше не посещал Дамбрёзов. У него не было денег. Потребовались бы бесконечные объяснения; он не знал,

на что решиться. Пожалуй, он был и прав. Теперь ни в чем нельзя быть уверенным, в каменноугольной компании — не более, чем в чем-либо другом; надо порвать с этим кругом; Делорье окончательно уговорил его не пускаться в это предприятие. Ненависть делала его добродетельным; к тому же Фредерика он предпочитал видеть небогатым. Так они оставались на равной ноге и в более тесном общении друг с другом.

Поручение м-ль Рокк было исполнено очень неудачно. Ее отец написал об этом Фредерику, давая новые, самые подробные указания и заканчивая письмо следующей шуткой: «Боюсь, что вам придется потрудиться, как негру».

Фредерику оставалось самому идти к Арну. Он вошел в магазин, там никого не оказалось. Торговый дом готов был рухнуть, приказчики в своей нерадивости не уступали патрону.

Он прошел вдоль длинных полок, уставленных фаянсовой посудой и занимавших всю середину помещения, а подходя к прилавку, который находился в самой глубине, стал ступать как можно тяжелее, чтобы кто-нибудь слышал его шаги.

Приподнялась портьера, и явилась г-жа Арну.

— Как! Это вы! Вы здесь!

— Да,— пробормотала она, несколько смущенная.— Я искала...

На конторке он заметил ее носовой платок и догадался, что к мужу она зашла, наверно, чем-нибудь обеспокоенная, в надежде выяснить недоразумение.

— Но... вам, может быть, нужно что-нибудь? — спросила она.

— Так, безделицу, сударыня.

— Эти приказчики невыносимы! Вечно они куда-то уходят. Зачем порицать их? Он, напротив, рад этому стечению обстоятельств.

Она с иронией посмотрела на него:

— Ну, а как же свадьба?

— Какая свадьба?

— Ваша!

— Моя? Да никогда в жизни!

Она жестом выразила свое недоверие.

— А даже если бы и так? Мы ищем прибежища в посредственности, отчаявшись в той красоте, о которой мечтали!

— Однако не все ваши мечты были так... невинны!

— Что вы хотите этим сказать?

— Но если вы ездите на скачки с такими... особами!

Он проклял Капитаншу. На помощь ему пришла память.
— Но ведь когда-то вы сами просили меня встречаться с ней ради Арну!

Она ответила, покачав головой:

— И вы воспользовались случаем, чтобы поразвлечься.

— Боже мой! Не стоит думать об этих глупостях!

— Вы правы, раз вы собираетесь жениться!

И, кусая губы, она подавила вздох.

Тогда он воскликнул:

— Но я же повторяю вам, что это не так! Неужели вы можете поверить, что я, с моими духовными запросами, моими привычками, зароюсь в провинции, чтобы играть в карты, присматривать за рабочими на постройке и разгуливать в деревянных башмаках? И чего ради? Вам сказали, что она богата, ведь так? Ах, деньги для меня ничто! Если я стремился к самому прекрасному, самому пленительному, к раю, принявшему человеческий облик, и если я, наконец, нашел его, нашел этот идеал, если видение его скрывает от меня все остальное...

И, обеими руками охватив ее голову, он стал целовать ее в глаза и повторял:

— Нет, нет, нет! Я никогда не женюсь! Никогда! Никогда!

Она принимала эти ласки, замирая от изумления и восторга.

Хлопнула наружная дверь магазина. Г-жа Арну отскочила и вытянула руку, словно приказывая ему молчать. Шаги приближались. Потом кто-то спросил из-за двери:

— Сударыня, вы здесь?

— Войдите!

Когда счетовод отворил дверь, г-жа Арну стояла, облокотясь на прилавок, и спокойно вертела перо между пальцами.

Фредерик встал.

— Честь имею кланяться, сударыня! Сервиз будет готов, не правда ли? Могу рассчитывать?

Она ничего не ответила. Но молчаливое сознание сообщества зажгло ее лицо всеми оттенками румянца, какие только знает прелюбодеяние.

На следующий день Фредерик снова пошел к ней; его приняли, и, желая воспользоваться достигнутым, он сразу же, без всяких отступлений, начал оправдываться в том, что было на Марсовом поле. С этой женщиной он оказался совершенно случайно. Допустим, что она красива (на самом деле это не так), — как может она хоть на минуту завладеть его мыслями, если он любит другую?

— Вы же это знаете, я вам говорил.

Госпожа Арну опустила голову.

— Очень жаль, что говорили.

— Почему?

— Простое чувство приличия требует теперь, чтобы я больше с вами не встречалась!

Он стал уверять ее, что любовь его чиста. Прошное служит порукой за будущее; он дал себе слово не тревожить ее жизнь, не волновать своими жалобами.

— Но вчера мое сердце не выдержало.

— Мы больше не должны вспоминать об этой минуте, друг мой!

Однако что же тут дурного, если общая печаль сольет воедино два бедных существа?

— Ведь вы тоже несчастливы! О! Я знаю. У вас нет никого, кто утолял бы вашу потребность в любви, в преданности. Я буду делать все, что вы хотите! Я вас не оскорблю... клянусь вам!

И он упал на колени, невольно склоняясь под бременем чувства, слишком для него тяжелым.

— Встаньте! — сказала она. — Я приказываю!

И она властно объявила ему, что он никогда больше не увидит ее, если не повинуется сейчас же.

— Ах, меня не пугают ваши угрозы! — ответил Фредерик. — Что мне делать в этом мире? У других все помыслы направлены на добывание денег, славы, власти! У меня нет положения в свете, вы — мое единственное занятие, все мое богатство, цель, средоточие моей жизни, моих мыслей. Без вас я не могу жить, как без воздуха! Разве вы не чувствуете, как моя душа рвется к вашей душе, не чувствуете, что они должны слиться и что я умираю?

Госпожа Арну задрожала всем телом.

— О, уйдите! Прошу вас!

Растерянность, написанная на ее лице, остановила его. Он сделал шаг к ней. Но она отступила, сложив руки.

— Оставьте меня! Ради бога! Сжальтесь!

И такой сильной была в нем любовь, что он ушел.

Вскоре же он рассердился на себя, обозвал себя дураком, через сутки снова отправился к ней.

Госпожи Арну не было дома. Он стоял на площадке лестницы, ошеломленный бешенством, возмущением. Показался Арну и сообщил, что жена утром уехала в Отейль — пожить в загородном домике, который они там снимают с тех пор, как была продана их дача в Сен-Клу.

— Обычные ее причуды! Что же, ей это удобно... да и мне, в сущности, тоже. Пускай! Пообедаем сегодня вместе?

Фредерик, сославшись на неотложное дело, поспешил в Отейль.

Госпожа Арну от радости вскрикнула. И все его негодование испарилось.

Он не заговорил о своей любви. Чтобы внушить ей больше доверия, он даже преувеличивал свою сдержанность, и когда он спросил, можно ли ему снова приехать, она ответила: «Ну, конечно», — и протянула ему руку, но тотчас же отдернула ее.

С этого дня наезды Фредерика участились. Кучеру он всякий раз сулил побольше на водку. Но часто, когда медленная езда выводила его из терпения, он выскакивал из экипажа, потом, запыхавшись, влезал в омнибус; и с каким презрением оглядывал он лица пассажиров, которые сидели против него и ехали не к ней!

Дом ее он узнавал издали по огромной жимолости, взбиравшейся на один из скатов крыши. Это было нечто вроде швейцарского шале, покрашенного в красный цвет, с балкончиком. В саду росли три старых каштана, а посередине на холмике подымался, поддерживаемый обрубком дерева, соломенный зонтик; местами, цепляясь за черепицы стен, ползла густая виноградная лоза, плохо прикрепленная, свисавшая, точно сгнивший канат. Туго натянутый звонок у калитки дребезжал; долго не открывали. Фредерик каждый раз испытывал тревогу, безотчетный страх.

Наконец, шлепая туфлями по песку, выходила служанка или появлялась сама г-жа Арну. Как-то раз, когда он пришел, она спиной к нему стояла на коленях в траве и искала фиалки.

Дочь, из-за ее дурного характера, пришлось отдать в монастырский пансион; мальчуган днем бывал в школе; у Арну много времени отнимали завтраки в Пале-Рояле в обществе Режембара и дружищи Компена. Им не грозило появление незваного гостя.

Они твердо решили, что не должны принадлежать друг другу. Это решение, предохранявшее их от всякой опасности, облегчало сердечные излияния.

Она рассказала ему о своей прежней жизни в Шартре, у матери, о том, какая набожная она была в двенадцать лет, как потом увлекалась музыкой и до поздней ночи пела у себя в комнате, окно которой выходило на крепостной вал. Он рассказал ей о своей меланхолии в школьные годы и о том, как в его поэ-

тических мечтах сиял образ женщины; вот почему, увидев ее впервые, он ее сразу узнал.

Обыкновенно они в своих беседах касались только тех лет, когда уже были знакомы. Он вспоминал о разных мелочах, о том, какого цвета было ее платье тогда-то, кто приходил к ней в такой-то день, что она говорила, и она, в полном восхищении, отвечала ему:

— Да, помню!

У них были одинаковые вкусы, суждения. Нередко тот из них, кто слушал, восклицал:

— Я тоже!

А другой, в свою очередь, повторял:

— И я тоже!

Потом раздавались бесконечные сетования на провидение:

— Зачем не угодно было небу?.. Если бы мы встретились раньше!..

— Ах, если бы я была моложе! — вздыхала она.

— Нет, мне бы надо было быть постарше!

И их воображению рисовалась жизнь, занятая только любовью, столь богатая смыслом, что ею заполнилось бы и самое глубокое одиночество, не сравнимая ни с какой радостью, побеждающая всякое горе, — жизнь, где время исчезало бы в непрестанном излиянии чувств, нечто ослепительное и возвышенное, как мерцание звезд.

Они почти всегда сидели на открытом воздухе, на крыльце дома; верхушки деревьев, тронутых осенней желтизной, неровными рядами тянулись вдаль, вплоть до бледной полосы горизонта. Или же они доходили до конца аллеи и садились в беседке, где не было другой мебели, кроме серого, обитого холстом дивана. Зеркало было усеяно черными точками; от стен пахло плесенью; и они засиживались здесь, увлеченно беседуя о себе, о других, обо всем на свете. Иногда лучи солнца, прорываясь сквозь ставни, протягивались от пола до потолка, подобные струнам лиры, пылинки кружились вихрем в этих сверкающих полосах. Г-жа Арну забавлялась тем, что рассекала их движением руки; Фредерик осторожно брал эту руку и рассматривал сплетение вен, оттенок кожи, форму пальцев. Каждый из них был для него почти живым существом.

Она подарила ему свои перчатки, а неделю спустя носовой платок. Она звала его «Фредерик», он ее звал «Мария», поклоняясь этому имени, созданному, как он говорил, для того, чтобы его, вздыхая, шептали в минуты экстаза, — имени, которое словно заключало в себе облака фимиама, лепестки роз,

Они, наконец, стали заранее назначать дни свиданий; будто невзначай выходя из дому, она шла по дороге навстречу ему.

Она не старалась распалять его любовь, погруженная в ту беззаботность, которая отличает истинное счастье. Она в то время постоянно носила коричневый шелковый капот, обшитый по краям бархатом такого же цвета, — удобную, просторную одежду, которая шла к мягкости ее движений и серьезному выражению лица. К тому же для нее начиналась осенняя пора женской жизни, пора нежности и размышлений, когда зрелость зажигает взгляд пламенем более глубоким, когда сила чувства сочетается с опытом жизни, и человеческое существо, достигнув своего последнего расцвета, расточает сокровища гармонии и красоты. Никогда раньше в ней не было такой мягкости, такой снисходительности. Уверенная в том, что падение не совершится, она отдавалась чувству, право на которое, как ей казалось, было завоевано пережитыми огорчениями. Притом оно было так чудесно, так ново! Какая пропасть между грубостью Арну и поклонением Фредерика!

Он боялся сказать лишнее слово, которое могло отнять у него все, чего, как ему казалось, он добился, и говорил себе, что счастливый случай может представиться снова, но что сказанную глупость поправить нельзя. Он хотел, чтобы она сама отдалась ему, и не думал принуждать ее. Он наслаждался уверенностью в ее любви, словно предвкушая миг обладания, и прелесть ее больше волновала его душу, чем чувство. То было неизъяснимое блаженство, такое упоение, что он забывал о самой возможности полного счастья. В разлуке с ней его терзали страстные желания.

Вскоре их беседы стали прерываться долгими минутами молчания. Иногда, как бы стыдясь своего пола, они краснели. Все предосторожности, которыми они пытались скрыть свою любовь, говорили о ней; чем сильнее она разгоралась, тем они были сдержаннее. Это упражнение во лжи обострило их чуткость. Они бесконечно наслаждались запахом влажной листвы, страдали, если дул восточный ветер, переживали беспричинные волнения, поддавались зловещим предчувствиям; звук шагов, треск половицы пугал их, как будто они были виновны; они чувствовали, что их влечет к пропасти; их окутывала грозная атмосфера, и если сокрушался Фредерик, она обвиняла себя.

— Да, я поступаю нехорошо! Можно подумать, что я кокетка! Не приезжайте больше!

Тогда он повторял прежние клятвы, которые она каждый раз слушала с радостью.

Ее возвращение в Париж и новогодние хлопоты прервали на время их встречи. Когда он снова посетил ее, в его манерах появилось что-то более решительное. Она каждую минуту выходила, распоряжаясь по хозяйству, и, несмотря на его просьбы, принимала всех этих буржуа, навещавших ее. Разговоры шли о Леотаде, г-не Гизо, папе, восстании в Палермо и банкете 12-го округа, который внушал беспокойство. Фредерик отводил душу, возмущаясь правительством, ибо ему, так же как и Делорье, хотелось всеобщего переворота, — до того он был озлоблен теперь. Хмурилась и г-жа Арну.

Муж ее не знал удержу в сумасбродствах, содержал одну из работниц своей фабрики, ту самую, которую называли бордоской. Г-жа Арну сама сообщила об этом Фредерику. Отсюда ему хотелось извлечь вывод в свою пользу: «Ведь ей же изменяют».

— О, меня это нисколько не волнует, — сказала она.

Этот ответ, как ему казалось, окончательно упрочивал их близость. Нет ли подозрений у Арну?

— Нет! Теперь нет!

И она рассказала ему, что однажды вечером, оставив их наедине, он потом вернулся, подслушивал у двери, а так как они разговаривали о вещах безразличных, то с тех пор его и не покидало полнейшее спокойствие.

— И ведь он прав, — с горечью сказал Фредерик.

— Да, конечно!

Ей лучше было бы удержаться от этих слов.

Однажды ее не оказалось дома в такое время, когда он обычно к ней приходил. Для него это было словно измена.

Другой раз его раздосадовало то, что цветы, которые он ей приносил, всегда оставались в стакане с водой.

— Где же им быть, по-вашему?

— О, только не здесь! Впрочем, тут им, пожалуй, не так холодно, как у вашего сердца.

Несколько дней спустя он упрекнул ее в том, что накануне она ездила в Итальянскую оперу и не предупредила его. Другие видели ее, любовались ею, быть может, влюблялись в нее. Фредерик не отказывался от своих подозрений только потому, что хотел ее упрекнуть, помучить, — он начинал ненавидеть ее и считал вполне естественным, чтоб и ей досталась доля его страданий!

Однажды днем (это было в середине февраля) он застал ее в большом волнении. Эжен жаловался на боль в горле. Однако доктор сказал, что это пустяки, сильная простуда, грипп. Фредерик был удивлен, что ребенок какой-то сонный. Все же он

постарался успокоить мать, привел в пример нескольких малышей, которые перенесли такую же болезнь и скоро выздоровели.

— Правда?

— Ну да, разумеется!

— Какой вы добрый!

И она взяла его за руку. Он сжал ее руку в своей.

— Ах, оставьте!

— Что же в этом дурного, ведь вы протянули ее утешителю! Вы мне верите, когда я говорю вот такие вещи, и сомневаетесь во мне... когда я говорю о моей любви!

— Я не сомневаюсь, мой бедный друг!

— Почему же такая недоверчивость? Как будто я негодяй, как будто могу злоупотребить...

— О нет!

— Если бы только у меня было доказательство!..

— Какое доказательство?

— Такое, которое дают первому встречному, которое когда-то вы давали и мне.

И он ей напомнил, что как-то раз они вместе шли по улице в зимних сумерках, в тумане. Давно все это было! Кто же мешает ей появиться под руку с ним совершенно открыто, так, чтобы у нее не было опасений, а у него — никакой задней мысли, чтобы никто не мешал им?

— Хорошо! — ответила она с такой отвагой, так решительно, что Фредерик в первое мгновение изумился.

Но он тотчас же подхватил:

— Хотите, я буду ждать вас на углу улицы Тронше и улицы Ферм?

— Боже мой! Друг мой... — бормотала г-жа Арну.

Не давая ей времени подумать, он прибавил:

— Значит, во вторник?

— Во вторник?

— Да, между двумя и тремя!

— Приду!

И она, покраснев, отвернулась. Фредерик коснулся губами ее затылка.

— О! Это нехорошо, — сказала она. — Вы заставите меня раскаяться.

Он поспешил уйти, опасаясь обычной женской изменчивости. Уже в дверях он ласково прошептал, как будто все было решено:

— До вторника!

Она скромно и покорно опустила свои прекрасные глаза.

У Фредерика возник особый план.

Он надеялся, что дождь или палящее солнце дадут ему случай укрыться с ней в какие-нибудь ворота и что, зайдя в ворота, она согласится войти и в дом. Трудность заключалась в том, чтобы найти что-нибудь подходящее.

Он пустился в поиски и в середине улицы Тронше уже издали увидел вывеску: «Меблированные комнаты».

Лакей, отгадав его намерение, сразу же показал ему на антресолях две комнаты — спальню и кабинетик, с двумя выходами. Фредерик снял их на месяц и заплатил вперед.

Потом он побывал в магазинах и купил самых редких духов, достал кусок поддельного гипюра, чтобы заменить им отвратительное красное стеганное одеяло, выбрал пару голубых атласных туфель. Лишь опасение показаться грубым удержало его от дальнейших покупок. Он принес все купленное и, набожнее, чем если бы ему приходилось украшать алтарь, переставил мебель, сам повесил занавески, на камин поставил вереск, а на комод фиалки. Ему хотелось бы золотом выложить весь пол. «Это будет завтра, — твердил он себе, — да, завтра! Это не сон». И он чувствовал, как сильно бьется в бреду надежды его сердце. А когда все было сделано, он ушел, спрятав ключ в карман, точно счастье, дремавшее там, могло улететь.

Дома его ждало письмо от матери.

«Почему тебя так долго нет? Твое поведение начинает вызывать насмешки. Я понимаю, что, готовясь вступить в этот брак, ты до известной степени мог поддаться нерешительности. Но все-таки обдумай!»

И она сообщала точные сведения: сорок пять тысяч ливров дохода. Впрочем, уже «шли разговоры», и г-н Рокк ждал окончательного ответа. Что касается девушки, то положение ее в самом деле было неудобное. «Она тебя очень любит».

Фредерик бросил письмо, не дочитав, и распечатал другое — записку от Делорье.

«Дружище,

Груша созрела. Согласно твоему обещанию, мы рассчитываем на тебя. Собираемся завтра ранним утром на площади Пантеона. Зайди в кафе Суффло. Мне надо поговорить с тобой до манифестации».

«О, знаю я их манифестации! Слуга покорный! Мне предстоит встреча более приятная».

На другой день Фредерик в одиннадцать часов утра вышел из дому. Ему хотелось окончательно удостовериться, все ли приготовлено; к тому же — как знать! — она могла случайно выйти раньше него? Дойдя до улицы Тронше, он услышал крики, доносившиеся из-за собора св. Магдалины: он прошел дальше и в самом конце площади, с левой стороны, увидел людей в блузах и несколько обывателей.

Действительно, объявление, напечатанное в газетах, приглашало собраться на этом месте всех, желавших участвовать в банкете реформистов. Правительство почти сразу выпустило воззвание, которым запрещало его. Накануне вечером парламентская оппозиция от него отказалась; но патриоты, не зная об этом решении своих вождей, явились на место сбора, сопровождаемые множеством зевак. Депутация от студентов только что отправилась к Одилону Барро. Она сейчас находилась в министерстве иностранных дел, и не было известно, состоится ли банкет, осуществит ли правительство свою угрозу, появится ли национальная гвардия. Депутаты возбуждали такое же недовольство, как и правительство. Толпа все возрастала, воздух огласился вдруг звуками «Марсельезы».

Это приближалась колонна студентов. Они шагали в ногу, по два в ряд, в полном порядке, с возбужденными лицами, без перчаток, и время от времени все разом кричали:

— Да здравствует реформа! Долой Гизо!

Конечно, приятели Фредерика должны были быть здесь. Они могли заметить его и увлечь с собою. Он поспешил скрыться за угол улицы Аркад.

Студенты, два раза обойдя собор св. Магдалины, направились к площади Согласия. Здесь было полно народа, и густая толпа издали казалась волнующейся черной нивой.

В ту же минуту слева от церкви выстроились в боевом порядке войска.

Между тем толпа не двигалась. Чтобы положить этому конец, полицейские, одетые в штатское, уже хватали, не стесняясь, самых задорных и уводили их в участок. Фредерик, несмотря на все свое возмущение, не вмешивался; его могли бы забрать вместе с прочими, и он не встретился бы с г-жой Арну.

Немного спустя показались каски муниципальной гвардии. Размахивая саблями, солдаты наносили удары плашмя. Упала одна из лошадей; ее бросились поднимать, а как только всадник снова оказался в седле, все пустились прочь.

Но вот наступила полная тишина. Мелкий дождь, смочивший асфальт, перестал. Тучи рассеялись, их разогнал слабый западный ветер.

Фредерик стал расхаживать по улице Тронше, все время оглядываясь.

Пробило наконец два часа.

«Ах, теперь ей пора! — подумал он. — Она выходит из дому, она идет сюда». Прошла минута. «Она могла бы уже быть здесь». До трех часов он пытался успокоить себя: «Нет, она не опоздает. Немножко терпения!»

От нечего делать он рассматривал магазины, которых здесь было немного: лавку книготорговца, седельщика, магазин траурного платья. Вскоре он уже изучил заглавия всех книг, все виды упряжи, все материи. Торговцы, заметив, что он без конца ходит взад и вперед, сперва удивились, потом испугались и закрыли свои лавки.

Наверное, ей что-нибудь помешало, и ее это мучает тоже. Но какая радость ждет их сейчас! Она придет, в этом не может быть сомнений! «Ведь она обещала!» Однако им овладела невыносимая тоска.

Он вернулся в меблированные комнаты, как будто она могла быть там, — нелепая мысль! Но, быть может, в эту минуту она уже идет к нему. Он бросился обратно. Никого! И он снова зашагал по тротуару.

Он рассматривал трещины в мостовой, отверстия водосточных труб, фонари, номера на воротах. Незначительнейшие предметы превращались для него в товарищей или, вернее, в насмешливых свидетелей, и ровные фасады домов казались ему беспощадными. Ноги озябли. Он чувствовал себя разбитым, изнемогающим. Звук собственных шагов отдавался в его мозгу.

Когда он увидел, что на часах четыре, то почувствовал, что у него кружится голова, на него напал страх. Он пытался повторять стихи, делал вычисления, придумывал какую-нибудь историю. Ничего не выходило: его преследовал образ г-жи Арну. Ему хотелось бежать ей навстречу. Но какой путь избрать, чтобы не разойтись?

Он подошел к посыльному, сунул ему в руку пять франков и поручил сбегать на улицу Паради к Жаку Арну, узнать у привратника, дома ли барыня. А сам стал на перекрестке улицы Ферм и улицы Тронше, чтобы видеть одновременно и ту и другую. Вдали, на бульваре, двигались какие-то темные толпы. Порою он различал драгунский султан или женскую шляпку и, чтобы разглядеть ее, напрягал зрение. Оборванный мальчик-

савояр, показывавший сурка в ящике, улыбаясь, попросил у него милостыни.

Посыльный в плисовой куртке вернулся. «Привратник сказал, что она не выходила». Кто задержал ее? Если бы она была больна, привратник сообщил бы. Может быть, гость? Можно не принимать, чего проще! Он ударил себя по лбу. «Ах, какой я дурак! Все дело в беспорядках!» Это простое объяснение его успокоило. Потом он внезапно сказал себе: «Но ведь в ее квартале спокойно». И страшное сомнение овладело им. «Что, если она не придет? Если, давая это обещание, она хотела только избавиться от меня?.. Нет, нет! Помешал ей, наверно, какой-нибудь необыкновенный случай, одно из тех событий, которые никак нельзя предусмотреть. Но тогда она бы написала». И он послал слугу из меблированных комнат к себе на дом, на улицу Ремфор, узнать, нет ли письма.

Писем не приносили. Это отсутствие новостей его успокоило.

Он начал гадать, беря за примету лицо прохожего, масть лошади, количество монет, наудачу выхваченных из кармана, а если предсказание было неблагоприятно, старался не верить ему. В припадках озлобления он вслух, но вполголоса, ругал г-жу Арну. Потом наступала такая слабость, что он почти терял сознание, и вдруг снова приливала надежда. Она сейчас появится. Она здесь, за его спиной. Он оборачивался — никого! Один раз он шагах в тридцати заметил женщину такого же роста, одетую так же, как она. Он догнал ее — то была не она! Пробило пять часов! Половина шестого, шесть! Зажигали газ. Г-жа Арну не пришла.

Минувшей ночью ей приснилось, что она давно уже стоит на тротуаре улицы Тронше. То, чего она ждала здесь, было нечто неопределенное, однако значительное, и, сама не зная почему, она боялась быть замеченной. Но какая-то проклятая собачонка, озлясь на нее, хватала ее зубами за подол. Собачонка все кидалась и лаяла все громче. Г-жа Арну проснулась. Лай продолжался. Она прислушалась. Звук доносился из детской. Она бросилась туда босиком. Это кашлял ребенок. Руки у него были в огне, лицо красное, а голос до странности хриплый. Дыхание ребенка с каждой минутой становилось труднее. Склонившись над ним, она до самого утра не спускала с него глаз.

В восемь часов барабан национальной гвардии возвестил г-ну Арну, что товарищи его ждут. Он живо оделся и ушел, обещав сразу же зайти к их врачу, г-ну Коло. В десять часов г-на Коло все еще не было, и г-жа Арну послала за ним гор-

ничную. Доктор оказался в отъезде, в деревне, а молодой человек, заменявший его, уже ушел навещать больных.

Голова Эжена, лежавшая на подушке, свесилась на сторону, брови были нахмурены, ноздри раздувались; его жалкое личико было бледнее простыни, а из горла с каждым вздохом вырывался свист, все более короткий, сухой, как бы металлический. Его кашель напоминал лай, какой издают игрушечные картонные собаки, у которых внутри действует грубая машинка.

Госпожой Арну овладел ужас. Она бросилась к звонкам, звала на помощь, кричала:

— Доктора! Доктора!

Через десять минут явился пожилой господин в белом галстуке, с седыми, хорошо подстриженными бакенбардами. Он задал множество вопросов о привычках, возрасте и характере юного пациента, осмотрел ему горло, приложил ухо к спине и прописал рецепт. Спокойствие этого человека вызывало отвращение. Он напоминал бальзамировщика. Ей хотелось его избить. Он сказал, что зайдет вечером.

Страшные приступы кашля вскоре возобновились. По временам ребенок вдруг приподымался. От судороги грудные мышцы напрягались, и когда он вдыхал воздух, живот втягивался, как при быстром беге. Потом он снова падал назад, запрокинув голову, широко раскрыв рот. Г-жа Арну с бесконечными предосторожностями пыталась заставить его проглотить содержимое склянок — сироп ипекакуаны, керметизованную микстуру. Но он отталкивал ложку и слабым голосом стонал. Казалось, что он пытается выдохнуть какие-то слова.

Время от времени она перечитывала рецепт. Примечания к нему пугали ее — в аптеке, может быть, ошиблись.

Собственное бессилие приводило ее в отчаяние. Явился помощник г-на Коло.

Это был молодой человек, новичок, державшийся скромно и не утаивший своего впечатления. Боясь сделать какую-нибудь оплошность, он не знал, на что решиться, и наконец прописал лед. Его долго не могли достать. Пузырь с кусочками льда лопнул. Ребенку пришлось поменять рубашку. Вся эта передряга вызвала новый приступ кашля, еще более страшный.

Ребенок старался разорвать воротник рубашки, как будто хотел убрать то, что его душило; он царапал стену, хватался за полог кровати, ища точки опоры, чтобы вздохнуть. У него посинело лицо и все тельце, мокрое от холодного пота, словно похудело. Его растерянные, полные ужаса глаза уставились на

мать. Он обхватил руками ее шею, судорожно повис на ней, а она, подавляя рыдания, шептала ему нежные слова:

— Да, любовь моя, ангел мой, сокровище мое!..

Потом он затих.

Она принесла игрушки, полишинеля, картинки, разложила все это на одеяле, чтобы развлечь его. Она пробовала даже петь.

Она запела песню, которой когда-то убаюкивала его, запев на этом самом креслице, покрытом ковром. Но вдруг по всему его телу пробежала дрожь, точно волна, которую гонит ветер; глаза выступили из орбит; она решила, что он умирает, и отвернулась, чтобы не видеть.

Через минуту она пересилила себя и взглянула. Он был еще жив. Часы шли за часами, тяжелые, угрюмые, бесконечные, и каждая минута была для нее минутой агонии. Кашель, от которого сотрясалась грудь ребенка, подбрасывал его, словно затем, чтобы разбить; наконец его вырвало чем-то странным, похожим на пергаментный сверток. Что бы это было? Она вообразила, что это кусок кишки. Но он дышал теперь свободно и ровно. Это кажущееся улучшение испугало ее больше, чем все остальное; она стояла, словно окаменев, свесив руки, неподвижно глядя в одну точку; тут появился г-н Коло. Ребенок, по его словам, был спасен.

Она сперва даже не поняла и заставила повторить себе эту фразу. Не были ли это просто слова утешения, принятые у врачей? Но доктор ушел вполне успокоенный. Тогда ею овладело такое чувство, как будто веревки, стягивавшие ей сердце, развязались.

— Спасен?! Неужели?!

Внезапно мелькнула мысль о Фредерике, отчетливая и безжалостная. То было предостережение свыше. Но господь в своем милосердии не захотел покарать ее навеки! Если бы она не отказалась от этой любви, какое наказание ждало ее в будущем! Наверное, ее сына оскорбляли бы из-за нее, и г-жа Арну представила его себе юношей, раненым на поединке, лежащим на носилках, при смерти. Она бросилась к низкому стулу и, упав на колени, вложив в молитву всю силу, устремясь всей душою к небесам, принесла в жертву богу свою первую страсть, свою единственную слабость.

Фредерик вернулся домой. Он сидел в кресле, даже не имея сил проклинать ее. Им овладела какая-то дремота; сквозь кошмар он слышал шум дождя, и ему казалось, что он все еще стоит там, на тротуаре.

На следующее утро, в последний раз поддавшись малодушию, он снова отправил к г-же Арну посыльного.

То ли он не исполнил как следует поручения Фредерика, то ли ей надо было сказать так много, что не хватило бы слов,— но Фредерик получил тот же ответ. Вызов был слишком дерзким! В нем заговорили и гордость и гнев. Он поклялся, что будет подавлять в себе всякое вожделение, и вот, как листок, подхваченный бурей, исчезла его любовь. Он ощутил облегчение, стоическую радость, потом — жажду деятельности, бурной, кипучей, и пошел без цели бродить по улицам.

Жители предместий проходили с ружьями, старыми саблями, некоторые были в красных колпаках, и все распевали «Марсельезу» или «Жирондистов». На каждом шагу попадался национальный гвардеец, спешивший в свою мэрию. Вдали звучал барабан. Сражались у ворот Сен-Мартен. В воздухе была какая-то бодрость и воинственность. Фредерик шел дальше. Волнение великого города веселило его.

Проходя мимо Фраскати, он увидел окна Капитанши; дикая мысль пришла ему в голову, проснулась молодость. Он перешел бульвар.

Запирали ворота, а Дельфина, горничная, углем писала на них: «Оружие сдано».

— Ах, с барыней что творится! Нынче утром она прогнала своего грума, он ей надерзил. Ей кажется, что всех будут грабить! Она умирает со страху! И ведь барин уехал!

— Какой барин?

— Князь!

Фредерик пошел в будуар. Капитанша появилась в нижней юбке, с распущенными волосами, вне себя.

— О, благодарю! Ты спасаешь меня! Это уже второй раз! И никогда не требуешь награды!

— Прошу извинить! — сказал Фредерик, обвив ее стан обеими руками.

— Что такое? Что ты делаешь?.. — пробормотала Капитанша, удивленная и вместе обрадованная таким обращением.

Он ответил:

— Следую политической моде, ввожу реформу.

Не сопротивляясь ему, она упала на диван; он осыпал ее поцелуями, она продолжала смеяться.

Остаток дня они провели у окна, глядя на улицу, полную народа. Потом он повез ее обедать к «Трем провансальским братьям». Обед был длинный, изысканный. Домой пошли пешком, за отсутствием экипажей.

Весть о смене министерства изменила облик Парижа. Все радовались; появились гуляющие; а от фонариков, которые зажглись в каждом этаже, было светло, как днем. В казармы возвращались солдаты, измученные, унылые. Их приветствовали криками: «Да здравствует армия!» Они, не отвечая, продолжали путь. Напротив, офицеры национальной гвардии, красные от восторга, размахивали саблями и орали: «Да здравствует реформа!» — и слова эти каждый раз вызывали у влюбленных смех. Фредерик шутил, был очень весел.

На бульвары они вышли по улице Дюфо. Венецианские фонарики на фасадах тянулись огненными гирляндами. Внизу толпа смутно копошилась; местами в сумраке светлыми бликами посверкивали штыки. Стоял гул. Толпа была слишком густая, вернуться прямым путем было невозможно; и они уже сворачивали на улицу Комартена, как вдруг за их спиной раздался треск, точно разрывали огромный кусок шелковой материи. То была пальба на бульваре Капуцинок.

— Ах, подстрелили какого-нибудь буржуа, — сказал Фредерик вполне спокойно, ибо в жизни бывают положения, когда существо, наименее жестокое, настолько оторвано от других людей, что даже гибель всего рода человеческого не взволновала бы его.

У Капитанши, цепко ухватившейся за его руку, стучали зубы. Она объявила, что не в состоянии пройти и двадцати шагов. Тогда, в порыве утонченной ненависти, чтобы как можно сильнее оскорбить в душе г-жу Арну, он привел ее в меблированные комнаты на улице Тронше, в спальню, приготовленную для другой.

Цветы еще не завяли. Гипюровая накидка лежала на постели. Он вынул из шкафа туфельки. Розанетта осталась довольна такой нежной заботливостью.

Около часа ночи ее разбудил отдаленный барабанный бой, и она увидела, что он рыдает, спрятав лицо в подушку.

— Что с тобой, любимый?

— Это от избытка счастья, — ответил Фредерик. — Я слишком долго тебя желал,

I

Он внезапно проснулся от ружейных выстрелов и, несмотря на настояния Розанетты, непременно захотел посмотреть, что происходит. Он шел по Елисейским полям, в том направлении, откуда раздались выстрелы. На углу улицы Сент-Оноре ему встретились люди в блузах, кричавшие:

— Нет, не сюда! В Пале-Рояль!

Фредерик пошел за ними. Ограда у церкви Вознесения была сломана. Далее он заметил посреди улицы три булыжника,— должно быть, начало сооружения баррикады,— затем осколки бутылок и пучки проволоки, которые должны были помешать движению кавалерии; вдруг из переулка выскочил бледный высокий юноша с черными волосами, развевающимися по плечам, в фуфайке с цветными горошинами. Он держал длинное солдатское ружье и бежал на цыпочках, в туфлях, похожий на лунатика, проворный, как тигр. Время от времени слышны были выстрелы.

Накануне вечером, когда показалась фура с пятью трупами, подобранными на бульваре Капуцинок, настроение народа изменилось, и пока в Тюильри сменялись адъютанты, г-н Моле, собиравшийся составить новый кабинет, все не возвращался, а г-н Тьер пытался составить другой, король же строил козни, колебался и назначил Бюжо главнокомандующим, чтобы тотчас же помешать ему взяться за дело,— восстание, словно направляемое одной рукой, грозно надвигалось. На перекрестках какие-то люди с неистовым красноречием взывали к толпе, другие изо всей мочи били в набат, отливали пули, набивали патроны; деревья на бульварах, общественные уборные, скамейки, решетки, фонари — все было разрушено, опрокинуто. К утру Париж покрылся баррикадами. Сопротивление вскоре было

сломлено; всюду вмешивалась национальная гвардия; к восьми часам народ, местами даже без боя, завладел уже пятью казармами, почти всеми мэриями, самыми надежными стратегическими пунктами. Монархия сама собой, без всяких потрясений, быстро распадалась, и толпа вела теперь осаду участка у фонтана Шато д'О, чтобы освободить пятьдесят узников, которых там не было.

Подойдя к площади, Фредерик поневоле должен был остановиться. Она была полна вооруженных людей. Отряды пехоты занимали улицы Святого Фомы и Фроманто. Вход на улицу Валуа заграждала огромная баррикада. Дым, раскачивавшийся над ее гребнем, рассеялся; стало видно, как по ней бегут люди, широко размахивая руками; они скрылись; потом пальба возобновилась. Из полицейского участка отвечали, но внутри никого не было видно; в дубовых ставнях, защищавших окна, были сделаны бойницы, и все двухэтажное здание, с двумя флигелями, узенькой дверью посередине и бассейном внизу уже начинало усеиваться белыми пятнышками — от пуль. На трех ступеньках крыльца никто не появлялся.

Рядом с Фредериком какой-то человек во фригийском колпаке и фуфайке, поверх которой надет был патронташ, ссорился с женщиной, повязанной полшелковым платком. Она твердила:

— Да вернись же! Вернись!

— Не приставай! — отвечал муж. — Можешь и одна посидеть в привратничкой. Гражданин, я вас спрашиваю: правильно я делаю? Я все разы свой долг выполнял — и в тысяча восемьсот тридцатом, и в тридцать втором, и в тридцать четвертом, и в тридцать девятом! Сегодня дерутся! И я должен драться! — Проваливай!

И жена привратника в конце концов уступила увещаниям мужа, которого поддержал национальный гвардеец, стоявший рядом с ними, мужчина лет сорока с добродушным лицом, окаймленным русой бородой. Он заряжал ружье и стрелял, продолжая разговаривать с Фредериком, невозмутимый среди мятежа, как садовник среди насаждений. Около него увивался юноша в холщовом переднике, чтобы получить от него патронов и пустить в ход свое ружье, превосходный охотничий карабин, подаренный ему «одним господином».

— Бери вон там, у меня за спиной, — сказал ему бородач, — и прячься, а то убьют!

Барабаны били атаку. Раздавались пронзительные возгласы, победное «ура». Толпа колыхалась, увлекаемая водоворотом,

Фредерик, попавший в самую гущу, не мог двинуться, захваченный этим зрелищем и чрезвычайно довольный. Раненые, которые падали, мертвецы, лежавшие на земле, не были похожи на настоящих раненых, на настоящих мертвецов. Ему казалось, что он смотрит спектакль.

Над зыблющейся толпой показался верхом на белой лошади под бархатным седлом старик в черном ффраке. В одной руке он держал зеленую ветвь, в другой — какую-то бумагу и упорно ими размахивал. Наконец, потеряв надежду быть услышанным, удалился.

Отряд пехоты исчез, и муниципальная гвардия одна защищала теперь участок. Смелчаки целым потоком ринулись на крыльцо; их перестреляли, подоспели другие, дверь, в которую ударяли железными болтами, гудела; муниципальная гвардия не сдавалась. Тогда к стене подкатили коляску, набитую сеном; она запылала, как гигантский ффакел. Приволокли хворосту, соломы, бочонок со спиртом. Огонь пополз вверх по камням стены, все здание начало дымиться, и широкие языки пламени с пронзительным свистом взвились над крышей, над перилами террасы. Второй этаж Пале-Рояля был битком набит национальными гвардейцами. Из всех окон, выходивших на площадь, раздавались выстрелы; пули свистели; вода, вырвавшаяся из пробитого бассейна, смешалась с кровью и образовала лужи; ноги, скользя в грязи, цеплялись за одежду, кивера, оружие; Фредерик ступил на что-то мягкое; то была рука сержанта в серой шинели, ничком лежавшего в канаве. Прибывали все новые толпы народа, подталкивая сражающихся впереди. Выстрелы участились. Винные лавки были открыты; время от времени туда заходили выкурить трубку, выпить кружку пива, потом снова шли драться. Завыла собака, отставшая от хозяина. И все захохотали.

Фредерик пошатнулся — человек, раненный пулей в бок, хрипя, упал к нему на плечо. Выстрел, направленный, может быть, в него, разъярил Фредерика, и он уже бросился вперед, но его остановил национальный гвардеец:

— Ни к чему это! Король бежал. О, если не верите, сами сходите посмотреть!

Это утверждение утихомирило Фредерика. На площади Карусели с виду было спокойно. Четко выделялся на ней, как всегда, Отель де Нант, а дома позади него, купол Лувра, видневшийся напротив, длинная деревянная галерея, которая тянулась справа, и пустырь, простиравшийся вплоть до ларьков уличных торговцев, — все это тонуло в серой дымке; а на другом

конце площади, освещенный резким лучом солнца, прорезавшим облака, возвышался фасад Тюильри, окна которого выступали белыми пятнами. У Триумфальных ворот лежал труп лошади. По ту сторону решетки стояли люди кучками по пять-шесть человек и разговаривали. Двери во дворец были открыты; слуги, стоявшие на пороге, пропускали всех.

В нижнем этаже, в маленькой зале, были приготовлены чашки кофе с молоком. Некоторые из числа зевак уселись за стол, шутили, другие продолжали стоять, в том числе какой-то извозчик. Он обеими руками схватил вазочку с сахарной пудрой, тревожно осмотрелся по сторонам и с жадностью стал есть сахар, все глубже засовывая в него нос. Внизу главной лестницы какой-то человек расписывался в книге. Фредерик узнал его по спине.

— А! Юссонэ!

— Ну да, — отвечал тот. — Я представляюсь ко двору. Какова штука! А?

— Не подняться ли наверх?

Они вошли в Маршалльский зал. Портреты славных мужей были в полной сохранности, за исключением портрета Бюжо, которому прокололи живот. Все они стояли, опершись на сабли на фоне пушек, в грозных позах, не соответствовавших моменту. На больших стенных часах пробило двадцать минут второго.

Вдруг раздалась «Марсельеза». Юссонэ и Фредерик свесились через перила. То пел народ. Толпа неслась вверх по лестнице, сливая в головокружительном потоке обнаженные головы, каски, красные колпаки, штыки и плечи, — неслась так безудержно, что люди исчезали в этих бурлящих волнах, которые поднимались с протяжным воем, как воды реки, гонимые могучим приливом в пору равноденствия. Наверху толпа рассеялась, и пение смолкло.

Теперь слышалось только топание башмаков, смешанное с всплесками человеческого говора. Толпа, совершенно безобидная, довольствовалась тем, что глазела. Но время от времени какой-нибудь локоть, которому было тесно, вышибал стекло, или валилась на пол стоявшая на столике ваза или статуэтка. Деревянные панели трещали. У всех лица были красные, пот струился по ним крупными каплями. Юссонэ заметил:

— А герои не очень-то благоухают!

— Ах, вы просто неспосны! — ответил Фредерик.

Толпа напирала на них, и они очутились в комнате, где под потолком был раскинут балдахин из красного бархата. Внизу, на троне, сидел чернобородый пролетарий в расстегнутой

рубашке, с лицом веселым и глупым, как у китайского болванчика. На возвышение поднимались и другие, чтобы посидеть на его месте.

— Это прямо из мифологии, — заметил Юссонэ. — Вот он — народ-властитель.

Кресло подняли, взяв за ручки, и понесли, раскачивая, через залу.

— Черт возьми, как его качает! Корабль государства носится по бурным волнам! Ну и канкан! Настоящий канкан!

Трон поднесли к окну и под свистки кинули вниз.

— Бедный старик! — сказал Юссонэ, глядя, как он упал в сад, где его быстро схватили, чтобы нести к Бастилии и там сжечь.

Всеми овладела неистовая радость, как будто исчезнувший трон уступил уже место безграничному будущему счастью, и народ стал рвать занавески, бить, ломать зеркала, люстры, подсвечники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель, уничтожая даже альбомы с рисунками и рабочие корзинки. Раз уж победили, как не позабавиться! Чернь, в знак насмешки, закутывалась в кружева и шали. Золотая бахрома обвивала рукава блуз, шляпы со страусовыми перьями украшали головы кузнецов, ленты Почетного легиона опоясывали проституток. Всякий удовлетворял свою прихоть; одни танцевали, другие пели. В комнате королевы какая-то женщина мазала себе волосы помадой; за ширмой два игрока занялись картами; Юссонэ указал Фредерику на какого-то субъекта, который курил трубочку, облокотясь на перила балкона. А безумие возрастало, все время звеня осколками фарфора и хрусталя, которые падали, издавая такой же звук, как клавиши гармоники.

Потом неистовство приняло более мрачную форму. Непристойное любопытство заставляло заглядывать во все уголки, открывать все ящики. Каторжники запускали руки в постели принцесс и валялись на них, вознаграждая себя за невозможность изнасиловать королевских дочерей. Другие, более жуткие на вид, безмолвно бродили по дворцу, стараясь что-нибудь украсть; но народу было слишком много. В пролеты дверей видна была, среди блеска позолоты и облаков пыли, темная людская масса, заполнившая анфиладу зал. Грудь тяжело дышала; жара становилась все более удушливой; боясь задохнуться, приятели вышли.

В передней на куче одежды стояла, изображая статую Свободы, публичная девка, неподвижная, страшная, с вытаращенными глазами.

Едва они вышли на улицу, как навстречу им показался взвод одетых в шинели муниципальных гвардейцев, которые, сняв свои форменные шапки и обнажив несколько облысевшие черепа, низко-низко поклонились народу. Видя такое почтение к себе, оборванцы-победители преисполнились гордости. Юссонэ и Фредерику это тоже доставило некоторое удовольствие.

Их охватило воодушевление. Они пошли назад, к Пале-Роялю. Против улицы Фроманто лежали сваленные на соломе трупы солдат. Они хладнокровно прошли мимо, даже гордясь таким самообладанием.

Дворец был полон народа. На внутреннем дворе пылало семь костров. Из окон выбрасывали рояли, комоды и стенные часы. Пожарные трубы пускали струи воды, долетавшие до крыши. Озорники пытались саблями перерезать их рукава. Фредерик стал уговаривать какого-то студента Политехнической школы воспрепятствовать этому. Студент не понял, он казался совершенным дураком. Вокруг, в обеих галереях, чернь, завладев винными погребами, предавалась дикому пьянству. Вино лилось ручьями, текло под ноги; уличные мальчишки пили из черепков от бутылок и, шатаясь, орали.

— Пойдем отсюда, — сказал Юссонэ, — этот народ вызывает во мне омерзение.

Вдоль всей Орлеанской галереи на тюфяках, положенных прямо на пол, лежали раненые; пурпурные занавески заменяли одеяла, а скромные мещаночки из соседнего квартала приносили раненым суп и белье.

— Что бы там ни было, — сказал Фредерик, — по-моему, народ прекрасен!

В большом вестибюле бурлила рассвирепевшая толпа, желавшая подняться в верхние этажи, чтобы завершить разрушение; национальные гвардейцы, стоявшие на ступенях, пытались удержать ее. Самым отважным казался стрелок без шапки, с всклокоченными волосами, в изодранной кожаной амуниции; его рубашка выбилась из-под пояса и вздулась валиком между штанами и курткой; он вместе с другими ожесточенно отбивался. Юссонэ, у которого были зоркие глаза, еще издали узнал Арну.

Наконец они добрались до сада Тюильри, чтобы отдышаться на свободе. Они сели на скамейку и несколько минут просидели с закрытыми глазами, ошеломленные до такой степени, что не было сил сказать хоть одно слово. Прохожие заговаривали друг с другом. Герцогиня Орлеанская назначена регент-

шей; все было кончено, и чувствовалось то особое успокоение, которое следует за быстрыми развязками, как вдруг в мансардах дворца во всех окнах показались слуги, рвавшие на себе ливреи. Они бросали их в сад в знак отречения. Народ освистал их. Они скрылись.

Внимание Юссонэ и Фредерика привлек к себе высокий детина, быстро шагавший по аллее с ружьем на плече. Его красную блузу стягивал в поясе патронташ. Лоб под фуражкой был повязан платком. Он обернулся. То был Дюссардьё; он бросился к ним в объятия.

— О, какое счастье, дорогие мои! — воскликнул он, не в силах сказать ничего больше — так он задыхался от радости и утомления.

Двое суток он был на ногах. Он строил баррикады в Латинском квартале, дрался на улице Рамбюто, спас трех драгун, вступил в Тюильри с отрядом Дюнуайе, потом отправился в палату, а оттуда в Ратушу.

— Я прямо оттуда. Все прекрасно! Народ торжествует! Рабочие обнимаются с буржуа! Ах, если б вы знали, что я видел! Какие чудные люди! Как это хорошо! — И, не замечая, что у них нет оружия, прибавил: — Я ведь был уверен, что встречу вас здесь! Трудные были минуты, да что уж там! — На щеке у него появилась капля крови, но на вопросы друзей он ответил: — О, пустяки, штыком оцарапало!

— Однако нельзя так оставлять.

— Ну, я здоровый! Какая от этого беда! Республику провозгласили! Теперь уж мы будем счастливы! Журналисты сейчас говорили при мне, что теперь освободят Италию и Польшу. Королей больше не будет! Понимаете? Свобода всей земле! Свобода всей земле!

И, окинув взглядом горизонт, он с победоносным видом воздел руки. Но по террасе вдоль берега длинной вереницей бежали люди.

— Ах, дьявол!.. Я и забыл! Форты ведь не взяты. Мне туда надо. Прощайте! — Он обернулся и крикнул им, потрясая ружьем: — Да здравствует республика!

Из труб дворца вырывались огромные клубы черного дыма и неслись искры. Звон колоколов вдали напоминал блеяние испуганных овец. Направо и налево — везде победители разряжали свои ружья. Фредерик, хоть и не отличался воинственным пылом, почувствовал, как в нем закипела галльская кровь. Ему сообщил магнетизм восторженной толпы. Он с наслаждением вдыхал грозный воздух, пахнувший порохом, а сам трепетал от

наплыва бесконечной любви, высокой и всеобъемлющей нежности, как будто сердце всего человечества забилося в его груди.

Юссонэ, зевая, сказал:

— Пожалуй, пора идти оповещать население!

Фредерик пошел с ним в контору его газеты, помещавшуюся на Биржевой площади, и сам принялся сочинять для газеты в Труа отчет о событиях — настоящее литературное произведение в лирическом стиле, под которым поставил свою подпись. Затем они пообедали вдвоем в ресторане. Юссонэ был задумчив; эксцентричность революции превосходила его собственные сумасбродства.

Когда после кофе они отправились в Ратушу, чтобы узнать новости, его врожденное озорство взяло верх. Он, как серна, перескакивал через баррикады и отвечал часовым патриотическими шутками.

При свете факелов они слышали, как провозглашают временное правительство. Наконец в полночь Фредерик, изнемогая от усталости, вернулся домой.

— Ну что же, — спросил он своего лакея, помогавшего ему раздеваться, — ты доволен?

— Да, разумеется, сударь. Только вот не люблю я, когда народ так распоясывается!

Проснувшись на другое утро, Фредерик вспомнил о Делорье. Он поспешил к нему. Адвокат только что уехал: он был назначен комиссаром в провинцию. Накануне вечером он добрался до Ледрю-Роллена и до тех пор приставал к нему с просьбами от имени высших школ, пока не урвал себе место, получив назначение. Впрочем, по словам привратника, он на следующей неделе должен был написать, сообщить свой адрес.

Тогда Фредерик пошел к Капитанше. Она встретила его с обидой, досадуя на него за то, что он бросил ее одну. Гнев ее угас, когда он уверил ее, что мир будет восстановлен. Все успокоилось теперь, бояться нечего; он обнимал ее, и она объявила себя сторонницей республики, подобно тому как это уже сделал архиепископ Парижский и как вскоре должны были сделать с изумительным рвением и поспешностью все судебное сословие, Государственный совет, Академия, маршалы Франции, Шангарнье, г-н де Фаллу, все бонапартисты, все легитимисты и немалое число орлеанистов.

Падение монархии совершилось с такой быстротой, что, когда миновал первый миг оцепенения, буржуа словно удивились: как это они остались в живых? Расстрел, к которому без суда приговорили нескольких воров, показался вполне

справедливым. Целый месяц повторяли фразу Ламартина о красном знамени, «которое только раз было обнесено вокруг Марсова поля, меж тем как трехцветное знамя...» и т. д., и все укрылись под его сень, ибо из трех его цветов каждой партии был виден только ее цвет, и она рассчитывала истребить два других, как только возьмет верх.

Так как деловая жизнь приостановилась, то беспокойство и любопытство гнали людей на улицу. Небрежность одежды сглаживала разницу общественного положения, ненависть пряталась, надежды выставлялись напоказ, толпа была приветлива. На всех лицах сияло гордое сознание завоеванного права. Царило карнавальное веселье, люди жили как на бивуаке. Нельзя было представить себе ничего более занимательного, чем Париж, каким он был в эти первые дни.

Фредерик брал под руку Капитаншу, и они бродили вдвоем по улицам. Ее забавляли банты, красовавшиеся в петлицах у прохожих, флаги, висевшие у каждого окна, разноцветные афиши, расклеенные по стенам, и она бросала монету в кружку для пожертвований в пользу раненых, стоявшую на стуле где-нибудь посреди улицы. Она останавливалась перед карикатурами, изображавшими Луи-Филиппа в виде кондитера, фокусника, собаки или пиявки. Но люди Коссидьера, их сабли и шарфы пугали ее. Иногда приходилось видеть, как сажают «дерево Свободы». Участие в этом обряде принимали и господа священники, они благословляли республику, являясь в сопровождении прислужников с золотыми галунами; и толпа находила, что это прекрасно. Наиболее привычным зрелищем были всевозможные депутации, направлявшиеся в Ратушу с какой-либо просьбой, ибо все ремесла, все промыслы ждали, что правительство раз навсегда положит конец их бедам. Правда, кое-кто шел лишь затем, чтобы дать правителям совет или поздравить их, или просто-напросто навестить и посмотреть, как «работает машина».

Однажды в середине марта, когда Фредерик отправился по поручению Розанетты в Латинский квартал, он увидел, проходя по Аркольскому мосту, каких-то длиннобородых, по-военному марширующих людей в затейливых шляпах. Во главе отряда шел и бил в барабан негр, бывший натурщик, а развевающееся знамя, на котором была надпись: «Живописцы», нес не кто иной, как Пеллерен.

Он знаком предложил Фредерику подождать его и через пять минут снова появился, — время у него еще было, так как в этот момент правительство принимало каменотесов. Пеллерен шел со своими коллегами требовать создания Форума Искусств,

своего рода биржи, где обсуждались бы вопросы искусства; как только все труженики сольют воедино свои таланты, возникнут великие произведения. Вскоре Париж обогатится исполинскими сооружениями, украшать их живописью будет он; он уже начал писать фигуру «Республики». За ним явился один из его товарищей и увел его, так как следом шла депутация торговцев живностью.

— Что за глупость! — проворчал из толпы чей-то голос. — Вечно ерунда! Ничего толкового!

Это был Режембар. Он не поклонился Фредерику, но воспользовался случаем, чтобы излить накопившуюся горечь.

Гражданин целые дни скитался по улицам, крутя усы, вращая глазами, выслушивая и распространяя зловещие новости, и на все у него были две фразы: «Берегитесь, нас хотят смести!» и «Черт возьми, да ведь у нас украдут Республику!» Он всем был недоволен, а в частности тем, что мы не восстановили наших естественных границ. Слыша имя Ламартина, он уже пожимал плечами, Ледрю-Роллена считал не на высоте задачи, Дюпона де л'Эра называл «старой тряпкой», Альбера — идиотом, Луи Блана — утопистом, Бланки — человеком крайне опасным, а когда Фредерик спросил его, как надо было бы поступить, он ответил, схватив его за руку и сжав ее до боли:

— Взять Рейн, говорю вам, взять Рейн, черт побери!

Затем он стал обвинять реакцию.

Она сбросила с себя маску. Разгром замков Нейи и Сюрена, пожар в Батиньоле, волнения в Лионе, всякое неистовство, всякая обида давали ему теперь повод к преувеличениям, так же как и циркуляр Ледрю-Роллена, принудительный курс кредитных билетов, рента, упавшая до шестидесяти франков, и, наконец, высшее беззаконие, последний удар, ужаснейшая из гнусностей — налог в сорок пять сантимов. А в довершение всего — социализм! Хотя эти теории, столь же новые, как игра в «гусек», подвергались в течение сорока лет достаточному обсуждению, чтобы заполнить целые библиотеки, они напугали обывателей, словно град аэролитов; и люди негодовали, преисполненные той ненависти, какую порождает всякая новая идея именно потому, что это — идея, ненависти, которая потом создает идее славу и в силу которой ее враги всегда стоят ниже ее, как бы ничтожна она ни была.

И вот Собственность сделалась предметом почитания, почти культа, и слилась с понятием бога. Нападки на нее стали казаться святотатством, чуть ли не людоедством. Несмотря на самое гуманное законодательство, какое было когда-либо, снова

возник призрак девяносто третьего года, и в каждом слове «Республика» слышался лязг ножа гильотины, что, впрочем, не мешало презирать эту республику за ее слабость. Франция, лишившись господина, стала кричать от страха, как слепец, потерявший палку, как малыш, отбившийся от няньки.

Но ни один француз так не струсил, как г-н Дамбрёз. Новый порядок вещей угрожал его благосостоянию, а главное, обманул его опытность. Такая прекрасная система, такой мудрый король! Возможно ли? Миру пришел конец! На следующий же день он уволил трех слуг, продал лошадей, купил себе мягкую шляпу для выходов на улицу, даже собирался отпустить бороду и засел дома, упав духом, с горечью перечитывая газеты, наиболее враждебные его взглядам, погрузившись в состояние столь мрачное, что даже шутки над трубкою Флокона были не в силах вызвать у него улыбку.

Являясь опорой извергнутой монархии, он боялся, что мщение народа обрушится на его поместья в Шампани, как вдруг он случайно прочел разглагольствования Фредерика. Тут он вообразил, что его молодой друг — лицо очень влиятельное и что если он не в силах быть ему полезен, то, по крайней мере, может защитить его, — и вот однажды утром г-н Дамбрёз явился к нему в сопровождении Мартинона.

Единственной целью этого посещения, по словам г-на Дамбрёза, было повидаться и побеседовать с ним. В конечном итоге события радуют его, и он от всего сердца принимает «наш возвышенный девиз: *Свобода, Равенство, Братство*, так как, в сущности, всегда был республиканцем». Если при прежнем строе он и подавал голос за правительство, то просто-напросто для того, чтобы ускорить неминуемое крушение. Он даже рассердился, говоря о Гизо, «из-за которого мы здорово поплатились, — этого ведь нельзя отрицать!». Зато он очень восхищался Ламартином, который, «честное слово, был прямо великолепен, когда по поводу красного знамени...».

— Да, знаю, — сказал Фредерик.

После этого г-н Дамбрёз заявил о своей симпатии к рабочим.

— Ведь, в конце концов, мы все более или менее рабочие!

И беспристрастие его доходило до того, что Прудон, по его мнению, был логичен. «О, весьма логичен, черт возьми!» И с равнодушием, свойственным возвышенному уму, он заговорил о выставке, где видел картину Пеллерена. Он находил ее оригинальной, удачной.

Мартинон все время вставлял одобрительные замечания; он тоже считал, что надо «честно примкнуть к республике», и заговорил о своем отце-земледельце, притворяясь крестьянином, простолюдином. Речь вскоре зашла и о выборах в Национальное собрание, и о кандидатах от Фортельского округа. Кандидат оппозиции не мог рассчитывать на успех.

— Вы должны были бы занять его место! — сказал г-н Дамбрёз.

Фредерик стал отговариваться.

А почему бы и нет? Голоса крайних левых обеспечены ему благодаря его личным взглядам, голоса консерваторов — благодаря его происхождению.

— А также отчасти, может быть, — с улыбкой прибавил банкир, — отчасти и благодаря моему влиянию.

Фредерик признался, что не знает, как взяться за это дело. Да ничего нет проще! Надо только получить от одного из столичных клубов рекомендацию к патриотам департамента Обы. Надо не просто заявить о своих убеждениях, как это ежедневно делается в газетах, а серьезно изложить определенные принципы.

— Принесите мне, когда напишете. Я знаю, что требуется в тех местах. И, повторяю, вы могли бы оказать большие услуги стране, всем нам, даже мне.

В такие времена следует помогать друг другу, и если Фредерику или его друзьям что-нибудь нужно...

— Ах, сударь! Я так вам признателен.

— Услуга за услугу, что и говорить.

Решительно, банкир — славный человек.

Фредерик не мог не задуматься, у него кружилась голова, он был ошеломлен.

Великие образы Конвента встали перед ним. Ему показалось, что занимается блистательная заря. Рим, Вена, Берлин охвачены восстанием, австрийцев прогнали из Венеции, вся Европа пришла в волнение. Час настал принять участие в движении, быть может, ускорить его, и к тому же его прельщало одеяние, в котором, как уверяли, будут ходить депутаты. Он уже видел себя в жилете с отворотами, в трехцветном шарфе, и этот зуд, эти галлюцинации были так сильны, что он открылся Дюссардьё.

Честный малый был все в таком же восторге.

— Разумеется! Конечно! Выставляйте свою кандидатуру!

Фредерик все же посоветовался с Делорье. Идиотская оппозиция, с которой комиссар сталкивался в провинции, усилила

его либерализм. Он тотчас же ответил ему письмом, полным энергичных увещаний.

Однако Фредерику хотелось получить поддержку со стороны большего числа лиц, и он поделился своим планом с Розанеттой в присутствии м-ль Ватназ.

Она принадлежала к числу тех незамужних парижанок, которые каждый вечер после уроков и попыток продать какие-нибудь рисуночки или пристроить плохие рукописи возвращаются домой с грязным подолом, сами стряпают себе обед, съедают его в полном одиночестве, а потом, поставив ноги на грелку, при свете лампы с тусклым стеклом мечтают о любви, о семье, об очаге, о богатстве — обо всем, чего у них нет. Поэтому и она, подобно многим другим, приветствовала революцию, как путь к возмездию, и стала яркой поборницей социализма.

Освободить пролетариат, по мнению Ватназ, было возможно лишь при условии раскрепощения женщины. Она требовала для женщины доступа ко всем должностям, права объявлять отца незаконнорожденного ребенка, требовала изменить законодательство, уничтожить или, по крайней мере, «упорядочить брак на более разумных основаниях». Тогда всякая француженка будет обязана выйти замуж за француза или приютить старика. Кормилицы и повивальные бабки должны стать государственными служащими и получать жалованье от казны; необходимо особое жюри, которое оценивало бы произведения женщин, особые издатели для женщин, политехническая школа для женщин, национальная гвардия, состоящая из женщин, — все для женщин! А раз государство не признает их прав, силу они должны преодолеть силой. Десять тысяч гражданок, как следует вооруженных ружьями, могут задать Ратуше такого страху!

Кандидатура Фредерика показалась ей благоприятной с этой точки зрения. Она ободряла его, указывая путь к славе. Розанетта радовалась, что у нее будет мужчина, который произносит речи в палате.

— А вдобавок тебе, пожалуй, дадут и хорошее местечко.

Фредерик, подверженный всяческим слабостям, поддался всеобщему безумию. Он сочинил речь и отправился показать ее г-ну Дамбрёзу.

Когда он вошел во двор и ворота захлопнулись за ним, в одном из окон отдернули занавеску; показалась женщина; он не успел разглядеть, кто это; в передней же его внимание остановила картина, поставленная на стул, вероятно, временно, — картина Пеллерена.

Она изображала Республику, или Прогресс, или Цивилизацию под видом Иисуса Христа, управляющего паровозом, который мчится по девственному лесу. С минуту поглядев, Фредерик воскликнул:

— Что за гадость!

— Не правда ли? А? — сказал г-н Дамбрёз, подошедший как раз в этот миг и вообразивший, что слова Фредерика относятся не к живописи, а к доктрине, возвеличенной художником.

Тотчас же появился и Мартинон. Прошли в кабинет, и Фредерик уже извлек из кармана бумагу, как вдруг вошла м-ль Сесиль и с невинным видом спросила:

— Тетя здесь?

— Ты же знаешь, что нет, — ответил банкир. — Впрочем, не беда! Будьте как дома, сударыня!

— Ах, нет, благодарю вас! Я ухожу.

Едва она вышла, Мартинон сделал вид, что ищет свой носовой платок.

— Я оставил его в пальто. Извините, я схожу за ним.

— Пожалуйста! — сказал г-н Дамбрёз.

Очевидно было, что он прекрасно замечал эти хитрости и как будто даже покровительствовал им. Почему? Но вскоре Мартинон снова появился, и Фредерик приступил к своей речи. Уже со второй страницы, где на господство денежных интересов указывалось как на позор, банкир стал морщиться. Далее, переходя к реформам, Фредерик требовал свободы торговли.

— Как?.. Но, помилуйте!

Фредерик не слушал и продолжал чтение. Он требовал налога на ренту, налога прогрессивного, общеевропейской федерации и просвещения для народа, самого широкого поощрения изящных искусств.

«Если бы таким людям, как Делакруа или Гюго, страна предоставила сто тысяч франков содержания, что плохого было бы в этом?»

Речь кончалась советами, обращенными к высшим классам:

«Ничего не жалейте, о богачи! Будьте щедры! Будьте щедры!»

Кончив чтение, он продолжал стоять. Оба слушателя сидели молча; Мартинон тарашил глаза, г-н Дамбрёз побледнел. Наконец, скрыв свое волнение под кислой улыбкой, он проговорил:

— Ваша речь превосходна! — и стал усиленно хвалить ее форму, избегая высказываться по существу.

Столько яда со стороны безобидного молодого человека пугало его главным образом как симптом. Мартинон пытался его успокоить. Разумеется, партия консерваторов в скором времени возьмет свое; из многих городов уже прогнали комиссаров Временного правительства; выборы назначены только на 23 апреля, время есть; словом, г-н Дамбрёз сам должен выставить свою кандидатуру как представитель департамента Обы; и с этих пор Мартинон уже не покидал его, стал его секретарем и окружил его сыновними заботами.

Фредерик пришел к Розанетте чрезвычайно довольный собой. У нее он застал Дельмара, который ему сообщил, что, как «решено», он выступает кандидатом от департамента Сены. В особом воззвании, обращенном «к Народу», — причем актер говорил ему «ты», — Дельмар хвалился, что «он-то понимает народ» и что ради его спасения «отдал себя искусству на распятие» и, таким образом, является теперь его олицетворением, его идеалом. Он и в самом деле думал, что пользуется огромным влиянием на массы, и даже впоследствии предложил канцелярии какого-то министерства единолично подавить целое восстание, а на вопрос о том, к каким же средствам он прибегнет, дал такой ответ:

— Не бойтесь! Я просто покажусь им!

Фредерик, чтобы досадить ему, сказал о своей собственной кандидатуре. Комедиант, узнав, что его будущий коллега остановился на провинции, предложил свои услуги и взялся ввести его в клубы.

Они посетили почти все клубы, красные и синие, яростные и миролюбивые, пуритански чинные и развязные, мистические и разгульные, те, где королям выносились смертные приговоры, те, где изобличались козни торгашества; и повсюду жильцы проклинали домохозяев, блуза нападала на фрак, а богачи вступали в заговор против бедняков. Одни требовали вознаграждения за то, что были мучениками полиции, другие просили денег, чтобы пустить в ход какое-нибудь изобретение, а то еще возникали планы фаланстеров, проекты окружных базаров, системы общественного благополучия; то тут, то там — проблеск ума, мелькавший среди этих туч глупости, возгласы, внезапные, точно брызги, право, выраженное в форме ругательства, и цветы красноречия, срывавшиеся с уст оборванца, у которого перевязь сабли была надета прямо на голое плечо. Порою показывался какой-нибудь господин, аристократ, державшийся скромно, говоривший в плебейском духе и не вымывший рук, чтобы они казались мозолистыми. Какой-нибудь пат-

риот узнавал его, самые истовые на него набрасывались, и он уходил взбешенный. Чтобы казаться человеком здравомыслящим, надо было все время ругать адвокатов и как можно чаще пользоваться такими речениями: «принести свой камень для постройки здания», «социальный вопрос», «рабочая мастерская».

Дельмар не упускал случая взять слово, а когда ему больше нечего было сказать, он одной рукой упирался в бок, а другую закладывал за жилет, оборачиваясь в профиль, чтобы резче выделялась его голова. Тогда раздавались рукоплескания — это м-ль Ватназ аплодировала из глубины зала.

Несмотря на то, что ораторы были слабые, Фредерик не решился выступить. Вся эта толпа казалась ему слишком невежественной или слишком враждебной.

Но за дело взялся Дюссардьё и однажды сообщил ему, что на улице Сен-Жак есть клуб, именуемый «Клубом Разума». Подобное название обнадеживало. К тому же он обещал привести друзей.

Привел он тех, кто был у него на пунше: счетовода, агента по делам виноторговли, архитектора; явился даже Пеллерен, можно было ждать и Юссонэ, а на улице у входа стоял Режембар с двумя субъектами — один из них был его верный Компен, человек низенького роста, с рябым лицом и красными глазами, а другой — нечто вроде негра-обезьяны, мужчина чрезвычайно волосатый, о котором ему было известно только то, что он — «патриот из Барселоны».

Миновав коридор, вошли в большую комнату, служившую, по-видимому, столярной мастерской; от стен, лишь недавно оштукатуренных, пахло известкой. Четыре кенкета, прибитые друг против друга, лили неприятный свет. В глубине, на возвышении, стояла конторка, на ней был колокольчик, внизу стол, заменявший трибуну, а по обе его стороны — два других стола пониже, для секретарей. Публика, занимавшая скамейки, состояла из неудавшихся художников, классных наставников, неизданных сочинителей. Среди целого ряда пальто с засаленными воротниками виднелись то женский чепец, то рабочая блуза. В конце зала было даже очень много рабочих, пришедших сюда, вероятно, от нечего делать или приведенных ораторами, которым надлежало аплодировать.

Фредерик выбрал себе место между Дюссардьё и Режембаром, который, усевшись, положил обе руки на свою трость, оперся на них подбородком и закрыл глаза; а на другом конце зала Дельмар, стоя, возвышался над всеми.

У конторки на председательском месте появился Сенекаль.

Эта неожиданность — так думал простачок-приказчик — будет приятна Фредерику. Она же рассердила его.

Толпа проявляла большое уважение к своему председателю. Он был из числа тех, кто 25 февраля требовал немедленной организации труда; на следующий день он в Прадо призывал к нападению на Ратушу; а так как здесь каждое лицо следовало определенному образцу, причем один брал пример с Сен-Жюста, другой — с Дантона, третий — с Марата, то он старался подделаться под Бланки, который подражал Робеспьеру. Черные перчатки и волосы щеткой придавали ему строгий вид, чрезвычайно подходящий к случаю.

Заседание он открыл чтением «Декларации прав человека и гражданина», превратившимся в привычный обряд. Потом чей-то здоровенный голос затянул «Народную память» Беранже.

Послышались другие голоса:

— Нет! Нет! Не это!

— «Фуражку»! — заорали из глубины зала патриоты.

И хором запели злободневные стихи:

На колени — перед рабочим,
Перед фуражкой — шляпы долой!

Повинуясь слову председателя, аудитория смолкла. Один из секретарей начал перебирать письма:

«Группа молодых людей сообщает, что каждый вечер они сжигают перед Пантеоном номер «Национального собрания» и приглашают всех патриотов следовать их примеру».

— Bravo! Принято! — ответила толпа.

«Гражданин Жан-Жак Лангрене, типограф с улицы Дофина, желал бы, чтобы мученикам Термидора был воздвигнут памятник».

«Мишель-Эварист-Непомюсен Венсан, бывший учитель, выражает желание, чтобы европейская демократия установила единый язык. Можно было бы воспользоваться одним из мертвых языков, например, латынью, усовершенствовав ее».

— Нет! Долой латынь! — закричал архитектор.

— Почему? — спросил какой-то классный наставник.

Они затеяли спор, в который вступили и другие, причем каждый старался блеснуть, и сделалось так скучно, что многие ушли.

Но вот низенький старичок в зеленых очках, над которыми подымался удивительно высокий лоб, потребовал слова, чтобы сделать неотложное сообщение.

Он прочел докладную записку о распределении налогов. Цифры лились, и конца не предвиделось. Нетерпение выразилось сперва ворчанием, разговорами; ничто не смущало его. Потом начали свистеть, улюлюкать; Сенекаль пожурил публику; старичок продолжал говорить, точно заведенная машина. Чтобы остановить оратора, пришлось схватить его за локоть. Тогда он словно очнулся от сна и, спокойно подняв очки, сказал:

— Виноват, граждане! Виноват! Удаляюсь! Прошу извинения!

Неудача, постигшая это выступление, смутила Фредерика. В кармане у него лежала написанная речь, но импровизация могла бы иметь больше успеха.

Наконец председатель объявил, что пора перейти к главному вопросу — к выборам. Длинные республиканские списки не стоило обсуждать. Однако ведь «Клуб Разума», как и всякий иной, имел право составить свой список, — «да не прогневаются господа падишахи из Ратуши», — и гражданам, желавшим удостоиться доверия народа, предоставлялось объявить свое имя и звание.

— Ну, начинайте! — сказал Дюссардье.

Человек в сутане, с курчавыми волосами и с бойким выражением лица, уже поднял руку. Он пробормотал, что его зовут Дюкрето, сообщил, что он священник и агроном, автор ученого труда «Об удобрениях». Ему посоветовали обратиться в общество садоводов.

Затем на трибуну поднялся патриот в блузе. Это был широкоплечий плебей с длинными черными волосами и полным, очень добродушным лицом. Он обвел собрание взглядом почти сладострастным, откинул голову и наконец, разведя руками, начал:

— Вы отвергли Дюкрето, братья мои! И хорошо поступили. Но поступили вы так не от безверия, ибо все мы верующие.

Некоторые слушали его, разинув рот, приняв восторженные позы, точно прозелиты, которых наставляют в вере.

— И поступили вы так не потому, что он священнослужитель, ибо мы тоже священнослужители! Рабочий — священнослужитель так же, как и основоположник социализма, наш общий учитель Иисус Христос!

Настало время утвердить царство божие на земле! Евангелие — прямой путь к восемьдесят девятому году! После уничтожения рабства — освобождение пролетариата. Миновал век ненависти, настанет век любви.

Христианство — основа, краеугольный камень нового здания...

— Смейтесь вы над нами, что ли? — крикнул агент по винной торговле. — Откуда этот поп?

Выпад его вызвал большую суматоху. Почти все повскакали на скамейки и, сжав кулаки, завопили: «Безбожник! Аристократ! Сволочь!» — меж тем как председатель не переставая звонил и с удвоенной силой раздавались крики: «К порядку! К порядку!» Но лавочник, преисполненный отваги и к тому же подкрепившийся до собрания «тремя чашками кофе», отбивался.

— Как! Я аристократ? Это еще что?!

Получив наконец позволение объясниться, он заявил, что спокойствия не будет, пока существуют священники, и раз речь идет об экономии, то всего экономнее упразднить церкви, дароносицы и вообще всякие обряды.

Кто-то заметил, что он заходит слишком далеко.

— Да, я далеко захожу! Но когда корабль застигнут бурей...

Не дожидаясь, чем кончится это сравнение, другой возразил:

— Не спорю! Но это то же самое, что разрушить одним ударом, как поступает безрассудный каменщик...

— Вы оскорбляете каменщиков! — завопил какой-то гражданин, весь в известке.

И, вообразив, что ему брошен вызов, он стал ругаться, хотел затеять драку, схватился за скамейку. Понадобилось три человека, чтобы выставить его из зала.

А между тем рабочий все еще стоял на трибуне. Оба секретаря предупреждали его, что пора сойти. Он протестовал против такого нарушения его законных прав:

— Вы не можете заткнуть мне рот, я буду кричать: нашей дорогой Франции — вечная любовь! Республике — тоже вечная любовь!

— Граждане! — возгласил Компен. — Граждане!

И, добившись некоторого затишья благодаря неустанному повторению слова «граждане», он положил на кафедру свои красные, похожие на обрубки руки, наклонился вперед и, замигав, сказал:

— Полагаю, что следовало бы найти более широкое применение телячьей голове.

Все безмолвствовали, подумав, что ослышались.

— Да, телячьей голове!

Триста человек, как один, ответили взрывом смеха. Задрожал потолок. Увидев все эти лица, искажившиеся от хохота, Компен отпрянул назад. Он продолжал, рассвирепев:

— Как! Вы не знаете, что такое телячья голова?

Тут уже начали бесноваться. Хватались за бока. Некоторые даже падали на пол, валились под скамейки. Компен, не выдержав, вернулся к Режембару и хотел увести его.

— Нет, я останусь до конца! — сказал Гражданин.

Услышав этот ответ, Фредерик решился; оглядываясь по сторонам, он стал искать поддержки у своих друзей, как вдруг заметил Пеллерена, стоявшего перед ним на трибуне. Художник свысока обратился к толпе:

— Мне все же хотелось бы знать, где же здесь представитель искусства? Я написал картину...

— Картины нам ни к чему! — резко сказал тощий человек с красными пятнами на скулах.

Пеллерен возмутился, что его перебивают.

Но тот продолжал трагическим тоном:

— Разве правительству не следовало бы уже уничтожить декретом проституцию и нищету?

И, сразу же обеспечив себе этими словами благосклонность народа, он стал громить испорченность, царящую в больших городах.

— Стыд и позор! Всех этих буржуа нужно было бы хватать, когда они выходят из «Золотого дома», и плевать им в лицо! Если бы еще власть не покровительствовала распутству! Но таможенные чиновники так непристойно держат себя с нашими сестрами и дочерьми.

Кто-то, сидевший поодаль, изрек:

— Вот потеха!

— Прочь отсюда!

— С нас тянут налоги, чтобы оплачивать разврат! Вот, например, актеры, получающие большое жалованье...

— Прошу слова! — закричал Дельмар.

Он вскочил на трибуну, всех растолкал, стал в позу и, заявив, что презирает столь пошлые обвинения, пустился рассуждать о просветительной миссии актера. Поскольку же театр есть очаг народного просвещения, он подает голос за реформу театра: прежде всего — долой директоров, долой привилегии!

— Да, никаких привилегий!

Игра актера разжигала толпу, и отовсюду неслись разрушительные предложения:

— Долой академии! Долой Институт!

— Долой миссии!

— Долой аттестаты зрелости!

— Долой ученые степени!

— Сохраним их, — сказал Сенекаль, — но пусть они будут присуждаться всеобщим голосованием, волей Народа, единственного настоящего судьи!

Впрочем, не в этом самое существенное. Сперва надо сравнять богачей со всеми прочими! И он описал, как они, насытившись по горло преступлениями, нежатся в своих домах с золочеными потолками, между тем как бедняки, преисполненные всевозможных добродетелей, корчатся от голода где-то на чердаках. Рукоплескания стали так оглушительны, что он замолчал. Несколько минут он простоял с закрытыми глазами, откинув голову, словно убаюкиваемый всей той яростью, которую разбудил.

Потом он снова заговорил — фразами догматическими и повелительными, как законы. Государство должно завладеть банками и страховыми обществами. Право наследования отменяется. Учреждается общественный фонд для тружеников. В будущем следует осуществить и другие полезные меры. Пока достаточно и этих. Он вернулся к вопросу о выборах:

— Нам нужны граждане чистые, люди совершенно новые! Кто готов предложить свою кандидатуру?

Фредерик встал. Поднялся одобрителный гул — старались его друзья. Но Сенекаль, приняв вид Фукье-Тенвиля, стал его спрашивать, как его имя и фамилия, каково его прошлое, какую жизнь он ведет.

Фредерик отвечал ему в общих чертах, кусая губы. Сенекаль спросил, нет ли у кого-нибудь возражений против этой кандидатуры.

— Нет! Нет!

А у него было возражение. Все вытянули головы, насторожили слух. Гражданин кандидат не предоставил некоей суммы, обещанной им для демократического дела — основания газеты. Далее, 22 февраля, хотя его успели предупредить, он не явился на место сбора — на площадь Пантеона.

— Клянусь, что он был в Тюильри! — крикнул Дюссардьё.

— Можете ли вы поклясться, что видели его у Пантеона?

Дюссардьё опустил голову. Фредерик молчал; друзья его были сконфужены и глядели на него с беспокойством.

— Можете ли вы, по крайней мере, — сказал Сенекаль, — указать патриота, который поручился бы за ваши убеждения?

— Я поручусь! — сказал Дюссардье.

— О, этого недостаточно. Надо другого!

Фредерик обернулся к Пеллерену. Ответом художника были разнообразнейшие жесты, означавшие:

«Ах, дорогой мой, они меня отвергли! Черт возьми, что поделаешь!»

Тогда Фредерик локтем толкнул Режембара.

— Да, правда, теперь пора! Иду!

И Режембар шагнул на эстраду, потом, указывая на испанца, следовавшего за ним, сказал:

— Разрешите мне, граждане, представить вам патриота из Барселоны!

Патриот низко поклонился и, вращая, точно автомат, глазами с серебряным отливом, приложив руку к сердцу, начал:

— Ciudadanos! Mucho aprecio el honor que me dispensais, y si grande es vuestra bondad mayor es vuestro atencion¹.

— Прошу слова! — закричал Фредерик.

— Desde que se proclamó la constitución de Cádiz, ese pacto fundamental de las libertades españolas, hasta la ultima revolución, nuestra patria cuenta numerosos y heróicos mártires².

— Но, граждане!..

Испанец продолжал:

— El martes próximo tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio fúnebre³.

— Это же, в конце концов, бессмыслица! Никому не понятно!

Это замечание разъярило толпу.

— Вон отсюда! Вон!

— Кого? Меня? — спросил Фредерик.

— Именно вас! — величественно изрек Сенекаль. — Уходите!

Фредерик встал и пошел, а голос иберийца его преследовал:

— Y todos los Españoles desearían ver allí reunidas las deputaciones de los clubs y de la milicia nacional. Una oración fúnebre, en honor de la libertad española y del mundo entero, sera pronunciada por un miembro del clero de París en la sala Bonne-Nouvel-

¹ Граждане, я очень ценю честь, которую вы мне оказываете, велика ваша доброта и ещё больше — внимание (*исп.*).

² С той поры, как была объявлена конституция в Кадисе — этот основной договор об испанских свободах, — вплоть до последней революции наша родина насчитывает многочисленных и героических мучеников (*исп.*).

³ В ближайший вторник в церкви св. Магдалины будет совершена заупокойная служба (*исп.*).

le. Honor al pueblo francés, que llamaría yo el primero pueblo del mundo, sino fuese ciudadano de otra nación! ¹

— Аристократишка! — взвизгнул какой-то оборванец, показывая кулак возмущенному Фредерику, который спешил выбраться во двор.

Он уже раскаивался в своем рвении и не думал о том, что возведенные на него обвинения были в конце концов справедливы. Какая злополучная идея — выставить свою кандидатуру! Но что за ослы, что за кретины! Он сравнивал себя с этими людьми и мыслью о их глупости врачевал рану, нанесенную его самолюбием.

Потом он ощутил потребность повидать Розанетту. После всех этих безобразий, всей этой напыщенности общество такой милой женщины будет отдыхом. Ей было известно, что в этот вечер он должен выступать в клубе. Но когда он вошел, она даже ни о чем не спросила. Сидела она у камина, отпарывая подкладку от платья. Подобное занятие удивило его.

— Что ты делаешь?

— Ты же видишь, — сухо ответила она, — чиню свои тряпки! Вот она, твоя республика!

— Почему «твоя»?

— А что же, может быть, моя?

И она принялась попрекать его всеми событиями, происшедшими во Франции за эти два месяца, обвиняя его в том, что революцию сделал он, что из-за него люди разорены, что богатые покидают Париж и что со временем ей придется умереть на больничной койке.

— Хорошо тебе рассуждать при твоих доходах! Впрочем, если дальше так пойдет, твои доходы скоро кончатся.

— Вполне возможно, — сказал Фредерик. — Те, кто всех самоотверженнее, всегда остаются непонятыми, и если бы не чистая совесть, то скоты, с которыми приходится путаться, отбили бы охоту к самоотречению!

Розанетта поглядела на него, нахмурила брови.

— Что такое? А? Самоотречение? Нас, очевидно, постигла неудача? Тем лучше! Это тебя научит давать деньги на нужды родины. О, не лги! Я знаю, что ты дал им триста франков, —

¹ Все испанцы отправятся туда, присоединившись к депутациям от клубов и национальной гвардии. Поминальная речь в честь испанской свободы и всего мира будет произнесена членом парижского клира в зале Бон-Нувель. Слава французскому народу, который я назову первым народом в мире, хоть я и гражданин другой нации! (*исп.*)

ведь она же содержанка, твоя республика! Ну, так и веселись с ней, дружок!

Фредерику, застигнутому этой лавиной глупости, от одного разочарования пришлось перейти к другому, еще горшему.

Он удалился в глубину комнаты. Она подошла к нему.

— Ты только рассуди! В стране, так же как и в доме, должен быть хозяин, а то всякий норовит сплутовать. Во-первых, всем известно, что Ледрю-Роллен весь в долгах! Что касается Ламартина, то как же поэту понимать толк в политике? Ах, ты можешь пожимать плечами, ты можешь считать себя умнее других, а все же это так! Но ты вечно споришь, с тобой слова нельзя сказать! Вот, например, Фурнье-Фонтен, у которого магазины в Сен-Роке, — знаешь, какие у него убытки? Восемьсот тысяч франков! А Омэр, упаковщик, что живет напротив, тоже республиканец, — он об голову жены изломал каминные щипцы и выпил столько абсента, что его собираются отвезти в больницу. Вот какие они все, республиканцы! Республика — и двадцать пять процентов! Да, уж есть чем хвастаться!

Фредерик ушел. Глупость этой девки, вдруг прорвавшаяся наружу и заговорившая столь низменным языком, внушала ему омерзение. Он почувствовал, что снова стал немного патриотом.

Досада Розанетты все возрастала. М-ль Ватназ раздражала ее своей восторженностью. Веря в свое особое призвание, она со страстью разглагольствовала, поучала, а так как в подобных вещах она была сильнее своей подруги, то донимала ее доказательствами.

Однажды она явилась в полном негодовании, оттого что Юссонэ позволил себе напалить в женском клубе. Розанетта одобрила такое поведение, объявила даже, что сама оденется мужчиной, «пойдет, скажет им всю правду и отхлещет их». Как раз в эту минуту вошел Фредерик.

— Ведь ты пойдешь со мной?

И, несмотря на его присутствие, они поругались — одна, разыгрывая буржуазную даму, другая — женщину-философа.

Женщины, по мнению Розанетты, созданы для любви и для того, чтобы воспитывать детей, хозяйничать.

Мадемуазель Ватназ считала, что женщина должна играть роль в государстве. В былые времена и галльские женщины занимались законодательством, и англосаксонские; у гуронов они — участницы совета. Просвещение — дело общее. Все женщины должны содействовать ему; эгоизм наконец должен смениться братством, а индивидуализм — ассоциацией, раздробленность земель — общественной их обработкой.

— Ну вот! Ты теперь и в обработке полей знаешь толк!

— Отчего бы и нет? К тому же дело идет обо всем человечестве, о его будущности.

— Заботилась бы лучше о своей!

— Это уж мое дело!

Ссора разгоралась. Фредерик вмешался. Ватназ горячилась и даже стала защищать коммунизм.

— Что за вздор! — сказала Розанетта. — Разве это может когда-нибудь сбыться?

Ватназ привела в доказательство ессеев, моравских братьев, парагвайских иезуитов, семейство Пенгонов близ Тьера, в Оверни, а так как она сильно жестикулировала, то цепочка от ее часов запуталась в связке брелоков и зацепилась за маленького золотого барашка.

Вдруг Розанетта страшно побледнела.

Мадемуазель Ватназ продолжала отцеплять брелок.

— Можешь не трудиться, — сказала Розанетта, — теперь я знаю твои политические убеждения.

— Что? — спросила Ватназ, зардевшись, точно невинная девушка.

— О, ты меня понимаешь!

Фредерик не понимал. Очевидно, между ними встало нечто более серьезное и более интимное, чем социализм.

— А если бы и так! — возразила Ватназ, бесстрашно выпрямившись. — Это я заняла, моя милая. Долг платежом красен!

— Еще бы, я от своих долгов не отказываюсь! Из-за какой-то тысячи франков — стоит того! Я, по крайней мере, только занимаю, я никого не обкрадываю!

Мадемуазель Ватназ пыталась засмеяться.

— О, я готова руку положить в огонь!

— Берегись! Рука у тебя сухая, может и загореться.

Старая дева подняла правую руку и поднесла к самому ее лицу:

— Но кое-кому из твоих друзей она приходится по вкусу!

— Верно, андалузцам? Вместо кастаньет!

— Мерзавка!

Капитанша ответила глубоким поклоном:

— Вы совершенно очаровательны!

Мадемуазель Ватназ ничего не сказала. На висках у нее выступили капли пота. Глаза уставились на ковер. Она задыхалась. Наконец она подошла к двери и с шумом распахнула ее.

— Прощайте! Я еще вам покажу!

— Посмотрим! — сказала Розанетта.

Усилия, которые она делала, чтобы сдержаться, надломили ее. Она упала на диван, дрожа, бормоча ругательства, проливая слезы. Неужели угроза Ватназ так взволновала ее? Да нет же! Наплевать ей! В конце концов, та, пожалуй, должна ей что-то? Все дело в золотом барашке, в подарке, и сквозь слезы у ней вырвалось имя Дельмара. Значит, она влюблена в актера!

«Так зачем же ей понадобился я? — спрашивал себя Фредерик. — С чего это он к ней вернулся? Кто велит ей поддерживать отношения со мною? Какой во всем этом смысл?»

Розанетта продолжала тихонько всхлипывать. Она все еще лежала на боку, вытянувшись на диване, подложив под правую щеку обе руки, и казалась существом столь хрупким, измученным и беспомощным, что Фредерик подошел и нежно поцеловал ее в лоб.

Тогда начались уверения в любви: князь теперь уехал, они будут свободны. Но в настоящую минуту она... в затруднительном положении. «Ты сам видел на днях, как я пустила в ход старую подкладку». Экипажей больше нет! И это еще не все: обойщик грозит увезти мебель из спальни и большой гостиной. Она не знает, как быть.

Фредерику хотелось ответить: «Не беспокойся, я заплачу!» Но ведь эта особа могла и солгать. Он был научен опытом и ограничился обычными утешениями.

Опасения Розанетты были не напрасны: пришлось отдать мебель и выехать из прекрасной квартиры на улице Друо. Розанетта сняла другую, на бульваре Пуассоньер, в пятом этаже. Всяких редкостей из ее прежнего будуара оказалось достаточно, чтобы придать трем комнатам кокетливый вид. Повесили китайские шторы, над балконом устроили тент, для гостиной купили по случаю ковер, совсем новый, и пуфы, обитые розовым шелком. Фредерик принимал щедрое участие в этих приобретениях; он радовался, как новобрачный, у которого наконец есть собственный дом, собственная жена; ему здесь нравилось, и он чуть ли не каждую ночь проводил у Розанетты.

Однажды утром, выйдя из квартиры, он заметил внизу, в четвертом этаже, кивер национального гвардейца, направлявшегося вверх. Куда это он идет? Фредерик решил выждать. Человек все подымался, слегка опустив голову; вдруг он взглянул вверх. Оказалось, что это г-н Арну. Положение было ясно. Оба разом покраснели, испытывая одинаковую неловкость.

Арну первый нашел выход из затруднения.

— Ей ведь лучше, не правда ли? — спросил он, как будто Розанетта была больна, а он пришел узнать о ее здоровье.

Фредерик воспользовался этим.

— Да, несомненно! Так, по крайней мере, мне сказала ее служанка. — Он хотел намекнуть, что его не приняли.

Теперь они стояли друг против друга, оба в нерешительности, и друг друга рассматривали. Вопрос был в том, кто из них не уйдет. Арну и на этот раз нашел решение:

— А! Ну, ничего. Зайду потом... Куда вы собираетесь идти? Я провожу вас!

Они вышли на улицу, и Арну заговорил как ни в чем не бывало. Очевидно, характер у него был не ревнивый, или он был слишком добродушен, чтобы сердиться.

К тому же его занимали дела отечества. Теперь он уже не расставался с военной формой. 29 марта он защищал контору «Прессы». Когда народ ворвался в палату, он отличился своей храбростью и приглашен был на банкет в честь амьенской национальной гвардии.

Юссонэ, дежуривший всегда вместе с ним, более чем кто бы то ни было пользовался его фляжкой и сигарами, но, непочтительный от природы, любил ему противоречить, браня не слишком правильный язык декретов, совещания в Люксембургском дворце, везувиянок, тирольцев — решительно все, вплоть до колесницы Земледелия, которую вместо волов тащили лошади и сопровождали некрасивые девицы. Наоборот, Арну защищал правительство и мечтал о слиянии партий. Между тем дела его принимали скверный оборот. Это его мало беспокоило.

Отношения Фредерика с Капитаншей не огорчили его, ибо это открытие (как он думал) давало ему право лишить ее содержания, которое он снова назначил ей после отъезда князя. Он сослался на свое стесненное положение, долго сокрушался, и Розанетта проявила великодушие. Тогда Арну стал считать себя настоящим любовником, а это возвышало его в собственных глазах, молодило его. Не сомневаясь, что Капитанша на содержании у Фредерика, он вообразил, что «затеял забавную штуку», даже стал скрывать свою связь с ней и, встречаясь с ним, уступал место.

Необходимость делиться с Арну оскорбляла Фредерика, и любезности соперника казались ему слишком уже затянувшимся издевательством. Но, поссорившись с ним, он лишил бы себя всякой возможности вернуться к той, прежней, и, помимо всего, он только от Арну мог что-нибудь услышать о ней. Торговец фаянсом, следуя своему обыкновению, а может быть, и из лукавства, часто упоминал о ней в разговоре и даже спрашивал, почему он больше ее не навещает.

Фредерик, исчерпав все отговорки, стал уверять его, что несколько раз заходил к г-же Арну, но не заставал ее дома. Арну не усомнился в этом; он часто высказывал ей недоумение, почему не заходит их приятель, а она всякий раз отвечала, что он заходил, когда ее не было; таким образом, одна ложь не противоречила другой, а подкрепляла ее.

Кротость молодого человека и отрадная мысль, что он его обманывает, заставляли Арну еще больше любить Фредерика. Свою фамильярность он доводил до крайних пределов не из презрения, а потому, что доверял ему. Однажды он написал ему, что по неотложному делу должен на сутки уехать в провинцию; он просил Фредерика заменить его на дежурстве. Фредерик не решился отказать и отправился на площадь Карусели.

Ему пришлось переносить общество национальных гвардейцев, и все они, за исключением одного рафинировщика, весельчака, поразительно много пившего, показались ему глупыми, как пробка. Главной темой разговора была замена кожаной амуниции одной португеей. Некоторые горячились из-за Национальных мастерских. «Куда мы идем?» — вопрошал кто-нибудь. Тот, к кому был обращен этот возглас, отвечал, широко открыв глаза, словно бы оказался на краю пропасти: «Куда мы идем?» А кто-нибудь посмелее восклицал: «Так не может продолжаться! Пора покончить с этим!» Одни и те же разговоры повторялись до самого вечера. Фредерик скучал смертельно.

Каково же было его удивление, когда в одиннадцать часов появился Арну, сразу сообщивший, что он спешит отпустить его, так как уже справился со своими делами.

Дел у него не было. Он все выдумал, чтобы провести сутки наедине с Розанеттой. Но славный Арну не рассчитал своих сил, а когда утомился, почувствовал угрызения совести. Он пришел поблагодарить Фредерика и предложить ему поужинать.

— Покорно благодарю! Я совсем не голоден! Мне бы только добраться до постели.

— Так тем более надо будет позавтракать вместе! Какой вы неженка! Сейчас нельзя идти домой! Уже поздно! Это опасно!

Фредерик еще раз уступил. Товарищи, не ждавшие Арну, стали за ним ухаживать, особенно рафинировщик. Все его любили, и был он так добродушен, что даже пожалел об отсутствии Юссонэ. Но ему хотелось вздремнуть — на какую-нибудь минутку, не дольше.

— Ложитесь рядом со мной, — сказал он Фредерику, растянувшись на походной кровати и не сняв снаряжения. На случай

тревоги он, вопреки правилам, не расстался даже с ружьем; потом пробормотал: «Милочка! Ангел мой!» — и не замедлил уснуть.

Разговаривающие замолчали, и мало-помалу водворилась глубокая тишина. Фредерик, которого мучили блохи, смотрел по сторонам. Вдоль стены, выкрашенной желтой краской, тянулась длинная полка, на которой лежали ранцы, образуя ряд горбиков, а внизу были составлены ружья, все свинцового цвета; слышался храп национальных гвардейцев, а их животы смутно вырисовывались в сумраке. На печке стояли тарелки и пустая бутылка. Вокруг стола, на котором разбросаны были игральные карты, стояли три соломенных стула. На скамейке лежал барабан, ремни его свисали. В дверь дул теплый ветер, и лампа коптила. Арну спал, раскинув руки, а так как ружье его лежало наискось, прикладом вниз, то дуло приходилось ему под мышку. Фредерик заметил это и испугался.

«Да нет же! Пустое! Нечего опасаться! А все-таки, если бы он умер...»

И вот сразу же нескончаемой вереницей замелькали картины. Он увидел себя рядом с ней, ночью, в почтовой карете; потом на берегу реки летним вечером; наконец при свете лампы, дома, в их доме. Он даже занялся хозяйственными выкладками и планами, созерцая, осязая уже свое счастье, а для достижения его надо было только, чтоб поднялся курок. Можно было толкнуть его носком; раздался бы выстрел, — случайность, только и всего!

Фредерик развивал свою мысль, точно драматург, занятый сюжетом. Вдруг ему показалось, что она близится к осуществлению и что дело не обойдется без его участия, что ему этого хочется; и тут его охватил великий ужас. Он мучился, но испытывал удовольствие и все сильнее ему отдавался, чувствуя со страхом, как исчезают его сомнения. В этих неистовых мечтах растворился весь остальной мир, и только невыносимое стеснение в груди поддерживало в нем сознание своего «я».

— Не выпить ли нам белого вина? — спросил, проснувшись, рафинировщик.

Арну соскочил с постели, а когда вино было выпито, захотел стать на дежурство вместо Фредерика.

Затем он повел его завтракать на Шартрскую улицу, к Парли, и так как ему надо было подкрепиться, то заказал два мясных блюда, омара, яичницу с ромом, салат и т. д.; запивалось все это сотерном 1819 года и романеей сорок второго, не считая шампанского, поданного к десерту, и ликеров.

Фредерик ни в чем не противоречил ему. Он чувствовал себя неловко, как будто Арну мог заметить на его лице следы недавних мыслей.

Облокотившись на стол и очень низко наклонившись, Арну, смущая Фредерика упорным взглядом, делился с ним своими фантазиями.

Ему хотелось арендовать все насыпи Северной железной дороги, чтобы засадить их картофелем, или же устроить по бульварам грандиозную кавалькаду, в которой участвовали бы «современные знаменитости». Он снял бы по пути ее следования все окна и, сдав каждое из них по три франка, в среднем получил бы недурной барыш. Вообще он мечтал об удаче, которую ему принесет какая-нибудь спекуляция. Рассуждал он, однако, как человек нравственный, порицал излишества, бесчинства, вспоминал о своем «бедном отце» и рассказывал, что каждый вечер прежде чем помолиться богу, отдает себя на суд своей совести.

— Еще капельку кюрасо, а?

— Как вам угодно.

Что до республики, то все уладится; словом, он считал себя счастливейшим в мире человеком и, забывшись, стал превозносить достоинства Розанетты, сравнивая ее даже со своей женой. Это уж совсем другое! Какие бедра!

— За ваше здоровье!

Фредерик чокнулся с ним. В угоду Арну он выпил лишнее, к тому же яркое солнце опьянило его, и, когда они вместе пошли по улице Вивьен, их эполеты братски касались друг друга.

Вернувшись домой, Фредерик проспал до семи часов. Потом он отправился к Капитанше. Она с кем-то ушла. Может быть, с Арну? Не зная, чем заняться, он продолжал свою прогулку по бульвару, но не мог пройти дальше ворот Сен-Мартен — так много здесь было народу.

Нужда бросила на произвол судьбы значительное число рабочих, и каждый вечер они приходили сюда, очевидно, делать смотр своим силам в ожидании, что будет подан сигнал. Несмотря на закон, запрещающий сборища, эти *клубы отчаяния* становились угрожающе многолюдными, и многие буржуа, щеголяя храбростью, каждый день, следуя моде, ходили посмотреть на них.

Вдруг в трех шагах от себя Фредерик увидел г-на Дамбрёза с Мартиноном. Фредерик отвернулся, ибо г-н Дамбрёз достиг того, что его избрали в депутаты, и он был на него сердит. Но капиталист остановил его:

— На одну минутку, дорогой мой! Я вам должен дать объяснения.

— Да мне они не требуются...

— Сделайте милость, выслушайте меня!

Тут вовсе не было его вины. Его упросили, в известном смысле даже принудили. Мартинон тотчас же подтвердил его слова: жители Ножана даже прислали к нему депутацию.

— К тому же я не считал себя связанным с тех пор, как...

Толпа, хлынувшая на тротуар, оттеснила г-на Дамбрёза. Через минуту он снова появился и сказал Мартинону:

— Вот уж это истинная услуга! Вы не будете раскаиваться...

Все трое остановились около магазина и прислонились к стене, чтобы свободнее было разговаривать.

Время от времени раздавались крики: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует Барбес! Долой Мари!» Слышался громкий говор бесчисленной толпы, и все эти голоса, отраженные стенами домов, сливались в непрерывный гул, подобный шуму волн в гавани. Порой они смолкали; тогда раздавалась «Марсельеза». В подворотнях какие-то таинственные личности предлагали трости с кинжалами. Иногда какие-нибудь два субъекта мимоходом перемигивались и быстро расходились. На тротуаре кучками стояли зеваки; на мостовой колыхалась густая толпа; целые отряды полицейских, выходявших из переулков, сразу же исчезали в ней. Красные флажки, мелькавшие то здесь, то там, напоминали огни; кучера, восседая на козлах, размахивали руками, а потом поворачивали назад. Все двигалось, зрелище было самое причудливое.

— Как бы все это развлекло мадемуазель Сесиль! — сказал Мартинон.

— Вы ведь знаете, жена моя не любит отпускать племянницу с нами, — ответил с улыбкой г-н Дамбрёз.

Он стал неузнаваем. Целых три месяца он кричал: «Да здравствует республика!» — и даже голосовал за изгнание Орлеанской династии. Но пора было прекратить уступки. Он так рассвирепел, что носил в кармане кастет.

Кастет был и у Мартинона. Судебные должности перестали быть несменяемыми, поэтому он бросил службу и резкостью суждений превосходил теперь г-на Дамбрёза.

Банкир особенно ненавидел Ламартина (за то, что он поддерживал Ледрю-Роллена), а с ним заодно и Пьера Леру, Прудона, Консидерана, Ламенне, — всех сумасбродов, всех социалистов.

— Ведь чего они хотят, в конце концов? Отменили пошлину на мясо и аресты за долги; сейчас разрабатывается проект земельного банка, а на днях учредили государственный банк! И вот вам в бюджете — пять миллионов для рабочих! Но, к счастью, с этим покончено благодаря господину де Фаллу! Пусть проваливаются. Скатертью дорога!

В самом деле, не зная, как прокормить сто тридцать тысяч рабочих, занятых в Национальных мастерских, министр общественных работ подписал в тот же день постановление, приглашавшее всех граждан в возрасте от восемнадцати до двадцати лет поступить в солдаты или отправиться в провинцию — обрабатывать землю.

Это предложение их возмутило, они решили, что теперь хотят уничтожить республику. Жизнь вдали от столицы казалась им скорбной, как изгнание; им уже рисовались те дикие местности, где они будут умирать от лихорадки. К тому же многие, привыкшие к тонким ремеслам, считали земледелие унижительным занятием; наконец, ведь это был обман, насмешка, полный отказ от всех обещаний! Если они станут сопротивляться, им ответят насилием; они не сомневались в том и собирались предупредить нападение.

К девяти часам толпы, скопившиеся у Бастилии и у Шатле, хлынули на бульвар. От ворот Сен-Дени до ворот Сен-Мартен кишела сплошная огромная темно-синяя, почти черная масса. У всех, кого можно было разглядеть в толпе, глаза горели, лица были бледные, исхудавшие от голода, возбужденные несправедливостью. А тем временем собирались тучи; грозное небо наэлектризовывало толпу, кружившуюся на одном месте нерешительную, охваченную широким волнообразным движением, которое напоминало зыбь; и в глубинах ее чувствовалась сила, как бы стихийная мощь. Потом все запели: «Фонарики! Фонарики!» Несколько окон остались неосвещенными; в них бросили камни. Г-н Дамбрёз счел более осторожным удалиться. Молодые люди пошли провожать его.

Он предвидел великие бедствия. Народ опять мог ворваться в палату. И по этому поводу он рассказал, что 15 мая был бы убит, если бы не самоотверженность одного национального гвардейца.

— Да это же ваш приятель, я и забыл! Ваш приятель, торговец фаянсом, Жак Арну!

Мятежники наседали на него, а этот храбрый гражданин взял его на руки и отнес в сторону. Тут и завязалось нечто вроде знакомства.

— Как-нибудь на днях надо будет пообедать вместе, а вы передайте ему, раз вы так часто с ним встречаетесь, что он мне очень нравится. Прекрасный человек. По-моему, на него клеветают. И он не глуп, этот плут! Прощайте еще раз! Всего лучшего!

Расставшись с г-ном Дамбрёзом, Фредерик отправился к Капитанше и очень мрачно сказал, что она должна выбирать: либо он, либо Арну. Она кротко ответила, что совершенно не понимает «таких глупостей», что не любит Арну, нисколько не дорожит им. Фредерик жаждал уехать из Парижа. Она не воспротивилась этой прихоти, и они на следующий же день собрались в Фонтенебло.

В гостинице, где они остановились, посреди двора журчал фонтан, что составляло ее главное отличие. Двери номеров выходили в галерею, точно в монастыре. Им отвели большую комнату, хорошо обставленную, обтянутую кретоном и очень спокойную, — путешественников было мало. Вдоль домов расхаживали праздные обыватели; попозже, когда настали сумерки, на улице под их окнами дети затеяли игру в городки, и тишина, которой сменился для них шум Парижа, удивляла, умиротворяла их.

Ранним утром они пошли осматривать дворец. Они миновали железные ворота, и им открылся весь фасад, все пять павильонов, с остроконечными крышами, и лестница в форме подковы в глубине двора, по обе стороны которого тянутся два флигеля, более низких. Лишайники на мощеном дворе сливались издали с бурными тонами кирпичей, и дворец, напоминая окраской старые ржавые латы, был царственно невозмутим, исполнен воинственного и печального величия.

Наконец появился сторож со связкой ключей. Сперва он показал им покои королев, папскую молельню, галерею Франциска I, столик красного дерева, на котором Император подписал отречение от престола, а в одной из комнат, на которые разделена была прежняя Оленья галерея, — то место, где по приказанию Христины убили Мональдески. Розанетта внимательно выслушала эту историю, потом, обернувшись к Фредерику, сказала:

— Наверно, из ревности? Смотри, берегись!

Затем они прошли через зал Совета, через караульный зал, через тронный зал, через гостиную Людовика XIII. В высокие незанавешенные окна проникал белый свет; ручки дверей и окон, медные ножки консолей подернулись тусклым слоем пыли; мебель закрывали чехлы из грубого холста; над дверьми

изображены были охотничьи сцены времен Людовика XV, а на гобеленах — боги Олимпа, Психея, сражения Александра.

Проходя мимо зеркала, Розанетта всякий раз останавливалась на минуту, чтобы пригладить волосы.

Миновав башенный двор и осмотрев капеллу св. Сатурнина, они вошли в парадный зал.

Их ослепило великолепие плафона, разделенного на восьмиугольники, украшенного золотой и серебряной отделкой, превосходящей тонкостью любую драгоценную безделушку, и поразила живопись, которою в таком обилии покрыты стены, начиная с гигантского камина, где полумесяцы окружают герб Франции, и кончая эстрадой для музыкантов на другом конце зала. Десять сводчатых окон были широко распахнуты; живопись блистала в лучах солнца, голубое небо, уходя в беспределность, вторило ультрамариновым тонам сводов, а из глубины лесов, туманные вершины которых подымались на горизонте, как будто доносились эхо охотничьих рогов слоновой кости и отголоски мифологических балетов, в которых под сенью листвы танцевали принцессы и вельможи, переодетые нимфами и сильванами, — отголоски времен наивных знаний, сильных страстей и пышного искусства, когда мир стремились превратить в грезу о Гесперидах, а любовниц королей уподобляли небесным светилам. Прекраснейшая из этих знаменитых женщин велела запечатлеть себя на правой стене в виде Дианы-охотницы или даже Адской Дианы, в знак того, очевидно, что власть ее не кончится и за гробом. Все эти символы вещали о ее славе, и что-то еще оставалось от нее — не то смутный отзвук ее голоса, не то отблеск ее сияния.

Фредерик почувствовал невыразимое вожделение, рожденное этим прошлым. Чтобы отвлечься, он нежно взглянул на Розанетту и спросил ее, не хотелось бы ей быть на месте этой женщины?

— Какой женщины?

— Дианы де Пуатье! — Он повторил: — Дианы де Пуатье, любовницы Генриха Второго.

Она промолвила: «А-а!» И это было все.

Ее молчание ясно доказывало, что она ничего не знает, ничего не понимает. Снисходя к ней, он спросил:

— Тебе, может быть, скучно?

— Нет, нет, наоборот!

И, подняв голову и обводя стены ничего не выражающим взглядом, Розанетта изрекла:

— Это вызывает воспоминания!

Однако по лицу ее было заметно, что она делает усилие, чтобы настроиться на благоговейный лад, а так как эта серьезность очень шла к ней, он решил ее извинить.

Пруд с карпами занял ее гораздо больше. Она добрых четверть часа кидала в воду кусочки хлеба, чтобы посмотреть, как набрасываются на них рыбы.

Фредерик сел рядом с ней под липами. Он думал о всех тех людях, которых видели эти стены, о Карле V, о королях из дома Валуа, о Генрихе IV, о Петре Великом, о Жан-Жаке Руссо и «прекрасных плакальщицах нижних лож», о Вольтере, Наполеоне, Пие VII, Луи-Филиппе; он чувствовал, как обступают, теснят его шумливые покойники; нестройная толпа этих образов ошеломила его, хоть он и находил в них прелесть.

Наконец они спустились к цветнику.

Он занимает большой прямоугольный участок, и можно было одним взглядом окинуть широкие желтые дорожки, квадратики газона, завитки буксов, пирамидальные тисы, низкие кустики и узкие клумбы, где редкие цветы выделяются пятнами на серой земле. За цветником начинается парк, через который из конца в конец тянется длинный канал.

Королевские жилища полны какой-то своеобразной меланхолии, вызываемой, должно быть, несоответствием между огромными размерами и немногочисленностью обитателей, той тишиной, которую мы с удивлением находим здесь после стольких трубных звуков, той незабываемой роскошью, которая своей древностью изобличает быстротечность династий, неизбежную тщету всего сущего, и это дыхание веков, дурманящее и скорбное, точно аромат мумии, чувствуют даже бесхитростные умы. Розанетта отчаянно зевала. Они вернулись в гостиницу.

После завтрака им подали открытый экипаж. Они выехали из Фонтенебло через широкую круглую площадку, потом стали шагом подыматься по песчаной дороге в низкорослом сосновом лесу. Дальше деревья становились выше, и кучер время от времени говорил: «Вот Сиамские близнецы, Фарамонд, Королевский букет...» — не пропуская ни одного из знаменитых пейзажей, порою даже останавливая лошадей, чтобы можно было полюбоваться.

Они въехали в Франшарскую рощу. Экипаж скользил по траве, точно сани; ворковали голуби, которых не было видно; вдруг появился слуга из кафе, и коляска остановилась у садовой ограды, за которой стояли круглые столики. Оставив влево стены разрушенного аббатства, Фредерик и Розанетта пошли

по тропинке, усеянной крупными камнями, и вскоре очутились в глубине ущелья.

Один из его склонов покрыт песчаником и кустами можжевельника, а другой, почти голый, спускается в овраг, где среди ярких красок вереска бледной линией тянется тропинка; совсем вдали подымается вершина в форме усеченного конуса, а за ней телеграфная вышка.

Полчаса спустя они еще раз вышли из коляски и стали взбираться на высоты Апремона.

Дорога вьется среди приземистых сосен и скал с угловатыми очертаниями; в этой части леса все как-то глухо, царит суровая сосредоточенность. На память приходят те отшельники, которые жили в обществе огромных оленей с огненными крестами между рогов, и, отечески улыбаясь, встречали добрых французских королей, склонявших колена у входа в их пещеры. Жаркий воздух насыщен был запахом смолы, корни деревьев сплетались на земле, точно жилы. Розанетта, спотыкаясь о них, приходила в отчаяние, ей хотелось плакать.

Но, взобравшись на вершину, она снова повеселела: под навесом из ветвей оказалось нечто вроде ресторанчика, и тут же продавались вещицы, вырезанные из дерева. Она вышила бутылку лимонада, купила палку из остролиста и, даже не взглянув на ландшафт, открывавшийся с плоскогорья, вошла в Разбойничью пещеру вслед за мальчиком, который нес факел.

Коляска ожидала их в Ба-Брео.

Художник в синей блузе работал, сидя под дубом и держа на коленях ящик с красками. Он поднял голову, поглядел им вслед.

На косогоре Шайи они попали под внезапно хлынувший ливень, так что пришлось поднять верх экипажа. Дождь быстро прекратился, и когда они въезжали в город, мостовая блестела на солнце.

От путешественников, только что прибывших, они узнали, что в Париже идут жестокие, кровавые бои. Розанетту и ее любовника это не удивило. Вскоре путешественники отправились в дорогу; в гостинице все снова стихло, газ погасили, и они заснули под плеск фонтана, что бил во дворе.

На другой день они поехали осматривать Волчье ущелье, озеро Фей, Долгий утес, Марлотту, а на третий — предоставили кучеру везти их, куда ему вздумается, не спрашивая, где они, и даже зачастую не обращая внимания на знаменитые пейзажи.

Им так хорошо было в старом ландо, обтянутом внутри полотняной материей с выцветшими полосками, с низким, точно диван, сиденьем! Канавы, заросшие кустарником, скользили мимо мерно и непрерывно. Белые лучи, точно стрелы, пронизывали высокий папоротник; иногда, уходя прямой линией вдаль, в стороне открывалась дорога, по которой теперь никто не ездил, так что местами на ней уже мягко зыбилась трава. На перепутьях простирали свои руки кресты, а кое-где столб кривился подобно засохшему дереву, и узкая извилистая тропинка, теряясь под деревьями, манила в лес; лошадь тут же сворачивала, колеса вязли в грязи; и дальше виднелись глубокие колеи, обросшие мхом.

Им казалось, что они здесь совсем одни, далеко от людей. Но вдруг навстречу попадался лесничий с ружьем или проходила толпа женщин в лохмотьях, с длинными вязанками хвороста на спине.

Когда коляска останавливалась, воцарялась полная тишина; только слышно было, как дышит лошадь, да раздавался слабый птичий писк.

Кое-где опушка леса была ярко освещена, а чаще погружена в тень; местами же свет, смягченный на первом плане каким-то мглистым сумраком, расстилался вдали лиловатой дымкой, белыми пятнами. Солнце, стоявшее в зените, бросало отвесные лучи на широкую зелень деревьев, обрызгивало их, усеивало кончики ветвей серебряными каплями, расстилалось по траве изумрудными полосами, бросало золотые блики на груды опавших листьев; закинув голову, можно было между верхушками деревьев увидеть небо. Некоторые деревья, непомерно высокие, походили на императоров и патриархов, иные вершинами касались друг друга и своими длинными стволами образовали подобие триумфальных арок; те же, что росли криво от самых корней, казались колоннами, которые вот-вот рухнут.

Порой в этой массе густых отвесных линий возникал просвет. Тогда огромными зелеными волнами вздымались неровные цепи холмов, сливавшихся с долинами, а за ними высились гребни других холмов, спускавшихся к золотистым нивам, которые исчезали в бледной, смутной дали.

Иногда, стоя друг подле друга на какой-нибудь возвышенности, они вдыхали ветер и чувствовали, что в душу их как бы внедряется гордое сознание жизни, более свободной, избыток сил, беспричинная радость.

Благодаря разнообразию деревьев пейзаж менялся все время. Буки с белыми и гладкими стволами сплетали свои

корни; ясени томно опускали ветви в сине-зеленую листву; среди молодых грабов, точно вылитые из бронзы, щетинились остролистники; потом шел ряд тонких берез, склонившихся в элегической позе, а сосны, симметричные, как трубы органа, казалось, пели, беспрерывно покачиваясь из стороны в сторону. Были здесь и огромные узловатые дубы; устремляясь ввысь, они судорожно изгибались, сжимали друг друга в объятиях и, крепко держась на корнях, простирали друг к другу обнаженные ветви, бросали отчаянные призывы, яростные угрозы, подобно титанам, оцепеневшим в гневе. Что-то еще более гнетущее, какое-то лихорадочное томление тяготело над гладью болотистых вод, окруженной колючим кустарником; лишайники, растущие по берегам, куда волки приходят на водопой, и цветом своим похожие на серу, были сожжены, как будто по ним ступали ведьмы, и непрерывное кваканье лягушек отвечало карканью кружащихся ворон. Далее тянулись однообразные просеки, кое-где усаженные молодыми деревцами. Раздавался грохот железа, тяжелые и частые удары: на склоне холма артель рабочих дробила камень. Скалы попадались все чаще и наконец заполнили весь пейзаж; кубические, как дома, или плоские, как плиты, они сталкивались, опираясь и громоздясь друг на друга, сливаясь, словно неведомые чудовищные развалины исчезнувшего города. Но самое неистовство их хаоса скорее наводит на мысль о вулканах, потопах, великих, неведомых нам катаклизмах. Фредерик говорил, что скалы эти стоят здесь от начала мира и останутся до конца его; Розанетта отворачивалась, заявляя, что она «от таких вещей с ума сойдет», и отправлялась рвать вереск. Его мелкие лиловатые цветочки, теснясь друг к другу, сливались в неровные пятна, а земля, осыпавшаяся из-под его корней, черной бахромой выделялась на песке, усеянном блестками слюды.

Однажды они стали взбираться на песчаный холм и поднялись до половины его. По склону, не знавшему следов человеческой ноги, тянулись симметричные волнообразные полосы; то тут, то там, точно мысы на высохшем ложе океана, выступали скалы, своими формами смутно напоминавшие разных зверей — черепах с вытянутыми головами, ползающих тюленей, гиппопотамов, медведей. Кругом никого. Ни единого звука. Песок, освещенный солнцем, слепил глаза; и вдруг, среди этой зыби лучей, звери словно зашевелились, Фредерик и Розанетта почти в испуге бросились назад, — у них закружилась голова.

Строгое спокойствие леса заражало их, и бывали часы, когда они хранили молчание, покачиваясь на рессорах, точно убаюканные безмятежной негой. Обняв Розанетту за талию, он слушал и голос ее, и щебетанье птиц, рассматривал и черные виноградины на ее шляпке, и ягоды на кустах можжевельника, и складки ее вуали, и завитушки облаков, а наклоняясь к ней, чувствовал свежесть ее кожи и вдыхал ее вместе с запахами леса. Все забавляло их; они, как на диковинку, указывали друг другу на тонкие нити паутины, свесившиеся с куста, на углубления в камнях, полные воды, на белку в ветвях, на двух бабочек, летевших им вслед; иногда шагах в двадцати от них спокойно проходила под деревьями кроткая благородная лань, а рядом с нею молодой олень. Розанетте хотелось бежать за ними, расцеловать их.

Как-то раз она очень испугалась: совсем неожиданно к ним подошел человек и показал ей в ящике трех гадюк. Она крепко прижалась к Фредерику, и он был счастлив, чувствуя ее слабость и свою силу, сознавая, что может защитить ее.

В тот же вечер они обедали в ресторане на берегу Сены. Стол их стоял у окна. Розанетта сидела против Фредерика, и он любовался ее тонким белым носиком, оттопыренными губками, ее ясными глазами, пышными каштановыми волосами, красивым овалом лица. Платье из небеленого фуляра плотно облегалo ее плечи, немного покатые, а руки ее в гладких манжетах резали, наливали, двигались над скатертью. Им подали распластанного цыпленка, матлот из угрей в глиняной миске, терпкое вино, черствый хлеб, зазубренные ножи. Все это усиливало их радость, поддерживало какую-то иллюзию. Им чуть ли не казалось, что они путешествуют по Италии, справляя свой медовый месяц.

Перед тем как сесть в экипаж, они пошли прогуляться по берегу реки.

Небо, нежно-голубое, точно купол округляясь над землей, касалось на горизонте зубчатых вершин леса. На противоположном конце поляны высилась колокольня сельской церкви, а дальше, налево, крыша дома красным пятном отражалась в реке, образовавшей здесь излучину и казавшейся неподвижной. Однако камыши наклонялись, и вода тихо покачивала воткнутые у берега жерди, на которых были развешаны сети; тут же стояли ивовая верша и две-три старые лодки. У постоянного двора служанка в соломенной шляпе тянула ведра из колодца; каждый раз, как ведро поднималось, Фредерик с невыразимым наслаждением прислушивался к скрипу цепи.

Он не сомневался, что будет счастлив до конца своих дней: таким естественным казалось ему его счастье, так неразрывно оно связывалось с его жизнью и с личностью этой женщины. Ему хотелось говорить ей что-нибудь нежное. Она мило отвечала ему, хлопала по плечу, и его очаровывала неожиданность ее ласк. Он открывал в ней совершенно новую красоту, которая, быть может, являлась лишь отблеском окружающего мира или была вызвана к жизни его сокровенной сущностью.

Когда они отдыхали среди поля, он клал голову ей на колени, под тень ее зонтика; или оба они ложились на траву, друг против друга, погружались взглядом в самую глубину зрачков, возбуждая друг в друге желание, а когда оно было утолено, они, полузакрыв глаза, молчали.

Иногда слышались где-то вдали раскаты барабана. Это в деревнях били тревогу, созывая народ на защиту Парижа.

— Ах да! Это восстание,— говорил Фредерик с презрительной жалостью, ибо все эти волнения казались ему ничтожными по сравнению с их любовью и вечной природой.

И они болтали бог весть о чем, о вещах, которые и так были им известны, о людях, которые их не занимали, обо всяких пустяках. Она рассказывала ему о своей горничной и о своем парикмахере. Однажды она проговорила, сказала, сколько ей лет: двадцать девять; она стареет.

Несколько раз, сама не замечая, сообщала ему подробности о своей жизни: она служила продавщицей в магазине, ездила в Англию, начинала готовиться в актрисы; все это было бессвязно, и Фредерик не мог восстановить цельной картины. Рассказала она и больше — как-то раз, когда они сидели на луговом откосе под платаном. Внизу, у дороги, босая девочка пасла корову. Заметив их, она сразу же подошла попросить милостыню; одной рукой она придерживала лохмотья своей юбки, а другой почесывала черные волосы, напоминавшие парик времен Людовика XIV и окаймлявшие ее смуглое личико, которое озарялось блеском ослепительных глаз.

— Со временем она будет хорошенькая,— сказал Фредерик.

— Ей повезло, если у ней нет матери! — заметила Розанетта.

— Как? Почему?

— Ну да. Вот если бы и у меня...

Она вздохнула и стала рассказывать про свое детство. Ее родители были прядильщики в Круа-Русс. У своего отца она была вместо подмастерья. Бедняга работал, старался изо всех

сил, но жена ругала его и все норовила распродать, лишь бы пойти напиться. Розанетта как сейчас помнила их комнату, станки, расставленные вдоль окон, котел с супом на печке, кровать, выкрашенную под красное дерево, против нее шкаф и темный чулан, где она спала до пятнадцати лет. Явился наконец какой-то господин, жирный, с бурым цветом лица, с повадками святоши, весь в черном. Он переговорил с ее матерью, и вот через три дня... Розанетта остановилась и бросила взгляд, полный бесстыдства и горечи:

— Дело было сделано! — Потом, как бы отвечая на невольное движение Фредерика: — Он был женатый (дома он боялся скомпрометировать себя), поэтому меня отвели в ресторан, в отдельный кабинет, и сказали, что я буду счастлива, что он сделает мне хороший подарок.

Первое, что меня поразило, едва только я вошла, был вызолоченный канделябр на столе, где стояло два прибора. Они отражались в зеркале на потолке, а стены были обтянуты голубым шелком, и комната была похожа на альков. Все это меня изумило. Ты понимаешь: бедная девочка никогда ничего не видела! Хоть меня и ослепил этот блеск, мне сделалось страшно. Мне хотелось уйти, но я осталась.

Перед столом стоял только диван. Я села на него — он был такой мягкий! Из отдушины, прикрытой ковром, шел горячий воздух, а я сидела, ни к чему не притрагивалась. Передо мной стоял лакей, он уговаривал меня поесть. Он тут же налил мне полный стакан вина. У меня закружилась голова, я хотела открыть окошко, он мне сказал: «Нет, барышня, нельзя». И ушел. На столе была всякая всячина, о которой я и представления не имела. Ни одно из кушаний мне не понравилось. Тогда я набросилась на вазочку с вареньем и все ждала. Не знаю, что его задержало. Было уже очень поздно, около полуночи, я изнемогала от усталости; я стала перекладывать подушки, чтобы поудобнее улечься, и вдруг мне под руку попало что-то вроде альбома, какая-то тетрадь, неприличные картинки... Я заснула над ними, когда он вошел.

Она опустила голову и задумалась.

Вверху шелестели листья, над густой травой покачивалась большая наперстянка, на поляну лились волны света, и только изредка слышно было, как какая-то корова, которую они уже потеряли из виду, пощипывает траву.

Розанетта пристально и сосредоточенно смотрела в одну точку, прямо перед собой; ноздри ее трепетали. Фредерик взял ее за руку.

— Сколько ты выстрадала, милая, бедняжка!

— Да,— промолвила Розанетта,— больше, чем ты думаешь!.. Даже хотела покончить с собой; меня вытащили из воды.

— Как так?

— Ах, не стоит вспоминать!.. Я тебя люблю, я счастлива! Поцелуй меня.

И она стала выщипывать репей, зацепившийся за подол ее платья.

Больше всего Фредерик думал о том, чего она не сказала. Какими путями могла она выбраться из нищеты? Какому любовнику она обязана своим воспитанием? Что произошло в ее жизни до того дня, когда он в первый раз появился в ее доме? Ее последнее признание делало невозможными всякие расспросы. Он только любопытствовал, как она познакомилась с Арну.

— Через Ватназ.

— Не тебя ли я как-то раз видел вместе с ними в Палеро-Рояле?

Он назвал дату. Розанетта сделала усилие, припоминая.

— Да, верно... Невесело мне было в те времена!

Но Арну показал себя с наилучшей стороны. Фредерик в этом не сомневался, но все же друг их — большой чудака, у него много недостатков; и он не преминул перечислить их. Она соглашалась.

— Что из того?.. Как-никак любишь этого негодяя!

— Даже теперь? — спросил Фредерик.

Она покраснела и, полусмеясь, полусердито, возразила:

— Да нет же! Это уже давно все было. Я от тебя ничего не скрываю. А даже если бы и так, ведь он — совсем другое! Впрочем, ты не особенно мило ведешь себя со своей жертвой.

— Жертвой?

Розанетта взяла его за подбородок.

— Ну, разумеется! — И, сюсюкая, как делают кормилицы: — Ты не всегда был пайныка! С его женой в одной постельке — бай-бай!

— Я? Никогда в жизни!

Розанетта улыбнулась. Ее улыбка оскорбила его, как доказательство равнодушия (так он подумал). Но она стала кротко расспрашивать его, взглядом умоляя ответить ложью:

— Правда?

— Ну конечно!

Фредерик поклялся ей, что никогда не помышлял о г-же Арну; ведь он страстно влюблен в другую.

— В кого же это?

— Да в вас, моя красавица!

— Ах, не издевайся ты надо мной! Меня это раздражает!

Он счел более осторожным рассказать ей о вымышленном увлечении, придумал целую историю. Он сочинял подробности самые обстоятельные. Впрочем, особа эта очень огорчала его.

— Тебе решительно не везет! — сказала Розанетта.

— Да нет, как когда, — ответил Фредерик, желая намекнуть на некоторые удачи в любовных делах и тем самым внушить более высокое мнение о себе, подобно тому как Розанетта не называла всех своих любовников, ибо даже в минуты самых искренних излияний всегда остаются недомолвки, и причина их — ложный стыд, совестливость или жалость. В своем ближнем, а затем и в самом себе открываешь бездны или клоаки, которые не позволяют идти дальше; к тому же чувствуешь, что тебя не поймут; трудно найти точное выражение чему бы то ни было; недаром в любви полное единение редко.

Бедной Капитанше ничего лучшего не пришлось испытать. Часто, когда она глядела на Фредерика, слезы блестели у нее на ресницах, она поднимала глаза к небу и вперяла их в горизонт, как будто там вставала яркая заря, открывалась будущность, полная беспредельного блаженства. Наконец она как-то призналась, что ей хотелось бы отслужить молебен: «Это принесет счастье нашей любви».

Отчего же она так долго противилась ему? Она сама не знала. Он несколько раз задавал ей этот вопрос, и она отвечала, сжимая его в объятиях:

— Я боялась слишком полюбить тебя, милый!

В воскресенье утром Фредерик, читая газету, встретил в списке раненых имя Дюссардьё. Он вскрикнул и, показывая Розанетте газету, заявил, что немедленно уезжает.

— Зачем это?

— Чтобы увидеть его, чтоб ухаживать за ним!

— Надеюсь, ты не оставишь меня одну?

— Поедем вместе.

— Ах, вот как! Чтоб попасть в эту кутерьму! Благодарю покорно!

— Но я ведь не могу...

— Та-та-та! Как будто в больницах мало фельдшеров! А он-то чего совался, какое ему было дело? Каждый должен думать о себе!

Он был возмущен ее эгоизмом и стал упрекать себя, зачем не остался там, вместе с другими. В этом равнодушии к бедствиям родины было нечто пошлое, мещанское. Любовь к Розанетте вдруг стала тяготить его, точно преступление. Они целый час дулись друг на друга.

Потом она стала умолять его выждать, не подвергать себя опасности.

— А вдруг тебя убьют?

— Ну что же! Я только исполню свой долг!

Розанетта так и подскочила. Его долг — прежде всего любить ее. Значит, она ему не нужна? Где во всем этом здравый смысл? Что за фантазия, боже мой!

Фредерик позвонил и велел слуге принести счет. Но вернуться в Париж было нелегко. Дилижанс конторы Лелуар только что ушел, кареты Леконта не брали пассажиров, дилижанс из Бурбонэ мог прибыть лишь поздно ночью, и то, пожалуй, совершенно переполненный; ничего нельзя было предвидеть. Потеряв много времени на справки, Фредерик решил взять почтовых лошадей. Почтмейстер отказал ему, так как у Фредерика не было с собой паспорта. В конце концов он нанял коляску (ту самую, в которой они ездили кататься), и к пяти часам они добрались до «Торговой гостиницы» в Мелене.

На рыночной площади стояли в козлах ружья. Префект запретил национальной гвардии идти в Париж. Гвардейцы, не принадлежавшие к его департаменту, хотели продолжать путь. Раздавались крики. В гостинице стоял шум.

Испуганная Розанетта объявила, что дальше не поедет, и снова стала умолять его остаться. Хозяин гостиницы и его жена поддержали ее. В спор вмешался один из обедавших, добрый малый; он утверждал, что сражаться скоро перестанут, но все-таки надо исполнять свой долг. Капитанша зарыдала еще громче. Фредерик был вне себя. Он отдал ей свой кошелек, наскоро поцеловал ее и скрылся.

На вокзале в Корбейле он узнал, что мятежники в некоторых местах разобрали рельсы, а кучер отказался везти его дальше; он говорил, что лошади «замучались».

Все же, через его посредство, Фредерик достал скверный кабриолет, в котором за шестьдесят франков, не считая того, что он дал на водку, его согласились довести до Итальянской заставы. Но уже за сто шагов до заставы кучер попросил его сойти и повернул назад. Фредерик пошел по дороге, как вдруг

часовой штыком преградил ему путь. Четверо набросились на него; они орали:

— Это один из них! Не упустите его! Обыскать! Разбойник! Сволочь!

И его изумление было так велико, что он дал увести себя в караульную у заставы, на площади, где сходятся бульвары Гобеленов и Госпитальный и улицы Годфруа и Муфтар.

Подступы к площади загораживали четыре баррикады, четыре громадные груды булыжника; местами трещали факелы; несмотря на клубившуюся пыль, Фредерик различал пехотинцев и национальных гвардейцев с черными, свирепыми лицами, в изодранных мундирах. Они только что заняли эту площадь и расстреляли несколько человек; ярость их еще не улеглась. Фредерик сказал, что он приехал из Фонтенебло, желая помочь раненому товарищу, живущему на улице Бельфон; сначала ему не поверили; осмотрели его руки, даже обнюхали уши, чтобы удостовериться, не пахнет ли от него порохом.

Однако, все время твердя одно и то же, он наконец убедил в своей правоте капитана, который приказал двум стрелкам препроводить его к посту у Ботанического сада.

Пошли по Госпитальному бульвару. Дул сильный ветер. Он оживил Фредерика.

Потом повернули на Конный рынок. Ботанический сад подымался направо огромной черной массой, налево же, будто охваченный пожаром, сверкал огнями фасад больницы Милосердия: во всех окнах горел свет, в них быстро двигались тени.

Провожатые Фредерика пошли назад. До Политехнической школы его сопровождал уже другой человек.

На улице Сен-Виктор царил полный мрак: ни одного газового рожка, ни одного освещенного окна. Каждые десять минут раздавалось:

— Часовой! Слушай!

И этот крик, прорезывавший тишину, рождал отклики, как камень, падающий в пропасть и пробуждающий эхо.

Порою приближались чьи-то тяжелые шаги. Это проходил патруль — неясное скопище, по меньшей мере сотня людей; доносился шепот, тихо бряцало железо; и, мерно колыхаясь, люди уходили, растворялись в темноте.

На каждом перекрестке, среди улицы, неподвижно возвышался конный драгун. Время от времени галопом проносился какой-нибудь курьер, затем снова наступала тишина. Где-то

везли пушки, и над мостовой неся глухой и грозный грохот; сердце сжималось от этих звуков, не похожих на все привычные звуки. Казалось все же, что шире и шире разливается тишина — глубокая, полная, черная тишина. К солдатам подходили люди в белых блузах, что-то говорили им и скрывались, как привидения.

В караульне Политехнической школы было битком набито. На пороге толпились женщины, просившие свидания с сыном или мужем. Их отсылали в Пантеон, превращенный в морг, и никто не хотел слушать Фредерика. Он настаивал, клялся, что его друг Дюссардые ждет его, что он может умереть. В конце концов отрядили капрала проводить его в конец улицы Сен-Жак, в мэрию 12-го округа.

Площадь Пантеона была полна солдат, спавших на соломе. Наступало утро. Гасли бивуачные огни.

Мятеж в этом квартале оставил страшные следы. Улицы были разрыты из конца в конец, вставали горбом. На баррикадах, теперь разрушенных, громоздились кузова омнибусов, лежали газовые трубы, колеса от телег; кое-где виднелись маленькие черные лужи, должно быть кровь. Стены домов были пробиты снарядами, из-под отвалившейся штукатурки выступала дранка. Жалюзи, державшиеся на одном гвозде, висели, точно рваные тряпки. Лестницы провалились, и двери открывались в пустоту. Можно было заглянуть внутрь комнат, где обои превратились в лохмотья; иногда же оказывалась в целости какая-нибудь хрупкая вещица. Фредерик заметил стенные часы, жердочку для попугая, гравюры.

Когда он вошел в здание мэрии, национальные гвардейцы без умолку говорили о смерти Бреа и Негрие, депутата Шарбонеля и архиепископа Парижского. Говорили, что в Булони высадился герцог Омальский, Барбес бежал из Венсена, из Буржа везут артиллерию, а из провинции стекаются подкрепления. К трем часам кто-то принес отрядные вести: мятежники отправили к председателю Национального собрания своих парламентаров.

Все обрадовались, а Фредерик, у которого еще оставалось двенадцать франков, послал за дюжиной вина, надеясь таким путем ускорить свое освобождение. Вдруг кой-кому почудились выстрелы. Возлиания прекратились; на незнакомца устремились подозрительные взгляды; это мог быть и Генрих V.

Чтобы снять с себя всякую ответственность, они привели Фредерика в мэрию 11-го округа, а там его отпустили только в девять часов утра.

До набережной Вольтера он неся бегом. У открытого окна стоял старик в одном жилете и плакал, глядя вверх. Мирно текла Сена; небо было совершенно синее; на деревьях в Тюильри пели птицы.

Когда Фредерик переходил площадь Карусели, ему встретились носилки. Часовые здесь тотчас же взяли на караул, а офицер, приложив руку к киверу, сказал: «Честь и слава храброму в несчастье!» Слова эти стали почти обязательными; тот, кто произносил их, принимал всегда вид торжественно-взволнованный. Носилки сопровождало несколько человек, кричавших в ярости:

— Мы за вас отомстим! Мы за вас отомстим!

По бульварам двигались экипажи; женщины, сидя у дверей, щипали корпию. Между тем мятеж был подавлен или почти подавлен; так гласило воззвание Кавеньяка, только что расклеенное на стенах. В конце улицы Вивьен показался взвод подвижной гвардии. Обыватели в восторге завопили; они махали шляпами, рукоплескали, плясали, стремились обнять солдат, предлагали им вина, с балконов дамы бросали им цветы.

Наконец в десять часов, в ту минуту, когда под грохот пушек брали предместье Сент-Антуан, Фредерик попал в мансарду Дюссардье. Тот лежал на спине и спал. Из соседней комнаты неслышными шагами вышла женщина — м-ль Ватназ.

Она отвела Фредерика в сторону и сообщила ему, при каких обстоятельствах Дюссардье был ранен.

В субботу с баррикады на улице Лафайета какой-то мальчишка, завернувшись в трехцветное знамя, кричал национальным гвардейцам: «Так вы будете стрелять в своих братьев!» Но те продолжали наступать, а Дюссардье, бросив ружье, растолкав всех, прыгнул на баррикаду, ударом ноги повалил мятежника и вырвал у него знамя. Дюссардье нашли под развалинами баррикады с пробитым бедром. Пришлось сделать разрез, чтобы вынуть медные осколки. В тот же вечер м-ль Ватназ пришла к нему и с тех пор от него не отходила.

Она с полным знанием дела приготавливала все необходимое для перевязок, давала ему пить, ловила его малейшие желания, двигалась совершенно неслышно и смотрела на него нежными глазами.

Фредерик навещал его каждое утро в течение целых двух недель; как-то, когда он заговорил о самоотверженности Ватназ, Дюссардье пожал плечами:

— Ну, нет! Это не бескорыстно!

— Ты думаешь?

— Я в этом уверен! — ответил Дюссардьё, не желая распространяться.

Она была так предупредительна, что приносила ему газеты, в которых прославлялся его подвиг. Эти похвалы как будто досаждали ему. Он даже признался Фредерику, что его беспокоит совесть.

Может быть, ему следовало стать на сторону блузников; ведь, в сущности, им наобещали множество вещей, которых не исполнили. Их победители ненавидят республику, и к тому же с ними обошлись очень жестоко. Конечно, они были неправы, однако не совсем, и честного малого терзала мысль, что, может быть, он боролся против справедливости.

Сенекаль, заключенный в Тюильри, в подвале под террасой со стороны набережной, не знал этих сомнений.

Их было там девятьсот человек, брошенных в грязь, сбитых в кучу, черных от пороха и запекшейся крови, трясущихся в лихорадке, кричащих от ярости; а когда кто-нибудь из них умирал, труп не убирали. Иногда, вдруг услышав выстрел, они решали, что их сейчас всех расстреляют, и бросались к стене, потом снова падали на прежнее место, и одуревшим от страдания людям чудилось, будто все это какой-то кошмар, зловещая галлюцинация. Лампа, висевшая под сводчатым потолком, была как кровавое пятно, а в воздухе кружились зеленые и желтые огоньки, загоравшиеся от испарений этого склепа. Опасаясь эпидемии, назначили особую комиссию. Председатель только начал спускаться, как уже бросился назад, в ужасе от трупного запаха и зловония нечистот. Когда заключенные подходили к отдушинам, солдаты национальной гвардии, стоявшие на часах, пускали в ход штыки, кололи их наудачу, чтобы не дать им расшатать решетку.

Эти солдаты были безжалостны. Те, кому не пришлось участвовать в сражениях, хотели теперь отличиться. Это был разгул трусости. Мстили сразу и за газеты, и за клубы, и за сборища, и за доктрины — за все, что уже целых три месяца приводило в отчаяние, и равенство, несмотря на свое поражение (как будто карая своих защитников и насмехаясь над врагами), с торжеством заявило о себе, тупое, звериное равенство; установился одинаковый уровень кровавой подлости, ибо фанатизм наживы не уступал безумствам нищеты, аристократия неистовствовала точно так же, как и чернь, ночной колпак оказался не менее мерзок, чем красный колпак. Общественный разум помутился, как это бывает после великих бед-

ствий. Иные умные люди после этого на всю жизнь остались идиотами.

Дядюшка Рокк стал очень храбр, чуть ли не безрассуден. Вступив в Париж 26-го с отрядом из Ножана, он не пожелал идти с ним назад и присоединился к национальной гвардии, расположившейся лагерем в Тюильри, а теперь был очень доволен, что его поставили часовым со стороны набережной, у террасы. Тут, по крайней мере, эти разбойники были в его власти! Он наслаждался, думая об их неудаче, об их унижении, и не мог удержаться от ругани.

Один из них, белокурый длинноволосый подросток, приник лицом к решетке и просил хлеба. Г-н Рокк приказал ему замолчать. Но юноша жалобно повторял:

— Хлеба!

— Откуда я тебе возьму?

К решетке приблизились другие заключенные, с всклокоченными бородами, с горящими глазами; они толкали друг друга и выли:

— Хлеба!

Дядюшка Рокк возмутился, что не признают его авторитета. Чтобы испугать их, он стал целиться, а тем временем юноша, которого толпа, напирая, подняла до самого свода, крикнул еще раз:

— Хлеба!

— Вот тебе! Получай! — сказал дядюшка Рокк и выстрелил.

Раздался страшный рев, потом все затихло. На краю кадки осталось что-то белое.

После этого г-н Рокк отправился домой; на улице Сен-Мартен у него был дом, где он держал квартирку для себя на случай приезда, и то обстоятельство, что во время мятежа был испорчен фасад этого строения, немало способствовало его свирепости. Теперь, когда он снова взглянул на фасад, ему показалось, что ущерб он преувеличил. Поступок, только что им совершенный, умиротворил его, словно ему возместили убытки. Дверь ему отворила его собственная дочь. Первым делом она сообщила, что ее обеспокоило слишком долгое его отсутствие; она боялась, что с ним случилось несчастье, что он ранен.

Подобное доказательство дочерней любви умилило старика Рокка. Он удивился, как это она отправилась в путешествие без Катрины.

— Я послала ее сейчас по делу, — ответила Луиза.

И она осведомилась о его здоровье, о том, о сем; потом равнодушно спросила, не случилось ли ему встретить Фредерика.

— Нет! Нигде, ни разу!

А путешествие она совершила только ради него.

В коридоре слышались шаги.

— Ах, извини!..

Катрина Фредерика не застала. Его уже несколько дней не было дома, а близкий его друг г-н Делорье находился в провинции.

Луиза вернулась, вся дрожа, не в силах сказать ни слова. Она хваталась за мебель, боялась упасть.

— Что с тобой? Да что с тобой? — вскрикнул отец.

Она жестом объяснила, что это пустяки, и сделала большое усилие, чтобы прийти в себя.

Из ресторана, помещавшегося напротив, принесли обед. Но дядюшка Рокк пережил слишком сильное волнение. «Это не может так быстро пройти», — и за десертом с ним сделалось нечто вроде обморока. Скорее послали за врачом, тот прописал микстуру. Потом, уже лежа в постели, г-н Рокк попросил укрыть его как можно теплее, чтобы пропотеть. Он вздыхал, охал.

— Спасибо тебе, моя добрая Катрина! А ты поцелуй твоего бедного папу, моя цыпочка! Ох, уж эти революции!

Дочь журила его за то, что он так волнуется, даже заболел, а он ответил:

— Да, ты права! Но уж я не могу! У меня слишком чувствительное сердце.

II

Госпожа Дамбрёз сидела у себя в будуаре между племянницей и мисс Джон и слушала старика Рокка, повествовавшего о тяготах военной жизни.

Она кусала губы, ей словно было не по себе.

— Ах, не беда! Пройдет! — И любезным тоном сообщила: — У нас обедает сегодня ваш знакомый, господин Моро.

Луиза встрепелась.

— Еще кое-кто из наших близких друзей, между прочим Альфред де Сизи.

И она стала расхваливать его манеры, его внешность и, главное, его нравственность.

В речах г-жи Дамбрёз было меньше лжи, чем она думала: виконт мечтал жениться. Он говорил это Мартинону, присово-

купив, что нравится м-ль Сесиль, что он в этом уверен и что родные согласятся.

Отваживаясь на такое признание, он, очевидно, располагал благоприятными сведениями о ее приданом. А Мартинон подозревал, что Сесиль — незаконная дочь г-на Дамбрёза, и, вероятно, было бы весьма неплохо на всякий случай просить ее руки. Этот смелый шаг представлял и опасность; поэтому Мартинон до сих пор держал себя так, чтобы не оказаться связанным; кроме того, он не знал, как избавиться от тетки. Услышав признание Сизи, он решился и переговорил с банкиром, который, не видя никаких препятствий, только что сообщил об этом г-же Дамбрёз.

Появился Сизи. Она встала ему навстречу.

— Вы нас совсем забыли... Сесиль, shake hands¹.

В ту же минуту вошел Фредерик.

— Ах, наконец-то отыскались! — воскликнул дядюшка Рокк. — Я на этой неделе три раза был у вас вместе с Луизой.

Фредерик упорно избегал их. Он сослался на то, что все дни проводит у постели раненого товарища. К тому же он был занят множеством дел; ему пришлось выдумывать разные истории. К счастью, стали съезжаться гости: сперва г-н Поль де Гремонвиль, дипломат, встреченный на балу, затем Фюмишон — промышленник, консервативные взгляды которого в свое время возмутили Фредерика; за ними появилась герцогиня де Монтрей-Нантуа.

Но вот из передней послышались два голоса. Один из них говорил:

— Я в этом уверена!

— Дражайшая, дражайшая! — отвечал другой. — Бога ради, успокойтесь!

То были г-н де Нонанкур, старый франт, мумия, намазанная кольдкремом, и г-жа де Ларсийуа, супруга префекта, служившего при Луи-Филиппе. Она вся дрожала, ибо сейчас слышала, как на шарманке играют польку, являющуюся условным знаком для мятежников. Многих тревожили подобные же фантазии: эти буржуа верили, что люди, скрывающиеся в катакомбах, намерены взорвать Сен-Жерменское предместье; из подвалов неслись какие-то шумы, за окнами происходили подозрительные вещи.

Однако все постарались успокоить г-жу де Ларсийуа. Порядок восстановлен. Бояться больше нечего: «Кавеньяк спас

¹ Поздоровайся (англ.).

всех нас!» И как будто ужасов восстания было недостаточно, их еще преувеличивали. На стороне социалистов было двадцать три тысячи каторжников, никак не меньше!

Не подлежало никаким сомнениям, что съестные припасы отравляли, что солдат подвижной гвардии распиливали пополам между двумя досками и что надписи на знаменах призывали к грабежу и поджогам.

— И еще кой к чему! — добавила жена экспрефекта.

— Ах, дорогая! — молвила, оберегая стыдливость, г-жа Дамбрёз и взглядом указала на трех юных девушек.

Господин Дамбрёз вышел из своего кабинета вместе с Мартиноном. Г-жа Дамбрёз отвернулась и ответила на поклон Пеллерена, входившего в комнату. Художник с тревогой оглядывал стены. Банкир отвел его в сторону и объяснил, что на время пришлось удалить его революционную картину.

— Разумеется! — сказал Пеллерен, воззрения которого изменились после его провала в «Клубе Разума».

Господин Дамбрёз весьма учтиво намекнул, что закажет ему другие картины.

— Виноват... Ах, дорогой мой, какая радость!

Перед Фредериком стояли Арну и его жена.

Он почувствовал чуть ли не головокружение. Весь этот день его раздражала Розанетта, восхищавшаяся солдатами; проснулась старая любовь.

Дворецкий доложил хозяйке, что кушать подано. Г-жа Дамбрёз взглядом велела виконту вести к столу Сесиль, шепнула Мартинону: «Негодяй!» — и все прошли в столовую.

Среди стола, под зелеными листьями ананаса, лежал большой золотистый карп, обращенный головою к жаркому из косули; хвостом он касался блюда раков. Винные ягоды, огромные вишни, груши и виноград (новинки парижских теплиц) возвышались пирамидами в старинных вазах саксонского фарфора; местами с ярким блеском серебра сочетались букеты цветов; белые шелковые шторы были опущены, смягчая освещение; два бассейна, в которых плавали куски льда, освежали воздух; а прислуживали высокие лакеи в коротких штанах. После пережитых волнений все казалось еще лучше. Снова начинали наслаждаться тем, чего чуть было не лишились, и Нонанкур выразил чувство, разделяемое всеми, сказав:

— Ах, будем надеяться, что господа республиканцы позволят нам пообедать!

— Несмотря на все их братство! — желая сострить, прибавил г-н Рокк.

Этих почтенных мужей усадили по правую и по левую руку г-жи Дамбрёз, занявшей место против мужа, а его соседками были: с одной стороны г-жа Ларсийуа, восседавшая рядом с дипломатом, а с другой — старая герцогиня, оказавшаяся возле Фюмишона. Далее разместились художник, торговец фаянсом, м-ль Луиза, а так как Мартинон занял место Фредерика, чтобы сестра возле Сесиль, то Фредерик очутился рядом с г-жой Арну.

Она была в черном барежевом платье, на руке был золотой браслет, и так же, как и в первый раз, когда он обедал у нее, что-то алело в ее волосах — ветка фуксии, обвивавшая шиньон. Он не мог удержаться, чтобы не сказать ей:

— Давно мы не виделись!

— Ах да, — ответила она холодно.

Он продолжал, мягкостью тона сглаживая дерзость вопроса:

— Случалось ли вам иногда думать обо мне?

— Почему бы мне думать о вас?

Фредерика обидел этот ответ.

— В конце концов, вы, может быть, правы.

Но, тотчас раскаявшись в своих словах, он поклялся ей, что не было дня, когда он не терзался бы воспоминанием о ней.

— Сударь, я этому совершенно не верю.

— Но ведь вы же знаете, что я люблю вас!

Госпожа Арну не ответила.

— Вы знаете, что я люблю вас.

Она опять промолчала.

«Ну, так и без тебя обойдемся», — сказал себе Фредерик.

И, подняв глаза, он на противоположном конце стола увидел м-ль Рокк.

Она решила, что ей к лицу будет одеться во все зеленое, — цвет, составлявший грубый контраст с ее рыжими волосами. Пряжка ее пояса приходилась слишком высоко, воротничок стягивал шею; это отсутствие вкуса, наверно, и вызвало ту холодность, с которой встретил ее Фредерик. Она издали с любопытством наблюдала за ним, и, как ни рассыпался в любезностях Арну, сидевший с ней рядом, ему и двух слов не удалось вытянуть из нее, так что, отказавшись от надежды угодить ей, он стал прислушиваться к общему разговору. Темой его было теперь ананасное пюре, приготовляемое в Люксембурге.

Луи Блан, по словам Фюмишона, владеет особняком на улице Сен-Доминик, но не отдает его внаймы рабочим.

— А по-моему, забавно то,— сказал Нонакур,— что Ледрю-Роллен охотится в королевских угодьях!

— Он задолжал двадцать тысяч ффранков одному ювелиру,— вставил Сизи,— и даже, говорят...

Госпожа Дамбрёз перебила его:

— Ах, как это гадко — горячиться из-за политики! Молодой человек, стыдно! Займитесь-ка лучше вашей соседкой!

Затем люди солидные напали на газеты.

Арну стал заступаться за них. Фредерик вмешался в разговор и сказал, что это обыкновенные коммерческие предприятия; вообще же их сотрудники — либо дураки, либо лгуны,— он делал вид, что знает их и великодушным чувствам своего друга противопоставлял сарказмы. Г-жа Арну не замечала, что этими речами он мстит ей.

Между тем виконт мучительно изощрялся, чтобы пленить м-ль Сесиль. Сперва он выказал артистический вкус, порицая форму графинчиков и рисунок вензелей на ножах. Потом заговорил о своей копяшине, о своем портном, о поставщике белья; наконец коснулся вопросов религии и нашел возможность дать ей понять, что исполняет все обязанности верующего.

Мартинон проявил большее искусство. Однообразным тоном, не сводя глаз с Сесиль, он восхвалял ее птичий профиль, ее тусклые белокурые волосы, ее руки, слишком короткие. Дурнушка таяла, очарованная таким потоком любезностей.

Их никто не мог слышать, так как все говорили очень громко. Г-н Рокк требовал, чтобы Францией правила «железная рука». Нонакур даже выразил сожаление, что отменена казнь за политические преступления. Этих подлецов следовало бы перебить всех до единого!

— Они к тому же и трусы! — сказал Фюмишон.— Не вижу храбрости в том, чтобы прятаться за баррикадами!

— Кстати, расскажите нам о Дюссардьё! — сказал г-н Дамбрёз, обернувшись к Фредерику.

Честный приказчик стал теперь героем вроде Саллеса, братьев Жансон, матушки Пекийе и т. д.

Фредерик, не заставив себя просить, рассказал о своем друге; отблеск ореола упал и на него.

Разговор, вполне естественно, зашел о разных проявлениях храбрости. По мнению дипломата, побороть страх смерти нетрудно; это могут подтвердить люди, дерущиеся на дуэли.

— Об этом можно спросить виконта,— сказал Мартинон.

Виконт густо покраснел.

Гости смотрели на него, а Луиза, более всех удивленная, прошептала:

— А что такое?

— Он *спасовал* перед Фредериком, — тихо ответил ей Арну.

— Вам что-то известно, сударыня? — тотчас же спросил Нонанкур и сообщил ее ответ г-же Дамбрёз, которая, немного наклонившись, принялась разглядывать Фредерика.

Мартинон предупредил вопросы Сесиль. Он сообщил ей, что эта история связана с одной особой предосудительного поведения. Девушка тихонько отодвинулась, как будто стараясь избежать прикосновения развратника.

Разговор возобновился. Обносили тонкими бордоскими винами, гости оживились; Пеллерен был в претензии на революцию: из-за нее безвозвратно погиб музей испанской живописи. Его как художника это огорчало больше всего. Тут к нему обратился г-н Рокк:

— Не вашей ли кисти принадлежит одна весьма замечательная картина?

— Возможно! А что за картина?

— На ней изображена дама в платье... право же, несколько... легком, с кошельком в руке, а сзади павлин.

Теперь румянцем залился Фредерик. Пеллерен притворился, что не слышит.

— Это ведь все-таки вашей работы! Внизу стоит ваше имя, и на раме надпись, что картина принадлежит г-ну Моро.

Как-то раз, когда дядюшка Рокк и его дочь дожидались Фредерика у него на квартире, они увидели портрет Капитанши. Рокк в простоте своей принял его за «картину в готическом вкусе».

— Нет! — отрезал Пеллерен. — Это просто портрет одной женщины.

Мартинон прибавил:

— И женщины весьма живой! Не правда ли, Сизи?

— Ну! Я ничего не могу сказать на этот счет.

— Я думал, что вы с ней знакомы. Но раз это вам неприятно, умоляю извинить!

Сизи опустил глаза, подтверждая своим замешательством, что в отношениях с этой женщиной ему пришлось играть плачевную роль. Что до Фредерика, то оригиналом портрета могла явиться только его любовница. Это было одно из тех предположений, какие возникают мгновенно, и лица присутствующих ясно говорили об этом.

«Как он мне лгал!» — сказала себе г-жа Арну.

«Так вот ради кого он бросил меня!» — подумала Луиза.

Фредерик вообразил, что эти две истории компрометируют его, и когда общество перешло в сад, он обратился к Мартинону с упреками.

Жених м-ль Сесиль расхохотался ему в лицо:

— Да нет же! Ничуть! Это послужит тебе на пользу! Будь ты смелей!

Что он хотел этим сказать? Да и откуда эта благожелательность, столь не свойственная ему? Ничего не объяснив, он отправился в сад, где сидели дамы. Мужчины стояли около них, а Пеллерен излагал свои мысли. Разумеется, искусствам всего более благоприятствует монархия. Современность вызывает в нем отвращение — «взять хотя бы национальную гвардию»; он жалеет о средних веках, о временах Людовика XIV; г-н Рокк приветствовал такие взгляды и даже признался, что они разрушают его предубеждение насчет художников; но он почти тотчас же отошел — его привлек голос Фюмишона. Арну пытался установить, что есть два социализма: один хороший, а другой дурной. Промышленник разницы не видел; при слове «собственность» он от гнева терял голову.

— Это право начертано самой природой! Дети держатся за свои игрушки; все народы разделяют мое мнение, все животные — тоже; даже лев, если бы он мог говорить, заявил бы, что он собственник! Я, например, господа, я начал с капиталом в пятнадцать тысяч франков! Знаете ли, я целых тридцать лет всегда вставал в четыре часа утра! Я трудился, как сто чертей, чтобы сколотить состояние! И вдруг мне станут доказывать, что не я его хозяин, что мои деньги — не мои деньги, словом, что собственность — это кража!

— Однако Прудон...

— Оставьте меня в покое с вашим Прудоном! Окажись он тут, я бы, кажется, его задушил!

Он и задушил бы его. После ликеров Фюмишон уже совсем не помнил себя, и его апоплексическое лицо, казалось, вот-вот лопнет, точно бомба.

— Здравствуйте, Арну! — сказал Юссонэ, стремительно шагая по газону.

Журналист принес г-ну Дамбрёзу первый лист брошюры под заглавием «Гидра», в которой отстаивал интересы реакционного круга, и банкир упомянул об этом, представляя его гостям.

Юссонэ развлекал их; сперва он уверял, что торговцы салом платят жалованье тремстам восьмидесяти двум мальчишкам, чтобы те каждый вечер кричали: «Фонарики!», потом издевался над принципами восемьдесят девятого года, освобождением негров, левыми ораторами; он даже решил изобразить «господина Прюдома на баррикаде», — быть может, от самой обыкновенной зависти к этим сытно пообедавшим буржуа. Шарж имел успех посредственный. Лица вытянулись.

Вообще же не время было шутить; это сказал Нонанкур, напомнивший о смерти архиепископа Афра и генерала де Бреа. О них постоянно вспоминали, ссылались на них в спорах. Г-н Рокк объявил, что кончина архиепископа — «верх мыслимого величия», Фюмишон пальму первенства отдавал генералу; и вместо того, чтобы просто-напросто скорбеть по поводу этих двух убийств, гости затеяли спор о том, которое из них должно возбуждать больше негодования. Потом стали проводить другую параллель — между Ламорисьером и Кавеньяком, причем г-н Дамбрёз превозносил Кавеньяка, а Нонанкур — Ламорисьера. Никто из присутствующих, кроме Арну, не мог видеть их в деле. Тем не менее каждый высказывал о их действиях безапелляционное суждение. Лишь Фредерик отказался судить, сознавшись в том, что не брался за оружие. Дипломат и г-н Дамбрёз в знак одобрения кивнули ему головой. Ведь, в самом деле, сражаться с восставшими значило защищать республику. Исход борьбы, хоть и благоприятный, укреплял ее, и вот теперь, когда удалось разделиться с побежденными, хотелось избавиться и от победителей.

Едва выйдя в сад, г-жа Дамбрёз отвела Сизи в сторону и пожурила за неловкость; завидя Мартинона, она отпустила Сизи и пожелала узнать у своего будущего племянника причину, почему он издевался над виконтом.

— Да без всякой причины.

— Так все это — чтобы возвеличить г-на Моро! Какая же цель?

— Никакой. Фредерик — славный малый. Он мне очень нравится.

— И мне тоже! Пусть подойдет! Позовите его!

После двух-трех банальных фраз она начала слегка высмеивать своих гостей, тем самым ставя его выше остальных. Он не преминул покритиковать прочих дам — удачный способ говорить комплименты. Она же время от времени оставляла его — день был приемный, приезжали гости; потом она

возвращалась на свое место, кресла их случайно были так расположены, что никто не слышал бы их беседы.

Она казалась то игривой, то серьезной, то меланхоличной, то рассудительной. Злободневные интересы мало что значат для нее; есть целый мир чувств, менее быстротечных. Она жаловалась на поэтов, которые искажают действительность, потом подняла глаза к небу и спросила у Фредерика название одной из звезд.

На деревья повесили несколько китайских фонариков; их раскачивал ветер, цветные лучи дрожали на ее белом платье. Она, по обыкновению, немного откинулась в кресле, положила ноги на скамеечку; выделялся носок ее черного атласного башмачка; порой г-же Дамбрёз случалось громче сказать какое-нибудь слово, даже рассмеяться.

Это кокетство не задевало Мартинона, занятого Сесиль, но оно терзало маленькую Рокк, которая беседовала с г-жой Арну. Луизе показалось, что только в обхождении г-жи Арну нет, ничего пренебрежительного, в отличие от прочих дам. Она подошла и села рядом с ней; потом, уступая потребности поделиться своими чувствами, сказала:

— Правда, Фредерик Моро хорошо говорит?

— Вы с ним знакомы?

— О, давно! Мы с ним соседи, он играл со мной, когда я была совсем маленькая.

Госпожа Арну пристально посмотрела на нее, и взгляд ее означал: «Надеюсь, вы не влюблены в него?»

Взгляд девушки без всякого смущения отвечал: «Влюблена!»

— Значит, вы часто с ним видитесь?

— О нет! Только когда он приезжает к своей матери. Вот уже десять месяцев, как его нет! А ведь он обещал, что вернется скорее.

— Не надо слишком верить обещаниям мужчин, дитя мое.

— Но меня-то он не обманывал!

— Так же, как и других!

Луиза вздрогнула: «Неужели же он, чего доброго, и этой что-нибудь обещал?» И лицо ее исказили подозрение и злоба.

Госпожа Арну почти испугалась; она хотела бы вернуть свои слова. Обе замолчали.

Фредерик сидел напротив, на складном стуле, и они глядели на него, одна — соблюдая приличия, уголком глаз, другая же — совершенно не стесняясь, разинув рот, так что г-жа Дамбрёз даже сказала ему:

— Да повернитесь же, дайте ей посмотреть на себя!

— О ком это вы?

— О дочери господина Рокка!

И она стала вышучивать его, дразнила любовью юной провинциалки. Он защищался, стараясь смеяться:

— Мыслимо ли? Помилуйте! Такой урод!

Однако все это беспредельно тешило его тщеславие. Ему вспомнился другой вечер в этом доме, унижение, которое он переживал, уходя отсюда,— и он дышал полной грудью; он чувствовал себя в своей настоящей сфере, почти как дома, будто все это, в том числе и особняк г-на Дамбрёза, принадлежало ему. Дамы, сидевшие полукругом, слушали его, а он, желая блеснуть, высказался за восстановление развода, который следовало бы облегчить настолько, чтобы можно было сходиться и расходиться до бесконечности, сколько душе угодно. Одни возражали, другие перешептывались; в полумраке, у стены, обвитой зеленью, слышались отрывистые возгласы; это было какое-то веселое кудахтанье, а он развивал свою теорию с той уверенностью, какую придает сознание успеха. Лакей принес в крытую аллею поднос с мороженым. Подошли мужчины. Говорили они об арестах.

Тут Фредерик, в отместку виконту, стал его уверять, что, пожалуй, его теперь будут преследовать как легитимиста. Виконт возражал, что не выходил из своей комнаты; противник его не скупился на зловещие предостережения; это смешило даже г-на Дамбрёза и г-на Гремонвиля. Затем они наговорили комплиментов Фредерику, хотя и пожалели, что он не применяет своих способностей в защиту порядка, и дружески жали ему руку,— отныне он может рассчитывать на них. Наконец, когда все уже расходились, виконт очень низко поклонился Сесиль:

— Сударыня, честь имею пожелать вам спокойной ночи!

Она сухо ответила ему:

— Спокойной ночи!

А Мартинону улыбнулась.

Дядюшка Рокк, желая продолжить беседу с Арну, предложил проводить его, «равно как и его супругу»,— ведь им было по дороге. Луиза и Фредерик шли впереди. Она схватила его под руку, а когда они оказались на некотором расстоянии от прочих, промолвила:

— Ах, наконец-то, наконец-то! И мучилась же я весь вечер! Какие эти женщины злые! Какие надменные!

Он взял их под свою защиту.

— Во-первых, ты мог бы подойти ко мне с самого начала, ведь мы целый год не видались!

— Не целый год,— возразил Фредерик, довольный тем, что поймал ее на этой подробности и надеясь обойти все остальное.

— Хотя бы и так! Время-то тянулось так медленно! Но тут, на этом ужасном обеде, можно было подумать, что ты меня стыдишься! Ах, я понимаю, что не могу нравиться так, как они.

— Ты ошибаешься,— сказал Фредерик.

— Правда?! Поклянись мне, что ни в одну из них ты не влюблен!

Он поклялся.

— И любишь меня одну?

— Ну, еще бы!

Это уверение возвратило ей веселость. Ей теперь хотелось бы заблудиться на этих улицах, чтобы всю ночь гулять с ним.

— Я там так терзалась! Только и речи было, что о баррикадах! Мне все мерещилось, что ты падаешь навзничь, весь в крови! Твоя мать лежала в постели, у ней ревматизм. Она ничего не знала. Мне приходилось молчать! И я не выдержала! Взяла с собой Катрину...

И она рассказала ему о своем отъезде, о путешествии и о том, как нагала отцу.

— Через два дня он повезет меня домой. Приходи завтра вечером, будто невзначай, и воспользуйся случаем, поговори с отцом, посватайся.

Фредерик никогда еще не был так далек от мысли о браке. К тому же м-ль Рокк представлялась ему созданием довольно смешным. Какая разница между нею и женщиной вроде г-жи Дамбрёз!

Ему суждена совсем иная будущность. Сегодня он в этом уверился, так что не время связывать себя, решаться на столь важный шаг под влиянием сердечного порыва. Теперь надо быть рассудительным,— и ведь он снова увидел г-жу Арну. Между тем его смущала откровенность Луизы.

Он спросил:

— Обдумала ли ты как следует этот шаг?

— Да что ты! — вскрикнула она и похолодела от изумления и негодования.

Он сказал, что жениться в настоящее время было бы безумием.

— Так я тебе не нужна?

— Да ты меня не понимаешь!

И он пустился в очень запутанные рассуждения, пытаясь втолковать ей, что его удерживают соображения высшего порядка, что дел у него без конца, что даже состояние его расстроено (Луиза коротко и ясно разбивала все доводы), что, наконец, препятствуют и политические события. Итак, самое благоразумное — выждать еще некоторое время. Все, наверное, устроится, — он, по крайней мере, надеется на это; а когда все доводы были исчерпаны, он притворился, будто сейчас только вспомнил, что ему уже два часа тому назад надо было зайти к Дюссардье.

Раскланявшись с остальными, он повернул на улицу Отвиль, обошел здание театра Жимназ, вернулся на бульвар и бегом поднялся на пятый этаж к Розанетте.

Супруги Арну простились с дядюшкой Рокком и его дочерью на углу улицы Сен-Дени. Они молча продолжали путь, — Арну устал от собственной болтовни, она же чувствовала себя разбитой; она даже опиралась на его плечо. Это был единственный человек, высказывавший в течение всего вечера честные взгляды. Она прониклась снисхождением к нему. Он же слегка сердился на Фредерика:

— Ты видела, какую он соорудил мину, когда заговорили о портрете? Я же тебе говорил, что он ее любовник! Ты еще не хотела мне верить.

— Да, да, я ошибалась.

Арну, торжествуя, настаивал:

— Я даже готов биться об заклад, что он бросил нас и сразу побежал к ней! Теперь он у нее, будь уверена! Ночует у нее.

Госпожа Арну надвинула капор на самые глаза.

— Да ведь ты вся дрожишь!

— Мне холодно, — ответила она.

Луиза, как только отец ее заснул, вошла в комнату Катрины и стала трясти ее за плечи.

— Вставай!.. Скорее, скорее! И достань мне фпакр.

Катрина ответила, что в такое время фпакров уже не бывает.

— Ну, так ты сама меня проводишь?

— Это еще куда?

— К Фредерику!

— Нельзя! Зачем это?

Ей надо с ним поговорить. Она не может ждать. Она хочет сейчас же повидать его.

— Да что вы! Как можно среди ночи прийти в чужой дом! Да ведь он теперь спит!

— Я его разбужу!

— Так это же для барышни и неприлично!

— Я не барышня! Я его жена! Я его люблю!.. Ну, пойдём! Надевай платок!

Катрина в раздумье стояла около своей кровати. И сказала наконец:

— Нет, не пойду!

— Ну, и оставайся! А я иду!

Луиза, как змейка, скользнула на лестницу. Катрина бросилась за ней, нагнала ее уже на тротуаре. Увещания оказались напрасными, и она бежала за ней, на ходу застегивая кофту. Дорога показалась ей страшно длинной. Она жаловалась на свои старые ноги:

— Да где мне! Нет во мне того, что вас подгоняет. Эх, уж!..

Потом пошли нежности:

— Бедняжка! Ведь вот никого-то у тебя нет, только твоя Като!

Временами ею снова овладевали сомнения:

— Ну и хорошенькая же будет история! Вдруг отец проснется... Господи боже! Только бы несчастья не случилось!

У театра Варьете их остановил патруль национальной гвардии. Луиза сразу же сказала, что она со служанкой идет на улицу Ремфора за врачом. Их пропустили.

У площади Мадлены им встретился еще патруль, а когда Луиза дала то же самое объяснение, какой-то гражданин подхватил:

— Не из-за той ли болезни, что длится девять месяцев, кошечка?

— Гужибо! — крикнул капитан. — В строю без шалостей! Сударыни, проходите!

Несмотря на окрик, острословие продолжалось:

— Желаем веселиться!

— Поклонитесь доктору!

— Не напасть бы на волка!

— Любят позубоскалить, — вслух заметила Катрина. — Молодые.

Наконец они пришли к дому Фредерика. Луиза несколько раз с силой дернула звонок. Дверь приотворилась, и привратник на ее вопрос ответил:

— Нет его!

— Он, наверное, спит?

— Говорю вам, нет его! Вот уж три месяца, как он дома не ночует!

И окошечко привратника щелкнуло, как нож гильотины. Они стояли в подъезде, в темноте.

— Да уходите же! — крикнул им яростный голос.

Двери снова растворились; они вышли, Луиза, обессиленная, опустилась на тумбу и заплакала, закрыв лицо руками, заплакала горько, дала себе волю.

Светало, проезжали повозки.

Катрина повела ее домой, поддерживая, целуя ее, наговорила в утешение всякой всячины, почерпнутой из собственного опыта. Стоит ли так убиваться из-за кавалера? С этим не вышло найдется другой!

III

Когда Розанетта охладела к солдатам подвижной гвардии, она стала еще очаровательнее, чем прежде, и у Фредерика незаметно вошло в привычку все время проводить у нее.

Лучшие часы — это было утро на балконе. Она, в батистовой кофточке и в туфлях на босу ногу, сутилась вокруг него, чистила клетку у канареек, меняла воду золотым рыбкам и разрыхляла каминной лопаткой землю в ящике, откуда поднимались настурции, обвивавшие трельяж. Потом, облокотясь о перила балкона, они смотрели на экипажи, на прохожих, грелись на солнце, строили планы, как провести вечер. Отлучался он самое большее часа на два; потом они отправлялись куда-нибудь в театр, брали литерную ложу, и Розанетта, с большим букетом в руках, слушала музыку, а Фредерик, наклонившись к ее уху, нашептывал ей смешные анекдоты или любезности. Иногда они нанимали коляску, ехали в Булонский лес и катались долго, до поздней ночи. Возвращались через Триумфальную арку и по большой аллее, вдыхали свежий воздух; над головами их светились звезды, а впереди, уходя в самую глубь перспективы, вытягивались двумя нитями лучистых жемчужин газовые рожки.

Фредерику всегда приходилось ждать ее перед выездом, она долго возилась, завязывая ленты от шляпы; стоя перед зеркальным шкафом, она сама себе улыбалась. Потом, взяв его под руку, она и его заставляла поглядеть в зеркало.

— До чего же мило получается, когда мы стоим так рядом! Ах, душка моя! Так бы тебя и съела!

Теперь он был ее вещь, ее собственность. И от этого лицо ее все время сияло, а в манерах появилась бóльшая томность; она пополнила, и Фредерик находил в ней какую-то перемену, хотя и не мог бы сказать, в чем она состоит.

Однажды она сообщила ему как очень важную новость, что почтенный Арну открыл бельевого магазин для бывшей работницы со своей фабрики, что он каждый вечер бывает у нее, «очень много тратит; не далее как на прошлой неделе он даже подарил ей палисандровую мебель».

— Откуда это тебе известно? — спросил Фредерик.

— О, я знаю наверное!

По ее приказанию справки наводила Дельфина.

Итак, она любит Арну, если это ее так сильно занимает! Он удовольствовался тем, что ответил ей:

— Тебе-то что?

Розанетта как будто удивилась такому вопросу.

— Но этот мерзавец мне должен! Разве не безобразие, что он содержит какую-то дрянь? — И с торжествующей ненавистью в голосе прибавила: — Впрочем, она здорово надувает его! У ней еще три таких. Тем лучше! И пусть она оберет его до последнего су, я буду очень рада!

Действительно, Арну, с той снисходительностью, которая свойственна старческой любви, позволял бордоске эксплуатировать его.

Фабрика приходила в упадок; дела были в плачевном положении, так что, стараясь из него выпутаться, он сперва намеревался открыть кафешантан, где исполнялись бы только патристические песни; благодаря субсидии, на которую министр дал бы согласие, это заведение явилось бы и очагом пропаганды, и источником его благоденствия. После изменения правительственного курса это стало уже невозможно. Теперь он мечтал о большом магазине военных головных уборов. Не было денег, чтобы начать.

Не более счастлив был он и в домашней жизни. Г-жа Арну проявляла к нему меньше снисходительности, порою бывала и несколько сурова. Марта всегда становилась на сторону отца. Это усиливало рознь, и домашняя жизнь сделалась невыносима. Он часто с самого утра уходил из дому, совершал большие прогулки, чтобы рассеяться, потом обедал в кабачке где-нибудь за городом и предавался размышлениям.

Долгое отсутствие Фредерика нарушало его привычки. И вот как-то днем он появился, умоляя Фредерика навещать его, как прежде; и тот обещал.

Фредерик не решался вернуться к г-же Арну. Ему казалось, что он ей изменил. Но ведь такое поведение было трусостью. Оправдываться же было нечем. Надо было положить конец! И вот однажды вечером он отправился к ним.

Укрываясь от дождя, он едва только успел свернуть в пассаж Жуффруа, как вдруг к нему подошел толстячок в фуражке. При свете, падавшем из витрин, Фредерик без труда узнал Компена, оратора, чье предложение вызвало в клубе такой смех. Он опирался на руку некоего субъекта с выпяченной верхней губой, с лицом желтым, как апельсин, и бородкой; щеголял он в красной шапке зуава и глядел на своего спутника большими восхищенными глазами.

По-видимому, Компен гордился им, так как сказал:

— Познакомьтесь с этим молодцом! Это мой приятель, сапожник и патриот! Выпьем чего-нибудь?

Фредерик поблагодарил и отказался, а тот немедленно стал метать громы против предложения Рато — подвоха, придуманного аристократами. Чтобы покончить с этим, следовало вернуться к девяносто третьему году! Затем он осведомился о Режембаре и еще кой о ком, столь же знаменитом, как-то: о Маслене, Сансоне, Лекорню, Марешале и некоем Делорье, замешанном в деле о карабинах, которые были перехвачены в Труа.

Для Фредерика все это было ново. Но Компену ничего больше не известно. Прощаясь с Фредериком, он сказал:

— До скорого свидания, не правда ли? Ведь вы тоже принимаете участие?

— В чем это?

— В телячьей голове?

— Какой телячьей голове?

— Ах, проказник! — ответил Компен, хлопнув его по животу.

И оба террориста удалились в кафе.

Десять минут спустя Фредерик уже не думал о Делорье. Он стоял на тротуаре улицы Паради и смотрел на окна третьего этажа, где за занавесками был виден свет.

Наконец он поднялся по лестнице.

— Дома Арну?

Горничная ответила:

— Нет. Но вы все-таки пожалуйста.

И быстро распахнула одну из дверей:

— Сударыня, это господин Моро!

Она поднялась, бледнее своего воротничка. Она дрожала.

— Чему я обязана чести... столь неожиданного посещения?

— Ничему! Просто желанию повидать старых друзей! — И, садясь, он спросил: — Как поживает милейший Арну?

— Прекрасно! Но его нет дома.

— А, понимаю! Все те же привычки — вечером надо развлекаться!

— Почему бы и нет? После целого дня вычислений надо же дать голове отдых!

Она даже стала хвалить мужа как труженика. Фредерика эти похвалы раздражали. На коленях у нее лежал кусок черного сукна с синей тесьмой, и он спросил:

— Что это у вас?

— Переделываю кофточку для дочери.

— А кстати, я что-то не вижу ее, где же она?

— В пансионе, — ответила г-жа Арну.

На глазах у нее появились слезы, она делала усилия, чтобы не расплакаться, и быстро работала иглой. Он взял номер «Иллюстрации», лежавший на столе около нее.

— Карикатуры Хама очень забавны, правда?

— Да.

И они снова погрузились в молчание.

Вдруг от порыва ветра задребезжали стекла.

— Что за погода! — сказал Фредерик.

— Право же, это очень любезно с вашей стороны, что вы пришли в такой ужасный дождь!

— О, я на это не смотрю! Я не из тех, кому дождь мешает прийти на свидание!

— На какое свидание? — наивно спросила она.

— А вы не помните?

Она вздрогнула, опустила голову.

Он мягко коснулся рукой ее плеча.

— Уверяю вас, что вы меня немало заставили страдать!

Она ответила как-то жалобно:

— Но мне было так страшно за ребенка!

И она рассказала ему о болезни маленького Эжена и всех тревогах того дня.

— Благодарю, благодарю вас! Я больше не сомневаюсь! Я люблю вас, как всегда любил!

— Да нет! Это же неправда!

— Почему?

Она холодно посмотрела на него.

— Вы забыли про другую. Про ту, которую вы возите на скачки. Про женщину, чей портрет хранится у вас. Про вашу любовницу!



— Ну что же, это так! — воскликнул Фредерик. — Я ничего не буду отрицать! Я негодай! Но выслушайте меня!

Если он жил с Розанеттой, то виной тому отчаяние; это то же самое, что самоубийство. Впрочем, он причинил ей много огорчений, мстя за свой собственный позор.

— Какая пытка! Поймете ли вы это?

Госпожа Арну обратила к нему свое прекрасное лицо, протянула руку, и они закрыли глаза, охваченные опьянением, которое словно убаюкивало их, полное бесконечной нежности. Потом, сидя лицом к лицу, совсем близко, они долго смотрели друг на друга.

— Неужели вы могли поверить, что я вас разлюбил?

Она ответила тихим, ласкающим голосом:

— Нет! Несмотря ни на что, я в глубине души чувствовала, что это невозможно и что когда-нибудь преграда, разделяющая нас, падет!

— И я тоже! И мне так хотелось увидеть вас, что легче было умереть!

— А ведь однажды, — продолжала она, — я прошла мимо вас в Пале-Рояле.

— Правда?

А он рассказал ей, как был счастлив, встретившись с нею у Дамбрёзов.

— Но как я ненавидел вас в тот вечер, когда мы уходили от них!

— Бедный!

— Мне живется так грустно!

— А мне!.. Если бы одни только печали, тревоги, унижения — все то, что я должна терпеть как мать и как жена, — я бы еще не жаловалась: ведь мы все умрем. Что ужасно — так это мое одиночество. Я совсем одна...

— Но ведь я здесь! Я здесь!

— Да, да!

Уже не удерживаясь от слез, она в порыве нежности встала. Она протянула к нему руки, и они стоя обнялись, прильнув друг к другу в долгом поцелуе.

Скрипнул паркет. Рядом с ним стояла женщина — Розанетта. Г-жа Арну ее узнала; широко раскрыв глаза, полные изумления и негодования, она разглядывала ее. Наконец Розанетта проговорила:

— Я пришла к господину Арну по делу.

— Его здесь нет, вы же видите.

— Да, верно! — ответила Капитанша. — Ваша служанка была права! Прошу прощения! И ты тут? — обратилась она к Фредерику.

Это «ты», сказанное в ее присутствии, заставило г-жу Арну покраснеть, словно пощечина со **всего** размаху.

— Его здесь нет, повторяю вам!

Капитанша, оглядываясь по сторонам, спокойно спросила:

— Что же, домой поедем? У меня фиакр.

Он притворился, что не слышит.

— Ну, идем!

— Что ж! Случай удобный! Ступайте же, ступайте! — сказала г-жа Арну.

Они вышли. Она перегнулась через перила, чтобы посмотреть им вслед, и на них обрушился пронзительный, раздирающий смех. Фредерик втолкнул Розанетту в экипаж, уселся против нее и за всю дорогу не произнес ни слова.

Оскорбление, обесчестившее его, постигло его по собственной вине. Он чувствовал и гнетущий позор унижения, и тоску об утраченном блаженстве; когда он уже мог наконец овладеть им, оно безвозвратно исчезло, — и причиной была она, эта девушка, эта шлюха! Ему хотелось задушить ее, он задыхался. Когда вошли в квартиру, он швырнул шляпу на стул, сорвал с себя галстук.

— Ну и устроила же ты скандал! Нечего сказать!

Она встала перед ним в вызывающей позе.

— Так что же? Что я плохого сделала?

— Как! Ты же шпионишь за мной.

— Моя ль вина? Ты-то чего ходишь развлекаться к порядочным женщинам?

— Не твое дело! Я не желаю, чтобы ты их оскорбляла.

— Чем же я ее оскорбила?

Он ничего не мог ответить и с еще большей злобой продолжал:

— Но тогда еще, на Марсовом поле...

— Ах, и надоел же ты со своими прежними!

— Мерзавка!

Он занес кулак.

— Не убивай меня! Я беременна!

Фредерик отступил назад.

— Лжешь!

— Да посмотри на меня!

Она взяла подсвечник и поднесла к своему лицу.

— Знаешь, что это такое?

Кожа, как-то странно припухшая, была усеяна желтыми пятнышками. Фредерик не стал отрицать того, что было очевидно. Он растворил окно, прошелся несколько раз, опустился в кресло.

Это событие было бедствием; во-первых, оно отдаляло их разрыв, и затем оно нарушало все его планы. Да и мысль стать отцом представлялась ему нелепой, он не допускал ее. А, собственно, почему? Если бы вместо Капитанши... И он погрузился в такую глубокую задумчивость, что испытал нечто вроде галлюцинации. Вот здесь, на ковре перед камином, он видел девочку. Она была похожа на г-жу Арну и немного на него самого, брюнетка, но беленькая, черноглазая, с очень длинными бровями, с розовым бантом в кудрявых волосах. О, как бы он ее любил! И ему казалось, что он слышит ее голосок: «Папа! Папа!»

Розанетта, уже раздевшаяся, подошла к нему, заметила слезу на его реснице и торжественно поцеловала в лоб. Он встал:

— Ну что же! Пусть живет малыш!

Тут она стала болтать. Разумеется, будет мальчик! Назовут его Фредериком. Пора готовить для него приданое. И, видя, как она счастлива, он почувствовал жалость. Теперь, когда гнев его совершенно улегся, ему захотелось узнать, чем объяснить ее недавнее появление.

Дело в том, что как раз в этот день м-ль Ватназ предъявила давно просроченный вексель, и она поспешила к Арну, чтобы достать денег.

— Я бы дал тебе! — сказал Фредерик.

— Проще было получить от него, что мне принадлежит, и вернуть ей тысячу франков.

— Это хоть все, что ты ей должна?

Она ответила:

— Конечно!

На другой день в девять часов вечера (время, указанное привратником) Фредерик явился к м-ль Ватназ.

В передней он натолкнулся на грудку мебели. Но слышны были музыка и звуки голосов, и дорогу он нашел. Отворив дверь, он очутился на рауте. У рояля, за которым сидела девица в очках, стоял Дельмар, важный, точно жрец, и декламировал гуманное стихотворение о проституции; его замогильный голос переливался под аккомпанемент тяжелых аккордов. Вдоль стен сидели женщины, большей частью в темных платьях без воротничков и без манжет. Пять-шесть мужчин, всё

мыслящие личности, расположились там и сям на стульях. В кресле восседал старик баснописец — совершенная развалина; и едкий запах двух ламп смешивался с запахом шоколада, который налит был в чашки, расставленные на ломберном столе.

Мадемуазель Ватназ, опоясанная восточным шарфом, сидела у камина. По другую сторону сидел, лицом к ней, Дюссардьё; он, по-видимому, был несколько смущен своим положением. Вообще в этой артистической среде он чувствовал себя неловко.

Покончила ли Ватназ с Дельмаром? Может быть, и нет. Как бы то ни было, она, очевидно, ревновала честного приказчика, и когда Фредерик попросил ее уделить ему несколько минут внимания, она знаком велела Дюссардьё пройти вместе с ними в спальню. Получив тысячу франков, она еще потребовала и проценты.

— Не надо! — сказал Дюссардьё.

— Да помолчи ты!

Это малодушие со стороны человека столь мужественного было приятно Фредерику как оправдание его собственной слабости. Он вернулся с оплаченным векселем и никогда уже не заговаривал о выходке Розанетты у г-жи Арну. Но с этих пор он стал замечать все недостатки Капитанши.

У нее был неисправимо дурной вкус, ее отличала непостижимая леность, невежественность дикарки, доходившая до того, что доктора Дэрожи она считала большой знаменитостью и с гордостью принимала у себя вместе с его супругой, ибо это были «женатые люди». Она педантическим тоном учила жизненной мудрости м-ль Ирму, бедное созданье, обладавшее маленьким голоском и нашедшее себе покровителя в лице «очень приличного» господина, бывшего таможенного чиновника, мастера на фокусы с картами; Розанетта звала его «мой милый пузанчик». Столь же невыносимо было Фредерику слушать, как она повторяет разные нелепые суждения вроде: «Держи карман пошире!», «С ума сойти!», «Что за штука?» и т. д.; а по утрам она упорно сама обметала пыль со своих безделушек, надевая старые белые перчатки! Всего больше возмущало его, как она обращалась со служанкой, жалованье которой выплачивалось с вечными опозданиями и у которой она даже занимала. В дни, когда сводились счета, они ругались, как уличные торговки, а потом мирились, обнимались. Невесело было оставаться с Розанеттой вдвоем. Он почувствовал облегчение, когда возобновились вечера у г-жи Дамбрёз.

Вот с ней, по крайней мере, нельзя было соскучиться! Она знала о светских интригах, о назначении посланников и сколько у какой портнихи мастериц, а если и попадались в ее речи общие места, то принимали они всегда форму столь условную, что фраза могла показаться или нарочито любезной, или иронической. Надо было видеть ее в обществе двадцати гостей, в беседе которых она участвовала, никого не оставляя без внимания, вызывая реплики, которых ей хотелось, избегая всего щекотливого! Слова самые простые становились в ее устах чем-то вроде признания; малейшая ее улыбка навевала мечты; словом, ее очарование, так же как духи, чудесный аромат которых обычно ей сопутствовал, было чем-то сложным и неопределимым. Фредерик в ее присутствии испытывал каждый раз новое удовольствие, как будто делал открытие; а между тем она встречала его всегда с одинаковым спокойствием, подобным зеркальной глади прозрачных вод. Вот только почему в ее общении с племянницей была такая холодность? Порою она даже как-то странно поглядывала на нее.

Как только зашла речь о браке, она указала г-ну Дамбрёзу на слабое здоровье «милого ребенка» и сразу же увезла ее на воды в Баларюк. Когда они вернулись, возникли новые препятствия: у молодого человека нет положения в свете; к этой страстной любви нельзя относиться серьезно; и подождать не беда. Мартинон ответил, что подождет. Его поведение являло верх благородства. Он превозносил Фредерика. Мало того: он научил его, как понравиться г-же Дамбрёз, даже намекнул, что знает от племянницы, какие чувства питает к нему тетка.

Что до г-на Дамбрёза, то он был далек от ревности, окружил своего молодого друга вниманием, советовался с ним о разных вещах, заботился о его будущности и даже как-то раз, когда заговорил о дядюшке Рокке, лукаво шепнул ему на ухо:

— Вы поступили правильно.

И Сесиль, мисс Джон, слуги, привратник — все до единого в этом доме относились к Фредерику как нельзя лучше. Он бывал здесь каждый вечер, оставляя Розанетту в одиночестве. Предстоящее материнство настраивало ее на более серьезный, несколько даже грустный лад, как будто ее тревожили какие-то опасения. На все вопросы она отвечала:

— Да нет, ты ошибаешься! Я чувствую себя хорошо!

А дело в том, что она в свое время подписала еще пять векселей и, не решаясь сказать об этом Фредерику, после того как

он уплатил по первому векселю, снова посетила Арну, который в письменной форме обещал ей третью часть своей прибыли от эксплуатации газового освещения в городах Лангедока (чудесное предприятие!), посоветовав ей не пускать в ход этого письма до собрания акционеров; собрание же откладывалось с недели на неделю.

Капитанша, однако, нуждалась в деньгах. Она скорее бы умерла, чем попросила у Фредерика. У него она не хотела брать. Это осквернило бы их любовь. Правда, он давал деньги на хозяйство, но коляска, которую он нанимал помесечно, и другие траты, неизбежные с тех пор, как он посещал Дамбрёзов, не позволяли ему уделять своей любовнице больше денег. Два-три раза, возвращаясь в необычное время, он как будто видел мужские спины, исчезающие за дверью; она же часто уходила из дому и не говорила куда. Фредерик не желал углубляться во все это. На днях он должен был принять решение. Он мечтал о другой жизни, более занимательной и более благородной. Этот идеал заставлял его быть снисходительным к дому Дамбрёзов.

Их дом представлял собою интимное отделение улицы Пуатье. Здесь он встречал великого г-на А., прославленного Б., глубокомысленного В., красноречивого Г., колосса Д., старых теноров левого центра, паладинов правого, бурбурграфов «золотой середины», вечных простаков комедий. Его изумила гнусность их речей, их мелочность, злопамятность, бессовестность; все эти люди, подавшие голос за конституцию, изощрались, чтобы уничтожить ее, и страшно суетились, выпускали манифесты, памфлеты, биографии. Юссонэ написал биографию Фюмишона — истинный шедевр, Нонанкур занимался пропагандой по деревням, г-н де Гремонвиль обрабатывал духовенство. Мартинон объединял молодых буржуа. Каждый старался по мере сил, даже Сизи. Настроенный теперь на серьезный лад, он целыми днями разъезжал в кабриолете по делам их партии.

Господин Дамбрёз, уподобляясь барометру, неизменно выражал все последние колебания. Нельзя было заговорить о Ламартине, чтобы он не процитировал слова какого-то простолудина: «Хватит с нас лиры!» Кавеньяк в его глазах был теперь всего лишь предатель. Президент, которым он восхищался три месяца, начинал падать в его мнении (ибо он не обладал «необходимой энергией»); а так как ему всегда нужно было кого-нибудь считать спасителем, то после событий у Консерватории благодарность его направилась на Шангарнье. «Слава богу,

Шангарнье... Будем надеяться, что Шангарнье... О! Нечего опасаться, пока Шангарнье...»

Выше всех превозносили г-на Тьера — за его книжку против социализма, в которой он проявил себя не только как писатель, но и как мыслитель. Страшно смеялись над Пьером Леру, который цитировал в палате выдержки из философов. В театре рукоплескали «Ярмарке идей» и сравнивали авторов с Аристофаном. Фредерик посмотрел пьесу, как и все.

Политическая болтовня и вкусный стол притупляли его нравственное чувство. Какими бы ничтожными ни казались ему эти личности, он гордился знакомством с ними, и в душе ему хотелось добиться почета у буржуа. Любовница вроде г-жи Дамбрёз помогла бы ему выдвинуться,

Он стал делать все, что для этого нужно.

Он попадался ей навстречу, когда она гуляла, в театре не пропускал случая зайти к ней в ложу поздороваться и, зная, в какое время она посещает церковь, становился в меланхолической позе за колонной. По поводу новинок, концертов, книг и журналов, которые они брали друг у друга, оба то и дело обменивались записочками. Посещал он ее не только по вечерам, иногда приезжал и днем, и, по мере того как он входил в ворота, проходил двор, переднюю, обе гостиные, чувство радости все усиливалось в нем; наконец он вступал в ее безмолвный, как гробница, теплый, как альков, будуар, где гостя обступала мягкая мебель и великое множество всевозможных предметов: шифоньерок, экранов, чаш и подносов — лаковых, черепаховых, малахитовых, из слоновой кости, дорогих, часто сменявшихся безделушек. Были вещицы и попроще: три валуна, привезенных из Этретá и служивших вместо пресс-папье; фламандский чепчик, висевший на китайской ширме; эти вещи до некоторой степени гармонировали друг с другом; вместе взятое, все это даже поражало своим благородством, что, пожалуй, зависело и от высоты потолка, от пышности портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов.

Она почти всегда сидела на диванчике около жардиньерки, поставленной у окна. Он же, присев на большой пуф с ножками на колесиках, говорил ей комплименты, как можно более похожие на истину; она глядела на него, склонив голову немного набок и улыбаясь.

Он читал ей стихи, вкладывая в них всю душу, потому что старался растрогать ее и вместе с тем блеснуть. Она прерывала его каким-нибудь насмешливым замечанием или практическим

соображением, и их беседа непрестанно возвращалась к вечному вопросу о любви! Они спрашивали друг друга, что возбуждает ее, кто лучше чувствует ее — женщина или мужчина, и в чем здесь различие. Фредерик пытался высказать свое мнение так, чтобы в нем не было ни грубости, ни приторности. Это превращалось в своего рода поединок, подчас приятный, а порою и скучный.

Вблизи этой женщины он не испытывал ни того очарования, которое, владея всем его существом, влекло его к г-же Арну, ни той сумбурной веселости, которую вначале вызывала в нем Розанетта. Но он стремился к ней как к чему-то необыкновенному, недоступному, потому что она была знатна, потому что она была богата, потому что она была набожна, и воображал, что ее отличает изысканность чувств, столь же редкостная, как ее кружева, что она носит ладанки на теле и стыдлива в самой развращенности.

Старая любовь шла ему на пользу. Все то, что он некогда пережил благодаря г-же Арну, свои томления, свои тревоги, свои мечты, он высказывал ей так, как будто внушала их она сама. Г-жа Дамбрёз принимала все это как человек, привыкший к подобным вещам, и, не отталкивая его по-настоящему, не отступала ни на шаг; и ему так же не удавалось соблазнить ее, как Мартинону не удавалось жениться. Желая покончить с поклонником племянницы, она обвинила его в том, что целью его являются деньги, и даже попросила мужа подвергнуть его испытанию. И вот г-н Дамбрёз объявил молодому человеку, что у сироты Сесиль, дочери бедных родителей, нет приданого и «надеяться» ей не на что.

Мартинон, потому ли, что не поверил, потому ли, что зашел слишком далеко и не мог отказаться от своих слов, потому ли, что был одарен глупым упрямством, переходящим в гениальность, ответил, что отцовского состояния, пятнадцати тысяч ливров в год, для них достаточно. Банкара тронуло это непредвиденное бескорыстие. Он обещал выхлопотать ему место сборщика податей и внести нужный залог, и в мае месяце 1850 года Мартинон женился на м-ль Сесиль. Бала не давали. Молодые в тот же вечер уехали в Италию. На другой день Фредерик пришел с визитом к г-же Дамбрёз. Ему показалось, что она бледнее обыкновенного. Несколько раз она принималась язвительно перечить ему из-за каких-то пустяков. Вообще все мужчины эгоисты.

Но ведь есть же среди них и преданные люди, — взять хотя бы его.

— Ну да! Такой же, как все! — Глаза у нее были красные, значит, она плакала. Она постаралась улыбнуться: — Извините меня! Я не права! Пришли в голову грустные мысли!

Он ничего не понимал.

«Во всяком случае, — подумал он, — она не так тверда, как мне казалось».

Госпожа Дамбрёз позвонила, потребовала стакан воды, отпила глоток, велела унести стакан, потом стала жаловаться, какая скверная у нее прислуга. Чтобы развлечь ее, он предложил себя в лакеи, уверяя, что сумеет подавать тарелки, обметать пыль с мебели, докладывать о гостях — словом, быть камердинером или, скорее, егерем, хотя мода на них и прошла. Он хотел бы стоять в шляпе с петушиными перьями на запятках ее кареты.

— А как бы величаво я выступал за вами с собачкой на руках!

— Вы веселый, — сказала г-жа Дамбрёз.

Разве не безумие, подхватил он, относиться ко всему серьезно? Горестей и так достаточно, не к чему измышлять их. Ни о чем не стоит печалиться. Г-жа Дамбрёз подняла брови, как будто выражая одобрение.

Встретив сочувствие, Фредерик еще больше осмелел. Былые неудачи научили его быть проницательнее. Он продолжал:

— Наши деды лучше умели жить. Почему не отдаться влечению? В конце концов, любовь сама по себе не так уж и важна.

— Но то, что вы говорите, безнравственно!

Она опустилась на диванчик. Он присел с краю, почти касаясь ее колен.

— Да разве вы не видите, что я лгу? Ведь чтобы нравиться женщинам, нужно держать себя беззаботно, вроде шута, или неистовствовать, как в трагедии! Они над нами смеются, когда мы просто говорим, что любим их! По-моему, гиперболы, которые их забавляют, — это осквернение подлинной любви, в конце концов не знаешь, как ее выразить, особенно когда вас слушают... женщины... умные.

Она смотрела на него, прищурившись. Он понижал голос, наклонялся к ее лицу.

— Да! Я вас боюсь! Я, может быть, оскорбил вас?.. Простите! Ведь я всего этого не хотел говорить! Это не моя вина! Вы так прекрасны!

Госпожа Дамбрёз закрыла глаза, и он изумился, как легко одержана победа: Высокие деревья, томно шелестевшие в саду, замерли. Неподвижные облака тянулись по небу длинными

красными полосами, и во всем мире все словно оборвалось. Ему неясно вспомнились такие же вечера, полные такой же тишины. Где это было?..

Он опустился на колени, взял ее руку и поклялся в вечной любви. А потом, когда он уже собрался уходить, она знаком подозвала его и сказала совсем тихо:

— Приходите сегодня обедать! Мы будем одни!

Когда Фредерик спускался по лестнице, ему казалось, что он стал другим человеком, что на него веет благоуханным зноем теплицы, что наконец-то он вступает в высший круг, в мир патрицианских любовных измен и великосветских интриг. Чтобы занять там первое место, достаточно владеть такой женщиной, как эта. Томясь жаждой деятельности и власти, но связанная браком с человеком посредственным, для которого она сделала так много, она, быть может, захотела руководить кем-нибудь более сильным? Теперь нет ничего невозможного! Он чувствовал, что готов проехать верхом двести миль, проработать без усталости несколько ночей кряду; его сердце было преисполнено гордости.

По тротуару впереди него шел, понуря голову, человек в старом пальто; у него был такой измученный вид, что Фредерик обернулся — посмотреть на него. Тот поднял голову. Это был Делорье. Он пребывал в нерешительности. Фредерик бросился ему на шею:

— А, дружище! Неужто это ты?

И он повел его к себе, забрасывая вопросами.

Бывший комиссар Ледрю-Роллена поведал сперва, какие невзгоды ему пришлось перенести. Так как он консерваторам проповедовал братство, а социалистам — уважение к законам, то одни в него стреляли, другие же принесли веревку, чтобы его повесить. После июньских событий его без церемоний отрешили от должности. Он бросился в ряды заговорщиков, перехвативших оружие в Труа. За отсутствием улик его отпустили. Затем революционный комитет послал его в Лондон, где во время банкета он подрался со своими соратниками. Вернувшись в Париж...

— Почему ты не пришел ко мне?

— Тебя никогда не было дома. Твой швейцар держал себя как-то таинственно, я не знал, что и подумать, да к тому же мне не хотелось явиться побежденным.

Он стучался в двери демократии, предлагая служить ей пером, речью, своей деятельностью, но повсюду был отвергнут; ему не доверяли, и вот пришлось продать часы, книги, белье.

— Лучше уж околевать на Бель-Ильской каторге вместе с Сенекалем!

Фредерика, завязывавшего в ту минуту галстук, это известие как будто не очень взволновало.

— А-а! Так милейший Сенекаль сослан?

Делорье, с завистью оглядывая стены, ответил:

— Не всем такая удача, как тебе!

— Извини меня,— сказал Фредерик, не замечая намека,— но я нынче обедаю в гостях. Обед тебе приготовят, заказывай все, что хочешь! Спать ложись на моей постели.

Горечь Делорье исчезла, побежденная столь полным радушием.

— На твоей постели? Но... это стеснит тебя.

— Да нет же! У меня не одна!

— Ну, прекрасно! — смеясь, ответил адвокат.— У кого же ты обедаешь?

— У госпожи Дамбрёз.

— Так ты, чего доброго... того и гляди...

— Ты слишком любопытен,— сказал Фредерик, улыбкой подтверждая его предположение.— Затем, поглядев на часы, он снова сел.— Вот какие дела! И не отчаивайся, старый защитник народа!

— Помилуй бог! Пусть теперь этим занимаются другие!

Адвокат ненавидел рабочих, ибо натерпелся от них у себя в провинции, в каменноугольном округе. Каждая шахта избирала свое временное правительство и давала ему наказ.

— Впрочем, они всюду были хороши — и в Лионе, и в Лилле, и в Гавре, и в Париже! Ведь по примеру фабрикантов, которые хотели бы устранить все заграничные товары, и эти господа тоже требовали изгнания всех рабочих — англичан, немцев, бельгийцев, савойцев! А что до их интеллекта, то какую, собственно, роль сыграли во времена Реставрации их знаменитые общества подмастерьев? В тысяча восемьсот тридцатом году они вступили в национальную гвардию и даже не подумали о том, чтобы подчинить ее себе! А в сорок восьмом году разве не на другой же день появились ремесленные цехи, каждый со своим знаменем! Они даже хотели иметь своих депутатов, которые защищали бы только их интересы! Вроде того, как представители свеклосахарной промышленности только и хлопчут о сахарной свекле! Ох, с меня уж хватит этих мерзавцев, которые падают ниц то перед эшафотом Робеспьера, то перед императорским сапогом, то перед зонтиком Луи-Филиппа,—

хватит с меня этой сволочи, всегда преданной тому, кто затыкает ей глотку хлебом! Все еще кричат о продажности Талейрана и Мирабо, но ведь посыльный, что стоит там внизу, продал бы отечество за пятьдесят сантимов, если бы ему пообещали платить три франка за каждое поручение! Ах, какую мы сделали ошибку! Нам надо было со всех четырех концов поджечь Европу!

Фредерик возразил ему:

— Не хватало искры! Вы были всего-навсего мелкими буржуа, и лучшие среди вас были педанты! Что касается рабочих, то им есть на что жаловаться: ведь если не считать того миллиона, который удалось выкроить в бюджете и который вы поднесли им с таким подлым подобострастием, да еще ваших фраз, то ведь вы же ничего для них не сделали! Расчетная книжка находится в руках хозяина, и наемный рабочий (даже перед судом) остается подчиненным своего нанимателя, потому что его словам не верят. В сущности, республика, мне кажется, устарела. Кто знает? Пожалуй, только аристократия или даже только отдельная личность может осуществлять прогресс. Инициатива всегда идет сверху! Народ — несовершеннолетний, что бы ни говорили!

— Это, может быть, верно, — сказал Делорье.

По мнению Фредерика, большинство граждан стремится лишь к покою (в доме Дамбрёзов он кое-что усвоил), и все шансы на стороне консерваторов. Но этой партии недостает свежих людей.

— Если бы ты выступил кандидатом, я уверен...

Он не закончил. Делорье понял, провел обеими руками по лбу, потом вдруг сказал:

— А что же ты? Тебе ведь ничто не мешает? Почему тебе не стать депутатом?

В департаменте Обы, где проводятся дополнительные выборы, есть свободная вакансия. Г-н Дамбрёз, избранный в Законодательное собрание, — представитель другого округа.

— Хочешь, я этим займусь?

У него там были знакомства среди кабатчиков, учителей, врачей, клерков и их патронов.

— Впрочем, эти крестьяне поверят всему, чему угодно!

Фредерик чувствовал, как вновь разгорается его честолюбие.

Делорье прибавил:

— Ты приискал бы мне место в Париже.

— О, через господина Дамбрёза это будет нетрудно!

— Кстати, раз уж мы заговорили о каменном угле,— продолжал адвокат,— что случилось теперь с его компанией? Мне бы как раз подошло занятие в этом роде, я бы им был полезен, а сам сохранил бы независимость.

Фредерик обещал зайти с ним к банкиру в один из ближайших дней.

Обед наедине с г-жой Дамбрёз был восхитителен. Она сидела против него, улыбалась, а между ними на столе стояла корзина с цветами; падал свет от висячей лампы, и в открытое окно видны были звезды. Говорили они мало, наверно еще опасаясь друг друга; но как только слуги оказывались к ним спиной, они посылали друг другу воздушные поцелуи. Он поделился с ней планом насчет выдвижения своей кандидатуры. Она его одобрила, даже обещала добиться содействия г-на Дамбрёза.

Вечером кое-кто из друзей зашел поздравить ее и посочувствовать: должно быть, она огорчена, что с ней больше нет ее племянницы? Как-никак молодые очень хорошо сделали, что предприняли это путешествие; потом пойдут дети, начнутся разные заботы! Но Италия не соответствует тому представлению, которое о ней сложилось. Впрочем, они еще не вышли из возраста иллюзий, да и медовый месяц все может скрасить. Последними остались г-н де Гремонвиль и Фредерик. Дипломат все не хотел уходить. Наконец в полночь он поднялся. Г-жа Дамбрёз сделала знак Фредерику, чтобы и он уходил вместе с ним, и за послушание поблагодарила его пожатием руки, более сладостным, чем все остальное.

Капитанша вскрикнула от радости, увидев его. Она уже с пяти часов его ждала. В оправдание он сослался на необходимость предпринять кое-какие шаги ради Делорье. Лицо у него было торжествующее, словно озаренное ореолом, который ослепил Розанетту.

— Может быть, это оттого, что ты в черном фраке, он тебе очень к лицу; но я никогда не видела тебя таким красивым! Какой ты красивый!

В порыве нежности она сама себе дала клятву не отдаваться больше никому другому, что бы ни случилось и хотя бы ей пришлось умирать в нищете!

Ее прелестные влажные глаза искрились такой могучей страстью, что Фредерик привлек ее к себе на колени и подумал: «Какой же я мерзавец!» — в душе восхищаясь своей испорченностью.

Когда Делорье явился к г-ну Дамбрёзу, тот думал о том, как **бы** вернуть к жизни свое большое каменноугольное предприятие. Но на слияние всех обществ в одно смотрели косо; кричали, что получится монополия, как будто такое дело само по себе не требует огромных капиталов!

Делорье, который только что нарочно прочел книгу Гобе и статьи г-на Шаппа в «Горнозаводском журнале», в совершенстве изучил вопрос. Он пояснил, что закон 1810 года устанавливает незыблемое право концессионера. Впрочем, всему предприятию можно придать демократическую окраску; ведь воспрепятствовать объединению каменноугольных компаний — это значит нарушить самый принцип ассоциации.

Господин Дамбрёз вручил ему свои заметки для составления докладной записки. Что же касается оплаты его трудов, то он надавал кучу обещаний, столь же заманчивых, сколь и неопределенных.

Делорье пришел к Фредерику и сообщил о своем разговоре. Помимо всего, он, уходя, видел в подъезде г-жу Дамбрёз.

— Поздравляю тебя, черт возьми!

Потом поговорили о выборах. Надо было что-нибудь придумать.

Три дня спустя Делорье принес исписанный лист — статью, предназначенную для газеты и представлявшую собой открытое письмо г-на Дамбрёза, в котором тот одобрял кандидатуру их друга. Получив поддержку консерватора и заслужив похвалу со стороны красного, она должна была иметь успех. Каким образом капиталист поставил свое имя под этим сочинением? Адвокат, по собственному почину, ничуть не стесняясь, показал его г-же Дамбрёз, которая нашла его очень удачным и взялась устроить остальное.

Фредерика этот шаг удивил, однако он его одобрил. Делорье предстояли переговоры с г-ном Рокком; Фредерик рассказал ему о своих отношениях с Луизой.

— Скажи им все, что захочешь: что у меня дела расстроены, что я привожу их в порядок; она еще достаточно молода, может ждать!

Делорье уехал, а Фредерик стал смотреть на себя как на человека чрезвычайно ловкого. Вообще он испытывал полное и глубокое удовлетворение. Радостное сознание, что он обладает богатой женщиной, ничем не омрачалось, его чувства гармонич-

ровали со всем ее окружением. Теперь вся его жизнь полна очарования.

Пожалуй, приятнее всего было созерцать г-жу Дамбрёз, когда она сидела у себя в гостиной, в обществе нескольких знакомых. Видя, как строго она держится, он представлял ее себе в других позах; пока она холодно беседовала с гостями, он вспоминал взволнованный лепет любви; уважение, которое было данью ее добродетели, услаждало его, как будто это почитание заслужено им; и подчас ему хотелось закричать: «Да я же знаю ее лучше, чем вы! Она моя!»

Вскоре связь их стала всем известна, превратилась в нечто всеми признанное. Г-жа Дамбрёз всю зиму возила Фредерика с собою по светским гостиным.

Он почти всегда приезжал раньше ее и мог видеть, как она входит с веером в руке, с жемчугом в волосах, с обнаженными плечами. Она останавливалась в дверях, вырисовываясь, точно в рамке, и делала легкое нерешительное движение, щурила глаза, отыскивая его взглядом. Назад она везла его в своей карете; в стекла хлестал дождь; прохожие, подобные теням, скользили по грязи; а Фредерик и г-жа Дамбрёз, прижавшись друг к другу, смотрели на все это рассеянно, с пренебрежительным равнодушием. Потом под разными предлогами он еще добрый час оставался у нее в комнате.

Госпожа Дамбрёз отдалась ему главным образом от скуки. Но этот последний опыт не должен был остаться тщетным усилием. Ей хотелось зажечь в нем страстную любовь, она стала осыпать его ласками, старалась сделать ему приятное.

Она посылала ему цветы, вышила для него сиденье стула; чтобы все его действия были связаны с мыслью о ней, она подарила ему портсигар, чернильницу, множество вещей, необходимых в обиходе. Вначале эти знаки внимания очаровывали его, а вскоре стали казаться вполне естественными.

Она садилась в фиакр, отсылала его, доехав до какого-нибудь крытого прохода, углублялась в него, а потом с противоположной стороны опять выходила на тротуар и, скользя вдоль домов, с двойной вуалью на лице, добиралась до улицы, где Фредерик, уже стоявший на часах, быстро брал ее под руку и уводил к себе. Оба лакея отпускались со двора, швейцара он отсылал по своим поручениям. Она оглядывалась по сторонам; опасаться было нечего, и она с облегчением вздыхала, как изгнанник, узревший родину. Удача придавала им смелости. Их свидания стали чаще. Вдруг как-то вечером она нежданно явилась к нему в бальном наряде. Такие сюрпризы могли быть и

опасны; он упрекнул ее в неосторожности; к тому же она произвела на него невыгодное впечатление. Открытый лиф слишком обнажал ее тощую грудь.

И он осознал то, что скрывал от себя, — чувственное разочарование в ней. Это не мешало ему притворяться пылко влюбленным; но чтобы ощутить страсть, он должен был вызывать в своей памяти образ Розанетты или г-жи Арну.

Благодаря этой вялости чувств, мысль его оставалась совершенно свободной, и, более чем когда бы то ни было, он стремился занять высокое положение в свете. Раз у него такая опора, то, по крайней мере, следует воспользоваться ею.

Однажды утром, в середине января, к нему в кабинет вошел Сенекаль и в ответ на удивленное восклицание сообщил, что он теперь секретарь Делорье. Он даже передал письмо. В нем были добрые вести, но все-таки Делорье журил его за небрежность; приехать надо было самому.

Будущий депутат ответил, что отправится в путь послезавтра.

Сенекаль не высказал своего мнения о его кандидатуре. Говорил он о себе самом и о положении в стране.

Как бы ни было оно плачевно, оно его радовало, ибо открывался путь к коммунизму. Во-первых, само правительство ведет к этому, так как с каждым днем все больше становится дел, которые вершит само государство. Что до собственности, то конституция сорок восьмого года, несмотря на свои слабые стороны, не пощадила ее; во имя общественной пользы государство может отныне брать все, что считает для себя подходящим. Сенекаль объявил, что стоит за твердую власть, и Фредерик услышал в его речах преувеличенный отголосок собственных слов — того, что он говорил Делорье. Республиканец стал даже громить несостоятельность масс.

— Робеспьер, защищая права меньшинства, предал Людовика Шестнадцатого суду Конвента и спас народ. Исход дела узаконивает его. Диктатура иногда неизбежна. Да здравствует тирания, если только тиран творит добро!

Беседа была довольно продолжительной, а собираясь уходить, Сенекаль признался (это, может быть, и составляло цель посещения), что Делорье очень встревожен молчанием г-на Дамбрёза.

Но г-н Дамбрёз болен. Фредерик навещает его каждый день, — он, как близкий человек, имеет доступ к больному.

Капиталиста крайне взволновала отставка генерала Шангарнье. В тот же вечер он почувствовал сильный жар и такое

удушие в груди, что не мог лежать. После пиявок сразу же полегчало. Сухой кашель исчез, дыхание стало спокойнее, а неделю спустя он, глотая бульон, сказал:

— Да, дело идет на лад! Но я чуть было не отправился в далекий путь!

— Без меня нельзя! — воскликнула г-жа Дамбрёз, давая понять, что она не пережила бы его.

Вместо ответа он посмотрел на нее и на ее любовника со странной улыбкой, сочетавшей в себе и смирение, и снисходительность, и насмешку, и даже как бы шутку, почти веселый намек.

Фредерик хотел ехать в Ножан, г-жа Дамбрёз была против, и он то укладывал, то распаковывал чемоданы, смотря по тому, какой оборот принимала болезнь.

Вдруг у г-на Дамбрёза пошла кровь горлом. «Князя науки», призванные к больному, не сказали ничего нового. Ноги опухли, слабость увеличивалась. Он несколько раз выражал желание повидать Сесиль, находившуюся на другом конце Франции вместе с мужем, который месяц тому назад был назначен сборщиком податей. Он велел непременно вызвать ее. Г-жа Дамбрёз написала три письма и показала их мужу.

Не доверяя даже сестре милосердия, она ни на секунду не оставляла его, по ночам не ложилась спать. Знакомые, расписывавшиеся у швейцара, с благоговением спрашивали о ней, а прохожие проникались уважением при виде той массы соломы, которой возле дома была устлана мостовая.

Двенадцатого февраля в пять часов открылось сильное кровохарканье. Врач, дежуривший при больном, предупредил об опасности. Поспешили послать за священником.

Пока г-н Дамбрёз исповедовался, супруга издали с любопытством смотрела на него. Затем молодой врач поставил шпанскую мушку и стал ждать, что будет.

Лампы, загороженные мебелью, неровно освещали комнату. Фредерик и г-жа Дамбрёз, стоя в ногах постели, смотрели на умирающего. У окна вполголоса разговаривали священник и врач; сестра милосердия, стоя на коленях, бормотала молитвы.

Наконец послышалось хрипение. Руки холодели, бледнее становилось лицо. Порою он вдруг выпускал глубокий вздох; эти вздохи делались все реже; вырывалось несколько невнятных слов; он тихонько вздохнул; закатил глаза, и голова свесилась на подушку.

С минуту все стояли неподвижно.

Госпожа Дамбрёз подошла и без усилия, просто, как исполняют долг, закрыла ему глаза.

Потом она развела руками, извиваясь всем телом, словно в припадке затаенного отчаяния, и вышла из комнаты, поддерживаемая врачом и сестрой милосердия. Четверть часа спустя Фредерик поднялся в ее спальню.

Там чувствовался какой-то неизъяснимый аромат, исходивший от тех нежных и хрупких вещей, которыми она была наполнена. На постели лежало черное платье, резко выделявшееся на фоне розового покрывала.

Госпожа Дамбрёз стояла у камина. Хоть он и не думал, что она особенно тоскует, все же предполагал, что она немного опечалена, и спросил ее скорбным тоном:

— Тебе тяжело?

— Мне? Нет, нисколько.

Обернувшись, она увидела платье, стала его разглядывать; потом попросила его не стесняться:

— Кури, если хочешь! Ты же у меня! — И глубоко вздохнула: — О господи! Какое облегчение!

Фредерика это восклицание удивило. Он заметил, целуя ей руку:

— Но ведь нам же не мешали!

Этот намек на их любовную связь и легкость, с которой она далась им, видимо, кольнула г-жу Дамбрёз.

— Ах, ты не знаешь, какие услуги я ему оказывала и какие тревоги мне приходилось переживать!

— Да неужели?

— Ну да! Разве можно было жить спокойно, когда тут же рядом была эта незаконная дочь, эта девочка, которую он ввел в дом через пять лет после свадьбы? И если бы не я, он уж, конечно, сделал бы ради нее какую-нибудь глупость.

Тут она посвятила его в свои дела. По свадебному контракту каждый из них оставался владельцем своего имущества. Ее состояние — триста тысяч франков. Г-н Дамбрёз на случай своей смерти закрепил за ней пятнадцать тысяч годового дохода и дом. Но вскоре он написал завещание, по которому она являлась его единственной наследницей; его состояние она оценивала, насколько это можно было определить сейчас, более чем в три миллиона.

Фредерик изумился.

— Было из-за чего стараться, правда? Впрочем, и я помогала ему нажить их! Я защищала свое же добро. Сесиль меня бы обобрала, это была бы несправедливость.

— Почему она не приехала повидаться с отцом?

Услышав этот вопрос, г-жа Дамбрёз пристально посмотрела на него, потом сухо ответила:

— Не знаю! Верно, потому, что бессердечна! О, я ее знаю! Зато она от меня не получит ни одного су!

Но она же вовсе не была в тягость, по крайней мере со времени своего замужества.

— Ах, это замужество! — усмехнулась г-жа Дамбрёз.

И она раскаивалась, что слишком хорошо относилась к этой дуре, завистливой, корыстной, лицемерной. «Все недостатки отца!» Она бранила его все ожесточеннее. Не было существа более лживого, к тому же и беспощадного, черствого, как камень. «Дурной человек, дурной!»

Допустить ошибку может всякий, даже и самый умный. Промах сделала и г-жа Дамбрёз, дав волю накопившейся злобе. Фредерик, сидя против нее в глубоком кресле, размышлял; его все это шокировало.

Она встала, медленно опустилась к нему на колени.

— Только ты хороший! Я люблю только тебя!

Она глядела на него, и сердце ее смягчилось, наступила нервная реакция, глаза наполнились слезами, и она прошептала:

— Хочешь на мне жениться?

Сперва он подумал, что не расслышал. Такое богатство ошеломило его. Она громче повторила:

— Хочешь на мне жениться?

Наконец он улыбнулся и сказал:

— Ты сомневаешься?

Потом ему стало стыдно, и, чтобы хоть как-то исправить свою вину перед покойным, он вызвался провести ночь около него. Но, стесняясь такого добродетельного намерения, развязно прибавил:

— Так, пожалуй, будет приличнее.

— Да, пожалуй, в самом деле, — ответила она, — из-за прислуги!

Кровать совсем выдвинули из алькова. Монахиня стояла в ногах, у изголовья стал священник, не тот, что был днем, а другой — высокий, тощий человек, похожий на испанца, с виду фанатик. На ночном столике, покрытом белой салфеткой, горели три свечи.

Фредерик сел на стул и стал смотреть на покойника.

Лицо было желтое, как солома; по углам рта запеклась кровавая пена; голова была повязана фуляром; лежал он в

вязаной фуфайке, с распятием в руках, сложенных крестом на груди.

Кончилась эта жизнь, полная суеты! Сколько раз он ездил по всяким канцеляриям, сколько итогов подводил, сколько дел устраивал, сколько выслушивал докладов! Сколько болтовни, улыбок, поклонов! Ведь он приветствовал Наполеона, казаков, Людовика XVIII, 1830 год, рабочих, каждое правительство, так нежно любил всякую Власть, что сам готов был платить, лишь бы его купили.

Но после него остались поместье в Ла Фортель, три мануфактуры в Пикардии, лес Крансэ в департаменте Ионны, ферма под Орлеаном, ценное движимое имущество.

Так Фредерик пересчитывал его богатства; а ведь они должны достаться ему! Прежде всего он подумал о том, что «скажут люди» о подарке, который он преподнесет своей матери, о своих будущих выездах, о старом кучере их семьи, которого он сделает своим швейцаром. Ливрея, разумеется, будет другая. Большую гостиную он превратит в свой рабочий кабинет. Если в третьем этаже разобрать три стены, то можно будет завести там картинную галерею. Внизу, может быть, удастся устроить турецкую баню. А на что могла бы пригодиться контора г-на Дамбрёза, эта неприятная комната?

Когда священник сморкался или монахиня мешала угли в камине, грезы его безжалостно нарушались. Но действительность подтверждала их: труп по-прежнему лежал здесь. Веки покойника приоткрылись, и зрачки, хоть их и заволакивала темная липкая пелена, смотрели с каким-то невыносимо загадочным выражением. Фредерик словно читал в них осуждение себе и почти испытывал угрызения совести, ибо никогда не мог пожаловаться на этого человека, который, напротив... «Да полно же! Старый мерзавец!» И он пристальнее вглядывался в него, чтобы ободриться, и мысленно кричал ему: «Ну так что же, так что же? Разве я тебя убил?»

Священник читал молитвы; монахиня дремала, застыв на месте; пламя свечей удлинялось.

Целых два часа раздавался глухой грохот повозок, ехавших к Крытому рынку. В окнах посветлело; проехал фиакр, потом по мостовой просеменило стадо ослиц; донеслись удары молотка, крик разносчиков, звуки рожка; все сливалось в мощном голосе пробуждающегося Парижа.

Фредерик принялся за хлопоты. Прежде всего он отправился в мэрию, чтобы заявить о смерти; потом, когда врач выдал свидетельство, он снова посетил мэрию, чтобы сообщить, на ка-

ком кладбище семья желает хоронить покойника, и поехал в бюро похоронных процессий.

Служащий извлек проспект бюро и реестр, где перечислялись различные разряды погребения и полностью все подробности церемониала. Какую желают колесницу — с карнизом или с султанами? Должны ли быть у лошадей заплетены гривы? С галунами ли прислуга? Вензель или герб? Потребуется ли погребальные факелы? Человек, чтобы нести ордена? Сколько нужно карет? Фредерик не скупился. Г-жа Дамбрёз решила ничего не жалеть.

Потом он отправился в церковь.

Викарий, ведавший похоронами, первым делом стал бранить похоронное бюро; особое лицо для несения орденов, право же, ни к чему; лучше бы заказать побольше свечей! Условились, что заупокойная обедня будет с органом. Фредерик расписался на условии, обязуясь за все уплатить.

Далее он поехал в Ратушу, чтобы купить место на кладбище. Участок в два метра длиной и один шириной стоил пятьсот франков. Место приобретается на пятьдесят лет или навечно?

— Разумеется, навечно! — сказал Фредерик.

Он с головой ушел в эти хлопоты, старался изо всех сил. Во дворе особняка его ждал мастер-мраморщик с планами памятников в греческом, египетском, мавританском стиле и сметах; но домашний архитектор уже успел обсудить этот вопрос с самой хозяйкой, а на столе в вестибюле лежали всякие объявления насчет чистки матрацев, дезинфекции комнат и различных способов бальзамирования.

После обеда он поехал к портному заказать траур для прислуги, и, наконец, ему еще раз пришлось съездить туда же, так как он заказал замшевые перчатки, а надобно было шелковые.

Когда он явился на следующее утро в десять часов в большой гостиной уже собралось много народа, и почти все с печальным видом, подходя друг к другу, говорили:

— Еще месяц тому назад я видел его! Боже мой! Всех нас ждет такая участь!

— Да, но постараемся, чтобы это случилось как можно позднее!

После чего, удовлетворенно посмеиваясь, затевали разговор, совершенно не соответствовавший случаю. Наконец распорядитель похорон в черном фраке, по французскому обычаю, и коротких штанах, в плаще с плерёзами, со шпагой на перевязи и треугольной шляпой под мышкой, поклонился и произнес традиционные слова:

— Если вам угодно, господа, пожалуйста.

Шествие тронулось.

Был день цветочного базара на площади собора св. Магдалины. Погода стояла ясная и теплая, и ветерок, чуть-чуть трепавший парусину палаток, надувал с боков огромное черное сукно, висевшее над главным входом в храм. Герб г-на Дамбрёза, заключенный в бархатные квадраты, был изображен на нем три раза. Он представлял *на черном поле златую шуйцу, сжатую в кулак, в серебряной перчатке, с графской короной и девизом: «Всеми путями».*

Тяжелый гроб внесли по ступеням, и все вошли в церковь.

Все шесть приделов, полукруг за алтарем и сиденья обтянуты были черным. Катафалк перед алтарем озаряли желтоватые лучи, падавшие от высоких восковых свечей. По углам его в канделябрах горел спирт.

Лица более важные разместились поближе к алтарю, прочие сели в нефе, и служба началась.

За исключением нескольких человек, все были столь несведущи в церковных обрядах, что распорядитель похорон время от времени подавал знак, приглашая встать, опуститься на колени, снова сесть. Орган и два контрабаса чередовались с голосами певчих; в промежутках слышно было бормотание священника у алтаря; потом пение и музыка возобновлялись.

Из трех куполов лился матовый свет; но в открытую дверь горизонтальными полосами врывались потоки дневного света, который падал на все эти обнаженные головы, а в воздухе, на половине высоты церкви, реяла тень, пронизанная отблесками золотых украшений на ребрах свода и на листьях капителей.

Чтобы рассеяться, Фредерик, прислушался к «Dies irae»;¹ он оглядывал присутствующих, старался рассмотреть живопись, расположенную слишком высоко, — эпизоды из жизни Магдалины. По счастью, рядом с ним сел Пеллерен и тотчас же пустился в долгие рассуждения по поводу фресок. Ударил колокол. Стали выходить из церкви.

Дроги, задрапированные сукном и украшенные высоким плюмажем, направились к кладбищу Пер-Лашез; колесницу везли четыре вороные лошади с заплетенными в косы гривами, с султанами на головах, в длинных черных попонах, вышитых серебром. Кучер был в ботфортах и в треуголке, с длинным ни-

¹ «День гнева (господня)» — первые слова и название заупокойного песнопения в католическом богослужении (лат.).

спадающим крепом. За шнуры колесницы держались четверо: квестор палаты депутатов, член генерального совета департамента Обы, представитель каменноугольной компании и — на правах друга — Фюмишон. За дрогами следовали коляска покойного и двенадцать траурных карет. За ними, посреди бульвара, шли провожающие.

Прохожие останавливались посмотреть на зрелище, женщины с младенцами на руках влезали на стулья, а посетители кафе, зашедшие выпить кружку пива, появлялись с бильярдными киями у окон.

Путь был длинный, и, — подобно тому, как на парадных обедах гости вначале бывают сдержанны, а потом становятся общительны, — натянутость вскоре у всех исчезла. Говорилось только о том, как палата отказала президенту в ассигнованиях. Г-н Пискатори слишком резок, Монталамбер — «великолепен, как всегда», господам Шамболю, Пиду, Кретону, словом, всей комиссии, пожалуй, следовало послушаться мнения господ Кантен-Бошара и Дюфура.

Разговоры продолжались и на улице Рокет, окаймленной лавками, в витринах которых видны одни только цепочки из цветного стекла да черные круги с золотыми узорами и буквами, что придает этим лавкам сходство с пещерами, полными сталактитов, или с посудными магазинами. Но у решетки кладбища все мгновенно замолкли.

Между деревьями возвышались надгробные памятники — усеченные колонны, пирамиды, часовни, дольмены, обелиски, склепы в этрусском стиле с бронзовыми дверями. В некоторых из них были устроены своего рода могильные будуары, с садовыми креслами и складными стульями. Паутина лохмотьями свисала с цепочек на урнах, и пыль покрывала атласные банты букетов и распятий. Между столбиками оград, над могилами, всюду венки из иммортелей и светильники, вазы, цветы, черные диски, украшенные золотыми буквами, гипсовые статуэтки — мальчики, девочки, ангелочки, повисшие в воздухе на латунной проволоке; над некоторыми были устроены даже цинковые навесы. С надгробных стелл на каменные плиты спускались, извиваясь, как удавы, огромные канаты из крученого стекла, черного, белого и голубого. Освещенные солнцем, они искрились среди черных деревянных крестов, а колесница медленно подвигалась в глубь широких проездов, мощенных наподобие городских улиц. Оси время от времени издавали щелкающий звук. Женщины, стоя на коленях и платьями касаясь травы, тихонько беседовали с покойниками. Над зеленью тисовых

деревьев подымался беловатый дым. Это сжигались остатки старых венков, возложенных на могилы.

Могила г-на Дамбрёза находилась по соседству с могилами Манюэля и Бенжамена Констана.

В этом месте начинается крутой спуск, обрыв. Внизу видны зеленые вершины деревьев, дальше — трубы паровых насосов, а вдали — весь огромный город.

Пока произносились речи, Фредерик мог любоваться видом.

Первая из них была сказана от имени палаты депутатов, вторая — от имени генерального совета департамента Обы, третья — от имени каменноугольной компании Соны и Луары, четвертая — от имени агрономического общества Ионны; была произнесена и речь от имени филантропического общества. Наконец стали уже расходиться, как вдруг некий незнакомец начал читать шестую речь — от имени общества амьенских антикваров.

И каждый пользовался случаем напасть на социализм, жертвой которого умер г-н Дамбрёз. Зрелище анархии и его преданность порядку — вот что сократило его дни. Превозносили его ум, честность, щедрость и даже молчаливость в роли народного представителя, ибо если он не был оратором, то взамен обладал такими положительными, в тысячу раз более ценными качествами, как... и т. д. Было сказано все, что полагается в подобных обстоятельствах: «безвременная кончина», «вечные сожаления», «иной мир», «прощай... нет, вернее, до свиданья!»

Посыпалась земля, перемешанная с камешками, и уже никому на свете не было до него дела.

О нем еще немного поговорили, пока шли по кладбищу, и в суждениях не стеснялись. Юссонэ, которому предстояло дать в газете описание похорон, даже припомнил и высмеял все речи: ведь что ни говори, а почтенный Дамбрёз был за последнее царствование одним из виднейших *взяточников*. Потом траурные кареты развезли всех этих буржуа по их конторам, церемония заняла не слишком много времени, так что все были довольны; Фредерик, утомленный, поехал домой.

Когда на другой день он явился к г-же Дамбрёз, ему сказали, что барыня занята внизу, в конторе. Папки, ящики были открыты как попало, счетные книги разбросаны, сверток бумаг с надписью «Безнадежные взыскания» валялся на полу; Фредерик чуть было не упал, зацепившись за него ногой, и поднял его. Г-жа Дамбрёз, казалось, потонула в глубоком кресле.

— Ну что же? Где вы тут прячетесь? Что случилось?

Она тотчас же вскочила.

— Что случилось? Я разорена, разорена! Понимаешь?

Нотариус, г-н Адольф Ланглуа, пригласил ее к себе в контору и сообщил содержание завещания, составленного ее мужем до их свадьбы. Он все оставлял Сесиль, а другое завещание было потеряно. Фредерик побледнел. Наверно, она плохо искала.

— Да посмотри! — ответила г-жа Дамбрёз, указывая на комнату.

Оба несгораемых шкафа стояли открытые, замки были сломаны молотком; она перерыла еще раз письменный стол, обыскала шкафы в стенах; вытряхнула соломенные половики, как вдруг пронзительно вскрикнула и бросилась в угол, где сейчас только увидела ящичек с медным замком; она открыла его — пусто!

— Ах, мерзавец! А я так самоотверженно ухаживала за ним!

И она зарыдала.

— Может быть, оно в другом месте? — сказал Фредерик.

— Да нет! Оно было здесь, в несгораемом шкафу. Я недавно его видела. Он его сжег! Я уверена!

Как-то, в начале своей болезни, г-н Дамбрёз приходил сюда подписать бумаги.

— Тогда-то он и проделал это!

И она в изнеможении упала на стул. Мать, потерявшая ребенка, не так скорбит над опустевшей колыбелью, как сокрушалась г-жа Дамбрёз у этих зияющих несгораемых шкафов. Как бы то ни было, горе ее, несмотря на измененность мотивов, казалось столь глубоким, что он попытался утешить ее, сказал, что, в конце концов, это все же не нищета.

— Нет, нищета, раз я не могу предложить тебе большое состояние!

У нее оставалось только тридцать тысяч годового дохода, не считая дома, стоившего, пожалуй, тысяч восемнадцать — двадцать.

Хотя в глазах Фредерика и это было богатство, все же он испытывал разочарование. Прощайте, мечты! Прощай, широкая жизнь, которую он собирался вести! Чувство чести требовало, чтобы он женился на г-же Дамбрёз. Он подумал с минуту, потом нежно промолвил:

— Но со мной будешь ты!

Она бросилась к нему в объятия, и он прижал ее к своей груди с нежностью, к которой отчасти примешивалось и восхищение самим собою. Г-жа Дамбрёз, осушив слезы, подняла к нему лицо, сияющее от счастья, и взяла его за руку.

— О, я никогда в тебе не сомневалась! Я на это рассчитывала!

Такая заблаговременная уверенность в том, что сам он считал благородным поступком, молодому человеку не понравилась.

Потом она увела его к себе в спальню, и они стали строить планы. Фредерик должен теперь подумать о своей карьере. Она даже дала ему превосходные советы относительно его кандидатуры.

Во-первых, надо выучить две-три фразы из политической экономии. Затем следует избрать себе специальность, например, коннозаводство, написать несколько статей о вопросах местного характера, всегда иметь в своем распоряжении почтовые или табачные конторы, оказывать множество мелких услуг. Г-н Дамбрёз мог служить в этом смысле образцом. Как-то раз в деревне, катаясь с друзьями в шарабане, он велел кучеру остановиться перед лавочкой сапожника, купил для своих гостей двенадцать пар обуви, а для себя ужасные сапоги и даже проявил такое мужество, что носил их целых две недели. Эта история их развеселила. Она рассказала еще и другие, оживилась и помолодела, стала по-прежнему мила и остроумна.

Она одобрила его намерение немедленно съездить в Ножан. Они нежно простились; на пороге она еще раз шепнула ему:

— Ведь ты меня любишь, правда?

— Навеки твой! — был его ответ.

Дома его ждал посыльный с запиской карандашом, сообщавшей, что Розанетта вот-вот должна родить. Последние дни он был так занят, что и забыл об этом. Она теперь находилась в специальном заведении в Шайо.

Фредерик нанял фиакр и отправился.

На углу улицы Марбёф он увидел дощечку, на которой крупными буквами было написано: «Лечебница с отделением для рожениц. Содержательница г-жа Алессандри, акушерка первого разряда, окончившая курс в Институте материнства, автор многих сочинений» и т. д. С улицы, над калиткой, заменявшей ворота, вывеска повторяла ту же надпись (с пропуском слов «отделение для рожениц»): «Лечебница г-жи Алессандри», — и перечисляла все звания владелицы.

Фредерик постучал.

Горничная с манерами субретки ввела его в гостиную, где стояли стол красного дерева, кресла, обитые малиновым бархатом, и часы под стеклянным колпаком.

Почти сразу же вышла хозяйка. Это была высокая брюнетка лет сорока, с тонкой талией, красивыми глазами, видимо знающая свет. Она сообщила Фредерику, что мать благополучно разрешилась от бремени, и повела его к ней.

Розанетта встретила его несказанной улыбкой и, словно задыхаясь от любви, утопая в ее волнах, тихо сказала:

— Мальчик... вот там, там! — и показала на колыбельку, стоявшую возле ее кровати.

Он раздвинул занавески; среди белья лежало что-то желтовато-красное, страшно сморщенное, дурно пахнущее и громко орущее.

— Поцелуй его!

Чтобы скрыть свое отвращение, он ответил:

— Но я боюсь сделать ему больно.

— Нет, нет!

Тогда он еле коснулся губами своего ребенка.

— Как он на тебя похож!

И слабыми руками она обняла его за шею с такой горячей нежностью, какой он никогда еще не видел от нее.

Он вспомнил о г-же Дамбрёз. Ему показалось чем-то чудовищным обманывать это бедное создание, любившее и страдавшее со всей непосредственностью своего характера. В течение нескольких дней он просиживал у нее до самого вечера.

В этом укромном доме она чувствовала себя счастливой; у окон, выходящих на улицу, ставни постоянно бывали закрыты; комната ее, обтянутая светлым штофом, выходила в большой сад; г-жа Алессандри, недостатком которой было только то, что о знаменитых врачах она говорила как о своих близких приятелях, окружила ее всяческими заботами; товарки ее, всё почти провинциальные барышни, очень скучали, так как никто их не навещал. Розанетта заметила, что ей завидуют, и с гордостью сказала об этом Фредерику. Разговаривать, однако, приходилось вполголоса: стены были тонкие, и хотя разносились, не умолкая, звуки фортепиано, все напрягали слух и держались настороже.

Он наконец собрался ехать в Ножан, как вдруг пришло письмо от Делорье.

Появились два новых кандидата, один — консерватор, другой — красный; третий, каков бы он ни был, уже не мог рассчитывать на успех. Виноват сам Фредерик — он пропустил подходящий момент, ему следовало приехать раньше, расшевелиться. «Ты даже не показался в сельскохозяйственном обществе!» Адвокат порицал его за то, что у него нет связей с газе-

тами. «Ах, если бы ты в свое время послушался моих советов! Если бы у нас была своя газета!» Он это подчеркивал. Впрочем, многие из тех, кто голосовал бы за него из уважения к г-ну Дамбрёзу, теперь отпадут. В числе их был и Делорье. Ему нечего было ждать от капиталиста, и он отступился от своего подопечного.

Фредерик пошел с этим письмом к г-же Дамбрёз.

— Так ты не был в Ножане? — спросила она.

— Почему ты спрашиваешь?

— Я видела Делорье три дня тому назад.

Узнав о смерти ее мужа, адвокат явился к ней, чтобы вернуть заметки о каменноугольном предприятии, и предложил свои услуги в качестве поверенного. Фредерику это показалось странным: а что же его друг делает там, в Ножане?

Госпожа Дамбрёз пожелала узнать, чем был занят Фредерик во время их разлуки.

— Я был болен, — ответил он.

— Ты должен был хотя бы сообщить мне.

— О, не стоило!

К тому же у него было множество хлопот, деловых свиданий, визитов.

С этих пор жизнь его раздвоилась: он неуклонно ночевал у Капитанши, а вторую половину дня проводил у г-жи Дамбрёз, так что свободного времени оставался какой-нибудь час в день.

Ребенка отправили в деревню, в Андийи. Родители навещали его каждую неделю.

Дом кормилицы находился поблизости от самой деревни, в глубине маленького двора, устланного соломой, мрачного, как колодец; тут бродили куры, под навесом стояла тележка для овощей. Розанетта первым делом осыпала своего мальчика неистовыми поцелуями и, в порыве какого-то безумия, начинала суесться, пыталась доить козу, ела простой крестьянский хлеб, вдыхала запах навоза, готова была даже взять щепотку его в носовой платок.

Потом они совершали длинную прогулку; она заходила в садоводство, срывала ветки сирени, свешивавшиеся через стену; завидя осла, запряженного в двуколку, кричала: «Ну, пошел, серый!» — останавливалась у решетки какого-нибудь красивого сада, любуясь им; или же кормилица приносила ребенка, его укладывали в тени орешника, и обе женщины целыми часами болтали невыносимые глупости.

Фредерик, оставаясь тут же, созерцал квадраты виноградников, среди которых то тут, то там виднелась густая листва

какого-нибудь дерева, пыльные тропинки, похожие на серые ленты, дома, выделявшиеся среди зелени белыми и красными пятнами; иногда у подножия холмов, поросших кустами, тянулся горизонтальной полосой дым локомотива, точно гигантское страусовое перо, кончик которого улетал вдаль.

Потом глаза его снова останавливались на сыне. Он представлял его себе юношей, надеялся, что он будет ему товарищем; но, быть может, из него выйдет дурак, во всяком случае, человек несчастный. То, что он незаконнорожденный, всегда будет тяготеть над ним; лучше бы для него не родиться вовсе; и непонятная тоска наполняла сердце Фредерика, шептавшего: «Бедное дитя!»

Они часто опаздывали на последний поезд. Тогда г-жа Дамбрёз журила его за неаккуратность. Он сочинял какую-нибудь небылицу.

Небылицы приходилось изобретать и для Розанетты. Она не понимала, что он делает по вечерам; и когда бы к нему ни послать, его вечно нет дома! Как-то раз обе появились почти одновременно. Капитаншу он выпроводил, а г-жу Дамбрёз спрятал, сказав, что должна приехать его мать.

Вскоре эта ложь начала забавлять его; клятву, которую он давал одной, он повторял и другой, посылал им обеим одинаковые букеты; писал им в одно и то же время, потом сравнивал их; но в мыслях его вечно жила и третья. Ее недосыгаемость была оправданием этого вероломства, которое обостряло удовольствие, внося в него разнообразие; и чем больше он обманывал одну или другую, тем сильнее была ответная любовь, как будто чувство к нему г-жи Дамбрёз распаляло страсть Розанетты, и наоборот, как будто, соревнуясь друг с другом, каждая из них хотела заставить его забыть о сопернице.

— Оцени мое доверие, — сказала ему однажды г-жа Дамбрёз, показывая письмо, в котором ей сообщали, что г-н Моро живет с некой Розой Брон. — Чего доброго, та самая, что была на скачках?

— Что за вздор! — ответил он. — Дай взглянуть.

В письме, начертанном печатными буквами, подпись отсутствовала. Вначале г-жа Дамбрёз терпела эту любовницу, благодаря которой маскировалась их связь. Но теперь, когда любовь ее становилась более страстной, она потребовала разрыва, что, по словам Фредерика, давно уже было сделано; в ответ на все его уверения она, прищурившись и направив на него взгляд, поблескивавший словно острие кинжала под кисеей, спросила:

— Ну, а другая?

— Какая другая?

— Жена торговца посудой!

Он презрительно пожал плечами. Она не настаивала.

Но однажды, месяц спустя, когда речь зашла о чести и честности и он похвастался (вскользь, осторожности ради) этим качеством, она ему сказала:

— Это правда, ты честный; ты больше не ездишь туда.

Фредерик, думавший о Капитанше, пробормотал:

— Куда это?

— Да к госпоже Арну.

Он стал умолять ее признаться, от кого у нее эти сведения. Она получила их от одной из своих портних — г-жи Режембар.

Значит, ей была известна его жизнь; он же о ее жизни ничего не знал!

Между тем в ее туалетной он обнаружил миниатюрный портрет какого-то господина с длинными усами; уж не тот ли это, о самоубийстве которого ему когда-то рассказывали нечто неопределенное? Но не было никакой возможности узнать больше! Да, впрочем, и к чему? Сердца женщин словно ларцы с секретом, со множеством ящичков, вставляемых один в другой; стараешься изо всех сил, ломаешь ногти — и наконец находишь высохший цветок, хлопья пыли или пустоту! И к тому же он боялся, пожалуй, узнать слишком много.

Она заставляла его отказываться от приглашений в те дома, куда ей нельзя было ехать вместе с ним, держала его при себе, страшилась потерять его, и, несмотря на близость, возраставшую с каждым днем, вдруг — из-за какой-нибудь безделицы, различия во взглядах на то или иное лицо или произведение искусства — между ними открывалась бездна.

У нее была особая манера играть на рояле, сдержанная, сухая. Ее спиритуализм (г-жа Дамбрёз верила в переселение душ на звезды) не мешал ей держать свою казну в замечательном порядке. Она была высокомерна с прислугой; при виде лохмотьев бедняка глаза ее оставались сухи. Наивный эгоизм прорывался в привычных для нее речениях: «Какое мне дело?», «Хороша бы я была!», «С какой стати!» — и в тысяче мелких, неуловимых, но отвратительных поступков. Она могла бы подслушивать у дверей; на исповеди она, верно, лгала. Из деспотизма она пожелала, чтобы Фредерик по воскресеньям сопровождал ее в церковь. Он повиновался и носил молитвенник.

Потеря наследства вызвала в ней большую перемену. Грусть, которую объясняли смертью г-на Дамбрёза, была ей к

лицу, и она по-прежнему принимала у себя много народу. С тех пор как Фредерику не повезло на выборах, она мечтала о том, что он получит место при посольстве, где-нибудь в Германии, поэтому прежде следовало приноровиться к господствующим взглядам.

Одни желали империи, другие — возвращения Орлеанского дома, третьи — графа Шамбора; но все сходились на том, что необходима децентрализация, и предлагалось несколько способов, например: разбить Париж на множество больших улиц и устроить из них деревни, правительство перевести в Версаль, учебные заведения — в Бурж, упразднить библиотеки, дела доверить дивизионным генералам; и все превозносили деревню, ибо у неграмотного человека от природы больше ума, чем у прочих! Ненависть так и кипела — ненависть к учителям начальной школы и к виноторговцам, к курсам философии, лекциям по истории, к романам, красным жилетам, длинным бородам, ко всякой независимости, ко всякому проявлению индивидуальности, ибо надо было восстановить «принцип власти», откуда бы она ни исходила, во имя чего бы она ни действовала, лишь бы это была Сила, Власть! Консерваторы рассуждали теперь так же, как Сенекаль. Фредерик ничего больше не понимал, а в доме своей любовницы он слышал все те же речи, произносимые все теми же людьми!

Салоны кокоток (с того времени они и начали играть роль) были нейтральной почвой, где встречались реакционеры разного толка. Юссонэ, занимавшийся поруганием современных знаменитостей (дело полезное для восстановления Порядка), возбудил в Розанетте желание устраивать у себя вечера, как это делается у других, — он стал бы писать о них отчеты; и вот для начала он привел человека серьезного — Фюмишона; затем появились Нонанкур, г-н де Гремонвиль, де Ларсийуа, бывший префект, и Сизи, ставший теперь агрономом, истовым нижнебретонцем и христианином более ревностным, чем когда бы то ни было.

Кроме того, приходили и прежние любовники Капитанши, как-то: барон де Комен, граф де Жюмийяк и некоторые другие; развязность их обращения оскорбляла Фредерика.

Желая дать почувствовать, что он хозяин, он более пышно обставил домашний быт. Наняли грума, переменили квартиру и завели новую мебель. Расходы эти были полезны, так как благодаря им брак его казался теперь не столь уж не соответствующим его собственному состоянию. Зато оно и таяло страшно быстро; Розанетта же во всем этом ничего не понимала!

Мещанка, потерявшая связь со своей средой, она обожала семейную жизнь, тихий домашний уют. Однако она была довольна, что у нее «приемный день»; говоря о себе подобных, называла их: «Эти женщины», — желала быть и даже считала себя «светской дамой». Она просила Фредерика больше не курить в гостиной, приличия ради пыталась заставить его есть постное.

Словом, она изменяла своей роли, потому что становилась серьезной, и даже, ложась спать, всякий раз выказывала некоторую меланхолию, — так перед кабаком сажают кипарисы.

Он открыл причину: она тоже мечтала о браке! Фредерика это ожесточило. К тому же он не забывал о ее появлении у г-жи Арну, да и сердился на нее за то, что она долго ему сопротивлялась.

Это не мешало ему расспрашивать, кто были ее любовники. Она все отрицала. Им овладела своего рода ревность. Его раздражали подарки, которые она получала, продолжала получать, и, по мере того как его все больше возмущал характер этой женщины, какая-то чувственная сила, властная, звериная, влекла его к ней, — мгновенное наслаждение, сразу же переходившее в ненависть.

Ее слова, ее улыбка, ее голос — все в ней опротивело ему, в особенности ее глаза, этот женский взгляд, всегда прозрачный и бессмысленный. Порою он чувствовал себя так невыносимо, что, если бы она умерла у него на глазах, он остался бы равнодушен. Но как найти повод для ссоры? Ее кротость приводила его в отчаяние.

Вновь появился Делорье и объяснил свою поездку в Ножан тем, что приценялся к адвокатской конторе. Фредерик обрадовался ему: все-таки человек! Он ввел его к Розанетте.

Адвокат время от времени обедал у них, а если возникали маленькие пререкания, всегда становился на сторону Розанетты, так что однажды Фредерик ему сказал:

— Ну и живи с ней, если тебе это приятно! — так ему хотелось, чтобы какая-нибудь случайность избавила его от нее.

В середине июня Розанетта получила от судебного пристава, мэтра Атаназа Готро, извещение, которым он ей предлагал выплатить четыре тысячи франков — ее долг девице Клеманс Батназ; в противном случае он завтра же должен будет произвести опись.

Действительно, из четырех векселей, подписанных в свое время, оплачен был только один; деньги, которые ей с тех пор случалось иметь, уходили на другие нужды.



Она бросилась к Арну. Он жил теперь в Сен-Жерменском предместье, и прежний привратник не знал, на какой улице. Она решила посетить еще нескольких друзей, никого не застала дома и вернулась в отчаянии. Она ничего не хотела говорить Фредерику, дрожа при мысли, что эта новая история помешает их браку.

На другое утро явился г-н Атаназ Готро в сопровождении двух помощников; один был бледный, с невзрачным лицом, выражавшим муки зависти, другой же щеголял в воротничке, в брюках с тугими штрипками, а указательный палец был у него перевязан кусочком черной тафты; оба казались омерзительно грязными, и у того и другого ворот сюртука просалился, а рукава были слишком коротки.

Патрон их — мужчина, напротив, весьма красивый — стал извиняться, что пришел по неприятному делу, а в то же время оглядывал квартиру, «полную хорошеньких вещей, честное слово!». И прибавил: «Не считая тех, на которые нельзя наложить арест». По его знаку оба понятых скрылись.

Комплиментов посыпалось вдвое больше. Кто бы мог подумать, что у особы столь... прелестной нет надежного друга! Продажа имущества с торгов — истинное несчастье! От этого никогда не оправиться. Он попробовал испугать ее; потом, увидев, что она взволнована, принял отеческий тон. Он знает людей, ему приходилось иметь дело со всякими этими дамами, и, называя их имена, он рассматривал картины на стенах. Это были картины, принадлежавшие прежде милейшему Арну: эскизы Сомбаза, акварели Бюрё, три пейзажа Дитмера. Розанетта, очевидно, не представляла себе их цены. Мэтр Готро обернулся к ней:

— Вот что! Чтобы доказать вам, что я добрый малый, сделаем так: уступите мне этих Дитмеров, и я за все плачу. Решено?

В эту минуту Фредерик, которому Дельфина сообщила обо всем в передней и которому попались на глаза понятые, вошел в комнату, не снимая шляпы, стараясь быть грубым. Мэтр Готро снова принял величественный вид, а так как дверь оставалась открытой, он позвал:

— Ну, господа, пишите! Значит, во второй комнате: дубовый стол с двумя откидными досками, два буфета...

Фредерик перебил его, спросив, нет ли способа избежать описи.

— О, разумеется! Кто платил за обстановку?

— Я.

— Ну, так пишите встречный иск. Вы, во всяком случае, выиграете время.

Мэтр Готро поспешил закончить свои записи и, составив протокол по делу м-ль Брон, удалился.

Фредерик не сделал ни единого упрека. Он рассматривал пятна на ковре, следы побывавших здесь грязных сапог, и, разговаривая сам с собой, сказал:

— Надо достать деньги!

— Ах, боже мой! И дура же я! — воскликнула Капитанша.

Она порылась в ящике, вынула какое-то письмо и поспешила в Общество освещения городов Лангедока, чтобы получить стоимость своих акций.

Она вернулась через час. Бумаги были проданы другому лицу! Служащий, посмотрев на ее документ, обязательство, подписанное Арну, ответил ей: «Это бумага отнюдь не дает вам права на акции. Компания этого не признает».

Словом, ее спровадили; она задыхалась от волнения, и Фредерику следовало тотчас же отправиться к Арну для выяснения этого вопроса.

Но, быть может, Арну подумал бы, что он хочет косвенным путем получить с него те пятнадцать тысяч франков, которые из-за него пропали; и к тому же обращаться с требованием денег к человеку, который был покровителем его любовницы, казалось ему гнусностью. Избрав другой путь, он достал у г-жи Дамбрёз адрес жены Режембара, отправил к ней посыльного и таким образом узнал, какое кафе посещает теперь Гражданин.

Это было маленькое кафе на площади Бастилии; здесь тот и проводил весь день, сидя в дальнем углу направо, не двигаясь с места; казалось, он составлял часть обстановки.

Пройдя последовательно целый ряд стадий: полчашки кофе, грог, бишоф, подогретое вино и даже воду, подкрашенную вином, он вновь обратился к пиву и теперь каждые полчаса ронял одно лишь слово: «Кружку!» — сократив свою речь до минимума. Фредерик спросил его, встречается ли он когда-нибудь с Арну.

— Нет!

— Ну? Почему же это?

— Да он болван!

Может быть, их разделяли политические взгляды? И Фредерик счел уместным осведомиться о Компене.

— Скотина! — сказал Режембар.

— Как так?

— Телячья голова!

— Ах, объясните мне, что такое телячья голова?

Режембар презрительно улыбнулся.

— Глупости!

После долгого молчания Фредерик снова спросил:

— Так он переехал на другую квартиру?

— Кто?

— Арну.

— Да. На улице Флерюс.

— Номер дома?

— Разве я бываю у иезуитов?

— Как — у иезуитов?

Гражданин ответил в ярости:

— На деньги одного патриота, с которым я его познакомил, этот скот открыл торговлю четками.

— Не может быть!

— Сходите сами, посмотрите!

Оказалось — сущая правда; Арну, перенесший апоплексический удар, обратился к религии; впрочем, «у него всегда имелись склонности к этому», и вот (совмещая торгашество с чистосердечием, как это было ему свойственно), чтобы спасти и душу свою, и состояние, он принялся торговать предметами церковного обихода.

Фредерик без труда отыскал магазин, на вывеске которого было написано: *«Готическое искусство.— Церковное благолепие. Украшения для храмов. Раскрашенные изваяния. Ладан трех волхвов...»*, и т. д., и т. д.

По углам витрины стояли две деревянные позолоченные статуи, выкрашенные в красный и голубой цвет — святой Иоанн Креститель в овечьей шкуре и святая Женевьева с розами в переднике и с прялкой под мышкой; были и гипсовые группы — монахиня, поучающая девочку, мать на коленях возле кровати, трое школьников перед причастием. Но уж лучше всего была хижинка, внутри которой находились осел, бык и ясли с младенцем Иисусом, лежавшим на соломе, самой настоящей соломе. Полки были сверху донизу завалены четками всех видов, медальками, заставлены кропильницами в форме раковин и портретами церковных знаменитостей, среди которых блистали его высокопреосвященство епископ Афр и сам святейший отец, оба улыбающиеся.

Арну сидел за прилавком и дремал, опустив голову. Он сильно постарел, на висках у него появились прыщи, и отблеск золотых крестов, освещенных солнцем, падал на них.

Фредерику стало грустно, когда он увидел этот упадок. Все же, храня верность Капитанше, он сделал над собой усилие и вошел. В глубине магазина показалась г-жа Арну; он поспешил уйти.

— Я не мог разыскать его, — сказал Фредерик, вернувшись домой.

И напрасно он уверял Розанетту, что тотчас же напишет насчет денег своему нотариусу в Гавр, — она вышла из себя. Нельзя себе представить человека более слабохарактерного, такую тряпку! Она терпит тысячу лишений, а другие прохлаждаются!

Фредерик думал о бедной г-же Арну, рисуя себе горестную скудость ее жизни. Он сел за письменный стол, а так как пронзительный голос Розанетты не умолкал, он воскликнул:

— Ах, ради бога, замолчи!

— Ты, чего доброго, еще станешь заступаться за них?

— И стану! — крикнул он. — Откуда у тебя такая злоба?

— Но ты-то почему не хочешь, чтоб они заплатили? Боишься огорчить свою прежнюю? Сознайся!

Ему хотелось запустить в нее часами, которые стояли на столе; он не находил слов. Розанетта, расхаживая по комнате, прибавила:

— Я притяну его к ответу, твоего Арну! Обойдусь и без тебя! — И она поджала губы. — Я посоветуюсь с юристом.

Три дня спустя вдруг вбегает Дельфина.

— Сударыня, сударыня, там какой-то человек с банкой клея... напугал меня!

Розанетта прошла на кухню и увидела какого-то забулдыгу с лицом, изрытым оспой, с парализованной рукой, полупьяного; он что-то бормотал.

Это был рассыльный мэтра Готро, расклеивавший объявления. Встречный иск был отвергнут, и естественным следствием была распродажа с аукциона.

За свои труды, состоявшие в том, что он поднялся по лестнице, рассыльный сперва потребовал стаканчик вина, потом стал просить о другом: ему хотелось билетов в театр, он думал, что барыня — актриса. Затем он несколько минут подмигивал, неизвестно зачем, наконец заявил, что за сорок су оборвет края объявления, которое он уже наклеил внизу, на дверях. Розанетта была там названа по имени, — исключительная жестокость, доказывавшая всю силу ненависти Ватназ.

Когда-то Ватназ отличалась чувствительностью и даже, переживая сердечное горе, написала письмо Беранже, просила у

него совета. Но жизненные тревобления озлобили ее; она теперь давала уроки музыки, держала столовую, сотрудничала в журналах мод, сдавала меблированные комнаты, торговала кружевами, имея дело с женщинами легкого поведения, причем, благодаря своим знакомствам, она многим, в том числе и Арну, могла оказывать услуги. До этого она служила в торговой фирме.

Там она раздавала жалованье работницам; для каждой было по две книжки, и одна из них оставалась у нее. Дюссардьё, который из любезности вел книжку некоей Гортензии Баслен, пришел в кассу как раз в тот момент, когда м-ль Ватназ принесла счет этой девушки, 1682 франка, тут же выплаченные кассиром. Между тем лишь накануне Дюссардьё записал на счет Баслен всего 1082 франка. Под каким-то предлогом он попросил у нее книжку, а потом, желая положить конец этой воровской истории, сказал ей, что книжку потерял. Работница, в простоте своей, пересказала эту выдумку м-ль Ватназ, а Ватназ, чтобы выяснить дело, с равнодушным видом стала расспрашивать честного приказчика. Он ограничился ответом: «Я ее сжег». И все. Вскоре после этого она ушла из фирмы, так и не поверив, что книжка уничтожена, и воображая, что она хранится у Дюссардьё.

Узнав, что он ранен, она примчалась к нему в надежде заполучить книжку. Но, ничего не найдя, несмотря на самые настойчивые поиски, она прониклась уважением, а вскоре и любовью к этому человеку, такому честному и кроткому, такому отважному и сильному! В ее возрасте нельзя было и надеяться на подобный успех. Она жадно, точно людоедка, набросилась на него и ради него отказалась от литературы, от социализма, от «утешительных доктрин и великодушных утопий», от лекций «о раскрепощении женщины», которые читала, — от всего, даже от Дельмара; наконец она предложила Дюссардьё вступить с ней в брак.

Хоть она и была его любовницей, он несколько не был влюблен в нее. К тому же он помнил о ее воровстве. Да она была и слишком богата для него. Он отказался. Тогда она со слезами рассказала ему о своей мечте — открыть вместе с ним магазин готового платья. Для начала у нее уже имелись деньги, к которым на следующей неделе должны были прибавиться четыре тысячи франков; и она рассказала об иске, предъявленном Капитанше.

Дюссардьё это огорчило из-за его друга. Он помнил портсигар, подаренный ему на гауптвахте, вечера на набережной

Наполеона, душевные разговоры, книги, которые ему давал Фредерик, множество разных других любезностей. Он попросил Ватназ отказаться от иска.

Она высмеяла его за простоту и проявила непостижимую ненависть к Розанетте; даже к богатству она стремилась лишь затем, чтобы впоследствии задавить Розанетту своим экипажем.

Эта бездонная черная злоба напугала Дюссардьё; когда ему стал точно известен день, на который назначен аукцион, он ушел из дому. На следующее утро он со смущением явился к Фредерику.

— Я должен просить у вас извинения.

— В чем же это?

— Вы, наверно, считаете меня неблагодарным: ведь она со мной... — Он запинаясь. — О, я с ней больше не увижусь, я не буду ее сообщником!

А так как Фредерик смотрел на него, не скрывая удивления, он спросил:

— Разве не правда, что у вашей подруги через три дня будет распродажа?

— От кого вы слышали?

— Да от нее самой, от Ватназ! Но я боюсь, что вы обидитесь...

— Полно, дорогой друг!

— Ах, правда, вы такой добрый!

И он смиренно подал ему маленький сафьяновый бумажник. В нем было четыре тысячи франков — все его сбережения.

— Что вы! О нет, нет!

— Я так и знал, что вы обидитесь, — со слезами на глазах ответил Дюссардьё.

Фредерик пожал ему руку, и честный малый стал уговаривать его с мольбой в голосе:

— Возьмите! Сделайте мне удовольствие! Я в таком отчаянии! Да, впрочем, разве не все погибло? Когда настала революция, я думал, что мы будем счастливы. Помните, как было прекрасно, как легко дышалось! Но теперь еще хуже, чем раньше. — Он уставил глаза в пол. — Теперь они убивают нашу республику, как убили когда-то римскую! А бедная Венеция, бедная Польша, бедная Венгрия! Как возмутительно! Сперва срубили деревья свободы, потом ограничили избирательное право, закрыли клубы, восстановили цензуру и отдали школы в руки священников; не хватает только инквизиции! А почему бы ей не быть? Ведь консерваторы были бы рады казакам! Запрещают газеты, если в них пишут против смертной казни, Париж наводняют штыки, в шест-

надцати департаментах объявлено осадное положение, а вот амнистию снова отвергли! — Он схватился за голову, потом в порыве отчаяния развел руками. — А все-таки, если бы попробовать? Если бы честности побольше, можно бы столкнуться! Да нет! Рабочие не лучше буржуа, вот в чем беда! На днях в Эльбефе, когда там был пожар, они отказались помочь. Какие-то мерзавцы называют Барбеса аристократом! Чтобы сделать народ посмешищем, они хотят избрать в президенты Надо, каменщика, — ну, что вы скажете! И ничего не поделаешь! Ничем не поможешь! Все против нас! Я никогда никому не делал зла, а на душе словно камень. Я с ума сойду, если так будет продолжаться! Лучше бы меня убили. Уверяю вас, этих денег мне не нужно! Ну, вы мне отдадите их, черт возьми! Я даю вам в долг.

Фредерик, вынужденный к тому необходимостью, взял в конце концов эти четыре тысячи франков. Таким образом, в отношении Ватназ тревоги прекратились.

Но вскоре Розанетта, возбудившая дело против Арну, проиграла процесс и из упрямства хотела обжаловать решение.

Делорье выбился из сил, стараясь ей растолковать, что обещание Арну не представляет собой ни дарственной записи, ни формальной передачи; она даже не слушала его, считая закон несправедливым; все это оттого, что она женщина, а мужчины друг за друга стоят! В конце концов она все же послушалась его советов.

Он настолько не стеснялся в этом доме, что даже несколько раз приводил обедать Сенекаля. Подобная бесцеремонность была неприятна Фредерику, который помогал ему деньгами и даже одевал его у своего портного; адвокат же свои старые сюртуки отдавал социалисту, существовавшему неизвестно на какие средства.

Все же он хотел бы оказать услугу Розанетте. Как-то раз, когда она показала ему двенадцать акций компании по добыче фарфоровой глины (предприятия, из-за которого Арну приговорили к штрафу в тридцать тысяч франков), он воскликнул: — Да тут явно что-то неладное! Отлично!

Она имела право подать на Арну в суд, требуя возмещения стоимости этих бумаг. Прежде всего она могла бы доказать, что в силу круговой поруки он за все долги компании должен отвечать своим имуществом, так как свои личные долги выдал за долги компании; далее, что он присвоил себе часть имущества, принадлежащего обществу.

— Все это дает повод к обвинению его в злостном банкротстве, — статьи пятьсот восемьдесят шестая и пятьсот восемьдесят

седьмая Торгового кодекса, — и мы его засадим, прелесть моя, будьте уверены.

Розанетта бросилась ему на шею. На другой день он передал ее дело своему бывшему патрону, сам не имея возможности заняться им, так как ему предстояло ехать в Ножан; в случае надобности Сенекаль ему напишет.

Покупка нотариальной конторы являлась только предлогом. Все время он проводил в доме у г-на Рокка, причем с самого же начала не только расхваливал их общего друга, но и старался по возможности подражать его манерам и речам; этим он заслужил доверие Луизы, а благосклонности ее отца добился благодаря яростным нападкам на Ледрю-Роллена.

Фредерик не приезжает, потому что возвращается в высшем свете; и мало-помалу Делорье сообщил им, что тот влюблен в кого-то, что у него есть ребенок, есть содержанка.

Луиза была в страшном отчаянье, не менее сильно было негодование г-жи Моро. Она уже видела, как сын ее, захваченный вихрем, летит в какую-то пропасть; она, благоговейно соблюдавшая приличия, была оскорблена и переживала все это как личное бесчестие; но вдруг выражение ее лица изменилось. Когда ее спрашивали, как поживает Фредерик, она стала с хитрым видом отвечать:

— Прекрасно, превосходно!

Она узнала, что он женится на г-же Дамбрёз.

День свадьбы уже был назначен, и Фредерик старался придумать, как преподнести это известие Розанетте.

В середине осени она выиграла процесс, связанный с акциями компании по добыче фарфоровой глины, — Фредерик узнал об этом от Сенекаля, который как раз шел из суда и встретился ему у подъезда.

Арну признали соучастником во всех злоупотреблениях, и бывший репетитор, видимо, так радовался этому, что Фредерик не дал ему подняться к Розанетте, сказав, что сообщит ей сам. Он вошел к ней раздраженный.

— Ну вот! Можешь радоваться!

Но она не обратила внимания на его слова.

— Посмотри-ка!

И она указала ему на ребенка, лежавшего в колыбели возле камина. Утром у кормилицы она нашла его в таком плохом состоянии, что решила перевезти в Париж.

Ручки и ножки его необыкновенно похудели, губы усеяны были белыми пятнышками, а во рту словно белели сгустки молока.

— Что сказал врач?

— Ах, врач! Он считает, что от переезда у него усилился... не помню уж, какое-то название на «ит»... Словом, у него молочница. Знаешь такую болезнь?

Фредерик без малейшего колебания ответил: «Конечно», — и прибавил, что это пустяки.

Но вечером он испугался, — такой жалкий вид был у младенца и столько появилось белых пятнышек, напоминающих плесень, как будто жизнь уже покинула это хилое тельце и осталось лишь какое-то вещество, покрывающееся своеобразной растительностью. Ручки были холодные; он уже не мог пить, и кормилица, новая, которую привратник нанял для них через контору, твердила:

— Плох он, очень плох!

Розанетта всю ночь не ложилась.

Утром она позвала Фредерика:

— Поди сюда. Он не шевелится.

Действительно, ребенок был мертв. Она взяла его на руки, пробовала трясти, обнимала, называя самыми нежными именами, осыпала поцелуями, сжимала в объятиях, носилась по комнате совершенно растерянная, рвала на себе волосы, кричала; наконец рухнула на диван и так и осталась с открытым ртом, с неподвижными глазами, из которых струились потоки слез. Потом на нее нашло оцепенение, и все утихло в квартире. Кресла и стулья были опрокинуты. Валялось несколько полотенец. Пробило шесть часов. Ночник погас.

Фредерику, глядевшему на все это, думалось: не сон ли? Сердце его сжималось от тоски. Ему казалось, что эта смерть — только начало и что за ней таится близкое и еще более тяжкое несчастье.

Вдруг Розанетта нежным голосом сказала:

— Не правда ли, мы ведь сделаем так, чтобы он сохранился!

Ей хотелось набальзамировать его. Но тут возникло много трудностей. По мнению Фредерика, самый веский довод против этого сводился к тому, что нельзя бальзамировать таких маленьких детей. Лучше заказать портрет. С этой мыслью она согласилась. Он черкнул записку Пеллерену, и Дельфина отнесла ее.

Пеллерен поспешил прийти, желая загладить своим рвением воспоминание о прежних проступках. Сначала он сказал:

— Бедный ангелочек! Ах, боже мой, какое горе!

Но мало-помалу в нем проснулся художник, и он заявил,

что с этими коричневыми тенями вокруг глаз, этим посиневшим личиком ничего нельзя сделать, это просто получится натюрморт, и тут нужен большой талант; он бормотал:

— Ах, трудно, очень трудно!

— Только бы вышло похоже, — заметила Розанетта.

— Ну вот еще, очень мне нужно сходство! Долой реализм! Надо изображать дух! Оставьте меня! Я постараюсь вообразить себе, чем бы это должно было быть.

Он стал размышлять, подперев лоб левой рукой, локоть он придерживал правой; потом вдруг воскликнул:

— Ах, мне пришло в голову! Пастель! С помощью полутон и еле обозначенных контуров можно достичь большой рельефности.

Он послал горничную за своим ящиком; потом, подставив себе под ноги скамейку, придвинул стул, начал набрасывать широкие штрихи и был так же невозмутим, как если бы рисовал с гипса. Он восхвалял маленьких Иоаннов Крестителей Корреджо, инфанту Розу Веласкеза, молочные тона Рейнольдса, изысканность Лоуренса, но, главное, того мальчика с длинными волосами, что сидит на коленях у леди Глоуэр.

— Да и может ли быть что-нибудь очаровательнее этих малышей! Тип высшей красоты (Рафаэль доказал это своими мадоннами) — это, пожалуй, мать с младенцем!

Розанетта, которую душили слезы, вышла, и Пеллерен тотчас же сказал:

— А каков Арну!.. Вы знаете, что произошло?

— Нет. А что?

— Так, впрочем, и должно было кончиться!

— Да что такое?

— Теперь он уже, может быть... Простите!

Художник встал и слегка приподнял голову трупика.

— Так вы сказали... — начал Фредерик.

А Пеллерен, прищурившись, чтобы лучше определить пропорции:

— Я сказал, что приятель наш Арну сейчас, может быть, уже за решеткой! — Потом с удовлетворением добавил: — Посмотрите-ка! Так у меня получается?

— Да, прекрасно! Но что же Арну?

Пеллерен положил карандаш.

— Насколько я мог понять, его преследует некий Миньо, приятель Режембара, — этот тоже хорош, а? Что за идиот! Представьте себе: как-то раз...

— Ах, да ведь не в Режембаре дело!

— Вы правы! Так вот, вчера вечером Арну должен был где-нибудь достать двенадцать тысяч франков, иначе ему крышка.

— О! Это, может быть, преувеличено,— сказал Фредерик.

— Ничуть! По-моему, дело было серьезное, весьма серьезное!

В эту минуту вернулась Розанетта, с красными веками, воспаленными, как будто подкрашенными. Она стала смотреть на рисунок. Пеллерен жестом дал понять, что прервал рассказ из-за нее. Но Фредерик не обратил на это внимания.

— Все же я не могу поверить...

— Повторяю вам,— сказал художник,— что я встретил его вчера в семь часов вечера на улице Жакоб. Из предосторожности у него даже паспорт был с собой, и он говорил, что собирается сесть в Гавре на пароход со всем своим семейством.

— Как? И с женой?

— Разумеется! Он слишком хороший семьянин, чтобы жить в одиночестве.

— И вы в этом уверены?

— Еще бы! Где, скажите, он мог раздобыть двенадцать тысяч франков?

Фредерик раза два-три прошелся по комнате. Ему трудно было дышать, он кусал губы, потом взялся за шляпу.

— Куда же ты? — спросила Розанетта.

Он не ответил и ушел.

V

Нужно было двенадцать тысяч франков, иначе он больше не увидит г-жу Арну; а до сих пор в нем все еще жила непобедимая надежда. Разве не была она сущностью его сердца, самой основой его жизни? В течение нескольких минут он, шатаясь, расхаживал по тротуару, терзаемый тревогой и все-таки довольный, что ушел от той, другой.

Где добыть денег? Фредерик по опыту знал, как трудно получить их сразу, даже за любые проценты. Единственный человек мог выручить его — г-жа Дамбрёз. У нее в секретере всегда хранились банковые билеты. Он пришел к ней и непринужденно спросил:

— Можешь дать мне займы двенадцать тысяч франков?

— Зачем?

Это чужая тайна. Она хотела ее узнать. Он не сдавался. Оба упрямылись. Наконец она объявила, что ничего не даст,

пока не узнает, для какой цели. Фредерик густо покраснел. Один из его товарищей совершил растрату. Сумму надо возместить сегодня же.

— Как его зовут? Его фамилия? Ну, как его фамилия?

— Дюссардьё!

И он бросился перед ней на колени, умоляя никому не говорить об этом.

— Какого же ты мнения обо мне? — спросила г-жа Дамбрёз. — Можно подумать, что это ты сам натворил. Брось трагические эти позы! На, возьми! И дай ему бог здоровья!

Он побежал к Арну. Торговца в магазине не оказалось. Но он по-прежнему жил на улице Паради, у него были две квартиры.

На улице Паради привратник побожился, что г-на Арну не было со вчерашнего дня; что же касается барыни, он ничего не мог сказать. И Фредерик, стрелой промчавшись по лестнице, приложил ухо к замочной скважине. Дверь наконец открыли. Барыня уехала вместе с барином. Служанка не знала, когда они вернутся; жалованье ей заплатили, она уходит с этого места.

Вдруг послышался скрип двери.

— Но здесь кто-то есть?

— Да нет же, сударь! Это ветер.

Он удалился. Однако в столь внезапном исчезновении было что-то непостижимое.

Быть может, Режембар, как приятель Миньо, в состоянии объяснить, в чем дело? И Фредерик поехал на Монмартр, на улицу Императора.

Перед домом был садик, обнесенный решеткой с вделанными в нее железными бляхами. Фасад был белый, к дому вели три ступеньки; и, проходя по тротуару, можно было заглянуть в обе комнаты нижнего этажа, из которых первая представляла собой гостиную, где на всех стульях и креслах разложены были платья, а вторая — мастерскую, где сидели швеи, работавшие у г-жи Режембар.

Все они были уверены, что муж хозяйки занят важными делами, что у него важные знакомства, что это человек совершенно исключительный. Когда он проходил по коридору, в шляпе с приподнятыми полями, в зеленом сюртуке, с серьезным вытянутым лицом, они даже отрывались от своей работы. А Режембар не упускал случая сказать им что-нибудь в поощрение, какую-нибудь любезность в форме сентенции, и впоследствии, выйдя замуж, они чувствовали себя несчастными, ибо он оставался для них недостижимым идеалом.

Все же ни одна из них не любила его так сильно, как г-жа Режембар, маленькая толковая женщина, содержавшая его своим ремеслом.

Едва г-н Моро велел доложить о себе, как она поспешила ему навстречу, зная через прислугу о его отношениях к г-же Дамбрёз. Муж ее должен был «сию минуту вернуться», и Фредерик, следуя за ней, изумлялся порядку в квартире и обилию клеенки, которая была повсюду. Затем он несколько минут прождал в какой-то комнате, своего рода кабинете, куда Гражданин удалялся для размышлений.

На этот раз Гражданин был не столь сердит, как обычно.

Он рассказал историю Арну. Бывший фабрикант фаянсовых изделий поймал на удочку некоего Миньо, патриота, владельца сотни акций газеты «Век», доказав ему, что с демократической точки зрения следует сменить администрацию и редакцию газеты, и, якобы для того, чтобы одержать верх на ближайшем собрании акционеров, попросил у него пятьдесят акций, обещая передать их надежным друзьям, которые его поддержат при голосовании; Миньо не придется нести ответственности, ни с кем не придется ссориться, а когда успех будет достигнут, он устроит ему хорошее место в дирекции, на пять-шесть тысяч франков, по крайней мере. Акции перешли в его руки. Но Арну сразу же продал их и на вырученные деньги вошел в товарищество с торговцем церковной утварью. Тут начались требования со стороны Миньо, Арну увиливал; наконец патриот пригрозил привлечь его к суду за мошенничество, если тот не возвратит акций или соответствующей суммы — пятьдесят тысяч франков.

Лицо Фредерика выражало отчаяние.

— Это не все, — сказал Гражданин. — Миньо, человек порядочный, согласился получить хотя бы четверть суммы. Новые обещания со стороны Арну и, само собой, новые проделки. Словом, третьего дня утром Миньо потребовал, чтобы он в течение суток вернул двенадцать тысяч франков.

— Да они у меня есть! — сказал Фредерик.

Гражданин медленно повернулся:

— Вот шутник-то!

— Простите! Они у меня в кармане. Я хотел их отдать ему.

— Ну, как вы разлетелись, что за прыть! Вот уж это здорово! Впрочем, поздно; жалоба подана, Арну уехал.

— Один?

— Нет, с женой. Их видели на Гаврском вокзале.

Фредрик страшно побледнел. Г-жа Режембар подумала, что он упадет в обморок. Он овладел собой и даже оказался в силах задать еще два-три вопроса об этом событии. Режембара оно огорчило, так как все это в общем вредит делу демократии. Арну всегда был взбалмошным и неосмотрительным человеком.

— Пустая башка! Прожигатель жизни! Сгубили его юбки! Мне не его жаль, а его бедную жену! — Гражданин чтит добродетельных женщин и высоко ставил г-жу Арну. — Немало ей пришлось выстрадать!

Фредерик был благодарен ему за его сочувствие и, как будто Режембар чем-то услужил ему, с жаром пожал ему руку.

— Ты сделал все, что нужно? — спросила Розанетта, когда он вернулся.

Он ответил, что у него не хватило духу и что он бродил по улицам, стараясь забыться.

В восемь часов они перешли в столовую; они молча сидели друг против друга, время от времени глубоко вздыхали и отсылали тарелки нетронутыми. Фредерик выпил водки. Он чувствовал себя разбитым, раздавленным, уничтоженным, уже ничего не сознавая, кроме страшной усталости.

Розанетта принесла портрет. Красная, желтая, зеленая и синяя краски сталкивались грубыми бликами, оставляли отвратительное, почти комическое впечатление.

Впрочем, маленький покойник стал уже неузнаваем. Фиолетовые губы еще резче оттеняли белизну кожи, ноздри были еще тоньше, глаза ввалились, и голова лежала на подушке из голубой тафты, среди лепестков камелий, осенних роз и фиалок; эту мысль подала служанка, и обе женщины с набожным чувством убрали его цветами. На камине, покрытом кружевной накидкой, между букетами из веток букса, окропленных святой водой, стояли золоченые подсвечники; по углам в двух вазах горели курительные свечки, все это вместе с колыбелью казалось чем-то вроде алтаря, и Фредерику вспомнилось его бдение у тела г-на Дамбрёза.

Почти каждые четверть часа Розанетта открывала полог колыбели, чтобы посмотреть на своего ребенка. Она представляла себе, как через несколько месяцев он начал бы ходить, как впоследствии среди школьного двора играл бы в городки с товарищами, каким бы он был в двадцать лет, и каждый из этих образов, которые она рисовала себе, становился для нее новой утратой; приступы отчаяния обостряли в ней материнское чувство.

Фредерик, неподвижно сидя в другом кресле, думал о г-же Арну.

Теперь, наверно, она в поезде,— смотрит из окна вагона на поля, мчащиеся в сторону Парижа, или, быть может, стоит на палубе парохода, как в первый раз, когда он ее увидел; но этот пароход уносит ее в беспредельную даль, в края, откуда ей нет возврата. Потом он представлял ее себе в комнате гостиницы: на полу чемоданы, обои свисают лоскутьями, дверь сотрясается от ветра. А что потом? Что она будет делать? Станет учительницей, компаньонкой, может быть, горничной? Теперь она во власти любых случайностей нищеты. Ничего не знать о ее судьбе было для него мучительно. Ему следовало помешать ее бегству или же уехать вслед за нею. Разве не он ее настоящий супруг? И, думая о том, что больше никогда не увидит ее, что все кончено, что он безвозвратно утратил ее, Фредерик чувствовал, как все его существо разрывается на части; полились слезы, накопившиеся с самого утра.

Розанетта заметила это.

— Ах, и ты плачешь? И тебе тяжело?

— Да, да! И мне!..

Он прижал ее к груди, и оба рыдали, обнявшись.

Госпожа Дамбрёз тоже плакала, лежа ничком на постели, схватившись за голову руками.

Олимпия Режембар, приходившая примерить ей первое после траура светлое платье, рассказала о посещении Фредерика и даже о том, что у него наготове было двенадцать тысяч франков, предназначенных для г-на Арну.

Значит, деньги, ее деньги, понадобились ему, чтобы помешать отъезду той, другой, чтобы сохранить любовницу!

Сперва ею овладел приступ ярости, и она решила прогнать его, как выгоняют лакея. Слезы, пролитые в изобилии, успокоили ее. Лучше было ничего не говорить, все затаить в себе.

На другой день Фредерик принес ей обратно двенадцать тысяч.

Она ему предложила оставить их у себя — на тот случай, если они понадобятся его другу, и подробно расспросила об этом господине. Кто же заставил его решиться на такое дело? Наверно, женщина? Женщины толкают людей на всякие преступления.

Ее насмешливый тон смутил Фредерика. Он очень раскаивался в клевете, которую возвел на своего друга. Его успокаивало лишь то, что г-жа Дамбрёз не могла узнать правды.

Она, однако, продолжала упорствовать, ибо через день снова осведомилась о его приятеле, а затем спросила о другом — о Делорье.

— Он человек толковый и надежный?

Фредерик расхвалил его.

— Попросите его зайти ко мне на днях, как-нибудь утром: я хотела бы посоветоваться с ним об одном деле.

Она случайно нашла сверток с бумагами, среди которых были векселя Арну, опротестованные, как полагается, и за подписью г-жи Арну. Именно из-за них Фредерик приходил однажды к г-ну Дамбрёзу во время завтрака: хотя капиталист и не собирался предъявлять их ко взысканию, все же он добился того, что Коммерческий суд вынес приговор не только Арну, но и его жене, которая об этом не знала, так как муж не счел уместным предупредить ее.

Вот это было оружие! Г-жа Дамбрёз не сомневалась в его силе. Но, пожалуй, ее нотариус посоветует воздержаться; ей хотелось бы поручить дело кому-нибудь менее известному, и она вспомнила об этом высоком, наглом на вид субъекте, предлагавшем ей свои услуги.

Фредерик в простоте души исполнил ее поручение.

Адвокат пришел в восторг от того, что ему придется иметь дело с такой важной дамой.

Он поспешил явиться к ней.

Она сообщила ему, что наследство принадлежит ее племяннице, что поэтому ей особенно важно получить по этим векселям, — ей дороги интересы супругов Мартинон.

Делорье понял, что здесь кроется некая тайна; он задумался, глядя на векселя. Имя г-жи Арну, начертанное ее собственной рукою, воскресило в его памяти ее образ и оскорбление, которое он снес. Если представляется случай отомстить, почему не воспользоваться им?

И вот он посоветовал г-же Дамбрёз продать с аукциона оставшиеся в наследство безнадежные векселя. Подставное лицо перекупит их и предъявит ко взысканию. Он взялся сам найти подходящее лицо.

В конце ноября Фредерик, проходя по улице, где жила г-жа Арну, поднял глаза к ее окнам и заметил на двери объявление, где крупными буквами было написано:

«Продается движимое имущество, состоящее из кухонной посуды, белья носильного и столового, рубашек, кружев, юбок, панталон, шалей французских и индийских, рояля Эрара, двух

дубовых шкафов в стиле Возрождения, венецианских зеркал, фарфора китайского и японского».

«Ведь это же их вещи!» — подумал Фредерик: привратник подтвердил его предположение.

Что касается лица, которое довело дело до аукциона, то оно ему было неизвестно. Но, пожалуй, разъяснения мог дать мэтр Бертельмо, оценщик.

Чиновник сперва не хотел сказать, какой кредитор потребовал распродажи. Фредерик проявил настойчивость. То был, оказывается, некий Сенекаль, поверенный; и мэтр Бертельмо довел свою любезность до того, что дал Фредерику соответствующий номер «Мелких объявлений».

Вернувшись к Розанетте, Фредерик развернул его и бросил на стол.

— На, читай!

— Что такое? — спросила она, и лицо ее было так невозмутимо спокойно, что он вознегодовал.

— А, знаем мы эту невинность!

— Я не понимаю.

— Это из-за тебя продаются с аукциона вещи г-жи Арну? Она перечитала объявление.

— Где же ее имя?

— Но ведь это ее вещи! Ты это знаешь лучше, чем я!

— Какое мне дело? — сказала Розанетта, пожав плечами.

— Какое тебе дело? Да ты мстишь, вот и все! Это потому, что ты их преследуешь! Разве ты не оскорбляла ее, даже ходила к ней! Ты, девка! К ней, к святой женщине, очаровательной, самой лучшей на свете! Почему тебе так хочется погубить ее?

— Ты ошибаешься, уверяю тебя!

— Брось! Как будто не ты пустила в ход Сенекаля?

— Что за глупость!

Тут он пришел в бешенство.

— Ты лжешь! Ты лжешь, мерзавка! Ты ревнуешь к ней! У тебя исполнительный лист на ее мужа! Сенекаль уже совался в твои дела! Он ненавидит Арну, вы с ним сталкивались. Я видел, как он был рад, когда ты выиграла тяжбу. Ты и тут будешь отпираться?

— Даю тебе слово...

— Ах, знаю я, чего оно стоит!

И Фредерик стал напоминать ей о ее любовниках, перечисляя их по именам, указывая все подробности. Розанетта, побледнев, отступила.

— Это тебя удивляет? Я на все закрывал глаза, и ты думала — я слепой. Теперь с меня довольно! От измен таких женщин, как ты, не умирают! А когда эти измены слишком чудовищны, уходят прочь. Наказывать тебе подобных — значило бы унижаться!

Она ломала руки.

— Боже мой! Да тебя как будто подменили!

— Никто в этом не виноват, кроме тебя!

— И все из-за госпожи Арну!.. — со слезами воскликнула Розанетта.

Он холодно ответил:

— Ее одну я и любил всю жизнь.

Оскорбление прервало поток ее слез.

— Это доказывает, какой у тебя хороший вкус! Женщина перезрелая, цвет лица лакричный, талия толстая, глаза большие, как отдушины в подвале, и такие же пустые! Если тебе это нравится, ступай к ней!

— Я так и ждал! Покорно благодарю!

Розанетта застыла на месте, ошеломленная столь неожиданным поведением. Она даже не помешала ему выйти в переднюю: потом вдруг одним прыжком она догнала его там и обвила руками.

— Да ты сумасшедший, сумасшедший. Это какая-то нелепость! Я тебя люблю! — И она умоляла его: — Боже мой, хоть во имя нашего ребеночка!

— Сознайся, что это твои проделки, — сказал Фредерик.

Она снова стала уверять его, что невиновна.

— Не хочешь сознаться?

— Нет!

— Ну так прощай! И навсегда!

— Выслушай меня!

Фредерик обернулся.

— Если бы ты лучше знала меня, ты бы поняла, что мое решение бесповоротно!

— О, ты еще вернешься ко мне!

— Никогда!

И он с силой захлопнул дверь.

Розанетта написала Делорье, что ей немедленно нужно видеть его.

Он пришел вечером пять дней спустя; а когда она ему сообщила о своем разрыве с Фредериком, сказал:

— И только-то? Скажите, какое несчастье!

Сперва она думала, что он может привести к ней Фреде-

рика, но теперь все пропало. От привратника ей было известно о его предстоящей женитьбе на г-же Дамбрёз.

Делорье, пожутив ее сперва, стал потом как-то необыкновенно весел, даже игрив; а когда оказалось, что уже очень поздно, попросил разрешения переночевать у нее в кресле. На другое утро он уехал в Ножан, предупредив Розанетту, что не знает, когда они снова увидятся; в ближайшем будущем в его жизни, может быть, произойдет большая перемена.

Через два часа после его приезда весь городок уже был в полном смятении. Толковали, что Фредерик женится на г-же Дамбрёз. Наконец три девицы Оже, не выдержав, отправились к г-же Моро, которая с гордостью подтвердила это известие. Дядюшка Рокк заболел. Луиза заперлась у себя в комнате. Прошел даже слух, что она сошла с ума.

Фредерик между тем не мог скрыть свою печаль. Г-жа Дамбрёз, стараясь, вероятно, развлечь его, стала еще внимательнее к нему. Каждый день пополудни она ездила с ним кататься в своем экипаже, а однажды, когда они проезжали по Биржевой площади, ей вздумалось зайти, забавы ради, в аукционный зал.

Было первое декабря, как раз тот день, на который назначили распродажу вещей г-жи Арну. Он вспомнил про это и сказал, что ему не хочется заходить, что в зале будет невыносимо,— столько там народу и так шумно. Ей хотелось только заглянуть одним глазком. Карета остановилась. Пришлось идти с г-жой Дамбрёз.

Во дворе стояли умывальники без тазов, кресла, с которых была содрана обивка, старые корзины, валялись фарфоровые черепки, пустые бутылки, матрацы; и какие-то люди в блузах и грязных сюртуках, серые от пыли, с отталкивающими лицами, некоторые — с холщовыми мешками за спиной, разговаривали отдельными кучками и громко друг друга окликали.

Фредерик заметил, что неудобно идти дальше.

— Глупости!

И они стали подниматься по лестнице.

В первой же комнате направо какие-то господа с каталогами в руках рассматривали картины, в другой продавалась коллекция китайского оружия; г-жа Дамбрёз повернула назад. Она всматривалась в номера над дверьми и привела его в самый конец коридора, в какое-то помещение, полное народа.

Он тотчас же узнал обе этажерки из магазина «Художественной промышленности», ее рабочий столик, всю ее мебель! Нагроможденная в глубине комнаты в несколько ярусов, один

над другим, она образовала широкую гору от пола до потолка; а на других стенах были развешаны ковры и портьеры. Внизу на скамейках, спускавшихся амфитеатром, дремали какие-то старички. Налево возвышалось нечто вроде конторки, за которой находился оценщик в белом галстуке; он помахивал молоточком. Молодой человек, тут же рядом, записывал, а ниже стоял здоровенный детина, похожий и на коммивояжера и на театрального барышника, и выкрикивал названия вещей. Трое служащих приносили их и клали на стол, вокруг которого, расположившись в ряд, сидели старьевщики и перекупщицы. За их спинами двигалась толпа.

Когда Фредерик вошел, покупатели были заняты юбками, косынками, носовыми платками, и все это, вплоть до рубашек, передавалось из рук в руки, разглядывалось; иногда их издали перебрасывали, и в воздухе вдруг мелькало что-то белое. Потом были проданы ее платья, затем — одна из ее шляп, на которой перо было сломано и свисало, затем — меха, потом — три пары башмаков; дележ этих реликвий, в которых ему неясно виделись очертания ее тела, казался ему зверской жестокостью, как если бы вороны у него на глазах стали раздирать ее труп. Воздух, страшно спертый, вызывал в нем тошноту. Г-жа Дамбрёз предложила ему свой флакон с нюхательной солью, все это будто бы ее очень занимало.

Дошла очередь до обстановки спальни. Мэтр Бертельмо объявлял цену. Аукционист тотчас же повторял еще громче, а трое служителей спокойно ждали удара молотка и уносили вещь в соседнюю комнату. Так скрылись большой, усыпанный камелиями синий ковер, которого касались ее ножки, когда она шла Фредерику навстречу; вышитое креслице, в котором, когда они оставались вдвоем, он всегда сидел лицом к ней; оба экрана, что стояли перед камином и слоновою кость которых становилась еще нежнее от прикосновения ее рук, бархатная подушечка, в которую еще были воткнуты булавки. С этими вещами словно отрывались куски его сердца; однообразие голосов и движений утомляло его, погружая в смертельное оцепенение, вызывало чувство некоего распада.

Вдруг у самого его уха зашуршало шелковое платье. Рядом стояла Розанетта.

Об аукционе она узнала от самого же Фредерика. Утешившись, она вздумала воспользоваться распродажей. Она приехала в белом атласном жилете с перламутровыми пуговицами, в платье с оборками, в узких перчатках. Вид у нее был победоносный.

Он побледнел от гнева. Розанетта взглянула на женщину, с которой он был вместе.

Госпожа Дамбрёз узнала ее, и с минуту они пристально с головы до ног осматривали друг друга, стараясь подметить какой-нибудь недостаток, изъян,— одна, вероятно, завидовала молодости другой, а та была раздосадована исключительной изысканностью, аристократической простотой соперницы.

Наконец г-жа Дамбрёз отвернулась с невыразимо надменной улыбкой.

Аукционист открыл теперь рояль — ее рояль! Стоя, он правой рукой проиграл гамму и объявил цену инструмента: тысяча двести франков, потом спустил до тысячи, до восьмисот, до семисот.

Госпожа Дамбрёз игривым тоном издевалась над этой «посудиной».

Перед старьевщиками поставили шкатулочку с серебряными медальонами, уголками и застёжками, ту самую, которую он увидел, когда в первый раз обедал на улице Шаузэль, и которая находилась затем у Розанетты и снова вернулась к г-же Арну; часто во время их бесед его глаза встречали эту шкатулку; она была связана для него с самыми дорогими воспоминаниями, и он умилялся душой, как вдруг г-жа Дамбрёз сказала:

— А! Это я куплю.

— Но вещь неинтересная,— возразил он.

Она же, напротив, находила ее премилой; аукционист превозносил ее изящество:

— Вещица во вкусе Возрождения! Восемьсот франков, господа! Почти вся серебряная! Потереть мелом — заблестит!

Она стала пробираться в толпе.

— Что за странная мысль! — сказал Фредерик.

— Вам неприятно?

— Нет. Но на что может вам понадобиться такая безделушка?

— Как знать? Пригодится, может быть, чтобы хранить любовные письма.

Взгляд, который она бросила, прояснил ее намек.

— Тем более не следует обнажать тайны умерших.

— Я не думала, что она окончательно умерла.— И она отчетливо произнесла: — Восемьсот восемьдесят франков!

— Как это нехорошо с вашей стороны,— прошептал Фредерик.

Она смеялась.

— Дорогая, это ведь первая милость, о которой я вас прошу.

— А знаете что? Ведь вы будете очень нелюбезным мужем.

Кто-то набавил цену; она подняла руку:

— Девятьсот!

— Девятьсот! — повторил мэтр Бертельмо.

— Девятьсот десять... пятнадцать... двадцать... тридцать, — взвизгивал аукционист, взглядом окидывая присутствующих и покачивая головой.

— Докажите, что у меня благоразумная жена, — сказал Фредерик.

Он медленно повел ее к выходу.

Оценщик продолжал:

— Ну что же, ну как же, господа? Девятьсот тридцать! Кто покупает за девятьсот тридцать?

Госпожа Дамбрёз, успевшая дойти до двери, остановилась и громко сказала:

— Тысяча франков!

Публика встрепенулась, наступило молчание.

— Тысяча франков, господа, тысяча франков! Больше нет желающих? Наверно? Тысяча франков! — За вами!

Молоточек из слоновой кости опустился.

Она передала свою карточку, ей принесли шкатулку.

Она сунула ее в муфту.

У Фредерика на сердце похолодело.

Госпожа Дамбрёз все время держала его под руку и решилась посмотреть ему в лицо только на улице, где ее ждала карета.

Она кинулась в экипаж, точно вор, спасающийся бегством, и, уже усевшись, обернулась к Фредерику. Он стоял со шляпой в руке.

— Вы не поедете?

— Нет, сударыня.

И, холодно поклонившись, он захлопнул дверцу; потом велел кучеру трогать.

В первый миг он ощутил радость, почувствовав себя снова свободным. Он был горд, что отомстил за г-жу Арну, ради нее пожертвовав богатством; потом он стал удивляться своему поступку, и им овладела безмерная усталость.

На другое утро слуга сообщил ему новости: было объявлено военное положение, Законодательное собрание распущено, часть народных представителей отправлена в тюрьму Ма-

зас. К общественным делам Фредерик остался равнодушен, настолько он был поглощен своими собственными.

Он написал поставщикам, отменил заказы, сделанные ради предстоящей женитьбы, которая теперь представлялась ему не вполне благовидной сделкой; г-жа Дамбрёз внушала ему отвращение, ибо из-за нее он чуть было не совершил подлость. Он забыл о Капитанше, даже не беспокоился о г-же Арну и был занят мыслью только о себе, о себе одном, блуждая среди обломков своих мечтаний, больной, измученный, павший духом. И, возненавидев полную фальши среду, где он так много страдал, Фредерик стал мечтать о зеленой траве, о тишине провинции, о дремотной жизни под сенью родного крова, среди бесхитростных сердец. Наконец в среду вечером он вышел из дому.

Народ толпился на бульваре, собираясь кучками. Время от времени проходил патруль и рассеивал их; но они тотчас же возникали снова. Говорили без всякого стеснения, а войска провожали насмешками и руганью, но и только.

— Как? Драться разве не будут? — спросил Фредерик одного из рабочих.

Блузник ему ответил:

— Не такие уж мы дураки, чтобы умирать ради буржуа! Пусть сами устраиваются!

А какой-то господин, покосившись на этого жителя предместья, проворчал:

— Сволочи социалисты! Хоть бы теперь удалось прикончить их!

Фредерик не понимал, откуда столько ненависти, столько тупости. Его отвращение к Парижу еще усилилось, и через день он первым утренним поездом уехал в Ножан.

Дома скоро исчезли, начались поля, простор. Сидя один в купе вагона и положив ноги на противоположный диванчик, он размышлял о событиях последних дней, о своем прошлом. Ему вспомнилась Луиза.

«Вот она любила меня! Напрасно я отверг свое счастье... Ну, да что! Забудем про это!»

Минут через пять он уже говорил себе: «А впрочем, как знать?.. Со временем — почему бы и нет?»

Его мечты, так же как и его взгляды, уносились в смутную даль.

«Она наивная, совсем крестьяночка, почти дикарка, но такая добрая!»

Чем ближе подъезжал он к Ножану, тем ближе становилась она ему. Когда показались сурденские луга, ему вспомни-

лось, как она в былые дни ломала камыш, бродя вдоль заводей. Приехали. Он вышел из вагона.

На мосту он остановился, облокотился на перила, чтобы посмотреть на остров и сад, где когда-то они гуляли в солнечный день; и, еще не успев прийти в себя после путешествия, ошеломленный свежестью воздуха, все еще не оправившись от недавних тревог, которые надломили его силы, он почувствовал какое-то возбуждение и подумал: «Может быть, ее нет дома? Не встречу ли я ее?»

У св. Лаврентия звонили в колокол, а на площади перед церковью собрались нищие и стояла коляска, единственная в тех краях (ее нанимали для свадеб); вдруг под порталом, окруженные толпой обывателей в белых галстуках, появились новобрачные.

Фредерик решил, что ему почудилось. Да нет! Это ведь она, Луиза, — в белой фате, покрывающей ее рыжие волосы и спускающейся до пят. И ведь это он, Делорье! — в синем фраке с серебряным шитьем, в мундире префекта. Как же так?

Фредерик скрылся за угол дома, чтобы пропустить свадебный кортеж.

Пристыженный, побежденный, разбитый, он вернулся на вокзал и уехал назад, в Париж.

Кучер, нанятый им, уверял, что от площади Шато-д'О до театра Жимназ всюду баррикады, и повез его через предместье Сен-Мартен. На углу улицы Прованс Фредерик отпустил экипаж и пешком направился к бульварам.

Было пять часов, моросил мелкий дождь. На тротуаре со стороны Оперы толпились буржуа. На противоположной стороне все подъезды были заперты. В окнах — никого. По бульвару, во всю его ширину, пригнувшись к шеям лошадей, карьером неслись драгуны с саблями наголо, а султаны на их касках и широкие белые плащи развевались по ветру, мелькая в лучах газовых фонарей, раскачивавшихся среди тумана. Толпа глядела, безмолвная, испуганная.

В промежутках между кавалерийскими наездами появлялись отряды полицейских, оттеснявшие толпу в соседние улицы.

Но на ступеньках кафе «Тортони» продолжал стоять неподвижный, как кариатида, высокий человек, которого уже издали было видно, — Дюссардье.

Один из полицейских, шедший впереди, в треуголке, нагнутой на глаза, пригрозил ему шпагой.

Тогда Дюссардые, сделав шаг вперед, закричал:
— Да здравствует республика!
Он упал навзничь, раскинув руки.
Рев ужаса пронесся по толпе. Полицейский оглянулся, обвел всех глазами, и ошеломленный Фредерик узнал Сенекеля.

VI

Он отправился в путешествие.
Он изведаль тоску на палубе парохода, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы.
Он вернулся.

Он выезжал в свет и пережил еще не один роман. Но неотступное воспоминание о первой любви обесцвечивало новую любовь; да и острота страсти, вся прелесть чувства была утрачена. Гордые стремления ума тоже заглохли. Годы шли, и он мирился с этой праздностью мысли, косностью сердца.

В конце марта 1867 года, под вечер, когда он сидел в одиночестве у себя в кабинете, к нему вошла женщина.

— Госпожа Арну!

— Фредерик!

Она взяла его за руки, нежно подвела к окну и стала всматриваться в его лицо, повторяя:

— Так это он! Он!

В надвигающихся сумерках он видел только ее глаза под черной кружевной вуалью, закрывавшей лицо.

Она положила на камин маленький бумажник из темно-красного бархата и села. Оба не в силах были говорить и молча улыбались друг другу.

Потом он забросал ее вопросами о ней самой и ее муже.

Они теперь живут в глуши Бретани, стараются меньше тратить и выплачивают долги. Арну почти непрестанно болеет, на вид совсем старик. Дочь — замужем, живет в Бордо; сын со своим полком в Мостаганеме. Она подняла голову и сказала:

— Но я опять вижу вас! Я счастлива!

Он не преминул сказать ей, что, узнав о их беде, сразу же бросился к ним.

— Я знала.

— Как вы это узнали?

Она видела, как он шел по двору, и спряталась.

— Зачем?

Тогда, с дрожью в голосе и с долгими паузами между словами, она проговорила:

— Я боялась! Да, боялась вас... самой себя!

Его охватила сладострастная дрожь, когда он услышал это признание. Сердце его учащенно билось. Она продолжала:

— Простите, что я не пришла раньше.

И, указав на бархатный, гранатового цвета, бумажничек, расшитый золотом, прибавила:

— Я нарочно для вас вышила его. В нем та сумма, за которую был заложен участок в Бельвиле.

Фредерик поблагодарил за подарок, пожурив ее, однако, за то, что она побеспокоилась ради этого.

— Нет! Я не из-за этого приехала! Мне хотелось навестить вас, потом я опять уеду... туда.

И она стала описывать ему место, где они живут.

Там низенький одноэтажный дом с садом, где растут огромные буксы, а каштановая аллея подымается на самую вершину холма, и оттуда видно море.

— Я ухожу посидеть там на скамейке, которую я назвала «скамейка Фредерика».

Потом она стала жадно рассматривать мебель, безделушки, картины, чтобы запечатлеть их в памяти. Занавесь наполовину скрывала портрет Капитанши. Но золотые и белые пятна, выделявшиеся в темноте, привлекли ее внимание.

— Мне кажется, я знаю эту женщину?

— Нет, не может быть,— сказал Фредерик.— Это старая итальянская картина.

Она призналась, что ей хочется пройтись с ним под руку по улицам.

Они вышли.

Огни магазинов время от времени освещали ее бледный профиль, потом ее снова окутывала тень; и, не замечая ни экипажей, ни толпы, ни шума, ничего не слыша, они шли, поглощенные только друг другом, как будто гуляли где-то за городом, по дороге, усеянной сухими листьями.

Они рассказывали друг другу о прежних днях, об обедах времен «Художественной промышленности», о чудачествах Арну, вспоминали его привычку опрашивать воротничок, мазать усы косметическими средствами и говорили еще о других вещах, более интимных и более значительных. Как он был восхищен, когда в первый раз услышал ее пение! Как она была хороша в день своих именин в Сен-Клу! Он вспоминал садик

в Отейле, вечера, проведенные в театре, встречу на бульваре, ее старых слуг, ее негритянку.

Она удивлялась его памяти. Однако сказала:

— Иногда ваши слова кажутся мне далеким эхом, звуками колокола, которые доносит ветер; и когда я в книгах читаю про любовь, мне чудится, что вы здесь.

— Все, что в романах порицают как преувеличение, — все это я пережил благодаря вам, — сказал Фредерик. — Я понимаю Вертера, которому не противны бутерброды Шарлотты.

— Бедный милый друг мой!

Она вздохнула и, после короткого молчания, промолвила:

— Все равно, мы ведь так любили друг друга!

— И все-таки друг другу не принадлежали!

— Может быть, так и лучше, — заметила она.

— Нет, нет! Как бы мы были счастливы!

— О, еще бы, такая любовь!

И какой силой должна была обладать эта любовь, если пережила столь долгую разлуку!

Фредерик спросил ее, как она догадалась о его любви.

— Это было как-то вечером, когда вы поцеловали мне руку между перчаткой и рукавом. Я подумала: «Да он любит меня... любит!» Но я боялась в этом убедиться. Ваша сдержанность была так чудесна, что я наслаждалась ею, как невольной и непрестанной данью уважения.

Он ни о чем не жалел. Он был вознагражден за все бывшие страдания.

Когда они вернулись, г-жа Арну сняла шляпу. Лампа, поставленная на консоль, осветила ее волосы, теперь седые. Его словно ударило в грудь.

Чтобы скрыть от нее свое разочарование, он опустил на пол у ее ног и, взяв ее за руки, стал говорить ей полные нежности слова:

— Все ваше существо, всякое ваше движение приобретали для меня сверхчеловеческий смысл. Когда вы проходили мимо, мое сердце, словно придорожная пыль, облаком поднималось вслед за вами. Вы были для меня как лунный луч в летнюю ночь, когда всюду благоухания, мягкие тени, белые блики, неизъяснимая прелесть, и все блаженства плоти и души заключались для меня в вашем имени, которое я повторял, стараясь поцеловать его, пока оно еще на моих губах. Выше этого я ничего не мог себе представить. Я любил госпожу Арну именно такую, как она была, — с ее двумя детьми, нежную, серьезную, ослепительно прекрасную и такую добрую! Этот образ

затмевал все другие. Да и мог ли я даже думать о чем-нибудь другом? Ведь в глубине моей души всегда звучала музыка вашего голоса и сиял блеск ваших глаз!

Она с восторгом принимала эту дань поклонения — поклонения той женщине, которой она уже не была. Фредерик, опьяненный своими словами, начинал уже верить в то, что говорил. Г-жа Арну, сидя спиной к лампе, наклонилась к нему. Он чувствовал на лбу ласку ее дыхания, а сквозь платье смутное прикосновение ее тела. Они сжали друг другу руки; кончик башмачка чуть выступал из-под ее платья, и Фредерик, почти в изнеможении сказал:

— Вид вашей ноги волнует меня.

Внезапно застыдившись, она встала. Потом, не двигаясь с места, проговорила, как лунатик:

— В мой-то годы — он! Фредерик!.. Ни одну женщину не любили так, как меня. Нет, нет! К чему мне молодость? Не нужна она мне! Я презираю всех этих женщин, которые сюда приходят!

— О, никто сюда не приходит! — любезно возразил он. Лицо ее просияло, и она захотела узнать, женится ли он. Он поклялся, что нет.

— Это правда? А почему?

— Ради вас, — сказал Фредерик, обняв ее.

Она замерла, откинувшись назад, приоткрыв рот, подняв глаза. Но вдруг на ее лице проступило отчаяние, и она оттолкнула Фредерика, а вместо ответа, о котором он молил, сказала, опустив голову:

— Мне бы хотелось сделать вас счастливым.

Фредерик подумал — не пришла ли г-жа Арну с тем, чтобы отдаться ему, и в нем снова пробудилось вожделение, но более неистовое, более страстное, чем прежде. А между тем он чувствовал что-то невыразимое, какое-то отвращение, как бы боязнь стать кровосмесителем. Остановило его и другое — страх, что потом ему будет противно. К тому же это было бы так неловко! И вот, из осторожности и вместе с тем чтобы не осквернить свой идеал, он повернулся на каблуках и стал вертеть папиросу.

Она с восхищением смотрела на него.

— Какой вы чуткий! Вы один такой в мире! Один!

Пробило одиннадцать часов.

— Уже! — сказала она. — В четверть двенадцатого я уйду.

Она снова села; но теперь она следила за стрелкой часов, а он курил, продолжая ходить взад и вперед. Оба уже не

знали, что сказать. Перед расставанием бывает минута, когда любимый человек уже не с нами.

Наконец, когда стрелка перешла за двадцать пять минут двенадцатого, она медленно взялась за ленты своей шляпки.

— Прощайте, друг мой, милый друг мой! Я больше никогда не увижу вас! Мне, как женщине, теперь уже ничего не остается. Душа моя никогда не расстанется с вами. Да благословит вас небо!

Она поцеловала его в лоб, точно мать.

Но тут же она стала чего-то искать глазами и попросила у него ножницы.

Она вынула гребень; седые волосы упали ей на плечи.

Она порывистым движением отрезала длинную прядь, под самый корень.

— Сохраните их! Прощайте!

Когда она ушла, Фредерик открыл окно. Г-жа Арну, стоя на тротуаре, знаком подозвала фиакр, проезжавший мимо. Она села. Экипаж скрылся из виду.

И это было все.

VII

В начале зимы Фредерик и Делорье беседовали у камина, еще раз примиренные, еще раз подчинившиеся тому роковому свойству своей натуры, которое заставляло их тяготеть друг к другу и друг друга любить.

Один в общих чертах рассказывал о своем разрыве с г-жой Дамбрёз, которая вторым браком вышла замуж за англичанина.

Другой, не пояснив, каким образом он женился на м-ль Рокк, сообщил, что в один прекрасный день жена убежала от него с каким-то певцом. Стараясь несколько сгладить комизм своего положения, он у себя в префектуре проявил такое административное рвение, что скомпрометировал себя. Его сместили. Потом он был начальником поселений в Алжире, секретарем паши, редактором газеты, агентом по объявлениям и в конце концов поступил юрисконсультom в одно промышленное предприятие.

Что касается Фредерика, то, прожив две трети своего состояния, он вел теперь образ жизни скромного буржуа.

Затем они взаимно осведомились об общих знакомых.

Мартинон теперь сенатор.

Юссонэ занимает большое положение, ведает всеми театрами, всей прессой.

Сизи погрузился в благочестие, уже отец восьмерых детей и живет в замке своих предков.

Пеллерен, пройдя через увлечение фюръеризмом, гомеопатией, вертящимися столами, готическим искусством и гуманитарной живописью, стал фотографом, и на любой стене в Париже можно увидеть его изображение — крохотное туловище в черном фраке и огромную голову.

— А что твой друг Сенекаль?

— Исчез. Не знаю! Ну, а твоя великая страсть — госпожа Арну?

— Она, должно быть, в Риме вместе со своим сыном, лейтенантом.

— А ее муж?

— Умер в прошлом году.

— Ну?! — сказал адвокат. Потом, ударив себя по лбу: — Кстати, на днях я встретил в магазине милейшую Капитаншу, она вела за руку мальчика, своего приемыша. Она вдова некоего г-на Удри и страшно растолстела, прямо чудовище. Вот упадок-то! А ведь у нее была когда-то такая тонкая талия.

Делорье не скрыл, что в свое время удостоверился в этом, воспользовавшись ее отчаянием.

— Ты, впрочем, сам мне разрешил.

Эта откровенность восполняла то молчание, которое он хранил о своей попытке по отношению к г-же Арну. Фредерик извинил бы ее, раз она не удалась.

Хотя открытие это несколько раздосадовало его, он сделал вид, что ему смешно, а подумав о Капитанше, вспомнил про Ватназ.

Делорье никогда не встречался с нею, так же как и со многими другими, бывавшими у Арну; но он прекрасно помнил Режембара.

— Жив он еще?

— Еле дышит. Каждый вечер непременно тащится с улицы Грамон до улицы Монмартр, обходит все кафе, слабый, сгорбленный, разбитый, — настоящий призрак.

— Ну, а Компен?

Тут Фредерик весело вскрикнул и попросил бывшего комиссара Временного правительства открыть ему загадку телячьей головы.

— Это ввезено из Англии. Чтобы высмеять праздник, который роялисты справляют тридцатого января, независимые учредили ежегодный банкет, на котором едят телячьи головы и пьют красное вино из телячьих черепов, подымая бокалы за

истребление Стюартов. После термидора террористы основали такое же братство; это доказывает, что глупость легко плодится.

— Мне кажется, ты стал совсем равнодушен к политике?

— Такие уж годы! — сказал адвокат.

И они стали подводить итоги своей жизни.

Обоим она не удалась — и тому, кто мечтал о любви, и тому, кто мечтал о власти. В чем же была причина?

— Может быть, в недостатке твердости, — сказал Фредерик.

— Что касается тебя, то, возможно, это и так. Я же, напротив, был слишком тверд, не считался с множеством мелочей, а они-то важнее всего. Я был слишком логичен, ты же слишком чувствителен.

Потом они стали винить случайности судьбы, обстоятельства, время, в которое родились.

Фредерик заметил:

— Не о такой будущности думали мы в былые дни, еще в Сансе, когда ты собирался написать критическую историю философии, а я — большой роман из истории Ножана на средневековый сюжет, который нашел в хронике Фруассара: «Как господин Брокар де Фенестранж и епископ города Труа напали на господина Эсташа д'Амбресикур». Помнишь?

И, углубляясь в воспоминания молодости, они к каждой фразе прибавляли: «Помнишь?»

Они снова видели двор коллежа, часовню, приемную, фехтовальный зал внизу около лестницы, лица классных наставников и воспитанников, некоего Анжельмара из Версаля, который из старых сапог выкраивал себе штрипки; г-на Мирбаля и его рыжие бакенбарды, учителей черчения и рисования — Варо и Сюрире, вечно ссорившихся друг с другом, и поляка, соотечественника Коперника, с его планетной системой из картона, странствующего астронома, которому вместо платы за лекцию была предложена трапеза; потом — страшную попойку во время прогулки, впервые выкуренные трубки, распределение наград, радость вакаций.

Во время каникул 1837 года они побывали у Турчанки.

Так звали женщину, настоящее имя которой было Зораида Тюрк, и весьма многие считали ее мусульманкой, турчанкой, что усиливало поэтическую прелесть ее заведения, находившегося на берегу реки, за городским валом. Даже в самый разгар лета прохладная тень окутывала дом, который легко было узнать, — на окне рядом с горшком резеды стоял стеклянный

сосуд с золотыми рыбками. Девицы в белых кофтах, нарумяненные, с длинными серьгами, когда кто-нибудь шел мимо, стучали в окна, а по вечерам, стоя на пороге, тихо напевали хриплыми голосами.

Это пагубное место бросало на округу фантастический отблеск. Говоря о нем, прибегали к иносказаниям: «знакомое вам место», «известная улица», «за мостами». Окрестные фермерши дрожали за мужей, горожанки боялись за свою женскую прислугу, потому что однажды там накрыли кухарку г-на субпрефекта, и, само собой разумеется, об этом доме неотступно мечтали втайне все подростки.

И вот однажды в воскресенье, когда все были у вечерни, Фредерик и Делорье сходили к парикмахеру завиться, нарвали цветов в саду г-жи Моро, вышли через калитку в поле и, сделав большой крюк, прошли виноградниками, вернулись в город через Рыбачий поселок и проскользнули к Турчанке, каждый с большим букетом в руках.

Фредерик нес свой букет, точно жених, идущий навстречу невесте. Но от жары, от страха перед неизведанным, от своего рода угрызений совести и, наконец, от самого удовольствия увидеть сразу столько женщин, которые все будут в его распоряжении, он так разволновался, что страшно побледнел и встал как вкопанный, ничего не в силах сказать. Все смеялись, всех забавляло его смущение; он решил, что над ним издеваются, и убежал, а так как деньги были у него, то и Делорье пришлось за ним последовать.

Когда они выходили на улицу, их заметили. Получилась целая история, которую не позабыли и три года спустя.

Они с величайшими подробностями припоминали это событие, и каждый пополнял то, что позабыл другой; а когда кончили, Фредерик сказал:

— Это лучшее, что было у нас в жизни!

— Да, пожалуй! Лучшее, что было у нас в жизни! — согласился Делорье.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГОСПОЖА БОВАРИ

В 1851 г., вернувшись в Круассе из своего двухлетнего путешествия на Восток, Флобер привез — вместе с экзотическими восточными сувенирами — намерение писать о современной французской жизни и вполне оформившийся замысел романа «Госпожа Бовари». Работа над романом продолжалась с сентября 1851 г. по апрель 1856 г. Это были четыре с половиной года медленного, тяжелого, кропотливого труда. Сюжет, построенный на перипетиях мещанского адюльтера, казался Флоберу достойным презрения, но это была сама жизнь, и он поставил перед собой цель — воспроизвести ее как можно объективнее. В объективности, или в «безличности», Флобер видел важнейший признак того идеала прозы, к которому он стремился в своем творчестве.

31 мая 1856 г. Флобер отправляет рукопись романа в «Ревю де Пари» («Revue de Paris»), и с 1 октября по 15 декабря «Госпожа Бовари» выходит по частям в шести номерах этого журнала. В тексте романа были сделаны купюры помимо воли Флобера, что вызвало его негодование и протест, опубликованный в том же журнале за 15 декабря 1856 г. Одновременно роман печатается в Руане, в «Нувеллист де Руан» («Nouvelliste de Rouen») с 9 ноября 1856 г.; но уже с 14 декабря этот журнал перестает публиковать обещанное «продолжение в следующем номере», так как возмущенные отклики многих читателей заставляют опасаться неприятностей. Эта предосторожность руанского журнала спасла его от судебного процесса, который предстоял Флоберу и издателям «Ревю де Пари». Либеральный журнал «Ревю де Пари» давно вызывал неудовольствие властей, и публикация в нем такого произведения, как «Госпожа Бовари», была прекрасным поводом к репрессиям.

Суд над Флобером, издателями и типографом продолжался с 31 января по 7 февраля 1857 г. Флоберу было предъявлено обвинение в безнравственности, в «реализме», то есть отсутствии положительного идеала, и «откровенности», угрожающей общественной морали. Тем не менее

суд закончился оправданием Флобера и его «сообщников», и через два месяца роман вышел отдельным изданием в двух томах, с посвящением Мари-Антуану-Жюлю Сенару, адвокату, выступавшему защитником по делу «Госпожи Бовари».

Право на издание романа в течение пяти лет получил издатель Мишель Леви по договору, подписанному с Флобером еще 24 декабря 1856 г. (В 1863 г. эти права издателя были продлены еще на десять лет.) М. Леви был известным и преуспевающим парижским издателем. Он выпустил в свет многие произведения современников — Бальзака, Стендаля, Ж. Санд, Ламартина, Готье, Э. Сю, Ж. де Нерваля, Диккенса, Гейне и других, благодаря которым немало обогатился. Его коммерческое чутье подсказало ему, что договор с Флобером тоже может быть для него выгодным, хотя Флобер до появления «Госпожи Бовари» был фактически не известен публике. Леви не ошибся. Первый же тираж, поступивший в продажу 15 апреля 1857 г., разошелся настолько быстро, что в 1856—1857 гг. издатель выпускает несколько дополнительных тиражей, а затем в 1862, 1866 и 1868 гг. он вновь переиздает «Госпожу Бовари». Флобер, участвовавший в договоре на правах начинающего автора и к тому же считавший, что заботы о материальном успехе недостойны настоящего художника, получил от издателя ничтожную сумму, которой изумляются почти все исследователи его творчества.

При жизни Флобера роман «Госпожа Бовари» издавался во Франции еще три раза: в 1873 г. (издатель Жорж Шарпантье) и в 1874 и 1878 гг. (издатель Альфонс Лемер). В издании 1873 г. в качестве приложения к тексту романа публикуются материалы судебного процесса по делу «Госпожи Бовари»: речи прокурора и защитника и постановление суда. С тех пор они множество раз воспроизводились вместе с новыми переизданиями романа.

Бурным дебатам французской критики вокруг романа Флобера положила начало статья Ш.-О. Сент-Бева, опубликованная в газете «Монитор» («Moniteur») от 4 мая 1857 г. и содержащая подробный и в целом благожелательный анализ романа. Сент-Бев был в это время самым авторитетным критиком, но в полемике по поводу «Госпожи Бовари» у него появилось много оппонентов, враждебно принявших роман и повторявших все обвинения против Флобера, которые, казалось, были сняты с него официальным постановлением суда. Среди критических выступлений, приветствовавших «Госпожу Бовари» как выдающееся произведение литературы, больше всего по душе Флоберу пришлась статья Ш. Бодлера, так как в ней Флобер почувствовал настоящее и глубокое понимание его романа. Через несколько лет Э. Золя в одной из своих статей о Флобере, вошедших в сборник «Романисты-натуралисты», скажет, как бы подводя итог этой дискуссии: «Появление романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» ознаменовало новую эпоху в литературе».

Один из вопросов, который возник в момент опубликования «Госпожи Бовари» и увлекает французских литературоведов до сих пор, это вопрос о прототипах романа. Об этом написано много книг и статей, строятся разные версии, догадки и домыслы. Максим Дюкан, современник и друг Флобера, утверждавший в своих «Воспоминаниях», что именно он подсказал Флоберу замысел романа, указывает на семью Деламар из городка Ри как на «подлинных» Шарля и Эмму Бовари. По новой версии, которая принадлежит Ж. Помье и Г. Леле, в романе воспроизведена история некой г-жи Прадье, жены скульптора¹. Сам же Флобер отрицал как существование конкретных прототипов романа, так и его узко автобиографические источники. «Госпожа Бовари» — чистый вымысел. Все персонажи этой книги целиком вымышлены, и даже Ионвиль-л'Аббей — место несуществующее», читаем мы в переписке Флобера, «То, что рассказано в «Госпоже Бовари», никогда не случилось в действительности. Это история целиком вымышленная. Я не изображал в ней ни моих чувств, ни моей жизни». История Эммы Бовари, характеры и роль других персонажей романа, весь сюжет в целом вымышлены Флобером на основе обобщения всего виденного и пережитого им, всех его наблюдений над окружающими нравами в Париже и Руане, над разными людьми, знакомыми и близкими.

Уже при жизни Флобера к нему обращались с просьбой о сценической переработке романа. Флобер отвечал неизменным отказом, он не разрешил переработку даже знаменитому писателю, карикатуристу и актеру Анри Монье, так как считал, что роман невозможно переделать в пьесу без искажающих сокращений, без ущерба для произведения. После смерти Флобера «Госпожа Бовари» была поставлена на сцене, впервые в 1906 г. в Руане, но не имела успеха. В 1936 г. осуществляется новая постановка в Париже, в театре Монпарнас, а в 1951 г. «Госпожа Бовари» появляется в Комической опере в виде музыкальной драмы на музыку Э. Бондевиля. В 1934 г. на сюжет романа создается фильм режиссером Ж. Ренуаром.

Появление «Госпожи Бовари» тотчас же было замечено в России. В 1857 г. журнал «Современник» в разделе «Заграничные известия» сообщает о публикации этого романа в «Ревю де Пари». Правда, имя Флобера ставится в число писателей, у которых «заметны благородные стремления, но они не отличаются большими дарованиями». «Русский вестник» в июле 1857 г. подробно излагает содержание романа и приходит к выводу о неблагополучии и нравственном крахе французского общества. В «Отечественных записках» в этом же году дважды (№№ 5 и 7) появляются материалы, посвященные «Госпоже Бовари». Правда, обо-

¹ G. Leleu et J. Pommier, Du nouveau sur «Madame Bovary», Revue d'histoire littéraire de la France, 1947.

зреватель К. Штахель утверждает, что «г. Флобер — дилетант», что роман его «плох», а успех романа объясняет главным образом как следствие судебного процесса против Флобера и «Ревю де Пари». В 1859 г. на страницах «Отечественных записок» (№ 3) роман Флобера встречает уже более глубокое понимание, более серьезную и заслуженную оценку: «Роман этот действительно прекрасен: никто еще из французских писателей, кроме разве одного Рабле, не предлагал нам такого естественного произведения в целом и в подробностях, как г. Флобер... Французская критика и французское общество недостаточно еще оценили его произведение». «Вестник Европы» (1870, № 1) в подтверждение своей высокой оценки творчества Флобера цитирует слова Тургенева из предисловия к роману М. Дюкана «Утраченные силы». «Госпожа Бовари», — бесспорно, самое замечательное произведение новейшей французской школы».

Первый русский перевод «Госпожи Бовари» появился уже в 1858 г. в «Библиотеке для чтения». В 1881 г. этот журнал публикует новый перевод романа. В 1881 г. выходит и отдельное издание «Госпожи Бовари» с приложением материалов парижского судебного процесса 1857 г. С тех пор «Госпожа Бовари» переиздается множество раз — в собраниях сочинений Флобера и отдельно.

В 1928 и в 1937 гг. появляются инсценировки романа, в 1940 г. «Госпожа Бовари» ставится на сцене Камерного театра, а в 1964 г. в Малом театре по роману Флобера создается спектакль «Провинциальные нравы».

Т. С о к о л о в а

Стр. 26. *Луи Буйле* (1828—1869) — поэт и драматург, друг Флобера.

Стр. 29. *Вот я вас!* — В I песни «Энеиды» Вергилия с этой угрозой обращался к разбушевавшимся ветрам бог моря Нептун.

Стр. 32. *...растрепанный том «Анахарсиса»...* — Имеется в виду, роман французского археолога аббата Жан-Жака Бартеlemi (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию», где даются картины жизни греков IV в. до н. э., которые наблюдает скифский философ Анахарсис; книга служила школьным чтением.

Стр. 37. *...гордость кошских птичников.* — Ко — обширное плато в Северной Нормандии.

Стр. 38. *...лучше дьеппской слоновой кости....* — Город Дьепп в северо-западной Франции славился производством токарных изделий из слоновой кости, дерева, рога.

Стр. 40. *Урсулилки* — члены женского монашеского ордена святой Урсулы, основанного в XVI в.; занимались воспитанием девушек, главным образом дворянского происхождения.

Стр. 42. *...увидишь на ветке крота...*— В Нормандии был охотничий обычай вешать убитых кротов на деревьях.

Стр. 53. *...она прочла «Поля и Виргинию»...*— «Поля и Виргиния» (1787) — роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), где изображена идиллическая любовь юных героев на фоне экзотической природы тропического острова.

...сцены из жизни мадемуазель де Лавальер.— Лавальер Франсуаза-Луиза (1644—1710), герцогиня, любовница Людовика XIV; когда король к ней охладел, в 1674 г. удалилась в монастырь, где и умерла.

Стр. 54. *«Беседы» аббата Фрейсину.*— Фрейсину Дени (1765—1841) — церковный проповедник, при Реставрации был министром культов. В 1825 г. опубликовал пять томов своих проповедей под названием «Беседы».

«Дух Христианства» — сочинение французского писателя Франсуа-Рене де Шатобриана (1768—1848), восхваляющее католицизм.

Стр. 55. *...обожала всех прославленных и несчастных женщин.*— Далее следуют имена персонажей, известных во Франции по школьным учебникам истории: *Элоиза* — девушка, которую любил французский теолог и философ Абеляр (XII в.), рассказавший о ней в трагической «Истории моих бедствий»; ее имя стало нарицательным для несчастной влюбленной. *Агнеса Сорель* (1422—1450) — возлюбленная французского короля Карла VII. *Ферроньера* по прозвищу Прекрасная — любовница короля Франциска I (1515—1547). *Клеманс Изор* (род. ок. 1450 г.) — французская дама из знатного рода, возобновившая в Тулузе традиционные литературные состязания, которые были в обычае веком раньше; поэты, выступавшие на них, по большей части воспевали предмет своей любви — прекрасную даму.

...Людовик Святой под дубом...— Французский король Людовик IX (1226—1270), прозванный Святым за участие в крестовых походах, по средневековому обычаю, вершил суд, сидя под дубом в своей резиденции — Венсеннском замке близ Парижа.

...умирающий Баярд...— Баярд (Пьер дю Терайль, 1473—1524) — прославленный французский полководец, прозванный «рыцарем без страха и упрека»; умер от раны на поле боя.

...зверства Людовика XI...— Имеется в виду беспощадная борьба французского короля Людовика XI (1461—1483) против крупных феодалов, за укрепление центральной королевской власти.

...сцены из Варфоломеевской ночи...— то есть сцены избиения протестантов (гугенотов) в Париже, в ночь на 24 августа 1572 г.

...султан на шляпе Беарнца...— Беарнец — прозвище французского короля (1589—1610) Генриха IV, который был родом из провинции Беарн, близ Пиренеев.

Кипсеки — роскошно изданные книги (или альбомы), состоящие в основном из иллюстраций.

Стр. 57. *...попалась в сети к Ламартину...* — Альфонс де Ламартин (1790—1869) — французский поэт, автор меланхолических стихов, где поется об утраченной любви, о недостижимом идеале, рисуются унылые романтические пейзажи.

Стр. 59. *...раскатывает... хлебные шарики.* — Хлебные шарики в XIX в. употреблялись для стирания карандаша.

Стр. 62. *Джали.* — Романтическое имя, которое Эмма дала своей собачонке, навеяно романом В. Гюго «Собор Парижской богородицы» (1831); так зовут дрессированную козочку цыганки Эсмеральды.

Стр. 65. *Граф д'Артуа* (1757—1836) — брат казненного во время революции Людовика XVI; возглавлял монархическую эмиграцию; в 1824 г. сел на французский престол под именем Карла X и был свергнут революцией 1830 г.

Стр. 72. *«Майоран»* — популярная народная песенка.

Стр. 83. *...галльский петух... опирается на Хартию...* — Имеется в виду ублюдочная «Конституционная хартия Франции», «дарованная» стране Людовиком XVIII в 1814 г. и измененная в более либеральном духе после Июльской революции 1830 г.

Стр. 87. *Символ веры савойского викария* — эпизод из педагогического романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» (1862), где провозглашается религия, основанная только на внутреннем чувстве и созерцании природы.

Стр. 95. *...закона от 19 вентоза XI года Республики...* — то есть закона, изданного в период революции конца XVIII в. (по республиканскому календарю — вентоз, «месяц ветров» — последний зимний месяц).

Стр. 97. *...дань... шедевр французской сцены.* — Имя Аталия взято из одноименной трагедии Расина (1791).

Стр. 98. *«Бог честных людей»* — песенка Беранже.

...цитатой из «Войны богов». — Имеется в виду поэма Эвариста Парни (1753—1814) под таким названием; пародировала Библию.

Стр. 100. *...валялся «Матвей Лансберг».* — Имеется в виду «Льежский альманах», составленный в начале XVII в. каноником из Льежа Матвеем Лансбергом, — источник бессмысленных суеверий; пользовался широкой известностью среди французских крестьян.

Стр. 104—105. *«Иллюстрация»* («l'Illustration») — парижский иллюстрированный еженедельник, основанный в 1843 г. с целью освещать все стороны современной жизни.

Стр. 111. *...вредишницу из «Собора Парижской богородицы».* — Имеется в виду мать Эсмеральды из романа Гюго; вредишницы — монахини нищенствующего ордена, в знак смирения облакавшиеся во вредище (мешок из дерюги).

Стр. 133. *Помология* — наука о сортах плодовых растений.

Стр. 145. ...о *Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, сажающем капусту*...— Цинциннат Луций Квинций (V в. до н. э.) — выдающийся римский полководец и государственный деятель; в частной жизни отличался необычайной скромностью и простотой, сам обрабатывал землю. Диоклетиан Гай Аврелий Валерий — один из самых могущественных римских императоров (284—305); отрекшись от власти, последние восемь лет жизни провел в своем поместье.

Стр. 167. ...книгу доктора *Дюваля*...— Имеется в виду труд французского хирурга-ортопеда Венсена Дюваля (1796—1820), вышедший в 1839 г. под названием «Рассуждение о практике лечения искривленной стопы».

Стр. 169. *Амбруаз Паре* (1517—1590) — ученый медик, служивший при королевском дворе. Упомянутые ниже *Дюпюитрен* Гильом (1777—1835), хирург, основатель парижского музея патологической анатомии, и *Жансуль* Жозеф (1797—1858), блестящий хирург, работавший в Лионской больнице для бедных, — выдающиеся представители французской медицины XIX в.

Стр. 182. ...точно герцог *Кларенс в бочке с мальвазией*...— Брат английского короля Эдуарда IV герцог Георг Кларенс (1449—1478) был приговорен к казни за предательство; избрал смерть в бочке со сладким вином — мальвазией.

Стр. 191. ...словно под сенью *манцениллы*...— Плоды дерева манцениллы содержат ядовитый сок. Существовало поверье, будто человек, уснувший в тени манцениллы, умирает.

Стр. 201. ...в духе г-на *де Местра*...— Жозеф де Местр (1753—1821) — французский писатель, ярый защитник монархии и светской власти папы.

Стр. 207. «*Лючия де Ламермур*» (1835) — опера Доницетти на сюжет романа Вальтера Скотта «Ламермурская невеста».

Стр. 208. ...раздались три удара...— Во французском театре о начале спектакля возвещает не звонок, а удары в пол сцены.

Стр. 215. «*Хижина*» — увеселительное заведение в Париже, открытое в 1787 г. — место публичных балов; особенно процветала в годы царствования Луи-Филиппа.

Стр. 219. «*Нельская башня*» — романтическая драма Александра Дюма-отца и Гайярде, поставленная в 1832 г. на сцене театра Порт-Сен-Мартен.

Стр. 222. ...под «*Пляшущей Мариам*»...— По Библии, Мариам — старшая сестра пророка Моисея; руководила народными празднествами и сама плясала с тимпаном в руке («Исход», гл. 15, ст. 20).

Стр. 224. *Диана де Пуатье* (1499—1566) — прославленная красавица, возлюбленная французского короля Генриха II.

Стр. 257. *Да пошлите вы к черту своих Куяциев и Бартолов!* — Имеются в виду знаменитый французский юрист Жак Кюжас (латинская форма Куяций, 1522—1590) и один из крупнейших юристов средневековья итальянец Бартоло да Сассо Феррато (1314—1357).

Стр. 275. ...«*Эсмеральда*» Штейбена и «*Жена Потифара*» Шопена. — Имеются в виду репродукции с картин немецких художников Карла Вильгельма Штейбена (1788—1856) и Генриха Фридриха Шопена (1804—1880). Жена Потифара, по Библии, пыталась соблазнить Иосифа Прекрасного («Бытие», гл. 39).

Стр. 279. ...*сражался за родину под Баутценом и Лютценом...* — Баутцен и Лютцен — города в Саксонии, близ которых в 1813 г. произошли два больших сражения между армией Наполеона I и союзными русско-прусскими войсками.

Стр. 290. *Биша* Ксавье (1771—1802) — французский врач, анатом и физиолог; автор «Всеобщей анатомии».

Стр. 292. *Каде де Гасикур* Луи-Клод (1731—1799) — французский фармацевт и химик.

Стр. 298. *Прочтите «Энциклопедию»... «Письма португальских евреев»... «Сущность христианства»...* — «Энциклопедия» (тридцать пять томов, 1751—1780) — издание, осуществленное под руководством Дени Дидро и Жан-Луи Даламбера, привлечших к сотрудничеству все передовые умы своего времени; крупнейший памятник просветительской мысли XVIII в. «Письма португальских, немецких, польских евреев к г-ну де Вольтеру» (1769) — сочинение аббата Поля-Александра Гене, отстаивающее истинность библейских преданий. «Сущность христианства» (вероятно, «Философские этюды о христианстве», 1842—1845) — главный труд французского судейского чиновника и католического писателя Жан-Жака Огюста Никола́ (1807—1888).

Стр. 309. *Эдилы* — в древнем Риме выборные чиновники, наблюдавшие за порядком в городе.

Стр. 310. *Братья-игнорантинцы* — (то есть «невежественные») — члены монашеского ордена святого Иоганна; орден проповедовал смирение, ставил своей целью филантропическую помощь беднякам.

М. Эйхенгольц

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Роман Флобера «Воспитание чувств», опубликованный в 1869 г., иногда называют вторым вариантом произведения, над которым Флобер работал в юности, в 40-е годы, и которое носит то же название. Однако каждый из этих двух романов — самостоятельное произведение, имеющее свой сюжет, своих персонажей, с их особыми характерами и судьбами.

Сама общественная атмосфера, в условиях которой Флобер задумал и писал эти романы, а также эстетические принципы писателя, эволюционировавшие на протяжении 40—60-х годов,— все это дает основание рассматривать оба «Воспитания чувств» как этапы творческого пути Флобера, но не как последовательные варианты одного и того же произведения.

Окончив работу над романом «Госпожа Бовари», Флобер говорил, что ему отвратительна сама мысль о том, чтобы снова писать о современных ему дамах и о господах. Однако после выхода в свет «Саламбо», романа из истории Пунических войн, Флобер вновь обращается к своей эпохе. Это возвращение было для него неизбежным, так как он понимал, что в 60-е годы XIX в. исторический роман уже утратил свое значение и актуальным может быть только произведение о современном обществе. В 1863 г. в договоре с Флобером издатель романа «Саламбо» М. Леви в особом пункте оставил за собой право на следующее произведение Флобера, если оно будет посвящено изображению современной жизни.

«Воспитание чувств» было задумано весной 1863 г., и с сентября 1864 по май 1869 г. Флобер работает над осуществлением своего замысла. В августе 1869 г. Флобер прочел роман нескольким друзьям (в том числе Ж. Санд), и всеми он был встречен как новое достижение писателя. Только название многим показалось старомодным, «романтическим». М. Дюкан советовал Флоберу назвать роман «Посредственные люди» («*Les gens médiocres*»). Сам Флобер писал, что «настоящее название должно бы быть «Неудачники» («*Les fruits secs*»), но в конце концов оставил «Воспитание чувств», добавив подзаголовок «История молодого человека». Абсолютно уверенный в успехе дела, издатель Леви, получив рукопись, даже не стал читать ее и сразу отправил в набор.

Роман «Воспитание чувств», изданный в двух томах, поступил в продажу 17 ноября 1869 г. и не имел успеха. Внимание публики было занято событиями кануна франко-прусской войны и острой политической борьбой, предшествовавшей краху II Империи. Возможно, сыграла роль и смерть Сент-Бева (15 октября 1869 г.), самого авторитетного критика, который двенадцать лет назад сказал первое слово в бурной полемике по поводу романа «Госпожа Бовари». Хотя первый и единственный тираж «Воспитания чувств» не был еще раскуплен, Леви в 1873 г. выпускает новый тираж и снижает цену в надежде привлечь этим покупателей.

Критика приняла «Воспитание чувств» в целом отрицательно и, главное, с поразительным непониманием. Флобера осуждали за неинтересный сюжет и обвиняли в пессимизме, граничащем с безнравственностью. По-настоящему Флобера не поняли даже те, кто восхищался «Воспитанием чувств» (И. Тэн), кто пытался защитить его от многочисленных упреков (Ж. Санд) и кто принял его как образец нового, «нату-

ралистического» искусства (Э. Золя). При жизни Флобера «Воспитание чувств» было издано еще раз, в 1879 г., издателем Жоржем Шарпантье.

Многие события в жизни Фредерика напоминают факты из биографии Флобера. Это дает основание французским критикам объяснять «Воспитание чувств» как роман автобиографический или «личный». В таком истолковании Фредерик оказывается двойником Флобера, под маской других персонажей обнаруживаются конкретные люди, с которыми Флобер был связан теми или иными отношениями, а история любви Фредерика к г-же Арну представляется как воспоминание Флобера о своем юношеском увлечении г-жой Шлезенжер. Однако такое восприятие романа искажает весь его смысл. Любопытный материал, использованный Флобером, автобиографический или почерпнутый из наблюдений над окружающей жизнью, служит у Флобера значительно более важной цели, чем личные воспоминания. «Я хочу написать нравственную историю людей моего поколения», — говорил Флобер. В этой связи огромное значение приобретает картина предательства, совершенного буржуазией в ходе революции 1848 г., когда, напуганная народным восстанием, она отшатнулась в сторону реакции и после Июньских дней учинила кровавую расправу над народом, руками которого в феврале была свергнута монархия.

В России «Воспитание чувств» было воспринято с самого начала как произведение большого социального значения. В 1870 г. «Вестник Европы» в I и II томах уделяет в целом сто шесть страниц подробному изложению содержания романа и его истолкованию. То, что французские критики называли «цинизмом», русской критикой было понято как «реальное отношение к действительности», «верность жизни», «беспощадный анализ».

Особое достижение Флобера, пишет критик, заключается в том, что, рассказывая о судьбе своих героев, автор «намекнул на причину политических неудач, быстрых разочарований, он указал на те подмостки, на которых воздвигнута была революция 48-го года и потом наполеоновский деспотизм». Автор статьи о «Воспитании чувств», подписавшийся А. С—н, сравнивает это произведение с романом И. С. Тургенева «Дым» и обнаруживает в Фредерике и других персонажах черты, напоминающие ему поколение 40-х годов в России. В 1870 г. «Воспитание чувств», переведенное на русский язык, было опубликовано в Петербурге. На протяжении 70—80—90-х годов русские журналы «Новое время», «Читатель», «Вестник Европы» неоднократно возвращаются к «Воспитанию чувств», публикуя переводы статей Э. Золя о Флобере и его творчестве. Большую роль в распространении произведений Флобера в России сыграл И. С. Тургенев, который познакомился с Флобером в 1863 г. и стал одним из его ближайших друзей.

Т. С о к о л о в а

Стр. 325. ...*дело г-жи Лафорж*.— Госпожа Лафорж (1816—1852) в 1840 г. была обвинена в отравлении мужа и приговорена к пожизненной каторге. Написала «Мемуары» (1841—1842).

Стр. 326. ...*о последнем труде г-на Гизо*.— Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк, автор капитальных трудов «Опыт истории Франции», «История английской революции» и др. При Луи-Филиппе более десяти лет был министром, лидер консерваторов. С октября 1840 г. фактически руководил советом министров.

Стр. 327. ...*Жуффруа, Кузен, Ларомигьер, Мальбранш, шотландцы*...— Кузен Виктор (1792—1867) — философ-эклектик, пытавшийся соединить в своем учении «истины», заимствованные из идеалистической и материалистической систем. Был официальным философом Июльской монархии, его восьмитомный «Курс истории философии» (1815—1829) изучался во всех лицеях и университетах. Ларомигьер Пьер (1756—1837) — философ-сенсуалист, ученик просветителей; его «Уроки философии» (1815—1818) использовались в университетском преподавании. Мальбранш Никола́ (1638—1715) — философ-идеалист, в системе его исключительная роль отводится богу. Жуффруа Теодор (1796—1842) — философ «психологической школы», близкий к Кузену. Был известен главным образом как переводчик и истолкователь шотландских философов идеалистической «школы здравого смысла» (Томаса Рида, Дугальда Стьюарта и др.).

Фруассар, Коммин, Летуаль, Брантом.— Фруассар Жеан (1333—1400) — историк и поэт, автор «Хроник», одного из самых старинных памятников средневековой французской литературы. Коммин (Филипп де ла Клит, 1445—1509) — французский государственный деятель времен короля Людовика XI; автор «Мемуаров», в которых дается яркая картина эпохи. Летуаль Пьер (1546—1611) — автор «Мемуаров Пьера де Летуаля, или Дневника царствования Генриха III и Генриха IV». Брантом (Пьер де Бурделе, 1535—1614) — знатный дворянин, служивший при дворе французских королей; автор многотомных «Жизнеописаний великих полководцев», «Жизнеописаний знаменитых женщин» и др.

Стр. 331 ...*агентом по выборам*...— В годы царствования Луи-Филиппа избирательные коллегии насчитывали зачастую не более двухсот членов; это облегчало подкупы, совершавшиеся через специальных агентов.

Стр. 332. ...*в сторону левого центра*.— С 1836 г. консервативная партия во Франции разделилась на две фракции: правый центр под руководством Гизо, заявлявшего, что «трон — не пустое кресло», и левый центр, лидер которого, Тьер, руководствовался принципом: «король царствует, но не управляет».

Стр. 338. «*Ревю де Де Монд*» («La Revue des Deux Mondes») — литературно-политический журнал, основанный в 1829 г. В нем печатались Виктор Гюго, Виньи, Мюссе, Бальзак, Дюма, Жорж Санд и др.

Стр. 340. *Петиции о реформе.*— В 1831 г. основным лозунгом оппозиции была избирательная реформа и снижение ценза до ста франков. Пропаганда велась при посредстве реформистских банкетов, начало которым положил банкет в X округе Парижа (2 июня 1840 г.). Это движение охватило также крупные провинциальные города.

Перепись Юмана.— Перепись, объявленная министром финансов кабинета Гизо 14 июня 1838 г., имела целью поднять налоги. Отсутствие комиссаров при агентах фиска вызвало многочисленные протесты муниципалитетов; в течение 1841 г. на этой почве в ряде городов произошли волнения, сопровождавшиеся иногда кровавыми столкновениями.

Робер Макэр — тип ловкого пройдохи из мелодрамы Бенжамена Антье, Сент-Амана и Полианта «Ардетская гостиница» (1823). Этот образ приобрел популярность благодаря замечательной игре актера Фредерика Леметра.

Стр. 341. *Тайные общества.*— В годы царствования Луи-Филиппа существовало множество республиканских тайных обществ: «Общество друзей народа» (основано в сентябре 1830 г.), «Общество прав человека» (основано в конце 1832 г.) и др.

...Цахариев и Рудорфов.— Цахарие Генрих (1806—1875) — немецкий ученый, юрист, автор ряда научных трудов. Рудорф Адольф (1803—1873) — немецкий юрист, профессор права в Берлине.

Долой Притчарда! — У Флобера ошибка памяти. Дело Притчарда относится к 1844 г. Английский консул на о. Таити Притчард спровоцировал восстание местного населения против французских властей; было перебито много французских матросов. Тогда адмирал Дюпети арестовал Притчарда, что привело к обострению отношений между Францией и Англией. Желая замять конфликт, правительство Июльской монархии возместило убытки Притчарду. Это очень повредило авторитету Луи-Филиппа и Гизо.

Стр. 342. *...предлагали идти к Беранже.*— Поэт Пьер-Жан Беранже (1780—1857) смотрел на Июльскую монархию как на переходную ступень к республике и держался в стороне от официальных лиц.

«К Лаффиту!» — «К Шатобриану!» — Лаффит Жак (1767—1844) — крупный банкир, управлял французским банком при Империи и Реставрации; участник Июльской революции 1830 г., покинул министерство 13 мая 1831 г. и после этого встал в оппозицию к монархии Луи-Филиппа. Писатель виконт Рене де Шатобриан, убежденный легитимист, в годы Июльской монархии из тактических соображений заигрывал с республиканской партией.

Со времени сентябрьских волнений...— Речь идет о волнениях, вызванных переписью Юмана (сентябрь 1841 г.).

Стр. 350. *«Насьональ»* («Nationale») — политическая газета, основанная в январе 1830 г. Тьером, Минье и Каррелем; играла значительную

роль во время революции 1830 г. На протяжении Июльской монархии — орган буржуазно-республиканской оппозиции.

Стр. 362. *Герцог Немурский* Луи-Шарль-Филипп (1814—1896) — старший сын короля Луи-Филиппа, был назначен регентом на случай смерти короля; крайний реакционер. После революции 1848 г. эмигрировал в Англию.

Г-н де Жуанвиль — Франсуа-Фердинанд-Филипп Орлеанский (1818—1886) — третий сын Луи-Филиппа. был морским офицером.

Стр. 365. *...этюды коней Альфреда де Дрё...* — Дрё Альфред, де (1808—1860) — французский художник, писал на сюжеты из светской жизни; наряду с Жерико был искусным рисовальщиком лошадей.

Прадье Жан (1792—1852) — французский скульптор; создавал произведения по преимуществу на античные темы.

Стр. 367. *...устройство укреплений вокруг Парижа...* — В 1833 г. правительство испрашивало у палаты кредиты для укрепления Парижа. Палата депутатов, под давлением оппозиции, отказала в кредитах, мотивируя это тем, что форты Парижа — «бастилии», направленные преимущественно против парижского населения.

Сентябрьские законы. — Имеются в виду реакционные законы об ассоциациях, вотированные после покушения Фиески на Луи-Филиппа (28 июля 1835 г.). Согласно этим законам усиливались юридические преследования противников монархии и вводилась более суровая цензура.

Лорд Гизо. — Оппозиция упрекала Гизо в англофильстве; в день возвращения праха Наполеона в Париж (1840 г.) раздавались крики: «Долой Гизо, долой предателей, долой англичан!»

Стр. 368. *...как в дни Регентства!* — Имеется в виду период с 1715 по 1723 г., когда после смерти Людовика XIV во Франции правил при малолетнем Людовике XV регент, герцог Филипп Орлеанский; время разгула финансистов и спекулянтов и крайней распущенности нравов.

Стр. 369. *Вопрос о Рейнской границе.* — После революции 1830 г. возникли опасения, что европейские страны могут организовать коалицию против Франции. Под влиянием воспоминаний о 1792 г. французские республиканцы заговорили о войне с целью обратного завоевания левого берега Рейна, отданного Германии по мирному трактату 1815 г. Эти настроения вновь возникли в 1840 г.

Мараст Арман (1801—1852) — был преподавателем в лицее Людовика Великого и в Нормальной школе; последователь материалистов XVIII в. В начале царствования Луи-Филиппа руководил республиканской газетой «Трибуна» и подвергался преследованиям; затем стал редактором газеты «Насьональ», продолжая вести борьбу с правительством Луи-Филиппа; типичный буржуазный республиканец.

Стр. 370. *Понселе* Франсуа-Фредерик (1790—1843) — ученый-юрист, профессор римского права.

Стр. 383. *Дюмерсан Теофиль* (1780—1849) — французский драматург, плодовитый водевилист.

Стр. 395. ...обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.— Победоносная экспедиция 1844 г. против Марокко, на территорию которого отступил вождь алжирского национально-освободительного движения Абд эль-Кадир, обошлась Франции в двадцать миллионов франков. Оппозиция упрекала правительство в непроизводительных расходах, но Гизо ответил, что «Франция достаточно богата, чтобы платить за свою славу».

Стр. 403. ...он прочел ей *«Аталу»*, *«Сен-Мара»*, *«Осенние листья»*.— *«Атала»* (1801) — романтическая повесть Рене де Шатобриана, одно из самых на шумевших произведений раннего французского романтизма. *«Сен-Мар»* (1826) — исторический роман Альфреда де Виньи. *«Осенние листья»* (1831) — сборник лирической поэзии Виктора Гюго.

Стр. 411. *«Век»* («le Siècle») — газета, основанная в 1836 г.; орган династической левой оппозиции.

«Шаривари» — («Charivari») — сатирический журнал, основанный в 1832 г.; был в оппозиции к Июльской монархии.

Стр. 417. ...*Камиль Демулен*, стоя вон там, на столе...— 12 июня 1789 г. Камиль Демулен, вскочив на стол, в саду Тюильри, произнес речь перед толпой и нацепил себе на шляпу древесный листок как прообраз республиканской кокарды; наэлектризованная толпа хлынула на улицы Парижа, и это послужило прологом к штурму Бастилии.

Бартеlemi Огюст-Марсель (1796—1867) — поэт, в последние годы Реставрации примыкал к либеральной оппозиции; в марте 1831 — июне 1832 гг. издавал журнал стихотворной сатиры *«Немезида»* и активно выступал против Июльской монархии.

Стр. 424. ...в костюме Почтаря из Лонжюмо...— *«Почтарь из Лонжюмо»* (1836) — комическая опера французского композитора Адана.

Стр. 425. *«Гаспардо-рыбак»* (1837) — пьеса одного из популярнейших драматургов бульварных театров Жозефа Бушарди (1810—1870).

Стр. 428. *Селюта* — персонаж романтической поэмы в прозе Рене де Шатобриана *«Натчезы»* (1815) — прекрасная индианка.

Стр. 438. *«Общественный договор»* (1762) — одно из основополагающих сочинений Жан-Жака Руссо, где излагается теория государства, построенного на принципе народовластия.

«Независимое обозрение» («La Revue Indépendante») — журнал, близкий к «христианскому социализму»; выходил с ноября 1841 по февраль 1842 г. при участии Пьера Леру, Жорж Санд и др.

Он изучил *Мабли*, *Морелли*, *Фурье*, *Сен-Симона*, *Конта*, *Кабе*, *Луи-Блана*...— *Мабли* Габриель (1709—1785) — французский историк и политический мыслитель, горячий сторонник строя, основанного на общности имуществ. *Морелли* — французский философ (ум. во второй половине

XVIII в.); в поэме «Гибель блуждающих островов» нарисовал систему управления, основанную на коммунизме и превосходящую по смелости «Утопию» Томаса Мора. Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, основатель позитивизма; был секретарем социалиста-утописта Клода-Анри Сен-Симона (1760—1825). Кабе Этьен (1788—1856) — французский утопический социалист; в фантастическом романе «Путешествие в Икарию» (1840) нарисовал картину коммунистического общества. Социалист-утопист Луи Блан (1811—1882) стал широко известен в 1840 г. благодаря своей книге «Организация труда», где он пропагандировал трудовую промышленную и земельную ассоциацию.

Стр. 439. *...заговорил об убийствах в Бюзансе и о продовольственном кризисе.*— Картофельная болезнь зимою 1846—1847 гг. вызвала во Франции голод. Особенно пострадал департамент Индры; в Бюзансе голодающие сожгли фермы и разгромили булочные; в январе 1847 г. были убиты два богатых помещика, известных в народе как хлебные спекулянты. Правительство прибегло к жестоким репрессиям по отношению к участникам беспорядков: пять человек были казнены, более двадцати приговорены к каторжным работам.

Стр. 440. *Испанские браки.*— Луи-Филипп стремился проводить в Испании традиционную французскую политику, связав царствующие дома обеих стран брачными узами. В октябре 1846 г. в Мадриде была отпразднована помолвка королевы Изабеллы II Испанской с ее двоюродным братом Франциском, и в то же время состоялось бракосочетание сестры ее принцессы Луизы-Фердинанды с герцогом Монпансье, пятым сыном Луи-Филиппа. Эти браки послужили поводом к дипломатическому разрыву между Францией и Англией.

Рошфоровская растрата.— Имеется в виду скандальный случай растраты в мастерских и на складах г. Рошфора, работавших на интендантство. Тридцать шесть служащих было предано суду и пять из них осуждены (январь 1847 г.). Глава интендантских складов Рошфора покончил жизнь самоубийством. Это дело дало повод оппозиции выступить против правительства.

Новый капитул Сен-Дени.— Проект реорганизации духовного капитула Сен-Дени был принят палатой пэров в начале 1847 г. Однако даже и в 1848 г. он не был еще представлен на рассмотрение палаты депутатов.

Стр. 441. *...надставили Гро!* — Гро Антуан-Жан, барон (1771—1835) — французский батальный живописец, ученик Давида. Его полотна находятся в «Галерее Аполлона» в Лувре.

Он тревожился за судьбу Барбеса...— Арман Барбес (1809—1870), революционер-республиканец, в 30-х годах несколько раз подвергался тюремному заключению. В мае 1839 г. играл руководящую роль в восстании, организованном «Обществом времен года», был приговорен к

смерти, затем помилован и находился в тюрьме вплоть до Февральской революции 1848 г.

Стр. 442. *А я упрекаю Луи-Филиппа в том, что он предал поляков!*— В 1830 г. прогрессивная общественность Франции горячо сочувствовала польским повстанцам и требовала оказать им помощь. При известии о взятии войсками Николая I Варшавы в Париже произошел подлинный мятеж, спровоцированный словами министра иностранных дел Себастиани: «В Варшаве царит порядок».

...утонули вместе с Понятовским.— Юзеф Понятовский (1763—1813), племянник польского короля Станислава-Августа; участвовал в восстании Костюшко; во главе польского корпуса разделил с Наполеоном первую русскую кампанию 1812 г. При отступлении из России, в сражении под Лейпцигом, бросился в реку, чтобы не попасть в плен.

...отмена Нантского эдикта...— В 1685 г., под давлением клерикальных кругов, король Людовик XIV отменил Нантский эдикт, изданный королем Генрихом IV (1598 г.), по которому разрешалось протестантское богослужение. Это привело к новому разгулу религиозных преследований и к массовой эмиграции буржуа-гугенотов, которые увозили из Франции свои богатства, нанося ущерб экономике страны.

Пап оклеветали, они, в сущности, стоят за народ...— В этих словах, вероятно, отразилась доктрина участника карбонарского движения Бюшеза, который пытался сочетать католицизм и революцию.

Лола Монтеc (1824—1861) — авантюристка, фаворитка баварского короля Людовика I. Незадолго до революции 1848 г. мятеж подданных принудил короля удалить ее от двора.

Стр. 443. *Физиологи* — возникший в 30—40-х годах XIX в. новый, демократический литературный жанр — реалистические зарисовки нравов различных слоев городских жителей (адвокаты, нотариусы, портье, торговцы, гризетки и т. п.). Этому жанру отдал дань и Бальзак.

Стр. 456. *...портреты генерала Фуа и Луи-Филиппа...*— Генерал Фуа Максимильен-Себастьян (1775—1825) — один из наиболее популярных наполеоновских полководцев, либеральный парламентский оратор времен Реставрации. На его похоронах состоялась стотысячная манифестация.

Стр. 458. *...рука господина Женуда тянется к «Веку»?* — Женуд Антуан-Эжен (1790—1849) — публицист и историк; ярый легитимист. В годы Июльской монархии в многочисленных журналах и газетах пропагандировал всеобщее избирательное право, надеясь при помощи народных голосов восстановить «законную» власть Бурбонов.

Стр. 466. *...несчастливого Лезюрка.*— Имеется в виду нашумевший судебный процесс конца XVIII в.: Жозеф Лезюрк (1763—1796) был обвинен в убийстве и ограблении почтовой кареты и обезглавлен. Через два года обнаружился истинный преступник, который по роковой случайности был внешне очень похож на Лезюрка.

Стр. 472. *«Золотой дом»* — ресторан на бульваре Итальянцев, построенный в 1839 г. архитектором Лемером в стиле Возрождения, место свиданий эlegantных завсегдатаев парижских бульваров; назван так из-за позолоченных украшений на балконах.

Стр. 473. *Венсан де Поль* (1576—1660) — французский священник, основал орден «сестер милосердия», положил начало организации детских приютов.

Стр. 477. *Вронский* Гоенэ (1778—1853) — польский математик и философ.

Отец Анфантен — Анфантен Бартелеми-Проспер (1796—1864), ученик социалиста-утописта Сен-Симона; в созданной после Июльской революции 1830 г. сен-симонистами общине получил титул «верховного отца». Деятельность Анфантена способствовала вырождению сен-симонизма в чисто религиозную секту, которая враждебно относилась к освободительным республиканским движениям.

Пьер Леру (1797—1871) — мелкобуржуазный социалист-утопист, создал теорию «христианского социализма», получившую широкую известность в 30—40-х годах XIX в.

Стр. 501. *Бу-Маза* (род. в 1820 г.) — один из арабских вождей, оказывавших упорное сопротивление французской армии в Алжире. Однако, благодаря соперничеству с эмиром Абд эль-Кадиром, в 1845 г. Бу-Маза сдался французам, был торжественно препровожден в Париж и там окружен роскошью и почетом.

Стр. 507. *...исключены Эдгар Кине и Мицкевич.* — Кине Эдгар (1803—1875) — французский историк и писатель; в 1842 г. занимал кафедру языков и литературы во Французском коллеже. Вместе с Мишле опубликовал разоблачительную книгу «Иезуиты», за которую был лишен профессорской кафедры. Адам Мицкевич занимавший во Французском коллеже кафедру славянских языков и литератур, играл в начале 40-х годов большую общественную роль как польский патриот. Правительство Луи-Филиппа лишило его кафедры.

...поклонник г-на де Местра... — то есть реакционного писателя Жозефа де Местра (см. прим. к стр. 201).

Сенвиль Морель (нач. XIX в. — в 1854 г.) — выдающийся актер парижского театра Пале-Рояль.

Стр. 508. *Только не по-орлеански!* — По мысли Сизи, суть остроты в том, что, будучи легитимистом (сторонником династии Бурбонов), он выражает, таким образом, свою враждебность Орлеанской династии, к которой принадлежал Луи-Филипп. *«Тюрбо а ля Шамбор».* — Намек на герцога Бордоского, графа Шамбора Анри-Шарля (1820—1883), последнего отпрыска свергнутой династии Бурбонов, которого легитимисты прочили на французский престол под именем Генриха V.

Стр. 513. *...о делах Друайяра и Бенье...* — Друайяр — парижский бан-

кир, был осужден в феврале 1847 г. по обвинению в подкупе избирателей. Бенье — директор Управления продовольственного снабжения; в 1847 г. был обвинен в растрате, но дело замяли.

Годфруа Кавеньяк (1801—1845) — один из вождей республиканской партии; участвовал в революции 1830 г., был одним из основателей тайных обществ «Друзей народа» и «Прав человека», редактором газеты «Реформа». После республиканского восстания 1834 г. был присужден к тюремному заключению, бежал и прожил за границей вплоть до амнистии.

Стр. 516. ...как принц Родольф в «Парижских тайнах»... — Социально-приключенческий «роман-фельетон» Эжена Сю «Парижские тайны» печатался в 1842—1843 гг. в газете «Дебаты» и пользовался громадным успехом. Герой романа, благородный богач Родольф, инкогнито живет среди обитателей городского дна, защищает невинность и карает злодеев.

Стр. 527. ...книги: Тьера, Дюлора, Баранта, «Жирондистов» Ламартина. — Имеются в виду исторические труды Адольфа Тьера «История Консульства и Империи» (публикация началась в 1845 г.), Жака-Антуана Дюлора «Исторические очерки о главных событиях Французской революции» (1823); «История жирондистов» Альфреда де Ламартина, вышедшая в свет в 1847 г. и имевшая шумный успех; труды Амабля-Гильома Баранта, посвященные Французской революции: «История национального Конвента» (1851—1853) и «История Директории» (1855) — вышли уже после описываемого Флобером периода.

Шалье Мари-Жозеф — глава лионских революционеров 1793 г.; якобинцы прозвали его «другом бедных». В связи с контрреволюционным восстанием жирондистов и роялистов был обвинен в измене Конвенту и гильотинирован.

«Общество семейств» — тайное общество, организованное республиканцами-социалистами (при участии Бланки, Барбеса и др.), получило с 1837 г. название «Общество времен года». Защищало интересы трудящихся, которые «всё производят», а потому «имеют на всё права». Члены общества считали, что установление республики должно сопровождаться «передачей имущества тех, которые владеют, но не работают, тем, кто работает, но ничем не владеет».

В мае 1839 года он оказался в числе сражавшихся... — Имеется в виду восстание 12 мая 1839 г. в Париже, организованное «Обществом времен года». Была захвачена городская Ратуша, провозглашено Временное правительство и Бланки избран главнокомандующим; но горсть заговорщиков, не опиравшихся на широкие массы, была вскоре рассеяна национальной гвардией и полицией.

Алибо Луи (1810—1836) — 25 июня 1836 г. стрелял из ружья в Луи-Филиппа, желая отомстить за кровавую расправу над повстанцами 1832 г. Был казнен по приговору палаты пэров.

...на улице Транснонен...— 13 апреля 1834 г. при известии о рабочем восстании в Лионе республиканцы организовали восстание в Париже, быстро подавленное генералом Бюжо; на улице Транснонен были зверски истреблены все жители одного из домов, включая женщин и детей.

Стр. 528. *Карпентра́* — городок во Франции близ Авиньона, возникший на месте старого галло-римского города, богатого памятниками искусств. Слово «Карпентра» стало синонимом художественной безвкусицы и в качестве такового использовано было в сатирическом журнале «Шаривари».

Стр. 529. *Театр канатных плясунов* («Фюнамбюль») — маленький парижский театр, где ставились пантомимы, арлекинады и водевили. Зрителей привлекали феерические постановки этого театра, игра знаменитого мима Дебюро, а в 30-е годы актера Фредерика Леметра.

Театр Отдохновение — в 40-х годах XIX в. находился на бульваре Тампль; в нем ставились главным образом феерии и обозрения.

Стр. 530—531. ...о речи г-на Грандена, об ответе... г-на Бенуа.— Гранден Виктор (1797—1849) — политический деятель, промышленник, с 1839 г. член палаты депутатов; требовал эксплуатации железных дорог государством. Бенуа д'Ази Дени (1796—1880) — легитимистский депутат, финансист, принимал участие в управлении железными дорогами.

«Подражание Христу» (XIII в.) — памятник средневековой церковной литературы; авторство его приписывается монаху Фоме Кемпийскому.

«Готский альманах» — еженедельник, выходивший на немецком и французском языках начиная с 1763 г. и до 1794 г.; содержал сведения о генеалогии королевских фамилий и знатных дворянских домов Европы.

Стр. 534. *Дезольм* — французский публицист; в 1848 г. выпустил в защиту республики книгу «Дух народа».

Блекстон Уильям (1723—1780) — английский ученый, юрист.

...в 1830 году легло в основу хартии.— См. примечание к стр. 83.

Стр. 554. *«Басни» Лашамбоди*.— Лашамбоди (1806—1872) — поэт, одно время последователь Сен-Симона; напечатал в 1839 г. «Народные басни», которые имели большой успех и были увенчаны Академией.

«Наполеон» Норвена.— Четырехтомная «История Наполеона» (1827—1828), написанная горячим поклонником умершего императора, Жаком Марке бароном де Норвеном (1769—1854), имела огромный успех в период всеобщей ненависти к Бурбонам, накануне революции 1830 г.

...рассуждения о всеобщем избирательном праве...— Всеобщее избирательное право было лозунгом республиканцев, которых называли радикалами, а также реформистами.

Пьемонт, Неаполь, Тоскана.— В начале 1848 г. Пьемонт, как и вся Италия, находился в возбужденном состоянии; в октябре 1847 г. король

Карл-Альберт под давлением народных масс дал отставку реакционному министерству и провозгласил ряд либеральных реформ. Неаполитанский король Фердинанд II был вынужден в январе 1848 г. объявить конституцию, скопированную с французской хартии 1830 г. В Тоскане в начале 1848 г. также начались волнения, уличные манифестации, враждебные выступления против гнета Австрии.

Стр. 555. *Голландию мы принесли в жертву, чтобы Англия признала Луи-Филиппа...*— Утверждение это не соответствует действительности, потому что Англия с самого начала признала Луи-Филиппа, хотя тори были удовлетворены внешней политикой Франции времен Реставрации; Англия опасалась лишь союза Франции с континентальными державами, особенно с Россией.

В Швейцарии г-н Гизо... поддерживает трактаты тысяча восемьсот пятидесятого года.— С 1830 г. в Швейцарии шла борьба по вопросу о централизации. В 1845 г. семь католических кантонов образовали лигу; объединились и кантоны протестантские. Австрия и Франция поддерживали католические кантоны, опираясь на трактаты 1815 г., предоставившие каждому кантону самостоятельность. В 1848 г. борьба еще не была завершена.

Пруссия и ее таможенный союз...— Прусский таможенный союз был заключен в 1833 г. В 1847 г. прусский король «даровал» германским государствам конституцию.

Восточный вопрос остается открытым.— Восточный вопрос сосредоточивался на соглашении о проливах (июль 1841 г.), согласно которому Турция имела право запретить военным кораблям всех наций вход в Дарданеллы и Босфор.

...великий князь Константин шлет подарки герцогу Омальскому...— Здесь намек на попытки сближения между Францией и Россией. Герцог Омальский Анри-Эжен (1822—1897), четвертый сын короля Луи-Филиппа, проявил военные способности во время завоевания Алжира и в 1847 г. был назначен алжирским генерал-губернатором. Великий князь Константин (1827—1892), второй сын царя Николая I, был с 1831 г. генерал-адмиралом русского флота.

Сульт (Никола́-Жан де Дие, 1769—1851) — бывший наполеоновский маршал, при Июльской монархии был военным министром, подавил рабочее восстание 1831 г. в Лионе.

Жалобы на биржевиков-эксплуататоров.— Биржевой ажиотаж во Франции особенно развился в связи со строительством первых железнодорожных линий.

Стр. 556. *Процесс Теста — Кюбьера.*— Тест, председатель кассационной палаты, в июле 1847 г. был присужден к лишению гражданских прав, стотысячному штрафу и трем годам тюрьмы за то, что, будучи министром общественных работ, в 1842 г. получил взятку в сто тысяч

франков (за предоставление концессии по добыванию каменной соли). Генерал Кюбьер также был приговорен к лишению гражданских прав и стотысячному штрафу как соучастник.

Герцогиня де Прален — дочь маршала Себастьяни, была убита в августе 1847 г. В убийстве был обвинен ее муж, герцог Шуазель, который отрицал свою причастность к преступлению и накануне суда покончил с собой в тюрьме.

«Лучшая из республик». — Во время революции 1830 г. популярный в народе генерал Лафайет (по другому варианту, буржуазный политический деятель Одилон Барро) подвел к окну парижской Ратуши Луи-Филиппа Орлеанского, вложил в его руку трехцветное знамя, обнял его и крикнул толпе, требовавшей республики: «Вот лучшая из республик!»

«Мирная демократия» («La Démocratie paisible») — газета, издававшаяся с августа 1843 по ноябрь 1851 г. под редакцией Виктора Консидерана; орган фурьеристов.

...гимн Пию Девятому! — Папа Пий IX был провозглашен папой в июне 1846 г. и, благодаря ряду реформ, проведенных им в Риме, в первое время пользовался популярностью.

Стр. 557. *...«фигляра из Ратуши, друга предателя Дюмурье»*. — Намек на карикатуру, имевшую большой успех при Луи-Филиппе и изображавшую короля в виде фокусника, жонглирующего тремя мускатными орехами: один назывался Июлем, другой — Революцией, третий — Свободой. В 1793 г. Луи-Филипп (в то время герцог Шартрский) служил в армии под начальством генерала Дюмурье, бывшего жирондиста, подготовлявшего восстановление монархии, и бежал вместе с ним, опасаясь ареста комиссарами Конвента.

Стр. 558. *Д'Альтон-Шэ* (Эдмон де Линьер, граф, 1810—1874) — буржуазный республиканец и демократ; в 1836 г. вошел в палату пэров, с 1847 г. перешел в ряды оппозиции. Во время революции 1848 г. участвовал в баррикадных боях.

Стр. 565. *Леотад Луи* (1812—1850) — монах, в начале 1848 г. был осужден на вечную каторгу по обвинению в изнасиловании и убийстве девочки-работницы.

Восстание в Палермо. — 12 января 1848 г. жители Палермо изгнали войска неаполитанского короля и провозгласили автономию Сицилии. В течение девяти дней город подвергался бомбардировке.

Банкет 12-го округа. — В январе 1848 г. оппозиция хотела провести реформистский банкет в 12-м округе Парижа (квартал Пантеона). Префект полиции отказал в разрешении; вопрос был поднят в палате депутатов, причем правительство получило большинство лишь в сорок три голоса.

Стр. 567. *Груша созрела*. — Король Луи-Филипп Орлеанский снижал в народе прозвище «Груша» (его обрюзгшая физиономия изображалась в виде груши на многочисленных политических карикатурах).

Стр. 568. *Одилон Барро* (1791—1873) — в 1830—1840-е годы возглавлял либеральную «династическую оппозицию». Впоследствии, в ноябре 1848 г. возглавил реакционное министерство.

Стр. 573. *«Жирондисты»* — патриотическая песенка из драмы Александра Дюма и Огюста Маке «Кавалер Красного замка», которая шла на сцене «Исторического театра» в 1847 г. Во время революции 1848 г. строфы этой песни, видоизмененные народными поэтами, распевались на баррикадах с припевом: «Умереть за родину, за святое дело — лучшая участь».

Стр. 575. *Моле Луи-Матье*, граф (1781—1855) — политический деятель; служил Наполеону, потом Бурбонам; при Луи-Филиппе некоторое время был председателем совета министров. После 1848 г. — крайне правый.

...назначил Бюжо главнокомандующим... — Бюжо де ля Пиконнери (1784—1849) — маршал Франции; в 1848 г. командовал войсками в Париже, защищая монархию Луи-Филиппа; но после ее падения перешел на сторону республики.

Стр. 580. *Герцогиня Орлеанская Элен-Элиза-Элизабет* (1814—1852) — жена умершего в 1842 г. старшего сына Луи-Филиппа; в 1848 г. пыталась провозгласить малолетнего своего сына, графа Парижского, королем, а себя регентшей.

Стр. 581. *Дюнуайе* — капитан национальной гвардии, под командой которого находилась первая колонна инсургентов, проникшая во двор Тюильрийского дворца 24 февраля 1848 г. Сделал надпись на троне: «Парижский народ — всей Европе. Свобода, равенство, братство».

Стр. 582. *...назначен комиссаром в провинцию.* — Временное правительство замещало префектов и других должностных лиц Июльской монархии «старыми республиканцами»; но ввиду их недостатка были использованы и «новые республиканцы», лица разных убеждений, присоединившиеся к республике после ее объявления.

...добрался до Ледрю-Роллена... — Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1809—1874) — видный буржуазно-республиканский политический деятель; в 1848 г. вошел во Временное правительство как министр внутренних дел; затем был избран в Законодательное собрание.

...Шангарнье, г-н де Фаллу... — Шангарнье Никола́ (1793—1877) — генерал, Кавеньяк (см. прим. к стр. 621) назначил его главнокомандующим парижской национальной гвардией; считался энергичным человеком, и Луи-Бонапарт, перед государственным переворотом, отстранил его от должности, опасаясь его влияния. Фаллу Фредерик, граф (1811—1886) — реакционный политический деятель, ретроград и клерикал; был докладчиком в Собрании по вопросу о Национальных мастерских и требовал их немедленного закрытия.

Стр. 583. *...люди Коссидьера, их сабли и шарфы пугали ее.* — Кос-

сидьер Марк (1808—1861) — лионский рисовальщик, принимал участие в восстании 1834 г.; во время революции 1848 г. показал себя как смелый баррикадный боец. После победы республики был назначен префектом полиции, которую набрал из числа февральских инсургентов и членов тайных обществ. Полицейские его были одеты в голубые блузы с красными шарфами, носили большие сабли.

Стр. 584. *Слыша имя Ламартина...*— Поэт Альфонс де Ламартин в период революции 1848 г. занимался активной политической деятельностью как буржуазный республиканец. Был избран в Учредительное собрание, затем в мае 1848 г. в его Исполнительную комиссию. Защищал интересы буржуазии и в Июньские дни отошел от дел.

Дюпон де л'Эр (1767—1855) — политический деятель, по профессии адвокат; один из вождей либеральной партии в период Реставрации; в 1848 г.— председатель Временного правительства.

Альбер (настоящее имя Александр Мартен, 1815—1895) — рабочий, принимал участие в Лионском восстании 1831 г., издавал газету «Мастерская». В 1848 г. вошел во Временное правительство в качестве представителя от рабочих. Впоследствии — член Парижской коммуны.

Бланки Луи-Огюст (1805—1881) — революционер, утопист-коммунист, организатор и вождь заговорщических тайных обществ. Был освобожден из тюрьмы Февральской революцией, основал в Париже клуб «Центральное республиканское общество». Играл большую роль в событиях 15 мая 1848 г. и был приговорен к десяти годам тюрьмы. Пользовался очень большой популярностью среди рабочих.

Разгром замков Нейи и Сюрена...— Замок в Нейи, любимая резиденция Луи-Филиппа, был разгромлен толпой 25 февраля 1848 г.; замок банкира Ротшильда, Сурен, постигла та же участь.

Циркуляр Ледрю-Роллена.— Перед выборами в Учредительное собрание Ледрю-Роллен, как министр внутренних дел, разослал циркуляр комиссарам Временного правительства, предлагая обеспечить успех испытанным «старым республиканцам».

Принудительный курс кредитных билетов.— Французский банк в 1848 г. оказался на грани банкротства, поэтому был декретирован принудительный курс кредитных билетов, обеспечение которых ограничивалось суммой в двести пятьдесят миллионов.

Налог в сорок пять сантимов.— 16 марта 1848 г. Временное правительство увеличило на сорок пять процентов четыре основных прямых налога. Эта мера оттолкнула от буржуазной республики широкие массы.

Стр. 585. *Флокон* Фердинанд (1800—1866) — журналист, левый республиканец, главный редактор газеты «Реформа» (1843); в 1848 г. был членом Временного правительства и министром сельского хозяйства и торговли, затем депутатом Учредительного собрания; отмежевался от Кавеньяка. После государственного переворота 1851 г.— в изгнании.

Стр. 591. *Он был из числа тех, кто 25 февраля требовал немедленной организации труда...*— 25 февраля 1848 г. перед парижской Ратушей состоялась шумная манифестация; была подана петиция об организации труда, о гарантиях права на труд, о твердом минимуме заработка для рабочего и его семьи в случае болезни, об обеспечении инвалидов труда. Требования петиции означали постановку серьезных социальных вопросов, и Временное правительство в целом оказалось к этому не подготовленным; после дебатов было выпущено воззвание, в котором обещалось «гарантировать жизнь рабочего при помощи труда и гарантировать труд всем гражданам», признавалась законность рабочих объединений и ассигновывался миллион франков на проведение соответствующих мероприятий.

...они сжигают перед Пантеоном номер «Национального собрания»...— «Национальное собрание» («l'Assemblée Nationale») — газета, основанная 29 февраля 1848 г.; ее редакция состояла из бывших административных чинов Июльской монархии, которые повели атаку против Временного правительства.

Стр. 595. *...приняв вид Фукье-Тенвиля...*— Фукье-Тенвиль Антуан-Кантен (1746—1795) — во время революции, в 1793 г., был общественным обвинителем якобинского революционного трибунала.

Стр. 601. *29 марта он защищал контору «Прессы».*— Газета «Пресса» («La Presse») была основана Эмилем де Жирарденом в 1836 г. и приобрела необычайную популярность благодаря тому, что помещала на своих страницах социально-приключенческие романы (Эжена Сю, Фредерика Сулье и т. п.). В феврале 1848 г. «Пресса» высказалась за Республику. Перед выборами в Учредительное собрание Эмиль де Жирарден поставил в газете вопрос: что сделает Временное правительство, если депутаты не провозгласят республику? Это вызвало возмущение среди членов революционных клубов и привело к нападению их на помещение газеты.

Когда народ ворвался в палату...— 15 мая 1848 г. Учредительное собрание было наводнено рабочими демонстрантами во главе с Бланки, Барбесом и Распайлем, которые объявили о роспуске Собрания и о создании нового Временного правительства. Восстание было подавлено национальной и мобильной гвардией, а его главари брошены в Венсеннскую тюрьму.

...совещания в Люксембургском дворце...— 28 февраля 1848 г. парижские рабочие явились в Ратушу с требованием создать «министерство прогресса» в целях организации труда. Большинство совета отказалось удовлетворить это требование, ссылаясь на существование министерства публичных работ; лишь когда Луи Блан заявил, что выйдет из состава Временного правительства, решено было создать под его председательством комиссию для рассмотрения вопросов, относящихся

к труду и материальному положению рабочих. Эта комиссия заседала в Люксембургском дворце.

...везувианок, тирольцев...— «Везувианками» в 1848 г. называли женщин легкого поведения, образовавших своеобразное политическое объединение. В Тироле в 1848 г. произошло восстание против гнета Австрии; но, не получив никакой помощи со стороны Италии, тирольцы, несмотря на героическое сопротивление, были разгромлены.

Стр. 602. *Некоторые горячились из-за Национальных мастерских.*— Национальные мастерские были организованы декретом от 27 февраля 1848 г. Безработные, вне зависимости от их профессии, использовались на непроизводительных земляных работах при постройке вокзалов Сен-Лазар и Монпарнас; заработная плата была ничтожной. С первых же дней в Национальных мастерских числилось десять тысяч рабочих, выброшенных на улицу кризисом и революцией, затем число их стало увеличиваться и к маю дошло до ста семнадцати тысяч. Работы для всех не хватало.

Стр. 605. *«Да здравствует Наполеон!.. Долой Мари!»* — Луи-Наполеон Бонапарт после Февральской революции вернулся во Францию и обратился с письмом к Временному правительству, заявляя, что «явился из изгнания, чтобы стать под знамя Республики». Но Временное правительство не разрешило ему остаться во Франции, и он возвратился в Англию. Тем временем его друзья, пользуясь популярностью наполеоновских идей, успешно объединяли его сторонников. Возгласы: «Да здравствует Наполеон!» — зачастую раздавались во время народных волнений. Министр общественных работ Пьер-Томá Мари (1795—1870) поддерживал проект закона против собраний; по его плану были организованы Национальные мастерские.

...голосовал за изгнание Орлеанской династии.— Учредительное собрание постановило (26 мая 1848 г.) изгнать из Франции всех представителей Орлеанской династии, к которой принадлежал свергнутый король. На другой день оно отменило закон об изгнании членов семьи Бонапартов.

...Пьера Леру, Прудона, Консидерана, Ламенне,— всех сумасбродов, всех социалистов.— Пьер Леру — см. примечание к стр. 477. Консидеран Виктор (1808—1893) — последователь Фурье, после его смерти (1837 г.) взял на себя руководство журналом «Фаланстер» и дополнением к нему — «Фаланга» (в 1843 г. заменена ежедневной газетой «Мирная демократия»). После революции 1848 г. был депутатом Учредительного и Законодательного собраний. Ламенне Фелисите (1782—1854) — философ и богослов, идеолог «христианского социализма».

Стр. 606. *Потом все запели: «Фонарики! Фонарики!»* — «Фонарик» — реакционная монархическая (легитимистская) газета, основанная 28 мая 1848 г. и закрытая уже 17 июня. О ней сохранилось воспоминание в народной песенке «Фонарики, фонарики».

Стр. 607. ...где по приказанию Христины убили Мональдески.— Фаворит шведской королевы Христины маркиз Жан Мональдески был убит в 1657 г. по ее приказанию в одной из галерей замка Фонтенебло. Причиной к тому была или ревность, или, возможно, книга его против Христины.

Стр. 620. ...говорили о смерти Бреа и Негрие, депутата Шарбонеля и архиепископа Парижского.— Бреа Жан-Батист — генерал, командовавший частью войск, подавлявших Июньское восстание парижского пролетариата в 1848 г.; был убит 25 июня повстанцами у заставы Фонтенебло. В связи с этим были казнены два участника восстания. Негрие Франсуа-Оскар (1788—1848) — генерал, был убит во время восстания 25 июня 1848 г. Депутат Шарбонель был убит 25 июня на площади Бастилии. Архиепископ Парижский Афр (1798—1848) был убит во время Июньских дней.

Стр. 621. Воззвание Кавеньяка.— Луи-Эжен Кавеньяк (1802—1857) в мае 1848 г. был назначен военным министром; главный организатор расправы над парижскими рабочими во время подавления Июньского восстания, проявил исключительную жестокость к повстанцам. После подавления восстания стал военным диктатором, неудачно баллотировался в президенты Франции.

Стр. 622. ...в Тюильри, в подвале под террасой...— В подвал под террасой Тюильри в июне 1848 г. были брошены до тысячи повстанцев. В ночь с 26 на 27 июня военные власти разрешили выйти на воздух двумстам пятидесяти заключенным; один из охранявших их национальных гвардейцев в пьяном виде выстрелил в воздух; другие, думая, что пленники взбунтовались, стали стрелять в толпу; сбежались солдаты с окружающих постов и приняли участие в перестрелке. Результатом побоища было до двухсот убитых и раненых.

Стр. 631. ...изобразить «господина Прюдома на баррикаде»...— Прюдом — сатирический тип самодовольного пошляка-буржуа, созданный Анри Монье («Народные сценки, нарисованные пером», 1830) и ставший весьма популярным в период царствования Луи-Филиппа (множество рисунков, в прессе, комедия «Величие и падение г-на Жозефа Прюдома», «Мемуары Жозефа Прюдома» и т. д.).

...между Ламорисьером и Кавеньяком...— Кристоф Ламорисьер (1806—1865) — как и Луи-Эжен Кавеньяк, генерал, выдвинувшийся во время войн против арабов в Алжире, один из палачей Июньского восстания 1848 г. В награду за расправу с повстанцами Ламорисьер был назначен военным министром (июнь — декабрь) вместо Кавеньяка, которого Учредительное собрание назначило главой исполнительной власти (до 20 декабря 1848 г.)

Стр. 639. ...против предложения Рато...— Депутат Рато представил 8 января 1849 г. проект о роспуске Учредительного собрания и избра-

нии Законодательного; под давлением многочисленных петиций предложение Рато было принято.

Стр. 640. *Карикатуры Хама.*— Хам — псевдоним французского карикатуриста Амедея де Ной (1819—1879), сотрудничавшего во многих иллюстрированных журналах. Его псевдоним обыгрывал фамилию Ной (Хамом звался третий сын библейского Ноя). Хаму принадлежала серия блестящих политических карикатур.

Стр. 646. *...интимное отделение улицы Пуатье.*— На улице Пуатье в 1848—1851 гг. собиралась реакционная группа монархистов и представителей правого крыла Учредительного собрания, поддерживавшая вначале диктатуру Кавеньяка, а затем Луи Бонапарта.

«Хватит с нас лиры!» — 15 мая 1848 г. во время рабочей демонстрации в помещении Учредительного собрания депутат поэт Ламартин пытался увещевать инсургентов; тогда из их рядов раздались крики: «Хватит с нас лиры!»

...после событий у Консерватории...— 13 июня 1849 г. в Париже была организована демонстрация протеста против экспедиции французских войск в Рим для ниспровержения Римской республики. Руководили демонстрацией депутаты мелкобуржуазной партии «Горы»; по их призыву на улицу вышли лишь триста артиллеристов национальной гвардии, собравшиеся у Консерватории; прибывшие войска снесли несколько поспешно воздвигнутых баррикад и рассеяли восставших.

Стр. 663. *...палата отказала президенту в ассигнованиях.*— 10 февраля 1851 г. министр финансов потребовал у Собрания дополнительного ассигнования в миллион восемьсот тысяч франков для принца-президента Луи-Наполеона. Большинством голосов Собрание отвергло это требование.

Пискатори Теобальд (1799—1870) — буржуазный политический деятель; в качестве депутата Законодательного собрания (1849 г.) враждебно относился к Луи-Наполеону.

Монталамбер Шарль-Форб, граф (1810—1871) — политический деятель, клерикал; играл значительную роль в Учредительном и в Законодательном собраниях. Приветствовал государственный переворот 2 декабря.

Стр. 664. *...по соседству с могилами Манюэля и Бенжамена Констана.*— Манюэль Жак-Антуан (1775—1827) — политический деятель, либерал, в период Реставрации боролся с правительством Бурбонов. Бенжамен Констан (1767—1830) — писатель, прославившийся романом «Адольф», при Наполеоне I и в период Реставрации занимался активной политической деятельностью; либерал.

Стр. 678. *...они убивают нашу республику...*— Уже 10 января 1851 г. с трибуны Законодательного собрания Тьер произнес знаменитые слова: «Империя готова».

А бедная Венеция, бедная Польша, бедная Венгрия! — Венеция была вновь захвачена австрийскими войсками 25 августа 1849 г. В это же время австрийцы и пруссаки прибегли к жестоким репрессиям в Галиции и в великом герцогстве Позен. В августе 1849 г. была подавлена революция в Венгрии.

...срубили деревья свободы... — В начале 1850 г. префект парижской полиции Карлье приказал вырыть «деревья свободы», сажать которые вошло в обычай со времен Великой французской революции. Это было одним из контрреволюционных мероприятий буржуазно-республиканского правительства после Июньских дней 1848 г.; далее идет речь о других проявлениях реакции.

...ограничили избирательное право... — По избирательному закону от 31 мая 1850 г. избирателем мог быть лишь плательщик налогов, имеющий постоянное местожительство в течение трех лет.

...закрыли клубы... — 6 июня 1850 г. Законодательное собрание декретировало продление на год закона против клубов от 19 июня 1849 г.

...восстановили цензуру... — 16 июня 1850 г. Законодательное собрание вотировало реакционный закон о прессе.

...отдали школы в руки священников... — Согласно закону 1850 г. об образовании учителя начальных школ назначались муниципальными советами, находившимися под влиянием духовенства.

...консерваторы были бы рады казакам! — В 1851 г. в скандальной брошюре «Красный призрак» Ромье, пылкий сторонник Луи-Бонапарта и монархического переворота, писал, что «Общество поставщиков и лавочников в агонии», лишь «пушки могут разрешить вопросы нашего века, и они их разрешат, хотя бы им пришлось прибыть из России».

Стр. 679. *...избрать в президенты Надо, каменщика...* — Рабочий-каменщик Надо приехал в Париж в 1830 г. Кабе вовлек его в социалистическое движение. В 1848 г. он выступал в парижских клубах, был избран депутатом в Законодательное собрание, примкнул к «Горе». После государственного переворота изгнан.

Стр. 689. *«Мелкие объявления»* («Les Petites annonces») — газета, публиковавшая объявления, предложения частных лиц и коммерческих предприятий, судебные извещения и акты; была основана в 1638 г. под названием «Бюро адресов». Самый старинный периодический печатный орган в Париже.

М. Эйхенгольц

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. Реизов. Два романа Флобера («Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств»)</i>	5
<i>ГОСПОЖА БОВАРИ. Перевод Н. Любимова</i>	27
<i>ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ. Перевод А. Федорова</i>	317
<i>Примечания Т. Соколовой и М. Эйхенгольца</i>	707

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 120

Гюстав Флобер

ГОСПОЖА БОВАРИ
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

*

Редактор С. Б р а х м а н
Оформление «Библиотеки»
Д. Б и с т и

Художественный редактор

Л. К а л и т о в с к а я

Технический редактор

Л. П л а т о н о в а

Корректоры

Н. Ш к а р б а н о в а и Д. Э т к и н а

*

Сдано в набор 10/XII 1970 г. Подписано
к печати 15/VI 1971 г. Бумага типогр.
№ 1, формат 60×84¹/₁₆. 46 печ. л.
45,72 усл. печ. л. 48,02+7 накид+
+1 вкл.=49,04 уч.-изд. л. Тираж
300 000 экз. (150 001—300 000)
Заказ № 1635. Цена 2 р. 12 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28



ГЮСТАВ

ФЛОБЕР

